Современная индонезийская проза 70-е годы





Современная индонезийская проза 70-е годы

Москва
«Радуга»
1988

ББК 84.5Ин
С 56

Составление и послесловие **В. Брагинского**
Редактор **Е. Руденко**

С 56 **Современная индонезийская проза. 70-е годы:** Сборник. Пер. с индонез. Составл. и послесл. В. Брагинского.— М.: Радуга, 1988. — 574 с.

Сборник отражает идейное, тематическое и стилевое многообразие мало известной советскому читателю современной прозы Индонезии, тенденции и пути развития литературы этой страны в конце 60-х и 70-х годах.

Столкновению традиционного и нового в индонезийской действительности, специфике жизни, быта, духовного мира различных народов архипелага — яванцев, сунданцев, минангкабау — посвящены впервые публикуемые здесь на русском языке романы и повести И. Симатупанга, М. Лубиса, У. Т. Сонтани, У. Каяма, а также рассказы ряда известных современных новеллистов.

$С \frac{4703000000-252}{030(01)-89}$ 39-88

ББК 84.5Ин
И (Индонезия)

ISBN 5-05-002235-5

Романы

Иван Симатупанг

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Мохтар Лубис

ТИГР! ТИГР!

Iwan Simatupang

Ziarah

Djakarta, “Djambatan”, 1970

Перевод В. Брагинского

Mochtar Lubis

Harimau! Harimau!

Jakarta, “Pustaka Jaya”, 1976

Перевод В. Сумского

Иван Симатупанг

ПАЛОМНИЧЕСТВО

I

В то утро он вновь проснулся с ощущением, что сегодня непременно встретит жену за одним из поворотов улицы, только вот неизвестно за каким. А между тем его жена давным-давно умерла.

Это ощущение было единственным, что связывало его с жизнью. Каждое утро приносило радостное предчувствие, не оставлявшее его до той поры, пока ему не попадался очередной поворот улицы, за которым жены вновь не оказывалось. И когда поворот оставался позади, он испытывал полную опустошенность, от которой, казалось, вечера наступали куда быстрее, чем им положено.

По ночам он по самое горло наливался араком, громко взывал к господу, потом принимался так же громко звать по имени жену, громко рыдал и, наконец, разражался громким смехом. Для людей, окружавших его в пивнушке, этот смех служил верным знаком, что его пора проводить домой, в маленькую комнатенку в крохотном домишке на краю городка. Там, вытянувшись во весь свой незначительный рост на узеньком топчане, который составлял всю обстановку комнаты, он и коротал последние минуты уходящей ночи.

Такие ночи были слишком короткими, чтобы избавить его от непомерных надежд, возлагавшихся на поворот улицы, неизвестно только на какой. Однако заря, занимавшаяся на горизонте, каждое утро приносила ясное сознание того, что поворот улицы — совсем не место для встречи с умершими, что, если смотреть правде в глаза, его жена покоится под землей, в могиле, которую он давно не посещал.

Сколько же времени он там не был? Да вообще ни разу. Ему говорили, что жена умерла, говорили, что ее уже успели похоронить, но сам он не пожелал взглянуть на покойницу.

Он, ее муж, так ее и не видел. Не помня себя, выбежал он тогда на тротуар главной улицы и оттуда вместе с толпой зевак наблюдал за удалявшейся погребальной процессией.

— Кто же умер? — спросил его случайный прохожий.

— А бог его знает, — ответил он, продолжая жевать печенье.

В тот вечер он поручил кладбищенскому сторожу возложить цветы на могилу жены, а сам поспешно удалился. На следующий день он впервые в жизни потянулся к спиртному и с тех пор прослыл в городке горьким пьяницей, который громко зовет по имени жену, громко рыдает, громко взывает к господу, а под конец громко смеется, прямо-таки заходясь от хохота, точно тысяча чертей.

Умывшись и одевшись, он выскочил на улицу и остановился посреди тротуара, чтобы решить, какой же маршрут избрать сегодня. Для этого он долго и пристально вглядывался в самую сердцевину солнечного шара — способность, которую он приобрел лишь недавно.

Прежде так смотреть на солнце он мог всего лишь минуту, не больше, да и то не без риска: ведь потом все вокруг расплывалось, наполнялось бегающими огоньками, а глаза краснели и слезились. Однако, упорно и настойчиво упражняясь, он сумел продлить это время сначала до двух минут, потом до трех, четырех...

Теперь он мог разглядывать солнце сколько душе угодно, ровно столько, сколько хотел. Случалось, весь день напролет он только и делал, что всматривался в сердцевину солнечного шара, смотрел и смотрел, пока вечером солнце не скрывалось за горизонтом. Единственное неудобство, которое он после этого испытывал, состояло в том, что и ночью под сводом черепной коробки он продолжал видеть солнце. От слишком яркого сияния там, в голове, жар разливался по всему телу, кровяные тельца начинали как сумасшедшие носиться по расширившимся сосудам, сердце колотилось все чаще и тело обретало невесомую легкость. Ликование поднималось в его душе. Однажды ему захотелось хоть как-то физически выразить его. Он подпрыгнул так высоко, как только мог, испустил пронзительный вопль и опрометью кинулся в пивнушку, громко зовя по имени жену, рыдая, взывая к господу, смеясь.

Перед домом, где он нанимал комнату, добрые люди, с готовностью проводившие его, один за другим обнялись

с ним и бессчетное множество раз расцеловались. Он же в ответ бурно изъявлял свою признательность, клялся в любви к ним, ко всему человечеству, к своей жене... А в заключение они услышали, как он еще раз выкрикнул имя жены, после чего дверь с оглушительным грохотом захлопнулась.

И тогда на него навалилось одиночество, самое одинокое из одиночеств.

Долго простоял он на тротуаре, устремив взор в беспредельно прозрачное небо. Улица была совершенно пустынна. Голоса людей, неясные звуки долетали издалека, из какой-то безмерной дали. Лишь на краю улицы одинокая собака, тощая и грязная, рылась в контейнере для отбросов, да в воздухе, обнаруживавшем первые признаки духоты, расправив крылья, бесстрастно парил одинокий ястреб.

Деловитая толчея городка в то утро словно бы целиком переместилась в единственный его уголок. По временам ветер доносил до слуха ее отзвуки, и тогда ему казалось, что он бесконечно далеко отсюда, далеко от городка, где стоял в ту минуту посреди тротуара, устремив взор в прозрачное небо, беспредельно прозрачное.

Возникавшее чувство всякий раз волновало его, рождало в душе непреодолимое желание пережить его во всей полноте, удержать и осмыслить. Уже в который раз ему доставались лишь крупицы этого чувства, переносившего его в какое-то иное пространство, вовсе не то, где он действительно находился.

Как ни странно, в такие минуты он не смог бы ответить, там он или здесь — он был разом в обоих пространствах. «Там» и «здесь», в мгновение ока сменявшие друг друга, всецело завладевали им. В конце концов скорость их мелькания возрастала настолько, что границы пространств начинали стираться, пока не наступал момент, когда они сливались воедино — в некое третье пространство. Это тем или иным образом приводило его в сознание, избавляло от оцепенения. С рождением третьего пространства рассеивалась туманная муть, скопившаяся в душе, и тогда он снова мог принимать решения, мог управлять своими желаниями.

Так случилось и на этот раз. Едва лишь третье пространство непререкаемо заявило о себе, он засвистал и, переполненный радостью, решительно повернул налево. По правде сказать, всякий раз после такого приступа его

ноги сами собой устремлялись налево. Не было случая, чтобы они свернули направо. Он и сам недоумевал, как это выходит. Однажды, когда оцепенение еще не овладело им, а мысли немного прояснились, он твердо решил, что уж в следующий-то раз непременно свернет направо. Но как только приступ оцепенения миновал, ноги без его ведома вновь понесли его налево. Остается лишь удивляться, почему он нисколько не огорчился, так и не отправившись в противоположную сторону.

Свернув налево, он не спеша зашагал по краю тротуара, стараясь сосчитать, сколько же пошло на него плит. Он занимался этим вовсе не из пристрастия к счету или из какой-то особой любви к цифрам, а лишь затем, чтобы в тот миг полностью овладеть собой — ведь поворот в конце улицы все приближался... Его взгляд раз за разом устремлялся туда, но учащенно бьющееся сердце с таким же постоянством заставляло тот взгляд рикошетом отскакивать обратно, возвращало к плитам, по которым он ступал. Это становилось небезопасным, поскольку песчинки, вылетавшие из-под подошв его изрядно стоптанных ботинок, раз от разу оказывались крупнее, грозили угодить в глаз.

В такие минуты все, что скопилось в груди, отодвигалось, уступая место единственному чувству — надежде. Надежде, что жена вот-вот покажется оттуда, из-за угла, и повстречается с ним прямо посредине незримой дуги поворота. И он крепко зажмуривал глаза, ожидая, что сейчас услышит голос жены, окликающей его:

— Привет, ты...

Когда же взамен голоса, знакомого до последней переменчивой интонации, до последнего неприметного обертона, до его слуха донесся лишь отзвук деловитой толчеи, переместившейся в единственный уголок города, темноту под сомкнутыми веками пронизали бледно-желтые искорки новой надежды.

— Завтра! Завтра я непременно встречу ее.

Когда он лишился жены, его жизнь начала складываться из одних сегодняшних дней, к которым лепились дни завтрашние. Завтра превращалось в сегодня, и это сегодня включало в себя все его жизненные проблемы. Сегодня, которое превращалось во вчера, было ему совершенно безразлично, ибо, становясь прошлым, все сли-

палось в какой-то черный ком, тот самый, что со дня смерти жены неизменно маячил где-то в левой стороне кругозора. Оттого все формы и цвета казались преувеличенно крупными и яркими, но это ничего не меняло, не притупляло и не обостряло его зрение.

Пустота после таких ожиданий на повороте улицы взбадривала и освежала все его чувства. Проснувшаяся тяга к работе переполняла тогда его существо. Он, казалось, готов был браться за любое дело, лишь бы только его можно было закончить до заката солнца. После смерти жены он твердо придерживался этого принципа и не искал постоянной работы, где ему пришлось бы трудиться более пяти часов кряду.

При жизни жены поговаривали — и авторитетные критики подтверждали это, — что он чрезвычайно одаренный художник, которого ожидает блестящее будущее. Однако, как только жену похоронили, он тотчас выбросил в море все свои картины и все рисовальные принадлежности. Пораженным критикам он сказал, что все это время они пребывали в досадном заблуждении — он вовсе не талантлив, а о блестящем будущем нечего и говорить. С тех пор он стал своего рода наемным рабочим. Своего рода — поскольку соглашался работать не более пяти часов в день. Сограждане, узнавшие об этом, восприняли его маленькую странность без каких-либо комментариев. А так как в отведенных пределах — максимум пять часов — он был ценной рабочей силой, они с немалым удовольствием стали прибегать к его услугам. Его нанимали для всякой работы: мыть тарелки в забегаловке, приглядывать за младенцами, пока их родителей не было дома, подавать теннисные мячики во время игры и так далее и тому подобное. Но если бы у него спросили, какая работа ему особенно по душе, он бы ответил, одарив вас сияющим взором: красить и штукатурить дома. И если бы вслед за тем у него спросили, почему он предпочитает именно эту работу, он бы с тем же непостижимым сиянием во взоре лишь улыбнулся бы и покачал головой. Тем не менее, когда в один прекрасный день его попросили помочь вырыть могилу, глаза чуть не вылезли у него из орбит и он со всех ног кинулся прочь. После этого случая его сограждане получили полное представление о том, какую работу он любит, а какую нет: более всего любит штукатурить и красить, терпеть не может рыть могилы. И они стали нанимать его лишь штукатурить и красить.

В своей области он и вправду был мастером, с которым не мог тягаться ни один из горожан. Какая-то неуловимая особенность отличала все, что он красил или штукатурил, и воспроизвести ее не мог никто из пытавшихся ему подражать или с ним тягаться. Достаточно было сравнить его работу с работой тех, других, чтобы различие стало неоспоримым. У того, что он красил или штукатурил, был какой-то особый оттенок (иные из горожан говорили даже — особый аромат). По их мнению, дома и стены, покрашенные или оштукатуренные им, превращались в особые произведения искусства, поразительно гармонировавшие со всем обликом городка. Сам он, однако, не разделял теории своих сограждан и лишь недоверчиво качал головой. Закончив работу, он незамедлительно взыскивал причитающуюся плату, а затем поспешно удалялся в пивнушку.

Как-то раз, когда он, увлеченно насвистывая, мерил тротуар решительными шагами, ему повстречался мужчина средних лет, который, как он слышал от сограждан, исполнял должность смотрителя муниципального кладбища. Наш герой недолюбливал смотрителя, как не любил он всех, кто по роду службы имел то или иное отношение к покойникам. Поэтому ему тотчас захотелось пуститься наутек или по крайней мере свернуть направо, чтобы избежать встречи с этим полномочным представителем мертвецов. Увы, расстояние между ним и смотрителем все сокращалось, а наш герой отнюдь не был божьим посланником или ангелом, который при подобных обстоятельствах мог бы осуществить вертикальный взлет.

— Вот так случай! Ведь я вас давным-давно повсюду разыскиваю. Вот уж повезло так повезло! — воскликнул смотритель кладбища.

— А что случилось? — полюбопытствовал наш герой.

— Давайте-ка заглянем вон в ту забегаловку. Выпьем, а я тем временем во всех подробностях изложу вам свое предложение.

— Что же мы там станем пить?

— Ну как что? Кофе, чай с сахаром.

Наш герой громко расхохотался:

— Кофе! Чай! Ну и потеха, ну насмешили!

Тут надзирателя осенило, и он поспешно поправился:

— Ладно. Раз так, выпьем арака, согласны?

— Не в моих привычках наливаться араком в такую рань. Уж не хотите ли вы, дружище, помешать мне сегодня работать?

— О нет, разумеется нет. Напротив, я как раз собираюсь предложить вам работу.

— Работу? Ну-ка расскажите, что вы имеете в виду.

— Как? Прямо так, без выпивки?

— К черту выпивку!

Не решаясь приступить к делу, смотритель медленно шел рядом с нашим героем.

— Я бы хотел, чтобы вы оштукатурили стену вверенного мне муниципального кладбища, — выговорил он наконец.

От этих слов нашему герою показалось, будто он видит тучу выпущенных из лука стрел, которые устремляются в небеса, а потом в какое-то мгновение внезапно останавливаются, зависают в воздухе, и вот уже все как одна пикируют прямо на него. Он закрыл глаза и затрясся всем телом. Ему почудилось, что каждая из тех огромных и острых стрел уже вонзилась в него. Приоткрыв на миг глаза, он вновь увидел тучу стрел, стремительно мчащихся в его сторону, и тогда, громко крича от боли, опрометью бросился прочь оттуда, все вперед и вперед. Смотритель переполошился, поглядел налево, направо, отыскивая то, что послужило причиной столь странной ретирады его собеседника, и, когда ничего особенного не обнаружил, сначала крайне изумился, а потом почувствовал, что в душу к нему закрадывается страх. В конце концов он до того перепугался, что почел за лучшее последовать за тем, кто с истошными воплями убегал от него.

Так мы стали свидетелями того, как в прекрасное солнечное утро вдоль по пустынной улице мчались двое мужчин, во все горло крича от страха. Но вот пришла такая минута, когда нашему герою вдруг захотелось остановиться. Он никуда больше не бежал, не кричал, не всхлипывал. Он присел на краешек тротуара и, ощущая весь комизм ситуации, стал наблюдать за зрелищем, что представилось ему там, сзади. Тем «зрелищем» был мужчина средних лет, служивший смотрителем муниципального кладбища. Он куда-то бежал сломя голову и при этом истошно вопил. Его вид не только забавлял, но и вызывал совершенно иное чувство — то, что при ближайшем рассмотрении оказывалось сродни удовлетворению, которое приносит осуществленная месть...

Задыхаясь, смотритель остановился подле него. Блеск в его глазах потускнел, но его еще вполне хватало, чтобы осветить отражавшуюся в них усталость, к которой примешивались недоумение и ненависть.

— Почему вы бежали и кричали? — спросил он, переводя дух, и опустился на край тротуара рядом с нашим героем.

— А почему вы бросились следом и тоже закричали? — ответил вопросом на вопрос наш герой.

Оба некоторое время пристально вглядывались друг в друга, и за это время в их душах успела пронестись целая вереница чувств. И вдруг оба одновременно рассмеялись... Захохотали, прямо-таки зашлись от смеха. Оказалось, что ни тот, ни другой понятия не имели, почему они все это проделали. Ясно было лишь одно — они это действительно проделали. Тут уж не оставалось никаких сомнений. Но вот почему? Довольно неопределенные нити, оплетавшие их прежде, натянулись туже, обрели бóльшую определенность, и в какое-то мгновение оба почувствовали, что замкнуты в одном и том же кругу. Теплое чувство закрадывалось в их души, давая понять, что они непременно станут друзьями. Неведомо как рука смотрителя оказалась в руке нашего героя и в знак приветствия решительно потрясла ее. Пламень чувств, переполнявших обоих, разгорелся так ярко, что его уже невозможно было утаить: ослепительным сиянием вырвался тот пламень наружу и разнес токи дружбы и преданности до самых отдаленных уголков вселенной!

— Так ты хочешь, чтобы я оштукатурил всю внешнюю стену кладбища?

Смотритель утвердительно кивнул, нисколько не возражая против внезапного перехода на «ты». Склонив голову, он задумчиво разглядывал песчинки на асфальте. Сейчас, когда ему, похоже, удалось шире взглянуть на все происшедшее, он наконец понял истинную причину, по которой наш герой стремглав бросился прочь, громко крича от страха. Полностью подпав теперь под обаяние его личности, он все в той же задумчивости чертил указательным пальцем линии на сухом асфальте, ох каком сухом... Нет! Теперь он просто не смог бы предложить своему новому другу то, что предлагал всего несколько минут назад. Честно говоря, он намеренно придумал эту работу именно для него. И не потому, что не знал других маляров и штукатуров, которые сумели бы ее исполнить. Не в этом было дело. Он *должен был*, непременно, нанять именно его. Ведь кто, как не смотритель, знал о нем все. Кто он! Что он такое! Каков он! Сколько раз смотритель слышал историю его жизни, и вот однажды в душе у него зародилось желание обрести наслаждение в страдании ближнего. Потому-

то он и избрал в штукатуры бывшего художника, человека незаурядного таланта, окруженного некогда всеобщим восхищением и, по словам сограждан, совершенно счастливого при жизни жены. Именно для *него* предуготовил смотритель эту работу — заново оштукатурить стену муниципального кладбища. А ведь как раз на этом кладбище покоилась жена бывшего художника, столь прославившегося своей одаренностью... Смотрителю не терпелось увидеть, как поведет себя человек, прекрасно знающий, что он штукатурит ту самую стену, за которой покоится его жена. Смотритель лелеял поистине дьявольский замысел насладиться страданиями бывшего художника.

Этот замысел настоятельно требовал немедленного осуществления, хотя смотритель и знал, что штукатурить стену еще не время. Собственно говоря, ее штукатурили всего два месяца назад, а по смете муниципалитета стену полагалось штукатурить лишь дважды в год. Более того, в нынешние трудные времена, когда требовалась строжайшая экономия, вполне можно было ограничиться и одним разом. Таким образом, до начала очередных штукатурных работ оставалось целых десять месяцев. Но нет, ради никогда прежде не испытанного, вожделенного наслаждения он был готов из собственных средств оплатить эти внеочередные работы. Лишь бы их выполнил тот самый единственный человек, чей образ уже давно поселился в душе смотрителя.

— Ладно, я согласен, — сказал бывший художник. — Мои условия тебе известны. Остается уточнить, сколько ты будешь мне платить и когда я смогу приступить.

Смотритель поглядел на него, будто громом пораженный. Неужели то, что он слышит, правда? Однако крепкое горячее рукопожатие нового друга, от которого разом заломило все пальцы, окончательно убеждало, что он не ослышался. Значит, художник согласен. Он не отказывается штукатурить стену кладбища, за которой покоится его жена...

Напряженная борьба, бушевавшая в душе смотрителя, достигла кульминации. Его совесть не могла не прийти в противоречие с готовностью работать, столь прямодушно изъявленной новым другом, который все так же сидел с ним бок о бок, держа его руку в своей. Но в тот самый миг смотрителю показалось, что с небес до него донесся какой-то пронзительный звук, гулко отозвавшийся в сердце. В черных тучах появился просвет. Напряжение душев-

ной борьбы спало. Жесткие, горькие складки в уголках рта разгладились. В глазах засветилось прежнее спокойное выражение, запечатлевшее душную тишину полуденного кладбища. Совесть капитулировала перед торжествующим чувством — тем, что испытывает палач, занесший меч над жертвой.

— Так ты согласен? — с неожиданной суровостью спросил смотритель.

— Разве ты не слышал? — отозвался художник.

— Значит, как всегда — не больше пяти часов работы кряду, окончание перед заходом солнца... Хорошо. Я буду платить тебе больше, чем обычно, начинать можешь хоть завтра. Вот это — задаток.

Ровно в полдень они расстались. Довольный собой смотритель заторопился в контору на кладбище, а довольный собой художник — в пивнушку. В тот день завсегдатаи пивнушки, к своему великому изумлению, впервые стали свидетелями того, как, допив обычную порцию арака, художник не начал выкрикивать имя жены, не стал взывать к господу, не разразился своим ужасным хохотом. Он говорил со всеми исключительно вежливо, в его голосе слышались непривычно мягкие нотки. А когда настало время возвращаться домой, он пожелал собутыльникам доброй ночи и вышел твердым, уверенным шагом, нисколько не нуждаясь в услугах провожатых.

Когда он ушел, завсегдатаи пивнушки испытали некоторое смущение. Нашлись и такие, что смотрели вслед ушедшему в полной растерянности.

2

Уже три дня кряду он штукатурил стену муниципального кладбища, и три дня смотритель неотступно наблюдал за ним через щелку в двери или через окно своей конторы, входившей в кладбищенский комплекс.

Беспокойство смотрителя все росло, ибо в поведении новоявленного штукатура не было и намека на какую-либо экстравагантность, ровно ничего, заслуживающего внимания. Он вел себя самым банальным образом: каждый день приходил чуть позже полудня, приступал к работе и потом уже ни на минуту не отрывался от нее.

Перед заходом солнца он заканчивал работу, собирал инструменты, получал причитающуюся плату и, насвисты-

вая, как ни в чем не бывало отправлялся в пивнушку. По рассказам ее посетителей, его поведение в пивнушке также не обнаруживало ничего достойного удивления, что уже само по себе было в высшей степени удивительно! Прежде, когда он еще не нанялся штукатурить кладбищенскую стену, завсегдатаи пивнушки, привыкшие к его странным выходкам, не находили в них ничего из ряда вон выходящего. Теперь же он привлекал к себе всеобщее внимание, становился в городке притчей во языцех. С растущим подозрением обитатели городка следили за его ничем не примечательным поведением, усматривая в этой непримечательности нечто особенно примечательное и попросту странное.

Перемена в поведении штукатура сказалась на всех его согражданах. Не понимая ее причин, они видели в ней верный признак поворота к худшему, приближения чего-то такого, что таит угрозу для всех. Неотступно размышляя о происшедшей перемене, каждый со временем начинал ощущать и перемену в самом себе. Жители городка были теперь уже не теми, что прежде. Вдобавок им казалось, что не только они сами, но и все вокруг стали вовсе не теми людьми, которых они знали когда-то. Выражение глаз, лица, интонации голоса, даже значение слов в разговоре — все до неузнаваемости изменилось.

Они пришли в замешательство. Их охватило чувство, что прежняя вера в себя, прежняя уверенность в себе гибнет. Дошло до того, что в один прекрасный день каждый из горожан проникся страхом, подозрением, недоверием ко всем остальным и в не меньшей степени к самому себе! Никто уже ни решался подолгу задерживаться перед зеркалом, опасаясь увидеть в его глубине отражение, не имеющее ничего общего с оригиналом.

Невозможно стало о чем-либо договариваться. Горожане все реже вступали друг с другом в разговоры, поскольку, по их мнению, слова, из которых складывались фразы, утратили первоначальный смысл. Связи между людьми ослабли. Пытались было вернуться к языку жестов, но скоро оставили эти попытки, со всей очевидностью осознав, что живут в двадцатом веке, в эпоху космической цивилизации.

Хотя с тех пор, как наш герой начал штукатурить кладбищенскую стену, минуло уже три дня, мэр городка, похоже, не успел еще утратить своей самоуверенности. Ход мысли у него был тоже куда ясней, чем у прочих его со-

граждан. Он решил провести экстренное заседание Отдела Текущих Работ своего муниципалитета. В повестке дня значился единственный вопрос: официальная позиция муниципалитета в отношении бывшего художника, осуществляющего полный объем работ по штукатурению стен муниципального кладбища на личные средства смотрителя означенного кладбища, который занимает постоянную должность постоянного сотрудника муниципалитета.

То было самое поразительное из всех заседаний, когда-либо проводившихся в городке!

Среди сотрудников Отдела не нашлось никого, кто рискнул бы высказать свое мнение. Ни один из них за все время заседания не открыл рта, не прочистил горла, чтобы издать хоть какой-нибудь звук. Все молчали, растерянно взирая на мэра, который в гордом одиночестве держал перед ними речь.

В их молчании мэр усмотрел знак согласия и единодушного одобрения тех шагов, которые он предлагал осуществить: смотритель обязывался передать бывшему художнику распоряжение о прекращении штукатурных работ; сам смотритель с этого дня отстранялся от занимаемой должности вплоть до дальнейших официальных распоряжений, имеющих последовать за «разрешением той странной ситуации, которая сложилась в дорогом для всех нас городе».

Тяжело вздохнув, мэр дочитал постановляющую часть резолюции и постучал по столу молоточком, давая понять, что заседание окончено. Сотрудники Отдела Текущих Работ тотчас поднялись с мест и заторопились домой. Можно было подумать, что их известили о надвигающемся наводнении. Один лишь мэр, пусть и несколько растерянный, остался сидеть на стуле. Он попытался было дозваться кого-нибудь из служащих муниципалитета, но ни один не откликнулся на его зов, ни один не пришел. Во время заседания они тайком подслушивали, кто под дверью зала, кто под окнами, и, лишь только мэр зачитал резолюцию, опрометью разбежались и попрятались по домам. Ну уж нет! Пусть их лучше уволят, пусть обвинят в намеренном неисполнении служебных обязанностей. Никакая сила не заставит их передать эту страннейшую резолюцию смотрителю — существу, на их взгляд, еще более странному. Нет и нет! Они готовы отправиться куда угодно, хоть к черту в пекло, но никогда, ни за что, ни в коем случае не пойдут к смотрителю!

Мэру пришлось собственноручно доставить смотрителю резолюцию. Ничего другого не оставалось. К тому же он, хоть и был крайне раздосадован происшедшим, в душе превосходно понимал своих коллег и не мог не проклинать выпавшую на его долю миссию. Ведь даже в своем собственном доме он в полной мере переживал последствия той поразительной ситуации, которую породил поступок смотрителя кладбища. Все в доме пошло кувырком: жена мэра, прихватив с собой часть его многочисленного потомства, в ужасе бежала к родителям, жившим в другом городе. Те же из детей, кто не смог или не захотел бежать вместе с нею, теперь слонялись по городу, вконец отупевшие, молчаливые — то ли не желали говорить, то ли вообще разучились. Встречаясь с согражданами, они только вопили дурными голосами, а потом вприпрыжку убегали, тыча пальцем в сторону кладбища. От этого неразбериха, царившая в мыслях у прохожих, встреченных ими, только усугублялась, и они с устрашающими криками или без оных в свою очередь пускались наутек.

Наконец мэр добрался до кладбища и еще издали завидел бывшего художника, штукатурившего стену. При виде его он покрылся испариной и в полном смятении чувств попытался незаметно проскользнуть мимо. Чтобы обеспечить успех этому предприятию, он крепко зажмурился, полагая, что так художник его не заметит.

Ба, господин мэр! Куда это вы? — донеслось до его слуха.

Мэр остановился как вкопанный, понурил голову и принялся шевелить пальцами — точь-в-точь мальчишка, застигнутый за каким-то озорством.

— Он там, в доме. Вон, вон он — подглядывает за мной из-за двери! — снова донеслось до мэра.

Мэр поспешно поднялся по ступенькам конторы, но, как только его заприметили изнутри, все окна и двери в конторе накрепко затворились. Мэр остановился на веранде, раздумывая, что делать дальше.

— Он в доме! Толкнитесь в дверь! — крикнул бывший художник, а ныне штукатур. На беду, однако, страсть к решительным действиям, бушевавшая в душе мэра, куда-то улетучилась, и он решил для начала заглянуть в замочную скважину входной двери.

Сколь же велико было его удивление, когда через скважину он увидел чуть не вылезший из орбиты глаз, не мигая взиравший прямо на его собственный После непродолжи-

тельной конфронтации глаза по сю сторону замочной скважины с глазом по ту ее сторону одновременно раздались два истошных вопля: одним из них был вопль мэра, другим — вопль смотрителя, который не менее своего визави изумился, увидав через замочную скважину чуть не вылезший из орбиты глаз, взиравший прямо на его собственный. Синхронность, с которой прозвучали оба вопля, еще сильнее напугала обоих. Мэр как зачарованный застыл на месте, обхватив один из столбов веранды, меж тем как смотритель забегал кругами по конторе, вереща от страха.

Внезапно со стены до них долетел взрыв гомерического хохота.

— Ха-ха-ха! — покатывался штукатур. — Кто же из вас кошка, а кто мышка?

Оба в ту же минуту опамятовались и в глубине души тотчас отдали себе отчет, что положение, в которое они только что попали, именно таково: это было то самое положение, которое занимают друг относительно друга животное, именуемое кошкой, и животное, именуемое мышкой...

Послышался скрежет открываемого замка, и в дверях появился смотритель, который, ткнув кулаком в сторону стены, воскликнул:

— Эй, ты там, проявляй уважение к начальству, уважай муниципальные власти при исполнении! Здесь нет никаких мышек и кошек. Здесь... да, так что же здесь? Гм... Добрый день, господин мэр! Будьте добры, зайдите сюда!

Мэр, все еще не избавившись от страха, выслушал эту тираду. Но лысина, венчавшая голову смотрителя, сверкнула на солнце так подобострастно, что к мэру без промедления вернулось сознание своего муниципального величия. С прежней уверенностью в лице и голосе он произнес:

— С этого дня вы отстраняетесь от должности смотрителя вверенного вам кладбища. Вот письменное уведомление об этом. Всего наилучшего!

— Но... — смущенно начал смотритель.

— Никаких «но»! Решение есть решение, и лучшее, что вы можете сделать, — это сегодня же освободить служебное помещение. Всего наилучшего!

Мэр сердито бросил приказ об увольнении на стол, стоявший на веранде, и хотел было спуститься вниз по лестнице, но внезапно остановился и, обернувшись к смотрителю, добавил:

— Да, и еще... э... одновременно я приказываю не-

медленно прекратить все штукатурные работы на кладбищенской стене, которые ведут к полному подрыву того, что называется полнотой власти государственной администрации. Вы поняли меня?

— Но...

— Никаких «но»! — отрезал мэр, решительно ставя правую ногу на ступеньку. — Приказ есть приказ!

— Разумеется, разумеется! Я только просил бы глубокоуважаемого мэра объяснить, как можно требовать от меня, не являющегося более смотрителем кладбища и, стало быть, официальным сотрудником муниципалитета, исполнения распоряжений муниципалитета.

— Я требую от вас только той лояльности, которая предусмотрена конституцией нашего государства. Лояльности гражданина по отношению к носителю государственной власти.

— Да, но конституция среди прочего гарантирует мне право знать, на каком основании от меня требуется лояльность. В данном случае — почему меня отстраняют от занимаемой должности.

— Ответ на ваш вопрос я уже сформулировал в приказе так: «Во имя общественного спокойствия». Как и всякая иная формулировка, эта не требует дальнейшей конкретизации.

— Даже указания на причину, на основание?

— Да, иначе она перестанет быть формулировкой.

— А разве принудительный характер этой формулировки не нарушает самым непосредственным образом моего личного спокойствия?

— Личное, в частности ваше, во всей полноте поглощается тем, что я выше назвал общественным.

— А как же быть с моими мыслями, с моими чувствами, с содержанием моей личности?

— Общественное превыше личного, превыше всех личностей.

— А если все наоборот, глубокоуважаемый мэр? Если то, что мы с легкостью именуем «обществом», — не что иное, как совокупность отдельных личностей, то есть отдельных людей, свободных граждан?

— Свободных? Ха! Вот где основа наших разногласий. Будьте поосторожней с этим словцом «свободный». Вам следовало бы более чутко прислушиваться к ритму времени, к его биению. Слишком долго проработав на кладбище, вы явно отстали от века. Поистине здесь останавливается

ход истории, и уже из-за одного этого вам просто необходимо распроститься с кладбищем. Ведь вы рассуждаете о своей личности, как какой-нибудь пещерный человек.

Смотритель ничего не ответил. Нет, он вовсе не воспринял слова мэра как оскорбление. Он чувствовал, что в них немало справедливого. Более того — они совершенно справедливы! Но именно это и вызывало у него возражение, точно так же, как вызывали его любые чересчур уж очевидные истины, для высказывания которых требовалось множество заглавных букв и восклицательных знаков. Взбунтовавшись, он не мог остановиться на полдороге! Это было бы слишком большой уступкой безапелляционному тону, в котором высказывался мэр. Да, он действительно провел много, быть может, слишком много времени на кладбище, где долго, быть может, слишком долго молчал и думал. Что ж, именно это и позволило ему постичь истину весьма тонкого рода, истину, в которой учитывалось то, что принято называть *нюансами*. Да! Как раз нюансам уделялось меньше всего внимания в конституции любого государства, и во имя этих-то нюансов он не мог сейчас не взбунтоваться.

Он с трудом подавил улыбку, но сдерживать ее приходилось вновь и вновь.

— Итак, вы не желаете распорядиться о прекращении штукатурных работ?

— Увы, господин мэр, похоже, вам просто изменяет чувство меры.

— Молчать! — гаркнул мэр, и на губах его выступила пена.

Смотритель опустился на ступеньку лестницы и насмешливо поглядел на мэра. Этот жест привел мэра в полное замешательство. Он совершенно не знал, как в таких случаях следует поступать. Поглядев в сторону стены, которую преспокойно штукатурил наш герой, он крикнул:

— Эй, ты там! Во имя спокойствия муниципальных властей я приказываю немедленно прекратить работы!

— Вы можете приказывать сколько душе угодно, но о работе я договаривался вовсе не с вами, — ответил наш герой и вновь принялся весело шлепать на стену штукатурный раствор.

— Это бунт! Отвечайте!

— Нет, просто вам неведомо чувство меры.

— Чувство чего? — закричал мэр, понимая, что сходит с ума.

— Меры...

Мэру показалось, что у него деревенеют колени, подкашиваются ноги, что он вот-вот рухнет наземь. Ни в коем случае нельзя было этого допустить! Именно в такие минуты он должен сохранять полное самообладание. В такие минуты и перед лицом именно таких людей, тех, что больше мыслят, чем существуют, тех, что готовы зарыть в землю свой дар ради вороха мыслишек, с самого начала пущенных по неверному руслу. Он всегда терпеть не мог типов наподобие этого бывшего художника, а ныне штукатура, с его чересчур высоким лбом, с редеющей растительностью на темени, с нездоровой бледностью лица, которого, верно, никогда не касался солнечный луч, и, наконец, прямо-таки беспредельной заносчивостью в прищуре глаз. Для них престиж мэра не имел никакого значения. Но ведь есть и другие, те, что способны отличить его, мэра, от грязных оборванцев вроде этих двоих, старающихся своими шуточками сделать из него посмешище.

Все оставшиеся силы мэр употребил на то, чтобы совладать с непослушными ногами и с достоинством удалиться. Ну уж нет! У него хватит решимости не упасть перед лицом этих двух, столь ненавистных ему оборванцев.

Пошатываясь, он направился к выходу с кладбища, провожаемый насмешливой гримасой смотрителя, так и не пожелавшего подняться со ступеньки своей конторы, и громким смехом бывшего художника, доносившимся со стены. Что ж, пусть смеются! Разве дано им понять, что такое *основы*, что такое *личность*, что такое *престиж*?

Его все сильнее качало из стороны в сторону, все с большим трудом удерживал он тело в вертикальном положении. Обратив взор к полуденному небу, он увидел, как оно закружилось, сначала медленно, а потом быстрее, быстрее, быстрее. Осью того вращения было солнце, чьи краски непрерывно сгущались, темнели. Давно успело померкнуть ослепительно желтое сияние, и теперь цвет солнечного диска с бешеной скоростью менялся, приближаясь к почти черному пурпуру, поспешно минуя промежуточные оттенки: темно-розовый, оранжевый, багровый, пурпурный. К тому времени, когда мэр добрался до середины городской площади, солнце уже казалось ему совершенно черным.

Тут подошвы его ног так крепко приросли к земле, что больше он не мог ступить ни шагу. В последнем усилии удержать равновесие он вытянулся во фрунт и вдруг за-

метил прямой луч, который оторвался от кружащегося небосвода и с невероятной скоростью устремился к нему. Все толще становился тот луч, все длиннее вытягивался, все стремительней надвигался, целя прямо в него. И тогда, не в силах предотвратить неминуемое, мэр закричал! И тотчас рухнул как подкошенный, слыша все еще отдающийся в ушах оглушительный грохот перевернувшейся вверх тормашками земли, которая накрепко приросла к его подошвам.

Все, кто был на площади, громкими криками отозвались на его вопль и опрометью бросились к поверженному мэру. Его побагровевшие глаза с каким-то диким выражением взирали на людей, плотным кольцом обступивших его. Ох уж эти ничтожные, грязные людишки, которых он прежде не ставил ни во что! Ведь и в мэры он баллотировался, и пост этот занял лишь потому, что получил здесь наилучшие возможности однажды разом расквитаться со всеми ними, со всеми людишками такого рода, ничтожными, грязными, тупыми, живущими одним инстинктом — поесть и одеться, не более. Он уже давно вычеркнул их из списка созданий, заслуживающих хоть какого-то уважения, и с тех пор в его жизни действительно появилась определенная цель — искоренить этих людишек, повально зараженных единственным стремлением к еде и тряпкам. Потому что, пока существуют они, эти людишки, со своими первобытными инстинктами, ни на йоту не ускорить воцарения на земле космической цивилизации, приход которой — всего лишь вопрос времени.

Однако до сих пор ему так и не представилось случая сквитаться с ними — ведь его каждодневная жизнь была до краев наполнена распечатыванием служебных конвертов, чтением украшенных печатями служебных писем с их безъязыкостью и невообразимой корявостью, писанием всевозможных записок и заключений, непрерывным поглядыванием на часы, беспрестанными телефонными звонками, изучением визитных карточек бесконечных посетителей, которые как один представали перед ним с глубокомысленным и значительным выражением лица. Его буквально мутило от переизбытка фальшивых улыбок и изъявлений деланного радушия, от обилия приемов, которые навсегда испортили его систему пищеварения, от речей, произнесенных по бумажке, в которых он не верил ни единому слову, от ставшего нормой пресмыкания перед вышестоящими и столь же непременного утеснения нижестоящих. Разве

можно было при такой жизни выкроить время для вожделенной мести? Ведь месть требовала тщательной подготовки, всестороннего продумывания, выработки особой философской системы, где разъяснялись бы содержание, цели, задачи, причины этой мести. Разъяснялись прежде всего себе самому, а затем детям, внукам и, наконец, если по прошествии нынешней исторической эпохи еще сохранится человечество и человечность, тому грядущему человечеству с его грядущей человечностью.

В конце концов ему удалось найти утешение в столь свойственной человеческой природе привычке откладывать на завтра то, что не удалось сделать сегодня. Оказалось, что эта привычка наполняет его душу каким-то совершенно новым ликованием, придает жизни новый ритм, по-новому освежает и взбадривает. Между «сегодня» и «завтра» словно бы протягивался тугой канат, и он беззаботно прогуливался по нему, испытывая радость от каждого «отправления» и «прибытия».

Когда глубокой ночью его дух в очередной раз томился оттого, что и сегодня план мести не удалось осуществить, он крепко обнимал подушку или проснувшуюся от изумления жену и нежно шептал им:

— Завтра!

А потом сворачивался калачиком и сладко засыпал.

Такая концепция «завтра» и сделала его образцом идеального руководителя муниципалитета. Всего себя он отдавал работе. Целый день сохраняя прекрасное расположение духа, он являл истинный пример трудового энтузиазма всем рабочим и служащим, окружавшим его, которым и в ничтожнейшей степени не дано было постичь, в чем состоит подлинный источник этого энтузиазма.

Как-то раз они — рабочие и служащие — тайно сформировали комиссию по расследованию причин данного явления. Однако после трех месяцев напряженной работы комиссия только и сумела доложить, что мэр, как показал негласный надзор, не замешан в коррупции, не владеет подпольными предприятиями и не обзавелся юной любовницей. С чувством неудовлетворенности, смешанным с изумлением, плюс восхищением, плюс завистью, тайная комиссия была вынуждена объявить о самороспуске, и с тех пор ее членам ничего другого не оставалось, как с грустью наблюдать за мэром, который с удвоенной энергией и рвением отдавался служебной деятельности.

Поскольку не сыскалось никаких данных, способных бросить тень на репутацию мэра или как-то опорочить его имя, у сотрудников муниципалитета постепенно окрепла уверенность, что он действительно образец идеального руководителя, в силу чего заслуживает всемерного подражания. С каждым днем эта уверенность росла и крепла, пока не охватила всех рабочих и всех служащих городка, так что даже губернатор провинции, посетив его с инспекционной проверкой, в отчетном докладе высоко отозвался о местном муниципалитете и особенно лестно — о возглавляющем его мэре. Губернатор предложил министру внутренних дел рассматривать мэра как потенциального кандидата на замещение губернаторской должности, имеющее последовать за его скорым выходом на пенсию. Министр одобрил это предложение, и теперь оставалось лишь дождаться дня передачи власти.

Пресса, радио, кинематограф были переполнены фотографическими и словесными портретами достохвальных работников муниципалитета, особенно его достохвального мэра. Его интервью в газетах занимали чуть не всю первую полосу. У радиокомментаторов просто не хватало слов, чтобы исчерпать глубину его патриотизма, донести до слушателей, скольких величественных свершений можно было бы достичь, если бы все служащие всех муниципалитетов, все рабочие, постоянные и временные, занятые в государственном и в частном секторе, более того — весь народ нашей горячо любимой родины, страны справедливости и процветания, избрали этого мэра образцом для подражания. Семья мэра безмерно ликовала в ожидании его повышения, но особенно ее радовала атмосфера паблисити, столь большой и столь искренний интерес к их персонам. Портреты членов семьи, даже фотографии их слуг и домашних животных со всеми необходимыми «кто есть кто» также во множестве появлялись в печати. Возраст, образование, размеры в сантиметрах и вес в килограммах, хобби, любимый цвет, имена любимых киноактеров, любимых певцов и певиц, знак зодиака и прочее, и прочее — все это тщательно фиксировалось опытными корреспондентами и молоденькими репортерами с журфака.

Однако, как ни странно, самого мэра подобное «паблисити» нисколько не радовало. Он явно мрачнел и даже приобрел привычку внезапно застывать в задумчивости. Однажды безо всякой уважительной причины он решил не ходить на службу, сбросил со стола, где уже сервирован

был завтрак, кучу газет и журналов и провел все утро в задумчивом созерцании календаря, висевшего на стене в спальне. Он отшил да к тому же ругмя изругал корреспондента, просившего принять его, чтобы взять интервью о глубинных причинах отсутствия мэра на службе, потом прикрикнул на жену, детей и слуг, запретив им под каким-либо видом входить и отвлекать его, плотно затворил окна, заперся на ключ и вновь сосредоточенно воззрился на календарь.

Мэр! Не сегодня завтра губернатор! Через несколько лет, кто знает, возможно, министр! И опять же, кто знает, не глава ли государства в будущем? Но ведь если восходить по всем этих ступеням, каждый месяц, каждый год отрывая листки календаря, то когда же наконец осуществится план мести, от которого он покуда так и не отказался? Как бы не пришлось откладывать его месть всем этим жалким и грязным людишкам, ничтожным искателям еды и одежды!

Он начал понимать, что его со всеми потрохами проглотила собственная тактика — ежедневное обезболивающее откладывание на завтра плана действий, который надлежало немедленно воплотить в жизнь. Теперь, ощущая в глубине души, до какой же степени поработила его эта концепция «завтра», он, к немалому изумлению, понял, что в основе успехов, достигнутых им до сих пор на ниве муниципальной деятельности — рабской жизни в полном согласии со всеми, — лежали то ликование и то ощущение силы, которыми наполняли его эти всегдашние «завтра». Он пал жалкой жертвой собственного романтизма, собственных иллюзий, какого-то онанизма, наконец.

Разве можно было надеяться, что такой вот человек сумеет отомстить? Ведь в конце концов месть — не что иное, как действие. Освобождающее, в миг осуществления, от моральных и нравственных колебаний, это действие благодаря именно своей осознанности есть нечто позитивное — результат свободного выбора, совершенного в сфере свободной воли.

Он почувствовал острую боль под ложечкой, словно туда вонзился какой-то стальной предмет. Да, он неудачник! Вся его жизнь потерпела крах! А разве чувство полного краха бывает когда-нибудь более мучительным, чем в последние минуты жизни? Именно в эти минуты, когда сердце отсчитывает последние удары, оно является со всей своей очевидностью, исполняя миссию Мункара и Накира — ангелов могилы, которые спешат спровадить вас с лика земли.

Но как раз из-за этого краха он, честно говоря, несказанно обрадовался событиям, которые разыгрались в городке, панике, которую посеял в нем эксцентричный смотритель кладбища. Разумеется, он не мог открыто выражать своего ликования. Только вообразите себе! Всеми уважаемый мэр прямо-таки скачет от радости в тот самый миг, когда во вверенном его попечению городе творится полная неразбериха. Нет, вовсе не опасения за свою будущность заставляли его сохранять сдержанность. Да ну его к черту, этот приказ о назначении! К черту губернаторское кресло! К черту блестящие перспективы! К черту причитающуюся ему статую, которую выставят напоказ в национальном музее или воздвигнут посреди одного из главных национальных парков! К черту, к черту!

Он решил воздержаться от бурных изъявлений восторга и ни перед кем не обнаруживать своей радости только потому, что все еще желал играть прежнюю роль, в которой слились воедино два взаимно противоположных стремления. С одной стороны, он жаждал всего себя посвятить заботе о благосостоянии народных масс. С другой — лелеял дьявольский замысел в то же самое время положить конец этому благосостоянию, а заодно и существованию самих масс! Эта роль вполне устраивала его. Ведь уже долгие годы он жил с двумя ее столь противоречивыми составляющими, словно с парой верных жен.

Вот почему, пока весь город гудел, как растревоженный улей, из-за дурацкой выходки смотрителя, который на собственные средства подрядил бывшего художника штукатурить стену муниципального кладбища, лично он сохранял полное спокойствие и продолжал успешно исполнять свои функции. Один за другим его подчиненные дурели, дичали, сходили с ума. Не отставали от них и прочие обитатели городка. Один лишь мэр нисколько не менялся! В отличном расположении духа он продолжал энергично отдавать приказы и распоряжения, не обращая никакого внимания на создавшуюся ситуацию. Когда никто уже не мог или не хотел утруждать себя исполнением его приказов, он решил действовать самостоятельно. Последним из таких деяний как раз и стало вручение резолюции Отдела Текущих Работ смотрителю муниципального кладбища.

Однако язвительный смех смотрителя и бывшего художника сровнял с землей его оборонительные рубежи. Особен-

но же сильно подействовал на него эпизод с замочной скважиной, когда после свидания буквально с глазу на глаз со смотрителем его душу впервые в жизни пронзило острое чувство страха, страха какого-то особого рода, неведомого до той поры. Это было для него подлинной сенсацией, грозной, пугающей! Увидеть по ту сторону замочной скважины чужой, вылезший из орбиты глаз — крохотный черный кружок в самой середине многозначительной белой сферы. По правде говоря, ему тотчас захотелось сбежать куда-нибудь подальше. Более того, сенсационное открытие, сделанное им, рождало в душе прежде чуждое ей, но теперь чрезвычайно сильное желание вообще исчезнуть с лица земли. Исчезнуть! Но вовсе не так, чтобы умереть и обрести покой в могиле. И не так, чтобы труп его изрубили на мелкие части, слепили из них комочек величиной с гулькин фиг, а потом с брезгливым отвращением размазали тот комочек по крышке шаткого, колченогого стола. Нет, ему захотелось исчезнуть так, чтобы полностью уничтожиться, исчезнуть так, чтобы обратиться попросту в ничто.

Однако самообладание, выработанное многими десятилетиями служебной деятельности, позволило ему ничем не выдать своих чувств. Сверкая глазами, блеск которых был призван выразить всю значительность его персоны, он проследовал мимо смотрителя и бывшего художника. Однако с каждым нетвердым шагом силы оставляли его, и в душе он уже не сомневался в приближении конца. Как только он добрался до середины площади, смерть вспрыгнула ему на закорки. Да, он скончается здесь. Именно здесь ему суждено скончаться. И как подкошенный, мэр рухнул наземь...

Его веки приподнялись — никогда прежде ему не доводилось видеть тупость в таком количестве и в такой концентрации. Смешанная с состраданием, она отражалась на лицах людей, что не замедлили обступить его плотным кольцом. Бог ты мой! Вот они, ненавистные создания, те, кого он всегда презирал. Вот они, ставшие в конце концов его палачами. Он возвел глаза к небу в единственном, неожиданном для самого себя стремлении отыскать точку зенита того мира, который через мгновение ему предстояло навсегда покинуть. Здесь, под этим горбатым небосводом, ему и суждено умереть, и тогда зенит застынет в самом центре его зрачком, а надир, предопределенный ему, окажется в центре багровых небес, которые опускаются

ниже и ниже над ним, как и над всяким человеком, готовым испустить последний вздох.

Так что же, крах? Теперь он чувствовал себя совершенно счастливым, ибо и краху этому наступал конец. В смерти исчезали любые видовые различия, размывались любые границы, и все обретало один-единственный цвет и одно-единственное качество — цвет и качество продолжающейся истории, которая никогда не останавливается, неизменно находя все новые и новые продолжения. Если собрать все эти продолжения, как собирают травы, и сварить из них некий однородный отвар, получится как раз то, что принято называть историческим сознанием. Те, кто не пожелал его отведать, бесследно изгладились из памяти поколений. Те же, кто рискнул хлебнуть этого отвара, высекли свою повесть на скрижалях человеческой памяти, проклиная историю, а потому и себя самих.

Наш мэр относился к числу людей, занявших промежуточную позицию между теми, кто не пожелал отведать отвара, и теми, кто рискнул хлебнуть его. Всю жизнь он страдал из-за недосмотра богов, создавших его личностью слишком крупной для обычного человеческого существа, но слишком мелкой для существа гениального. Свои страдания он делил со всем средним классом, который вчера лишь обрел в революции свободу от всяческих пут, но, сколько ни усердствовал, не сумел создать свою собственную аристократию или установить свою единоличную власть. Как ни странно, в попытках осуществить то и другое этот класс охотно подхватывал пролетарские лозунги. Увы, его выдающиеся умы так и не подвигли историков взяться за перо. В лучшем случае они добивались восторженных отзывов в местной печати, вызывали восхищение у редакторов провинциальных листков.

И вновь мэр устремил взор к точке зенита, но на этот раз с изумлением заметил, что ее более не существует. Небо расплылось, обратившись в багровую плоскость, которая все продолжала снижаться. От этого движения вниз сердце мэра чуть не выпрыгивало из груди, пока наконец не пришла минута, когда небо всей тяжестью обрушилось на него.

Придавленный багровым небом, он только и успел воскликнуть:

— Мера!!! — и тотчас испустил дух.

Предсмертный возглас мэра до смерти напугал людей,

обступивших его. Не разобрав толком, что в действительности выкрикнул покойный, они, не долго думая, пустились наутек и рассеялись по всей площади. Громкие крики ужаса вознеслись к небу, которое теперь поднималось все выше, дабы вновь занять приличествующее ему положение. По пути оно утрачивало свой багровый тон, окрашиваясь в более светлые цвета.

К тому времени, когда небо наконец повисло на прежней высоте, оно успело уже обрести голубизну, в которой нежно светилось искреннее всепрощение: прощение души, что ушла из жизни, не успев достигнуть величия, прощение так и не свершившейся мести, прощение греха, который, собственно говоря, еще только собирался стать таковым.

Площадь обезлюдела. Посреди нее осталось лежать лишь безмолвное тело мэра. В потускневших его глазах зенит встретился с надиром.

3

Как только их громкий смех умолк, бывший художник горько раскаялся в том, что всего минуту назад хохотал столь самозабвенно. Теперь, отсмеявшись, он с содроганием почувствовал, как прежняя необъятная пустота вновь заполняет все полости в темных глубинах его души.

Пустота наполнила все его чувства, и оттого в сердце художника начала разрастаться жгучая ненависть к смотрителю кладбища, подвигнувшему его на столь дорого обошедшийся смех. Вскоре ненависть открыто засветилась во взоре, которым он безжалостно сверлил смотрителя, все еще сидевшего на ступеньке, и тот внезапно понял, до чего же ненавидит его бывший художник, примостившийся на кромке стены. Смотрителю стало ясно, что дело зашло далеко и на самом дне этой ненависти уже таится страстное желание, чтобы он, смотритель, немедленно умер, точнее, сию же секунду перестал существовать.

Это открытие заставило смотрителя содрогнуться, но ему достало сил не обнаружить овладевшего им страха. Ведь и он не один десяток лет прослужил муниципальным чиновником, и он, точно дерево, что прибавляет годичные кольца, успел за это время прибавить к естественному кожному покрову специальные «служебные» слои. И он успешно ассимилировал химические элементы, благодаря которым эта самая кожа в служебное время превращалась

в броню, неуязвимую как для чужих мнений (то есть мнений, отличных от предписанного ему), так и для укоров собственной совести. *«Образцовый чиновник не имеет своего мнения и совершенно лишен совести»* — таков был завет предыдущего смотрителя кладбища, место которого он занял лет тридцать тому назад. Этот завет был начертан от руки на клочке бумаги, привязанном к левой ноге прежнего смотрителя, повесившегося в своей конторе. Поскольку же контора и тогда входила в комплекс кладбищенских строений, процесс подготовки тела к погребению и самого погребения не занял много времени. В качестве своего официального представителя мэр командировал на похороны начальника Службы Общественных Работ, и под его руководством провожаемое лишь служителями и рабочими кладбища (необходимая мера экономии!) тело прежнего смотрителя было доставлено к могиле и предано земле. Вся церемония заняла не более пяти минут, ибо еще двое усопших сограждан покойного, а также члены их семей давным-давно дожидались своей очереди в зале ожиданий у ворот кладбища.

После краткой речи начальника Службы Общественных Работ, произнесенной от имени мэра, кладбищенские служители и рабочие поспешили к воротам, впопыхах даже не засыпав гроб землей.

— Сколько же можно тянуть!— кричал бригадир могильщиков, показывая своим подчиненным пример скоростного бега, и могильщики, хоть и знали, что покойный был их шефом и что у него никого и ничего не было, не получив за труды ни гроша, не могли не согласиться с бригадиром. Словно олимпийские бегуны, они не просто бежали, но буквально летели к воротам, заранее вызнав, что один усопший, ожидавший их там, — китаец, а другой — европеец, так что оба — люди явно состоятельные. По крайней мере состоятельны их родичи. Так что едва ли они станут экономить на чаевых могильщикам.

Однако вскоре после всех этих событий перед мэром и Отделом Текущих Работ встала нелегкая проблема: должность смотрителя кладбища оставалась вакантной, и через месяц непрерывных объявлений в газетах они удостоверились в том, что никто не жаждет воспользоваться открывшейся вакансией. Это вызвало в муниципалитете немалое удивление, поскольку ни для кого не было секретом, что в тяжелые времена, наподобие тех, которые они переживали тогда, число безработных достаточно велико. Во

множестве встречались безработные и в среде интеллектуалов и полуинтеллектуалов, казалось бы, специально созданных для должности смотрителя кладбища. Вызванный мэром начальник Службы по Распределению Рабочей Силы не сумел дать сколько-нибудь удовлетворительных объяснений.

— Неужели среди стольких тысяч безработных, зарегистрированных вашей Службой, не нашлось ни одного желающего поступить на должность смотрителя? — не без строгости в голосе спросил у него мэр.

— Честное слово, ни одного, — ответил начальник Службы.

— Быть того не может! — вскричал мэр. — Вы, верно, просто манкируете служебными обязанностями. Смотрите, как бы это скандальное происшествие не стоило вам места.

— Господин мэр, вы вправе верить мне или не верить, но я лично посетил каждого из зарегистрированных у нас безработных на дому... как бы далеко они ни жили, где бы пока ни занимали жилую площадь.

— И что же они говорят?

— Они не решаются наняться на такую работу.

— Но почему?

— Во-первых, по их словам, им страшно — ведь придется каждый день иметь дело с покойниками. Во-вторых, они считают, что после самоубийства прежнего смотрителя в его конторе поселилась нечистая сила.

— С чего они взяли, что там нечистая сила?

— Ни с чего. Это одни лишь домыслы, но для них, к сожалению, достаточно веские, чтобы голодать, но не идти на такую работу.

— Но ведь, оставаясь безработными и продолжая голодать, они сами в скором времени станут покойниками, а?

Начальник Службы по Распределению Рабочей Силы согласно кивнул и принялся сосредоточенно грызть ноготь на большом пальце левой руки. Ему было ясно, что этот вопрос мэра позволительно оставить без ответа.

— Слушайте внимательно, — начал мэр, и в его голосе прозвучали угрожающие нотки. — Если через сорок восемь часов вы хоть из-под земли не добудете мне нового смотрителя, я тоже сочту это достаточно веским основанием, чтобы пересмотреть вопрос о вашем пребывании на посту начальника Службы во вверенном мне муниципалитете. Я выразился понятно, не так ли?

Начальник Службы по Распределению Рабочей Силы

побелел как полотно, но в ту минуту ему ничего иного не оставалось, как снова согласно кивнуть и столь темпераментно вгрызться зубами в злополучный ноготь, что он напрочь отлетел, а из кончика пальца закапала чистейшая, прозрачно-алая кровь.

Едва передвигая ноги, начальник Службы покинул кабинет мэра, но на следующий день ни свет ни заря сам попросился к нему на прием. Большой палец на левой руке начальника Службы был заботливо перевязан чистым белым бинтом. Таким же чистым и белым, как его сияющее лицо. Вместе с начальником Службы в кабинете появился молодой человек, с виду только-только вышедший из подросткового возраста.

— Итак, вы хотели, чтобы я принял вас сегодня же утром? — спросил мэр, в голосе которого раздражение мешалось с изумлением. — Чем это вызвано?

— Я всего лишь старался исполнить возложенную на меня миссию быстрее, чем в двадцать четыре часа, — послышался ответ.

Мэр перевел взгляд на молодого человека, стоявшего рядом с начальником Службы по Распределению Рабочей Силы.

— Это и есть тот, о ком мы с вами говорили?

— Совершенно верно.

— И что же, он не разделяет мнения других безработных о своей будущей деятельности?

— Я попросил бы вас, господин мэр, сохранять чувство меры и к тому же выбирать выражения! — внезапно прервал его молодой человек.

Мэр в изумлении откинулся на спинку кресла. От этих слов глаза у него полезли на лоб, а слюна скопилась во рту в таком изобилии, что едва не брызнула на молодого человека.

— Во-первых, я вовсе не безработный, а во-вторых, склад моей личности и характер полученного на сегодняшний день образования не позволяют мне разделять мнений, которые уже когда-либо и кем-либо разделялись.

Извержения избытка слюны не последовало. У мэра перехватило горло от какого-то совсем нового чувства, и как результат сгусток слюны сам собою оказался проглочен и возвращен обратно, в те глубины организма, которые предназначила для этого многовековая история человеческой цивилизации.

— Стало быть, вы не безработный? Но кто же вы тогда

в самом деле? Ради пророка Ноя, объясните, как вы познакомились с начальником Службы по Распределению Рабочей Силы и как согласились занять должность смотрителя кладбища в нашем муниципалитете?

— Он единственный сын одного из богатейших людей государства и к тому же докторант факультета литературы и философии, — поспешно вставил начальник Службы, стараясь прервать не в меру откровенный и нелицеприятный обмен репликами. — Вчера ровно в полночь, под проливным дождем, он постучался у дверей моего дома и спросил, не опоздал ли и может ли еще рассчитывать на место кладбищенского смотрителя, которого мы, похоже, подыскиваем.

Мэр вторично откинулся на спинку кресла. Затем вынул платок и стер со лба капельки холодного пота.

— А скажите, вы случайно не... Вы в своем уме? — спросил он сдавленным голосом.

— А вы знаете, что гласит статья гражданского кодекса о нанесении оскорблений гражданам? — в свою очередь спросил молодой человек. — Тем более если оскорбление нанесено муниципальным чиновником, скажем мэром, при исполнении служебных обязанностей?

— К черту гражданский кодекс! И вас, кстати, тоже! К черту вас обоих! Я готов назначить на это место хоть самого дьявола, только бы оно не пустовало. Если вы не передумали, немедленно отправляйтесь к начальнику Службы Общественных Работ и представьтесь ему. Для меня вы уже приступили к работе, прямо с сегодняшнего дня. Ну, всяческих успехов...

Мэр поднялся из кресла и вновь вытер пот со лба.

— Всего наилучшего! — промолвил он и вышел.

Они обменялись взглядами, после чего начальник Службы по Распределению Рабочей Силы взял молодого человека за руку и поспешил отвести его к начальнику Службы Общественных Работ.

Спустя полчаса молодой человек получил письменное уведомление о временном назначении на должность смотрителя-надзирателя муниципального кладбища. А еще через полчаса уже вселялся в помещение конторы в кладбищенском комплексе.

Мэр и все сотрудники муниципального Отдела Текущих Работ ликовали: им удалось успешно избежать кризиса, который, пользуясь благоприятным случаем, втайне стремился вызвать местный Совет Представителей, и тем самым уклониться от вотума недоверия. Вот почему внесенное

мэром предложение — за большие заслуги перед муниципалитетом повысить должностной оклад начальника Службы по Распределению Рабочей Силы — было встречено единодушным одобрением.

В конторе на столе посреди веранды новому смотрителю бросился в глаза измятый и грязный клочок бумаги.

— Эта бумажка была привязана к левой ноге покойного смотрителя, того, что здесь повесился, — пояснил бригадир могильщиков.

Надпись, от руки начертанная на клочке, гласила: *«Образцовый чиновник не имеет собственного мнения и совершенно лишен совести»*.

Молодой смотритель несколько раз внимательно перечитал эту фразу. Позднее, уже перед ужином, когда золотые лучи закатного солнца померкли среди могил, а затем и вовсе покинули кладбище, он старательно разгладил измятый листок, аккуратно сложил его и спрятал между страницами 601 и 605 своей любимой книги — на редкость пухлого учебника философии (страницы 602, 603, 604 — самый конец раздела о логике — в этой книге отсутствовали).

Природная острота ума позволила ему быстро освоиться с работой и всем, что имело к ней отношение. Хотя ему не довелось получить технического образования или пройти производственное обучение, та же острота ума и особенно выработанные за годы лекций по философии навыки дисциплинированного, критического мышления вкупе с артистическим складом души и развитым воображением позволили ему в кратчайший срок овладеть знаниями, необходимыми для смотрителя-надзирателя кладбища. Кладбищенские рабочие и служащие ни в коей мере не сомневались в его компетентности. Они полагали, что кто-кто, а уж он-то явно получил необходимую подготовку и имеет большой опыт работы.

Такого же мнения придерживались и вышестоящие чиновники муниципалитета, включая начальника Службы Общественных Работ. Он был как нельзя более удовлетворен деятельностью нового смотрителя. Он восхищался его энергией, добросовестностью, умением организовать и возглавить рабочих и служащих, сплотить их в единый трудовой коллектив, где царила атмосфера братства и взаимопомощи. Однако особое уважение вызывали тот строгий метод и та систематичность, которыми новый

смотритель сумел пронизать и наполнить буквально весь погребальный процесс, начиная с доставки тела в катафалке к воротам кладбища и кончая возведением могильного холмика. Тесное взаимодействие с частными погребальными бюро, с муниципальными органами по делам умерших (такими, как муниципальная Служба Здравоохранения и Служба Гражданской Регистрации), с персоналом больниц и моргов, с транспортной полицией, обеспечивающей порядок следования к кладбищу похоронных процессий, — все эти виды взаимодействия были налажены с таким блеском, осуществлялись так бесперебойно и с такой эффективностью, что погребение в целом стало занимать менее часа. Подобное ускорение погребального процесса в конце концов привело к тому, что заинтересованные организации и ведомства начали испытывать недостаточную загруженность, дефицит производственной занятости.

Сотрудники этих организаций и ведомств почувствовали, что им нечем заполнить свободное время. Весь рабочий день они только зевали, клевали носом и проклинали обстоятельства, заставлявшие их бесцельно простаивать. Чтобы положить конец длительным периодам позевывания и задремывания, они потребовали увеличить число поступающих покойников! Однако, поскольку никаких эпидемий ни в городе, ни в его окрестностях не наблюдалось, никто не мог удовлетворить их требований. Газеты тоже не приносили вестей о войнах или народных волнениях, уже разразившихся или по крайней мере готовых разразиться со дня на день. Все это служило ярким свидетельством того, что в обозримом будущем роста смертности в городе не предвидится.

В один прекрасный день мэр понял, что ему следует поставить вопрос об угрожающем дефиците загруженности кадров на заседании Отдела Текущих Работ. Увы, за все время заседания так и не удалось достичь единства мнений по этому вопросу. Одни работники Отдела предлагали немедленно уволить нового смотрителя, ибо он, и только он — подлинный виновник дефицита загруженности. Особенно беспокоило их, как бы эффективные методы работы смотрителя не получили в скором времени распространения в других государственных учреждениях и на частных предприятиях. Не исключено, утверждали сторонники увольнения, что тогда весь наш город и более того — всю страну поразит моровая язва дефицита загруженности. Во что превратится государство, экономический потенциал

которого будет в корне подорван таким дефицитом? — вопрошали они под конец обсуждения предлагаемой резолюции и добавляли, что следует произвести тайное расследование, которое установило бы, кем в действительности является новый смотритель кладбища. Не выразитель ли он взглядов и концепций, пришедших из-за рубежа и таящих угрозу для всей нашей нации, всего государства в целом?

Однако другие сотрудники муниципального Отдела Текущих Работ никак не могли одобрить предложений, содержащихся в резолюции сторонников увольнения. Более того, они заняли прямо противоположную позицию, считая, что новый смотритель выполняет возложенную на него задачу наилучшим образом, именно так, как ее и должно выполнять. Уж если кого и следует винить в создавшемся положении, продолжали они, так это самое науку с присущими ей рационализмом и позитивизмом, которая среди прочего привила современному человечеству стремление к объективному анализу, наделила его категориальным аппаратом, системным подходом, специфическим методом. Однако, развивали они свою мысль далее, имеем ли мы право всерьез обвинять науку в создании ситуаций, подобных той, что анализируется сегодня? Не следует ли нам прежде всего шире взглянуть на место и функцию науки в отсталых странах, подобных нашей? В заключение сторонники данной точки зрения предлагали заново со всей тщательностью рассмотреть объем производственной загруженности на душу населения в плоскости национальных проблем, встающих перед отсталыми или, употребляя не столь обидный термин, развивающимися странами. В особенности это касается рабочих и служащих, испытывающих дефицит такой загруженности, о чем уже поступали тревожные сигналы. Для этой цели рекомендовалось создать комиссию по анкетированию населения, которая, исследовав род деятельности каждого рабочего и служащего — жертвы дефицита загруженности, сумеет, в соответствии с выявленными родами деятельности, отыскать оптимальное сочетание форм трудовой активности, подлежащих осуществлению в периоды вынужденного простоя между похоронами предыдущего и последующего покойника. Разумеется, при определении соответствующих оптимальных сочетаний будут учтены образовательный уровень и степень компетентности того или иного индивида, а также, что особенно важно, его происхождение, социальное окружение и культурный фон.

Оба мнения показались мэру одинаково разумными, и поэтому он передал вопрос о смотрителе кладбища на решение вышестоящему руководителю — губернатору округа. Однако и губернатор вместе со штатом своих советников не сумел справиться с чрезвычайно сложным вопросом и передал его на рассмотрение еще выше — его превосходительству министру внутренних дел. Его превосходительство и штат его советников только почесали в затылках и переадресовали вопрос его превосходительству премьер-министру. Премьер-министр посвятил этому вопросу ряд экстренных заседаний кабинета, однако собрание их превосходительств также только качало головами и на все вопросы журналистов отвечало односложным «комментариев не будет».

В соответствии с демократическими принципами, которых официально придерживалось государство, вопрос о смотрителе кладбища был незамедлительно внесен кабинетом на рассмотрение сессии парламента. И вот здесь-то, в парламенте, он и был открыто поднят на государственную высоту. Фракции сторонников и противников смотрителя были в равной мере активны. Хаос парламентской борьбы еще более усугубляло то обстоятельство, что мелкие фракции, обычно обеспечивавшие равновесие политических сил, на этот раз предпочли воздержаться от открытых выступлений. Сообщения прессы о парламентских дебатах подогрели и без того напряженную эмоциональную атмосферу в стране. Отовсюду сообщали о тайных митингах, повсюду тайно расклеивались листовки подрывного содержания, повсюду распространялись анонимные письма с изображением черепа и скрещенных костей, наполненные угрозами и клеветническими измышлениями, по ночам и перед рассветом тут и там раздавались конспиративные телефонные звонки, и одни хорошо законспирированные личности передавали конспиративные распоряжения другим хорошо законспирированным личностям. Даже проповедники в мечетях и церквах приняли участие в этой полемике, больше рассказывая о войнах и восстаниях, чем истолковывая хадисы и стихи священных книг. Все это заставило его превосходительство премьер-министра вновь провести серию экстренных заседаний кабинета.

В конце концов документация по данному вопросу, составившая вместе с отчетом о вызванных им эксцессах увесистую пачку бумаг, была направлена его превосходи-

тельству главе государства. После углубленного, детального обсуждения возникших проблем, которое глава государства вместе со своими советниками и экспертами вел до глубокой ночи, он издал декрет следующего содержания:

1. На территории всей страны, в масштабах всей нации восстанавливается status quo.

2. Проблема, первоначально выдвинутая смотрителем кладбища, находящегося в ведении одного из муниципалитетов, объявляется разрешенной наилучшим образом, что означает, что означенного смотрителя следует считать никогда не выдвигавшим никаких проблем.

3. В дальнейшем означенный смотритель навсегда сохраняет за собой прежнюю должность; одновременно мэру города, Отделу Текущих Работ и местному Совету Представителей поручается вернуться к рассмотрению мер по рационализации производства, внедренных означенным смотрителем, с непременным условием решения всех вопросов на принципах разумности и совещательности.

4. Настоящим декретом упомянутая проблема объявляется во всех деталях разрешенной; запрещается ее дальнейшее обсуждение как на заседаниях, массовых митингах, в газетных передовицах и подвалах, так и в доверительных беседах в кофейнях.

5. Нарушение настоящих постановлений карается по всей строгости закона, предусмотренной уголовным кодексом и официальными распоряжениями, изданными в связи с этой проблемой.

Этот недвусмысленно сформулированный декрет заставил содрогнуться от страха всю страну. Главы прежде столь различных фракций были теперь в равной степени бледны. Они лишились сна. По ночам их мучили кошмары. На территории страны внезапно резко подскочило число больных гипертонической болезнью и нервными расстройствами. У невропатологов не стало отбоя от пациентов. Санатории переполнились. Учреждения и заводы опустели, поскольку большинство рабочих и служащих взяло отпуска по состоянию здоровья.

Осознав, сколь скверный оборот принимает дело, кабинет министров, парламент и глава государства вернулись к исполнению своих обязанностей. Перед их глазами вставали грозные картины новой национальной катастрофы: подрыва в масштабах всего государства потенциала рабочей силы или — что еще ужасней — превращения страны в гигантский санаторий для нации, поголовно охваченной

нервными расстройствами и психическими заболеваниями.

В один из дней глава государства поднялся по трапу личного самолета и вылетел в небольшой городок, где обитал молодой кладбищенский смотритель, виновник потрясений и бедствий, обрушившихся на страну. Его превосходительство лично посетил жилище смотрителя, входившее в комплекс муниципального кладбища. В тот полдень кладбище было переполнено людьми — мертвые смешались с живыми.

Молодой смотритель с чувством глубокого уважения приветствовал его превосходительство главу государства и сопровождающих его лиц. При виде столь энергичного и привлекательного юноши министры, окружавшие его превосходительство, пришли в полное изумление. На душе у самого его превосходительства также потеплело — никогда прежде ему не доводилось встречать такого открытого лица.

А вскоре в рядах сопровождающих лиц началась полная паника. Они стали свидетелями того, как, дружески поддерживая молодого смотрителя под руку, его превосходительство проследовал вместе с ним в маленький палисадник позади конторы. Вскоре адъютант главы государства, запыхавшись и тяжело дыша, подбежал к его превосходительству премьер-министру и сообщил, что сию минуту подслушал часть беседы между главой государства и молодым смотрителем. Он сумел уловить множество латинских имен, какие-то замечания о Сократе, о ком-то еще, а также взволнованные рассуждения обоих о Шекспире. Его превосходительству премьер-министру не удалось скрыть своего недоумения, но в этом и не было нужды, ибо такое же недоумение выразили и все остальные превосходительства.

Через два с половиной часа глава государства возвратился к своей свите. Его лицо буквально светилось. В автомобиле он то и дело похлопывал премьер-министра по плечу и без умолку говорил:

— Этот юноша — гений в полном смысле слова! Никогда прежде не видел таких. Как молод и при этом как умудрен, как зрел душой! Он знает назубок все философские системы и течения с древнейших времен до наших дней. И мало того, что знает, — может изложить их вам на человеческом языке без всяких этих терминов, от которых только наживешь мигрень.

Премьер-министр согласно кивнул. В душе он страстно

мечтал поскорее очутиться дома и наконец-то угоститься горячим шоколадом с молоком, который превосходно готовила его жена.

— А как он начитан в мировой литературе! Он может вам перечислить всех великих писателей и все их сочинения. Когда я в разговоре процитировал Шекспира: «*Да, уж это так; потому что, видите ли, грехи отцов взыскиваются на детях. Потому, уверяю вас, я за вас боюсь. Я всегда был...*» — он тотчас продолжил: «*...с вами откровенен; и теперь выражаю вам свою ажитацию по этому поводу; поэтому уж будьте спокойны, я уверен, что вы осуждены на вечные муки. Правда, есть еще одна надежда, которая могла бы вам помочь... Да и та вроде как незаконнорожденная надежда...*»[1].

Просто потрясающий парень, не так ли? А какая память! Он в ту же минуту сумел сказать, что я цитирую «Венецианского купца», сцена пятая, акт третий. Просто потрясающе, ну и ну!

Его превосходительство премьер-министр вновь согласно кивнул головой, в которой меж тем явилось видение постели, застланной белоснежной простыней, и его жены в розовато-красном пеньюаре, свежо благоухающей шампунем «Камей». Про себя он на чем свет стоит проклинал Шекспира, Сократа, недоумков-философов и особенно снобов, которые в нынешнем веке, похоже, поселились даже во дворцах глав государств.

— Не могу взять в толк, почему он решил ограничиться должностью смотрителя кладбища, — продолжал рассуждать его превосходительство. — С его-то умом, с его складом личности, с его молодостью — самая что ни есть безответственная расточительность ограничивать себя кладбищем.

— Наш нынешний министр культуры давно просит об отставке. Говорит, что хочет предаться отшельничеству в святой обители на какой-то горе, которая, по данным вулканологической службы, не что иное, как действующий вулкан. Странно, ей-богу, странно, но он сам об этом попросил. Как вы думаете, ваше превосходительство, не является ли молодой человек, с которым вы только что познакомились, лучшим кандидатом на пост министра культуры, раз прежний министр так рвется в отставку? —

---

[1] Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник. — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

спросил премьер, чрезвычайно при этом довольный тем, что наконец-то сумел адресовать главе государства достаточно длинную фразу.

— Да, я знаю, — ответил тот. — Простите меня, дорогой премьер, но тогда, во время разговора, я... э-э... без согласования с вами напрямик предложил этому юноше пост министра культуры.

— И что же, он принял ваше предложение?

— Нет.

— И правда странный юноша.

— Знаете, он отверг даже пост премьер-министра.

— Премьер...?

— Да, дорогой, премьер. Но прошу вас, не стоит на меня сердиться. Я только хотел испытать его, но не успел еще начать, как он поспешно меня прервал и сказал, что не согласился бы занять даже пост главы государства.

— Действительно потрясающе, совершенно потрясающе, — задумчиво проговорил премьер-министр, а про себя в очередной раз посмеялся над философией, разумом, скромностью и всеми другими штучками интеллектуалов, более всего смахивающими на проявления самого обычного кретинизма...

Через месяц его превосходительство, просвещенный и мудрый глава государства, скончался. Личные врачи так и не смогли установить точной причины смерти. Они знали только одно — после посещения молодого смотрителя кладбища его превосходительство был неизменно печален, словно юнец, чье сердце разбила безответная любовь. У него совершенно пропал аппетит, а половое влечение находилось на точке полного замерзания, о чем свидетельствовало поведение его супруги, весь день напролет безо всяких к тому разумных оснований распекавшей обслуживающий персонал дворца.

В то утро, когда глава государства не сумел подняться с постели, несколько иностранных послов ожидали его в зале для приемов, чтобы вручить свои верительные грамоты. Наконец адъютант, у которого истощилось терпение, осмелился войти в спальню шефа. Через минуту он выбежал оттуда, крича секретарю его превосходительства, что главы государства более нет в живых, что он скончался...

Со всеми надлежащими почестями тело его превосходительства, покойного главы государства, предали земле. Его преемником граждане единодушно избрали премьер-

министра, отличавшегося прагматизмом и чуждого всякой сентиментальности. В своей речи по случаю принятия присяги новый глава государства предложил будущему премьер-министру, пока еще не назначенному, осуществить следующую программу действий:

1. Ограничить роль и влияние Шекспира, а также других писателей сферами искусства и культуры.

2. Покончить с ложной философией и лживыми философами.

3. Покончить со снобизмом и снобами.

4. Покончить с шарлатанством во всех областях жизни, особенно в сфере управления государством.

Как ни странно, молодой смотритель кладбища в известном нам маленьком городе не был отстранен от должности. Он не мог, однако, сдержать непреодолимого желания написать краткое личное письмо новому главе государства. Письмо гласило:

«Оставайтесь и впредь таким же, как сейчас. Я бесконечно высоко ценю вас».

Молодой смотритель несколько раз перечитал его, аккуратно сложил и спрятал между страницами 960 и 965 любимой книги, на редкость пухлого учебника философии (страницы 961, 962, 963 и 964 — самый конец раздела об этике — в этой книге отсутствовали).

4

С тех пор он уже во второй раз приспосабливался к изменившейся обстановке, о чем его настоятельно просил новый глава государства. Он добровольно отменил все мероприятия по рационализации своей деятельности и пообещал мэру в будущем работать «как все». Теперь мэр неизменно восхищался им, а рабочие и служащие кладбища, прежде ненавидевшие смотрителя, сменили гнев на милость, неустанно его расхваливали и в знак признательности задаривали рисом с шафраном, бананами и свежими куриными яйцами. Однако надо сказать, что и собственное его отношение к рабочим и служащим муниципального кладбища в корне изменилось. Он более не находил ника-

кого удовольствия в том, чтобы поболтать и посмеяться с ними, и без всяких к тому оснований прекратил содержательные лекции, которые прежде дважды в неделю читал им у себя на дому.

Отныне все дни он проводил в конторе, и никто не знал, чем он там занимается. Он выходил наружу, лишь когда на кладбище прибывал новый покойник, готовый к погребению, издали наблюдал за живыми, провожавшими умершего в последний путь, и, прежде чем церемония заканчивалась, поспешно возвращался в контору, все окна и двери которой были наглухо закрыты. По ночам, чаще всего в полнолуние, он покидал свое убежище и прогуливался по кладбищу. Ночь напролет он расхаживал среди могил, а когда ранним утром на горизонте занималась заря, торопливо скрывался в доме и спал как убитый до полудня.

Все распоряжения рабочим и служащим он начал отдавать в письменной форме. План работ на день писался на клочке бумаги и затем накалывался на гвоздь, вбитый в один из столбов лестницы, ведущей в контору. По утрам бригадир могильщиков являлся к конторе, снимал соответствующую инструкцию с гвоздя и знакомил с ее содержанием кладбищенских рабочих и служащих. По вечерам, после окончания рабочего дня, он же накалывал на гвоздь отчет о проделанной работе. В полночь, когда уже никто не мог его увидеть, смотритель забирал этот отчет, тщательно изучал его и составлял новый план на будущий день. С тех пор уже не один десяток лет он именно так руководил деятельностью кладбища, и все шло гладко, без каких-либо срывов. Кладбищенских рабочих и служащих такая форма руководства вполне устраивала. В не меньшей степени она устраивала и вышестоящие инстанции — муниципальные власти. Разумеется, им приходила на ум некоторая необычность происходящего, однако, поскольку никаких неполадок в работе кладбища не наблюдалось, они воздерживались от комментариев.

Как-то раз к мэру явились два посетителя — отец смотрителя кладбища и профессор университета, которые вежливо, но весьма настойчиво попросили его немедленно уволить смотрителя.

— Но на каком основании? — спросил мэр, чуть не лопнув от изумления.

— На том, — отвечал отец смотрителя, — что он мой единственный сын, а значит, и единственный наследник всего моего состояния.

— А кроме того, — вмешался в разговор второй посетитель, — он мой ученик, вполне созревший для докторской степени и входящий в число наиболее одаренных студентов.

— Ну и что? Что вы хотите этим сказать? — с досадой в голосе воскликнул мэр.

— Что? Господин мэр еще спрашивает «что»? — выкрикнул в ответ отец смотрителя. — Неужели юноша его обаяния, его богатства, его способностей должен закончить свои дни среди могил вашего кладбища?

— Ну, знаете ли, это личное дело, касающееся только вас и его, я же, как мэр, не имею к вашим личным делам никакого отношения. Надеюсь, вы меня понимаете?

— Но и вы, господин мэр, попытайтесь понять, — промолвил профессор, впадая в нервический тон. — Этот юноша — гений, который просто не может не внести неоценимый вклад в развитие философии.

— Хватит, хватит! Довольно! — закричал мэр, похоже вконец выведенный из равновесия. — Пускай он гениален, как не знаю кто, пускай, по-вашему, он хоть сам господь бог — для меня официально он всего лишь один из моих служащих, точнее — смотритель кладбища, принадлежащего муниципалитету, который я возглавляю. Вам понятно? Он сам, по собственной воле пришел сюда, чтобы поступить на эту должность, и мы в свою очередь также добровольно положительно откликнулись на его предложение. Во всей процедуре найма не было и тени принуждения, так что теперь, пожалуйста, не просите меня совершить нечто явно нелепое: безо всякого повода, без каких-либо разумных административных оснований уволить его, уволить одного из моих служащих, имеющего прекрасную характеристику. Говоря объективно...

— Ну и ну, господин мэр, вы, похоже, вступаете в область весьма и весьма сложных проблем. Я имею в виду проблему объективности. Согласно учению Канта...

— Хватит! К черту вашего Канта! А кстати, э-э-э... кто он такой, этот господин Кант?

— Не устаю удивляться, господин мэр, вы как будто и сами готовы проявить объективность.

— Что?!

— Так вот, Кант, Иммануил Кант, — немец по национальности, немецкий философ...

— Все, все! Довольно.

— Довольно?

— Да, совершенно достаточно. Если он действительно немец, я прекрасно знаю, кто он такой и что у него за философия.

— Как, господин мэр, вы изучали Канта? Как это мило с вашей стороны, очень мило!

— Нет, не изучал и не вижу во всем этом ничего милого. Разве для вас не достаточно, что он, то есть Кант, во-первых, по национальности немец, а во-вторых, немецкий философ?

Профессор на миг задумался, потом покачал головой.

— В том, что вы только что сказали, заключен очень глубокий смысл, — заметил он.

— В чем заключен глубокий смысл? — изумился мэр.

— В том, что вы только что сказали. Мне, право, еще не доводилось рассматривать проблему Канта с точки зрения его национальной принадлежности. А ведь это действительно нечто потрясающее!

Мэр отнюдь не испытал чувства гордости от похвалы, которой удостоил его профессор. Напротив! Природная ненависть к клану ученых, редковолосых, очкастых, привыкших говорить обо всем с эдаким сомнением в голосе и деланно всему удивляться, теперь разгорелась в нем в полную силу, подстегнутая словами профессора, который бесстыдно ставил на своей визитной карточке: «Доктор философии». Мэр считал это признаком беспредельной заносчивости, безграничного самолюбия, презрения к простоте, полной утраты чувства меры. Он снял очки и, прикрыв глаза, проговорил так, словно старался выучить наизусть чрезвычайно трудный текст:

— Я хотел бы проявить добрую волю и, чтобы по возможности упростить данный вопрос, предлагаю вам, господа, непосредственно связаться с означенным смотрителем. Если он пожелает уйти с занимаемого поста, я со всем подобающим уважением выдам ему свидетельство об увольнении. Вы удовлетворены?

— Вполне, вполне удовлетворены! — одновременно воскликнули отец смотрителя и профессор и поспешили покинуть кабинет мэра.

— Всего вам наилучшего, господа! Желаю успеха вашему предприятию.

Когда оба посетителя скрылись за дверью, мэр расхохотался, и столь оглушительным был тот хохот, что секретарша мэра, не на шутку напуганная им, сочла своим долгом опрометью броситься в кабинет шефа.

— Попросите ко мне начальника Службы Общественных Работ! Ха-ха-ха! — покатывался мэр.

И сколь же велик был ужас секретарши, когда через минуту она услышала, как два высоких должностных лица, мэр и начальник Службы Общественных Работ, дружно хохочут, точно безумные!

Ровно через час обладатель несметного состояния и профессор философии вновь предстали перед мэром. Мэр с величайшим трудом подавил приступ хохота, а начальник Службы Общественных Работ прильнул к замочной скважине.

— Итак! Каковы результаты вашей миссии, господа? — спросил мэр, предпринимая отчаянные усилия не рассмеяться.

Отец смотрителя понурился... В эту минуту его лицо более всего напоминало солнечный диск при полном затмении. Профессор подал мэру клочок бумаги.

— Что это у вас? — поинтересовался мэр.

— Его решение в письменной форме, — отвечал профессор, прерывисто дыша и столь же прерывисто выговаривая слова.

— Но вы хотя бы виделись с ним?

— Нет, он не пожелал встречаться с нами, даже из дому не вышел. Бригадир носильщиков передал нам бумагу и карандаш и попросил написать, кто мы такие и какова цель нашего визита.

— А потом?

— Потом он вручил нам вот этот ответ.

Мэр надел очки и прочитал:

«Повседневные наблюдения по месту нынешней службы привели меня к выводу, что богатство и любого рода материальные ценности утрачивают свое подлинное значение перед стенами кладбища. Вместе с тем обретение истинного философского знания возможно лишь в атмосфере, царящей внутри кладбищенских стен. Поэтому впредь прошу оставить меня в покое. Я богат и счастлив!»

Дочитав записку до конца, мэр почувствовал, как ледяное дыхание полярных широт через полость рта ворвалось в недра его тела. Еще больше испугало его внезапное исчезновение отца смотрителя и профессора философии. В следующее мгновение, однако, за окном кабинета он увидел очертания двух фигурок, которые, пошатываясь, плелись по улице, выжженной беспощадными лучами полуденного солнца.

Мэру захотелось рассмеяться, наконец-то дать выход удовлетворенному чувству мести, излить его в торжествующем хохоте, который он так долго сдерживал, но сгусток слюны, некстати поднявшийся из горла, точно кляп заткнул ему рот, лишив всякой возможности осуществить это намерение. Когда же смутные очертания двух фигурок скрылись вдали, мэр, сам того не ожидая, всхлипнул — слезы навернулись ему на глаза, заставив на этот раз вступить в неравную схватку с капельками прозрачной жидкости, хлынувшими наружу из каких-то глубочайших глазных бездн. Капельки намочили рубашку, собравшись струйками, просочились за ворот, добрались до груди, увлажнив ее. И тогда влага, застлавшая глаза и насквозь пропитавшая душу мэра, скрыла от его взора выжженную полуденным солнцем безлюдную улицу за окнами кабинета...

А в это самое время в конторе смотрителя кладбища пара рук перелистывала страницы на редкость пухлого учебника философии. Она извлекла на свет два клочка бумаги, заложенных между страницами 610 и 615, а также между страницами 960 и 965, ненадолго расположила их бок о бок на одной невидимой линии, а затем поместила между страницами 1240 и 1245 (страницы 1241, 1242, 1243 и 1244 — самый конец раздела о религии — в книге отсутствовали).

Вскоре пару рук охватила заметная дрожь. Десять пальцев, составлявших их неотъемлемую принадлежность, что есть сил сжались в кулаки. Обе руки густо покраснели, а вены на запястьях вздулись, обнаружив столь же густую синеву. Дрожь в руках усилилась. Потом два выставленных вперед кулака, не переставая дрожать, начали подниматься вверх, и внезапно на них, задержавшихся на уровне глаз, упало по капле самой прозрачной из жидкостей. По следам первых капель одна за другой побежали новые, заструились вереницей. Пальцы, разжимавшиеся по мере дальнейшего подъема, в конце концов распрямились, непреложно указуя ввысь, в том направлении, куда устремляются все молитвы и все проклятия.

Когда западный край небосвода поглотил солнце, погрузив могилы во мрак, пара рук все еще была простерта к небесам, точно два бутона, раскрывшихся тотчас по окончании ливня. Влажная свежесть прогнала сушь. Дрожь в руках унялась, и осталась лишь пара широко открытых глаз, пронзающих взглядом темноту, да тихое дыхание, раз от разу все более ровное, — единственный звук в тишине...

В один прекрасный день бригадир могильщиков наколол на гвоздь, забитый в столб, извещение следующего содержания: *«Земли для новых могил больше нет, а численность покойников в последнее время день ото дня увеличивается».*

Смотритель кладбища немедленно препроводил полученное извещение муниципальным властям. Поскольку же земельные участки, окружавшие кладбище, находились в собственности частных лиц, которые не испытывали ни малейшего желания продать принадлежавшие им земли муниципалитету, тем более для расширения территории кладбища, муниципальные власти направили смотрителю следующий официальный ответ: *«В интересах общественного спокойствия ликвидируйте все могилы пятидесятилетней и более давности. Освободившуюся площадь используйте для новых захоронений».*

Родственники покойников с пятидесятилетним и более стажем были крайне обеспокоены означенным распоряжением. Нисколько не сомневаясь в справедливости того, что костные останки дорогих им умерших уже давно составляют единое целое с землей, они тем не менее считали, что уважаемые граждане должны располагать законным и столь же уважаемым местом, которое посещается в целях поминовения. Родственники покойных обнаруживали полное безразличие к теологическим и мистическим дискуссиям о последнем местопребывании душ, в которые их пытался втянуть смотритель кладбища. Как и он, они верили в существование таких внепространственных институций, как ад и рай, но при этом страстно желали здесь и сейчас обладать географически определенным участком земной поверхности, где можно было бы поминать умерших сородичей. Каждый живой был связан тесными узами с совершенно конкретным покойником. Как бы ни был этот живой беден, он знал, что у него непременно есть хотя бы один умерший родственник, а то и гораздо больше оных, и институцией, в законном порядке удовлетворявшей подобный взгляд на вещи, как раз и была могила.

Этот же взгляд объяснял, почему войны утрачивают свою привлекательность для людей. Ведь, как известно, хотя герои гибнут, найти и опознать их останки обычно не удается. Тогда для них сооружается братский погребальный комплекс, известный под названием «памятник неизвестному солдату», архитектурные достоинства которого часто способны вызвать лишь глубокое отвращение. Родственники павших героев ревниво взирают на семьи зауряд-

ных покойников, ибо члены этих семей могут невозбранно навещать родные могилы на собственный манер — без грохота труб, уныло наигрывающих государственный гимн или героико-патриотические песни, без венков со слезливыми надписями, без назойливых фотографов. Нет войне! Родственники павших — горячие поборники мира, им ненавистны военные конфликты.

Однако приказ есть приказ. Могилы пятидесятилетней и большей давности были раскопаны, и новые мертвецы обрели в них вечный покой. Каждый следующий сантиметр под поверхностью земли — не что иное, как остаток старой могилы, вновь и вновь превращающийся в новую. Да и сами мы — будущие покойники, шагающие по старым трупам. Вся наша земля принадлежит умершим. Земля — это царство смерти.

Ну а что же такое жизнь? — спрашивал себя смотритель, продолжая прерванное рассуждение. Он неспешно прогуливался вдоль кладбищенской стены. Тем временем наступила глубокая ночь. Потом и ночь подошла к концу. Он ожидал первых признаков зари, которые послужили бы достаточным поводом, чтобы не мешкая скрыться за дверями конторы.

И все же, что такое жизнь? Ответ, который он получил прошлой ночью, слушая пение совки, взывавшей к серебристому серпику луны, не принес удовлетворения. Как ему показалось, этот ответ звучал примерно так: «Жизнь — всего лишь атмосфера смерти, ее природная среда». Сколь бы глубоко понятие «природной среды» ни повлияло на всю современную философию и литературу, такое утверждение не производило особенно убедительного впечатления. К тому же смотрителю почудилось в нем нечто банальное.

Сделав еще несколько шагов, он остановился. Под аркой ворот, мимо которой он как раз проходил, на стене белела какая-то листовка. Вероятно, прошло не больше трех-четырех часов с тех пор, как ее тут наклеили, — там и сям сквозь бумагу еще проступали пятна сырого клея. Щекочущее чувство любопытства закралось в его душу. Он зажег карманный фонарик и, осветив листовку, увидел фотографию человека. Набранная огромными буквами надпись под фотографией гласила: *«Просим доставить живым или мертвым»*. Под фотографией было напечатано: *«За очень крупное вознаграждение»*, и в самом низу справа — *«Полиция»*.

Вся его кровь словно бы обратилась в песок, который, струясь, обдирал внутренние оболочки тела, точно наждак. Живым или мертвым. Он снова включил фонарик. Разыскиваемый человек, подумал он, по существу, уже мертв. Но почему? Потому что... он обречен умереть. Не на виселице, так у стенки. Не расстрелянный, так обезглавленный. Не на плахе, так на электрическом стуле. Человеческая цивилизация неизменно совершенствует средства и методы возвращения своих создателей к их изначальному состоянию — небытию, смерти. И пусть прежние методы все еще остаются чрезмерно прямолинейными, слишком грубыми, иными словами — недостаточно цивилизованными, и среди них поныне существует более утонченная казнь — пожизненное заключение! Прибегая к казни подобного рода, государство, однако, достигает лишь того, что оказывается в унизительном положении — обращается с трупом как с живым существом. Столь легко и беззаботно умертвив человека, оно вслед за тем принимает на себя всю тяжесть добросовестнейшей заботы... о мертвеце!

У смотрителя подкашивались ноги, но он понимал, что просто обязан оторваться от этой треклятой бумажки. Каково же было его удивление, когда, пройдя всего несколько метров, он заметил в другом месте стены еще одну, точно такую же листовку. Посветив фонариком, он увидел, что вся стена заклеена одинаковыми листовками, расположенными на равных расстояниях друг от друга. Внезапно навалившаяся усталость заставила его опуститься на ступеньку лестницы, однако через мгновение он вновь вскочил на ноги и поспешно скрылся за дверями конторы, ибо в это самое мгновение сквозь грязную пелену облаков, скрывавших восточный край неба, проглянула белая полоска света — занималась заря!

В ярости он затопал ногами, но ярость эта, ни на что не направленная, лишь бесцельно металась по кругу, лишая его последних сил. Он не мог понять, зачем понадобилось заклеивать листовками стены кладбища, особенно ее внутреннюю сторону. Подобное действие означало, что территория за стенами кладбища объявляется чем-то общедоступным, чьи границы каждый может пересекать в любом направлении как физически, так и духовно. Далее, это означало, что кладбище утрачивает свое первоначальное предназначение, и, наконец, свидетельствовало о том, что смерть и статус умершего больше не признаются чем-то священным и неординарным.

Смотритель продолжал мучительно напрягать свой мозг. Так что же это все-таки означало? Неужели в мире за стенами его кладбища все понятия и представления успели претерпеть столь радикальную эволюцию? Неужели он так отстал от века, что теперь этот мир взирает на него как на какое-то доисторическое существо? Листовки, расклеенные полицией, не давали ему покоя. Уж не подозревает ли она, что человек, фотография которого красовалась на листовках, скрывается где-то среди могил кладбищенского комплекса?

Внезапно его точно током ударило. Фотография! Кто же там на ней?

Ночью его так поразили слова «живым или мертвым», что он почти не обратил внимания на саму фотографию. Теперь же какое-то странное чувство охватило его: воспоминание о том человеке с фотографии, лишь на миг мелькнувшей перед глазами, безжалостно и настойчиво застучалось в глубинах его черепной коробки. И тогда, не в силах справиться с невыносимой головной болью, он был вынужден нарушить принцип, которого пунктуально придерживался в течение двадцати пяти лет, — не показываться на глаза себе подобным от восхода и до захода солнца. Иного выхода не оставалось!

Шагами столь же широкими, сколь и решительными он вышел из конторы и возблагодарил бога за то, что, хотя утро было уже в полном разгаре, ни один из рабочих и служащих пока еще не появился на кладбище. Он опрометью бросился к ближайшей из расклеенных листовок... и не поверил своим глазам. Человек, изображенный на листовке столь кровожадного содержания, как две капли воды напоминал одного из его бывших знакомых. Более того, не одного из бывших знакомых, а сразу нескольких. Именно так, и даже не бывших, а нынешних. Всмотревшись в листовку поближе, смотритель почувствовал, что лицо, глядевшее с нее, кажется ему все менее чужим. Оно обнаруживало поразительное сходство со многими, кого он знал, да что там — со всеми ними, а особенно... с ним самим!

— Я — это я! — в ярости воскликнул смотритель и, сорвав листовку, разодрал в клочья. За первой листовкой последовали другие. В конце концов смотритель изорвал все листовки, которыми была заклеена стена, и в ту самую минуту, когда он расправился со своей последней жертвой, в воротах кладбища показался бригадир могильщиков. Словно при виде дьявола, представшего ему собственной

персоной, бригадир истошно завопил! Насмерть перепуганный смотритель ответил воплем на вопль и бросился в контору.

Бригадир могильщиков не удержался от того, чтобы поведать о виденном и пережитом рабочим и служащим кладбища. Рабочих и служащих охватила паника, которая, надо сказать, многократно усилилась, когда по прошествии недолгого времени в дверях конторы появился ни больше ни меньше как сам смотритель, обнаруживший явное желание направиться к ним.

Большинство рабочих и служащих тотчас пустились наутек, что было вовсе не удивительно, поскольку за все годы службы им ни разу не доводилось видеть смотрителя. Бригадир поспешил вновь собрать своих подчиненных, мотивируя это тем, что смотритель желает сообщить им нечто важное.

Речь смотрителя была краткой. С нынешнего дня, сказал он, начинается новая эпоха в его личной жизни. В силу этого в новую эпоху вступает и история кладбища. Отныне он не будет более затворяться на целый день в конторе, но готов возвратиться к осуществлению в сколь угодно широких масштабах общения со всеми ними. Если найдется достаточное число желающих, он готов, как и прежде, два раза в неделю читать им лекции по философии. Более того, если необходимо, частота лекций может быть увеличена.

— А не возобновляете ли вы... э-э-э... прежнюю систему р-р-р... р-рра-цио?.. — с дрожью в голосе спросил бригадир носильщиков.

— Вы имеете в виду систему рационализации труда, которую я некогда внедрил? Ни в коем случае! К черту всякую рационализацию, к черту всякое рацио!

Хотя рабочие и служащие вовсе не поняли, о чем шла речь, и даже представить себе не могли, что означает слово «рационализация», а тем более «рацио», все они радостно засмеялись.

— Друзья мои, — обратился к ним смотритель, — видите ли вы эту стену? Посмотрите, какая она грязная, сколько на ней обрывков бумаги, которой ее кто-то заклеил.

— Быть того не может! — воскликнул бригадир.

— Пойдите и убедитесь сами, — смеясь, ответил смотритель.

Бригадир бросился к стене и вскоре вернулся вне себя от изумления.

— Странно, — сказал он. — Еще вчера ничего такого там не было.

— Но сегодня, как это совершенно очевидно, есть. Давайте-ка с сегодняшнего дня придерживаться фактов, и только фактов. Друзья мои, отныне я лично буду проверять, насколько соответствуют действительности ваши отчеты о проделанной работе.

Бригадир и кое-кто из рабочих и служащих почувствовали себя задетыми последней фразой и хотели было протестовать, но смотритель, не дав им рта открыть, продолжил:

— Необходимо распорядиться о том, чтобы стена была заново оштукатурена.

— Это невозможно! — воскликнул регистратор, совмещавший должность хранителя регистрационной книги с должностью хранителя кладбищенской кассы.

— Отчего же? — поинтересовался смотритель.

— У нас нет для этого средств. В соответствии с программой экономии, которую осуществляет муниципалитет, штукатурить стену нам в этом году полагается лишь однократно.

— Это пустяки! — смеясь, воскликнул смотритель. — Только распорядитесь о работах, а оплату я возьму на себя. Понятно?

Рабочие и служащие согласно закивали головами и разошлись.

Им было понятно лишь то, что ничего не понятно и что у смотрителя — их начальника — в высшей степени своеобразный взгляд на вещи и образ мыслей.

Закончив речь, смотритель отправился прогуляться. Выход за ворота произвел на него неизгладимое впечатление. Подумать только, целых двадцать семь лет его мир ограничивался внутренней стороной этих стен. Впечатление было столь сильным, что едва не загнало его обратно, в глубочайшие глубины его мира — в контору, кишевшую сверчками и сплошь затянутую паутиной. Однако какой-то обрывок речи, произнесенной перед подчиненными, заставил его опамятоваться.

Он присел на корточки, словно бегун, вышедший на старт состязаний, зажмурился и... действительно устремился вперед! Все быстрей и быстрей! Он мчался что было сил, на той предельной скорости, которую могли развить мышцы его бедер и икр. Почти сразу же он почувствовал, что готов развалиться на части: мышцы едва не рвались

от напряжения, в горле отдавались оглушительные удары сердца. Он проклинал себя, проклинал этот внезапный пароксизм бега, проклинал все то, что заставило его, почти пятидесятилетнего смотрителя кладбища, вдруг броситься бежать. Когда наконец и мускулы, и дыхание окончательно ему отказали, он открыл глаза.

Где это он?

По обеим сторонам улицы толпился народ, пристально наблюдая за кем-то. За ним! Все оглушительно кричали. Он замер в полной растерянности. Тем временем к нему бесцеремонно приблизился незнакомый мужчина в белой кепке, одетый по последней спортивной моде, и приветствовал его словами:

— Поразительно, это просто поразительно!

— Что поразительно? — спросил он, тяжело дыша, и жадно припал к бутылочке «Кока-колы», которую предложила ему также незнакомая очаровательная девушка.

— Ваши достижения в беге просто не могут не вызвать восхищения! Мы зафиксировали новый национальный рекорд для пожилых лиц в возрасте... э-э-э...

Он вздрогнул. Для пожилых лиц! В возрасте! Ясными, хотя и несколько выпученными от изумления глазами он обвел спортивных деятелей, обступивших его и рассыпавшихся в бессчетных похвалах. И... внезапно он понял все, что произошло, а когда понял, рассмеялся. Его смех становился все громче, все раскатистей, пока наконец он буквально не затрясся от хохота.

И в ту же минуту толпа вновь взорвалась громкими криками. Все, кто только что окружал смотрителя, бросились назад, на обочину улицы, ибо вдали в это время показалась группа бегунов. Тяжело дыша, насквозь промокшие от пота, они бежали, точно в замедленной киносъемке. Усилившимся ревом толпа приветствовала бегуна, опередившего своих соперников. Было видно, что он окончательно выбился из сил.

Спортивные деятели, окружившие смотрителя, похоже, только сейчас начали о чем-то догадываться. Они еще раз внимательно оглядели смотрителя и, убедившись, что у него на спине нет никаких признаков номера, что обут он отнюдь не в шиповки и что вообще вся его одежда не имеет ничего общего со спортивной формой, стремглав кинулись к белой черте, пересекавшей асфальт главной улицы. Туда, где над этой чертой протянулось полотнище с надписью аршинными буквами — ФИНИШ.

Рев толпы достиг своей высшей точки. Передовой бегун пересек финишную прямую, и тотчас из уст зрителей вырвался новый крик. Но нет, то был не крик! То был оглушительный вопль ужаса...

— Он умер! — воскликнул один из зрителей.

— Кто? Кто? — кричали другие.

— Победитель, тот, кто сейчас пришел первым!

В рядах зрителей началась паника. Труп победителя совместными усилиями перенесли на обочину улицы. Смотритель заторопился туда же и спросил у какого-то нищего, который, казалось, помимо своей воли затесался в толпу:

— Что здесь происходит?

Нищий, оказавшийся слепцом, точно эхо повторил заданный вопрос, и в его мутном взгляде мелькнула насмешка.

— А правда, что же здесь происходит? — произнес он, чуть скривив уголки губ, изящно и язвительно.

Раздосадованный оскорбительным тоном нищего, смотритель чуть не ударил его, но, по счастью, в эту самую минуту услышал, как кто-то в толпе объяснял своему приятелю:

— Видишь ли, это состязание в марафонском беге. Сорок километров...

— Сорок километров? — изумился смотритель.

— Да, — ответил тот самый незнакомец из толпы, обернувшись к нему. — Победителю нынешних состязаний удалось побить национальный рекорд. И это еще не все. Если мои расчеты верны, результат покойного превосходит и мировое достижение.

— Именно так. Он побил мировой рекорд! Поистине мы принадлежим Аллаху, — оборвал иностранца нищий.

Смотритель изумился еще больше.

— Вы-то откуда знаете? — спросил он.

Слепец достал из кармана секундомер.

— Сам лично засекал время.

— Вы засекали время?.. Разве вы не слепой?

Слепец огляделся по сторонам и шепотом произнес:

— Тсс, пусть это останется между нами. — С этими словами он вынул из глаз мутные пластмассовые линзы.

— Так вы не слепой! — воскликнул смотритель.

— Ну конечно же нет! Я не слепой, я только готовлюсь стать «профессиональным слепым». Эти линзы — новейшее изобретение председателя отечественного филиала Международной Федерации Независимых Слепцов. С внутренней стороны они устроены так, что позволяют прекрасно видеть все, что творится вокруг.

От изумления смотритель не мог вымолвить ни слова. Несколько темных прядей, так не шедших к сединам нищего, привлекли его внимание. Он незаметно коснулся волос нищего и, тотчас отдернув руку, закричал:

— Парик! Парик!

— Тсс, — зашептал нищий. — Пусть и это останется между нами.

Смотритель в недоумении воззрился на него.

— Ну конечно же, это парик. Откуда в моем возрасте взяться седине. Приходится во всем прибегать к маскировке...

— К маскировке?

— Тсс, не так громко!

— Но кто же вы на самом деле? — спросил смотритель, чувствуя, что пришла пора избрать прямой, кратчайший путь для объяснения с загадочным незнакомцем.

— Я — это я, — ответил нищий, снимая парик. — И, между прочим, сегодня вы, господин смотритель, помешали мне играть мою обычную роль.

Нищий сунул парик и линзы в карман грязного, поношенного плаща, потом снял плащ и не менее изношенные брюки и спрятал все это в кожаную сумку, висевшую у него на плече. Из той же сумки он вынул чистые рубашку и брюки, пару сандалий, и не успел смотритель понять, что происходит, как перед ним, выпрямившись во весь рост, стоял привлекательный молодой человек с черными как смоль вьющимися волосами, черными, ясными, несколько округлыми глазами и обаятельной улыбкой.

— Кто вы? — спросил смотритель. Ему стало страшно.

— Я — это я, — весело повторил молодой человек. — И уж во всяком случае, господин смотритель, я не полицейский.

На какой-то миг смотрителю показалось, что земля, вращаясь быстрее и быстрее, уходит у него из-под ног. Вопросы, кто этот молодой человек, стоящий перед ним, и что он такое, проносясь в голове, одновременно пугали, озадачивали и изумляли его. К этим чувствам, однако, добавлялось еще одно, незнакомое, которое, сколько он помнил, ему еще не доводилось испытывать, — это было ощущение сна наяву.

В полном ли он сознании? Не возникает ли это чувство у человека, пребывающего в полном сознании, но одолеваемого желанием заснуть? Или, быть может, он действительно спит и видит сон о том, что заснул? Он знал... а лучше

сказать, не знал, сколь велико в подобном случае число возможных перестановок и сочетаний. Однако в самых отдаленных уголках своего «я» он немедленно пришел к выводу, что чувство, столь энергично бушевавшее теперь в его душе, без сомнения, существовало и могло бушевать именно потому, что *существовало*.

И еще, как он понял, подобные минуты обычно наступают тогда, когда мы с особой остротой осознаем, что наряду с нами существуют и *другие*, существуют *все*. Одиночество, десятки лет, проведенных им в кладбищенском уединении, привели к тому, что он теперь испытывал непомерную тяжесть от первого за столь долгое время общения с другим человеческим существом, с живым человеком, а не с абстрактной идеей человека.

Когда, несколько успокоившись, смотритель вернулся из мира своих раздумий на грешную землю, он увидел, что молодой человек очень медленно ведет его за руку по краю тротуара, вдоль улицы.

— Значит, вы с самого начала знали, кто я такой? — спросил смотритель.

Этот вопрос был задан скорее для того, чтобы убедить себя в реальности только что происшедших событий.

— Нет, не с самого начала, но уже довольно давно. Мне, к примеру, известна та история с листовками, расклеенными ночью на вашем кладбище. Я знаю также, что вы распорядились заново оштукатурить стену и взяли все расходы на себя.

У смотрителя подкосились колени, но молодой человек успел его поддержать, подхватив под мышки.

— Мне кажется, я мог бы помочь вам, — сказал он.

— Чем же, к примеру? — поинтересовался смотритель.

— Я мог бы порекомендовать вам штукатура, лучшего в нашем городе, а возможно, и во всей стране.

Смотритель пришел в еще большее изумление. Вскоре они расстались, но перед этим молодой человек успел объяснить смотрителю, где найти штукатура, а в прошлом художника, и вкратце поведал его довольно необычную историю. Затем в присущей ему манере, чуждой преувеличенных прощальных сантиментов, таинственный молодой человек откланялся и удалился...

Пустоту! Ах, какую космическую пустоту ощутил наш смотритель после ухода молодого человека! Поразительно, подумал он, ведь мы только что познакомились. И верно, в общей сложности они не провели *вместе* и часа.

На следующее утро, с самого рассвета, смотритель поджидал штукатура, а в прошлом — знаменитого художника на первом попавшемся повороте улицы, в северной части города.

Кто он? Что суждено ему привнести в жизнь смотрителя, в ее очередной эпизод? Увы, этого смотритель не знал. Человек, которого он поджидал, мог оказаться кем угодно и сыграть в его жизни любую роль. Возможно, он — агент тайной полиции, возможно — призрак, возможно — бродяга, возможно — писатель, слишком болтливый или неведомо зачем выдающий себя неведомо за кого. Возможностей было так много! А еще смотритель совершенно себе не представлял, под каким знаком войдет бывший художник в начавшийся тем утром эпизод его жизни: будет это восклицательный знак или, как и сейчас, вопросительный? Будет это запятая, точка с запятой или точка? Ведь человек — целый ворох вопросительных и иных знаков препинания, а жизнь может столкнуть с ним в любой, самый неожиданный момент. Не свести ли, к примеру, знакомство с прохожим, который только что повстречался нам вон там, на мосту? Кто знает, быть может, именно у него в кармане хранятся ключи от нашей нынешней или будущей жизни. Существовало, однако, различие между нами и смотрителем — ведь тогда на мосту мы не могли знать, действительно ли перед нами тот самый человек. Меж тем смотритель в многолюдной толпе у финишной прямой марафона совершенно случайно подобрал с земли ключи от своей жизни, в чем ему помог слепой, впоследствии оказавшийся вовсе не слепым... Было ли это случайностью или непостижимым капризом тех сфер мироздания, в которых утрачивают силу даже законы высшей математики? Ах, кто знает... да и к чему это знать?

Они встретились.

Они познакомились.

Они потолковали.

Они договорились.

В ту ночь смотрителю захотелось взглянуть на могилу жены бывшего художника. Каково же было его удивление, когда, тщательно изучив регистрационную книгу, он понял, что могилы этой более не существует! По ошибке ее раскопали вместе с захоронениями более чем пятидесятилетней давности. Возможно, об этой ошибке так доныне никто и не знал — ведь ни один из родственников умершей еще ни

разу ею не поинтересовался и не заявил протеста.

Смотритель забеспокоился. Ему пришло в голову, что происшедшее равносильно убийству одного и того же человека дважды: в первый раз — когда он еще жив, во второй — когда уже мертв. Всю ночь смотритель не сомкнул глаз. Он не без оснований полагал, что однократной смерти вполне достаточно, чтобы лишить человека возможности причинять беспокойство, да и вообще продолжать свой жизненный путь. То, что случилось, сразу же расшатало его жизненные принципы, в основе которых лежало представление о неких суверенных правах смерти. Иными словами, он исходил из посылки, что человеку, как и любому другому живому существу, вполне достаточно умереть один раз, после чего все кончается, наступает конец полный и бесповоротный. Теперь же ему пришлось задуматься об ответственности, которую он — высшее должностное лицо муниципального кладбища — мог нести за исчезновение трупа жены бывшего художника.

Исчезновение трупа, то есть тела умершего, можно было посчитать особого рода преступлением. Совершить его могли, например, агенты тайной фирмы, поставлявшей человеческие скелеты средним школам и медицинским факультетам для использования в курсах анатомии. Но под какую статью уголовного кодекса подпадало исчезновение трупа в данном случае? Ведь само тело и костные останки пребывали в земле, составляя с ней неразрывное целое. Исчезала лишь некая абстракция — некогда реально существовавший человек, а также память, воспоминания об этом некогда существовавшем человеке. Вместе с тем эти воспоминания отнюдь не утратили своего значения для других людей. Вычтя их из человеческой жизни, мы получили бы совершенно опустошенное человечество. Достаточно воспоминаниям утратить свою ценность и силу воздействия, как смерть тотчас потеряет эмоциональный ореол, который один и делает ее столь привлекательной.

В душе смотрителя разразился небывалый кризис. Он понятия не имел, как высвободиться из паутины беспорядочно перепутавшихся нитей его собственной жизни. Да, он сам избрал такую жизнь. Он сам отказался от бесчисленных мирских благ и положения, которое сулила ему ученая степень. Но ведь он пошел на это в твердой уверенности, что дважды два — четыре, что двум смертям не бывать! Так что же? Ведь и в нынешнем случае, строго говоря, не могло быть и речи о двух смертях. Лишь однаж-

ды не стало жены художника, второй раз не стало только ее могилы. Вот в чем тут дело! Бригадир и его тупые, безразличные ко всему рабочие нарочно разрыли могилу не то что не пятидесятилетней, даже не двадцатипятилетней давности. То, что здесь случилось, — последствие человеческого недомыслия, вернее — легкомыслия по отношению к смерти. Неужели, спрашивал он, я должен нести ответственность за дурацкие поступки других людей?

Слово «ответственность», вынырнувшее из каких-то потаенных уголков души, внезапно привело его в неописуемую ярость. Ответственность. Не что иное, как понимание своей ответственности, столь осложняло всю историю с разрытой могилой. Ведь, по правде сказать, его нисколько не интересовало, что сталось с останками покойной жены бывшего художника. То было личное дело самих этих останков, земли и обитавших в земле червей.

То были, если угодно, проблемы климатологии, геологии, минералогии.

Его же с той самой минуты, как это произошло, выводила из себя проблема ответственности, и только она.

Почему он не пожелал стать наследником многомиллионного состояния? Из чувства ответственности.

Почему отказался от диплома специалиста по философии, который, стоило лишь захотеть, он получил бы *cum laude*[1]? Из чувства ответственности.

Почему изъявил желание стать не кем иным, как смотрителем кладбища? Из чувства ответственности.

Почему разработал концепцию рационализации производства? Из чувства ответственности.

Почему в конце концов согласился с общественностью и муниципалитетом, отвергшими его рационализацию? Из чувства ответственности.

Почему на двадцать семь лет добровольно заключил себя в конторе? Из чувства ответственности.

Почему, выйдя теперь из заточения, как и прежде, не стал чураться встреч с рабочими и служащими кладбища? Почему вновь решился искать прямого общения с себе подобными? Из чувства ответственности.

Почему так ужаснулся переживаниям, которые испытал при виде фотографии с полицейских листовок, расклеенных на стене? Из чувства ответственности.

---

[1] С отличием (*лат.*).

Почему поспешил заштукатурить следы листовок на стене и взял на себя все расходы? Из чувства ответственности.

Смотритель совершенно выбился из сил. Оттого что слово «ответственность» так часто повторялось в его рассуждениях, красноватая пелена застлала глаза, ослепила его и одновременно заставила устремить взор в глубочайшие глубины собственного «я».

Ответственность, ответственность, ответственность...

Всю жизнь он был предан одной лишь ответственности, желал ее всеми силами души. Почему же теперь, в тот самый миг, когда он ощутил себя на вершине зрелости, чувство ответственности внезапно покинуло его? Оно повело себя точь-в-точь как женщина, что через сорок, а то и пятьдесят лет безупречного замужества неожиданно требует развода у ни в чем не повинного супруга. Решение развестись — полная неожиданность для нее самой. Оно никак не связано с волнениями плоти, для которых, как эта женщина прекрасно понимает, она уже слишком стара.

Она разводится только потому, что так ей захотелось, вот и все. И она счастлива, что решилась.

Чувство ответственности внезапно покинуло смотрителя. Почему? Потому что чувству ответственности так захотелось, вот и все.

Он был поражен.

Выходило, что он — это он плюс определенные чувства, которые могли зависеть от него, а могли и не зависеть. Его чувство ответственности, к примеру, было независимым, даже в высшей степени независимым. Ведь в своей независимости оно зашло так далеко, что само свободно определило день и час, чтобы покинуть того, в ком прежде пребывало.

Что же такое человек, лишившийся столь независимого чувства, придававшего ему его независимость, его самость?

А что такое человек, лишившийся дыхания?

На сей раз изумление смотрителя оказалось на редкость неподатливым, и он спросил себя: ну а кладбище, за которым он двадцать семь лет надзирал, что оно такое?

И ответил: обособленный клочок земли, который предназначен для людей, лишившихся самости.

Нежданно-негаданно смотрителю показалось, что он разделяет судьбу этих людей. Ведь и его самость, единственная отличительная черта, которой он обладал, только

что покинула его вместе с чувством ответственности.

Таким образом, теперь лишь одно отличало его от тех людей: он находился на поверхности земли, они же — под ее поверхностью.

5

Кризис, разразившийся в душе смотрителя, грубо возвратил его на ту самую землю, с которой он, как ему казалось, порвал раз и навсегда. Он вновь сокрылся в недрах этой земли — как и прежде, затворившись в своей конторе.

Бригадир задрожал от страха, заметив, что на гвоздь, забитый в столб, опять наколот клочок бумаги, и поспешил сообщить об этом факте, а равно и о содержании клочка рабочим и служащим кладбища. До их сведения доводилось, что нынешним утром на кладбище прибудет штукатур, нанятый для приведения в порядок стены, и рекомендовалось оказывать ему всемерное содействие.

Бывший художник появился после полудня, замесил известь и приступил к работе, от которой в дальнейшем ни на минуту не отрывался. Бригадир выказал должное уважение к специалисту столь высокого класса и более не баловал его вниманием. Точно так же повели себя и остальные рабочие и служащие.

Совершенно иной, однако, была реакция смотрителя. С восхода солнца он то горбился у замочной скважины, то привставал на цыпочки и приникал к щелке в заколоченном окне, высматривая, не появился ли бывший художник. Ему хотелось увидеть собственными глазами, как поведет себя тот, впервые со дня смерти жены переступив границу кладбища, где она была похоронена. Не побежит ли сразу же навещать могилу жены и что станет делать, когда все поиски окажутся безрезультатными, поскольку бригадир с рабочими разрыл эту могилу вместе с другими захоронениями пятидесятилетней и большей давности?

Увы, смотрителя постигло горькое разочарование: явившись на кладбище после полудня, бывший художник не совершил ни одного из тех действий, что столь живо рисовались его, смотрителя, воображению. Художник вовсе не стал утруждать себя поисками могилы покойной, но, напротив, всецело сосредоточился на одной лишь работе.

Под вечер он спустился со стены, собрал инструменты,

вымыл руки и ноги и направился к бригадиру, который уже поджидал его, чтобы вручить причитающийся за день гонорар — личные средства смотрителя. Затем, громко насвистывая, бывший художник удалился.

Смотритель был разочарован до глубины души. К тому же, целый день подглядывая за бывшим художником, он ужасно натрудил мышцы ног, а перед его слезившимися от напряжения глазами, казалось, замелькали крохотные огоньки. В сердцах он, не читая, изорвал в клочья ежедневный отчет бригадира. Он и так прекрасно знал содержание этого отчета.

Указания на следующий день были сформулированы с завидной краткостью: «*Как вчера*».

Следующий день ничем не отличался от предыдущего. Бывший художник появился после полудня, не отвлекаясь, работал до захода солнца, потом закончил работу и получил у бригадира деньги.

Разочарование смотрителя час от часу росло. Мышцы болели все сильнее, глаза распухли. Однако, хотя теперь ярость буквально душила его, он все же обратил внимание на очередной отчет бригадира, гласивший: «*В городе что-то происходит. Люди охвачены паникой. Два сотрудника из числа наших рабочих и служащих не вышли на работу*».

Смотритель немедленно начертал на клочке бумаги инструкцию на завтра: «*Установить причины паники*».

Бригадир немало подивился тому, что на сей раз полученные указания не имели прямого отношения к функционированию кладбища, но приказ есть приказ! Прибыв в город для исполнения возложенной на него миссии, бригадир сам пал жертвой той самой паники, охватившей всех и вся, был совершенно сбит с толку и обратно уже не вернулся.

Вместо него в самый разгар дня на кладбище появился мэр с резолюцией о немедленном отстранении смотрителя от должности.

Вчера ночью он мысленно спорил с бывшим художником, а ныне штукатуром, об ответственности. И вот сегодня штукатур люто его возненавидел, более того — по существу, возжелал, чтобы его, смотрителя, попросту не стало.

Страх смерти... Но разве вчерашние ночные размышления об ответственности не сделали его совершенно неуязвимым для такого рода страха? Ведь после них для него,

собственно говоря, не составляло никакой проблемы то средство, что позволяло проникнуть под поверхность земли и присоединиться к сообществу мертвых, к которому он, по сути дела, уже принадлежал. Это средство оставалось проблемой для всего мира, за исключением его самого. Оно было проблемой для общества, для человеческой цивилизации, для государственной администрации, наконец, на низшем уровне — для Команды по Уборке Улиц при Службе Общественных Работ...

Незнакомое жгучее чувство пронизало все его существо вплоть до самых отдаленных закоулков. И это внезапно нахлынувшее чувство принесло уверенность, что отныне ему все дозволено, что его больше ничто не сдерживает. Смотритель испытал могучий прилив бодрости. Вероятно, именно такое бодрящее чувство и заставляло большинство смертников требовать в последние минуты жареного цыпленка, или пышнотелую женщину, или долгоиграющую пластинку — Шопен, Полонез № 6 ля-бемоль мажор, опус 63.

Он закричал, принялся звать кого-то из рабочих. Никто, однако, не отозвался.

— Никто из ваших рабочих и служащих сегодня не вышел на работу! — крикнул бывший художник со стены, которую он уже усердно штукатурил.

— Никто? — изумился смотритель.

— Да, никто, — подтвердил художник. — Их всех сразила эпидемия слабоумия, которая теперь свирепствует в городе.

— Верно, верно... Мне уже говорили об этой эпидемии.

— А, так вы уже в курсе дела? Должно быть, вам рассказал о ней бригадир? Сегодня утром я видел, как он нагишом носился по городу и вопил во все горло.

— Хм. А как вы сами себя чувствуете? По-моему, вы совершенно здоровы и прекрасно выглядите.

— Премного вам благодарен, но, если верить тому, что говорят по всему городу, именно я виновник этой эпидемии.

— Вы — виновник эпидемии?

Смотритель поднялся со ступеньки, на которой сидел.

— Да. Они считают, что я внезапно перестал вести себя нормально, а по-моему, я именно сейчас возвращаюсь к норме.

— Пожалуйста, расскажите мне о том, что произошло, поподробней, — попросил смотритель, чувствуя, что слова художника, а ныне штукатура, привели его в некоторое замешательство.

— Видите ли, с того дня, как мы с вами встретились и договорились о работе, я веду себя самым обычным образом. Я хочу сказать, что я отказался от той манеры, которая по обычным меркам была необычной. Однако мой возврат к обычному поведению показался нашим согражданам необычным. В результате получилось так, что, едва я стал обычным, они стали необычными.

— Крайне любопытно, — проговорил смотритель, качая головой. — Значит, когда вы стали обычным, они стали необычными.

Гм, все это напоминает высшую математику, подумал он. А само происшествие в городе, обычное оно или необычное? И кто в данном случае вправе высказать свое мнение о нем? Штукатур, разумеется, не вправе, поскольку он — заинтересованная сторона. А они, то есть горожане, все наше общество, охваченное эпидемией, все государство и нация, — они тоже, разумеется, не вправе. Ведь они — противоположная заинтересованная сторона. Но тогда, быть может, он, смотритель, вправе высказать свое мнение.

— А что вы об этом думаете? — неожиданно спросил его штукатур.

— Я думаю, ничего необычного в том, что случилось, нет. Все необычное по сути своей весьма обычно. Так по крайней мере выходит, если рассматривать это происшествие, как и всякое другое, всесторонне, в целом.

Штукатура охватило крайнее раздражение. Он понял, что дал повод смотрителю, некогда готовившемуся стать ученым-философом, втянуть себя в бесплодную дискуссию. Он же, штукатур, а в прошлом выдающийся художник, терпеть не мог никакой философии, как официальной, так и неофициальной, как изложенной в учебниках, так и вовсе нигде не изложенной. Он инстинктивно не выносил всего, что припахивало ученостью и учеными — будущими учеными, учеными в прошлом, теми, кто не сумел стать учеными.

В прежние времена он был художником, и только художником, вот и все. У него не было никакой возвышенной концепции искусства. Работая, он всецело доверялся тому трению, которое возникало между его душой и вселенной. Гравием, увеличивающим силу трения, служили минуты, когда его охватывала творческая лихорадка, когда в мозгу проносился шквал цветов, линий, форм. Он никогда не задавался вопросами содержания, композиции, организации

живописного пространства. Ему было совершенно безразлично, в какую раму оправлена картина. Он просто давал возможность своей лихорадке свободно достичь кульминационной точки, если таковой суждено было наступить. Порой кульминация вообще не наступала и лихорадка преследовала его неотступно. Однако критики считали наилучшими именно работы, порожденные такой не достигшей кульминации лихорадкой. У публики, напротив, эти же работы вызывали наибольшее негодование. Его поносили по-разному: то называли фальсификатором от искусства, паяцем, манипулятором или мистификатором, то, совершив сальто-мортале из одной терминологической системы в другую, обвиняли в развращенности, душевной болезни. В третьей терминологической системе (а этих систем существовало великое множество) наготове были такие ярлыки, как неоригинальность, отсутствие личности и декаданс.

Сам он никогда не читал ни газет, ни журналов, ни книг и, стало быть, ничего не знал о содержании критических статей, посвященных ему и его живописи. Если кто-нибудь порывался прочесть ему одну из этих статей или рецензий, он внезапно отказывался слушать, испытывая буквально физическую тошноту.

Однажды пожилая иностранка зашла к нему в студию посмотреть картины. Она тотчас принялась расхваливать все работы, которые попадались ей на глаза. Расхваливая их, она впала в такой раж, что в конце концов перешла от неуемных похвал к общеобразовательной лекции по истории современного искусства, о чем, впрочем, ее никто не просил... И тогда художник поспешно ретировался из студии, оставив зарубежную гостью в полном одиночестве.

Вернувшись вечером, он обнаружил, что одна из картин исчезла, а на столе появились пачка иностранных ассигнаций и визитная карточка, из которой следовало, что посетившая его иностранка, по всей видимости девушка, в качестве профессора эстетики и истории современной живописи преподает в одном из известнейших зарубежных университетов. На обороте визитной карточки рукой пожилой девушки-профессора было написано: *«Я приложу все усилия, чтобы добиться от своего правительства приглашения Вас для проведения персональной выставки в нашей стране. Вы — провозвестник живописи будущего»*.

Он старательно изорвал визитную карточку с золотым тиснением, а иностранные ассигнации обменял на черном рынке по черному курсу. В результате у него появилась

значительная, даже очень значительная, сумма денег в национальной валюте.

Это привело его в замешательство. Никогда прежде он не держал в руках такой кучи денег. Не зная, как справиться со своим замешательством, он решил сделать ставку в размере всей суммы на международном футбольном матче, проходившем в их городе. Окончательная выдача была 13 — 0. И он выиграл!

Сумма, а вместе с ней и его замешательство выросли в несколько раз. Тогда он начал играть в карты, надеясь таким образом в кратчайший срок спустить все деньги. Увы, все было напрасно! Он неизменно выигрывал и вскоре учетверил первоначальную сумму. Покуда его замешательство росло и росло, он успел стать миллионером.

В один прекрасный день он попытался эдак ненароком забыть все деньги в шкафчике. Он настежь распахнул дверцы шкафчика, а потом и входные двери, удалился из дома и не возвращался целую неделю. Теперь-то уж, думал он, старушка, у которой он квартировал и столовался, наверняка украла эти чертовы деньги!

Каково же было его удивление, когда, вернувшись, он застал старушку в страшном гневе. Никогда еще, говорила она, ей не доводилось видеть такого безалаберного человека. А может, он просто хотел испытать ее честность? Так вот, пусть ее удел нищета, говорила она, ей легче, выбиваясь из сил, обихаживать постояльцев — людей, в большинстве своем лишенных чувства благодарности! — чем взять за просто так чьи-то чужие деньги.

С этими словами она опрокинула шкафчик, набитый деньгами, и срывающимся голосом потребовала, чтобы художник сегодня же покинул ее дом, не забыв забрать с собою свои бешеные, совершенно бешеные деньги.

Нет! Даже не сегодня — тотчас, немедленно! Пусть убирается вон!

И он действительно тотчас покинул ее дом, распорядившись, чтобы деньги на двуколке отвезли в отель. С того дня началась его гостиничная жизнь. В избытке располагая деньгами, он мог позволить себе снимать лучшие номера и немедленно превращал каждый такой номер в мастерскую. А как же иначе? Ведь он был художником и, хотя обзавелся теперь кучей денег, оставался тем же, что и прежде, — художником, и только художником, вот и все. К тому же где, спрашивается, дом всякого художника? Конечно же, в мастерской. А что такое мастерская

художника и где ей подобает находиться? Разумеется, его дом и, разумеется, в его доме.

Благодаря непрестанным переездам из одного отеля в другой он, сам того не желая, приобретал все большую популярность как в собственно художественных кругах, так и вообще у широкой общественности. Ведь в отелях, как известно, всегда толпится народ. Одни приезжают, другие уезжают, снуют взад и вперед. Он не искал встреч, но тут и там его кто-то окликал, заговаривал с ним, его обступали туристы, падкие на все необычное, журналисты наперебой просили разрешения взять интервью, сфотографировать его или его картины, просто выпрашивали автограф.

Таким образом, тактика переездов из отеля в отель с целью уклониться от непомерного интереса общественности к его особе обнаружила свою полную несостоятельность. Она ничего не меняла. Все владельцы отелей или гостиниц в их городе преисполнялись гордостью, если удавалось заполучить его в постояльцы. Присутствие художника служило для них самой эффективной рекламой.

Замешательство художника продолжало расти, а деньги все не кончались. В конце каждой недели он играл в тотализатор на каком-нибудь футбольном матче национального или международного значения. Не удовлетворившись футболом, начал ставить на все — от черепашьих бегов до состязаний в том, кто больше выпьет и съест. В конце концов он стал держать пари по любому мыслимому поводу: неважно, что надо было угадать — будущего президента или число косточек в плоде мангустана. Его страсть к тотализатору и пари поистине не знала границ. Он дошел до того, что однажды поспорил, какого пола младенец родится у королевы некоей иностранной державы, и вновь потерпел неудачу, то есть выиграл!

Он выигрывал всегда, выигрывал неизменно. Ненавистная сумма росла как на дрожжах. Обслуживающий персонал в отелях раз от разу проникался к нему все большим уважением, ибо чаевые, которые раздавал художник, также раз от разу росли. Владельцы отелей, где он останавливался, встречали его со все большим восторгом, поскольку с его появлением резко возрастало число постояльцев. Журналисты преследовали его все более навязчиво, требуя интервью и потихоньку фотографируя художника в самых интимных позах и при самых интимных обстоятельствах.

Однажды его фотография появилась на первой полосе самой крупной местной газеты, выходившей самым массовым тиражом и, по собственному мнению ее издателей, пользовавшейся самым большим влиянием в стране. На этой фотографии художник в одних трусах направлялся к небольшому по размерам помещению, дверь которого украшала огромная надпись «Туалет».

Желая изобразить приступ благородного негодования, художник позвонил главному редактору газеты, позволившей себе столь вопиющую бестактность. Невидимое существо, назвавшееся главным редактором, тотчас принесло извинения. Если необходимо, заявило оно, газета готова возместить моральный ущерб, нанесенный художнику, в сумме, которую он сам сочтет приемлемой.

Но ведь газета с фотографией художника, в одних трусах поспешавшего в туалет, уже успела широко разойтись. Именно этот оригинальнейший снимок обеспечил данному номеру тираж, равного которому еще не достигала ни одна из городских и общенациональных газет. И разумеется, именно на такой эффект втайне рассчитывали владельцы газеты, без ведома главного редактора распорядившиеся напечатать фотографию на первой полосе.

Делать было нечего! Все равно номер уже разошелся, а главный редактор принес свои извинения.

Чтобы соответствовать требованиям эпохи НТР с ее мощными современными средствами телекоммуникации, заявил проницательный главный редактор, покончив с извинениями, скорость распространения газет должна будет достичь скорости звука. При этом, продолжал он, необходимо учитывать и то, что в недалеком будущем откроется возможность посылки астронавтов на Луну, более того — на любую планету. Тем самым нашей прессе предстоит найти спрос во всей Солнечной системе. Вот почему, закончил речь блистательнейший из главных редакторов, заветное желание моей скромной газеты — выступить зачинательницей межпланетной периодики будущего. Всего наилучшего!

Трубка с характерным щелчком опустилась на рычаг.

Замешательство художника достигло предела. Уж не мчимся ли и мы все в космическом пространстве?

Межзвездная пустота навалилась на него, рожденное ею чувство небытия что есть силы сдавило горло.

Он поднял глаза к небу и увидел ослепительную голубизну, голубизну, и только голубизну.

Он опустил глаза и посмотрел вниз с высоты своего номера в отеле: окно номера, точно рама картины, вырезало кусок из городского пейзажа с его шумным и оживленным движением там, на сухом асфальте, ох каком сухом!..

Асфальт! О асфальт... Земля обетованная всех тревог и волнений современности! Край, где встречаются и скрещиваются все дороги, где принимаются важнейшие решения о будущих судьбах человечества.

Асфальт! Делянка, где произрастают председатели земного шара и деятели культуры будущего. Пусть сегодня их еще называют сердитыми молодыми людьми, прово или хиппи — завтра они станут президентами государств или возглавят государственные перевороты, которые послезавтра приведут их в те же президентские кресла.

О асфальт! Кузница грядущей истории...

Размышления об асфальте — неизменном спутнике его жизни, асфальте, на котором он вырос и возмужал, который, наконец, дал ему силы стать тем, что он есть, — присутствие асфальта во всех нынешних размышлениях заставили его с тоскою во взоре обозреть клочок асфальтированной улицы, видневшейся за окном. Внезапно на него нахлынуло непреодолимое желание заключить в объятия этот асфальт — этот непременный атрибут современной действительности!

Его глаза разгорелись. Вся сила любви к асфальту отразилась в них. Хотелось одного — поскорее туда, вниз, к асфальту. И, еще не успев ничего сообразить, он уже летел к нему — выпрыгнул из окна гостиницы и устремился вниз, к асфальту, к истоку своего бытия.

Он свалился прямо на девушку, которая как раз в это время проходила под окном его номера на четвертом этаже. Приговоренный к смерти, готовый через миг забрызгать мозгами горячий полуденный асфальт, он, сам не зная как, очутился в ее непроизвольно раскрывшихся объятиях.

Девушка вскрикнула. Он закричал. Многочисленные прохожие ринулись к месту происшествия, обступили их... но стали свидетелями лишь того, как «пара голубков» самозабвенно предается страсти на горячем асфальте.

Какая-то пожилая дама залилась краской и с воплем негодования кинулась прочь от непристойного зрелища. Подбежал молодой офицер полиции с карандашом и блокнотом наготове. Закричал, как и другие, а потом... расхохотался. Покачав головой, он спрятал карандаш и блок-

нот в карман, и на его лице изобразилось то же несколько игривое удовлетворение, что испытывали и все остальные.

— Ну и счастливчик! — громко воскликнул он. Толпа собравшихся взорвалась новыми, на редкость единодушными возгласами. Офицер строго посмотрел на толпу. Завидев его, люди начали понемногу расходиться. Мужчины, в одиночестве спешившие по своим делам, уходили с явной неохотой... Зато одинокие женщины, горделиво выпятив грудь, всем своим видом показывали, что только и мечтают удалиться как можно скорее. Наконец, кавалеры, шествовавшие куда-то в обществе своих дам, прямо-таки тащили их подальше от места происшествия — они крепко поддерживали спутниц под локоток и старались быстрее их увести...

Как только все разошлись, художник и девушка, на которую он свалился, поднялись с асфальта. При виде полицейского офицера оба не смогли скрыть улыбку.

— Поздравляю! Поздравляю! — радуясь, что и художник и девушка остались невредимы, воскликнул полицейский и поочередно пожал им руки.

Художник истолковал его жест по-своему.

— Премного благодарен, — откликнулся он. — Вы первый, кто поздравил нас с бракосочетанием.

— Бракосочетанием?

— Ну да, тем самым, что только что свершилось. Разве вы не видели?

Полицейский замялся.

— М-м-м... Разумеется. По долгу службы мне действительно пришлось стать свидетелем всей, так сказать, церемонии вашего несколько необычного брака. Хотя, смею заверить, я наблюдал ее с почтительного расстояния.

— Поздравляю! — на этот раз воскликнул художник. — Со своей стороны мне тоже хотелось бы поздравить вас с безукоризненным несением государственной службы. Более того, не могу не поздравить и наше государство, обладающее в вашем лице столь безукоризненным служащим.

Все трое рассмеялись. Собственная церемонность несколько театрального толка забавляла их. Наконец, овладев собой, полицейский предложил:

— А теперь позвольте проводить вас в мэрию.

— В мэрию?

— Ну да, в Отдел Гражданской Регистрации. Там вы сможете придать законную силу тому, что явочным порядком свершилось сейчас на асфальте.

Все трое вновь рассмеялись и, не откладывая дела в долгий ящик, направились к мэрии. Уплата гербового сбора, краткое напутствие регистратора, рукопожатие — и вот уже вся процедура закончилась: они — муж и жена на законных основаниях.

Фантастика! — раз за разом мысленно повторял офицер полиции.

Он так и эдак изощрял свой ум, пытаясь припомнить подходящий параграф кодекса, который позволил бы ему задержать обоих за только что ими содеянное. Искал и не находил... Тогда он попытался воссоздать картину происшедшего хотя бы с той полнотой, на которую давали право собранные им факты. Итак, некто, именующий себя художником, бог знает почему решает покончить жизнь самоубийством, прибегнув для этого к одному из классических способов — бросившись из окна с такого-то этажа отеля. Без сомнения, акт самоубийства уже сам по себе является определенным правонарушением. Уголовный кодекс не оставляет на этот счет никаких сомнений: ведь всякое убийство есть уголовное преступление, влекущее за собой наказание лица, его совершившего. Однако кто, спрашивается, должен понести наказание, если правонарушителю удалось достичь своей цели — иными словами, если он мертв? Конкретно он сам, что невозможно, или, если позволительно так выразиться, некая его абстракция — скажем, труп посмертно?

Да, некоторая несообразность наказания состояла как раз в том, что его можно было применить лишь абстрактно, ибо какому, собственно говоря, наказанию подвергнуть труп? Другое дело, если правонарушитель, как это имело место в данном случае, по каким-то непредвиденным обстоятельствам остается в живых. С художником произошло следующее: ему посчастливилось упасть прямо на прохожего, точнее — прохожую, чье тело непроизвольно сыграло роль амортизирующей подушки, ослабив удар самоубийцы о твердый асфальт. Но основание ли это, чтобы доставить его в полицейский участок? Ведь художник повинен лишь в том, что ему не довелось погибнуть при попытке самоубийства. В чем же, спрашивается, будет состоять моральная ценность наказания за такой «проступок»?

Офицер полиции, все еще стоявший на лестнице мэрии, ожидая новоявленную супружескую пару, совершенно изнемог в поисках ответов на все новые и новые вопросы, чередой проносящиеся в его мозгу. Ах, подумалось ему,

все нарушают и всем тем не менее можно найти оправдание! В том, что произошло, проявилась лишь обычная, по существу совершенно не странная странность цепи человеческих поступков. Одна из попыток самоубийства завершилась законным, хотя — не мог не признать он — заключенным при несколько необычных обстоятельствах браком. Так что ж в этом такого как с юридической, так и просто с человеческой точки зрения? Ровно ничего...

В итоге на законных основаниях молодоженам можно было предъявить лишь одно обвинение — в любовную связь они вступили на многолюдном проспекте, то есть в общественном месте. Но и в этом случае обстоятельства происшедшего свидетельствовали не столько о преднамеренном действии, сколько о пассивной покорности велениям самой природы. Той самой природы, что свершила свое волеизъявление стихийно, не пожелав посчитаться с принципиальным различием комфортабельного брачного ложа, застланного благоуханными простынями розового шелка, и раскаленного уличного асфальта. Два человеческих существа нежданно-негаданно встретились, очертя голову бросились в объятия друг друга, а затем сочетались законным браком — что здесь, в конце концов, преступного? Неужто рождение любви из того, что обычно любовью порождается? Но разве так не бывает? На свете сколько угодно мужей и жен, которые лишь после рождения десятого ребенка внезапно осознают, что пришла пора их любви. Остальные девятеро — всего лишь результат нормального функционирования их гормональных систем и слишком тесного общения.

И тогда наконец он решился сделать вывод: оба уголовно наказуемые деяния — попытка самоубийства и осуществление близости на асфальте многолюдного проспекта — в данном случае, несомненно, не могут служить основанием для выдвижения обвинений. Если задерживать и препровождать в суд всех покушавшихся на самоубийство, но не осуществивших его, на земле просто не хватит тюрем, способных их вместить. Если же прибавить к ним всех мужчин и женщин, вступивших в любовную связь до брака, а затем узаконивших свои отношения посредством заключения оного, то тюрем на земле не хватит и подавно.

Фантастика! — еще раз мысленно повторил офицер полиции и улыбнулся молодым людям, в ту минуту вежливо с ним прощавшимся. Оба были на редкость хороши собой! С чего это я стану мешать им? — подумалось ему. Пусть уж всецело и безраздельно наслаждаются тем счастьем,

которое так красит их сейчас. «И к черту все кодексы, законы, а тем более все эти наказания и кары!» — воскликнул он и решительно зашагал к дому.

Вернувшись в отель, художник спросил книгу регистрации гостей и подле своего имени начертал: *с супругой*. Владелец отеля, безмерно обрадованный такой переменой в графе «семейное положение», решил отметить это событие грандиозным приемом. На прием были приглашены государственные деятели, а равно деятели культуры со всех уголков страны. Букеты цветов, прибывавшие отовсюду, буквально заполонили банкетный зал. Поскольку же какихлибо иных свободных помещений в отеле не нашлось, цветы, продолжавшие поступать, грузили прямиком на муниципальные мусоровозы и отправляли на побережье. Рыбаки, вернувшиеся на следующее утро с морского лова, в недоумении взирали на горы этих цветов. В голову им приходило единственное объяснение этого феномена: горы цветов, безусловно, воздвигались здесь как знак признательности некой неведомой им державы своим героическим сынам, сложившим головы на побережье в годы какойто неведомой им войны.

Когда в восемь часов утра прием подошел к концу, цветы, вынесенные на улицу из отеля, затопили весь город. Муниципальные служащие негодовали. Еще бы, ведь велорикши и владельцы двуколок не только заложили по цветку за ухо, воткнули их в петлицы, засунули за край шапочек — они не поленились украсить цветами спицы колес, утыкать ими все детали и части своих велосипедов и повозок, как будто и вправду наступила пора весеннего карнавала. Лохмотья, короста, язвы уличных нищих скрылись под грудами цветов, цветов, цветов. Роскошные гладиолусы, гвоздики, далии, хризантемы, розы, маргаритки и бог знает что еще устилали улицы и попадались под ноги на каждом шагу.

Понадобилась целая неделя, чтобы город избавился наконец от цветочного изобилия. С тех пор ни один из его обитателей не мог больше спокойно смотреть на цветы. От их вида горожан начинало мутить. И потому, когда в один прекрасный день некий вспыльчивый мясник едва не разорвал на части коллегу — торговца цветами, попытавшегося предложить ему свой товар (на что цветочника подвигла более чем недельная голодовка — кому, скажите, пришло бы в голову покупать у него цветы в дни цветочного потопа?), ни у кого не хватило духу остановить преступ-

ника. Даже судья ограничился лишь строгим предупреждением, а прокурор в обвинительной речи ни словом не обмолвился о «покушении на жизнь».

В конце концов цветочная эпопея настолько затерроризировала граждан, что в их душах понемногу созрела лютая ненависть к художнику — истинному виновнику пережитого ими бедствия. Как-то утром, еще до восхода солнца, мэра разбудил какой-то неясный шум. Мэр выглянул в окно — весь его двор был заполнен толпами демонстрантов. Посветив фонариком, он прочитал единственный призыв, начертанный на всех транспарантах: «ХУДОЖНИК, ПРОЧЬ ИЗ ГОРОДА!»

То был поворотный момент в шикарной и безоблачной жизни нашего героя. Медовый месяц обернулся началом неустанных скитаний молодой четы. Ни в одном отеле, ни в одной ночлежке, ни в одной забегаловке их больше не желали видеть. Они попробовали было ночевать под мостом или просто где-нибудь на тротуаре, но этому воспротивилось содружество бездомных бродяг, ни за какие деньги не соглашавшихся разделить с ними сей скромный ночлег.

Валясь с ног от усталости, они в конце концов добрались до побережья. Отсюда их никто не гнал. Художник, не мешкая, соорудил некое подобие хижины из стволов саговой пальмы, прибитых волнами к берегу, и, когда его жена в изнеможении рухнула на пол нового пристанища, бегом пустился в город, чтобы купить съестного и что-нибудь из утвари.

Весть о том, что художник с женой поселились на побережье, с завидной быстротой облетела весь город. Среди их сограждан нашлось немало желающих немедленно отправиться к морю и изгнать молодых оттуда, однако мэр удержал горячие головы.

— Пусть там и остаются! — обратился он к негодующим компатриотам. — Теперь они за пределами городской черты, а стало быть, изгнание свершилось.

Сам мэр чувствовал себя весьма неуютно: на столе у него лежала служебная депеша, только что поступившая от центрального правительства, которая гласила: *«Ряд официальных гостей правительства из зарубежных стран на будущей неделе прибудут в ваш город с исключительной целью встретиться с художником и познакомиться с его работами. Используйте все возможности для обес-*

печения наилучшего приема и наилучших условий для прибывающих».

Ясно, что встреча официальных гостей с художником и его женой в жалкой хижине на побережье была недопустимой. Просто немыслимой! Вернувшись на родину, официальные гости, конечно же, не станут держать язык за зубами и во всеуслышание поведают о тяжелой судьбе человека искусства в его, мэра, стране. А последнее в свою очередь приведет к подрыву международного престижа его державы, продолжал рассуждать мэр. Но как же вернуть художника в город и где его тут разместить? Никто из горожан не пожелает пустить его под свой кров, отели и гостиницы также продолжают объявленный ему бойкот. Никому нет дела до тех трудностей, которые испытывает теперь мэр. Они считают, что избрали и оплачивают его именно для того, чтобы он решал трудные проблемы, наподобие вот этой.

Перебрав все варианты, мэр решил, что на время визита художник вместе с женой поселится в его служебных апартаментах. Другого выхода не найти! Сколь велико же было его изумление, когда посланный к художнику курьер вернулся с решительным отказом — художник не желал переселяться в служебные апартаменты мэра. Наша с женой нынешняя жизнь, передавал он через курьера, — лучшее из моих произведений, которое может быть предложено вниманию многоуважаемых гостей.

То был, без сомнения, ультиматум. Иначе слова художника невозможно было истолковать. Но что оставалось делать мэру? Ведь в опасности был престиж государства, которому он верой и правдой служил большую часть жизни. Он видел только два выхода. Первый: тайно убить художника и его жену, бросить их тела в море, а затем телеграфировать в страны, откуда ожидались гости, что оба бесследно исчезли. Тогда никаких визитов не будет и престиж государства не пострадает. Второй — покончить с собой, тогда центральное правительство назначит ему преемника и возложит решение возникшей проблемы на него.

Однако он не мог убить ни себя, ни другого. Государственный служащий, отдавший больше половины жизни исполнению своих обязанностей, он просто не мог этого сделать. Не мог, как бы ему того ни хотелось! За долгие десятилетия службы непрекращавшееся борение личных желаний и мнений, с одной стороны, с общепринятыми

желаниями и мнениями — с другой, совершенно парализовало душу мэра. Как государственному служащему, ему неизменно приходилось вставать на сторону общепринятого, каким бы жалким и невразумительным это *общепринятое* ни было. К концу службы, обычно совпадавшему с концом жизни, государственные служащие видели в себе лишь поборников общепринятых норм, истинных выразителей взглядов большинства. Ничего своего, личного у них к этому времени не оставалось.

Можно ли было от такого рода людей ожидать какой-нибудь уголовщины? Если кто-то из них за полгода до выхода на пенсию грабил кассу родного учреждения или насиловал подчиненную, он оказывался тем исключением, которое только подтверждает общее правило. Число преступных чиновников было совершенно ничтожно по сравнению с числом чиновников, никогда преступлений не совершавших.

Тем более не мог он решиться на самоубийство. Десятилетия службы, избавив мэра от всего личного, превратили его в высокоморальную личность. Самоубийство же было действием, попирающим принятые нормы морали. Не случайно государство приравнивало самоубийство к обыкновенному убийству. Различие состояло лишь в том, что убийца в данном случае не мог быть обвинен и осужден, ибо сам уже осудил себя и привел приговор в исполнение. Он был разом и убийцей, и жертвой убийства. Тем самым его смерть как бы удваивалась: первым умирал тот, кто стал жертвой убийства, вторым — тот, кто обвинялся в убийстве и смертный приговор кому был вынесен этой жертвой.

Каждое самоубийство давало возможность дважды прибегнуть к термину «жертва» и дважды — к термину «обвиняемый». Тот, кто становился жертвой, в ту же самую минуту мстил за свое убийство и таким образом становился убийцей, а значит, и новым обвиняемым. А прежний обвиняемый, убитый в ту же самую минуту, когда он совершал убийство, оказывался новой жертвой. Следовательно, принять судебное решение о том, кто жертва, а кто обвиняемый, в случае самоубийства было невозможно. Оно оказывалось тем самым занавесом, который падал в последнем акте пьесы. КОНЦОМ, но только данной пьесы, ибо, после того как занавес упал, история каждого из действующих лиц могла быть продолжена в любой из еще не поставленных или ожидающих постановки пьес.

Зазвонил телефон. Мэр так углубился в свои размышления, что чуть не упал со стула от пронзительного звонка.

— Невежда! — рявкнул он, бросая трубку.

— Кто невежда? — поинтересовался заместитель мэра, прибежавший на непривычно грубый окрик шефа.

— Все, все они невежды! Все эти фрейды, адлеры, юнги! Все — мерзавцы! Даже такой дилетант, как я, полистав их книги, может пасть жертвой повальной эпидемии снобизма, порождаемой ими. Знаете ли вы, друг мой, что́ в нашей современной жизни так подрывает основы уверенности в себе? Не знаете? Психология, друг мой, не что иное, как психология! Нынче всякий корчит из себя специалиста по Фрейду — как доктора, так и их пациенты... А что в результате? И те и другие становятся важными объектами исследования для психологии, которая сама по себе еще важнее. Мы живем в век засилья психологии, слишком хорошо друг друга знаем. Вот, например, судья выносит приговор, а обвиняемый-то уже давным-давно вынес свой приговор всем и вся, в том числе собственному преступлению, и, видите ли, давным-давно поставил себя в *ту же ситуацию*, что и судья. До чего же докатится наш мир, перегруженный психологией?

Заместитель мэра, человек далеко не столь интеллигентный, как его шеф, разинув рот от удивления, внимал этой филиппике. Ничего не смысля в предмете, подвигнувшем шефа на столь бурное словоизвержение, он понимал лишь одно: негодующая речь мэра не имеет прямого отношения к повседневной деятельности вверенного ему муниципалитета. Это несколько успокаивало.

— Э-э-э, — робко вставил он. — Если позволите... кто это такой — Ф-ф-ф?..

— Фрейд?

— Да-да, Ф-ф-ф...рейд. И еще тот, другой господин, которого вы упомянули... Ад...

— Ад-леррр.

— Да-да, Ад... л... Тьфу, черт, никак не выговорю!

Теперь уже изумился мэр.

— Что это еще за «тьфу, черт»? — строго осведомился он.

— Ради бога, извините, — промямлил заместитель мэра. — Но, видите ли, мне никак не выговорить подряд две согласные. Как, например, в этом кошмарном случае с *д* и *л* в имени Ад-лер. Вот и приходится, хочешь не хочешь, произносить Ад Лер! А тот другой, которого вы

назвали, для меня не иначе как господин Фе Рейд.

— Чепуха! — воскликнул мэр. — Я сам слышал, как в своей речи на прошлых муниципальных выборах вы четко и на редкость бегло выговаривали фамилию Гитлер. И если уж быть откровенным до конца, именно беглость произношения сыграла тогда решающую роль в вашем избрании на должность заместителя мэра, моего заместителя.

— Ах, господин мэр, вы даже представить себе не можете, сколько я тренировался, пока научился сносно выговаривать Гит Лер! Ведь именно так, честно говоря, произносил я эту фамилию, но выговаривал оба слога так быстро, что никто ничего не замечал. Понимаете, Гит Лер, а не Гит...л... Нет, просто не могу, сами видите! Но умоляю, господин мэр, никому об этом не рассказывайте, потому что... э-э-э, видите ли... я хотел бы переизбраться на новый срок.

— На какую же, интересно, должность вы хотите быть избраны? — громовым голосом вопросил мэр. В груди у него клокотало. Глаза вылезли из орбит, точно две ракеты, выдвинувшиеся из пусковых шахт, чтобы отправиться в безбрежные просторы космоса.

— М-м-м... на должность мэ... Нет-нет! Я имею в виду, на должность заместителя мэра.

Теперь грудь мэра вздымалась спокойно и ритмично, дыхание стало ровным. Запуск ракет отменялся.

— Так вы действительно претендуете только на должность *заместителя* мэра? — спросил он.

— Да, но...

— Да или нет? — снова загремел мэр.

— Да...

И тут совершенно неожиданно для своего заместителя мэр громко расхохотался — казалось, то ожил и с оглушительным грохотом взорвался вулкан.

— Это невозможно! Невозможно! — ликуя, воскликнул мэр.

— Почему невозможно? — дрожащим голосом спросил заместитель. Его лицо стало мертвенно-бледным.

— Потому что Гитлеру капут! Ха-ха-ха! — продолжал извергаться вулкан.

Заместитель мэра в изнеможении опустился на стул. Хотя после окончания второй мировой войны прошло уже несколько десятилетий, для него она закончилась только сейчас. Но возможно ли это? Разве он узнал нечто для себя новое? Разве не ведал, что Германия потерпела поражение?

И более того, разве не знал, что в последние дни войны Гитлер умер, как стало известно из полуофициальных источников — вместе со своей любовницей Евой Браун покончил жизнь самоубийством в берлинском бункере...

Конечно же, он знал все это!

Но имя, но *идея* Гитлера оставались для него вечно живыми. Идея Гитлера воплощала в себе все, что можно было ненавидеть, а поскольку он ненавидел многое, по существу *все*, то «Гитлер» (как идея) составлял значительную часть его личности. «Гитлер» до такой степени поработил его — превратил в своего галерного, цепного раба, что заместитель мэра не мог говорить ни о чем другом — только о Гитлере, некогда реально обитавшем на лице земли, и «Гитлере» как воплощении всего самого ненавистного, всего, что он мог ненавидеть. Так, сам того не желая, ненароком он стал лучшим оратором государства и был этим обязан исключительно своему «Гитлеру»...

Потом подошли сроки выбора мэра и его главных помощников. Непревзойденный оратор, он выдвинул свою кандидатуру. Не оставалось сомнений, что именно он станет мэром, но увы, случилось непредвиденное. Неведомо откуда в городе появился никому не известный человек и предложил на должность мэра себя: Собственной персоной явился он на избирательный участок и воздвиг там транспарант с программным лозунгом, который гласил: «Девиз наш — мертвых уважь!» Этот лозунг произвел потрясение в умах сторонников «Гитлера», поскольку ведь и Гитлер принадлежал к числу мертвых.

Результаты выборов, состоявшихся на следующий день, были таковы: «Гитлер» потерпел поражение, хотя недобрал всего несколько голосов, «Девиз наш — мертвых уважь!» победил и стал мэром. «Гитлеру» предстояло отныне довольствоваться должностью его заместителя. С глубоким негодованием воспринял «Гитлер» результаты выборов, но, прежде чем дать выход праведному гневу, воскликнул: «На следующих выборах я непременно возьму верх! Да здравствует Гит Лер!»

И вот сейчас он должен был выслушивать от самого мэра горькую истину о том, что *Гитлеру капут*.

— Ха-ха-ха! — хохотал мэр, в котором в ту минуту, похоже, проснулось незаурядное чувство юмора. — С каким же, позвольте спросить, лозунгом вы явитесь на следующие выборы?

Заместитель мэра молчал. Он был совершенно «опустошен», «изничтожен».

— Ха-ха-ха! — не унимался мэр. — Как же вы рассчитываете взять верх, если не можете толком выговорить даже двух согласных подряд? А вдруг понадобится больше? Попробуйте-ка правильно произнести хоть одну из фамилий: Навздрич, Навзнич, Хрущев, Кржижановский... Ну, какая из фамилий получается лучше?! Вам, кажется, легче покончить с собой, чем выдавить из себя хоть одну, а раз так, я непременно снова вас обойду. Ха-ха-ха! Вас ожидают такие сочетания звуков, что даже подумать страшно: теперь чуть не всему миру придется настраиваться на сплошные стечения согласных, а времени, чтобы поупражняться, в обрез — ведь выборы назначены на середину будущего года. Вот и считайте.

Заместителю мэра почудилось, будто внутри у него иссушенная зноем пустыня: значит, и заместителем в будущем ему тоже не быть. Что-то склизкое и на редкость зловонное приклеилось к нёбу. Призвав на помощь кончик языка, заместитель мэра попытался отклеить это «что-то» и протолкнуть его в горло. «Что-то» не поддавалось. Он попытался вторично — язык чуть не свела судорога, но «что-то» как будто шевельнулось.

Так... так...

Да! Слизистый комочек, подталкиваемый кончиком языка, понемногу, с предельной осторожностью подбирался к горлу. О-оп! Подобрался, проник и был тотчас проглочен.

Теперь он знал с полной определенностью: заместителем мэра в следующем году он не станет! Мысль об этом он воспринял с искренним чувством испытанного поражения. Она не опечалила его, не огорчила, не расстроила. Даже наоборот — ему показалось, что какое-то теплое, бодрящее, дарующее радость чувство поднимается в его душе, пронизывает все его естество.

— Вот как? Выходит, что в следующем году меня не выберут? Что ж, раз так, ничего не поделаешь — таково уж веление времени. Вам повезло. Я же не могу вас не поздравить! Просто не могу не поздравить! Никак не могу! — радостно воскликнул он, обращаясь к мэру.

Мэр изумился. Ему показалось, будто солнце, закатившееся у него на глазах, тотчас снова взошло и вновь с такой же стремительностью закатилось. Заместитель с жаром потряс ему руку:

— Примите же мои поздравления! Молю бога, чтобы вы стали мэром пожизненно. Ах! Вам всегда так везет.

Широко улыбаясь, заместитель направился к двери. На пороге мэр внезапно окликнул его:

— Глубоко вам признателен! Я искренне тронут и горжусь, что имел удовольствие работать с вами... э-э-э... Как ваше имя?

— А*бд*уллах Ба*др*ави!

— Как-как? — рявкнул мэр.

Солнце закатилось, взошло, вновь закатилось...

— Абдуллах Бадрави, ха-ха-ха! — Расхохотавшись, заместитель мэра, не мешкая, скрылся за дверью. Ее раскатистый удар о косяк заглушил новый взрыв его смеха.

Вновь затрезвонил телефон. То был междугородный звонок из штаб-квартиры центрального правительства. Мэра запрашивали, как идет подготовка к приему официальных гостей, имеющих вскоре прибыть. На этот раз мэр решился обрисовать истинное положение дел: он рассказал о действиях владельцев отелей и гостиниц, не желавших сдавать номера художнику с женой; о своем решении предоставить на время визита многоуважаемых гостей правительства обоим под жилье и выставку картин свои служебные апартаменты; о высокомерном отказе художника принять это предложение и его твердом намерении остаться с женой и картинами в хижине на морском берегу; об ответе художника, будто «его с женой нынешняя жизнь — лучшее из его произведений, которое может быть предложено вниманию многоуважаемых гостей правительства»; о своем замешательстве и отчаянии; о незнании, что следует предпринять, и невозможности предпринять хоть что-нибудь; о желании покончить с собой; о последующем отказе от самоубийства; о надежде, что центральное правительство сообщит ему, мэру, как можно и должно поступить в сложившейся ситуации...

Ответ правительственного чиновника, который, судя по его интонации, окончательно потерял терпение, был краток:

— Господин мэр, решайте сами.

Дззынь! На том конце провода с треском повесили трубку.

На следующий день мэра нашли повесившимся в собственном кабинете. Обнаруженную в кармане его

рубашки записку передали центральному правительству. Она также была немногословна: *«Вот мое решение!»* И все.

Члены центрального правительства были взволнованы. Взволновала их, однако, вовсе не смерть мэра, но завтрашнее прибытие зарубежных гостей, подготовка к приему которых все еще не началась. Поиски заместителя мэра не дали желаемых результатов. Он исчез, никого не известив о будущем местопребывании. Не знали даже, жив он или умер. Не помогли и многократно передававшиеся радиограммы центрального правительства, обращенные к нему, «где бы он ни находился», и извещение о предстоящем его введении в должность мэра и об одобрении предложенного им орфографического проекта, согласно которому слово «мэрия» следует отныне писать как «мерия». Заместитель мэра так и не объявился.

Во имя международного престижа державы премьер-министру пришлось лично убеждать художника перебраться из хижины на побережье в служебные апартаменты мэра. Поскольку же, заявил премьер-министр, мэр города мертв и более не существует, художник может оставить эти апартаменты за собой на вечные времена. Правительство дарит ему дом бывшего мэра, дом же нового будет построен в кратчайшие сроки.

Художник не мог остаться глух к столь многочисленным проявлениям доброты и благожелательства. Его сердце смягчилось, и, обняв его превосходительство премьер-министра, он разрыдался у того на груди. Этот жест благодарности послужил его превосходительству поводом подать знак муниципальным носильщикам, которые ожидали неподалеку, готовые в мгновение ока погрузить картины художника на грузовики и столь же стремительно доставить их в дом бывшего мэра.

6

Скитания художника закончились. Теперь у него и его жены был свой дом, имевший точный адрес, который без колебания можно было напечатать на визитных карточках. Эти карточки он щедро раздавал всем, кто того хотел. Он был горд собой и безмерно счастлив, ибо ни для кого не секрет, что всякий гражданин, не желающий быть причисленным к отбросам общества, обязан обзавестись визитными карточками в типографском исполнении.

Визитная карточка, которая не напечатана типографским способом, — это вообще не визитная карточка. Визитная карточка же, напечатанная лишь частично и требующая, чтобы ее свободную часть время от времени заполняли от руки, — это не визитная карточка уважаемого гражданина, обладающего устойчивым положением в обществе. Такого рода карточка свидетельствует о социальной нестабильности ее обладателя, о том, что он еще не нашел своего места в обществе, еще склонен менять адреса. На поверку он может оказаться бродягой, а может, и бандитом с большой дороги.

Итак, наш художник был счастлив и горд, однако неведомо как эти же визитные карточки лишали его творческой энергии. Он уже больше не писал. Его душа ссохлась и обрела окончательную и бесповоротную сухость тщательно отжатого и высушенного на солнце куска говядины. Он сорил деньгами, чтобы хоть как-то взбодриться. Он даже зачастил на выставки своих коллег, чего прежде за ним никогда не водилось. Но ни одно из возбуждающих средств не было достаточно сильным, чтобы вернуть его к полотнам и палитрам.

Более же всего его огорчала перемена в отношении к нему жены. С тех пор как он обзавелся визитными карточками, она была с ним холодна и сдержанна, избегала встреч и надолго запиралась в своей комнате. Об этой отдельной комнате она попросила его как раз в тот день, когда карточки прибыли из типографии. «Жить вдвоем в одном помещении негигиенично», — объяснила она.

Вечером она велела перенести в эту комнату все ее вещи, а на ночь накрепко заперлась и не пожелала обратить внимание на тот факт, что ее законный супруг и единственный повелитель до самого утра стучался в затворенную дверь.

На следующий день она любезно пожелала супругу доброго утра и за завтраком поведала ему, что еще никогда, нигде не спала так сладко и ни разу в жизни не чувствовала себя поутру такой свежей и бодрой. По-видимому, гигиенические свойства комнаты немедленно дали о себе знать. Художник с изумлением взирал на несказанно похорошевшую в то утро жену. Он испытывал лишь одно желание: немедленно встать из-за стола и броситься на нее... Но увы, после бессонного ночного бдения у дверей супруги он был слаб, точно младенец. К тому же от непрерывного постукивания в эти двери у него распухли костяшки пальцев.

Поэтому, глубоко опечаленный, он почел за лучшее удалиться в свою комнату, где и проспал сном праведника весь день.

Отныне его отношения с женой приобрели чисто формальный характер: они желали друг другу доброго утра, доброго дня и столь же доброй ночи, с деланной учтивостью прощались, расставаясь, и таким же манером приветствовали друг друга, возвращаясь домой. Между тем жена художника день ото дня чувствовала себя все бодрей и прямо на глазах неприлично хорошела — казалось, то бутон цветка наконец-то вкусил солнечных лучей и распускается в полном великолепии. Он же — наш художник — явным образом увядал... Делался все мрачней и находил горькую отраду в единственном доступном ему теперь времяпровождении — созерцании своей очаровательной супруги с почтительного расстояния. Двери ее комнаты неизменно оставались накрепко запертыми для него, а в дневные часы она таинственно исчезала бог знает куда...

В его душу начали закрадываться малоприятные подозрения. Уж нет ли здесь некоего третьего лица, думалось ему. И вот однажды он решил неприметно последовать за женой. Однако установленный за нею негласный надзор не выявил ничего подозрительного, ничего, что могло бы разжечь ревность. В тот день единственным пунктом программы, намеченной его женой, было посещение библиотеки. Еще больше, чем само это посещение, его поразило, что в библиотеке она отнюдь не погрузилась в чтение, но, напротив, принялась с увлечением что-то писать. Писать в библиотеке?!

— Позволь узнать, — поинтересовался он в тот вечер за ужином, — как будет называться труд, который ты сейчас создаешь?

Жена художника вздрогнула, а потом рассмеялась и вопреки сдержанности последних дней ущипнула супруга за щеку:

— Так ты следил за мной? Признавайся! Тебе правда интересно?

Супруг, продолжая жевать, утвердительно кивнул.

— Он будет называться: *«В раю нет места визитным карточкам»*.

Художник поперхнулся — лакомый кус, который он в тот момент тщательно пережевывал, едва не угодил в дыхательное горло. Он закашлялся. Более того — расчихался. А придя в себя, опрометью бросился в свой кабинет.

Там он сгреб в кучу все типографски напечатанные визитные карточки.

Затем столь же стремительно выбежал с ними на задний двор.

Затем разложил костер и сжег их все до последней.

Затем собрал все свои картины, взял жену за руку и вывел ее из дома.

Затем поджег дом, некогда принадлежавший мэру их городка.

Затем, забрав с собой картины и жену, возвратился в хижину на побережье, которая к тому времени была еще цела и невредима.

А затем все вернулось на круги своя...

По возвращении в хижину жена крепко, с прежней нежностью обняла его. И разрыдалась от радости и переполнявшего ее счастья. В ту ночь она вновь предалась супругу душой и телом.

А за дверями хижины меж тем ликующе шумело море, приветствуя второе рождение их любви — той, что совершенно не нуждалась в визитных карточках.

Он снова начал писать. Какое-то новое измерение появилось теперь в его работах. Он и сам не понимал, какое именно, — знал только, что в прежних ничего такого не наблюдалось. Первой его известила об этом жена, чей анализ его живописи день ото дня становился все пространней и основательней, все детальней, все больше изобиловал малопонятной иностранной лексикой.

Художник забеспокоился. Он начал замечать, что злой дух художественной критики, всегда столь ненавистный ему, не иначе как пытается воплотиться в его собственной жене.

— Кстати, а как обстоят дела с твоей книгой? — спросил он однажды у жены.

Жена обнаружила явные признаки раздражения.

— Я выбросила ее в море, — ответила она, с трудом сдерживая слезы досады, готовые брызнуть из глаз.

— До или после завершения? — поинтересовался он.

— Вместо, — отрезала жена.

— Стало быть, ты вверила волнам это самое... э-э-э... повесть, роман, эссе?

— Роман в форме эссе.

— И что же это такое было?

— Роман будущего. Роман без героя, без темы, без моральных шор.

— А! — радуясь своей сообразительности, воскликнул художник. — Так, значит, ты задумала нечто из жизни проституток.

Жена не обратила никакого внимания на насмешку, прозвучавшую в его голосе.

— Роман будущего, — пояснила она, — это своего рода ракета, стартующая из шахты человеческих поступков, с космодрома чувств. Мы уже давно переживаем кризис романа и мало ли еще какие кризисы. А все дело в том, что человек более не удовлетворен собой и потому ему совершенно безразлично, насколько правдиво он отражается в литературе. Проблема грядущего человека будет состоять вовсе не в том, хорош он или плох, правдив или лжив, прекрасен или безобразен. Важнее другое: у грядущего человека хватит мужества поставить свою личность на кон как некую предельную ценность и испытать себя на прочность в совершенно новой ситуации — той, что рождается на последней границе человеческой природы.

— На последней границе человеческой природы? Любезнейшая супруга, объясни, что сие означает.

Прочитанная женой лекция вызвала в душе художника глухое раздражение, и он не сумел скрыть некоторой язвительности тона. Жена ответила ему сердитым взглядом.

Как раз в это время кончиком языка она нащупала во рту неприятную крупинку... Что бы это могло быть? Какая-то крошка от обеда? Раз за разом она пыталась раздавить ее, старательно прижимая языком к клыку, но из этого ничего не выходило...

Вопрос мужа, то ли ехидный, то ли нет, требовал незамедлительного ответа, а значит, от злополучной крупинки следовало избавиться как можно скорей. Кончик языка, точно стремительная акула, вновь атаковал ее, но крупинке удалось ускользнуть от «хищника», ловко проскочив между верхним и нижним клыками. Тогда жена художника что есть сил стиснула крупинку челюстями. От напряжения глаза у нее съехались к переносице, челюсти занемели, по лицу пробежала легкая дрожь.

Кррк!

Она от души изумилась. Муж изумился и того больше. От любопытства его глаза чуть не вылезли из орбит, но ее любопытство было не в пример острей. Ведь теперь, как она чувствовала, у нее во рту ловко увертывались от языка уже целых две крупинки: одна маленькая, прежняя, которую так и не удалось сокрушить клыками, и другая, побольше,

новая, твердая — господи боже мой! — как галька или гранит. Пощупав языком правый верхний клык, она все поняла: половина клыка обломилась и острый край того немногого, что осталось, покалывал язык.

Муж продолжал таращиться на нее, точно перед ним внезапно предстал средних размеров бес, который никак не желал признаваться в том, что он бес, и ничего, кроме беса. Для этого он то являл свой бесовский облик, то вновь его скрывал. Более того, он уже не сидел, а стоял перед художником, застенчиво улыбаясь. И даже ущипнул его за щеку. «Ах, дорогой, ведь ничего страшного не произошло», — промолвил бес и оказался очень мил.

Но тут произошло новое бедствие!

Движением воздуха, вызванным артикуляцией этих ободряющих слов, обломок зуба отнесло к глубокому провалу горла и... О-оп!

Вместе с назойливой крупинкой обломок низвергся в провал.

Жена художника вторично изумилась. Художник вторично изумился и того больше. Но она почти тотчас овладела ситуацией, ибо кончик языка успел отрапортовать о паническом бегстве обоих инородных предметов. Ничто больше не смущало ее безмятежного спокойствия. Взгляд смягчился. На губах вновь появилась улыбка.

— Пойдем, дорогой, — сказала она и тем положила конец замешательству мужа.

Без неуместной торопливости его увлекли в глубину хижины, после краткой, но ожесточенной борьбы тушировали на обе лопатки, и счастливый победитель утопил его, поверженного, в поцелуях и объятиях, становившихся все настойчивее и жарче.

За дверями хижины ликующе шумело море, воспевая хвалу телу, прильнувшему к телу, и устам, припавшим к устам. И мерцали звезды, своим мерцанием лукаво поверяя целому свету презабавную сказку о том, как в некотором царстве, в некотором государстве в одном рту жил да был зуб, и вот настал день, когда он сломался и теперь любовно и нежно ранит язык, который тоже жил да был, но вовсе в другом рту, наконец отыскавшем тот, из некоторого царства.

Пение хвалы так захватило одну из волн, что она вздыбилась выше других, вытянувшись на цыпочках, устремилась к берегу и — в который раз от сотворения мира? — увлажнила песок у самого порога хижины...

Непроглядно темная ночь опустилась на побережье. Скатилась с небес и угасла в море падучая звезда.

Вести о художнике, его мастерской в прибрежной хижине и его горячо любимой жене в конце концов разнеслись по городу, а потом и по всей стране.

Число посетителей хижины, ставшей общегосударственной достопримечательностью, росло не по дням, а по часам. Большинство этих посетителей составляли юные воспитанницы средних школ с литературно-культурным уклоном. В романтической жизни художника и его жены на морском берегу они находили тему для размышлений, каковой не обнаруживали прежде в романах, рекомендованных наставниками для внеклассного чтения.

Другую категорию посетителей составляли старые девы и немолодые девушки трудной судьбы, прибывавшие спаянными группками в своих неизменных автобусах для пикников. В идиллии, вершившейся на их глазах над пенными валами, они усматривали то, чего сами в жизни были лишены. И потому, стараясь опередить старость, уже готовую перемолоть их в однородную массу (старость стирает различия меж всеми людьми, не щадя и старых дев), а затем исторгнуть из земной юдоли, они спешили испытать это новое наслаждение — наслаждение созерцанием чужого счастья.

Своей манерой поведения они немало досаждали художнику. И вовсе не потому, что были дурно воспитаны или, скажем, портили его мебель (если то, что стояло в хижине, вообще можно было назвать мебелью). Вовсе нет. Они вели себя скромно и вежливо во всех отношениях, за исключением одного — часами прямо-таки не сводили глаз с художника и его жены. Неотрывное наблюдение такого рода доставляло им ни с чем не сравнимое, поистине чувственное удовольствие: они сладострастно вздыхали, взволнованно потирали руки и вновь устремляли взор на молодую чету.

От этих взглядов художнику становилось не по себе. Он не мог работать. Он чувствовал себя актером, впервые в жизни вышедшим на сцену и оставшимся один на один с тысячами пар глаз, следящих за каждым его движением.

Совершенно иные перемены вызывали наезды посетительниц в душе жены художника. Казалось, визиты старых дев придают ей все большую уверенность в себе. Никогда прежде ей не доводилось столь остро испытывать эту

уверенность. Что-то новое, твердое и определенное сквозило теперь в каждом ее движении, в каждом шаге. Даже в голосе появились новые нотки — нотки новообретенной определенности. Однако в выражении глаз угадывалась не одна только эта определенность. В них светились торжество и счастье. Счастье, что другим не досталось такого счастья или что они не так счастливы, как она. Специфически бабья разновидность счастья.

И оттого, что это счастье было специфически бабьим, или, выражаясь деликатней, женским, волны его не могли не докатываться до посещавших хижину старых дев. Словно бы учуяв присутствие в воздухе сильного запаха газа, они начинали ерзать на стульях, под предлогом невыносимой жары извлекали из карманов платки, обмахивались ими и спешили к морю отдышаться и проветриться.

В тот день и час ветер свирепо завывал на морском берегу, стараясь довести до сведения свободной стихии, что нынче ночью ожидается выпадение обильных осадков. Какая-то старая дева, быть может, самая старая из присутствующих здесь дев, в качестве наблюдателя прочно обосновалась в хижине и пристально изучала жену художника. Глубокие морщины на лице визитерки образовывали как бы естественные русла, по прямой направлявшие взгляд на визави. Некоторая прямолинейность этого взгляда показалась жене художника его неотъемлемой принадлежностью, неподвластной переменам, но тут морщины старой девы непостижимым образом переместились в уголки ее и без того морщинистого рта, в глазах проглянула то ли усмешка, то ли насмешка.

От всех этих эволюций жена художника испуганно вздрогнула, а ее взгляд, встретившийся со взглядом посетительницы, испытал непреодолимую потребность спастись бегством — выскользнуть через окно хижины и затеряться в просторах открытого моря. Улыбка дамы была еще более зловещей, чем выражение ее глаз: складки морщинистого рта разгладились и губы обрели чуть припорошенную пепельно-серым белизну — типичный цвет старческой крови.

Одарив хозяйку столь обворожительной улыбкой, старая дева поднялась и, не оглянувшись, твердой поступью вышла из хижины. Сплоченный коллектив ее товарок повскакал со своих мест и, точно стайка уток на закате дня, парами последовал за ней.

Жена художника сердито посмотрела им вслед, и когда в небесах пророкотал гром, оповещая, что обильные осадки,

не пожелав дожидаться ночи, выпадут в ближайшее время, а старые девы, до смерти напуганные его раскатом, припустили что было сил, она громко расхохоталась, сотрясаясь всем телом. Потом набрала полные легкие воздуха, снова разразилась смехом и сразу же почувствовала, насколько неестественно, насколько натужно, насколько деланно он звучит.

Что бы мог означать ее деланный смех?

Ей показалось, будто что-то сухое и мерзкое обметало уголки губ, и тотчас тошнотворный ком подкатил к горлу. Мысли и чувства, словно разноцветные нитки, сплелись в растрепанный клубок.

Что же означал ее деланный смех?

Одну за другой принялась она распутывать нитки. За что она возненавидела несчастных старых дев? Ведь они ничем ее не обидели, напротив — были так почтительны и вежливы. Приехали специально для того, чтобы порадоваться за нее, порадоваться ее семейному счастью. Разве они заслужили ненависть? Горячее чувство раскаяния смягчило ее душу, смягчило все ее существо, стеснило дыхание. Она всхлипнула, на глаза навернулись слезы.

Перед ее мысленным взором с поразительной четкостью возникла только что виденная картина: старые девы, под оглушительный раскат грома бегущие со всех ног в сторону города. Больше она была не в силах сдерживаться и, прислонясь к столбу хижины, чтобы не упасть, расплакалась навзрыд.

Но очень скоро перестала плакать. Слезы на глазах тотчас высохли. Ну а та, самая старшая из старых дев, почему она так на нее смотрела? Почему ее взгляд вызывал такую неловкость, раздражение, почему словно бы загонял в угол?

Почему?

И еще — эта старая дева смеялась над ней, улыбалась так, что казалось, тебя заталкивают обратно в материнское лоно. Кто она такая, интересно знать?

Кто она такая, да, кто?

И тогда вновь вернулась та картина: бегущие от грома старые девы и впереди самая старшая из них. Разве она не видела, как та, поскользнувшись, ничком упала на землю, как остальные из последних сил бросились к ней, помогли подняться? Разве она не видела, как тяжело та поднялась, как поплелась дальше, с трудом переставляя ноги, как луч заходящего солнца ненароком скользнул по ее лицу, и даже

из хижины было видно, как искажено оно нестерпимой болью?

А она-то, она еще смеялась... своим идиотским деланным смехом.

Так, будто нечаянно, она отыскала в растрепанном клубке конец розовой нитки, тот самый, что еще прежде маячил под сводами ее души. Она осторожно потянула за конец, начала вытягивать розовую нитку, и нитка, хоть и не сразу, привела ее к ответу на вопрос, что означали и ее деланный смех, и ее плач. На поверку смех оказывался тем же плачем...

Вновь прогремел гром. Море вспенилось. Громче стал рокот волн, бьющихся о берег. На землю упали первые капли дождя. Но и когда ливень хлынул как из ведра, она не отошла от окна — ее душа оставалась единственным сухим пятачком среди тверди, затопленной водяными потоками.

На следующий день жена художника заболела. Отовсюду на нее глядело улыбающееся лицо той старой девы. Оно появлялось из щелей в стенах хижины, виделось в игре теней на песчаном полу, угадывалось в ударах собственного сердца, возникало среди смутных, никак не желавших обрести четкость образов, рождавшихся в расстроенном болезнью воображении.

В темноте под сомкнутыми веками изменялись коричневатые поначалу тона, в которых ей рисовалось страшное до жути лицо старой девы. Так изменяет свой цвет раскаляющийся металл. Огромные, острые, выдающиеся наружу зубы желтели, обретали какую-то неправдоподобную желтизну... Еще более явные перемены происходили с глазами — двумя узкими овальными провалами, чернота которых как бы сама собой размывалась, плавилась, чтобы затем вновь затвердеть, сгустившись в насыщенную желтизну яичного желтка.

Потом старая дева исчезла. Ее место занял невесть откуда взявшийся пещерный человек.

Да и можно ли было счесть его человеком? Узкий скошенный лоб, выдающиеся надбровные дуги, плоский проваленный нос...

Человек? Разве в истории прямоходящих это существо не стояло в одном ряду с питекантропом, синантропом, австралопитеком, неандертальцем?

Желтизна становилась все гуще, все ярче. Постепенно в созданном воображением мирке под веками не осталось

иных цветов, кроме желтого, а в центре этой новой желтой Солнечной системы опять замаячило жуткое лицо старой девы...

Не в силах преодолеть охватившее ее чувство ужаса, жена художника закричала. Ей показалось, что она как могла громко выкрикнула имя мужа.

Имя! Но разве знала она его имя? Разве знала, как его зовут? Разве знала, есть ли у него вообще имя? Тогда в мэрии, во время регистрации брака, он написал в графе «ФИО» — Дваэн (NN) и при этом, давясь от смеха, тихонько толкнул ее локтем...

Когда они впервые вместе переступили порог своего номера в отеле, ей тотчас бросилась в глаза одна из его картин. На картине в весьма условной манере был изображен клоун с огромной дырой в голове. Называлась она «Дваэн» (NN).

Тогда-то она и перестала называть мужа Дваэном, хотя само по себе это имя успело ей понравиться. И надо сказать, что у них с тех пор вообще ни разу не возникло ситуации, в которой ей так уж необходимо было его хоть как-нибудь называть. Даже во всех дурацких словечках наподобие «папашки», «старика», «обалдуя» не было никакой нужды. Да что там словечки — насколько она помнила, ей и самого обыкновенного «ты» не доводилось ему говорить, да-да... именно так. Все их отношения с самого начала отличались абсолютной непосредственностью, не нуждались в посредничестве слов. То было своего рода «короткое замыкание»: один, целиком полагаясь на свой инстинкт и любовь, безошибочно предугадывал каждую мысль и чувство другого — вот и все. Им незачем было обращаться друг к другу во втором лице. Никогда не прибегали они и к третьему лицу, поскольку ни о каких третьих лицах, ни о ком постороннем вообще не говорили. Она восприняла неожиданную любовную связь с мужчиной, ставшим теперь ее мужем, как неоспоримую реальность. А кто станет оспаривать неоспоримое?

В тот солнечный день, ничего не подозревая и ни о чем не догадываясь, она преспокойно шествовала по улице. Внезапно с небес на нее обрушилось нечто тяжелое, повергло ее наземь, придавило. О том, что обрушившееся нечто не что иное, как мужчина, а небеса — всего лишь номер в отеле на четвертом этаже, она узнала только позднее, когда это уже не имело никакого значения. Поэтому ей оставалось лишь одно — воспринять все случив-

шееся как определенный фрагмент реальности, а если так, то без колебаний принять его. Точка. Исходя из этого же силлогизма, она ответила приятием и на целый ряд последующих событий, поскольку они были логическим результатом того, первого. Все, что произошло потом и присовокупилось к первому событию, также было самой обыкновенной реальностью и потому априори заслуживало такого приятия.

Что же касается мужчины, ставшего теперь ее мужем, то он был частью этой реальности, и потому она приняла и его, не прося предъявить визитную карточку или вид на жительство, не требуя заверенной Красным Крестом справки о группе крови. Она приняла его живопись и его худобу. Она приняла его родинку в уголке над верхней губой и его поразительные мужские достоинства. Она приняла его легкомыслие, чуждое всякому порядку и какому бы то ни было установленному ритму, его поступки, зависящие лишь от сиюминутных обстоятельств, и запах изо рта, незнакомого с зубной щеткой. Она приняла несвежий дух, исходящий от его тела, мывшегося раз в год по обету, обыкновение полоскать рот и ковырять в зубах после еды, привычку мечтать неведомо о чем и бог весть куда уноситься мыслями во время серьезного разговора, его полнейшее нежелание ходить на приемы, танцевать и рассуждать о высоком, его манеру обращаться в паническое бегство при первой же встрече со снобом. Все это, а равно и прочие его привычки, пристрастия, увлечения она приняла без тени протеста и без каких-либо комментариев.

Муж тоже ни о чем ее не расспрашивал, не пытался узнать, кто она, из какой семьи, была ли или, быть может, собиралась стать чьей-то невестой, женой. Он даже ни разу не поинтересовался, кто ее мать. Когда его донимали вопросами, кто же такая в конце концов его жена и как случилось, что он на ней женился, он отвечал предельно кратко: «Я упал и...»

Да, жена принимает его таким, каков он есть, но что же в этом дурного? Любит ли он ее? Странный вопрос, коль скоро она — его жена.

Все идет своим ходом. Сущее существует, и в этом опять же заключено нечто абсолютное и неоспоримое — тот факт, что существует и он, что он тоже есть. Этот факт и служил отправной точкой для последующих рассуждений. Он существует, а значит, среди прочего и любит. Разрыв

не есть следствие недостатка любви, но, напротив, — свидетельство ее избытка. Каждый из разошедшихся супругов вновь женится или выходит замуж, и потому неверно утверждать, будто он не любит — он любит новую жену или нового мужа.

Ну а как же вдовы и вдовцы, навсегда остающиеся одинокими? Что ж, тут нет никакого противоречия — просто им больше всего на свете хочется выглядеть в чужих глазах жертвами своей единственной, непреходящей любви. Они могут вызвать умиление у будущих монахинь и священников. О них могут говорить как об истинных рыцарях верности, героях Любви с большой буквы. Но так ли это в действительности? Всечасные муки страсти, для которой они не могут найти законного, отвечающего нормам морали выхода, подтверждают лишь то, что они ничем не отличаются от заурядных паяцев, заштатных клоунов. Тех самых, что обожают свет рампы, или торжественные речи по бумажке, или роскошные рамы для картин. Ведь этим паяцам тоже знакома истинная горечь того, что значит числиться в жертвах или в героях. Их свобода, простор все суживаются. Они становятся всенародным достоянием и больше себе не принадлежат. Теперь их место — тесное узилище газетных заголовков. Но разве догадываются репортеры, что на самом деле творится за закрытыми дверями, в комнатах тех, кто стал всенародным достоянием, когда поздно ночью, вернувшись после приема или очередного торжества, они сбрасывают наконец парадные одежды и какое-то мгновение видят себя совершенно нагими в зеркале? Нет, конечно, ведь герои неизменно на виду, неизменно на улицах, неизменно в сутолоке празднеств. Там проходит вся их жизнь, не говоря уж о смерти. Ибо подлинный герой — это всегда мертвый герой!

Запечатленное одной лишь желтой краской лицо старой девы ни на миг не оставляло жену художника. Ей начинало казаться, что эта шафранная желтизна понемногу пропитывает все ее тело, что ее глаза, ногти, кожа с каждой минутой становятся желтей.

Наконец наступил момент, когда она испугалась уже не на шутку: ее ярко-желтая слюна оказалась вовсе не такой, как у обычных больных. Она потянулась за зеркалом, заглянула в него. Но можно ли было в изжелта-желтой зеркальной глади разглядеть желтое лицо? Что такое желтое на желтом?

Она громко вскрикнула, а может быть, это ей только почудилось. Она и сама толком не знала. Однако, каким бы ни был ее крик — реальным или только воображаемым, на него никто не отозвался.

Это ее огорчило. В первый раз ей по-настоящему хотелось ощутить рядом присутствие мужа, но мужа рядом почему-то не было.

Такие уж установились у них отношения, что категория «расстояния» не играла в них никакой роли. Между нею и мужем просто не существовало никакого расстояния. Они были одно — два существа в едином теле. Она всегда каким-то безошибочным чутьем угадывала все его желания, в тот самый миг, когда они возникали. И наоборот, он буквально на лету проникался всяким, даже неосознанным ее желанием.

Она знала каждую пóру его тела, знала, сколько у него родинок и где они скрываются, как бьется его сердце, как он дышит, за какое время его страсть доходит до высшей точки накала. Она знала каждую интонацию его голоса, особую мелодику и ритм его храпа. Конечно же, она назубок знала его всего.

Да и годилось ли тут слово «знала»? Ведь, по существу, она просто была им. А он был ею. Два существа в одном теле.

Однако то, что она испытывала сейчас, переворачивало вверх дном весь строй ее личности, клало начало сокрушительной цепной реакции. Раз подобное могло произойти сейчас, когда он был ей так необходим, где гарантия, что в будущем, в какой-то другой ситуации это не повторится? Она всеми силами души желала, чтобы муж немедленно оказался рядом, но он *не приходил*. А если бы в другой раз ей, к примеру, захотелось, чтобы, лаская ее, он, по странному своему обыкновению, легонько укусил ее в плечо? Как же быть, если он сейчас не придет, как быть, если тогда не укусит?

Нет! Она не смела так думать. Она слишком боялась разочароваться.

Выходило точь-в-точь как с постоянным покупателем лотерейных билетов, который давным-давно собирается их проверить, но все откладывает, чтобы по возможности оттянуть миг разочарования — ведь не исключено, что он так ничего и *не выиграет*! Между тем, откладывая проверку, он получает законное право, как и прежде, витать в мечтах о пятимиллионном выигрыше... При этом в глу-

бине души он, конечно же, отдает себе отчет, что *не выиграет* этих денег, что ему *никак* не суждено их выиграть!

И все же он каждый раз вновь покупает билеты...

На другой день муж подошел к ней, сел рядом, легонько укусил в плечо. Но теперь уже ей самой этого вовсе не хотелось! А может быть, ей только почудилось, что не хочется. Она и сама толком не знала. Во всяком случае, на этот раз ни его присутствие, ни его ласка не принесли ей никакой радости. Тем более — ощущения счастья.

В ее душе пробудилась ненависть. Ненависть к мужу. Ненависть к себе самой, нисколько не обрадовавшейся его ласке, его близости, ничуть не ставшей от них более счастливой.

Она ненавидела. Ненавидела саму эту ненависть, пробудившуюся так некстати, так не ко времени, в минуту, когда ее меньше всего желали.

Муж улыбнулся ей. *И он, и его улыбка были изжелта-желты.* А может быть, ей только почудилось, что на его до одури желтом лице мелькнула улыбка? Она попыталась вытянуть из растрепанного клубка еще одну нитку, держась за которую могла бы возвратить все прежние переживания, чувства, мысли. Ибо, несмотря на слабость, несмотря на помрачение ума, она все еще ясно сознавала, какая несусветная путаница царит в ее нынешних мыслях и чувствах. И оттого, что так ясно это сознавала, путаница лишь увеличивалась.

Теперь выходило как с душевнобольным, который еще достаточно здоров, чтобы понимать, что он болен. Временами такой больной знает даже свой диагноз, знает методы лечения своей болезни. Можно ли в этом случае сказать, здоров он или болен? И горе психиатру, которому встретится такой больной! Он, психиатр, очень быстро почувствует себя крохотной мышкой, которой забавляется огромная черная, игривая кошка. Каждую минуту станет он спрашивать себя, болен или здоров его пациент, и наконец настанет день, когда он переадресует этот вопрос самому себе. Психиатр, сошедший с ума, — вот истинный триумф психиатрии!

Не успев довести до конца эту мысль, она внезапно точно онемела. Стала нема как рыба и, как рыба, забилась на постели. Ее муж плакал — или, может быть, ей только почудилось, что он плачет? Во всяком случае, она заметила, что несколько капель прозрачной влаги скопилось в уголках его глаз.

Потом в поле зрения возникли кончики его пальцев, приближающиеся к ее волосам. Она почувствовала, как эти пальцы коснулись волос, ласково скользнули по ним, потихоньку перебрались на лицо и теперь, едва касаясь, легко и осторожно гладили его. Капелек прозрачной влаги становилось все больше, и, когда в уголках глаз для них недостало места, они начали плавно скатываться вниз. Одно за другим заполняли они углубления пор на равнине к югу от глаз, а поскольку никаких дорожных знаков, призывавших остановиться, на той равнине не было, они, миновав подбородок и шею, стекали за расстегнутый ворот мужниной рубашки.

Она впервые увидела мужа плачущим, а быть может, только вообразила это себе; она всегда нисколько не сомневалась, что он тверже, чем сама твердость, суше, чем сушь. Он был точно выжженная солнцем пустыня, в которой не родится ни капельки слез. Ей ни разу не довелось увидеть его взволнованным или печальным. Его лицо походило на маску, вырезанную из дерева на редкость твердой породы. Его дыхание никогда не учащалось, голос никогда не дрожал, нервы никогда не напрягались. Когда однажды вечером к ним в хижину заглянула жена рыбака, рассказавшая, что ее муж утонул в бурю, что теперь в ее доме нет ни рисинки, что ее дети плачут от голода, он ни единым словом не выразил ей своего сочувствия, преспокойно дождался, пока она закончила рассказ и вытерла слезы, а затем столь же равнодушно вышел из хижины. Подняв воротник куртки, он поглядел на небо — не собирается ли дождь, и как ни в чем не бывало зашагал вдоль берега моря, наслаждаясь вечерним моционом. Вернулся он поздней ночью в отличном расположении духа, радостно обнял жену и высыпал перед ней целую груду ракушек, подобных которым ей никогда не доводилось видеть...

Она не могла ответить на вопрос, действительно ли он плакал, а на другие вопросы и подавно. Например, почему он плакал? Потому что она больна? Или потому, что видит мир в одном только желтом цвете? А плакал ли бы он, если бы мир виделся ей не желтым, а, скажем, голубым, или красным, или темно-зеленым? Быть может, прежде он никогда не плакал, потому что мир казался ему бесцветным? Но разве отсутствие цвета уже само по себе не есть цвет?

Ее попытки хоть что-то понять потерпели полный провал — мысли стремительно носились по кругу, точно подхваченные смерчем. В голове птицами метались вопроси-

тельные знаки, большие и маленькие, красивые и уродливые, вопросительные знаки всех цветов радуги — пурпурные, голубые, серые, коричневые. Попадались и желтые...

Желтые вопросительные знаки?

Внезапно она села в постели — тотчас все тело свело судорогой, и оно стало твердым как сталь. Что есть силы она ударила мужа по руке.

Он охнул от боли.

— Уходи! Уходи! — выкрикнула она. Или... ей только почудилось, что выкрикнула?

Муж вышел. Или... ей только почудилось, что он вышел?

Да и муж ли? Или... ей только почудилось, что мужчина, который какую-то минуту назад сидел подле нее, укусил в плечо, погладил по волосам, заплакал, был ее мужем?

И этого она толком не знала.

Не знала, ничего она не знала, ничего!

Она знала только одно: в хижине совершенно пусто. Чудовищно пусто — никого, кроме нее.

Господи, как ей хотелось спрыгнуть с постели, догнать этого мужчину, броситься ему на шею, просить прощения!

Как ей хотелось носиться вместе с ним по сырому прибрежному песку, строить из этого песка замки, которые снова слизывают набегающие на берег волны!

Как ей хотелось собирать с ним ракушки, отыскивая такие, каких прежде они не видели, а потом низать из них бусы!

Как ей хотелось разбрасывать с ним по берегу всякую всячину, оставшуюся после еды, чтобы клевать ее слетались чайки, успевшие привыкнуть и подружиться с ними!

Как ей хотелось снова пережить все это с тем мужчиной — и черт с ним, муж он ей или нет!

Ей казалось, что пустота в хижине все сгущалась, плотнела и в какой-то момент прямо на глазах обернулась зверем неведомой породы. Больше всего зверь напоминал огромную кошку, но между глаз у нее зачем-то торчал внушительный рог.

Диковинная кошка улыбнулась ей, дружелюбно помахивая хвостом, подошла к постели и принялась лизать руки, ноги... Когда же шершавый язык зверя добрался до ее головы, а потом и лица, она ужаснулась: кошка оказалась... желтой. Изжелта-желтой, как яичный желток.

Человек, вглядывавшийся в морские дали с обрывистой

скалы, что соседствовала с цепью прибрежных гор, внезапно услышал резкий, пронзительный крик.

А может быть, ему только почудилось, что услышал?

Море было спокойно, рябь, подернувшая его, казалась пепельно-серой.

Одинокая чайка нырнула в пену у линии прибоя, выхватила из воды мелкую рыбешку и вновь стремительно взмыла в небо, унося в клюве свою жертву.

Солнце садилось.

Рыбачья лодка вдали напоминала добела раскаленную точку в ярко-алом расплаве, цвет которого сначала сменился темно-багровым, потом, когда солнце зашло, — непроницаемо черным.

А человек все так же неподвижно стоял на вершине обрывистой скалы.

7

Похороны жены художника должны были состояться на следующий день. Накануне художник наведался в Отдел Здравоохранения, а затем — в Отдел Гражданской Регистрации.

— Ее больше нет, — сказал он на редкость невыразительным, каким-то плоским голосом, обращаясь к регистраторам актов гражданского состояния.

— Кого ее? — изумленно воззрился на него один из регистраторов.

У него был такой вид, что художник не смог удержаться от смеха. Потом он напомнил регистратору, что не кто иной, как он, в свое время надлежащим образом скрепил их брак в присутствии чрезвычайно милого офицера полиции.

— Ах, ее! — рассмеялся довольный своей памятливостью регистратор. — Что ж вы сразу так не сказали?

Он смеялся громко, заразительно, но внезапно на самой высокой ноте смех оборвался, точно корова слизнула его языком. Регистратор наконец понял, что означало слово «нет», и ужаснулся собственному смеху.

— Так ее больше нет?

— Совершенно верно, нет, — согласился художник, — и я просил бы муниципалитет зарегистрировать ее нынешнее гражданское состояние с соблюдением всех необходимых формальностей. За тем я сюда и пришел.

Он весело рассмеялся и вышел из мэрии.

Следующим на очереди был визит в одно из частных похоронных бюро. Там он предъявил бумаги, полученные в двух предыдущих учреждениях, после чего владелец бюро подал ему новый ворох бланков. Художник поспешно сложил их в несколько раз и собирался было спрятать в карман, однако владелец бюро решительно этому воспротивился.

— Стоп, стоп, так не пойдет! — воскликнул он.

— Почему «стоп, стоп» и почему, собственно, «не пойдет»? — поинтересовался художник.

— Потому что эти бланки надо заполнить здесь и сейчас.

— Здесь? Сейчас? Но зачем?

— Затем, чтобы мы могли на законных основаниях совершить захоронение вашей супруги. Если вы не заполните этих бланков, мы, как это ни печально, не сможем принять ваш заказ.

— Заказ?! — в недоумении воскликнул художник.

— Ну разумеется, заказ. Что в этом слове такого? Поймите меня правильно: бланки, которые вы должны заполнить и подписать, служат документом, удостоверяющим, что наше похоронное бюро не было вовлечено в какие-либо действия, запрещенные законами государства.

— Но разве законы государства запрещают хоронить умерших? — пуще прежнего поразился художник.

Перспектива и в дальнейшем лицезреть владельца похоронного бюро, все сильнее склонявшегося к юридической манере изъяснения, ему явно не импонировала.

— Гм, это зависит от категории, к которой принадлежит умерший.

— К какой еще категории?!

— Ну как же. Возьмем, к примеру, категорию умерших, ставших таковыми вследствие убиения. К ней в свою очередь принадлежат лица нескольких субкатегорий. Прежде всего, убиенные на законных основаниях, скажем казненные по соответствующему приговору или павшие на поле брани. Обслуживание павших героев для нас, учреждения сугубо частного, — высокая честь, ибо, как вам должно быть известно, проводы их в последний путь обычно входят в компетенцию государственных органов. Далее, существуют умершие, ставшие таковыми вследствие противозаконных действий. Примеры подобных действий многочисленны: убийства с ограблением, убийства с изнасилованием и тому подобное...

О, как захотелось художнику сию же минуту собственноручно причислить владельца похоронного бюро к одной из названных им категорий! Непонимание простейших вещей — того, что классификация умерших включает одну-единственную категорию, хоть кого вывело бы из себя. Умершие — это умершие, просто-напросто мертвецы. Вот и все. Он терпеть не мог, когда люди, словно не догадываясь об этом, продолжали их беспокоить, прибегая к так называемой криминологии, криминалистике или бог знает чему еще.

— Ну а если я все же не стану заполнять этих бланков, что тогда? — спросил он.

— Мне кажется, вы сами догадываетесь, что мне останется вам ответить, — широко улыбнулся владелец бюро, показав два ряда зубов, в которых перемежались экземпляры черного, желтого и какого-то еще, неопознанного цвета.

— Что ж, прекрасно! — промолвил художник. Он разорвал в мелкие клочки полученные бланки и, улыбаясь не менее широко, чем владелец похоронного бюро, позволил себе в полной мере насладиться его замешательством. Уголки рта похоронных дел мастера недоуменно вздернулись, явив миру характерную гримасу, выражавшую изумление, причины которого не вполне ясны.

— Всего наилучшего! — бросил художник, направляясь к выходу.

— Постойте, постойте! — возопил владелец бюро, хватая художника за руку.

Художник резко обернулся, застыл на пороге, но не переступил его. Владелец похоронного бюро был само воплощенное смятение. Безумный взор, волосы, взъерошенные на висках безостановочно порхающими пальцами, — все выдавало в нем существо хоть и страховидное, но, безусловно, заслуживающее снисхождения.

Героическим усилием художник подавил раздражение.

— Разве я не ясно дал вам понять, что не намерен воспользоваться услугами вашего бюро? — спросил он с наигранной, театральной холодностью.

— М-м-м, возможно, я не вполне верно вас понял,— ответил владелец похоронного бюро, и в его голосе прозвучали нотки деланного волнения. — Боюсь, что в конце концов вам, воленс-ноленс, придется к нам обратиться. Как вы видите...

Терпение у художника лопнуло. Он с трудом поборол приступ тошноты, ибо на дух не выносил такого деланного волнения, тем более всех этих «как вы видите ..» или «как

нам с вами известно...». Он на дух не выносил неудавшихся эссеистов, переквалифицировавшихся в чиновников бог знает каких ведомств. У него просто не хватало терпения выслушивать, как они разглагольствуют, точно продолжают сочинять свои эссе.

Особенно если они служили в частных фирмах, не говоря уже о частных похоронных бюро.

— Уверяю вас, я действительно не желаю иметь с вашим бюро никаких дел, не желаю заполнять никаких бланков, ведь в них сам черт ногу сломит — где начала, где концы.

«Начала и концы!» — восхитился про себя владелец похоронного бюро. Какой прекрасный заголовок! Что бы только им озаглавить? Вслух же произнес:

— Неужели вы не понимаете, что, отказываясь от наших услуг, даете повод для грандиозного скандала, быть может самого грандиозного в нашей стране за весь этот век?

— Повод для скандала? Какого же, позвольте спросить?

— Как какого? Ведь вы оставляете вашу супругу без погребения.

— Вон оно что! А кто сказал вам, что после смерти моя супруга продолжает оставаться моей супругой? Она так же мертва, как все прочие мертвецы, и если бы я стал заниматься ими всеми подряд, от меня ничего не осталось бы для себя самого.

Владелец похоронного бюро изумился, словно средь бела дня повстречал сатану собственной персоной. От рассуждений художника у него помутилось в глазах — черепную коробку словно бы плотно набили мелким гравием. Художника же, напротив, втайне забавляло, что этот гробовщик с замашками эссеиста от потрясения едва держится на ногах. Его так и подмывало бросить гробовщику-эссеисту вызов, расквитаться с ним за эссе — эссе, за лекцию — лекцией, за проповедь — проповедью.

— Вы только что говорили о различных категориях умерших, — начал художник, — но при этом я с немалым сожалением заметил, что вы и словом не обмолвились о самоубийцах, или, по вашей терминологии, «умерших, ставших таковыми вследствие убиения самих себя». И поступили вы так вовсе не по недосмотру. О нет! Вы совсем не так наивны, чтобы не понимать, что весь ход ваших рассуждений с неизбежностью подводил вас к этой теме. Однако вы заранее сделали вид, будто она не относится к

предмету рассмотрения. Вы, надо сказать, опасный философ, претендующий на полноту истины, но ограничивающийся полуправдой. С помощью фигуры умолчания вы блистательно уклонились от тяжкого и неблагодарного труда по включению *смерти* вследствие самоубийства в одну из категорий вашей классификации. Законна ли такая смерть или, напротив, противозаконна? В каких случаях ее можно признать законной, в каких противозаконной? Неужто вы сами не видите, каких извилистых, каких тернистых путей вам удалось избегнуть благодаря столь коварной уловке? Я же осмеливаюсь утверждать, что именно эти извивы и тернии вызывали и вызывают великое смятение в умах провозвестников великих религий, подтачивая их убежденность в правоте собственной позиции по данному вопросу. Подумать только, они доходят до того, что запрещают хоронить самоубийц на общих кладбищах, запрещают священникам даже глядеть на них, не говоря уж о том, чтобы за них молиться. Ни за что и никогда! Вовеки никакого сострадания к самоубийцам! Бедняжки! Страдания и муки свели их в могилу. Вечные страдания ожидают их за гробом. Можете ли вы хотя бы вообразить, что такое вечные муки? Но именно здесь таится ошибка великих религий, ибо вечные муки не могут восприниматься как муки. Муки, коль скоро они вечны, превращаются в нечто повседневное, обыденное. Необходимы «не-муки», чтобы понять, что же такое муки! Поэтому угроза адского пламени постепенно перестает страшить людей. Если ад — их вечное местопребывание после смерти, то, следовательно, ад — всего лишь название для новой формы жизни, пугаться которой не следует, ибо она — вечна. А вечное, несомненно, благо. Если же не благо, то и не вечно. Вот почему в последнее время так выросло число самоубийц. Теперь самоубийство даже называют «современным выходом для человека», не задумываясь над тем, из чего именно оно выход и что именно в нем современно. Лично я считаю, что проблема самоубийств свидетельствует вовсе не об их «современности». Она лишний раз подтверждает, что трагизм присущ человеку в специфически человеческой форме — форме величия. Велик трагизм великих сынов человеческих! И покуда этот трагизм существует, человек, без сомнения, может и должен спастись. Пока он существует, судьбы человека не внушают опасений — пусть наступит хоть десять Судных дней, человек, точно феникс, будет вновь и вновь возрождаться.

Он на минуту остановился, чтобы перевести дух и обновить запасы воздуха в легких, почти опустевших после столь долгой речи. А затем, устремив пытливый взор на отражение солнца в лоснящейся от пота лысине владельца погребального бюро, тоном, не терпящим возражений, закончил:

— Вы намеренно исказили заключительную часть настоящего эссе, и если я вас теперь за что и ненавижу, так это за то, что вы вынудили меня огласить ее. Всего наилучшего!

Он вышел.

Весть о смерти жены художника с невиданной быстротой разнеслась по городу. Более того, по всей стране. Погребальные венки и телеграммы с соболезнованиями нескончаемым потоком потекли в хижину на морском берегу.

Деятели национальной культуры надели траур. Аэродромы не успевали принимать мастеров культуры из зарубежных стран, прибывавших на похороны.

В считанные часы всемирно известная хижина скрылась под горами венков, грудами телеграфных бланков. Заботясь о престиже города, а равно и о своем престиже, мэр — бывший заместитель мэра, а ныне сам обладатель этого высокого звания — распорядился перенести останки усопшей в морг муниципального госпиталя. Условия этого зала лучше соответствовали почестям, которые воздавала ей местная и международная общественность.

Владельцы отелей ликовали. У них не хватало номеров для иностранных гостей, готовых платить валютой по баснословному курсу черного рынка. Складские и служебные помещения, подсобки и гаражи — все превращалось во временное жилье, сдававшееся внаем по небывало высоким ценам. Даже обыкновенные дома граждан словно по волшебству преображались в некое подобие гостиниц.

Короче, город единодушно приветствовал смерть жены художника, открывшую новую эру неслыханных возможностей для получения неслыханных прибылей.

Толпы людей, собравшихся проводить жену художника в последний путь, начинали испытывать легкое нетерпение. Представительный корпус живописцев и художественных критиков уже построился перед зданием госпиталя. Каждый

из них был готов в свой черед подставить плечо под гроб с телом покойной на скорбном пути его следования. Мэр был бледен как полотно. Он, по-видимому, уже успел обменяться мнениями с рядом высокопоставленных лиц, которые, однако, ничем не помогли ему в решении труднейшей проблемы дня.

Вскоре об этой проблеме стало известно всем собравшимся. Относительно нее велись дебаты между сотрудниками муниципалитета, но, увы, каждый из них обнаруживал лишь свою полнейшую несостоятельность. Дело в том, что жена художника не имела при себе предусмотренных законом документов, дававших право на надлежащее погребение!

В умах началось брожение. Допустимо ли погребать покойного без таких документов, тем более в присутствии и при участии представителей власти в лице мэра и других муниципальных чиновников?

Горожане, с самого утра дожидавшиеся выноса тела, изнывали от жары и характерного покалывания в затекших ногах, а потому начали понемногу разбредаться в поисках укрытия от лучей полуденного солнца. Корпус живописцев потерял терпение и направил представителей в высокое собрание отцов города, все еще продолжавших совещаться. Как удалось выяснить, они не продвинулись в обсуждении многотрудной проблемы и не приняли никакого решения!

В толпе муниципальных чиновников выделялась фигура мужчины средних лет, голову которого украшала лоснящаяся от пота лысина. Она открывалась взорам и вновь скрывалась по мере того, как мужчина то снимал, то вновь надевал черную шляпу с высокой тульей. Одет он был также во все черное, но стиль и покрой его платья разительно отличался от черных же костюмов его собеседников. То был владелец частного похоронного бюро, накануне беседовавший с художником!

Он плакал навзрыд...

— Я почел бы за честь взять на себя заботы по погребению покойной, к которой питаю искреннее уважение,— говорил он сквозь слезы. — Я похоронил бы ее по первому классу — в изумительном гробу из самого лучшего тика, в восхитительном саване белого шелка, и все это предоставил бы ей задаром...

— Но чем, позвольте спросить, объясняется столь... ммм... широкомасштабная демонстрация исключительной доброты? — поинтересовался мэр, в душе которого шевельнулись какие-то подозрения.

— Демонстрация? Ах, многоуважаемый мэр, уместно ли называть демонстрацией столь скромные свидетельства восторга и уважения, которые мы оказываем друзьям? Ведь, должен вам заметить, художник — супруг покойной — еще при ее жизни был моим лучшим другом. Пусть мы познакомились сравнительно недавно и наша дружба переживает всего лишь пору младенчества, никто мне не ближе, чем он. И добавлю, я умею ценить, что после этой пренеприятнейшей истории, вы, конечно, помните, он не отвернулся, не отверг меня. Ах, он поистине великий друг! Великий человек! Подлинный гений!

Владелец похоронного бюро сделал краткую паузу, проглотил слюну, вытер слезы и продолжал:

— Но, возвращаясь к проблеме, которую мы с вами только что затронули, я, как это ни прискорбно, должен заявить, что при всем желании не могу похоронить покойную без необходимых документов... Если только, э-э-э... если только вы, господин мэр, не возьмете на себя всей полноты ответственности.

Мэр задумался. Ответственность? Взять на себя? Что ж, ему не внове брать на себя ответственность — это входит в повседневные обязанности мэра. Однако же до сих пор он нес ответственность только за живых людей, ему никогда не приходилось нести ее за мертвецов, за покойников. Все же, если подумать, предложение владельца похоронного бюро хотя и несколько необычно, но приемлемо.

Впрочем, нет! Совершенно неприемлемо! Взять на себя ответственность в решении этой проблемы — значит пренебречь престижем государства, поставить органы государственной власти на одну доску с заурядным похоронным бюро. Да разве он сам какой-то там управляющий в похоронной конторе?

— Нет и нет! — воскликнул мэр. И сам вздрогнул от столь громогласного заявления. Но сам же дал себе отпор — решительно пресек возможность впредь видеть в государстве подобие похоронного бюро.

— Следует ли понимать ваш ответ в том смысле, что мое похоронное бюро освобождается от обязанности хоронить покойную? — спросил владелец бюро.

«Тупик! Опять тупик!» — раз за разом вспыхивало в голове у мэра.

Он отрывисто распорядился, и перед ним тотчас предстал начальник муниципальной полиции. Мэр что-то шепнул ему на ухо. Начальник полиции отрицательно покачал головой.

— Нет! Пока еще не удалось разыскать этого чертова художника! Они обшарили все переулки и закоулки города, все подполы и подвалы, но обнаружить его не удалось.

— Так где же он? Где?

Начальник полиции только почесал в затылке. Господи помилуй, ну откуда ему знать! Он был вне себя. Увижу — застрелю! — думалось ему.

В толпе горожан, пришедших проститься с умершей, начались разброд и шатание. Поскольку вынос тела явно откладывался, многие предпочли до поры укрыться от солнца под деревьями. Расстегивались пиджаки — особенно черные, — из них сворачивались некие подобия подушек, и люди, непринужденно раскинувшись под сенью широколиственных крон, смеялись, шутили. Нашлись и такие, что затеяли игру в «жучка».

При виде похорон, грозящих превратиться в нечто вроде пикника под деревьями, мэр испытал прилив чувства ответственности. Только вообразите, какой разразится скандал, если фотографии этих людей, скинувших пиджаки, играющих в «жучка», появятся завтра на страницах зарубежных газет. Что напишут их журналисты о том, как у нас относятся к умершим?

Нет, он просто не вправе допустить, чтобы сегодняшние события и отклики на них стали объектом насмешек на ближайшей сессии парламента. Он решил, что пришло время собрать экстренное заседание Совета Народных Представителей. А поскольку народные представители и наиболее видные члены муниципалитета были здесь же, под рукой, собрать их не составило труда. Заседание начали быстро, но без суеты — в относительно тихом дворе госпитального морга.

К сожалению, участникам заседания пришлось стоять. Тут уж никто ничего не мог поделать. Нереально было и его проведение «при закрытых дверях». Меры по удалению со двора морга такой массы людей вряд ли бы привели к ощутимым результатам.

Итак, заседание спешно открылось, и его участники немедленно приступили к обсуждению главного пункта повестки дня: полномочен ли мэр от имени муниципалитета и правительства отдать распоряжение о погребении покойной жены художника, коль скоро у нее отсутствуют необходимые для этого документы, или же такое распоряжение выходит за пределы его полномочий?

Один из уважаемых членов Совета, в прошлом студент

факультета права, выдвинул несколько теоретических положений, рассмотрев данную контроверзу с позиций политологии. В некотором предельном случае государство, несомненно, выступает в качестве совокупного индивида, совокупной личности, начал он свое выступление. При таком подходе не будет ошибкой утверждать, что оно способно переложить на себя ответственность другой личности, скажем одного из своих подданных. Но в этом случае возникает новая проблема: ответственна ли сама по себе такая передача ответственности и каковы моральные основания, оправдывающие ее?

Речь члена Совета произвела на всех сильное впечатление. Самого же бывшего студента тем временем мучал деликатный вопрос: не повторяет ли его выступление одну из лекций его институтского профессора?

— Так что же все-таки из этого следует? — спросил мэр, измученный, расстроенный, задыхающийся от жары.

Ответа не последовало. Да и что можно было ответить? Каждый к этому времени уже успел принять участие в дебатах, а в результате все лишь осложнилось и запуталось. Высказанные мнения касались лишь отдельных частей проблемы, которые даже в совокупности не были равны ей как целому.

Хотели было перенести заседание на более поздний час, но, заметив, что солнце решительно склоняется к западу, от переноса отказались.

— Так что же решим? — снова возопил мэр, по-прежнему измученный, расстроенный и задыхающийся от жары.

Его голос одиноко прозвучал в многолюдной толпе. Люди обмахивались кто чем мог, томимые лучами послеполуденного солнца. Услыхав возглас мэра, они устремились к нему, полные сочувствия и вместе с тем тайной радости, что не им надлежит принять окончательное решение.

— Пусть будет что будет! — промолвил мэр минуту спустя.

Собравшихся изумила происшедшая с ним перемена: он снова был бодр и свеж, хрипота исчезла, и голос вновь звучал четко, громко и внятно.

— Обращаясь к вам с этой речью, я хотел бы выразить глубокую признательность умершей и художнику, бывшему спутником ее жизни. Не менее благодарен я всем собравшимся и, наконец, обстоятельствам, волею которых мы

здесь собрались. Каковы же уроки сегодняшнего дня? Они свидетельствуют, что в конце концов каждый из нас останавливается у черты, где уже невозможно уклониться от неизбежного — от выбора. И к черту сомнения, правильно ли он сделан, — самим актом выбора в его глубочайшей сути наше бытие уже оправдано. Смысл моего бытия, пребывающий, в частности, в только что бывшем, состоит в том, что я должен сделать должный выбор из двух существующих решений и тем доказать, что действительно существую. Итак, готовый объявить вам о своем выборе, я уподобляюсь бегуну, мчащемуся по просторам истории наперегонки с забвением. Дорогие друзья и сограждане, уважаемые гости, прибывшие со всех концов нашей страны и из зарубежных государств, прошу внимания! Я выбираю...

Художник, пробиравшийся в это время через толпу, чтобы послушать речь мэра, так и не разобрал его последних слов. Они потонули в оглушительных криках и возгласах. Те, кто в тени деревьев только что играли в «жучка», решительно прервали игру и устремились к зданию морга, застегивая на бегу пиджаки. Корпус живописцев и критиков снова построился. Четверка известнейших живописцев и четверка не менее известных критиков удостоилась высокой чести нести гроб первые полкилометра.

Траурное шествие торжественно и медленно двинулось в путь. Тишина опустилась на город. Никогда еще здесь не видели траурного шествия такой протяженности. К тому же с каждым шагом оно все удлинялось. Какая-то таинственная сила помимо воли вовлекала в него людей, выстроившихся вдоль улиц, по которым оно проходило, и, еще не успев ничего понять, они внезапно обнаруживали, что шагают в рядах нескончаемой процессии.

Художник, выбежавший на улицу, когда тело его жены выносили из морга, и с тротуара наблюдавший за шествием, которое беспрерывным потоком текло и текло мимо, из последних сил боролся с этой таинственной силой. В конце концов он один остался стоять на длинном тротуаре, и потому взоры всех участников траурной процессии обратились к нему. Его роль в корне изменилась: зритель, он сам стал зрелищем, единственным зрелищем для бесчисленных зрителей.

Он удивился. При виде его никто из сограждан, еще недавно столь возбужденных, с таким нетерпением его искавших, не обнаруживал никаких признаков страха или удивления. Все глядели на него с холодным безразличием.

Он не мог этого понять — ведь минуту назад его разыскивала вся городская полиция, весь город.

Он подбежал к одной из передовых колонн шествия — той, в которой шли отцы города и почетные гости, соотечественники и иностранцы. Он нарочно остановился против мэра и начальника полиции, но прочитал в их глазах лишь неприязнь и скуку. То были взгляды людей, которых он больше не интересовал, а значит, внимания их не заслуживал.

Он забежал еще дальше вперед, туда, где с гробом умершей шествовал корпус живописцев и критиков. Но и они, друзья и коллеги, одарили его такими же взглядами — неприязненными и скучающими.

Его бросило в жар. Нет, вовсе не от усталости — впервые ему открылась ошеломляющая новость: он больше не в центре всеобщего внимания. Подобного чувства он еще не испытывал, а потому и не знал, какое место отводится ему в этой новой ситуации.

До сих пор, как он понимал, его место в иерархии мира искусства никем в стране не оспаривалось. Он считался великим художником, быть может, самым великим. Все (за исключением кучки завистливых коллег) превозносили его не только на родине, но и за ее пределами. Для лестных отзывов о нем и его работах приходилось отыскивать новые и новые слова, новые и новые эпитеты. Старых хватало ненадолго.

Прекрасно это понимая, он и решил занять позицию, точнее всего отвечавшую такому положению дел.

Что ж, он сделает вид, будто даже не догадывается о том, что в действительности точно знает. Если держаться этой позиции достаточно последовательно, то через какое-то время ее будут характеризовать как «смирение», «интеллигентность», «скромность». Пусть все убедятся, что он как живописец, как художник наделен этими свойствами. Тогда в его работах начнут усматривать еще одно только ему присущее измерение. Чем убедительней он станет прикидываться, будто сам ни о чем таком не догадывается, тем выше будут оценивать достоинства его работ и тем деятельней критики и историки искусства станут примерять к ним новые слова и новые эпитеты.

Это новоприобретенное сознание подводило черту под целым этапом его жизни. Долго простоял он в задумчивости на краю тротуара. Конец траурного шествия постепенно слился в черную точку. Точка все удалялась и удалялась, пока не скрылась совсем.

Конец!

Он сделал глубокий вдох, чувствуя, как грудь наполняется свежим воздухом. Новый период жизни следовало бы ознаменовать каким-то решительным поступком, подумалось ему.

И он побежал на берег моря.

У самой хижины он, вздрогнув, остановился — перед входом маячила какая-то крохотная фигурка. Многочисленные морщины, избороздившие лицо незнакомки (то было существо женского пола), вытягивались и изгибались так и эдак, пытаясь изобразить некое подобие улыбки, весьма, впрочем, неестественной. Художник попятился. Мурашки забегали у него по спине.

— Кто вы? — не без дрожи в голосе осведомился он.

Крохотная дама шагнула ему навстречу.

— Разве вы меня не узнаете? Вглядитесь хорошенько!

Она приблизилась еще на два шага. Ноги художника приросли к земле — он действительно где-то ее видел. Неожиданно он вспомнил.

Верно! Она была здесь позавчера с компанией старых дев. И тотчас у него закружилась голова, будто от подъема на невообразимо высокую гору, на вершине которой он обнаружил... позавчерашний день — тот самый, когда впервые увидел женщину, стоявшую перед ним.

— Что вам здесь нужно, женщина? — строго спросил он.

Ей наконец удалось улыбнуться. Опустившись на груду венков, во множестве громоздившихся около хижины, она промолвила:

— Можете называть меня как угодно — женщиной, матерью, девушкой.

Пока она наблюдала за художником, ожидая реакции на эти слова, морщины вновь пришли в движение и вновь изобразили улыбку, не более натуральную, чем прежняя.

— Я женщина, поскольку знавала мужчин, мать, поскольку у меня есть ребенок, девушка, поскольку мои мужья или муж существуют лишь как некая *абстракция*, а ребенок — как рабочая *гипотеза*.

Она вновь искоса посмотрела на художника, ожидая какой-то реакции, но его лицо выражало полное безразличие, нечто вроде «как вам угодно». Вертевшееся на языке словечко «потаскуха» так и не было произнесено.

И не без причины: уже собравшись прибегнуть к нему, художник внезапно заподозрил в сидящей перед ним жен-

щине проповедницу нового религиозного учения или члена новой мистической секты. Что значили все эти иностранные термины — «абстракция», «гипотеза» и т. п. — в самом обычном рассказе о муже и ребенке? Был у этой женщины муж или нет, была дочь или никакой дочери не было? А что, если она оборотень, или вампир... или бог знает какой еще пришелец из мира духов, которые в наш космический век попадаются на каждом шагу?

— К тому же вы сами, скорее всего, э-э-э... мой гипотетический зять.

Художнику показалось, что с вершины горы он низвергся в озеро с ледяной водой. Но мысль продолжала работать, выстраивая цепочку причин и следствий.

Гипотетический зять... что это означает?

Хотя, возможно, она хочет сказать, что ее гипотетический ребенок — дочь, и тогда... если я — ее гипотетический зять, то, стало быть, по ее гипотезе, я женат на этой гипотетической дочери. Раз так, то...

Он чуть не подпрыгнул от изумления. Все ясно! Перед ним — его гипотетическая теща, гипотетическая мать... его жены, которую именно в этот день опустили в могилу.

Некоторое время они молчали — начатый диалог продолжали глаза, отражавшие безмолвное взаимопонимание, обычное между близкими родственниками.

— Во время прошлой войны у нас побывали солдаты, — начала свой рассказ старуха. — Как это принято на всякой войне, они изнасиловали меня. Я была единственной женщиной в доме, а их — видимо-невидимо. По правилам мне бы полагалось умереть, но я не умерла, забеременела и родила ребенка. Я была его матерью, но кто мог назвать себя его отцом? Ведь солдат было так много! Поэтому я всегда говорила дочери, да и себе самой, что ее отец — *война*. Абстрактное понятие, не так ли? А поскольку война — сущность человека и человеческой природы, я позволила себе расширить рамки этого понятия и посчитать отцом моей дочери человечество. Согласитесь, абстракция самого высокого порядка.

Старуха попыталась рассмеяться. Но смеха не получилось, только лицо обрело сходство с устрашающей маской.

— Взять в мужья *человечество* — не самый ли это величественный брак?! Для меня, пожалуй, даже слишком величественный, поскольку я всегда стремилась быть

хорошей женой, а значит, безропотно откликалась на все желания мужа. Учитывая многообразие его запросов, я возложила заботы по воспитанию дочери на один из абстрактных социальных институтов.

— На какой же именно? — затаив дыхание, спросил художник.

— На Дом Призрения Младенцев, Рожденных Безбрачными Матерями. Не правда ли, довольно длинное название? Сама я никогда бы не решилась отдать туда дочь. По моему мнению, этот Дом — самая аморальная институция из всех, что находятся в ведении государства. Поскольку, во-первых, здесь ставят под вопрос изначальную последовательность курицы и яйца: действительно, что же было раньше — безбрачная мать или младенец, рожденный от безбрачной матери, а во-вторых, стимулируют и легализуют те самые действия, которые порождают сам феномен «безбрачных матерей».

Художник восхитился. Он просто не мог не испытывать восхищения, обретя такую тещу. Впервые его совершенно не раздражал человек, прибегающий к эссеистической форме изложения и использующий такое обилие иностранных слов.

— С тех пор как я отдала дочь в этот Дом, я ни разу не навещала ее, — продолжала женщина. — Мне казалось, что так для меня будет лучше. Я вовсе не желала, чтобы мне постоянно напоминали о моем муже — войне. Пусть газеты и ООН ведут о нем бурные дебаты. Я стремлюсь к миру в том значении этого слова, которое не терпит неоднозначной интерпретации.

Художник восхитился еще больше и, слушая тещу, попытался для разнообразия угадать, кто же она такая: член парламента, а может быть, даже посол?

— В канун двадцатилетия дочери я решила наконец с ней повидаться. Мне казалось, что двадцати лет вполне достаточно, чтобы избавиться от материнских чувств. Я вышла на улицу с таким ощущением, будто просто спешу на встречу с приятельницей, которую давно не видела. Однако в Доме мне сказали, что моя дочь больше здесь не живет.

Она ненадолго замолчала. Ее глаза покраснели. Кадык задвигался так, словно она глотала слезы. Художник удивился: неужели даже великие женщины сохраняют способность плакать?

— Мне сказали, что она вышла замуж, но не могли

ответить, за кого. Не знаю, поверите вы или нет, но в тот день я впервые почувствовала страшную пустоту и покинула Дом, больше уже не воображая себе, что недолго погостила у приятельницы и вот, переночевав, возвращаюсь. Нет, меня неотступно преследовало чувство, что ее, моей дочери, больше нет, что она умерла. Или, точнее, то было не чувство, а желание, чтобы она *умерла*.

Ее глаза окончательно покраснели, кадык запрыгал как безумный, силясь совладать со слезами, а вернее, слюной, прозрачной и водянистой.

— И вот теперь она действительно умерла. Я сама убила ее. Убила тем, что желала ей смерти, желала, чтобы она перестала существовать. В городе только и было разговоров, что о вас — художнике редкого дарования, женившемся на женщине, которую он без памяти любит и которая отвечает ему столь же беззаветной любовью. Рецензии в газетах, посвященные вашим работам, статьи в женских рубриках, посвященные вашей любви, — все вызывало жгучее любопытство у обитательниц нашего Дома. Скорее всего, вы этого не знаете, но я живу в Доме Призрения Одиноких Женщин Преклонного Возраста. Тоже довольно длинное название, не так ли? Так вот, они — я имею в виду обитательниц Дома для престарелых — как одна будто заболели неведомой повальной болезнью. Они буквально рвали друг у друга из рук газеты и журналы, в которых хоть что-нибудь сообщалось о вас обоих. Они залепили все окна фотографиями, запечатлевшими вас вместе и порознь. Однажды во время обеда наша директриса объявила, что вскоре мы все отправимся на экскурсию к морю и там получим возможность посетить вашу хижину. Мы громко закричали и запрыгали от радости, как какие-нибудь первоклашки, нежданно-негаданно отправленные на каникулы. Я тоже кричала и прыгала вместе с другими, хотя, возможно, чуть более сдержанно, чем они. Представляете себе, я, самая старая во всем Доме. Однако... как только я встретилась взглядом с вашей женой, в душе у меня возникло какое-то странное чувство. Не берусь его точно выразить, но тогда мне почудилось, будто я разыскала нечто такое, что на самом деле всегда было моим. Чем дольше я смотрела на вашу жену, тем более отчетливым становилось это чувство. Я не сводила с нее глаз. Она заметила это — стала чаще дышать. Наши взгляды встретились. Мы долго смотрели друг на друга, и помимо желания ко мне вернулось то необъяснимое чувство, которое я испытала, возвращаясь из

Дома, где оставила ее двадцать лет назад. Чувство, что ее больше нет, что она умерла. С этой минуты не осталось места для гипотез: я была твердо уверена, что женщина, на которую я смотрю, ваша жена, — это моя дочь...

Голос старухи, то и дело прерывавшийся во время рассказа, окончательно ослабел. Она замолчала. В ее глазах стояли слезы. Потом прозрачные капли, перепрыгивая с морщины на морщину, покатились по лицу — она разрыдалась...

— Теперь уже слишком поздно. Сказанное еще можно воротить, но как воротишь, как возьмешь назад чувство, которое ты испытала, но которое не высказала? А потом мы остались каждая сама с собой, замкнулись каждая в кругу своей ненависти, к которой примешивалось сострадание. Под впечатлением этого чувства я тогда и ушла, оставив вашу жену в одиночестве...

Она вынула из сумки носовой платок, типично женский, и вытерла слезы. В воздухе запахло духами.

Художник словно бы пробудился ото сна. Запах духов все еще щекотал ноздри, но старухи перед ним уже не было. Он огляделся по сторонам — крохотная женская фигурка удалялась, все уменьшаясь. Старуха заметно прихрамывала...

Он вздрогнул, заметив у себя на коленях ее надушенный цветастый платок, на котором *желтыми* нитками было вышито: «С НОВЫМ ГОДОМ».

Художник поднялся. За то время, что они со старухой разговаривали, успели сгуститься сумерки. Он вошел в хижину, собрал свои картины и на виду у горы венков, груды телеграмм и розовеющей тверди предвечернего неба выбросил их все в море.

С каждой из картин ему пришлось далеко заплывать.

Все эти манипуляции немало походили на тайное жертвоприношение заклинателя морских божеств.

Когда последняя из картин медленно погрузилась на дно, он вернулся к хижине и поджег ее. Языки пламени, споро охватившего хижину, взвились высоко к небесам, и их алые отблески весело заплясали на морской глади.

А он, совершенно нагой, стоял среди бушующего пожара, пристально вглядываясь во мрак бурливого ночного моря, и казался в тот миг самим разгневанным морским божеством, замышляющим грозные планы мести...

Вскоре после полуночи кучка углей — единственное, что осталось от хижины, — окончательно догорела. Дым рассеялся, растворившись в небе, которое распростерлось надо всей землей и *всеми* кладбищами и тем муниципальным некрополем, что расположился на краю городка.

Подул сухой горячий ветер. Но не осушил капель, которые одна за другой выступали у него на глазах. Дыхание стало спокойным и ровным. Он поглядел на единственную звезду, тускло светившую в небесах, оделся, подобрал с земли несколько цветков, которые не тронуло пламя, и не спеша зашагал в сторону кладбища.

Он решился совершить паломничество к могиле...

В воротах кладбища он отдал цветы местному сторожу.

— Эти цветы, они для кого? — удивленно спросил сторож.

— Положите их на могилу, в которой сегодня после полудня похоронили женщину.

— Это ту, что ли, которую провожало столько народу?

Художник утвердительно кивнул и заторопился уходить.

— А кто вы ей будете? — еще сильней удивился сторож.

— Приятель! — уже издалека откликнулся художник.

Похолодало, и он засунул руки в карманы брюк. Единственная звезда, что горела прежде над морем, скрылась.

Ночь выдалась темная.

8

Еще один этап в жизни художника подошел к концу — вот почему с такой ненавистью поглядел он со стены на смотрителя кладбища, который, как и прежде, сидел на ступеньке лестницы, ведущей в контору. Такие люди, подсказывала ему интуиция, могут противиться смерти, длить свое жалкое существование, даже затягивать его, насколько возможно.

Он терпеть не мог сильных личностей, которые потом, как этот вот смотритель, вдребезги разбивались о собственное слишком сильное стремление быть личностями. Он не выносил неудавшихся гениев, готовых ради своей неповторимости растрачивать отпущенные им знания и талант на силлогизмы сомнительного свойства. Природа в конце концов безжалостно посмеется над такой расточительностью.

Ну а сам-то он каков, что он собой представляет?

Он мысленно разделил белой нитью сияющее полуденное небо: по одну сторону нити вообразил себя со своими взглядами и мыслями, по другую — смотрителя с его проблемами.

Ни разу в жизни ему не довелось испытать горечь поражения. Природа одарила его незаурядным талантом художника. Критики и историки искусства утверждали даже, что в его работах можно усмотреть черты живописи будущего. Расточаемые ими похвалы были столь изощренны, что произвели целую лингвистическую революцию, особенно заметную в области лексикологии. Деньги тоже не составляли для него проблемы — миллионеры, претендовавшие на роль знатоков искусства, наперебой расхватывали его картины. Он любил и был любим. У него была привлекательная жена, их брак удался. И если теперь, когда жена умерла, он выбросил в море все картины и рисовальные принадлежности, предпочтя жизнь чайки, парящей в небесах над вольным морем, то сделано это было вовсе не потому, что он потерпел поражение.

Совсем наоборот! Он потопил свою славу в морской пучине, подобно человеку, что, пресытясь ежедневными бифштексами, желает ощутить на языке горьковатую солоноватость вяленой рыбы и действительно находит *вкус* в этой солоноватости, а заодно понимает, что бифштекс, как бы хорош он ни был, позволяет испытать всего лишь *одно* из вкусовых ощущений. Если сравнить оба ощущения, то нетрудно заметить, что они в некотором отношении тождественны. И то и другое, и рыба и бифштекс, — *вкусны*, и одновременно и то и другое, как для органов чувств, так и для природы вообще, — только *одно* из ощущений.

Он спрыгнул со стены, собрал инструменты, вымыл руки и ноги.

Смотритель, с недоумением наблюдавший за этими действиями, поднялся со ступеньки и, подойдя к нему, спросил:

— На сегодня вы уже закончили? Но который теперь час? Что-то не похоже, чтобы вы проработали свои обычные пять часов.

Бывший художник улыбнулся.

— Я больше не намерен работать, — сказал он. — Вы уж меня извините.

— Что значит «извините»? Ведь вы, насколько я могу судить, нарушаете свои же собственные принципы. Если

так пойдет дальше, что же будет со стеной?

— Это уж ваша забота, — ответил художник. — Я же ясно сказал, что вообще больше не намерен ее штукатурить.

— Но почему? Разве я вас чем-нибудь обидел? Или, может быть, вы хотите прибавки?

Бывший художник отрицательно покачал головой и, уже направляясь к воротам кладбища, на ходу бросил:

— Оставьте ваши деньги себе, мне они не нужны. Всего наилучшего!

Смотритель бросился за ним вдогонку. Он был бледен. Его голос дрожал.

— Вы не можете просто так бросить меня в моем нынешнем состоянии, — с трудом вымолвил он. — Помогите мне, хотя бы ради безупречности и завершения.

— Безупречности и завершения чего? — не понял художник.

— Безупречности и завершения моей трагедии! — воскликнул смотритель. — Разве вы не видите, как быстро я скатываюсь на самое дно пропасти, в которую превратилась моя жизнь! Разве не понимаете, что я намеренно выбрал именно вас штукатурить стену, для чего пока еще не было нужды!

— А, вы об этом? Разумеется, я давно уже все понял.

Художник снова улыбнулся и засунул руки в карманы. Сегодня вечером как-то необычайно свежо, подумалось ему.

Смотритель, напротив, был совершенно раздавлен. Затаив дыхание, он во все глаза смотрел на художника.

— Так вы *заранее* обо всем догадывались и, может, именно поэтому согласились штукатурить стену?

Художник не ответил. Ему было смешно.

Солнце уже сильно склонилось к западу. Деревья на улицах окрасились сначала в желтый, потом в багровый цвет, на смену которому спешили темные краски ночи.

— Не прикидывайтесь, будто не знали, что я сразу догадался о ваших намерениях. Такое притворство только бередит мою рану. Но хотите верьте, хотите нет, именно из-за этой незаживающей раны я и принял ваше предложение. И вот теперь — удар за удар, вы пожали то, что посеяли. Мы уже давно играем с вами в одну и ту же игру, в которой намеренно перемешали притворство и искренность. Вам захотелось насладиться сенсационным зрелищем того, как я буду страдать. Вы наняли меня штукатурить стену только для того, чтобы заставить вновь и вновь совершать паломничество к могиле жены. Вы думали сыграть

на моей любви штукатурить и на ненависти ко всему, что связано с кладбищем, — двух взаимно противоположных чувствах. Но такого насилия над элементарной логикой вам показалось мало. Вы прекрасно понимали, что я не желаю наведываться на кладбище потому, что не верю, будто тело, погребенное там, — моя жена. Это мертвое тело не может иметь никакого отношения ни ко мне, ни к той женщине, что некогда стала моей женой. Мне сказали, что моя жена умерла. Я воспринял эти слова в том смысле, что ее больше *нет*, что она причастна к небытию. Небытию, которое само подразумевает некое бытие, то есть бытие небытия. Но к чему, спрашивается, мне было ломать голову над этим бытием и небытием, когда, как давным-давно заметил один китайский мудрец, мы не можем достоверно знать, не является ли в действительности наш сон со сновидениями — бодрствованием, а бодрствование — лишь сном со сновидениями. О том, что я смотрю на вещи именно так, вам было известно, и сам мой образ мыслей не только послужил причиной мести, но и подсказал отомстить за оскорбление, которое я наносил своими взглядами вам, смотрителю кладбища. Знали вы также и о том, что я считаю кладбище социальным институтом, где люди только попусту растрачивают свои эмоции и средства, где отправляется бессмысленный культ смерти. А отсюда — прямой путь к утверждению, что кладбище — а значит, и ваша должность, и даже вы сами — не что иное, как воплощение неуместной гордыни и нелепых причуд рода человеческого. Уж извините, но я до сих пор продолжаю придерживаться этого мнения.

Сейчас вы заняты тем, что оплакиваете свою неудавшуюся месть. Провал, который она потерпела, со временем вберет в себя все ваши прежние неудачи, и вы скажете: «Вот поистине всеобъемлющий великий провал». Ибо та месть, что готовилась мне, тоже вобрала в себя все недовольство, всю жажду мести, скопившуюся в вашей душе за долгие годы жизни. Ей предстояло стать поистине суперместью — тем последним всеобъемлющим, великим актом, который только и мог послужить оправданием вашей жизни, в том числе и самой этой мести.

Он замолчал. Замедлил шаг. Задышал ровнее. Он был совершенно опустошен. Все, что скопилось в душе, стремительно выплеснулось наружу, и он понял, что ему нечего к этому добавить. По правде сказать, теперь он не испытывал ничего, кроме жалости, к человеку, шагавшему рядом

с ним. Шагавший рядом своим видом напоминал ему о храме, по существу уже обратившемся в руины. Храме, возведенном из золотых слитков проницательного ума, достойного и влиятельного происхождения, возвышенного духа, сильной личности. И этот храм обратился в руины под тяжестью свободы, которой он был наделен, под тяжестью свободы выбора и множества вариантов, из которых надо было выбирать, под тяжестью ответственности за сделанный выбор. Но он, тот, кто напомнил о храме, кто шагал рядом, до самого конца остался личностью! Во имя того, что отличало его ото всех, во имя своей неповторимости.

Что говорить, в глубине души он не мог не восхищаться этим человеком, ибо всякая значительная личность заслуживает такого восхищения. В нем было величие, в этом человеке, который не пожелал, чтобы его имя красовалось на страницах учебников, чтобы ему посвящали свои лекции университетские профессора. Поэтому он и не взялся за перо, не писал статьи в журналы, уже не говоря о газетах. Этот великий человек, этот выдающийся философ прошел по жизни, не оставив в ней никакого следа, не оставив вообще ничего, кроме нескольких беспорядочных впечатлений в памяти людей, знавших его. И только.

У него не было друзей, близких родственников, которые бы могли описать историю его жизни и передать грядущему человечеству его мысли. У него был только сам он и его трагедия. Вот и все.

Художник набрал в грудь воздуха и закончил фразу:

— И эта всеобъемлющая, великая месть окончилась провалом. Я не дал ей осуществиться...

Они остановились и долго стояли, глядя друг на друга. В их взглядах теперь светились симпатия, взаимопонимание, чувство единой судьбы, единого места в мире, хотя они и были столь несхожи во всем.

Смотритель грустно улыбнулся.

Потом он повернулся и зашагал к кладбищу.

А бывший художник, теперь еще и бывший штукатур, пошел дальше по направлению к городу. Багровое закатное зарево над кладбищем поглотила ночная мгла. И начало той ночи положили гулкие звуки приближающихся шагов и негромкие — сдерживаемых рыданий.

На следующее утро все кладбище пришло в движение. Обнаружилось, что смотритель покончил с собой, повесив-

шись в конторе. На его столе отыскали клочок бумаги, на котором рукой покойного было начертано: *«Ради безупречности и завершения»*.

Бывший художник сунул клочок бумаги в карман брюк. Он нисколько не удивился, узнав о том, что смотритель умер, и о способе, который он для этого избрал. Он еще прежде догадывался о возможности такого исхода, диктовавшегося столь любимой покойным силлогистикой.

Однако на этот раз силлогизм был истинным. Из него был сделан правильный, более того — абсолютно правильный вывод, и, что еще важнее, у смотрителя на этот раз достало мужества довести рассуждение до конца. Этот силлогизм частенько приходил в голову различным философам, как весьма глубоким, так и довольно поверхностным, и вновь и вновь устилал путь цветами им, верным искателям истины. Из него следовало, что человек способен полностью осуществить себя, найти оправдание себе как человеку в собственной плоти и крови, в их реальности. Именно в них.

На похоронах присутствовали только рабочие и служители кладбища. Мэра и весь муниципалитет на этой церемонии представлял присланный ими букет цветов — кстати сказать, единственный на похоронах — из числа самых дешевых. Единственным гостем был бывший художник.

Поскольку тело покойного находилось в пределах самого кладбищенского комплекса, доставить его к могиле не стоило особых усилий. Гроб был наскоро сколочен из старых досок, которые удалось отыскать тут же на складе. Его отличала некоторая примитивность формы — самый обыкновенный параллелепипед, лишенный какой-либо резьбы и украшений. Тут и там доски, грубо оструганные тупым рубанком, обнаруживали некоторую шероховатость. Гвозди же, неодинаковой величины, но при этом все как один слишком длинные, были основательно попорчены ржавчиной.

Без прощальных речей и без напутственных молитв гроб вынесли из конторы. Да и кто здесь мог сказать что-нибудь о покойном. Большинство рабочих и служителей кладбища ничего не знали о том, кто лежал в гробу, который они несли. Он оставил по себе лишь весьма смутные впечатления и воспоминания. Они были знакомы со смотрителем только по инструкциям, которые бригадир каждое утро снимал с гвоздя, вбитого в один из столбов конторы.

Только старожилы помнили, каким он был, когда поступил на должность и привел в смятение всю страну своей рационализацией труда. Более молодые не сумели как следует разглядеть его и в тот сравнительно недалекий день, когда он впервые за годы службы вышел из конторы в светлую часть суток. Тогда все они пустились наутек, словно увидели злого духа или привидение. Когда же, объявив общий сбор, он произносил перед ними свою речь, они упорно глядели в землю, не смея поднять глаза. Слушать его и то было страшно.

А нужно ли было о нем молиться?

Никто не знал, какую религию он исповедовал, во что верил. Ни разу в жизни он не обнаружил каких-либо признаков того, что вообще придерживается определенной веры.

В последний момент бывший художник настоял, чтобы гроб с телом покойного не несли к могиле кратчайшим путем. Дело в том, что могилу смотрителю выкопали прямо во дворе его конторы, и, как выразился художник, доставить туда гроб по прямой — все равно что закатить шарик в лунку. Хотя рабочих и служащих не слишком привлекало странное предложение художника, они в конце концов на него согласились.

Так, благодаря настойчивости художника, гроб пронесли вокруг всего кладбища, мимо всех могил. Впереди загадочного шествия, определяя траекторию его движения, выступал сам бывший художник. Остальные без возражений следовали за ним, всем своим видом давая понять, что их отношение к происходящему можно сформулировать в трех словах: как вам угодно.

К своему удивлению, бывший художник вовсе не чувствовал себя чужим на кладбище. Имена умерших, написанные на табличках у могил, мимо которых он проходил, казались давным-давно знакомыми, чудилось, будто он хорошо знаком и с их обладателями. Они словно бы высовывали из могил головы и приветственно улыбались. Повсюду ему виделись эти головы — головы мужчин, женщин, стариков, младенцев, головы людей всех возрастов и наций. Он тоже улыбался им. Улыбалось все кладбище. Все оно превратилось как бы в единую улыбку, широкую и доброжелательную...

По временам он останавливался, чтобы прочитать эпитафию на очередной табличке. Они были такими разными, эти эпитафии, — от совсем кратких и прозаических: такой-то, родившийся тогда-то, умерший тогда-то, покоится

здесь в мире, до в высшей степени пространных и лирических. Попадались эпитафии в стихах, иные всего из нескольких строк, иные — из множества строф. Порой это были цитаты, порой оригинальные сочинения.

Художник испытал глубокое восхищение. Он не был уверен, изучалась ли кладбищенская лирика специалистами по изящной словесности, но полагал, что пришло время кому-нибудь из них составить ее антологию. Как знать, не придаст ли такая антология новые силы миру поэзии, поэзии мира.

Одну за другой он исследовал все могилы кладбища, а тем временем процессия прибыла к свежевыкопанной яме во дворе конторы. Раздраженные столь длительным путешествием, а еще больше тем, что солнце уже почти закатилось, рабочие и служащие кладбища, не теряя ни минуты, опустили — чтобы не сказать бросили — гроб в яму, швырнули ему вслед несколько комьев земли и рысцой устремились к воротам. Рабочее время давным-давно кончилось, и теперь они буквально умирали от голода.

Бывший художник догнал бригадира могильщиков.

— В чем дело? — спросил бригадир, сердитый, взмокший от жары, голодный.

— Я хотел бы кое о чем вас спросить.

— О чем же?

— Я хотел спросить, где находится могила... э-э-э... женщины, которая при жизни была моей женой.

Бригадир изумился. Как синтаксис этой фразы, так и ее смысл казались довольно странными. Ему, однако, удалось не выдать своего изумления. Должно быть, это человек науки, подумал он, возможно, в прошлом даже профессор, а в университетской среде принято так изъясняться.

— А как звали вашу жену?

Бывший художник рассмеялся:

— Вы мне, конечно, не поверите, но я и сам не знаю.

Бригадир начал сердиться. Ну вот, подумалось ему, он просто надо мной смеется, обычные шуточки университетской братии. Но должен ли он, обыкновенный необразованный бригадир, оказывать услуги таким вот спесивым типам? Тем более когда так быстро темнеет, а жена дожидается его с ужином.

— Как же я в таком случае смогу показать вам ее могилу? — сердито спросил бригадир.

— Видите ли, возможно, вас наведет на какие-то мысли то, что она умерла совсем недавно и ее...

— Точнее. Какого числа ее похоронили?

На лице художника появилась прежняя рассеянная улыбка. Черт возьми! — подумал он,— никогда в жизни не следил за временем. Так когда же ее все-таки похоронили? Все так же улыбаясь, он покачал головой и ответил:

— Вы опять мне не поверите, но я и этого не знаю.

Терпение у бригадира лопнуло. У него не было ни малейшего желания разгадывать мудреные загадки.

— Но что же вы тогда знаете?! — воскликнул он.

Его крик пробудил эхо во всех уголках кладбища, успевшего погрузиться в кромешную мглу. Когда же эхо смолкло, вновь послышалось пение первых ночных цикад.

Сердитый окрик бригадира могильщиков заставил художника вздрогнуть. Какое право имел тот так оскорбительно на него кричать? Чем, собственно говоря, он провинился? Чем погрешил против принятых норм поведения, против правил вежливости, спросив о могиле такого же человеческого существа, как он сам, тем более человеческого существа, которое хорошо знал при жизни, тем более человеческого существа, которое было его женой. Женой, которую он...

Горячие злые слезы выступили на глазах. Нет, он не может снести этой оскорбительной ночной выходки. Не должен, не имеет права. Ему захотелось закричать, закричать так же громко, как только что кричал бригадир, закричать так, как сам он никогда в жизни еще не кричал.

— Вы спрашиваете, что же я знаю? Так слушайте, дружище. Я знаю только одно: Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ-У-У-У! — выкрикнул он.

На кладбище вновь воцарилась мертвая тишина. Казалось, цикады, распуганные отзвучавшим криком, никогда уже не решатся завести свою ночную песню.

Наконец художник вышел из задумчивости — спустился с небес на землю. Бригадира рядом не оказалось. Он поспешно ретировался домой — туда, где его ждал горячий ужин и не менее горячие объятия жены. Как только до него дошел смысл слов, которые выкрикнул художник, прежние домыслы о мудреных загадках и университетах улетучились из головы. Открывшаяся истина поражала совершенно непривычным подходом к действительности и тем была особенно страшна.

Художник заслышал звуки приближающихся шагов. Кто-то направлялся к нему.

— А, это вы, наш штукатур, — с облегчением вздохнул

ночной сторож, подходя.— Я сразу догадался, что здесь кто-то есть. Какая-то... э-э-э... живая душа. Хе-хе-хе!

Его смех звучал по-стариковски пронзительно, да он и был стариком — древний, маленький, чуть ли не горбун.

— Как же вы догадались? — поинтересовался художник.

— По запаху. Я всегда догадываюсь по запаху: живыми тут пахнет не часто, особенно ночью.

— А когда на кладбище никого нет, собственный запах не сбивает вас с толку?

— Конечно, бывает и такое, но с годами он все слабее, все труднее отличим от того, чем тут обычно пахнет.

— А чем тут обычно пахнет?

— Разумеется, мертвыми. Хе-хе-хе!

Художник захихикал вместе со сторожем.

— Сколько лет вы здесь работаете?

— Примерно столько же, сколько смотритель, которого сегодня хоронили.

— Столько же?

— Да. Точнее, на год меньше.

— Всего на год?

— Да, если уж говорить совсем точно, я поступил сюда на работу сразу после скандала с его рационализацией труда.

— Тогда вы, наверное, были с ним близко знакомы?

— Не просто знаком.

— Что значит «не просто»?

— Я, видите ли, был его учителем, точнее — его профессором.

— Про...?

— ...фессором!

— Так вы профессор, доктор?..

— Стоп, стоп, стоп! Это все в прошлом, не теперь, хотя...

— Что «хотя», профессор?

Старик расхохотался:

— Знаете, ужасно забавно, когда слышишь слова, которых не доводилось слышать уже несколько десятков лет. Прямо-таки ошеломляет. Профессор... Хе-хе-хе!

Они медленно брели по кладбищу, приближаясь к конторе смотрителя, а подойдя к ней, уселись на ступеньке лестницы. Подниматься в саму контору почему-то вовсе не хотелось. Они и сами не смогли бы объяснить почему: то ли из уважения к умершему, то ли из страха перед ним,

как и перед любым мертвецом. К тому же ночной воздух приятно бодрил.

В небе просветлело, но звезды светили тускло. От этого взору представали лишь силуэты могил, деревьев, кладбищенских стен. Такими же силуэтами виделись друг другу и они сами. В их разговоре одно слово непроизвольно тянуло за собой другое, связанное с ним определенными ассоциациями. Слова сами собой вытягивались в осмысленные цепочки. Оба знали, что только полнейшее единство мыслей и чувств ведет к столь глубокому взаимопониманию, солидарности. Каждый из них был заброшен в наш мир бог знает из какого уголка вселенной, и что, как не эта человеческая солидарность, свело их на кладбище под тусклыми звездами, что еще могло их заставить встретиться здесь?

Оба долго молчали, но молчание двух столь близких людей было сродни громкому разговору, если не оглушительному крику. Мозг, нервы, интуиция — все напряженно работало, не пропуская ни одной мелочи, улавливая первые впечатления безмолвных собеседников друг от друга. И в то же время сами рождали флюиды новых, будущих впечатлений, которые в свой черед вновь улавливались каждым из них, и так раз за разом. В основе их солидарности лежало страдание, неизбывное, длящееся, не прерывающееся ни на миг. Оба знали, что солидарность такого рода не располагает к диалогу, что она стремится выразить себя в параллельных, порою перекрещивающихся монологах. Слишком сильно было страдание, слишком многое хотелось выразить.

— Да, когда он стал моим учеником, я сразу почувствовал, что он из числа тех, кто как-то незаметно, исподволь усваивает все, чему их учишь. К тому же он обладал даром не только схватывать на лету, но с такой же легкостью претворять усвоенное во что-то новое. Понадобилось немного времени, чтобы понять: о каждом разделе программы, который я ему излагал, он может, не сходя с места, написать одну, а то и несколько книг, настолько оригинальных, что об их связи с данным разделом сразу и не догадаешься — слишком далеко забегал он вперед. Каждый раз, начиная новый раздел, я старался вообразить, какую книгу он успел сочинить, пока меня слушал. В конце концов я даже начал готовить лекции, заранее применяясь к тем книгам, которые он сочинит на их основе... Вам приходилось видеть сухой листок, гонимый ветром? Таким листком был и я, он неизменно меня подгонял.

И вот в один прекрасный день он объявляет мне, что намерен оставить факультет. Я испугался. Нет, совсем не того, что он не закончит курс. Я считал, что он давным-давно его закончил, собственно говоря, еще прежде, чем начал у меня учиться. Меня испугала мысль, что больше мне не придется ему преподавать. Ведь за время наших занятий я успел так много от него узнать и надеялся в будущем узнать еще больше. Каждый раз я нарочно задавал ему какой-нибудь вопрос только затем, чтобы узнать нечто новое. Его ответы бывали на редкость немногословны, но эти немногие слова потом целую неделю, все двадцать четыре часа в сутки не давали покоя ни моему уму, ни сердцу. Казалось, в меня впился клещ, вызывающий нестерпимый зуд и раздражение. Я мучительно искал способ подольше удержать его в стенах университета. Удержать хотя бы до заключительного экзамена, на котором ректорат присудил бы ему звание *cum laude*. Это самое высокое из званий, когда-либо присуждавшихся в академических кругах. Но он твердо решил уйти с философского факультета немедленно, без проволочек. Выше всего я ценю ту красоту, что за миг до завершения так и остается незавершенной. Красоту незавершенности. Все незавершенное — прекрасно. Красота и есть незавершенность. Вот что говорил он мне. С тех пор он и устроился сюда смотрителем кладбища. Через год я приехал за ним и тоже начал работать на кладбище. Я нанялся ночным сторожем, но он ничего об этом не знал! Пустота в душе, образовавшаяся с его уходом, не давала мне подолгу общаться с другими студентами. Похоже, я понемногу сходил с ума. От этого понемногу сходили с ума и они. А их сумасшествие в свою очередь укрепляло мое. Как только освободилось место ночного сторожа, я, не раздумывая, предложил свои услуги. Меня приняли на работу, ни о чем предварительно не расспросив. По-видимому, в здешнем муниципалитете превращение профессора философии в ночного сторожа сочли чем-то в порядке вещей...

— И что же, он так и не знал, что вы стали у нас ночным сторожем? — спросил бывший художник.

— Думаю, что знал. Мое имя аккуратно и разборчиво вписано в ведомость посещения работников кладбища. Эту ведомость, судя по галочкам, проставленным красным карандашом против каждого имени, он ежедневно проверял. А я всегда писал свое имя полностью, не опуская даже званий — профессор, доктор. Однако мы так ни разу и не

встретились. Ни разу он не вызвал меня. Ни разу я не понадобился ему в конторе.

— А где вы были сегодня днем?

— Как обычно, в сторожке.

— Это где же?

— Вон в том домике, примыкающем к его конторе.

— И вы... э-э-э... даже сегодня с ним не встретились?

— Нет, не довелось.

— Чем же вы были там так заняты?

— Как обычно, изучением...

— Изучением! Изучением чего?

— Что, по-вашему, изучает философ? Разумеется, философию. Хе-хе-хе!

— По книгам?

Сторож рассмеялся и отрицательно покачал головой.

— Тогда по чему же? Каким образом?

— Разумеется, по себе самому. Тем же самым изо дня в день занимался и он в своей конторе. Молчал сам с собой и думал, думал, думал... И чувствовал, вчувствовался...

— Как отшельник, занятый самосозерцанием?

— Стоит ли так упрощать?

— Но если не как отшельник, то как же?

— Сам не знаю. Для меня философия — определенный аспект всего сущего, включая, кстати, и мое бытие. Он считал, что этот аспект с равным, если не большим, успехом можно изучать и здесь, на кладбище.

— И вы были с ним согласны?

— Не будь я согласен, разве перебрался бы сюда? По крайней мере мы оба понимали философию как курс умирания. Смерти. Кладбище, пожалуй, наивысшее из высших учебных заведений, где можно заниматься философией. Философией как знанием и как благом.

— И вот его больше нет.

— Да, больше нет. Он завершил курс обучения и наконец-то стал высококлассным специалистом в той области, которую сам для себя избрал. Ведь каждый умерший — высококлассный специалист по жизни.

Бывшему художнику показалось, что разговор вступает в ту фазу, когда его надо как можно скорее закончить. Продлись он хоть немного еще, один из них непременно скажет что-нибудь плоское, что-нибудь совершенно бессмысленное. Но вместе с этим чувством пришло и другое, испытанное им столько раз, — он почувствовал, как трудно закончить разговор. Нет, не только потому, что он не мог,

не имел права обидеть старика сторожа. Ему вообще никогда ничего не удавалось закончить. Гораздо проще было *начинать*, но заканчивать... Конец был для него равносилен распаду, хаосу. Особенно ясно это ощущалось, когда он говорил: начала фраз всегда выходили складными и четкими, к середине что-то делалось с голосом, нарушалось какое-то равновесие, а концы и вовсе никогда не выходили. Вместо них решительно ставилась точка, вот и все.

То же случилось и на этот раз. Точки незавершенных предложений отовсюду устремились к нему — их слали звезды, деревья, недоштукатуренные стены кладбища, надгробья. Они выстроились перед ним в каре, замельтешили, заплясали. Потом внезапно рассеялись и начали наново перестраиваться, перегруппировываться, образуя буквы. Когда же перестроение закончилось, он сумел прочитать слово, составившееся из этих аршинных букв: «М-Е-Р-А».

Как только он прочитал его, точки вновь рассеялись, но на этот раз гурьбой устремились туда, откуда явились.

Где начинать и где кончать — разве это не вопрос чувства меры? И не чувством меры ли определяется, что следует прибавить, а что — убавить?

Бывший художник, а ныне бывший штукатур, улыбнулся. Так он всегда улыбался, когда в сознании возникало сразу несколько вопросов, а мысли мешались, не находя на них никакого ответа. О чем он сейчас думал? Ни о чем. Что ощущал? Ничего. Можно верить или не верить, но дело обстояло именно так.

Подобные минуты выпадали нередко. Минуты, когда все становилось безразлично, когда ничто в целом мире, особенно собственная персона, его нисколько не занимало. Мысли и чувства казались черной и красной нитями, которые, все удлиняясь, протягивались через небосвод, выписывали на нем мертвые петли, ныряли вниз, стремительно мчались по горизонтали, снова взмывали ввысь, будто следы от двух реактивных самолетов, пилотируемых курсантами военно-воздушной академии.

В такие минуты он ощущал могучий прилив бодрости. Бодрости, которую приносит хотя бы недолгий отдых от любых вопросов: как связаны мы с нашей планетой, наша планета с Солнечной системой, Солнечная система с другими планетарными образованиями, и, наконец, как связано все на свете со всем *сущим*. Это и было полным, подлинным отдыхом. Тем самым, когда мы каждым дыханием, каждым

ударом сердца обращаемся только к самим себе, свободным от всех и всяческих связей. В эти минуты мы погружаемся в последние глубины своего «я» и припадаем к источнику прозрачной и чистой воды, сокрытому в этих глубинах. А потом, когда, испив ее, мы вновь поднимаемся на поверхность, так уж и быть, пусть прежние связи опять принимаются за работу, пусть вовлекают нас в сколь угодно многообразные отношения с миром.

Так было и с ним.

Освеженный прогулкой по кладбищу ли, в глубь ли себя, бывший художник вдохнул воздух ночи, в недрах которой уже успел зародиться рассвет. Он не знал, удалось ли ему впервые в жизни закончить разговор, или разговор закончился сам собой. А может быть, он и вовсе не закончился, лишь прервался, чтобы нескончаемо продолжаться в воображении.

Радость обуяла его. Он готов был кричать от радости, ибо в это мгновение все прошло. И важнее всего было то, что не *кончилось*, а именно *прошло, миновало.*

Он подвигал руками и ногами, словно бы непроизвольно выполняя какие-то гимнастические упражнения. Миновало. Все миновало.

Ему неудержимо захотелось набрать как можно больше цветов, как можно больше звезд и осыпать ими каждую могилу на кладбище. А в дар старику он предназначил луну грядущего полнолуния.

Прошло. Прошло все то, что до сих пор мучило его, как дурные сны в засушливый сезон.

Раскаленная докрасна полоска на восточном краю горизонта все удлинялась, становилась шире. Звезды понемногу бледнели. Отовсюду уже доносился птичий гомон.

— Куда это вы? — спросил старик, заметив, что художник явно собирается уходить.

— В мэрию, — ответил художник.

Его звучный голос пробудил эхо в пространстве, огражденном кладбищенскими стенами.

— Зачем же, если не секрет?

— Хочу устроиться на работу.

— И кем же?

— Смотрителем кладбища. Теперь это место свободно, и кто знает, не согласятся ли они взять меня. Я думаю, сейчас у меня хватит способностей — кстати, их можно еще и развить, — чтобы справиться с обязанностями смотрителя кладбища.

Он рассмеялся. Его ужасно забавляло лицо старика, на котором последовательно отражались все фазы жестокой борьбы неодолимого желания спать и неподдельного изумления.

— Здесь похоронена моя жена, — сказал художник. — А вчера здесь же похоронили того, о ком я только теперь благодаря вам узнал правду и кто стал мне подлинным другом. Я хотел бы всегда быть рядом с ними, хотел бы навсегда остаться паломником у их могил. Вы еще увидите, что здешняя пустота на пустоте — это тоже жизнь. Особый способ жизни.

Взошло солнце, залившее кладбище неудержимыми потоками света. Белый песок, устилавший могилы, заискрился в его лучах.

— Ну а сами вы? — спросил художник. — Ведь вы, похоже, из породы преданных учеников, что идут за учителем до конца, до гробовой доски.

Старик засмеялся. Смысл этого вопроса, если вдуматься всерьез, таил в себе нечто устрашающее, нечто явно припахивающее кровью.

Что ж, он попробует! Он останется здесь. Сам с собой и со своим учителем, покоящимся в земле, *добровольно легшим* в нее, осознав безупречность и завершенность провала, покончившим с собой. И еще он останется с этой землей — твердью, разделяющей рай и ад. Безупречность и завершенность провала... Да, он согласен, пусть так! Но на взгляд тех, кто покоится здесь, или тех, чьи сердца забьются лишь завтра, этот провал и добровольный уход из жизни как раз и составляют самую суть учения его покойного наставника.

— Я... э-э-э... останусь здесь насовсем, — сказал сторож.

Произнесенные с запинкой, совсем *просто*, его слова не имели ничего общего с выспренним стилем эссе или банальных афоризмов. Ничто в них не напоминало и о типичной профессорской манере говорить с нарочитым заиканием, нарочитой рассеянностью.

— Вы хотите сказать, что решили насовсем остаться ночным сторожем на этом кладбище?

Старик утвердительно кивнул и снова громко рассмеялся:

— Да, именно так я решил, хотя, признаюсь, никто до сих пор не удосужился объяснить мне, в чем именно состоят

мои обязанности, что именно я здесь сторожу: кладбище или, может быть, ночь?

На этот раз рассмеялись оба.

— Что ж, тогда до скорой встречи.

Художник протянул старику руку. Их рукопожатие было горячим, точно пар, рожденный столкновением двух планет, готовых слиться воедино. То был раскаленный пар полного взаимопонимания, полной солидарности.

— Желаю вам поступить на работу! — крикнул старик вслед удалявшемуся художнику.

Художник, бывший художник, бывший штукатур и будущий смотритель кладбища, издали помахал рукой. Солнце с графической четкостью запечатлевало его шаги по дымящемуся в предутренний час асфальту улицы.

С каждым новым шагом он наступал на какую-то очередную могилу, где под толщей земли, чья история насчитывает миллионы лет, покоился прах очередного из мертвых. Каждый шаг приближал к конечной цели паломничества — паломничества к человеку, человеческой сущности.

И к самому себе.

Мохтар Лубис

ТИГР! ТИГР!

ГЛАВА I

Великий лес раскинулся по всему острову, от кромки берега, разбиваясь о который океанские волны заканчивают свой томительно долгий, начинающийся почти у Южного полюса путь, до вздымающихся в небо горных вершин, постоянно окутанных густыми облаками. Великий лес многолик. Прибрежная полоса покрыта мангровыми зарослями, но по мере удаления в глубь острова, по мере того, как суша поднимается над морем, меняются породы деревьев и растений. Появляются могучие, ветвистые стволы-великаны, поросшие похожими на распущенное кружево древними мхами.

Совсем мало в Великом лесу таких мест, где доводилось бывать человеку, и природа дышит здесь невозбранно, в полную силу. Всякие звери, всякая живность населяет лес, всевозможные травы и цветы произрастают там, и множество орхидей венчает кроны высоких деревьев.

Наверху, в ветвях, обитают гиббоны, макаки и их сородичи, гнездятся птицы. Внизу, по земле, бродят черные тигры, слоны, медведи. Вдоль речек живут тапиры, носороги, змеи, крокодилы, олени, карликовые лани-канчили и сотни других существ. В почве в изобилии плодятся насекомые.

Много в Великом лесу таких мест, которые внушают страх. Есть там трясины, таящие смертельную опасность, есть чащобы, где от века царят мрак и сырость. Но есть и прелестные, пленяющие душу уголки, точь-в-точь похожие на легендарные обители фей и сказочных дев, лесные островки, выстланные ровной травой, словно бы кем-то неустанно оберегаемой и лелеемой, окруженные длинными, стройными стволами вечнозеленых чемар, чей маслянистый аромат разносится далеко вокруг. Посреди такого лесного уголка, то о чем-то напевая, то сам с собою шепчась,

струится прохладный и чистый ручеек, и пришельцу захочется остаться здесь навсегда.

Но и другие источники таит в себе лес — источники существования людей: разных видов древесину, ротанг и древесную смолу. Человек, ютившийся когда-то в чащах, подобно дикому зверю, а потом вышедший оттуда, чтобы построить города и деревни, по сей день постоянно возвращается в лес на охоту и в поисках хлеба насущного.

Неделя миновала с тех пор, как эти семеро пришли в лес для сбора смолы и обосновались тут. Самый старый из них — папаша Хаджи Рахмад, или, как его обычно величают, Пак Хаджи. Ему уже шестьдесят. Несмотря на столь преклонный возраст, он все еще бодр и крепок, сохранил зоркость глаз и острый слух. То взбираясь в гору, то спускаясь вниз с тяжелым грузом собранной им смолы или ротанга, вдыхая на лесных просторах свежий воздух, он сберег здоровье и силы. Пак Хаджи любит прихвастнуть, что никогда в жизни не хворал. Он прямо-таки горд тем, что ему доныне незнакомы ни ломота в пояснице, ни головная боль.

Девятнадцати лет от роду покинул он свою деревню и отправился странствовать по белу свету. Пять лет плавал на корабле, два года провел в Индии, выучился там вслух, нараспев читать Коран. Побывал Пак Хаджи и в Японии, и в Китае, и в Африке, и в шумных портовых городах белого человека.

Но в конце концов родная деревня позвала его назад. И вот после двадцатилетних скитаний Пак Хаджи, совершивший к тому времени паломничество в Мекку, вернулся домой. И снова принялся собирать древесную смолу, как собирал ее с тринадцати лет, помогая отцу — тоже сборщику смолы.

Пак Хаджи часто повторяет, что, испытав и перепробовав в этой жизни многое, он больше всего доволен своим теперешним занятием.

Дяде Катоку пятьдесят. Сильное тело, волосы по-прежнему черны, усы длинные и густые, на руках и ногах отчетливо проступают бугры мышц. На вид ему дашь в крайнем случае сорок с небольшим. Губы полные, сочные, глаза поблескивают. В борьбе пенчак он настоящий мастер. Ко всему тому, дядя Каток слывет в деревне ловким охотником, опытным знахарем и колдуном.

Из тех, что помоложе, — Сутан. В свои двадцать два года он уже женат. У двадцатисемилетнего Талиба подрас-

тают трое ребятишек. Двадцать пять лет Санипу, и он тоже человек семейный, отец четверых детей. Самый юный в компании сборщиков — Буюнг, которому только-только минуло девятнадцать. Все эти парни постигают под началом дяди Катока борцовское искусство, обучаются у него ворожбе и прочим колдовским премудростям.

Видят они, что в деревне к дяде Катоку относятся как к старшему, вроде как к вожаку, что ценят его люди. В правоте его слов и поступков никто из них еще ни разу не усомнился.

Именно дядю Катока сборщики смолы промеж себя молчаливо признают главным. Седьмым у них папаша Балам. Они с дядей Катоком ровесники. Папаша Балам человек неразговорчивый. Хоть и щуплый, а работать здоров. Когда в двадцать шестом году поднялось коммунистическое восстание (во всяком случае, так это называют)[1], власти схватили папашу Балама и сослали на четыре года в Танах-Мерах[2]. Детей ему бог не дал. Хадиджа — жена, отправившаяся с ним в ссылку, — ждала ребенка. Но подхватила малярию. Случился выкидыш, и после того она уже родить не могла. Жене папаши Балама вечно неможется, и какие деньги у него ни заведутся, все уходят на лекарства да снадобья.

Эти семеро всегда отправляются на промысел вместе, хотя, в общем-то, работают не артелью, порознь, и каждому платят отдельно за ту смолу, какую собрал сам. Но вместе им спокойней, легче иной раз и пособить друг другу.

У односельчан они на хорошем счету. Дяде Катоку выказывают почтение. Да, пожалуй, малость его и побаиваются — как-никак знаменитый борец и великий чародей. Говорят, был один такой, который, до одури влюбившись в замужнюю, упросил дядю Катока, чтоб помог завладеть ее сердцем, приворожил ее. Велел ему дядя Каток добыть во́лос той женщины, и вскоре она потребовала развода, бросила мужа и детей. Много еще ходит историй о могуществе дяди Катока. Вот, к примеру, рассказывают, будто бы давно, когда он был молодой, медведь подстерег его в

---

[1] Имеется в виду антиколониальное вооруженное восстание 1926—1927 гг. на Яве и Суматре, возглавленное КПИ.

[2] Танах-Мерах — в Нидерландской Индии поселение для политических ссыльных, расположенное в верховьях реки Дигул на Новой Гвинее (Западный Ириан), в малярийной местности, отрезанной от внешнего мира болотами и джунглями. Туда была сослана группа участников восстания 1926—1927 гг.

лесу. Схватился с ним дядя Каток голыми руками и победил, и медведь спасался бегством в лесную чащу.

А уж насчет чародейства... Об этом осмеливаются говорить только шепотом. Дядя Каток знается-де с привидениями и духами.

Папашу Балама в деревне тоже уважают. Герой, из тех храбрецов, что против самих голландцев с оружием пошли. Кто-кто, а односельчане знают: никакой папаша Балам не коммунист. Он человек благочестивый, верующий. А коммунисты-то, известное дело, в бога не веруют, религию не признают. В бой с голландцами папаша Балам и его товарищи вступили тогда потому, что уж больно те угнетали народ, так налогами обложили, что совсем невмоготу стало.

И Паку Хаджи воздают должное — за годы его почтенные, за то, что в святую землю ходил. Но вот чтобы люди хорошо его понимали, этого не скажешь. Возвратясь из дальних странствий, он как-то отгородился от других, зажил на отшибе. Не женился, хоть родня и понуждала, не захотел верховодить ни в делах общинных, ни в делах веры. Поначалу поговаривали, что он, мол, больно долго жил в заморских странах, оттого и важничает. Но потом с его странностями свыклись и перестали их замечать. Пак Хаджи, как видно, был доволен, что его оставили в покое.

Сутан и Буюнг, Талиб и Санип — из тех парней, которых в деревне считают скромными и правильными.

Как и большинство их соседей, люди они без затей, живут открыто. И в мечеть сходят помолиться, и посудачат в местной кофейне о том о сем. Помогают вместе с другими тому, кто строит дом, сообща чинят дороги и роют каналы, чтобы провести воду на поля. А бывает, выкинут какую-нибудь безобидную проделку. Они примерные отцы и мужья, добрые братья, верные друзья. Смеются и плачут, мечтают и надеются, сердятся, хмурятся и грустят по тем же поводам, что и многие их односельчане.

Словом, люди как люди.

И вот теперь, чтобы прокормить свои семьи, они промышляют в глубинах Великого леса.

Глава II

Дядя Каток взял с собой шомпольное ружье. Вообще-то, отправляясь в лес за смолой, он редко прихватывает его. Ружье у него исключительно для охотничьих нужд. Дядя

Каток ходит с ним на кабана, на другого зверя. А тут неожиданно заявил, что приглашает сборщиков заодно и поохотиться: уж месяца два, как на лесное поле дяди Хитама — человека, в доме которого им ночевать, — зачастил олень.

Ружье у дяди Катока допотопное, но зато какое красивое! Ствол сплошь покрыт тонкими узорами. До чего же нравится оно Буюнгу! Парнишка любит нести его в очередь с дядей Катоком. Понятное дело — оружие украшает мужчину. Кинжал, крис, полуметровый тесак-паранг у пояса — без этого он вроде как и не одет. Ну а с ружьем через плечо глядит красавцем и героем.

Дядя Каток смело доверяет ружье Буюнгу, потому что знает: Буюнг будет обращаться с ним бережно, любовно, протрет его как полагается. Одолжив, всегда возвратит вычищенным куда лучше прежнего, да вдобавок еще и смазанным. Раз за разом, сотни раз будет протирать ружье, пока не отполирует до блеска вороненую сталь ствола и коричневое, потемневшее от времени дерево приклада. И нигде-то не останется после него ни мельчайшей соринки, ни малейших следов пороха.

Давно уже мечтает Буюнг о собственном ружье. Два года, как начал откладывать деньги на покупку. Но древнее шомпольное ружье — это не для него. На охоте с таким особо не развернешься. Ведь перво-наперво надо порох в дуло засыпать, шомполом утрамбовать, потом пулю туда опустить, забить ее поглубже и уж только тогда стрелять. Пока со всем этим разберешься, зверя и след простынет. Но, если вникнуть, такое ружье само учит своего владельца ремеслу охотника. Тут ведь как: целишься и нажимаешь на курок один раз, и попадать надо с первой попытки. Если промазал, второй не дождешься. И Буюнгу есть чем гордиться, старинное ружье ему послушно. Промахивается он редко, почти всегда бьет точно в цель.

Был случай: прицелился он в загривок бегущему кабану и точно в это место угодил. А в другой раз, когда деревенские обложили стадо диких свиней и пуля Буюнга поразила зверя, кинувшегося на людей, прямо в левый глаз, не кто иной, как дядя Каток, похвалил его. Дядя Каток оказался столь великодушен, что объявил, будто и сам он не мог бы выстрелить лучше. Вот уж похвалил так похвалил. То-то радовался Буюнг. С тех пор и пошла среди односельчан молва о его искусстве.

Похвала дяди Катока была, можно сказать, верным доказательством того, что стрелок из Буюнга получился от-

менный. Потому что любой в их деревне убежден: не родился еще человек, равный дяде Катоку в стрельбе из ружья и в охотничьем деле. Ведь как умеет он распознавать следы диких зверей, до каких тонкостей изучил нравы и повадки лесных тварей!

Сызмальства слышал Буюнг рассказы о необычайных способностях дяди Катока и теперь, когда выходит на лесной промысел заодно с ним, да еще удостоившись быть принятым в число его учеников, преисполняется счастьем и чувствует, что ему по-настоящему повезло.

Говорят, в поединке дядя Каток может не то что без ножа противника уложить — пальцем к нему не притронется, а убьет. Стоит только ему замахнуться рукой или ногой, нацелившись в голову, в живот, под ложечку своему врагу, — и тот уже готов. Рухнет как подкошенный, и душа из него вон.

О том, сколь сведущ дядя Каток, какой он знахарь и колдун, наслышана вся округа. Мало того, что от обыкновенных немощей излечит, может и тех спасти, на кого наслали порчу, может и сам человека извести, заставить его животом маяться чуть не до смерти. Даст, если надо, чудодейственный амулет, и будет тот амулет отпугивать от хозяина злых аспидов и прочих гадов, возбуждать в ближних любовь, страх, благоговение, уступчивость. Ведомо дяде Катоку, как сделать, чтобы молодой парень или девушка стали вдруг неотразимы, какими ухищрениями и снадобьями оградить от напастей путника, какой талисман бережет в бою, а какой не даст умереть от змеиного укуса. Стоит ему захотеть — и харкать тебе кровью, пока не отправишься к праотцам. А еще знает он заветные слова, произнеся которые человек становится невидимым.

И Буюнг, и его товарищи ждут не дождутся, когда же откроет им дядя Каток самые сокровенные свои тайны. Особенно хочется Буюнгу узнать заклинания, какими привораживают девушек. Бедняга по уши влюблен в Зайтун, дочку дяди Хамдани — здешнего лебея. Но та вроде бы ничего не замечает. Правда, нет-нет и улыбнется, когда повстречаются они с Буюнгом на тропинке, ведущей к источнику, да так ласково улыбнется. Посмотрит прямо в глаза, и столько тепла в этом взгляде! Но чаще, заприметив издалека Буюнга, который нарочно ищет встречи с нею, она заблаговременно отворачивается с таким видом, будто вся поглощена болтовней с подружками и нет ей никакого дела, кто там проходит мимо.

Дядя Каток, однако, не спешит познакомить своего питомца с тем, как и какими средствами надлежит привораживать женщин. Больно ты еще молодой, говорит ему дядя Каток, кровь так и кипит, не ровен час, всем нашим деревенским задуришь головы. Такие хитрости надобны, чтобы нашу мужскую честь от женского каприза защитить или если уж до того влюбился, что надумал жениться. Но чтобы бесчестить чужих жен, ты этой наукой пользоваться не моги.

А еще Буюнг с напарниками жаждут, чтобы дядя Каток научил, как обернуться невидимкой. Не раз и не два предавался Буюнг сладостным мечтам о том, что же можно будет тогда учинить. Хочешь — подглядывай за спящей или купающейся Зайтун сколько душе угодно... Прямо дух захватывает от таких мыслей! А как просто разбогатеть, проникнув в эту тайну...

Отцы Буюнга и Зайтун давние приятели, и дети знают друг друга чуть не с пеленок, с малолетства играли вместе. Сейчас Буюнгу кажется, что слишком уж часто обижал он Зайтун, доводил до слез.

А потом, когда Зайтун исполнилось двенадцать, она както сразу от него отдалилась, и они почти перестали видеться. Прямо на глазах Зайтун из девочки превратилась в девушку, а теперь и сам Буюнг стал совсем взрослым парнем, и им нельзя больше встречаться так же свободно, как прежде.

Буюнг все не возьмет в толк, как же на самом деле относится к нему Зайтун. Иногда ему кажется, что очень хорошо. Бывает, мамаша посылает ее к ним с каким-нибудь угощением, а Буюнг возьми и окажись дома. И так по-доброму обойдется с ним Зайтун, так приветливо. Какая же она миленькая — глаз не оторвать! Да еще уважительно назовет его старшим братцем, хоть он и старше-то всего на год.

Как трепещет в такие минуты сердце Буюнга! Парень буквально ног под собой не чует, возносится куда-то на седьмое небо, где все вокруг сияет неземным светом, полнится звуками свирелей и дивным пением. Но случается, что, заглянув к ним в дом, Зайтун и не поздоровается с Буюнгом, и не посмотрит в его сторону. И даже если он подойдет поближе, пока Зайтун разговаривает с его матушкой, не проявит к нему ни малейшего интереса.

Возможно ли, скажите на милость, покорить сердце такой девушки, не прибегнув к заклинаниям дяди Катока? Буюнг готов на все, лишь бы тот поведал ему, какие нужны в подобных случаях волшебные слова.

Буюнг знает: мать с отцом не прочь, чтобы Зайтун стала их невесткой. Слыхал он, как они толковали об этом, думая, что он куда-то вышел. Разговорились в один из тех вечеров, когда Зайтун приходила к его матушке с угощением. Как только она удалилась, Буюнг услышал из соседней комнаты голос отца: «Смотри, как подросла маленькая Тун. На вид очень славная девушка.»

— Что правда, то правда, — отозвалась мать. — И в доме хозяйка, и шьет сама, и молится исправно. Коран читает, в школе ведь училась.

— Да и наш сынок уже большой, девятнадцать ему, — продолжал отец. — И тоже работник хоть куда.

— Да Буюнг-то здесь при чем? — подивилась мать. Для нее он по-прежнему маленький мальчик, несмышленыш.

Но сам-то Буюнг считает себя взрослым. Грамоту знает, Священную книгу без малого два раза одолел. С голоду, слава богу, не помрет, на жизнь заработает. Да и как-никак целых девятнадцать лет.

— А что, не худо бы нам его и оженить. — Это снова заговорил отец.— Он вроде как нравится Зайтун?

— Да кого из наших девушек ни спроси, любая за Буюнга пойдет,— донеслись исполненные гордости слова матери.

Отец рассмеялся.

— Послушать тебя, такого ладного сына больше ни у кого и не сыщешь.

Тем и кончился разговор о Зайтун, и вопрос, нравится ей Буюнг или нет, так и остался без ответа.

Поначалу Буюнг едва не расстроился всерьез, но, поразмыслив немного, утешился. Ведь выяснилось по крайней мере, что Зайтун нравится его родителям.

С другой стороны, Буюнгу известно, что отец его любимой — достопочтенный лебей — явно благоволит к нему. Когда бы они ни встретились, лебей всегда дружелюбен, порасспросит о том о сем, осведомится, как идут дела на промысле и много ли набрали смолы, далеко ли продвинулся Буюнг в искусстве чтения Корана. Однажды достопочтенный лебей даже поинтересовался мнением Буюнга, как правильно натаскивать охотничьих псов, ибо он заядлый охотник и держит четырех собак. А у Буюнга всего-то одна, но какая бесстрашная! Пока другие собаки попусту тявкают, обложив кабана, эта первой набрасывается на него.

Казалось бы, ничто не мешает Буюнгу жениться на Зайтун. А все же препятствие есть. Чувства девушки — вот что

тревожит. Любит ли она его так, как он ее? Если нет, тогда не будет ему настоящей радости от свадьбы, хотя бы и справили ее с благословения родителей. Знает Буюнг, что обычно люди женятся, повинуясь родительской воле. Но он хочет сам выбрать себе невесту, и пусть она тоже сама выберет его.

Иногда у Буюнга прямо-таки голова идет кругом от неотвязных мыслей. Как добиться любви Зайтун, как сделать, чтобы не забывала о нем ни на мгновение, чтобы образ его всегда стоял у нее перед глазами — точь-в-точь как сам он все время видит лишь ее одну?!

До чего же красива Зайтун! Буюнг подсматривал за ней украдкой, когда она вместе с подружками купалась в источнике. Волосы черные-черные, волнистые и длинные — как распустит их, так упадут ниже самого пояса. Фигурка складненькая, ножки стройные, точеные, а у смуглой кожи такой нежный оттенок! Зубки белые, ровные, а губы алые, хотя она и не жует бетель. Буюнг уже твердо решил, что, если они поженятся, он строго-настрого запретит Зайтун жевать бетелевую смесь, от которой чернеют зубы, а слюна обращается в пену кроваво-красного цвета. И уж подавно не позволит он своей жене утираться при этом комком прессованных табачных листьев, как вошло в привычку у его тетушки. Употребив такой комок в дело, тетушка обыкновенно оставляет его где попало — под подушкой, на столе, в кухне, на лестнице, в комнате для гостей, — что служит поводом для бесконечных причитаний дядюшки. Сетует он и на чересчур большие — с кулак величиной — размеры этих предметов. Надобно знать, что, затеяв свару с дядюшкой и войдя в раж, тетушка начинает швыряться ими. Дядюшка постоянно задается вопросом, почему бы тетушке аккуратно не бросать их в специальную плевательницу, по примеру других женщин, жующих бетель и утирающихся табачными комками. Но приучить ее к этому выше дядюшкиных сил. Нет, не о такой совместной жизни с Зайтун мечтает Буюнг...

А как поет Зайтун! В школе, в своем классе — а училась она на класс младше Буюнга, — слыла лучшей певуньей. До того чистый, до того мелодичный у нее голос, что даже строки Священной книги льются из ее уст непривычно мягко и трогательно, воистину пленительно, отличаясь от монотонного чтения ее отца лебея как небо от земли.

Много прошло времени с тех пор, как слышал он Зайтун в последний раз. Как-то поет она теперь? Хотя ведь там, у источника, Зайтун пела с подружками одну жалобную пес-

ню — песню девушки, чей любимый отправился в далекий путь и которая, тоскуя о нем, все спрашивает, когда же вернется он назад в деревню.

Буюнг едва не вышел из своего укрытия, так захотелось подойти поближе, чтобы лучше слышать ее голос. Одно только и остановило — спохватился, что же скажут соседи, если прознают, как подглядывал он за девушками. Да, тогда уж сраму не оберешься. Вконец засмеют, на весь мир ославят.

Заветное желание Буюнга — побыстрее стать настоящим мужчиной, таким, как его друзья-сборщики. Взять хоть Сутана. Он и борцовские приемы знает лучше, даром что оба они ученики дяди Катока, и жениться успел, да и вообще по женской части не промах — ни с молодыми не теряется, ни с теми, что постарше, и подзаработать тоже умеет. И рис растит по-всякому — что на заливном, что на обычном поле, — и ротанг собирает, и смолу. При случае и на базаре себя покажет: с выгодой продаст или купит козу, а то и корову.

Но больше всего нравятся Буюнгу люди вроде весельчака Санипа. Непременно отыщется у него в кармане какая-нибудь дудочка, и чуть выдастся свободная минутка — достанет ее, приставит ко рту и заиграет песенки на любой вкус. В этом деле он большой мастак. Дудочка у него все равно что сама поет — то задорно, то тоскливо, а то вдруг прямо зарыдает. Когда сборщики смолы усядутся вокруг костра в джунглях и Санип начнет наигрывать грустные мелодии, Талиб непременно затянет что-нибудь заунывное. Тут уж и Буюнг вытащит свою свирель, и запричитают они в три голоса. В звуках Саниповой дудочки, то совсем было замирающих, то словно вновь откуда-то прорывающихся, во всхлипывании свирели и пении Талиба слышатся плач одинокого, потерянного страдальца, вся боль его сердца, истомившегося в тщетном ожидании счастья. И каждый из семи сборщиков, расположившихся у огня, предается своим воспоминаниям, каждому страстно хочется от жизни чего-то своего, а за их спинами со всех сторон встают стеной черные бескрайние лесные дебри.

На что невозмутим дядя Каток, а и его берут за живое эти песни, лицо светлеет, да и мысли витают неведомо где. Задумчиво закрывает глаза Пак Хаджи, забывает о самокрутке из сухих листьев, зажатой между большим и указательным пальцами, и она гаснет сама собой.

Но и потешить людей Санип еще как умеет. Если радост-

но у него на душе, тогда уж дудочка выдает залихватские трели. Глядишь, и сам Санип запевает этаким хрипловатым голоском, подымается с места и давай приплясывать, так что в конце концов и остальные парни, не в силах усидеть, вскакивают на ноги, подхватывают песню и пускаются в пляс.

Хлебом Санипа не корми, а дай ему побалагурить, посмешить честной народ всякими байками. Во множестве известны ему забавные случаи из жизни достопочтенного лебея. Эти рассказы смешат всю компанию до слез, тем более что толстяк и коротышка Санип сопровождает свои шуточки уморительными ужимками.

Пожалуй, Буюнг даже завидует Санипу — его веселому нраву, его умелой игре на дудочке. Как бы хотелось Буюнгу плясать и петь, обо всем рассказывать так же запросто, как Санип. И еще — научиться так же, как он, не принимать происходящее вокруг чересчур близко к сердцу. Если, к примеру, пробираются они по лесу и тут начинается ливень, тропинка вмиг становится скользкой, а сами они промокают до нитки, то Санип как ни в чем не бывало во всеуслышание объявляет:

— Чур не плакать, дождь пройдет, снова солнце выйдет!

Когда Сутан заворчит, что его ноша слишком тяжела, Санип ему скажет:

— Да брось ты, прикинь-ка лучше, сколько отвалят на базаре за эту смолу, и веселись себе.

Вот бы и мне так, думает Буюнг.

Охотились однажды они вместе. Прицелился Буюнг в оленя из ружьишка дяди Катока, стрельнул, да оплошал. Только того оленя и видели. Весь день мотались они потом по лесу, да без толку. Ох, и сокрушался Буюнг! Корил себя за промах всячески. Санип тогда возьми да и скажи:

— Ну чего разволновался? От этого оленя другой родится, и будет их в лесу еще больше. Значит, и ты сможешь больше подстрелить.

— Тебе-то откуда знать, что от этого другой родится? А ну как его тигр задерет?

— Да хоть бы и так, всех оленей, какие есть в лесу, тигру ни за что не сожрать. Ты бы, главное, — он озорно подмигнул Буюнгу,— целился получше.

И понял вдруг Буюнг, как же, оказывается, добры к нему Санип и остальные. Ведь сколько времени его сопровождали, надеялись на его меткость. А он промахнулся, и получилось, что все их старания ушли впустую. Почувствовал Буюнг, что надо бы ему извиниться перед друзьями, что рас-

страиваться он просто не вправе.

У Буюнга в голове не укладывается, отчего это Санип, у которого и жена, и дети, бывает беззаботен, прямо как холостой, как мальчишка. Детей-то четверо, шутка ли. На месте Санипа многие другие держались бы степенно, как люди пожившие.

А Талиб ни капельки не похож на Санипа. Молчаливый, длинный, худой. Глядит невесело. В деревне толкуют, что из-за жены — пилит его день-деньской. Ранчак, сестренка Зайтун, говорит: сама, мол, слышала, как Сити Хасана, Талибова жена, бранила своего мужа без передышки с утра до вечера. А Талиб помалкивает себе, ни словечка в ответ не скажет, не огрызнется. От этого Сити Хасана еще пуще разошлась. Ругалась, пока сил хватило, пока запал не прошел.

И все-таки Талиб с Санипом закадычные приятели. Повсюду ходят парой. Бывает, ливень застигнет в лесу, и укроются они под навесом из листьев дикого банана.

— Вот тебе и раз, — скажет Талиб. — Зарядит теперь на несколько дней.

А Санип весело ответит:

— Повезло нам с этим дождичком, отдохнем всласть!

И все рассмеются.

Раз как-то набрали столько смолы — девать некуда. Тащат ее из последних сил, а Санип знай бодрится:

— Ух ты, вот удача, вдвое против обычного принесем!

А в ответ унылый голос Талиба:

— Как же, принесем — если в реке не утопнем. Поди переправься с таким грузом!

Хоть и молчун Талиб, хоть и невеселый он человек, а храбрый. Показал себя, когда ходил с односельчанами на кабана. Собаки зверя окружили, один охотник подкрался к нему с копьем — заколоть хотел. Метнул копье, а кабан увернулся и как кинется на безоружного — даром что собаки вокруг толпились. И тут Талиб, не долго думая, выскакивает навстречу, выставив вперед свое копье. Тем товарища и спас. А уж потом и собаки свое дело сделали: разорвали кабана на куски.

А еще очень уважает Буюнг старого Пака Хаджи. Росту он среднего, не то чтобы низок, но и не высок, седой, зато волос не растерял. Смолу по сей день таскает на себе не хуже любого из них. Сам он на слова скуп, но чужой разговор послушать любит. Да и посмеяться со всеми заодно не прочь.

Вечерами, сидя у костра, он нет-нет да и поддастся на

10—0108

уговоры — начинает вспоминать о своем житье-бытье в заморских краях. Рассказывал, как, едва покинув родную деревню, остался в пути без денег и надолго застрял в Сингапуре. Пришлось ему и на черную работу подряжаться, и поваром быть. Говорил даже, будто целых два месяца в конюхах прослужил у джохорского[1] султана.

Рассказывал и о том, как пристроился было в маленький бродячий цирк, принадлежавший одному китайцу, — показывал там всякие штуки, разъезжая по арене на велосипеде. С тем цирком добрался до Сиама. А в Бангкоке пришлось ему сматывать удочки, потому что была у них в группе певичка-китаянка, муж которой, воспылав ревностью, собирался зарезать Пака Хаджи.

— Был на мне грех, — признается, хитро посмеиваясь, Пак Хаджи, — вот я и удрал.

Потом опять нанялся он поваром — на корабль, плававший из Индии в Японию и обратно. Слушать бы и слушать его рассказы о больших городах да гаванях — о Шанхае, Токио, Маниле, Пенанге, Рангуне, Калькутте!

Однажды, когда причалили в калькуттском порту, Пак Хаджи сошел на берег и больше на корабль не возвращался. Отправился он в Лахор. Там, по собственным его словам, один очень сведущий богослов наставлял его в делах мусульманской веры. А уж из Индии пешим путем двинулся Пак Хаджи вместе с десятками других паломников в Аравию.

— Много месяцев шли, — вспоминал Пак Хаджи. — Чему только не успел в дороге научиться. Был вот подручным у одного фокусника и мага. Здоровенный такой афганец, мог у птички язык отрезать, а потом приставить назад. Проходили мимо какого-то городишка, там тоже свой колдун, и предложил он моему силами помериться. Только чтоб язык резать не птичке, а малому дитяти. Мой, ясное дело, уступать не хотел. Что ж, говорит, могу. Ему и выпало по жребию первым себя показать. Пора начинать, а он мне и шепчет: ступай, мол, на постоялый двор, собери вещи. Сказано — сделано. Стал я укладываться, и тут он влетает в комнату, хватает наши узлы и кричит, чтобы бежал за ним.

Не пойму, что стряслось, но чую — беда. Схватил тоже я вещички да припустил за ним во всю прыть. И слышу, как за спиной, покуда еще вдалеке, толпа от ярости ревет.

---

[1] Джохор — султанат на юге Малаккского полуострова, в настоящее время входит на правах штата в состав Малайзии.

Но мы уж на окраину выскочили, там поблизости все скалы да холмы, в них и отсиделись. До самой ночи местные нас искали.

Я потом спрашиваю, что, мол, случилось. Он ухмыляется и показывает мне кошель с деньгами. Я, говорит, плату вперед взял со всех, кто там был. А как деньги собрал, ну тогда быстренько чик этого мальца по язычку. Самый кончик отхватил, он небось ничего и не понял. Тут я им и говорю: ждите, потому как, мол, надо мне за снадобьем за особым отлучиться. А сам со всех ног к тебе, на постоялый двор. А чего бежал-то? — спрашиваю. Ха! — говорит. Я ж язык-то ему назад приделать не умею. Да как же быть теперь мальчонке с таким языком, кто ж ему приставит? — спрашиваю опять. А на что, говорит, тот колдун, который тягаться со мной вздумал? Поди, сам похвалялся, что умеет отрезанный язык обратно прирастить. Пусть-ка попробует! Коли сможет, то и хорошо, получит мальчонка назад свой язык. А уж коли нет, тогда местные взгреют его от души. И как захохочет!

Вот такую историю поведал им Пак Хаджи.

Конечно, кто ж его разберет, что там правда, а что нет? Может, так все и было. Мало ли случалось в прежние времена удивительных вещей, которых теперь и вообразить-то себе нельзя?..

Побывал Пак Хаджи в святой земле и после того вновь нанялся на корабль. Ходил с тем кораблем и в Африку, и в Европу.

А как вернулся домой, взялся опять за старый лесной промысел. Чего только, говорит, не насмотрелся в чужих краях, а все тянуло к себе в деревню. Собирать смолу да ротанг — тоже дело хорошее. Лес ведь что море — кого однажды заманил, того уж больше от себя не отпустит. А человек, промышляющий в лесу, ровно бы как матрос, рассуждает вслух Пак Хаджи.

Там, в море, бескрайнее небо над головой. По ночам в небесах загораются бесчисленные звезды, и в темноте вода лучится их отраженным светом. Только нет там ни деревьев, ни трав, никакого нет лесного зверя. И звуков леса тоже нет. Одиноко в открытом море, как в пустоте. А в лесу, хоть бы и в самых диких джунглях, кругом человека всякая растительность и живность — и та, что доступна глазу и уху, и та, что скрыта от них. Здесь человек с природой заодно, здесь жизнь едина.

Ничего не скажешь, много припасено у Пака Хаджи

историй, отменный он рассказчик. Все-то повидал, все-то познал он на своем веку — и страх, и смех, и горечь, и радость.

* * *

Аир-Джерних — деревня, где живут семеро сборщиков смолы и откуда вместе отправляются на промысел, — стоит на озере Бантоу, там, где в него впадает речушка Аир-Путих.

К лесу они идут берегом реки, вверх по течению. Углубиться в чащу, плывя по реке в лодке, мешают огромные валуны, да и стремительные потоки, низвергающиеся с гор. Однако на равнинах — а и таких мест здесь немало — образуются обширные и глубокие заводи, в которых в изобилии водится крупная рыба. Но только не в тех, что ближе к деревне: в них осталась теперь разве что одна мелочь, да и той не густо. Слишком усердно здесь рыбачат. Зато подальше, в лесных омутах, ловится хорошо — хоть на удочку, хоть сетью. Где-нибудь поблизости от них и выбирают себе ночлег семеро сборщиков, и, пока промышляют в лесу, рыбы у них вдоволь.

Что за удовольствие после того, как день-деньской гнул спину или шагал без отдыха по горам да по долам, посидеть на камушке, поудить рыбку! Слышно, как далеко-далеко в лесу призывно и часто кричит гиббон, будто кто-то мерно бьет в барабан. Ветерок шелестит листьями, журчат водяные струи среди валунов. Благодать!

От Аир-Джерних до тех лесных краев, где растут смолистые деревья, неделя пешего хода. В дорогу берут бамбуковые табунги, доверху наполненные рисом и красным перцем, берут понемногу других пряностей, соль, кофе и сахар, котелок — кипятить воду и варить пищу. Коли не возьмут с собой сети, так обойдутся плетеной вершей или нарежут из бамбука удочек и воткнут их у воды, между каменьями. А выпадет свободная минутка да не поленятся, так и силки поставят на горлиц, слетающихся к берегу в поисках добычи. Редко, но бывает, что никакая живность не ловится. Приходится тогда жарить на огне сушеное мясо и рыбу, запасенные специально на этот случай. Другой раз дядя Каток захватит ружье, можно и зверя пострелять. Повезет — вернутся в деревню с вяленой олениной, но на охоту пойдут не раньше, чем наберут смолы.

По счастью, в глухом лесу, недалеко от мест, где они промышляют, дядя Хитам расчистил поле и поставил дом. Там частенько и ночуют.

Дядей Хитамом — Черным — кличут старика чуть ли не семидесяти лет от роду. А может, и того больше. Некоторые божатся, будто ему перевалило за сто. На вид кожа да кости, а кожа-то черным-черна — все равно как у тамила какого. Да и весь дядя Хитам черен от макушки до пят: и штаны на нем черные, и рубаха, и головной платок. Волосы и те черны, даром что старик. Посмотришь — вздрогнешь. От лесного жилища дяди Хитама до деревни Бату-Путих, где у него тоже есть дом, где и жены его, и дети, не менее двух дней пути. Отчего он месяцами сидит в этой глухомани — про то всякие слухи ходят.

Жен у него четверо. Это сейчас. А сколько их у него перебывало за долгую его жизнь!.. Говорят, и тут сотня наберется. И женился-то он всякий раз на никем не тронутых, на целочках. Какую деревню в округе ни возьми, в любой повстречаешь его детушек. Он уж, кажется, и сам их всех не упомнит.

Был вроде бы с ним такой случай. Вернулся он в Бату-Путих и видит: какой-то молокосос привольно этак устроился у него в доме. Осерчал тут дядя Хитам и спрашивает:

— Ты кто такой будешь? Ты здесь что, у отца родного, что ли?!

А парень ему в ответ:

— Точно так, это ведь и есть дом моего отца. А матушку мою Хадиджей звать.

Как видно, нарвался на собственного сынка от этой самой Хадиджи.

Может, из-за таких вот случаев и держится дядя Хитам подальше от деревни, предпочитая жить в чаще леса, близ своего поля у Тигрового холма — так зовется это место. Туда он попеременно доставляет своих жен, с которыми, понятно, знакомы и его лесные гости. Самая красивая и самая молоденькая — Сити Рубийях. С нею дядя Хитам делит ложе последние два года. Детей у них, однако, покамест что-то нет.

Глядя на такое, деревенские судачат промеж себя, что, дескать, иссякла мужская сила дяди Хитама. Ведь, бывало, года не пройдет, как зажила с ним новая жена, а уж родила. Санип — так тот вообще уверял, будто дяде Хитаму, чтоб женщину обрюхатить, надо только с ней поздороваться — и порядок. Вот каков он раньше был!

А чего только не толкуют обо всяких таинственных делах дяди Хитама! Это он обучал дядю Катока борьбе и колдовству. Дядя Каток сам говорил.

Парни вроде Сутана, Талиба, Санипа и Буюнга боятся старого Хитама не на шутку, хоть виду и не подают. Ведь сказывают, будто повязан дядя Хитам с дьяволом и со злыми духами, будто исполняет его приказы привидение в образе тигра. И будто ездит он на том тигре, куда ему заблагорассудится, и много-много раз летал на нем по воздуху в Мекку.

Что только ему не подвластно! Слышно, никакое оружие его не берет. В двадцать шестом году, когда поднялось то памятное восстание, попал дядя Хитам к голландцам в плен, и решили его расстрелять. Однако их пули ни малейшего вреда ему не причинили, и дядя Хитам убежал. А есть еще история, как гнались за ним по пятам голландские солдаты и загнали на банановую плантацию. Окружили ее со всех сторон, да так, что и белке оттуда не прошмыгнуть. Начали ту плантацию прочесывать, и вот один голландец замечает дядю Хитама, прижавшегося спиной к банану. Как этот солдатик рванется вперед да как замахнется саблей и хвать дядю Хитама по голове! Да только раскроил не голову, а банановый ствол. Дядя же Хитам сгинул неведомо куда. Обыскались, а так его и не нашли.

Колдовство — вот что выручало дядю Хитама каждый раз, когда надо было спасаться от голландцев.

Как с тем восстанием управились, так дядя Хитам, сказывают, из деревни на время исчез, но вдруг нежданно-негаданно объявился, и было с ним много разного добра. И числят его с той поры среди самых богатых людей в Бату-Путих. Отчего не арестовали его голландцы, когда вернулся, про то никто не знает. Говорят, опять же из-за колдовства.

И все-таки с чего это завелась у дяди Хитама тяга к затворничеству? Всяк по-своему судит. Одни твердят, что вдали от людей исполняет он обет — смиряет грешную плоть, другие — что всему причиной союз дяди Хитама с нечистой силой. Мол, не по нутру такому мирная жизнь в деревне, гонит его прочь, подальше от своего брата крестьянина. Толкуют тоже, будто и доныне якшается дядя Хитам с давнишними сотоварищами-мятежниками, а те будто, укрываясь в чащобах, пустились в разбой да грабеж. И еще говорят про дядю Хитама: устроил-де в лесу потайной золотой прииск и сам со всей работой управляет-

ся, чтоб ни одна живая душа ни о чем не дозналась. Вот и думай-гадай, кто здесь прав.

Но что верно, то верно — Аир-Путих в самом деле протекает невдалеке от Хитамовых лесных владений, и крупицы золота в речном песке попадаются. В пору засухи или в такие дни, когда нужды нет крестьянину пропадать в поле от зари до зари, некоторые не прочь попытать счастья — подняться к верховьям речки и поискать золотишка, промывая песок на лотке. Но работа эта не из легких, да и неблагодарная. Тут все от удачи зависит. Был слух, что вроде кто-то из деревенских нашел самородок с мизинчик величиной, да кто его видел, этот самородок?

Семеро сборщиков всегда стараются вернуться к жилищу дяди Хитама до наступления темноты. Но когда набредают на заросли смолистых деревьев, когда расходятся в разные стороны далеко друг от друга и не успевают добраться до дяди Хитама засветло, тогда ночуют прямо в лесу.

А переночевать в доме у дяди Хитама иной раз даже интересно. Ведь, кроме них, и другие люди, бывает, находят у него приют.

Лесное жилище дяди Хитама покоится на высоких сваях. Спереди просторная длинная веранда. В одном из углов, у окна, дядя Хитам насыпал на пол песку. Разровнял эту кучу, обложил ее досками, укрепил над ней два тагана — вот и кухня. Здесь его жена готовит пищу. С потолка свисают кусочки вяленой оленины и рыбы, стручки красного перца, пучки лука и всякой зелени.

В доме еще две комнаты, отделенные от веранды перегородкой из плетеного бамбука. В одной хозяйская опочивальня, другую дядя Хитам приспособил под склад. Хранятся тут у него и запасы смолы, и охотничье ружье, и много еще такого, о чем одному ему известно. Буюнг однажды заглядывал туда, когда посылали его за Хитамовым ружьем. И видел он в этой комнате, среди разных прочих вещей, два громадных сундука, сработанных из черного дерева, обитых по краям полосками старой, позеленевшей от времени меди. Очень любопытно стало Буюнгу, что там внутри. Да только оба сундука оказались накрепко заперты на железные замки. Насторожился парень: уж не здесь ли то самое золото, о котором ходит столько разговоров? Ну и дурак дядя Хитам, коли прячет свои сокровища у себя же в доме, в лесной хибаре. Ведь прознает о том лихой человек — в два счета ограбит. Но с другой стороны, кто ж на такое дело рискнет?

Когда семеро сборщиков останавливаются на ночлег у дяди Хитама, то спят обычно на веранде, на полу. Та из жен, что находится об эту пору при хозяине, варит для гостей из запасов, ими принесенных, сдобренный приправами рис. Едят они в этом доме с удовольствием — вкусно, никакого сравнения с тем, что готовят сами. Жены дяди Хитама все как на подбор стряпухи отменные. В придачу на его поле изобилие овощей, которыми тоже пробавляются сборщики.

Больше всего любят они вареную кукурузу. Любят полакомиться и бататом или испеченными на горячих древесных углях клубнями маниоки. Что ни день повторяется одно и то же: едва-едва забрезжило, а кто-нибудь — Буюнг или Санип — уже присел перед жаровней, печет на завтрак овощи. По вечерам, когда еще не спится, когда наступает время увлекательных рассказов, сборщики частенько, расположившись поудобнее вокруг тагана, жарят бататы или варят кукурузу. Поесть такого с пылу с жару, запить черным дымящимся кофе — чего еще желать! У человека, чей день прошел в хожденьях по лесу да в трудах праведных, усталость как рукой снимает.

В такие вечера Санип достает свою дудочку, начинает петь и играть. Было дело, пел одну песню — про то, как причитает и убивается молодая жена, от которой муж ушел, — и Буюнг заметил, что Сити Рубийях тихонько утирает слезы.

Сити Рубийях нравится им всем. Еще бы — совсем молодая и такая красавица, что глаз не оторвать. Уж Буюнг — тот наверняка воспылал бы к ней любовью, не будь он без ума от своей Зайтун. Да к тому же Сити Рубийях мужняя жена, и муж-то у нее не какой-нибудь завалящий, а сам дядя Хитам, которого люди страшатся и перед которым трепещут.

Так что никаких таких задних мыслей на ее счет у Буюнга нет. Но все ж таки и он не слепой, не может не видеть, какое стройное и красивое у нее тело, как крепки и округлы ее маленькие груди, не может не засмотреться на ее лицо, на прямой, совсем как у белой женщины, нос и полные, сочные и влажные губы, не может не заглянуть в эти большие и ясные, сияющие глаза. А ее густые черные волосы достают чуть не до колен, и часто видит Буюнг, как распускает она их и как низко падают они вдоль спины, когда работает она в огороде. И если полдень застает ее там, то под жгучими лучами солнца ее губы кажутся еще

краснее, а сама она прекрасна и впрямь ослепительно.

Талиба и Санипа порой прямо-таки распирает от нахлынувших чувств. Когда в лесу те из сборщиков, что помоложе, оказываются рядом, а из старших никого поблизости нет, Талиб, Буюнг или Санип дают себе волю — заводят разговоры о Сити Рубийях и о ее прелестях.

— Эх, подкатился бы я к ней, не будь ее мужем дядя Хитам! — сокрушается Талиб.

— Да уж, — подхватывает Буюнг, — можно было б попробовать, жаль, что замужем.

— Приснилась она мне вчера ночью, — вставляет Санип.

— А видали, какая у нее грудь? Поутру сегодня огонь разводила, и я вместе с ней, вот кусочек и разглядел, когда она над поленьями нагнулась, — сообщает друзьям Буюнг.

— А заметили, Пак Хаджи-то наш! Ух как жадно на нее посматривал! — многозначительно ухмыляется Сутан.

— Пак Хаджи? — изумленно вопрошает Талиб. — Да быть того не может, чтоб завелись у него эти мысли!

— И правда, до того ли ему, старику? — не верится Буюнгу.

Санип снисходительно посмеивается.

— Нет, вы только послушайте этого Буюнга! Ты, парень, небось пословиц не знаешь. Есть одна такая, про кокос — он, говорят, чем старей, тем слаще!

Теперь уж хохочут все.

— Но, скажу я вам, — продолжает Сутан, — хоть Пак Хаджи в ту сторону и глядит, а если кто на нее по-настоящему глаз положил, так это дядя Каток. Как он на нее смотрит, стоит только дяде Хитаму отвернуться, — это ж прямо с ума сойти можно! Ну просто раздевает глазами, и все тут, кажется, съел бы ее живьем. Во мне от одного его вида аж ревность взыграла.

Парни переглядываются.

— И ты, стало быть, туда же, — заключает Санип. — Что у старика, что у молодого — одно на уме. Увидал красивую — и враз обо всем на свете позабыл.

— А я вот нет, — возражает Буюнг. — Чего ж там спорить — красивая, а только у меня к ней нету того, что у вас. Дядю Хитама боюсь.

— Ха-ха-ха! — раздается в ответ. Сутан, Санип и Талиб начинают, хитро перемигиваясь, наперебой подтрунивать над бедным неопытным Буюнгом: — Ты ж у нас парнишка холостой, куда тебе, ты ведь жизни-то еще не отведал, вот

и мелешь что попало. Не поймешь толком, в чем тут дело, а судишь.

— Ладно-ладно, погоди немного, обоймет тебя твоя Зайтун, быстро уразумеешь, что почем, — подбадривает Сутан.

Ух как бросилась кровь в лицо Буюнгу от таких слов! Выходит, даже эти прознали о его безответной любви. А они как завидели, что покраснел парень, так еще пуще залились.

— Нет, с Зайтун лучше бы обождать, пусть-ка Сити Рубийях сперва научит, — резвится Талиб.

Опять покатились со смеху.

И по новой закрутился разговор о том, какова-то Сити Рубийях в постели. Да чего там, так и быть, Сутан на все согласен, можно и не в постели. Это признание встречают, понятное дело, громовым хохотом.

Старикашке Хитаму перемыли все косточки.

— Да за каким ему целых четыре жены понадобились? — не унимается Сутан. — Как есть старый дед, все болячки к нему липнут — ну зачем ему такая молодая жена?

— Да ведь в обычае это у людей, — отвечает Санип. — Чем мужик старше, тем больше его на молоденьких тянет. И бабе старой тоже молодого мужа хочется. Это чтобы годы свои вроде как вспять повернуть, чтоб моложе стать.

— Ай, ну тебя! Думаешь, если этот старый хрен дядя Хитам взял в жены такую, как Сити Рубийях, он что, молодость себе вернет, что ли? Сойдет в могилу раньше, чем на роду ему написано, только и всего, — скалит зубы Сутан.

После этаких бесед стал Буюнг присматриваться к своим друзьям, примечать, как ведут они себя с Сити Рубийях. И точно — понял он, что отношение к ней переменилось. Чересчур старались парни держаться как ни в чем не бывало. А выходило наоборот: то, что в себе таили и скрыть пытались, чуть ли не заметнее становилось. Буюнг забеспокоился даже, как бы дядя Хитам не почуял неладного.

Однако уж несколько месяцев, как дядю Хитама одолевают хвори, и он все реже выбирается из своей спальни. Пак Хаджи, дядя Каток да папаша Балам — вот кто навещает его там. А молодые — те, бывало, заглянут на минутку да и спешат восвояси. Потому как встречи с дядей Хитамом, на которого без дрожи и смотреть нельзя, особой радости им не доставляют.

За последнее время он и вовсе отощал, глаза еще глубже ввалились, в усах и в бороде виднее стала проседь. Но все-таки не заметно, чтоб начал лысеть, и, как ходил дядя Хитам

во всем черном, так и ходит. Вообще хоть и разболелся, а вид у него по-прежнему свирепый и жуткий. Есть в нем что-то, внушающее людям безотчетный страх, и недуг не убил этого свойства. Старик словно тигр, который занемог, но, если его раздразнить, сумеет стремительно броситься на обидчика и растерзать его.

Кроме Сити Рубийях, чье присутствие в доме так и манит сборщиков на ночлег к дяде Хитаму, нет-нет да и встретят они здесь кого-нибудь еще. И до чего же странные люди попадаются им иногда!

Вот раз вернулись из лесу, а в дом, оказывается, еще прежде них шестеро гостей пожаловало. Все в черном, прямо как дядя Хитам, и с большущими тесаками.

Поздороваться друг с другом поздоровались, да только пришельцев этих сборщики не признали. Никогда раньше не видали, чтоб захаживал кто из них к дяде Хитаму. А те, усевшись вместе поодаль, все больше помалкивали. Немного погодя позвали их к хозяину в спальню. Тут Буюнг и заметил при них два каких-то узла, на вид тяжелые.

Из-за тонкой бамбуковой переборки донеслись шушуканья да перешептыванья. Но как ни навострял уши Буюнг, а о чем толковали внутри, не разобрал. Сити Рубийях — и ту не допустили в спальню, пока шел там разговор. Сидела себе перед таганом, варила кашу из бататов.

Задерживаться у дяди Хитама гости не стали. Выйдя от него, коротко простились, пересекли поле и под покровом надвигающейся ночи скрылись в лесу.

Что за люди такие? Куда пошли? Призадумались тут сборщики, но говорить про то вслух поначалу не решились. Даже Сутан приумолк, словно бы после таинственного появления людей в черном стало и ему не по себе. И вот еще что насторожило: заметили — Сити Рубийях сделала вид, будто ничего такого не случилось, будто знать не знает, кто там приходил и уходил. Чуть кивнула на прощанье этим шестерым — и все.

Долго провожал их взглядом Буюнг, смотрел, как в густеющих сумерках идут они полем, как бесследно исчезают один за другим в темных объятиях леса. И почудилось, что не люди то вовсе, что это черная ночь исторгла из себя неведомо какие зловещие тени и заслала их в дом, а потом сама повлекла обратно в чащу.

На другой день Сутан рассказывал: хотел поутру разузнать у Сити Рубийях, что за народ такой, а та ему в ответ: «Лучше бы о том не спрашивать». И молчок.

Совсем тревожно стало на душе у Буюнга, и захотелось ему непременно допытаться, что за всем этим кроется. Стали сообща думать, как бы им эту тайну разгадать.

Сутан и говорит:

— Если опять заявятся сюда при нас, то проследить бы за ними издалека, посмотреть, куда пойдут.

— Дело говоришь, — поддержал Талиб. — А ну как они пещеру сторожат с Хитамовым золотом, а мы возьми да и прознай, где это? Глядишь, и не придется больше надрываться в лесу. Чем смолу таскать, принесем домой кучу золота и будем богачи все как один!

Однако и люди, с которыми хорошо и весело коротать время, тоже им встречались. Помнится, пару месяцев назад, а то и больше заходил к ним сюда на огонек бродячий сказитель и лицедей. Немолодой уже, в летах. При нем барабанчик да свирель. Ремесло это, как видно, было ему не в тягость. Долго уговаривать не пришлось, встал он посреди веранды и повел свой рассказ.

И до чего же здорово у него получалось! А рассказывал-то детскую сказочку. Жил да был один дед, и было у него кукурузное поле, и повздорил он однажды с хитрющим бельчонком.

Не то что заслушались — глаз оторвать от него не могли! Показывает, как ругается дед, как злится, что таскает у него бельчонок из-под носа молодую кукурузу — и вроде уж не лицедей перед ними, а этот самый дед. А потом вдруг сразу обернется бельчонком — этаким махоньким проказником, хочется ему подразнить своего врага, и вот уселся он высоко на дереве, насмехается почем зря над незадачливым дедом да знай уплетает свою добычу. Ну как есть бельчонок, а вовсе никакой не сказитель!

Что и говорить, позабавил на славу, свою награду заслужил. Как закончил, подсобрали для него немного денег. Он было стал упираться, да они уговорили принять.

А еще было дело, забрели поздним вечером старик со взрослым сыном. Шли аж на другой край леса, в деревню Аур-Кунинг. Выбрали короткую дорогу, через горы да через чащу, а к дяде Хитаму попросились на ночлег.

Отужинали, завязался разговор, и вот берет старик Буюнга за руку и говорит:

— Видать, сынок, ты здесь самый молодой. Дай-ка я тебе погадаю.

И принялся он внимательно изучать линии на Буюнговой ладони.

— Выпадет тебе в жизни, сынок, много тяжких испытаний. Поэтому будь терпелив и храбр. — Сказал так, а потом добавил: — Но того, чего сильно жаждешь, ты, сынок, в конце концов добьешься...

При эти словах Сутан хохотнул, следом заулыбались и остальные. А Буюнг покраснел до корней волос, но про себя возликовал: о Зайтун подумал.

— Жить тебе, сынок, до глубокой старости, — изрек прорицатель, — и детей у тебя родится много... Трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро... восемь, девять будет у тебя детей.

Тут, к стыду и досаде побагровевшего Буюнга, опять захихикал Сутан.

— В одном только будь осторожен, — продолжал старик. — Людям, даже лучшим друзьям, сверх меры не доверяйся. Уж такая твоя судьба, предавать тебя будут ближние твои. И еще вот о чем помни: следи, чтоб не было на тебе ничего надето наизнанку, не к добру это. А заработок, сынок, всегда у тебя будет хороший, и будешь ты под старость счастлив.

Когда он таким манером Буюнгу погадал, то и другие стали о том же просить.

Сутану старик наказал, чтобы тот голосу сердца своего слепо не верил, потому как больно он, Сутан, на женщин падок. И пусть всегда хорошенько думает, прежде чем что-нибудь сделать. С людьми, говорит ему, сходишься ты быстро, но и расстаешься уж очень легко. А потом предсказал, что будет Сутан женат шесть раз.

Узнав про такое, Сутан вовсе даже не смутился. Наоборот — прямо просиял от гордости. Однако как-то попритих и побледнел лицом, когда услыхал от старика вот что:

— Ты, человек молодой, берегись. Угрожает тебе в самом скором времени опасность великая. Страсти свои умерь.

Да ведь предупреждение это Сутану, чтоб Сити Рубийях не трогал, подумалось Буюнгу.

А вот с дядей Катоком очень странно получилось.

— Ты уж прости, почтенный, — молвил прорицатель, вглядевшись в обе его ладони, — что-то я ничего не разберу.

— Да ты, отец, никак боишься сказать, что увидел? Не бойся, я смелый.

Посмотрели они друг другу в глаза, потом старик и говорит:

— Тьма какая-то мне открылась, и еще много вижу

красного цвету. А какое значение этого, то мне неведомо.

Рассмеялся дядя Каток, громко рассмеялся, но как-то натужно, словно бы заглушить хотел недоброе предчувствие.

Паку Хаджи и папаше Баламу старик тоже ничего предсказывать не захотел. Отговорился: дескать, непонятно ему, что там у них на ладонях написано.

А Талибу и Санипу велел всегда быть настороже. Беда, мол, за ними неотступно по пятам ходит.

В тот вечер душевные беседы да разговоры с шутками-прибаутками у них, против обычного, не заладились. Неуютно, тяжко стало как-то на веранде, будто спустилось к ним из мглистой бездны, разверзшейся над лесом, что-то зябкое, будто поселилось среди них что-то загадочное и темное, скребущее по человечьим сердцам холодными пальцами.

Видели они в Хитамовом доме и путников, прибывших из чужих краев, наслушались от них о людях, что населяют дальние острова, о тамошней жизни. Один подался было на заработки аж в Новую Каледонию, есть такое владение у французов. Там, говорил, много наших работает, индонезийцев то есть, и по-французски здорово наловчились. Этот вообще чуть не вокруг света обошел, лет двадцать, а то и больше из страны в страну скитался. Есть ему что вспомнить и про Китай, и про Японию. И в Америке-то он побывал, и в Англии, а еще в Голландии, в Германии. В Испании, в Португалии был. Даже в Африку его заносило. До поздней ночи не спали, пока они, с Паком Хаджи в очередь, о своих странствиях вспоминали.

* * *

В перелеске, на краю Хитамова поля, засел дядя Каток. Давно уже поджидал он здесь Сити Рубийях. Знал, что этой вот тропинкой ходит она на речку стирать.

Тишина вокруг. Лишь в небе над полем щебечут птицы, слетевшиеся отведать кукурузы. Спит у себя в доме измученный лихорадкой дядя Хитам. Напарники дяди Катока трудятся об эту пору в лесу, собирают смолу да ротанг.

Послышался звук приближающихся шагов, и дядя Каток встрепенулся. Кто-то ступал босыми ногами по земле. Еще немного — и показалась Сити Рубийях с бельем в руках. Она шла к реке. Пройдя совсем близко от дяди Катока, так близко, что тому пришлось затаить дыхание, она снова исчезла из виду среди зеленых деревьев. Тогда он медленно встал и последовал за ней на почтительном расстоянии. Бес-

шумно войдя в кусты, дядя Каток подполз на четвереньках к самой воде и укрылся в густых прибрежных зарослях.

Взгляд его неотступно следил за каждым движением Сити Рубийях. А она, не подозревая, что рядом кто-то есть, спокойно начала раздеваться. Сняла старенькую кебайю и аккуратно положила на один из больших камней, распахнула кайн — а другого на ней ничего и не было. Дядя Каток ахнуть не успел, как его взору открылась красивая маленькая грудь, а потом и все это нежное, какое-то сияюще смуглое тело. Совершенно нагая, она остановилась у воды, нежась в лучах солнца.

Дух захватило у дяди Катока, чуть не к горлу подступила волна неодолимого желания. Разгорелись глаза — кажется, так и выскочат сейчас из орбит. Наконец-то он наяву видит Сити Рубийях не упрятанной в ее всегдашние скромные одежды, а такой, какая она есть, какой раньше видел только в мыслях. Замер, застыл от напряжения, а сердце бешено стучит, гонит кровь по жилам что есть сил. Чудом взял себя в руки!

А Сити Рубийях, проворно нагнувшись, подхватила и обернула вокруг бедер другой кайн. Потом замочила ворох белья и, усевшись на корточках в воде, занялась стиркой.

Эх, быть бы мне той водой, что вокруг нее плещется, подумалось дяде Катоку. Он, однако, успел прийти в себя, первая вспышка страсти поутихла. И хотя желание жгло его по-прежнему, оно теперь было ему подвластно.

Прошло полчаса. Покончив с остальными вещами, Сити Рубийях сняла тот кайн, что был на ней. Опустившись в воду по пояс, выстирала и его, потом окунулась сама и вышла на берег. Вытершись насухо, снова оделась, собрала белье и направилась было восвояси той же тропинкой, какой пришла. И, застигнутая врасплох, вскрикнула от неожиданности.

— Ой, дядя, напугал! Я уж думала — не медведь ли!

Дядя Каток рассмеялся в ответ — чего, мол, волнуешься по пустякам.

— Да вот курево забыл дома, за ним и вернулся. Как там хозяин?

— По-старому все, не проходит жар у него.

— А знаешь, Сити, у меня ведь гостинец для тебя, бусы. Помнишь, сама просила?

— Ой, дядя, правда? Где ж они?

— Пойди-ка сюда. — И дядя Каток, взяв Сити Рубийях за руку, потянул ее в заросли.

* * *

Уже две недели, как обосновались они у дяди Хитама, как промышляют в лесу. Пора и назад, в деревню, послезавтра утром собираются в путь. Добыча у них богатая, всю за один раз не унести. Поэтому решили оставить коечто покамест у дяди Хитама. Старик обещал переправить с кем-нибудь, кто пойдет в Аир-Джерних.

— Получите свой товар с рук на руки, тогда с ними и расплатитесь, — так сказал.

А хворь-то его, видать, все злее. Жар совсем одолел, глаза кровью налиты, красные-прекрасные, лицом страшен хуже прежнего. Поминутно кличет Сити Рубийях, пить просит. Велит ей, чтоб отвар ему варила из целебных трав да корешков, изо всяких листьев и коры древесной.

Попробовал как-то и Буюнг того пойла. Отхлебнул из горшка, что на тагане стоял, — и мигом эту гадость в окно выплюнул. Вот была потеха! Сити Рубийях и та не удержалась, залилась смехом. И стоило Буюнгу услышать этот чистый смех, увидеть блеск в ее глазах и улыбку на лице, как он о той проклятой горечи и думать забыл. Ведь смеется-то Сити Рубийях нечасто, и понятно Буюнгу почему. При муже своем, при старике этом, она все равно что на привязи. Держит ее в лесной глухомани, неделями других людей не видит. Да разве ж это жизнь для молодицы вроде Сити Рубийях? Ей-то, поди, страсть как хочется и посудачить, и посекретничать с подружками. Суров, однако, дядя Хитам, ох суров!

Как пришли к нему, так в первый же день смастерил Буюнг ловушку из толстых веток и сучьев. Положил внутрь кукурузный початок и поставил ее на самом краю поля, вблизи леса. Канчиля поймать задумал, видел в том месте его следы. Попадется канчиль, большой или маленький, захвачу тогда его в деревню, Зайтун подарю — вот что было у него на уме. Каждый день, перед тем как в лес отправиться на промысел, успевал посмотреть, не поймал ли кого, да новую приманку положить, коли есть в том нужда. Потому как попадались уже в его западню белки. И всегда-то Буюнг их на волю отпускал, хотя, конечно, вреда от них крестьянину много. Но только неохота ему убивать зверьков ни за что ни про что, и все тут. Жалко их — маленькие такие, смешные. Другой раз вспомнит ту сказочку про бельчонка да про жадного деда и улыбнется. Ясное дело, бельчонок — вот кто там настоящий герой.

А ловушку свою не только по утрам — и по вечерам проверяет, по пути из лесу.

* * *

Много тропинок и дорожек, уходящих в глубь леса и поднимающихся высоко в горы, берет начало у Хитамова поля. Одна, длиною в каких-нибудь полкилометра, приводит прямо к Аир-Путих, к ее песчаному берегу, кое-где усыпанному галькой, к могучим валунам, выступающим из воды.

Другая тянется к северу. Этой-то дорогой обычно и возвращаются к себе в деревню сборщики смолы. Протоптанная вдоль реки, она лишь изредка, словно бы для удобства путника, отклоняется в сторону.

А если пойти на юг, сквозь лесную чащу, и перевалить через гору, то выйдешь к другой деревне — Бату-Путих, той самой, откуда дядя Хитам. Ходу до нее примерно дня два, но, бывает, и все три. Уж больно узенькая, ну прямо чуть заметная тропка ведет туда. Человеку неопытному, плохо знающему, что такое джунгли, недолго и заблудиться на этом нехоженом пути. Того и гляди, зарастет та тропинка и сомкнутся над нею ветви деревьев да кусты. Вот и приходится расчищать себе проход, то и дело орудуя тесаком.

На берег Аир-Путих сборщики приходят частенько — любят искупаться. Бредут под вечер из лесу — да на речку и завернут. И Сити Рубийях тоже — то купается здесь, то стирает, а то по воду придет, хоть рядом с домом и вырыт колодец. Только ей больше нравится вода речная — чистая, проточная. Носит ее в длинных узких табунгах, за один раз четыре таких может унести.

Иногда, повстречав с утра пораньше Сити Рубийях и увидев, что собралась она по воду, Буюнг сходит с ней к реке и поможет дотащить ношу. И всякий-то раз, к немалой его досаде, попадется им в зарослях Сутан.

Послушать Санипа, так получается, что Буюнг задумал окрутить Сити Рубийях. Но ведь это Сутан, а не Буюнг торчит в воде и не вылезает на берег дольше остальных, когда приходит выкупаться вместе с друзьями, — все выжидает, не появится ли Сити Рубийях.

Перед тем как отправляться им в обратную дорогу, случилось вот что. Где-то около полудня понадобилось Буюнгу сбегать из лесу в дом, за корзиной для смолы. Двинулся он кратчайшим путем, вышел к реке и видит: в волнах плещется Сити Рубийях, да так увлеклась, что ничего и никого вокруг

не замечает. Тут он шаг убавил, тише стал ступать. А Сити Рубиййях-то, оказывается, мальков руками ловить пыталась. Сложит ладони наподобие чашечки и опустит их тихонько под воду. Подождет, пока мальки внутрь заплывут, а потом резко так поднимает руки кверху. Но куда там — рыбешки хоть и маленькие, а шустрые, стремглав разлетаются в разные стороны, не дают себя обхитрить. Сити Рубиййях для виду рассердится, шлеп ладошкой по воде раз-другой. Но потом опять принимается за свое — устраивает малькам новую западню из собственных ладоней.

Блики, отраженные речной рябью, причудливо играли на загорелом лице Сити Рубиййях. Казалось, от нее самой исходит какое-то сияние, а густые волосы, жадно вбирая солнце, становятся еще чернее, и горят в них во множестве крохотные блестки. И всю Сити Рубиййях — ее лицо, плечи, грудь — щедро омывают и яркий свет, и густые тени. Как зачарованный, не в силах оторваться, смотрел на нее Буюнг.

Надоест ей гонять рыбок — начинает тихонько что-нибудь напевать. Сладко поет, только песни у нее грустные, тоскливые...

Должно быть, слишком уж пристально смотрел на нее Буюнг. Сити Рубиййях вдруг вскинула голову и огляделась по сторонам. Но, завидев его на берегу под деревом, сразу успокоилась. Тревога, мелькнувшая было в глазах, пропала. Радостно улыбнулась, окликнула его по имени:

— А, Буюнг! Ты как здесь?

Тут смущенный Буюнг по обыкновению залился краской. Зато, глядя на Сити Рубиййях, вовсе нельзя было сказать, что его нежданное появление ей неприятно.

А Буюнг между тем затрепетал от нахлынувших на него незнакомых чувств. Так и потянуло к Сити Рубиййях, захотелось приблизиться к ней, прикоснуться, обнять, но отчего-то было и страшно. И какие только страхи не проснулись сейчас в душе у Буюнга! Страшно ощущать в себе это неослабевающее чувство. Жутко при одной мысли о дяде Хитаме. И самой Сити Рубиййях он тоже боится. Узнает, что влечет его к ней, — рассердится и уж, наверное, никогда больше не улыбнется ему так, как теперь. И еще одного страшится он — впасть во грех. Запрещает ведь истинная вера потакать таким чувствам.

Так-то оно так, а побороть их Буюнг все-таки не мог. Будто полонила и тело, и душу его какая-то неодолимая сила и без следа изгнала прочь и любовь к Зайтун, и ужас перед дядей Хитамом, и страх перед Всевышним, и боязнь,

что переменится к нему, к Буюнгу, Сити Рубийях, и трепет перед непонятным и могучим чувством, пробуждавшимся в нем.

Вошел в реку Буюнг, приблизился к Сити Рубийях. А она, сидя в воде и оборотив к нему лицо, засмеялась:

— Хочу мальков поймать, а они врассыпную. Смотри какие — и откуда только знают, что вытащат их из воды, если в руки попадутся?

Стоя в полный рост и глядя на нее сверху вниз, Буюнг видел прямо перед собой полуприкрытые груди и выемку между ними, алые губы и жемчужинки воды в волосах.

— А я вот за корзиной иду. Смолы много набрали, — выдавил он из себя каким-то чужим голосом.

Сказал — иду, мол, а ноги так и приросли к тому месту, где стоял. И начисто вылетело из головы, куда и зачем пошел.

— Дай-ка помогу тебе, поймаем сейчас твоих мальков.

С этими словами нагнулся он к воде. Совсем близко оказались они друг от друга, но она и не подумала отодвинуться подальше. И переполнила тут радость Буюнга, и до того хорошо было ему рядом с Сити Рубийях, что он и вовсе позабыл про Зайтун. Да и потом, что у них такого было? Ровесники они с Зайтун, вот и подружился с ней Буюнг...

Как принялись они вдвоем гонять рыбок, так Буюнг счет времени потерял. А Сити Рубийях много успела ему о себе порассказать. Говорила, что это отец с матерью принудили ее за дядю Хитама пойти. Не было на то ее воли, да они заставили. От горя чуть руки на себя не наложила, но потом покорилась-таки наказу родительскому. Привыкла отца с матерью почитать, гнева их убоялась. А вышла за дядю Хитама, и белый свет стал не мил. Всегда-то хотелось ей жить у себя в деревне, с подружками по соседству, с такими же, как сама. И вот, как нарочно, уже который месяц дядя Хитам изо всех своих жен одну ее в лес уводит, на это самое поле. А другие остаются в деревне и горя не знают.

И как же ей здесь скучно! Коротать дни вдвоем с дядей Хитамом в глухом лесу — тоска смертная. Призналась, что боится она его. За одним только и женился на ней: думает век свой продлить, как-то так сделать, чтоб молодость ее к нему перешла. Говорила, а по лицу видно было, как опостылел ей дядя Хитам. И такой беспомощной показалась она Буюнгу, что у него от жалости сердце защемило. Да и как не пожалеть ее, бедную. Отдали молодую древнему деду, ее не спросясь, а тот свою жену в лес жить утащил. Заску-

чаешь тут, потянет к подружкам да к одногодкам.

Ни за что бы не ушел отсюда Буюнг, не расстался бы с Сити Рубийях, да вспомнил наконец, что пора бы и дело делать. И как ни сладостно было ему снова и снова заговаривать с нею, а ничего не поделаешь — пришлось поспешать в дом за корзиной.

Поднялся на веранду и слышит — дядя Хитам зовет:

— Кто здесь? — спрашивает.

— Я это, дядя, Буюнг, — отвечает тот нехотя. — За корзиной пришел. Много смолы набрали, нести не в чем.

— Пойди-ка сюда. Сити Рубийях где?

Струхнул тут парень. Неужто, думает, успел проведать старик про то, как он, Буюнг, только что говорил у реки с его женой? Сами собой вспомнились притчи о могуществе дяди Хитама. А ну как и правда может он вмиг узнавать о делах, творящихся вдалеке, там, где его нет? Буюнг, однако, прошептал заклинание, ограждающее от порчи, которому научил его дядя Каток, и, приободрившись, вступил в хозяйскую спальню.

Дядя Хитам лежал на тюфяке, укрытый толстым черным одеялом, на голове — теплая шерстяная шапка в красную, белую и черную полоску. Когда Буюнг вошел, дядя Хитам застонал. Видно, опять у него жар.

— Ох! Дал бы ты мне напиться, Буюнг.

Услыхав слабый, прерывающийся голос, увидав, как плох дядя Хитам, Буюнг успокоился и осмелел. Взял чайник, стоявший поодаль, налил в кружку чаю, протянул больному. Дядя Хитам попробовал было сесть, да сил не хватило. Буюнг его приподнял, одной рукой поддержал за плечи, другой поднес кружку ко рту. Дядя Хитам ухватился за нее обеими руками. Всего его била дрожь, руки тряслись. Расплескал бы чай, если бы не Буюнг, сам напоивший его.

Пил дядя Хитам жадно, потом опять повалился на тюфяк. Красной тряпкой, лежавшей в головах, Буюнг утер у него со лба обильный пот.

— Так-то вот, состаришься, немощи одолеют, а и присмотреть за тобой некому, — посетовал дядя Хитам. — И куда это Сити Рубийях подевалась?

— На реке она, стирает, — объяснил Буюнг.

Тут дядя Хитам заохал, ненадолго забылся, а очнувшись, снова принялся причитать, жаловаться на горькую свою долю.

— Пропадает на реке, будто делать больше нечего. Видишь, Буюнг, каково старому да больному. Жена и та о тебе

не позаботится, а уж дети или другая какая родня и подавно. Ждут не дождутся, бога молят, чтоб только прибрал тебя поскорей, а им бы добро твое кровное поделить да растащить.

Помолчал немного.

— Что молодая жена, что старая — все одно, не станет она по совести за тобой ходить.

Сказал и опять затих. Потом посмотрел на Буюнга и говорит:

— Ладно, ступай, работать тебе пора.

Как отпустил его дядя Хитам, так сразу полегчало Буюнгу. Может, малость и поторопился он уйти, да только невмоготу ему стало в духоте и темени, в комнатушке этой, где трясся в лихорадке дядя Хитам. Уж такой она показалась ему тесной, такой стоял в ней спертый и тяжелый дух, так все здесь пропиталось смрадом болезни, что под конец Буюнг чуть не задохнулся. Вышел из дому, и до чего же свежим показался ему хлынувший в легкие знойный полуденный воздух.

На обратном пути еще раз попалась ему Сити Рубийях. Возвращалась с реки. Едва завидела его — заулыбалась, и вроде как-то по-особенному, точно и впрямь сблизила их та встреча на берегу. Буюнга это отнюдь не огорчило.

Передал он ей, чтобы не мешкала — дядя Хитам, дескать, зовет ее не дозовется, да и жар у него, похоже, усиливается.

Сити Рубийях пошла своей дорогой, а Буюнг припустил назад в лес. И не слышал ни перестука дятлов, ни другого лесного шума — без конца думал о том, как же повезло ему увидеться с нею, — пока не раздался откуда-то голос Талиба, с которым Буюнг работал в тот день на пару:

— Ишь как развеселился — поет во все горло!

Вот, стало быть, до чего размечтался Буюнг — не заметил, как запел, как добрался до тех мест, где промышляли с Талибом. А у того наготове вопрос, на который не знаешь, что и отвечать:

— Тебя где столько времени носит?

И вдруг ответ сам собой подвернулся:

— Да с той ловушкой возился, что на канчиля поставил. Чинить пришлось.

Соврал и испугался, что не поверит Талиб, если глянет ему в лицо. Но Талибу было уже не до того. Взялся опять за работу и отвернулся в другую сторону.

— Эх, хорошо-то как! Скоро домой, в деревню. Больно долго...

Талиб осекся на полуслове и, задрав голову, начал что-то высматривать в небесах. А там, прямо над зарослями смолистых деревьев, кружила стая из шести птиц — вороны. Слышно было их карканье.

Заволновался Талиб, имя божие помянул и говорит:

— Дурной знак, ох, дурной! Охрани нас бог от всяких бед и напастей на обратном пути.

— Брось ты, глупая это примета, — отвечает ему Буюнг. — И потом, вспомни-ка — в лесу же мы, не в деревне.

А Талиб все твердит свое:

— В деревне-то, когда над домом воронье летает, а в доме больной, к чему это? К покойнику, вот к чему.

— И я ведь тебе про то же, — втолковывает ему Буюнг. — Вороны эти самые где живут? В лесу, а в деревню только иногда залетают. Вот и получается, что одно дело — там их увидать, и совсем другое — здесь.

— Хорошо, коли так, — только и вымолвил Талиб. В тот день они к дяде Хитаму возвратились раньше обычного — добычу свою лесную укладывать да провизией запасаться перед дальней дорогой..

Глава III

К рассвету они уже были на ногах. Сити Рубийях тоже встала, сварила им кофе, приготовила позавтракать.

С тяжелым чувством собирался в путь Буюнг — думал, как-то будет ей здесь одной с больным дядей Хитамом. У того прошедшей ночью опять поднялся жар. Старик все никак не мог заснуть. Слышно было, как он беспрерывно стонал, как беспокойно ворочался на своем тюфяке, а Сити Рубийях то и дело подавала ему напиться.

Острую жалость к ней — вот что испытывал сейчас Буюнг. А остальные? Может, и у них нелегко на душе? Он оглядел своих спутников. Пак Хаджи по обыкновению спокоен. У папаши Балама его всегдашний вид. Силой и твердостью веет от дяди Катока. Все как обычно. А Талиб, Сутан и Санип — так те, судя по их лицам, вообще довольны. Рады, что уходят домой, что совсем скоро вернутся к женам и детишкам.

А Буюнгу как раз и не хватало того радостного нетерпения, которое, бывало, охватывало его в такие вот утренние часы, когда близится к концу неделями длившийся лесной промысел и пора отправляться назад в деревню.

Всякие вопросы приходили ему на ум. А ну как помрет дядя Хитам, когда они уйдут? Как быть тогда Сити Рубиййях, кого о помощи просить? Одна-одинешенька в глухом лесу рядом с мужниным трупом — вот страху-то натерпится! А еще не ровен час, заявится сюда какая-нибудь нечисть, начнет воду мутить — даром, что ли, эти слухи, будто повязан с нею дядя Хитам, будто колдун он?

Даже мысль о том, что предстоит ему встреча с Зайтун, и та не веселила Буюнга.

Но и другое он тоже понимал. Ничем-то он по-настоящему облегчить участь Сити Рубиййях не может, нельзя ему оставаться здесь. Теперь его дело — вместе с друзьями нести в деревню свою добычу.

Хотелось ему поговорить напоследок с Сити Рубиййях, да все не получалось. Только когда пошли к дяде Хитаму — спасибо ему сказать да попрощаться, он нарочно товарищей вперед пропустил и улучил минутку, чтобы с ней словом-другим перемолвиться.

— Видишь, Рубиййях, уходим сегодня. Ты уж себя побереги. Бог милостив, может, и поправится скоро дядя Хитам.

А Сити Рубиййях только посмотрела на него долгим взглядом, и глаза ее отчаянно молили: «Помоги, сделай что-нибудь!» Замер под этим взглядом Буюнг, и подумалось: вот сейчас скажет она ему что-то. И слова у нее были, кажется, уже наготове — еще немного, и сорвались бы с губ. Но тут раздались шаги сборщиков, выходивших от дяди Хитама, и Сити Рубиййях промолчала. Взор ее сразу потух, она почти не скрывала досады, но все-таки чувствовалось: не сказав того, что должна была сказать, она готова теперь безропотно покориться своей участи. Что ж делать, значит, не судьба, значит, сам Всевышний удержал ее от тех слов. А вдруг ее жизнь пошла бы иначе, произнеси она их? Или, может, именно из-за того, что не вымолвила она вот этих слов, и случится то, чему суждено случиться?

В жизни каждого человека бывают решительные, исполненные непостижимого значения моменты, когда надо сделать выбор, от которого зависит, познаешь ты полную меру счастья или низвергнет тебя в пропасти унижения, будешь ты благословлять это мгновение или горько сожалеть о нем до конца дней своих.

Похоже, именно такой момент только что вместе пережили Буюнг и Сити Рубиййях. Но вот он прошел, и оба это поняли — пусть и смутно. Каждому из них этот миг доста-

вил и облегчение, и разочарование одновременно. Он развел их в противоположные стороны, но он же и подтолкнул их друг к другу. Образовалась словно бы какая-то тонкая, невидимая нить, связующая их души. Происшествия такого рода, занимая считанные секунды, способны оставлять после себя глубокие следы и неразрешимые вопросы, запоминаться на долгие годы, если не навсегда.

Сити Рубийях отвела глаза и направилась к тагану, будто бы затем, чтобы поправить поленья в очаге. А Буюнг проследовал в спальню к дяде Хитаму — поблагодарить и проститься. Навстречу ему шли остальные, столкнулся с ними в дверях.

Внутри по-прежнему было темно, в лампе, заправленной пальмовым маслом, едва мерцал огонек. Освоившись и разглядев лежащего хозяина, Буюнг приблизился к нему. Присел перед ним и, взяв его ладонь в свою, произнес:

— До свидания, дядя Хитам. Спасибо вам большое за приют, за ночлег.

Дядя Хитам лишь тяжело вздохнул и еле шевельнул пальцами. С неприятным чувством выпустил Буюнг его руку, выпрямился и быстро повернулся к двери. Не хотелось ему видеть, до чего одряхлел некогда сильный человек, как истощила его злая болезнь. Вон во что превратился — развалина из костей и мяса. Стыдно показалось Буюнгу стоять рядом, будто похваляясь перед немощным своей молодостью и здоровьем. Потому и заспешил прочь из этой комнаты.

Когда вышел на веранду, то оказалось, что товарищи его уже идут полем, неся за плечами большие корзины со смолой и провизией. А Сити Рубийях все так же сидела подле тагана. Повинуясь безотчетному порыву, Буюнг шагнул к ней, протянул руку.

Сити Рубийях крепко сжала ее своей сильной и мягкой рукой — не то что изможденный дядя Хитам. Жаркое биение жизни было в этом пожатии. И еще — упорный, настойчивый зов крови. Они обменялись взглядами, и Буюнг понял, что никаких слов не надо. Он увидел, как в глазах Сити Рубийях отразилось то, что сказали его собственные глаза. А сказали они, что Буюнг всем сердцем жалеет ее и хочет ей помочь. Пусть только позовет, когда придет время.

Потом Буюнг отошел на другой конец веранды, где, загодя приготовленная, стояла его корзина, ловко перебросил лямку через плечо и взгромоздил на себя эту ношу. Поправил висевший на боку тесак, проверил, не забыл ли заткнуть за пояс кинжал. Взглянул на стену — туда, где обычно висе-

ло ружье дяди Катока. Но там было пусто. Стало быть, сам дядя Каток и забрал.

Еще раз посмотрел в сторону Сити Рубийях. Та попрежнему не сходила со своего места. Сейчас она сидела к нему спиной.

Он немного помешкал, колеблясь — то ли подойти к ней еще раз, то ли без промедленья трогаться в путь. Но подумал, что они уже попрощались, и молча спустился по лестнице вниз.

Тем временем его друзья пересекли поле. Видя издалека, как они входят в лес, Буюнг поторопился нагнать их.

Не прошло, однако, и получаса, как вспомнил он о ловушке, что ставил на канчиля.

— Эх, забыл с утра проверить, не попался ли кто, — огорченно сказал он Сутану, шедшему впереди.

— Ну так ступай и посмотри, — отозвался Сутан. — Жалко будет, если и вправду кто есть.

— Больно далеко уже, лень возвращаться.

— Да ты, брат, и точно лентяй. Какое там далеко — считай полчаса всего, как вышли. Ставь-ка корзину вот тут, в сторонке, никто ее здесь не тронет, и дуй себе налегке. А потом следом за нами, к вечеру на привале и встретимся.

— А-а, чего там... — Буюнг все прикидывал, стоит ли мотаться туда-сюда.

— Сам подумай — вдруг поймался канчиль, а ты его не заберешь. Он ведь и помереть с голоду может, — вмешался в разговор Талиб. — Грех на душу берешь.

Этот довод положил конец сомнениям Буюнга. Он решил возвратиться.

— Ладно, уговорили. Схожу посмотрю, что там и как. А вы идите себе спокойно, я догоню.

Освободившись от лямки и опустив наземь тяжелую корзину, он спрятал ее в кустах под большим деревом, неподалеку от тропинки, и двинулся назад к Хитамову полю.

Как было бы хорошо поймать канчиля, думалось ему. Вот был бы подарок для Зайтун, она о таком давно мечтает. Да и Ранчак, сестренка ее, еще больше бы к Буюнгу привязалась, принеси он канчиля для Зайтун.

Заплатят ему за смолу, что набрал в этот раз, и купит он тогда... А правда, что он купит, как выручку свою употребит?

К деньгам, какие копятся у него на охотничье ружье, прибавит серебряный ринггит. Взаймы ни у кого не брал, и хорошо — значит, и долгов отдавать некому. А купит он вот что — новый молитвенный коврик для матушки. Клет-

чатый, красного цвета — того самого, который она так любит. То-то порадуется! А что еще?

Часть заработка отдаст матушке для всяких домашних нужд. Так уж повелось у него с тех пор, как стал на промысел ходить. Хотя матушка и возражает. Ни к чему это, говорит. Ты здесь не у чужих, не постоялец, чтоб за угощенье платить. Хватит нам пока и того, что отец твой в дом приносит. А Буюнг ей в ответ: мое, мол, дело отдать, а ты уж выручкой этой распоряжайся как знаешь.

Еще надо бы отложить денег, чтоб приодеться. Чтобы, когда наступит великий праздник лебаран, быть во всем новом. Перво-наперво справит себе Буюнг нарядную рубашку из желтого шелку, с широкими рукавами и со стоячим воротом. Потом другими обновами обзаведется. Купит черную бархатную шапочку-пичи и пару сандалий из настоящей кожи. И обязательно таких, чтоб был на них узор из блестящих белых заклепочек.

И пусть деньги эти у матушки хранятся — целее будут.

Треск ломающихся веток и сучьев, раздавшийся в ближних зарослях, живо вернул на землю размечтавшегося Буюнга. Ухватившись за рукоятку тесака, он застыл как вкопанный. Кусты заволновались, оттуда выскочил крупный кабан. Он перемахнул через тропинку, не заметив Буюнга, напряженно затаившегося и приготовившегося в случае нападения отскочить в сторону.

Кабан скрылся из виду, а Буюнг будто очнулся и вспомнил, что находится в лесу, заново ощутил, что со всех сторон окружен деревьями. На черную землю косо падали стрелы солнечных лучей, пробивавшиеся сквозь плотный лиственный шатер. Здесь, внизу, они образовывали островки света и тени, чье чередование и поминутно меняющиеся контуры ласкали взор.

Буюнг опять слышал множество звуков, и стрекотанье кузнечиков вместе с сонмищами других насекомых, и гулкие вопли орангутанга, доносившиеся из чащи. Он различал и резкий стук дятла, выискивавшего личинок и гусениц в древесной коре, и мелодичное, похожее на трели кукареканье лесных петухов. Видел бабочек, порхающих на солнце, видел пестрых — зеленых, желтых, красных — птиц, снующих высоко среди ветвей.

Он вновь почувствовал, как прохладен и чист по утрам лесной воздух. Кажется, всякий раз, вбирая его в себя, впускаешь в легкие и сердце какое-то целительное снадобье, которое перетекает в кровь и ускоряет ее ток, укрепляет костяк

и мускулы, наполняет бодростью тело и душу. Все вокруг — лес с его стволами, кронами и корневищами, множество крохотных букашек, дикие звери, чье присутствие незримо, но явственно, небесный свод над зеленым пологом джунглей, скорее угадываемый, чем различимый из-под листвы, солнце в небесах и ветерок, налетавший порывами, — все дышало, жило, и, чувствуя это, Буюнг острее ощущал жизнь и в природе, и в себе самом. Как хорошо было ему сейчас! Сам того не замечая, он насвистывал на ходу, подражая голосам птиц.

Радость его стала и вовсе безмерной, когда, выйдя к Хитамову полю и достигнув того места, где поставил ловушку, он обнаружил в ней долгожданную добычу. Маленький канчиль, завидев поблизости человека, заметался в своей узенькой темнице.

До чего же милый! Разглядывая его, Буюнг вспомнил слышанные в детстве матушкины сказки о канчиле. Стройные ножки. Ушки изящные и остренькие. Влажные глаза так и светятся. Поблескивают черные, мокрые ноздри.

Нарезав веток молодых, гибких деревьев, росших на опушке, Буюнг быстро сплел то ли клетку, то ли корзинку. Нарвав сухой травы, выстлал ею дно и уложил внутрь своего канчиля. Тот, бедный, не на шутку разволновался. Задышал часто-часто, грудка и брюшко так и заходили ходуном. Всем телом задрожал, вырваться пытался из рук напугавшего его человека. Стал тогда Буюнг ласково разговаривать с ним, успокаивать.

Собрал свежих листьев и травки, тоже положил в корзинку. Плотно закрыл и уж двинулся было с нею в обратный путь. Но попридержал шаг, оглянулся на высокий дом посреди лесного поля. Зайти бы туда, повидать еще раз Сити Рубийях. Однако, вспомнив про дядю Хитама, Буюнг зашагал своей дорогой. Немного погодя мелькнула другая мысль: а не напоить ли канчиля? И Буюнг свернул лесом к реке.

Подошел к берегу и замер от неожиданности — увидел Сити Рубийях. Похоже, она только что искупалась. Сидела одетая на валуне, расчесывала волосы. Вроде обычное дело. Но, глядя на ее движения, Буюнг подумал, что, наверное, ее сейчас одолевает тоска. Время от времени рука, скользившая по распущенным волосам, замирала, и Сити Рубийях как бы цепенела в задумчивости. Смотрела прямо перед собой, не отрываясь, на текучие воды. Глаза широко раскрыты, а со стороны кажется, будто и не видят ничего вовсе.

Щемящее чувство собственной заброшенности, исходившее от женщины, одиноко сидевшей у берега лесной речушки, передалось и Буюнгу. Подойди к ней, нарушь это мучительное одиночество! — застучало у него в сердце и отдалось во всем его существе. Не долго думая, он вышел из-за скрывавших его деревьев.

— Ты что здесь одна, Рубиййях? О чем задумалась?

Целиком поглощенная своими мыслями, Сити Рубиййях вздрогнула, как при внезапном пробуждении. Приподнявшись с камня, резко оглянулась на говорившего. Лицо ее выражало неподдельный испуг. Но лишь до тех пор, пока она не увидела Буюнга. А увидев, преобразилась. На губах заиграла улыбка, ожили и заблестели потухшие было глаза.

— А я-то напугалась!

Взволнованная, она сомкнула руки, прижала их к груди. При звуках ее голоса, при виде этого жеста словно бы струна запела в душе у Буюнга. Сити Рубиййях встала, подошла к нему по воде, взяла за руку.

— Так ты вернулся?.. — И быстро поняла, отчего он здесь, заметив у него корзинку и услыхав его ответ:

— Да вот, вернулся... Вспомнил дорогой — ставил ведь ловушку на канчиля, а проверить, попался кто или нет, забыл. Пришел назад, а он и вправду там. — И Буюнг поднял корзинку, чтобы Сити Рубиййях получше рассмотрела канчиля.

Та даже вскрикнула тихонько от радости, просунула пальцы между прутьев. Канчиль стал было увертываться, мотать головой, но в конце концов притих, дал себя погладить и только тревожно следил за Сити Рубиййях своими круглыми глазами.

Отойдя немного в глубь леса, Буюнг поставил корзинку в тени большого дерева. Они присели рядом.

— Хорошенький какой, тоненький, прямо прелесть! — не могла нарадоваться Сити Рубиййях. — Кому его несешь?

Буюнг глядел на нее, одолеваемый сомнениями. Ответить бы, что есть у него в Аир-Джерних любимая по имени Зайтун, что это подарок ей. Можно и так, но захотелось вдруг, набравшись смелости, сказать: «Если нравится тебе, пусть будет твой».

— Не знаю пока кому. — Откуда взялись эти слова? Буюнг и сам не понял, почему он их произнес. И, желая подбодрить Сити Рубиййях, добавил: — Видел я, как ты на камне сидела. Не надо бы тебе сильно задумываться. Нехорошо подолгу печалям предаваться.

Стоило Буюнгу завести такие речи, как веселость Сити Рубийях пропала и канчиль перестал занимать ее. Опять вспомнилось то тягостное, тревожное, что не давало покоя и бередило душу. Склонившись к земле, она машинально рыхлила ее растопыренными пальцами. Потом заговорила:

— Что же мне делать, как не печалиться? Живу одна с дядей Хитамом. Ему уже на ноги не встать, ему чем дальше, тем хуже. А я... — Она запнулась и замолчала. Посмотрела на Буюнга.

— Ну и что же ты? — Очень хотелось знать, что с ней, поддержать ее.

— Мне об этом и заикаться-то стыдно, да только кому я здесь еще пожалуюсь, кроме тебя? Ведь как ты всегда добр ко мне, — снова заговорила она, глядя с такой доверчивостью и мольбой, что Буюнг сразу почувствовал себя старше — не юношей, а настоящим мужчиной, которому достанет сил выручить из беды ни в чем не повинную, беззащитную женщину.

— Говори же, — настаивал он, — я тебе помогу.

— Понимаешь, с того дня, как занемог он, совсем не стало от него житья. Чуть я на порог, сразу велит... — она помедлила, зарделась, — велит, чтоб раздевалась донага, чтоб все с себя снимала до последней нитки, ложилась бы с ним и обнимала его. Это, говорит, чтоб здоровье мое в него вселилось да хворь перебороло. Нет больше сил моих. Каждый раз, как заставляет он меня это делать, тяжелее мне становится. Тоска гложет, страшно. Спаси — убежать хочу отсюда, хочу к себе в деревню. Отвел бы ты меня туда или еще куда-нибудь. Не могу дальше терпеть, всю измучил. Это ведь болен он сейчас... А уж когда здоров... Тогда еще злей мучит. Никакой он не человек, зверь зверем, дьявол он, вот кто. Тебе и в голову не придет, как он надо мной измывается. И над другими женами тоже — от них самих слыхала... — И, позабыв в порыве гнева и обиды о стыдливости, Сити Рубийях сбросила кебайю, повернулась к Буюнгу спиной, и он увидел множество кровоточащих ссадин, как будто кто-то охаживал ее кнутом, впивался зубами, щипал и царапал, раздирая кожу чуть не до мяса. Когда же она стала к нему лицом, Буюнг и вовсе ужаснулся. Вся ее грудь была в шрамах от заживших укусов.

Быстро прикрыв наготу, Сити Рубийях поникла головой. Из глаз брызнули слезы. Она заплакала навзрыд, а Буюнг на какое-то время растерялся. Он был прямо-таки потрясен зрелищем, которое только что предстало его глазам. Полу-

чается, все эти жуткие истории о дяде Хитаме — правда. Сама Сити Рубийях, его молодая жена, может рассказать и яснее ясного доказать, что это так.

Всего, что происходило между дядей Хитамом и Сити Рубийях, Буюнгу было пока не понять. Но что она глубоко несчастна — это уж точно. А еще стало ясно, почему дядя Хитам взял за правило водить жен на это отдаленное поле. Попробовал бы вытворять такое в деревне! Соседи бы уж непременно подняли шум.

— Только я тебя прошу — не передавай ты никому того, что я рассказала. Дядя Хитам грозился: смотри, мол, посмеешь открыть кому мои тайны — несдобровать тебе. Узнает — отравит меня, а может, заворожит как-нибудь. Умру тогда или с ума сойду. Ох, боюсь его, мести колдовской его боюсь!

При этих словах Буюнг как-то оробел и усомнился — а хватит ли у него храбрости, чтобы защитить Сити Рубийях от зверств дяди Хитама, от его дьявольских козней? Кто он, Буюнг, такой, чтобы тягаться с всеведущим колдуном? Самую малость поднабрался от дяди Катока — и все. А тот разве не говорил, что обучал-то его дядя Хитам? Так где же Буюнгу — ученику ученика — справиться с учителем учителя?

Однако, взглянув на сидевшую перед ним на корточках, сгорбившуюся Сити Рубийях, он подумал, что без борьбы не сдастся. Потянулся к ней, обнял за плечи. Сити Рубийях уронила голову ему на колени, а Буюнг, утирая ей слезы, повторял:

— Тише, тише, Рубийях, не плачь, успокойся.

Сжав сначала пальцы Буюнга, обхватив потом его руками и уткнувшись головой ему в живот, Сити Рубийях взмолилась:

— Спаси меня! Никто мне помочь не хочет — один ты. На кого мне еще надеяться?

Буюнг снова ощутил себя настоящим, сильным мужчиной.

— Помогу я тебе, Рубийях, — пообещал он, раздумывая и прикидывая, как же это сделать. Забрать бы ее сейчас отсюда, и пусть уйдет с ними вместе в Аир-Джерних. Но как бросить в лесу больного дядю Хитама? А когда объявятся они в деревне, что скажут Буюнгу отец и матушка? Что скажут обо всем этом односельчане? И, главное, что скажет Зайтун? Разве не обвинят его, что сманил и увел жену от живого мужа? Вот это будет дело! А может, лучше отвести

Сити Рубийях в деревню дяди Хитама — в Бату-Путих? Да нет, там и родня Хитамова, и другие будут недовольны. Тоже станут на него наговаривать, что украл чужую жену. И опять же, не годится оставлять на произвол судьбы дядю Хитама. Грех это.

Совсем запутался. Что ни придумаешь, как ни повернешь — все не то. Хотя дело ведь совсем простое. Опостылело Сити Рубийях житье с дядей Хитамом. Помочь ей надо. И неужто непонятно — виной всему сам старик, жестокость его. Но отчего же так трудно защитить правого и заступиться за безвинную жертву? Отчего трудно постичь, где она, правда? И почему нужно столько мужества, если всего-то и хочешь, что поступить по совести? Ну что было бы дурного, отведи он Сити Рубийях к товарищам на привал и спроси совета у Пака Хаджи, дяди Катока и папаши Балама? А они — вдруг да рассердятся на него за этакую дерзость?

Вконец запутавшись, не зная, чем помочь Сити Рубийях, и от этого жалея ее еще сильней, Буюнг не заметил, как крепко прижал ее к себе. Но сразу ощутил, что она отвечает ему, льнет к нему всем телом. Их глаза встретились, и все мысли, одолевавшие Буюнга, разом улетучились.

Никогда прежде не знал Буюнг того, что испытал теперь, когда они тесно прижались друг к другу. Перехватило дыхание. Смолкли шум воды и шорох листьев, все звуки утреннего леса. Осталась лишь женщина, которую он сжимал в объятиях, молодой жар ее тела, разогретого горячим биением крови. А она, уже познавшая любовь, понимавшая, что́ ищут его по-юношески неловкие руки, помогала ему. Осторожно наклонила его голову, притянула его жадный рот к своей груди, и соски ее отвердели под его губами. Буюнг застонал от наслаждения, и оба почувствовали будто небывалой силы взрыв отрывает их от земли...

Ему не хотелось расставаться с нею, не хотелось разжимать объятия, не хотелось ничего — только бы длить и длить эту впервые изведанную радость. И скоро горячая волна опять подхватила их и вознесла до самых небес, и сила притяжения была в тот миг не властна над ними...

* * *

Буюнг нагнал своих спутников лишь незадолго до захода солнца. Занятые устройством первого ночного привала, они возводили хижину — навес, крытый листьями дикого

банана. Перед этим немудреным сооружением уже успели развести костер.

Похоже, они и сами здесь недавно. У Буюнга отлегло от сердца. Коли так, то не будут одолевать расспросами, почему припозднился.

Окликнув их еще издалека, он услышал голос Сутана, увидел, как тот машет ему тесаком, которым срубал банановые листья.

— Получается, вы тоже только-только пришли? — удивился Буюнг.

— Охотились с дядей Катоком, на оленя нас водил, — пояснил Талиб. — Жаль, вернулись пустые.

— Следы-то, — вступил в разговор дядя Каток, — совсем свежие были. Уж мы его и увидели, уж я на курок нажал, а тут осечка. Не повезло.

— Что ж, больше и не стреляли?

— Где там. Олень-то как заслышал, что щелкнул курок, — так в джунгли. — Это вставил Сутан.

— Может, завтра еще разок попробуем, — обронил дядя Каток, а Пак Хаджи добавил:

— Да, хорошо бы сушеной оленины домой принести.

— Ну а ты как, поймал своего канчиля? — поинтересовался Сутан.

— Поймал, — ответил Буюнг и сразу пожалел, что не соврал. Теперь непременно спросят, где же он, канчиль-то. Сказать бы, что нет, и никаких вопросов. Но зато потом хлопот не оберешься. Месяца через три опять к дяде Хитаму пожалуют. Узнали бы от Сити Рубийях, что это он, Буюнг, канчиля ей подарил, и тогда уж точно бы заподозрили, будто у него с ней того... то самое. Так что горевал Буюнг недолго. Оно и к лучшему, что не стал врать.

— Поймать поймал, да оставил у Сити Рубийях. Куда я его сейчас понесу вместе со всей этой смолой, вон ее сколько. В следующий раз заберу, — закончил он.

— Что ж, поймал — и то хорошо, — откликнулся Пак Хаджи.

— Это еще разобраться надо, кого он поймал, — многозначительно изрек Сутан.

В сгущавшихся сумерках никто не заметил, как заалело лицо Буюнга. Кое-как преодолев смущение, он натужно усмехнулся и спросил:

— Кого же там ловить, кроме канчиля?

И понял, что дал маху. Сутан немедленно ухватился за его слова:

— Хо-хо-хо, послушай-ка, Талиб, что он несет! Не знает, кого ему ловить! А оленуха молодая тебе там не попалась?

Что было делать Буюнгу? Прикинулся дурачком — не разберу, мол, о чем это ты, снова покраснел, и тут уж все рассмеялись.

— Жениться ему надо поскорее, — объявил Санип, — тогда прозреет.

А Сутан, от души потешаясь над Буюнгом, тыкал пальцем в его сторону.

— Глядите-ка — покраснел! Да ты никак девственник?

Подначки и насмешки порядком надоели Буюнгу. Пристроив свою корзину в подходящем месте, он заспешил к реке, бросив на ходу:

— Пойду искупаюсь да принесу воды для омовений.

Следом полетели выкрики Сутана, Талиба и Санипа, раздались новые взрывы хохота. Чего пристали?!

Буюнг вошел в воду, окунулся.

И в мыслях, и в чувствах царил сплошной разброд. Вспоминать о случившемся поутру было сладко и страшновато, радостно и тревожно. Согрешил ли он? Вроде бы да. Учили ведь, объясняли, что называется это прелюбодеянием, и великий это грех, и суждено гореть в аду тому, кто в нем повинен. Но вот ведь странно: совесть спокойна, и жизнь кажется такой прекрасной. А еще удивительней, что Зайтун дорога ему по-прежнему. То, что произошло между ним и Сити Рубийях, казалось сейчас словно бы предопределенным свыше. Должно было случиться, вот и случилось. Он с трепетом, почти наяву ощутил ее жаркое дыхание, вообразил ее совсем близко.

Была и другая причина тому, что совесть не мучила. Когда лежали в тени, под деревом, Сити Рубийях много чего рассказала о дяде Хитаме. Буюнг и сейчас не может без отвращения думать о нем, о творимых им гнусностях и нечестивых делах.

Говорила Сити Рубийях, будто те, кто от врагов избавиться жаждет, частенько наведываются к дяде Хитаму. Просят, чтоб изготовил яд, а тот и рад стараться. Перемешает человечьи испражнения с бамбуковыми листьями, а потом продает эту гадость и велит в питье или в пищу подкладывать. Приворотные зелья тоже делает. Кому женщину приворожить надо, от того требует ее во́лос, или наскребет грязи из-под ногтей у просителя и колдует над ней. А иной раз и вовсе непонятные уловки в ход пускает.

Спросила, помнит ли Буюнг тех таинственных, неразговорчивых пришельцев в черном. Да, он отлично их помнил. И Сити Рубиййях поведала, что приходили они не впервые. Трижды побывали у дяди Хитама за последние три месяца, и каждый раз приносили ему денег, золота. И хоть твердит дядя Хитам — купцы, мол, они, а что-то не верится. Да и Буюнг подозревает, не разбойники ли это часом.

Нет, не чувствует он за собой слишком большой вины. Наоборот, ему хорошо. Он счастлив, что доставил радость Сити Рубиййях так же, как она ему. Сказал ей, чтобы ждала его. Продаст смолу — и назад к Хитамову полю, вроде как на охоту. А к тому времени они попробуют что-нибудь придумать, найти какой-нибудь выход. В глубине души Буюнг надеялся, что недели через две-три старик умрет. Тогда все устроится само, мучениям Сити Рубиййях конец, и не нужно будет ничего затевать.

А Зайтун? Опять тревоги, опять смятение. Да, он предал свою любовь, и никуда от этого не денешься. Но что он мог поделать? Им словно завладела какая-то непреодолимая сила, и противиться ей было бесполезно. «Ты ублажил свою плоть и уступил дьявольскому соблазну», — упрекал внутренний голос. «Да как же было его одолеть?» — оправдывался Буюнг сам перед собой. Судьбы, предначертанной Всевышним, не дано избегнуть ни единому человеку, никому и никогда.

Мысль утешительная. Буюнг немного успокоился, но на ум приходили все новые вопросы. Что, если дядя Хитам выживет? Увести отсюда Сити Рубиййях просто так нельзя. Пожалуй, жениться надо на ней, а хочет ли он этого? И как же быть тогда с Зайтун? И как сдержать слово, данное Сити Рубиййях, как вырвать ее из лап дяди Хитама?

Ну и ну! Казалось бы, совсем простая история, а вон как обернулась, поди выпутайся. Неизвестно еще, хватит ли его на это. Впервые всерьез задумываясь о жизни, исподволь осознавая, насколько же она сложна, Буюнг мало-помалу начинал сожалеть о содеянном. Разве Сити Рубиййях не чужая жена? И зачем только понадобилось лезть в дела, которые его не касаются? Держался бы подальше, любил бы себе Зайтун, мечтал бы о ней, о том, как счастливо и покойно будет им вместе. Разве не было бы оно лучше и проще? Ох, грустно!

Но ведь и закрывать глаза на чужую боль, прикидываться, что знать ничего не знает, тоже нельзя. Жалость к Сити Рубиййях, негодование на изуверства дяди Хитама

вновь не давали покоя Буюнгу, и снова думалось, что жестокостям должно противиться всегда — даже тогда, когда не ты сам, а кто-то другой стал их жертвой.

А все равно как-то тоскливо и невесело. Отчего бы? Ясно, отчего. Он по-прежнему любит одну лишь Зайтун, и нет у него никакого желания жениться на Сити Рубийях. А она-то на что надеется, чего ждет? Может, ей и того достаточно, чтоб он уберег ее да спас от дяди Хитама? Вообще-то ни о какой женитьбе Сити Рубийях и не заикалась. Стало быть, волноваться не о чем. И что это он вбил себе в голову?

Как бы хотелось Буюнгу превратиться в одночасье из зеленого юноши, поддавшегося безотчетному порыву, в умудренного опытом старца, способного отнестись к таким вещам спокойно и рассудительно!

Посоветоваться — и то не с кем. О том, что случилось, Буюнг не стал бы никому рассказывать и под страхом смерти.

Раньше он пребывал в уверенности, что за благородные поступки человеку непременно суждено вечное счастье. Но вот посочувствовал слабой, одинокой женщине, вознамерился помочь той, которую мучат и притесняют, а сделал хуже самому себе. Как же так?

А с другой стороны, впрямь ли столь велик и ужасен совершенный им плотский грех? В конце концов, он ни к чему не понуждал Сити Рубийях и вовсе не собирался искушать ее. Знал ведь, что не положено взирать с дурными намерениями на замужнюю, что и вера запрещает подобное, и обычаи предков, что не позволяют себе этого люди добропорядочные. Просто его и Сити Рубийях потянуло друг к другу, и ничего нельзя было с этим поделать, как невозможно обратить вспять горный поток. Кто виноват, если так хотела природа?

Эти тягостные размышления прервал крик Сутана:

— Буюнг, Бую-ю-юнг! Ты чего там застрял? Давай сюда скорее, к магрибу опоздаешь!

Буюнг торопливо вытерся, зачерпнул воды и поспешил к хижине. Он тихо радовался, что Сутану и остальным, уже приступившим к молитве, сейчас не до него. Если и заметна еще озабоченность в его лице, никто этого не увидит.

— Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! — строго и торжественно возгласил Пак Хаджи. И слова «Нет бога кроме Аллаха, и Мохаммад посланник Его» будто поплыли в сумерках, сгущавшихся над джунглями, вознеслись высо-

ко над землей, заполнили все вокруг и проникли глубоко в самую душу Буюнга. Произнеся «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного», всецело предавшись Ему, он творил молитву с каким-то новым упованием, и думы о Нем — Всемилостивом и Всепрощающем — возвращали Буюнгу мир и покой.

— Если согрешил я, боже, прости мне, — шептал он про себя. — Не было у меня нечистых помыслов, пожалеть хотел несчастную. Прости нам обоим, защити ее от мужа-изувера, спаси и защити всех нас, грешных!

Помолившись, устроились вокруг костра и принялись за ужин.

Вот она, награда за усталость тем, кто промышляет в лесу. Усядутся у огня, утомленные трудами прошедшего дня или долгим пешим переходом, увидят, как темнеет в джунглях, как на небе сначала бледно проступают, а потом все ярче разгораются звезды. Почуют вместе с запахами влажной древесины дымок от кусочков сушеного мяса и соленой рыбы, жарящихся в углях, отхлебнут горячего кофе, поедят риса, сдобренного красным перцем, и, довольные, позабудут о заботах и невзгодах уходящего дня.

В такие часы семеро сборщиков острее ощущают свое товарищество, и нередко кто-нибудь без робости и сдержанности, воздвигающей преграды между ними в обычное время, заводит откровенный разговор.

Ничего не стоит упросить Пака Хаджи, чтоб рассказал о том о сем. Дядя Каток помянет времена, когда постигал тайны волшебства, когда обучался борцовскому искусству в ачехских землях[1]. Да и папаша Балам — известный молчун — готов поддержать беседу и поведать о своем житье-бытье. Из дудочки Санипа польются нежные мелодии, Сутан или Буюнг подыграют ему на свирели, а потом все залягут в хижине и затихнут, сладко похрапывая во сне. Среди ночи кто-нибудь нет-нет да и выберется из хижины, подложит дровишек в затухающий костер. Пламя вспыхнет снова, но пройдет время, хворост и поленья выгорят, и опять кому-то придется вставать, чтобы поддержать огонь...

Совсем стемнело, и они уснули под звуки ночного леса, под шелест листьев, стрекот насекомых, голоса птиц и зверей. Буюнгу снилось, будто он задумал переплыть в

---

[1] Аче — область на северной оконечности острова Суматра, район, коренное население которого известно особой приверженностью мусульманской религии.

лодке через озеро. Небо затянуло облаками, надвигается буря. Он отплыл уже далеко, и тут на берег выбегает Зайтун и начинает звать его по имени. Все это было до того похоже на правду, что, когда Буюнг внезапно проснулся и сел, в ушах все еще отдавались эхом крики Зайтун, умолявшей вернуться: «...ю-ю-юнг!»

Он не сразу сообразил, в чем дело, и лишь немного погодя, когда резкий, пронзительный крик повторился, понял: это олень. Дядя Каток, тоже разбуженный шумом, сказал Буюнгу:

— Попробуем подстрелить его с утра пораньше.

Глава IV

Задолго до восхода солнца, когда все еще спали, Буюнг разбудил дядю Катока и Сутана, чтобы втроем идти на охоту.

Ночевали в этот раз у самого берега реки, в мелколесье. Если пройти с километр вверх по течению, то за редкими кустарниками откроется просторная, поросшая высокой травой поляна. Там-то, по словам Буюнга, и можно было повстречать оленя. Любят они такие места. И надо бы добраться туда до зари.

— Стало быть, и дед неподалеку бродит, — заключил Сутан. — Где олень, там и дед. — «Дедом» он величал тигра.

— Ш-ш-ш! — остановил Сутана дядя Каток. — Смотри не обмолвись. Нехорошо в джунглях настоящее имя его поминать.

Быстро оделись, Буюнг повесил на плечо ружье. Дядя Каток не возражал. Он знал, что в предрассветной дымке молодые, зоркие глаза Буюнга лучше разглядят цель, знал — хотя и предпочитал помалкивать об этом на людях, — что Буюнг стреляет лучше.

Сутан заткнул за пояс кинжал, вооружился тесаком. Дядя Каток ничего, кроме кинжала, не взял.

Ночной мрак еще не рассеялся.

Буюнг ушел далеко вперед, Сутан и дядя Каток поспешали за ним вдоль берега, стараясь ступать потише.

Когда приближались к поляне, на востоке уже занялась заря. Пропели петухи. Выпала роса, ее капли поблескивали на земле, в листве, на древесной коре и камнях. Окрестности подернуло легким туманом. Пошли медленнее, и тут услыха-

ли, как закричал олень. Где-то поодаль откликнулся другой.

Все трое застыли как вкопанные, высматривая зверя.

Вскоре примерно по ходу их движения, метрах в двухстах, заволновалась растительность. На краю поляны, у кустов, остановился олень, помотал шеей и вновь издал крик. Это был молодой самец. Над головой ветвились средних размеров рога, изящное туловище опиралось на стройные, сильные ноги.

Стрелять с такого расстояния из старого ружьишка не имело смысла, да и темновато было, чтобы толком прицелиться. Пока выжидали, на противоположном конце леса показалась самка, трусцой бежавшая к оленю. Встретившись у воды, они перешли речку вброд.

Буюнг попробовал подкрасться к животным. Однако замер, поскольку те сами не спеша приближались к охотникам, и осторожно подставил плечо прикладу.

А олени беспечно, не подозревая, какая нависла над ними угроза, подходили все ближе.

Затаив дыхание, Буюнг не отрываясь следил за самцом и, подпустив его на расстояние выстрела, плавно потянул за курок. И сейчас же на весь лес грохнуло, из ствола полыхнуло огнем, и Буюнг увидел, как самка, стрелой метнувшись в сторону, исчезла среди ветвей, а самец взмыл в воздух и рухнул, суча ногами, роя копытами землю. Еще немного, и он затих.

Попал! Вместе с Буюнгом ликовали оба его товарища.

Дядя Каток и Сутан, выхвативший из ножен тесак, припустили к реке и живо переправились через нее. Как ни хотелось Буюнгу последовать их примеру, он сдержал свой порыв. В джунглях, где человека на каждом шагу либо подстерегает опасность, либо ожидает охотничья добыча, оружие всегда должно быть наготове. В противном случае оно так же бесполезно, как если бы его забыли дома. Поэтому, лишь засыпав свежий порох и загнав в ствол пулю, Буюнг устремился на другой берег.

А там дядя Каток уже успел вскрыть оленю горло. Росистая трава почернела от густой крови. Сутан, указав пальцем на тушу, похвалил Буюнга:

— Прямо в точку. Вон, смотри-ка, за ухом...

— Молодец, — подтвердил дядя Каток, — здорово стреляешь.

— Да нет, просто повезло.

Хоть и прибеднялся Буюнг, хоть и скромничал, а удаче своей рад был ужасно.

Когда тебя, совсем еще молодого парня, признают за ловкого охотника, это что-нибудь да значит. Особенно у них в деревне, где всяк себя мнит таковым. А уж коли дядя Каток, первый из первых в охотничьем ремесле, говорит о тебе с одобрением, то этакой похвале поистине цены нет. Теперь молва об искусном стрелке, передаваясь из уст в уста, достигнет соседних деревень. Сутан и дядя Каток в подробностях опишут, как далеко было до оленя и как трудно целиться в нерастаявших сумерках, расскажут, какой туман окутал лес незадолго до выстрела. И люди воздадут должное меткости и хладнокровию Буюнга. И все это, тешил он себя, достигнет ушей Зайтун!

— Позвать бы наших, — сказал дядя Каток. — Дотащим до стоянки, а тогда уж я его освежую.

Сутан бегом, мелкой рысью, отправился за подмогой.

И вот, когда задуманное было почти исполнено, когда дядя Каток почти что снял шкуру с туши, подвешенной к толстому суку, они впервые услышали рев тигра — короткий, но зычный и свирепый, донесшийся как будто бы оттуда, где подстрелили оленя.

При этом звуке все, не сговариваясь, побросали свои занятия. Рука дяди Катока, которому оставалось последним взмахом ножа отделить оленью шкуру от мяса, будто онемела. Прочие — кто сидя, кто стоя — так и приросли к земле и обратились в слух. Рев, однако, больше не повторялся.

Джунгли объяла тишина. Кузнечики и те перестали стрекотать.

Семеро сборщиков с опаской переглянулись. Молчание нарушил Сутан:

— Ну дела! Дед рядом!

Вымолвил — и точно освободил спутников от какого-то дурманящего наваждения.

— Может, и он тоже охотится? — вырвалось у Пака Хаджи.

— Охотится-то он охотится, да только уже не на оленя. Вы же у него эту добычу отняли, увели из-под носа, — заговорил папаша Балам, привыкший рассматривать любое происшествие в самом мрачном свете.

— Да не было его поблизости, когда подошли мы туда, — начал оправдываться Буюнг. — И потом, олень ведь самку поджидал. Не стал бы он ее подзывать, если б дед и впрямь на него зубы точил.

— И то верно, — согласился Санип с видимым облегчением.

— Распотрошим-ка этого оленя по-быстрому да уберемся отсюда подобру-поздорову, — предложил Пак Хаджи.

На том и порешили. Санип с Талибом взялись готовить завтрак, остальные занялись разделкой туши. Мясо поделили между собой, посыпали солью и специями, запасенными еще в деревне, завернули в банановые листья и рассовали по корзинам.

— Жаль, прокоптить некогда, — посетовал Талиб.

— Потерпи до ночного привала, — ответил ему Санип, жаривший на огне оленье сердце. Постепенно вокруг распространился аппетитный аромат, поспел завтрак, и на время стало не до тигра.

Перед тем как тронуться в путь, дядя Каток сказал Буюнгу:

— Давай-ка я ружье понесу.

Они пересекли реку и двинулись напрямик, в гору, чтобы до наступления вечера снова спуститься к берегу и там заночевать.

Растянулись в цепочку. Впереди — Пак Хаджи, последним — дядя Каток с ружьем в руках. Идти старались без шума, хотя уговора такого не было. Держались настороженней, чем обычно, чутко прислушивались к каждому шороху, присматривались к каждому движению леса и его обитателей и дотошно искали всему этому объяснений.

Малейшая небрежность нередко оборачивается в джунглях большим бедствием, а бывает, за нее расплачиваются и жизнью. Не поминая тигра вслух, они непрестанно думали сейчас о своей ноше — увесистых кусках оленины и о том, что запах свежего, сочного мяса может легко навести на их след лесного хищника. От сборщиков не укрылось, что их путь помечали пятнышки оленьей крови, нет-нет да и просачивавшейся сквозь корзины и капавшей наземь.

Видно, накануне здесь лил дождь, было скользко, и все же шагали в эти утренние часы так быстро, как только могли. На разговоры не тянуло. Лишь после полудня, не видя никаких признаков того, что их преследует зверь, они немного успокоились. А когда, подойдя к ручейку, резво стекавшему по склону горы, остановились пообедать, мысли о тигре уже почти не бередили воображение. Впрочем, осторожности никто не утратил.

Отдых получился коротким. Поев, сразу пошли дальше, рассчитывая прибыть к месту нового ночлега задолго до сумерек.

Около половины пятого они завершили свой переход и тут же, не мешкая, соорудили хижину. Причем навес, против обыкновения, обнесли с трех сторон стенками из прочных веток и широких листьев, оставив открытой лишь четвертую сторону, обращенную к костру. Буюнг, Санип, Талиб и Сутан набрали побольше хворосту, чтоб огня хватило до утра. Да и мясо не мешало прокоптить, пока не испортилось.

А дядя Каток все не расставался с ружьем.

Талиб отварил рис. Ближе к шести часам с делами покончили и приготовились к молитве.

Солнце клонилось к закату, и воздух подрагивал от звуков, которыми об эту пору всегда полнится лес. Небо над головой наливалось темно-лиловым цветом, красновато-желтые отблески на западе слабели и очень скоро пропали совсем. Небольшое пространство перед хижиной, озаренное длинными яркими языками пламени, казалось теперь единственным обитаемым, населенным людьми островком в темном и таинственном океане джунглей.

Молились, расположившись рядом с костром, умиротворенные исходившим от него теплом и сиянием, и громкие возгласы Пака Хаджи «Аллах велик!» улетали ввысь, неся хвалу Всемогущему, сотворившему и вселенную, и бескрайний лес, и эту крохотную обитель света с костром посредине, и тех семерых, что обращались к богу.

За ужином отведали жареной оленины. Еда была вкусная, ели с удовольствием. Потраченные силы восстанавливались, волнения, не дававшие покоя с самого утра, отступали, и Санипу впервые за целый день пришла охота позубоскалить. Напряжение спадало. Вроде бы привал как привал.

Откушав, папаша Балам пожаловался на колики в животе. Оленины ты объелся, сказал ему Пак Хаджи. Тут папаша Балам поднялся на ноги и побрел к реке облегчиться.

Далеко ходить он не стал. У берега образовалось подобие затемненной пограничной полосы, внутри которой мерк свет костра и за которой начинался кромешный мрак. Дойдя до нее, папаша Балам влез на камень и уселся на корточки — лицом к огню, спиной к реке и лесной темени. И поступил весьма опрометчиво...

* * *

Уже два дня старый тигр испытывал муки голода. Он был теперь не так могуч и проворен, чтобы настигать кабанов и

другую живность, которой привык кормиться. В прежние времена ни один зверь не сравнился бы с ним в мощи и величии, и долго, очень долго он безраздельно царил в джунглях. И никогда, сколько он себя помнил, не приходилось ему страдать от такого нестерпимого голода. Высокий и крупный, он, бывало, мог без труда повалить и оттащить к себе в логово большого, сильного оленя, а случалось, и корову, попадавшуюся ему на краю какой-нибудь деревни. Последние дни он ходил по пятам за парой молодых оленей, самцом и самкой. Но те, необычайно пугливые, убегали всякий раз, едва он собирался напасть.

Погоня за ними утомила его.

Сегодня утром, когда он подкрадывался к самке и чувствовал, что вот-вот завладеет долгожданной добычей, в лесу будто грянул гром. Самец упал, как подкошенный, а самка тут же скрылась. И, позабыв об охоте, тигр тоже бежал оттуда стремглав, устрашенный оглушительным раскатом. По прошествии нескольких часов, движимый все тем же голодом, он, бесшумно ступая и боязливо озираясь, вернулся к поляне, где упал олень, и обнаружил там лишь сгустки запекшейся крови. Он вылизал их языком, и голод, взыгравший с новой силой, погнал его за людьми, чей запах смешался с запахом убитого зверя. Проследить их путь ничего не стоило. Отыскав покинутую стоянку, где свежевали и разделывали тушу, найдя там кости и потроха, он жадно проглотил их, но не только не насытился, а, наоборот, растравил себя вконец.

Отправившись вдогонку за людьми, уносившими с собой оленье мясо, тигр провел остаток дня, преследуя их, наблюдая за ними издалека, и в нем окрепла уверенность, что эта охота будет удачной.

Притаившись у берега реки, он видел, как люди устраиваются на ночлег, как разводят огонь. Дымок, поднимавшийся от костра, на котором жарили мясо, дразнил нещадно, и тигр еле сдерживался, чтобы не зарычать и не переполошить тех, кого подстерегал. Он терпеливо выжидал благоприятного момента для нападения и сразу подобрался, приметив человека, отделившегося от напарников, вышедшего из круга света и присевшего над водой.

Напрягшись что было сил, угрожающе заревев, тигр выпрыгнул из своего убежища. В ту самую секунду, когда раздался рев, папаша Балам сообразил, что зверь нацелился на него и надо удирать. Он подскочил, как ошпаренный, но поскользнулся и плюхнулся в воду, а тигр был уже тут как тут.

Если бы не это падение, тигр ухватил бы папашу Балама за шею, а то и за голову. Теперь же его острые громадные зубы впились в ногу, и он поволок свою жертву прочь.

Рев тигра точно поверг в оцепенение множество лесных тварей. И лишь когда окрестности огласились душераздирающими человеческими воплями, животные, птицы и насекомые, оправившись от испуга, снова заверещали.

Между тем спутники папаши Балама, гревшиеся у огня, повскакали со своих мест. Дядя Каток сжал ружье. У тех, кто помоложе, мигом оказались в руках тесаки и пылающие ветки, выхваченные из костра. Подбежали к реке и, разглядев на другой стороне смятые кусты, сквозь которые продирался хищник, заслышав крики боли и страха, ринулись туда, предводительствуемые дядей Катоком. Вслед тигру полетела горящая палка. Это Сутан швырнул ее на бегу.

Перед ними открылась прогалина, и в ночи обозначился силуэт зверя, тащившего папашу Балама в чащу. Пытаясь запугать похитителя, закричали на все лады, а дядя Каток вскинул ружье и выстрелил.

Бросив человека, тигр нырнул в темноту.

Сборщики обступили папашу Балама, посветили на него. Он лежал в глубоком обмороке. Левая голень была совершенно растерзана. Среди порванных мышц и сухожилий белела кость, рану заливало кровью.

В крови было и лицо. Нос и губы разбиты. Колючки, камни, сучья, по которым и сквозь которые тигр волок папашу Балама, исцарапали все тело. Одежду изодрало в клочья.

Пока дядя Каток перезаряжал ружье, остальные подняли папашу Балама с земли и быстро понесли к хижине. Дядя Каток прикрыл их с тылу.

При ярком свете костра увечья, нанесенные папаше Баламу, выглядели еще ужасней. Мало того, что тигр чуть не перекусил голень пополам, глубокие борозды от его когтей тянулись вдоль спины, а ссадин и синяков было не счесть.

Дядя Каток велел Талибу поставить на огонь котелок с водой, а сам, пошарив в корзине, где у него в особом кармашке хранились целебные травы, извлек оттуда несколько листьев. Когда раны промыли, дядя Каток обложил этими листьями голень папаши Балама, оторвал полоску материи от его кайна и перевязал поврежденную ногу. Бормоча заклинания, бросил горсть каких-то корешков и травок в горячую воду, дал ей вскипеть и слил отвар в плошку

из скорлупы кокоса. Подождав, чтобы питье остыло, он начал осторожно, по глотку, вливать его в рот папаше Баламу.

Тот понемногу приходил в себя, но разговаривать как следует еще не мог. Он только беспрерывно стонал, а порой и вскрикивал от боли. Прошло не менее часа, прежде чем ему стало легче. Тут он осмотрелся, задерживая взгляд на каждом из товарищей, и несколько раз с трудом, перемежая слова со стенаниями, произнес: «Нет бога, кроме Аллаха...»

Снова глянул на них и молвил:

— Конец мне пришел. Видно, пора ответ держать за грехи.

Пак Хаджи прервал его:

— Молчи, молчи, ни к чему о смерти поминать. Успокойся, образуется все. Вот уж и дядя Каток тебя подлечил. Попробуй-ка сейчас уснуть.

— Вы лучше послушайте, что я вам скажу, — настаивал, собравшись с силами, папаша Балам. — Знамение мне было, вещие сны видел. За две ночи до того, как из деревни вышли, первый сон приснился, а когда у дяди Хитама последний раз ночевали — второй. Да я тогда на бога понадеялся. Думал, простит мне, сохранит нас всех от беды... Знайте, что суждено пострадать в дороге тем из нас, кто великий грех взял на душу...

У Буюнга аж сердце похолодело. Возможно ли, чтобы папаша Балам прознал о его грехе? Присмотрелся украдкой к остальным. Не смутились ли часом, подобно ему, заслышав таковые речи? Не скрывают ли чего дурного от людей? Или он среди них единственный великий грешник? Но ведь просил же прощения у Всевышнего!

На лицах своих спутников он не прочел ничего особенного.

Дядя Каток по виду невозмутим и строг. Пак Хаджи — спокоен и терпелив. Талиб, Санип и Сутан — те, как и Буюнг, еще не опомнились после нападения тигра. А уж числятся за кем из них тайные грехи или нет — поди разбери.

— Что за сны такие? — вопросил дядя Каток. — Расскажи-ка. Может, сумеем еще уберечься. Отчего ж ты, папаша Балам, раньше мне об этом не поведал, в деревне? Я б и амулетов припас, и заклинания бы нужные прочитал.

— Виноват, опоздал. Слушайте же... Приснилось мне, будто сижу в одной лодке с тобой, Каток, с Паком Хаджи, Сутаном и Санипом. И еще двое каких-то с нами, только

не Буюнг и не Талиб. Не знаю, что за люди. И будто ловим мы рыбу в озере. Поймали ее видимо-невидимо, лодка прямо доверху полна. Пак Хаджи и говорит, что хватит, мол, назад надо плыть. Не то перевернемся с таким грузом, коли волны подымутся. А дядя Каток возьми да и скажи, что рано еще, да и места в лодке довольно. Будем-де ловить, пока ловится. А мы трое — Сутан, Санип и я — с Катоком согласны, и улов наш растет. Совсем уж глубоко осели, дальше некуда, но ты, Каток, гнешь свое, велишь ловить. А я не перечу, хоть сам-то знаю, что давным-давно пора остановиться, что возвращаться надо немедля. Вскорости попадается мне на крючок большущая рыбина. Тащу ее из воды, помогают мне, а она не дается. Натягивает снасть и уводит лодку за собой, на самую что ни на есть середину. А в это время как раз набегают тучи. Ветер налетает, качка. Тут-то мы и переворачиваемся. Вся рыба, какую ни поймали за день, обратно в озеро летит, и мы за нею... Открыл глаза, обливаюсь потом и не пойму никак, сон это или явь...

А другой сон и того страшнее. Вроде увидел я на дереве гнездо скворца, ну и полез птенцов оттуда достать. А вы стоите под деревом и смотрите, как я карабкаюсь. Дерево толстое, высокое, и странно получается: чем выше взбираюсь, тем оно больше вырастает и гнездо от меня все дальше. Стараюсь лезть побыстрей, а и дерево растет быстрее. Умаялся, но отступиться вроде как нельзя. И вдруг это дерево валится прямо на вас, и я вместе с ним. Вы там, внизу, всполошились, закричали, а разбежаться не успели. Придавило нас к земле. Ни рукой, ни ногой не шевельнуть. И вот ужас-то — начинают к нам с разных сторон огромные змеи подползать. Куда ни глянь — везде они. И во сне страх душил, и потом, когда проснулся...

Ясно, что не к добру это привиделось. Я потом подолгу читал на память из Священной книги, злых духов отгонял, чтоб не морочили меня. Да, видно, от судьбы не уйдешь, настало мое время. — Папаша Балам умолк, и по глазам было видно, какая овладела им печаль.

На его слушателей точно напала немота, и лишь Пак Хаджи, желая как-то утешить папашу Балама, а заодно и успокоить всех прочих, нараспев повторял молитвы.

Неожиданно в облике папаши Балама произошла резкая перемена. Вперив в дядю Катока пронзительный, испытующий взгляд, он выговорил сдавленным голосом:

— Из-за тебя это... Вон каким манером за старое расплачиваюсь...

И удивительное дело — по лицу дяди Катока как бы скользнуло вовсе не свойственное ему выражение испуга и тревоги. Он смотрел на папашу Балама молча, будто в рот воды набрал. Над костром и хижиной повисла тишина, и казалось, что вместо изменчивых отблесков огня на лица и фигуры людей, на подступающий к ним лес ложится тяжелая, зловещая пелена. Каждый почти физически ощущал, как внутрь уютного и светлого мирка, каким недавно был их привал, проникает нечто неведомое, таинственное, чуждое. Приказать бы папаше Баламу, чтоб не продолжал. Но никто не посмел прервать его, даже дядя Каток.

— Давняя это история, — произнес папаша Балам, теперь уже громче и тверже. — В двадцать шестом году я вместе с Катоком против голландцев сражался. Он у нас в отряде командиром был. Вышел однажды трудный бой. Здорово нам досталось, разбежались кто куда. А враги не отстают, с полдня рыскали за нами по пятам. Но мы таки от погони оторвались. Отыскали вблизи заброшенного поля пустой дом, в нем и засели. К тому времени рядом с Катоком двое всего оставались. Кроме меня, Сарип еще был, товарищ наш. Его в ногу ранило. Много крови потерял, из сил выбился. До поля кое-как доковылял с нашей помощью, а уж в дом мы его на себе втаскивали. Рану ему перевязали, как смогли, постарались. Но вот лекарства для него у нас не было. И еды ни крохи. Вся провизия в лагере. Туда часов пять пешего хода, и дорога трудная, хуже некуда. Если возьмем Сарипа с собой, то засветло не доберемся. Но и бросать его здесь нельзя. А ну как его же кровавые следы погоню сюда приведут? Трудно, что ли, их отыскать? Того и гляди, нагрянет голландский патруль, сцапает нас всех в чистом поле.

Уйдем в лагерь вдвоем, оставим Сарипа одного, а его, чего доброго, захватят в плен. Потрясут хорошенько, он и укажет им, где отряд. Что тут делать? Кликнул меня Каток, будто бы сходить с ним к колодцу по воду, а на самом деле потолковать.

Спрашивает, как поступим, а я растерялся. Тогда он говорит, что надо бы отсюда убираться, да поживее. А Сарип-то, спрашиваю, как же? Это, отвечает, я на себя беру, а ты отправляйся прямо сейчас. Пообещал, что быстро нагонит. А я что ж... Долго не думал, послушался. Пошел, а в дом, к Сарипу то есть, даже не заглянул.

Вскоре и вправду Каток подоспел. Стали дальше пробираться. Про то, что и как с Сарипом, я его ни тогда не

расспрашивал, ни потом. Вообще ни разу с ним об этом не заговаривал. Без него узнал, когда уже разгромили нас, что там случилось. Как ушел я, Каток в дом вернулся. Сарипа прикончил, а труп в колодец бросил. Вот оно как. С тех самых пор никому про это не рассказывал. Вам первым признаюсь.

Есть, есть в этом грехе моя доля. Может, я в нем даже больше повинен, чем Каток. Понял ведь, что у него на уме, пока разговаривали у колодца. Но до чего же самому жить хотелось! Любую бы цену заплатил, только бы жить и жить. Подохнет Сарип, и пусть себе, лишь бы я был жив. Струсил, убоялся смерти. А ведь если б уперся, настаивал, что нести надо Сарипа в лагерь, Каток бы уступил. Наверняка бы уступил. А я... Ни слова ему поперек не сказал... Коли можешь помешать злодею или грешнику, а не мешаешь, то чем же ты его лучше? А уж когда знаешь при этом, что тебе от чужого греха польза будет, тогда и подавно...

Был я Катоку лучшим другом, а стал пособником. Что с Сарипом приключилось, это только начало. Пока восстание продолжалось, Каток еще много наворотил. Я в то время на все сквозь пальцы смотрел. Вот и пришлось нести бремя грехов с ним заодно.

Помнится, волостной голова наш... Серебро имел, золото. Польстился Каток на это добро, полез к нему в дом. Хозяина, жену его, троих детишек — всех порешил, а над женой еще и надругаться успел. Я тогда при нем находился, а мешать не мешал. Забыли, с кем воевать собирались. Вместо голландцев на женщин да на невинных детей ополчились...

Замолчав, папаша Балам по-прежнему не сводил глаз с дяди Катока, но постепенно взгляд его смягчался. Похоже, он хотел протянуть руку дяде Катоку, но она, едва приподнявшись, бессильно упала. А папаша Балам точно светлел лицом. Можно было подумать, что все его существо освобождается сейчас от каких-то оков, от какого-то многолетнего гнета. Губ коснулась слабая улыбка, зазвучали тихие, проникновенные слова:

— Легко мне теперь. Открылся вам, и Каток был тому свидетель. В грехах, истомивших и разум мой, и сердце, каюсь. Помолитесь со мной, чтоб смилостивился бог и простил мне и чтобы Катоку тоже грехи его простились...

И папаша Балам, сложив ладони на груди, как делают люди, воздающие хвалу Всевышнему, зашептал молитву.

— Аллах велик! — троекратно повторил Пак Хаджи.

Помолившись, папаша Балам опять повернул голову в сторону дяди Катока — ощетинившегося, насупленного, давно уже сидевшего без движения — и, когда глаза их встретились, сказал:

— Покайся, Каток, преклони колени перед богом, моли Всемилостивого и Всепрощающего, чтоб отпустил тебе грехи. И вы все — покайтесь в грехах ваших, пока не поздно, если хотите живыми выйти из этого леса и от тигра защититься... Да не будет у него других жертв, кроме меня...

И, утомленный столь долгим разговором, папаша Балам прикрыл веки.

Каждый из тех, кто сидел вокруг него, погрузился в собственные мысли. И было о чем подумать. Рассказ папаши Балама повергал в смятение. Кто же не мечтает вернуться домой целым и невредимым? Всякий был бы рад-радешенек вырваться из джунглей, оказаться подальше от кровожадного тигра, но как же можно прилюдно, перед своими же друзьями-товарищами, в грехах каяться?

«Нет на мне никакой вины», — решил Санип.

«Какие там грехи... Не в чем признаваться», — думалось Талибу.

«Чист я», — убеждал себя Сутан.

«Молчи, молчи!» — чуть ли не вслух внушал своей совести Буюнг.

О чем-то подобном размышлял и Пак Хаджи.

Дядя Каток хмурился. Да, о многих постыднейших его прегрешениях поведал папаша Балам. Но вот о самом последнем... Известно ли кому про то? Быть такого не может, и незачем в этом признаваться. Пускай сперва другие в своих грешках покаются.

Тут услыхали, как папаша Балам бормочет:

— Берегитесь... бог тигра послал... за грехи наказывает... берегитесь тигра... бог... покайтесь в грехах... покайтесь...

Слушали этот бред, и страх шевелился в каждом. Ночной лес — убежище свирепого зверя, вознамерившегося застичь людей врасплох, — рисовался полным опасностей, и чудилось, что тигр беспокойно ходит взад-вперед по самой кромке, разделяющей свет и тьму, не мигая, следит за ними, меряет одному ему доступной мерой их провинности и решает, чья настает очередь и которого из грешников должно покарать...

Они уже не осмеливались переглядываться, чтобы ненароком не обнаружить друг перед другом подлинных дум и переживаний, потому что упорное бормотание папаши

Балама, обрывки фраз, вылетавшие из его уст: покайтесь в грехах... берегитесь тигра... бог послал... за грехи... — сделали свое дело, побудив заново припоминать и перебирать в уме разнообразнейшие поступки. И какая же бездна дурного, вольных и невольных ошибок открылась им! Что и говорить, нелегко внутреннему взору вытерпеть такое зрелище. Каждый ведь всегда предпочитал о своих грехах не поминать, прятать их подальше, хоронить поглубже. И не то что человеку постороннему — самому себе не отваживался признаться в них. Ненависть и злоба нечестивцев грозят тому, кто захочет открыть людям правду. Много таких, кто страшится ее, и совсем мало тех, для кого жизнь без правды невозможна.

И, помимо страха, у сборщиков зарождалось недоброе чувство к папаше Баламу. Всю свою сноровку и ловкость употребили, чтобы вырвать его из звериной пасти, сострадали ему, искалеченному тигром. А он чем отблагодарил?.. Заставил их копаться в тайниках собственных душ.

Дядя Каток теперь едва ли не сожалел, что папашу Балама удалось отбить. Сожрал бы его тигр, и не было бы сейчас речи ни о каких грехах, ни о каких раскаяниях ради спасения от смерти. Десятки лет хранил дядя Каток в строжайшем секрете ту страшную историю, а нынче пятеро из их деревни, по милости папаши Балама, узнали о ней в одночасье. Будут ли держать язык за зубами? Не перескажут ли, коли доберутся до дому, женам да приятелям? Будь проклят папаша Балам, будь проклят тигр вкупе со всей этой компанией, что развесила уши, пока папаша Балам вещал! Как устроить, чтоб поклялись молчать? И чего вздумалось папаше Баламу ворошить прошлое, тревожить позабытые могилы? Оживет, что ли, кто, если вытащить его оттуда? Нет, неймется людям! Пусть бы тлели спокойно кости там, где их зарыли. Много ль проку откапывать их да выставлять напоказ?

Он ощутил нарастающую неприязнь уже не к одному папаше Баламу, а и к тем, другим. Что же это получается? Они про его злодейства проведали, а сам он, Каток, об ихних прегрешениях и понятия не имеет. А ведь водятся, определенно водятся за ними тайные грехи. Взять, к примеру, Пака Хаджи. Посмотреть на него — воплощенная мудрость и благочестие, а небось в каких только переделках не бывал, покуда бродяжничал черт-те где. Может, и он убивал и обманывал, воровал и грабил, да некому про то рассказать. Вот и сидит сейчас смиренно подле папаши Ба-

лама, читает из Корана. Ну чем не святой! А Каток, значит, негодяй, сосуд греха, ему, значит, и надо каяться да бога молить, чтоб уберег их от тигра? Или Санип. Уж такой весельчак, такой певун. И со старшими в ладу, скромен, почтителен. А кто поручится, что не личина это для отвода глаз, не прикрытие для темных делишек? Кто докажет, что не воришка он, что не прелюбодействовал с кем-нибудь из деревенских! Ходили пересуды, видели соседи, как лапал он свою молодую мачеху, когда отца дома не было... Молчун Талиб тих, как вода в омуте, но кровь у них в семье поганая. Дядюшка его, покойник, аж на Нусакамбангане[1] сидел, и поделом. Впал однажды в амок прямо на базаре, шестерых ножом пырнул. Двое вроде выжили, а четверо на тот свет отправились. Да и сам Талиб, похоже, погряз во грехе. Подозрительно что-то — женатый, а повадился вечерами в молельню ходить, к мальчишкам да к юношам зеленым. Спит там с ними вместе[2]. Сутан — этот по женской части слаб, бабник из бабников. Этому все равно, за кем бегать — хоть за молоденькими, хоть за старухами. Говорят, приглянулась ему вдовушка одна, Сити Рафиях. Тут-то уж точно без прелюбодейства не обошлось. А Буюнг... Вроде бы и спрос с него невелик, совсем зеленый. Однако и ему доверять нельзя. Вот они какие пошли — ни обычаи дедовские, ни религия им не указ. Что хотят, то и делают, плоти своей потакают всячески. Буюнг-то давно упрашивает обучить его заклинаниям и колдовству. Ясное дело, женщину совратить задумал. Куда те, туда и он. Все они как есть греховодники, заключил дядя Каток. Так почему же тогда одни его грехи изобличены?

Да и можно ли назвать это грехами? Война была, а когда воюют, особо не церемонятся. И не только он поступал так в ту пору.

Понятно теперь, отчего папаша Балам был с ним сдержан все эти годы. Зачем же раньше не сказал напрямик, что ему не по нраву? Нашел время откровенничать. Тоже мне, грехи! Может, и последний твой грех не в счет? — словно шепнул ему кто-то, но дядя Каток сумел приглушить этот шепот.

---

[1] Нусакамбанган — остров к югу от Явы, на котором содержатся в заключении уголовные преступники.

[2] На Суматре мусульманские молельни служат, по обычаю, местом ночлега для подростков и молодых неженатых мужчин, проживающих в данной деревне, а также для проезжих и путников.

Неужто товарищи переменились к нему, начинают обособляться от него? Ему казалось, что он остался среди них в одиночестве, что они избегают смотреть в его сторону и переглядываются лишь между собой. Что они думают о нем? Осуждают, клянут, винят за содеянное зло? Неужто уверились, что он-то и навлек на них беду, что это из-за него грозит им смертью тигр? Неужто Буюнг, его верный ученик, ни во что больше не ставит дядю Катока, презирает его? А Талиб с Санипом? А Пак Хаджи? А Сутан?

Пак Хаджи о чем-то спросил, но дядя Каток пропустил вопрос мимо ушей. Пришлось повторять снова.

— Как считаешь, Каток, прав папаша Балам, что тигр этот, который на него напал, вроде божьей кары за грехи? Я вот не совсем уверен, что так оно на самом деле. Слышал я, тигры-людоеды двух видов бывают. Есть обычные. Ослабели, не находят в джунглях пищи, ну и бросаются с голоду на людей. А есть тигры-духи, тигры-привидения. Кто приручил такого, тот может его из мести или по злому умыслу на другого человека наслать. Правда, иной раз эти тигры и грешников карают по предопределению свыше. Я думаю, хорошо бы удостовериться в точности, который из двух за нами ходит — обычный тигр или привидение.

Мысли так и забегали в голове у дяди Катока. Убедить бы, что тигр самый обычный и грехи здесь ни при чем, тогда все, что ни наговорил папаша Балам про него, про Катока, легко выдать за горячечный бред. Но что, если... Дядя Каток поспешил оборвать дальнейшие рассуждения на эту тему.

А Буюнг прикидывал, не дядя ли Хитам натравил на них того тигра, которого, по слухам, держит при себе. И вдруг как раз его, Буюнга, должно было погубить привидение, да обозналось?

Нечто подобное занимало сейчас Санипа и Талиба, Сутана и Пака Хаджи. Силились вспомнить, за какие же проступки могли бы заслужить они такую кару. Честно сказать, они бы ох как обрадовались, если б вскрылось, что зверь просто-напросто изголодался. Поэтому к дяде Катоку обратились взоры, исполненные надежды.

Тот помолчал, изображая глубокую задумчивость, потом, словно бы что-то для себя уяснив, разомкнул уста и заговорил:

— Трудновато будет доподлинно определить, что это за тигр такой. Все ли имеете амулеты? Я про те спрашиваю, которые от змей, от тигров и прочих хищников охраняют.

Что ж папаша Балам-то, носил амулеты или нет? Может, забыл надеть, перед тем как к реке отлучиться? Тогда и обычный тигр спокойно мог напасть, чего ему было бояться.

Дядя Каток нагнулся над папашей Баламом и начал ощупью искать у поясницы — там, где по обыкновению носят амулеты. Остальные придвинулись ближе и не отрываясь следили за его руками. Под чуть приспущенными штанами папаши Балама увидели кусок белой ткани, обернутый вокруг талии и увешанный всевозможными предметами. Тщательно исследовав их, дядя Каток объявил:

— Да, амулет против хищных зверей у него имеется. Теперь вот что. Узнать бы, не снимал ли он случаем этот пояс, когда на берег собирался. Ну-ка, вспоминайте. Сразу, как принесли сюда папашу Балама, были на нем амулеты или нет? А коли нет, тогда кто ему этот пояс обратно повязал?

Ничего вразумительного, однако, ему не ответили. До того ли им было? Сначала ошеломило нападение тигра, потом захватила погоня за ним. И хотя сами же переодевали папашу Балама, меняли на нем рубашку и штаны, про пояс с амулетами и про то, был он повязан или нет, решительно не помнили.

Видя их сомнения, дядя Каток произнес:

— Ладно, придется другой способ испробовать. Духов надобно порасспрашивать. Опасное это дело, лучше вам от меня отвернуться. И проследите, чтоб Балам ненароком на меня не взглянул.

Уселись спиной к огню, лицом к лесу и слышали только неясный шум, которым сопровождались загадочные манипуляции дяди Катока. Запахо ладаном, и этот сильный, отчетливо различимый запах настроил на размышления о непостижимом мире призраков и злых духов, вызвал в памяти рассказы о мертвецах, восстающих из могил, о бесах, чертях и джиннах. Дядя Каток монотонно читал заклинания. Несколько раз оттуда, где он находился, прозвучал угрожающий рык, и все стихло.

В наступившей тишине они еще острее ощутили, как ничтожно мал комочек тепла и света, затерявшийся в безбрежном мраке, и как похожи джунгли на чье-то темное, необъятное чрево, из которого им уже не суждено выбраться.

— Хвала Аллаху! — вывел их из задумчивости голос дяди Катока. — Видите кровь? — Лизнув уколотый палец на левой руке, он показал им кинжал. На острие заметны были пятна черного цвета. Дядя Каток пояснил: — Я тут

немного крови на лезвие выдавил и в огонь сунул. Будь этот тигр привидением, она бы так красной и осталась. А она вон почернела, как с обычной кровью бывает. Значит, у того тигра тоже кровь обычная, и сам он такой же.

Слова дяди Катока подействовали ободряюще. Конечно, и обычный тигр не подарок, но с таким худо-бедно, а можно бороться. Зато с призраком в обличье тигра... Перед ним любой беззащитен и беспомощен, а уж коли сам Всевышний посылает его в наказание за грехи, то и подавно. Ничего не поделаешь, примирись с судьбой и жди, изнывая от страха, свидания с миром иным. Но обычный тигр — другое дело. Буюнг, к примеру, чувствовал, что вполне мог бы его подстрелить.

Еще больше обрадовало, что теперь незачем каяться, незачем бередить старое и предаваться лицезрению собственных пороков. Изобличать дурное в себе самом, тем более при свидетелях, — удовольствие невеликое, и где тот человек, который охотно и терпеливо, хотя бы и в полном одиночестве, выслушивает укоры совести?

Доволен был и дядя Каток. Ловко вывернулся, теперь его власть над ними еще крепче. А ведь во время рассказа папаши Балама почудилось, что парни вот-вот передоверят старшинство Паку Хаджи, и вожаком станет он.

Сейчас, однако, на лицах у всех, не исключая Пака Хаджи, была написана неподдельная благодарность, и дядя Каток уверовал, что подчиняться ему будут беспрекословно, что про папашу Балама с его откровениями никто не проболтается. Об этом вообще постараются забыть и вспоминать не чаще, чем о своих прегрешениях.

— Ну, с обычным-то тигром мы сообща поборемся, — изрек он. — Думаю, до утра не потревожит. Проследить бы, чтоб костер горел поярче, они ж огня-то боятся. А хворосту нам, слава богу, хватит. В путь завтра тронемся попозже. Папаша Балам не ходок, это ясно, носилки ему нужны. Соорудим их, тогда и отправимся, а его по очереди понесем. Однако вот что получается. Те, кто с носилками пойдут, навряд ли смогут еще и корзины тащить. Слишком тяжело. Выбирать надо: либо всю смолу здесь оставлять, либо по крайней мере две корзины. Тогда в дороге меняться будем. Сначала одни тащат смолу, а другие — носилки, потом наоборот. Что скажешь, Пак Хаджи?

Пак Хаджи ответил не сразу.

— По-моему, оставить бы всю эту ношу, кроме провизии. Глядишь, и пойдем быстрей, и папашу Балама без

особой натуги дотащим. Главное, до деревни поскорее добраться.

Когда сошлись на том, что он прав, дядя Каток позвал всех укладываться спать. Иначе, мол, будете с утра как вареные. Но, несмотря на его уговоры, заснуть глубоко и надолго никому не удавалось. И даже не из-за давешнего происшествия с тигром и не из-за того, что жалобно стонал папаша Балам. Мешало смутное, невольно пробудившееся беспокойство, и, как ни старались совладать с ним, отогнать его, оно не отступало. О чем и о ком только не передумал каждый — и о себе самом, и о товарищах...

Талиб с чего-то вспомнил про Сити Нурбаити, девочку из их деревни. Подрастала, тринадцать уж исполнилось, когда года два тому назад нашли ее в поле мертвую. Долго потом люди шумели, почитай, с месяц угомониться не могли. Поговаривали, будто бы снасильничали над ней, вся одежда, дескать, изодрана. Так и не нашли того, кто ее замучил. Может, среди них он, среди тех, что рядом лежат?

Если по-честному, то и Талиба не единожды посещало искушение, когда попадалась на глаза эта рано созревшая девочка. Хорошенькое личико, дерзкий, насмешливый взгляд, упругие груди, которым давно уже тесно в стареньком платьице. Такое чувство, точно и он повинен в ее гибели... От этих воспоминаний было, как говорится, рукой подать до других, еще менее приятных, и Талиб силился остановить неумолимое течение своих мыслей.

Ворочались с боку на бок Пак Хаджи и Санип, не спалось Сутану и Буюнгу, да и дяде Катоку тоже. Речи папаши Балама снова и снова, подобно гулкому стуку в запертые двери, тревожили умы и сердца, меж тем как сам он метался в забытьи, снедаемый не то телесной, не то душевной мукой...

Лес словно тянулся к ним, тщился заморочить шорохами и шепотами, и густая темень, выплывавшая из чащи, сомкнулась бы над хижиной, если бы не зарево костра.

В эту ночь пробудившаяся совесть все настойчивее давала знать о себе.

Глава V

Никто так толком и не уснул, и, когда звонкие петушиные крики возвестили о приближении рассвета, все, кроме папаши Балама, разом вскочили на ноги. Кипятили воду, готовили завтрак, совершали омовения, но за этими делами,

памятуя о нависшей над ними смертельной опасности, держали ухо востро и краем глаза следили за джунглями.

Творя молитву, внимали возгласам Пака Хаджи с особым смирением, с нараставшим желанием всецело отдаться под покровительство Всемогущего, укрыться под сенью даруемой Им благодати. Кажется, никогда еще не знали они такого упоения молитвой. Простершись ниц со словами «Преславен господь наш», касаясь лбами земли, они мнили себя малыми детьми, прячущими лицо в коленях отца, и в каждом крепла надежда, что Он услышит их мольбы, что Он простит и на веки вечные сбережет их от беды.

После молитвы им стало спокойнее, и они смелее, с обновленной верой в Его милосердие и в свои силы встретили занимавшийся день.

Папашу Балама уже с утра била лихорадка. Он несколько раз вскрикнул от боли, пока дядя Каток, размотав повязку на ноге, снимал прилипшие к изуродованной голени листья — пожухшие, отдавшие больному свои целебные соки, — чтобы заменить их на свежие. Но, как видно, избежать заражения не удалось. Оголенные ткани подернуло нездоровым, сероватым налетом, сквозь который местами проступал гной. Едва ли не хуже выглядели сильно вспухшие по краям раны на спине.

Дядя Каток многозначительно покачал головой, заметно посерьезнел и Пак Хаджи. Да и остальные поняли без лишних слов, что папашу Балама надо срочно доставить домой, а оттуда немедля везти в город. Те снадобья, какими потчуют страждущих знахари и деревенские лекари, тут не годятся. Ученый городской доктор — вот кто нужен папаше Баламу. Достаточно было слегка прикоснуться ладонью ко лбу, чтобы почувствовать, какой у него жар. От еды он отказался, отхлебнув лишь глоток кофе.

Позавтракав, Талиб и Буюнг смастерили носилки, а Пак Хаджи, дядя Каток и Сутан, освободив две корзины, сложили в них съестные припасы и оленину. Прочие, наполненные смолой, припрятали в хижине.

В путь тронулись, только когда совсем рассвело. Причем, в отличие от того, как было накануне, дядя Каток со своим ружьем шагал впереди. За ним, с корзинами за спиной и обнаженными тесаками в руках, следовали Буюнг и Санип. Талиб и Сутан несли папашу Балама, а Пак Хаджи, опять-таки державший тесак наготове, замыкал шествие. Такой порядок избрали не случайно. Посоветовавшись, решили, что тигр чаще нападает сзади. В этом смысле

положение Пака Хаджи — самое уязвимое. Но пойди сзади и подвергнись нападению дядя Каток, он навряд ли успеет выстрелить, и тогда всем им несдобровать. И наоборот, если тигр бросится на Пака Хаджи, у дяди Катока будет несколько секунд на то, чтобы прицелиться и поразить зверя.

Так-то оно так, но разве не может тигр, вопреки любым расчетам, зайти спереди? Об этом старались не думать. Как предусмотреть все наперед? Хочешь не хочешь, а сплошь и рядом приходится идти на риск. Главное — не позволить застать себя врасплох ни при каких обстоятельствах и, что бы ни случилось, не терять мужества и стойкости.

Продвигались не слишком быстро, да оно и немудрено. Стоило чуть удалиться от берега, как глинистая, скользкая тропинка начала довольно круто подниматься в гору. Особенно туго пришлось Талибу и Санипу, тащившим носилки. То и дело кто-нибудь из товарищей спешил к ним на подмогу, и через полчаса эти двое совсем уморились. Их заменили.

Наконец в полдень, по сигналу дяди Катока, остановились передохнуть.

Кстати говоря, дядя Каток ни единого раза не взял на себя труд понести заодно с другими папашу Балама. И спутники не роптали. Они как бы молчаливо соглашались, что это не входит в его обязанности, поскольку он-де у них предводитель и, так сказать, руководит операцией по спасению папаши Балама, да и остальных тоже. Вот он и вышагивает во главе колонны — обладатель самого смертоносного оружия, которое только имеется в их распоряжении и без которого тигра ни за что не одолеть. Фактически в его руках ключи от жизни каждого. Мыслимо ли оспаривать приказы такого человека?

Да и дядя Каток воспринимал свое старшинство, свое право повелевать и требовать подчинения как нечто самоочевидное. У него попросту не укладывалось в голове, что эти люди могут вынашивать какие-то соображения или взгляды, отличные от его собственных.

Ведь это он, дядя Каток, доподлинно знает, как уберечься от грозного врага. Не он ли безошибочно определил, что преследует их вовсе не призрак, а обычный тигр? И разве не он — величайший охотник, искусству которого дивится в деревне и стар, и млад? Всем известно, что его пули уже сразили наповал трех тигров, и, если этот четвертый снова посмеет к ним сунуться, его постигнет та же участь.

А папаша Балам был по-прежнему очень плох. В дороге он жестоко страдал. Малейшее сотрясение носилок доставляло ему нестерпимую боль, а однажды, когда Сутан, поскользнувшись, уронил их, папаша Балам не удержался от крика. Во время привала он опять-таки не принял никакой пищи и лишь попросил попить.

Пак Хаджи стал было уговаривать его, чтоб подкрепился. Не то, мол, вовсе ослабеть можно. Однако, едва притронувшись к еде, папаша Балам отстранился от нее и, застонав, прикрыв глаза, еле слышно вымолвил, что ему не хочется. Вот только бы немного кофе...

Жар его усиливался.

* * *

Спустя два часа после того, как сборщики покинули свой ночлег, туда пришел старый изголодавшийся тигр. Он приближался к этому месту крадучись, неслышно ступая, жадно втягивая в себя множество запахов, сохранившихся и перемешавшихся здесь.

Запах оленины и крови, струйки и капли которой застыли на плетеных стенках корзин, в конце концов побудил его войти внутрь хижины. Когда незнакомые предметы перестали внушать подозрение, тигр зацепил когтями передней лапы один из них, повалил набок и принялся лизать застывшую кровь. Увы, насытить это не могло. Он заглянул в другие корзины, от которых тоже тянуло возбуждающим запахом оленины, перевернул их, переворошил содержимое, но ничего съестного не обнаружил. На этих также виднелись пятна ссохшейся крови, но мяса, вкусного и свежего оленьего мяса, не было в помине. Охваченный досадой и яростью, он взревел и, тяжело дыша, несколько раз обежал вокруг кострища.

Помимо запаха оленя, близ хижины витал и сильный запах человека, с недавних пор столь же властно манивший старого тигра. Пригнувшись к земле и отыскав следы людей, он двинулся в том направлении, куда они вели, переправился через реку и снова начал принюхиваться.

* * *

— Теперь полегче будет, — пообещал дядя Каток, когда, отобедав, стали собираться дальше. — Тропинка уж под гору пошла. Поживее бы идти. Тогда, как водит-

ся, доберемся засветло, задолго до магриба.

Напомнив, что надо непременно прибыть к месту новой стоянки до наступления темноты, дядя Каток волей-неволей напомнил им и о тигре. Уж не преследует ли он их, как охотник оленя, не выжидает ли где-нибудь подходящего момента для нападения? Однако явных признаков того, что он бродит поблизости, не было. Животные и птицы галдели на все лады, высоко над головами людей крупные макаки, перепрыгивая с ветки на ветку, громко окликали друг друга на своем обезьяньем языке. Обитатели леса вели себя как обычно, и это действовало успокаивающе. Сборщики вышли в путь, почти не испытывая душевной тревоги и, вероятно, даже с некоторой беспечностью. Так или иначе, никто не подождал Талиба, приостановившегося у края тропинки справить малую нужду. Пока он возился со штанами, остальные успели уйти вперед.

Тут-то и раздался бешеный рев, повергший путников в полную неподвижность. Тела их будто судорогой свело — из оцепенения вывел лишь отчаянный вопль Талиба. Способность воспринимать окружающий мир и себя в нем мгновенно вернулась, но в этом мире не было слышно теперь ни птичьего гомона, ни визга и возни обезьян. Остался лишь стук собственных сердец, да еще свое же неровное дыхание. Насмерть перепуганные люди разрывались между необходимостъю спешить на помощь товарищу и мыслью о собственном спасении. Понадобилось несколько томительных секунд, чтобы долг взаимовыручки возобладал над иными порывами. Буюнг резким движением сбросил с плеч корзину, Сутан и Санип, державшие носилки, быстро опустили их наземь, а дядя Каток огромными прыжками покрыл расстояние до того места, где они оставили Талиба. Однако никого и ничего, за исключением валявшихся в траве тесака и корзины, там уже не было. Судя по звукам, доносившимся из-за деревьев, тигр, как и прошлой ночью, волоком тащил человека в лес.

Стрелять бы надо, но куда? К тому времени, как дядя Каток обернулся на рев, тигр успел скрыться из виду. Впрочем, его следы, размеры которых поразили сборщиков, были отчетливо различимы, и по этим-то следам они кинулись в заросли, совершенно забыв о покинутом ими папаше Баламе.

Как и накануне, они пытались истошными, пронзительными криками взять зверя на испуг и заставить его бросить добычу. По прошествии одной-двух минут погони уперлись

в сплошную стену кустарника, которую тигр уже исхитрился преодолеть. Охотничий инстинкт, дремлющий во всяком человеке и взыгравший сейчас в них, неотвязная мысль о Талибе и его беде придали им сил. Без устали взмахивая тесаками, точно воины в амоке, они буквально врубились в заросли и проложили себе дорогу сквозь них. Должно быть, это делалось с таким шумом, что зверь и впрямь испугался. Выскочив на небольшую полянку, увидели Талиба, неподвижно распростертого в луже крови. На его теле невозможно было отыскать живого места. Что и говорить, зрелище жуткое, но предаваться страхам было не время. Трое подняли Талиба на руки, двое, включая дядю Катока, составили охрану, и вся эта группа заторопилась назад — туда, где бросили в одиночестве папашу Балама. Волнуясь за него, опасаясь, как бы в их отсутствие тигр не напал на него вторично, они, однако, не высказывали вслух своих опасений.

После того, что стряслось с Талибом, никто вообще не проронил ни слова — до такой степени обуревали каждого мысли и чувства, нагрянувшие столь же нежданно, как и тигр. Привести их в порядок, разобраться в них было затруднительно, но все они были прямо связаны с этим внезапным нападением.

К счастью, тигр не потревожил папашу Балама.

По-прежнему мучимый лихорадкой, он слегка приподнялся и не отрываясь смотрел, как его спутники приближались, неся окровавленное тело. И без того бледное, лицо папаши Балама побелело совсем.

Когда тигр с ревом кинулся на Талиба, папаша Балам вскричал от ужаса еще прежде самой жертвы, словно бы заново пережив вчерашний кошмар. А когда оставили его в лесу одного, он чуть не умер со страху. Душа опять терзалась сознанием, что возмездие, посланное им свыше, еще не свершилось до конца. Тигр опять пришел по их души, опять вершит расправу. А товарищи-то, как видно, не вняли пока его словам, не думают каяться перед Всемогущим в содеянных грехах...

Увидев, что папаша Балам обо всем догадался, никто не стал ничего ему объяснять.

Дядя Каток велел Буюнгу и Сутану не мешкая соорудить носилки для Талиба, а сам призадумался. Теперь лишь пятеро из семерых могут передвигаться самостоятельно, а до тех мест, где обычно ночуют, не менее двух часов ходу. Нести корзины и носилки одновременно невозможно.

Придется устроить привал где-нибудь поближе. И дядя Каток объявил, что сегодня заночуют у подножия холма, на берегу небольшого ручья. Идти туда всего с полчаса. Сперва переправят папашу Балама и Талиба, а потом вернутся за провизией.

Как только носилки были готовы, Талиба, до сих пор не очнувшегося, уложили на них. Изранен он был страшно. Его даже не решались осматривать. Пусть уж на привале дядя Каток самолично этим займется.

Спускаться пришлось опять-таки по скользкой тропке. С горем пополам дотащившись до ручья, сразу взялись строить хижину, отобрав для этой цели более прочные и толстые ветки, чем обычно. Как и в прошлый раз, с трех сторон обнесли навес стенками и, немного погодя, заговорили вот о чем: следует ли, дескать, дяде Катоку сопровождать с ружьем тех, кто пойдет за корзинами? Коли трое, включая дядю Катока, отправятся туда, то кто ж останется при раненых? Получается, всего двое здоровых. А ну как зверь тем временем подберется к хижине? Что тогда? Но, допустим, те, кому идти за корзинами, ни прикрытия, ни ружья иметь не будут. Куда им деваться, коли тигр по пути подкараулит? Тесаками от него не отобьешься.

Однако и дяде Катоку отлучаться не резон. Надо ведь Талибу поскорее помочь, подлечить его как-то. А кто это может, кроме дяди Катока?

В конце концов дядя Каток с явным неудовольствием вручил ружье Буюнгу и приказал ему, чтоб шел вместе с Сутаном и Санипом за корзинами. Он же, дядя Каток, побудет на привале, и Пак Хаджи с ним. Они-де разведут такой костер, который любого тигра отпугнет, а там и воды вскипятят, промоют Талибу раны, заварят ему целебного питья.

Тщательно проверив, заряжено ли ружье, Буюнг зашагал впереди товарищей. Все трое шли быстро. Странным образом предельная собранность сочеталась у них с глубокой задумчивостью, и мысли, посещавшие их сейчас, заставляли учащенно биться сердца. Первым, не в силах долее сдерживаться, заговорил Буюнг:

— А что, может, прав папаша Балам, что тигр этот богом послан в наказание за наши грехи?

— Тихо! Зачем его по имени назвал? Хочешь, чтоб напал на нас? — одернул его Сутан.

— Виноват, — подосадовал на себя Буюнг, — забыл, что в лесу его дедом величать положено. Но коли прав-таки

папаша Балам, то не лучше ли покаяться нам, попросить у Аллаха прощения?

— Поди разберись. Не нам об этом толковать. Пускайка дядя Каток с Паком Хаджи про это думают, — заключил Санип.

И они, не сбавляя шага, молча проследовали дальше.

* * *

Возвращались уже под вечер. Костер, разожженный в их отсутствие, был хорошо виден издалека. Благополучно доставив провизию на привал, Санип и Сутан с превеликим облегчением перевели дух, а Буюнг не замедлил вернуть ружье хозяину.

В хижине лежали рядом папаша Балам и Талиб — мертвенно-бледный, еле дышавший, так и не пришедший в себя. Правда, дядя Каток успел промыть его раны и, оторвав от кайна несколько полос, наложил повязки. Куски материи, туго обмотанные вокруг груди, обеих ног и руки, набухали от крови.

Что до папаши Балама, то его дела обстояли по-прежнему, если не хуже. Трясясь в лихорадке, устремив кверху неподвижный взгляд, он поминутно повторял слабым голосом: «Покайтесь, покайтесь в грехах, это бог послал тигра в наказание...»

В ответ на вопрос, что с Талибом, дядя Каток нахмурился. Надеяться, по его мнению, было почти не на что.

— Ляжку прокусил аж до кости, грудь вся как есть когтями разодрана. Боюсь, не выживет. Очнулся бы перед смертью, и то хорошо.

В это самое время Талиб, будто вняв словам дяди Катока, приоткрыл глаза. Губы шевельнулись, он силился что-то сказать. Низко склонившись над ним, расслышали:

— Грешен... грешен я... украл... кра-а-ал... прости, господи... нет бога, кро-о...

Он умолк, как-то сразу вытянулся, глаза закатились.

Был Талиб — и нет его. Преставился.

Но что, если его гибель — лишь начало, а тот, от чьих клыков он погиб, и впрямь, как твердит папаша Балам, не просто тигр, но дух, преследующий их, грешных, по воле Всемогущего? Тогда остается одно — смиренно и безропотно предстать перед Его праведным судом. И коли воистину назначено им, в наказание за тяжкие провинности, умереть злою смертью посреди темного

леса, то быть посему, и пусть исполнится предначертанное.

Однако вопреки любым умствованиям и доводам рассудка жажда жизни не только не утихала, но становилась еще мучительней, еще неутолимей из-за того, что жизнь висела на волоске. Отчаянно хотелось уцелеть, вырваться из джунглей и войти в свою деревню, переступить родимый порог и обнять домашних, хотелось любить, хотелось снова быть с людьми, в самой гуще людей. И ничего не было противнее мысли о кровожадном хищнике и о том, чем грозит встреча с ним. Борись, не сдавайся, отвоюй свое право жить! — доносилось до каждого из тех потаенных глубин души, над которыми разум не властен.

— Так он воровал? Что же он украл-то? — Пак Хаджи испытующе посмотрел на Санипа, потом на Буюнга и Сутана.

— Понятия не имею. — Это вымолвил Буюнг, тогда как Сутан и Санип, похоже, пребывали в замешательстве. Причем первый словно бы предупреждал второго взглядом, чтоб держал язык за зубами.

Тут в разговор вмешался папаша Балам, у которого горячка и бред перемежались краткими моментами просветления и который, должно быть, услыхал какие-то обрывки фраз:

— Видно, ничем вас не проймешь. Талиб вот умер, скоро и мой черед, не вынесу этого жара. Хотите, чтобы смилостивился Всевышний — кайтесь! Талиб-то, хвала Аллаху, повиниться успел. Кайтесь и вы!

Сознание его опять помутилось, он замолчал. Широко раскрытые глаза уставились куда-то сквозь кровлю хижины, поверх высоких деревьев, росших неподалеку от ручья. Папаша Балам точно глядел в небесные дали, и никому из смертных не дано было знать, что он там узрел.

Вдруг Санип резко выпрямился и возбужденно, как будто стало невмочь сдерживаться и терпеть, выпалил:

— Ты, Сутан, как хочешь, а я!..

Сутан, подскочив к нему, тряхнул за плечо.

— Сдурел, что ли? А ну заткнись!

— Нет уж! — отрезал Санип. В глазах вспыхнул шальной огонек. Видно, его так и подмывало выговориться. Поняв это, Сутан, однако, и не думал уступать:

— Только посмей! Забыл, в чем клялся?!

Но Санип, не в силах остановиться, продолжал:

— Да, есть на нас грех. Втроем мы — Талиб, я и...

Сутан окликнул его по имени, еще раз грубо встряхнул, но Санип решительно высвободился из рук напарника. Обернувшись к остальным, он открыл рот — и полетел кубарем, сбитый с ног подсечкой. Падая, он изловчился, увлек за собой Сутана, и завязалась нешуточная схватка, прекратить которую Буюнгу и Паку Хаджи стоило немалого труда. Дядя же Каток, пока драчунов разнимали и растаскивали в разные стороны, и бровью не повел. Все это время он просидел без движения, не выпуская своего ружья.

— Спокойно, спокойно, — заговорил Пак Хаджи, придерживая для верности Санипа. — У нас тут такое творится, а вы в драку. Чего сцепились?

— Покаяться... покаяться хочу, — отвечал запыхавшийся Санип, — а этот... Клятву, мол, нарушаешь, обещал... Ну и пусть себе злится... Неспроста тигр на Талиба напал, есть в том и моя вина. Втроем мы это дело провернули — Талиб, Сутан и я. С полгода назад ходили в деревню Керамби, угнали у одного из тамошних, у Хаджи Серданга, четырех буйволов... — Он глянул на своего обидчика, готовый защищаться, если тот полезет снова. Но Сутану, поникшему головой и осевшему наземь, было теперь, судя по всему, совершенно безразлично, о чем повествует Санип.

— Пастух нас приметил. Ну, Талиб и пырнул его ножом, чтоб не мешался, не поднимал шума. Убить не убил, но, что мы за люди и откуда, пастух этот все равно не знал. Буйволов потом зарезали, а мясо в городе продали, на базаре. Такой вот у нас общий грех. Хотел рассказать, а Сутан...

— Говори, в чем еще грешен, — неожиданно подал голос папаша Балам.

— В чем еще?.. — Санип замялся. Стоит над этим малость поразмыслить, и выходит, будто чуть ли не с пеленок только и делал, что грешил. Признаться, что ли, как мальчишкой таскал у матушки деньги — по мелочи, по грошику? Или как грохнул об пол керосиновую лампу, а сам юркнул из комнаты — пусть-де мать с отцом на кошку подумают. А сколько раз лазил в сад к старосте за кокосами, сколько наворовал других плодов — дурианов, манго, дуку... Еще помнит, как послали его однажды на урок, Коран учить, а ему прямо до страсти хотелось погонять мяч с ребятами. Делать нечего, пошел в мечеть, но такая досада взяла, что посреди дороги пнул ногой Священную книгу. Да и вообще непослушным был, частенько матери дерзил. Дальше больше. Чуть подрос, приехал

первый раз в город без провожатых — и прямиком к продажным женщинам, в публичный дом. А ведь такие дела господь строго-настрого запрещает. Что ж, и эту тайну открыть? Тогда отчего бы заодно не покаяться, что всякий раз, как увидит смазливую бабенку, одолевает его дикая похоть? Пока у дяди Хитама обретались, чуть с ума не сошел, глядя ежедневно на Сити Рубийях.

Рассказать про это и про многое другое? Ведь каких только грехов, каких проступков, больших и малых, не числится за ним! Посещали и посещают недобрые чувства — и черная зависть, и похоть эта проклятая. Ему ли не знать о глубоко засевшей в нем непомерной гордыне, о жестокости и жадности, что уживаются с нею. Не раз и не два унижал бедняков, насмехался над убогими и увечными, да и старшим, не говоря уж о родителях, далеко не всегда выказывал почтение. Едва ли не все дурное совершил, что можно себе вообразить. Так прямо об этом и поведать? Но останется ли тогда от него хоть что-нибудь? Ведь это все равно, что по собственной воле выйти на люди в чем мать родила. Поверх обычной кожи у каждого имеется еще одна, невидимая, делающая его похожим на прочих людей, но также и защищающая от них. Если рассказать все, если содрать с себя эту вторую кожу, то как жить потом с людьми? Кто ж не знает, как беспощадны люди в большинстве своем, как немилосердны они к своим беззащитным собратьям. Быть может, видя подобного человека, другие понимают, что сами могли бы оказаться на его месте, и, страшась этого напоминания, люто ненавидя тех, кто его несет, гонят несчастных прочь, стремятся стереть их с лица земли, чтобы их присутствие не наводило на невеселые мысли о превратностях судьбы.

Но если смолчать, то не придется ли платить за это жизнью? Нет, умирать он не хочет. Он еще слишком молод, он должен жить, жить!

Он вздрогнул, услышав, как дядя Каток сурово и неумолимо произнес:

— Говори, Санип! Я здесь за старшего, я за наше спасение в ответе. Хоть и показало мое гадание, что никакой это не дух, но всякое может статься, вдруг да и прав папаша Балам. Нельзя этого тигра более гневить. Признавайся по-честному, в чем грешен, и моли господа о прощении!

Но Санип попытался-таки избегнуть покаяний и самообличений:

— С чего это я один должен каяться? Или, скажете, некому, кроме меня? Я ж признался, что украли буйволов.

— Все, все грехи, какие ни на есть, признать надо, — опять донеслось оттуда, где лежал папаша Балам.

Санип, однако, по-прежнему молчал, никак не решаясь начать.

— Не беспокойся, дойдет очередь и до остальных, — заверил дядя Каток. — А на ослушников у меня управа найдется. — И он для убедительности продемонстрировал им ружье.

Буюнг поежился.

— Сперва Санип, потом Сутан, а там и Буюнг с Паком Хаджи. А насчет моих грехов, — добавил он не без горечи,— вы от папаши Балама уже наслышаны. Очистимся от скверны, попросим прощения у Всевышнего — глядишь, и отстанет от нас дед. Ну, давай, Санип. Нет у нас времени, ночь уж скоро, а в темноте чего только не случается.

Буюнг меж тем твердо решил: про то, что было у него с Сити Рубийях, никому ни слова. Будь что будет, пусть стреляет в него дядя Каток, пусть тигр рвет на куски. Умирают лишь однажды, а вот позорное клеймо не смыть вовеки, подумалось ему.

А Санип, точно надломившись под напором дяди Катока, выложил все как на духу. Ничего не таил, и, пока рассказывал, бремя грехов, давным-давно тяготившее душу, понемногу ослабевало. Наконец-то!

Буюнг слушал, остолбенев от изумления. Гнев, тревога, отвращение, жалость перемешались в его груди. Неужели тот, кто вывалил на них эту кучу грязи, и есть его старый друг — Санип-весельчак, Санип, о котором никто в деревне худого слова не скажет, Санип, перед которым он, Буюнг, чуть ли не преклонялся?! Как тянулся к нему, как верил, а он, получается, отъявленный враль, прелюбодей и вор.

— Теперь ты, Сутан, — скомандовал дядя Каток.

Но Сутан будто оглох и, ни на что не реагируя, продолжал сидеть в той же позе, тупо уставясь в землю.

— Сутан! — окликнул дядя Каток погрубей и порезче.

В ответ опять ни звука.

— Ладно, хватит на сегодня и Санипа. Эк вас, бедных, пробрало, совсем раскисли. Но поутру продолжим, так что готовьтесь, — предупредил дядя Каток.

После магриба никто и не помыслил об ужине. Да и молитва тоже хороша была. Сначала дядя Каток охранял их с ружьем, потом, когда он молился, Буюнг стоял на страже.

В эту ночь, как и в предыдущую, было не до сна. Думали о том, что с утра предстоит хоронить Талиба, молились за упокой его души, читали вслух из Корана.

Буюнг вспоминал о жене покойника, о детях. Каково-то будет им узнать, что сталось с ним. Да, всполошится деревня, когда придут они с такой вестью. И сразу стало не по себе. А суждено ли вернуться-то?

Чтение молитв сопровождалось непрерывными стонами и невнятным бормотанием изнемогавшего от жара папаши Балама. Только и можно было разобрать, что «грехи» да «Аллах милостив». Пак Хаджи то и дело утирал ему пот со лба. Изуродованная нога распухла, рана превратилась в сплошной гнойник.

Талиб и папаша Балам лежали рядом — покойник и тот, чья смерть была уже недалече, а пятеро сидели подле, освещенные пламенем костра. Поминая мертвеца, затерявшаяся в джунглях горстка живых трепетала от мысли, что тигр сейчас мечется в темноте где-нибудь неподалеку, нетерпеливо высматривая новую добычу. В ушах как будто до сих пор стояли его рев, крики Талиба, зовущего на помощь, и тоска заедала еще сильнее, чем вчера.

И чем грозней, чем ужасней казалась опасность, тем острее было чувство собственного бессилия. За каждым кустом, за каждым стволом и веткой мерещился тигр, в каждом звуке слышалась его поступь, и чудилось, что он подкрадывается все ближе и ближе...

Глава VI

Забрезжил рассвет. Сотворив заупокойную молитву, нашли подходящее место для погребения — на склоне холма, повыше, чтобы в дождливую пору полноводный поток не заливал останков. Вырыли могилу, и Пак Хаджи пообещал, что, вернувшись в деревню, самолично изготовит надгробие. Коли суждено будет снова отправиться на лесной промысел, то установят его здесь.

Потом наблюдали, как Пак Хаджи омывает изувеченное тело Талиба, как вытирает и заворачивает его в чистый кайн.

Над покойником еще раз помолились, перенесли на плечах к могиле и, опустив в нее, засыпали землей. Сверху аккуратно уложили камни, специально собранные для этой цели на берегу ручья. Посидели вокруг, внимая словам

Пака Хаджи о величии Всевышнего и о заветах пророка, скорбно и задумчиво помолчали.

Наконец дядя Каток объявил:

— Ну что ж, пора и в путь.

Однако, войдя в хижину, они увидели, что папаша Балам совсем плох. Он весь горел, как в огне, и беспрерывно бредил. Бегло осмотрев больного, дядя Каток пришел к выводу, что в столь плачевном состоянии папаша Балам вряд ли выдержит очередной переход, и следует обождать с этим хотя бы до завтра. Тут-то Буюнг и озадачил своих спутников, предложив пойти на тигра.

— Уж целых два дня за нами рыщет, а мы ничего. Самим надо начинать охоту, вот что. Так оно лучше будет.

Оправившись от изумления, Сутан громко поддержал эту идею, а дядя Каток распорядился, что на охоту с ним пойдут Буюнг и Санип. Сутану же и Паку Хаджи надлежит присматривать за папашей Баламом и сторожить хижину.

— И не забывайте о костре. Бог милостив, не потревожит вас тигр, побоится, — наставлял их дядя Каток.

Душевный трепет сменился у тех, кому предстояла битва с хищником, азартным предвкушением охоты. Да, охотничье ремесло знакомо им отлично. Им ли не понимать, что встреча со зверем, которого выследили они, и с тем, который выследил их, — вовсе не одно и то же. Теперь они снова держат в своих руках нити собственных судеб, ощущают свою силу, сами выбирают, как им поступать, и совершают поступки. Теперь охотятся они, а не на них.

— Вернемся до магриба,— сказал дядя Каток Паку Хаджи. — А вы с Сутаном к полудню заварите трав и напоите папашу Балама. Напоите непременно, коли не захочет — заставьте.

Сборы были недолгими. Позавтракав, запасши в дорогу кое-что из еды, дядя Каток, Буюнг и Санип направились туда, где тигр напал вчера на Талиба, и вскоре скрылись из глаз. Пак Хаджи и Сутан глядели им вслед невесело, чувствуя себя в отличие от тех трех слабее и беспомощнее прежнего. Мало того, что товарищи покинули — присутствие исстрадавшегося папаши Балама само по себе действовало угнетающе. Казалось, зверь, так жестоко потрепавший его, мог нагрянуть в любую минуту. И что тогда? Отбиваться от тигра тесаками? Да это все равно что голыми руками. Каков хитрец, однако, дядя Каток! Ему-то с его ружьем тигр не так страшен. А он с собой еще и этих счастливчиков увел, Буюнга и Санипа.

Отчего вдруг попритихли макаки, уж не деда ли испугались? Слава богу, вроде опять ожили. Но чу! Что-то треснуло, вон там, за тем деревом... Да, страшновато, а тут еще папаша Балам, будь он неладен, давит на мозги своим несносным бредом.

Сутан уже не раз ловил себя на мысли, что папаше Баламу пора бы отправиться к праотцам. До чего надоел, заладил как попугай: грехи, грехи, покайтесь в грехах. По временам, когда назойливое бормотание больного чересчур допекало Сутана, он буквально затыкал уши, чтобы ни единый отголосок не проник к нему в сердце и разум. И все-таки вопреки его стараниям что-то беспокойно шевелилось внутри и будто просилось наружу из-за наглухо запертых дверей. Но отпирать их, эти двери, нельзя было ни в коем случае.

Может, оно и к лучшему, что дядя Каток с утра пораньше ушел на охоту. Ведь исполни он свое давешнее намерение и вели покаяться... Трудно сказать, что бы сделал Сутан, но только ни в каких провинностях он признаваться не намерен. Нет, и точка. Он и вспоминать ни о чем таком не желает, а уж посвящать посторонних в свои дела и подавно.

Кое-какие грешки за ним, конечно, водились и водятся. Было дело, нарушал пост, ел тайком. Уличили его, стали упрекать, а он ни в какую не признается. Или, к примеру, когда-то давным-давно, несмотря на отцов запрет, покуривал, сидя в уборной. Да и не одного отца — и мать, и дружков, и жену обманывал, но угрызений совести по этому поводу ни малейших. Про то, как угнал буйволов в компании с Талибом и Санипом, тоже помнит. Ну и что особенного? У них в деревне, если разобраться, вор на воре едет и вором погоняет. Почти каждый что-нибудь когда-нибудь да украл. Коли не буйвола, так козу, не козу, так курицу, не курицу, так рыбину, не рыбину, так кокос — да все, что плохо лежит, то и крадут. А некоторые — он точно знает — вообще промышляли разбоем. И ничего, преспокойно дожили до седых волос. Один аж до восьмидесяти лет дотянул. Разговорится, бывало, и ну хвастать, как в молодые годы останавливал на проселках повозки с товарами, тащившиеся по базарным дням из деревни в деревню, и обирал хозяев подчистую. А ведь многим в голову не приходит назвать грехом этот чистейшей воды грабеж. Какой там грех — геройство, подвиг!

До женского полу он, правда, охоч, но неужто простую

человеческую слабость можно приравнять к великому греху, в наказанье за который господь посылает к ним тигра-людоеда? Сколько на белом свете гораздо более почтенных людей, облеченных высокой властью и чинами, которых можно упрекнуть в том же самом. Взять хоть бы деревенских старейшин. Эти, бывало, только и делали, что женились, разводились и женились по новой. И все было в порядке. Главное, при этом они добросовестно следили, чтобы, в полном согласии с предписаниями Священной книги, число их супружниц ни в какое время не превышало четырех. Но разве на самом-то деле не грешили они тем же грехом, что и он? А как быть со знаменитым богословом, с шейхом Хаджи Бахаруддином? Этот, слышно, с двадцати пяти до семидесяти лет успел сменить аж сорок пять жен — то есть что ни год брал новую и, между прочим, обязательно девственницу!

Но вот некий внутренний голос произнес слова совсем иного рода: «Позорнейший, тягчайший грех совершен тобою...»

— Да заткнешься ты или нет?! Тихо, кому говорю! — выкрикнул Сутан, тщась разом утихомирить и бредившего папашу Балама, и этот коварный голос. Но было поздно. Вспомнился тот злополучный день.

Ставил силки на птиц за деревней, вблизи заброшенного поля. Сидит под кустом и примечает невдалеке молоденькую Сити Нурбаити. А та идет себе с корзинкой, срывает маленькие баклажанчики. Их там, на этом поле, полным-полно было. Что он знал про нее? Сирота, живет со старухой бабкой, помогает ей кое-как прокормиться — собирает на продажу то овощи, то дрова. И с чего вдруг взыграло в нем желание? От ерунды какой-то, оттого, что увидал ее грудь сквозь прорехи в поношенном платьице...

Короче, подошел он к ней. Давай, говорит, помогу тебе, а потом как сгреб в объятия. Повалил, а она вырывается. Тогда-то он...

— Заткнись! Заткнись!— истерически заорал Сутан и бросился на папашу Балама, готовый задушить его, только бы не слышать этих бесконечных напоминаний о грехах и покаяниях. И если б не Пак Хаджи, своевременно помешавший Сутану, папаше Баламу не поздоровилось бы. Больной, однако, замолчал, и теперь ничего, кроме звуков тяжелого, прерывистого дыхания, не вырывалось из его уст.

— Ты что? — Пак Хаджи, крепко придерживая Сутана, сверлил его глазами.

Сутан все же вырвался, сжал голову обеими руками. Взгляд у него был совершенно шальной.

— Чего ему неймется? Не могу этого больше терпеть. И днем, и ночью одно и то же — грехи, грехи, грехи. Чтоб он сдох!

И, будто внезапно решившись на что-то, Сутан схватил тесак и побежал в том направлении, куда ушли дядя Каток, Санип и Буюнг.

Ошеломленный Пак Хаджи потерял дар речи и обрел его вновь не раньше, чем Сутан исчез среди деревьев.

— Сутан, Сутан! Куда же ты? Вернись!

Увы, в ответ на призывы Пака Хаджи раздались лишь обезьяньи крики.

* * *

Уже два часа, как дядя Каток, Буюнг и Санип шли по следу тигра. Влажная лесная почва облегчала их поиск.

Будучи опытным следопытом, каждый их трех мог без труда догадаться, сколь огромен зверь: между отпечатками передних и задних лап умещалось до шести обычных человеческих шагов. Ясно, что это высокий, очень крупный и, скорее всего, старый тигр.

Вчера, после того как Талиба удалось отбить, он метнулся в чащу. Однако позднее возвратился назад, подошел к тому месту, где сборщики оставляли в одиночестве папашу Балама, а далее, отвлеченный, по-видимому, запахом кабана, на время прекратил погоню за людьми и снова углубился в джунгли. Кабан, судя по всему, довольно долго не подозревал, кто за ним крадется, и спокойно трусил к водопою. Там-то тигр и попытался настичь его: на берегу лесного ручейка в беспорядке перемешались отпечатки копыт и когтистых лап. Преследуемый и преследователь по очереди перемахнули через ручей, тигр понесся за намеченной жертвой, но догнать ее так и не сумел. В конце концов, приостановившись, он опять повернул в том направлении, куда шли люди, и все трое, поняв это, напряглись и насторожились. Выйдя к небольшой речке, тигр напился и шагнул в воду. Тем не менее на противоположной стороне следов не отыскалось.

— Да, придется здесь побродить, так сразу не найдешь. — Дядя Каток поднял голову кверху, силясь разглядеть за широкими листьями солнце. — Полдень уже, поесть пора. Мало у нас времени, до заката должны вернуться.

За обедом дядя Каток прикинул, что отсюда до их стоянки идти часа три. Стало быть, на поиски зверя и его следов остается не более двух часов.

Буюнг и Санип беседу не поддержали. Оба основательно вымотались, да оно и понятно. Трудновато человеку ходить день-деньской теми путями и тропами, которые прокладывает в лесу тигр. Зато опасений по поводу того, что в их жизнь вмешались потусторонние силы, поубавилось. Разглядывая следы, и Буюнг, и Санип постепенно убеждались, что имеют дело с таким же существом из костей и мяса, как, к примеру, олень, и этого зверя тоже можно подкараулить и подстрелить.

Поев, двинулись вниз по течению, прямо по воде. Несколько раз выбирались на другой берег, но напасть на потерянный след не удавалось. Дядя Каток подумывал уже, не пойти ли в противоположную сторону, к верховьям, когда Буюнг, встав на середине реки и обозрев окрестности, указал рукой на тот самый берег, к которому они первоначально вышли. У воды лежал камень величиной с человеческую голову. Похоже, он недавно сорвался с крутого обрыва. Поспешили туда и на мокром прибрежном песке увидели следы. Выкарабкавшись на сушу и пройдя той дорогой, которой шел тигр, они подметили, что в какой-то момент он замедлил ход и остановился там, откуда отлично просматривалось место их недавнего привала. Следы здесь были совсем свежими.

По спинам охотников, убедившихся, что зверь в свою очередь начал охоту за ними, пробежал холодок. Что и говорить, искушенный противник попался им.

Но жажда жизни и понимание того, что надо действовать, быстро восторжествовали над непроизвольным испугом. Теперь предстоит на деле выяснить, кто из них хитрее и сноровистей, кто тоньше познал охотничьи приемы и секреты — тигр или они. Кому быть охотником, а кому — добычей, зависит от ловкости, собранности и чутья соперников.

А след уходил дальше, минуя кустарники и деревья, к той тропе, по которой в предполуденные часы шли, высматривая отпечатки тигровых лап, трое сборщиков. Как видно, тигр неспроста развернулся так резко — хочет зайти им в тыл. Что ж, у них есть выбор. Либо идти побыстрее, чтобы, догнав его, самим напасть сзади, либо устроить засаду и дождаться, когда он выйдет на них. Второе, пожалуй, лучше.

Дядя Каток жестом показал: будем, мол, искать укромное место для засады. Теперь пошли медленно, чуть ли не на цыпочках, не позволяя себе не то что разговаривать, а и перешептываться. Тигр ведь необычайно чуток, и как знать, где он сейчас. Вдруг совсем близко?

Дядя Каток повел их в гору по дорожке, на которой виднелись тигриные следы. Набредя на высокое толстое дерево, укрылись за его стволом. Дядя Каток присел, изготовившись стрелять, Буюнг и Санип с тесаками, извлеченными из ножен, устроились рядом.

Теперь вопрос в том, чтобы ждать, и ждать терпеливо. Время — вот что им сейчас нужнее всего, но может статься, что как раз его-то и не хватит. Они с беспокойством посматривали на небо. Солнце клонилось к западу. Если они просидят здесь дольше положенного, сумерки, а потом и ночь наверняка застанут их в лесу, и тогда тигр получит по крайней мере два преимущества: во-первых, от ружья в темноте мало проку, во-вторых, тигр видит ночью гораздо зорче человека. Как-то все обернется?

Лес между тем жил своей обычной жизнью и шумел как ни в чем не бывало. В каких-нибудь пятидесяти метрах от того дерева, под которым они укрылись, обосновалась стая серых макак, беспрерывно сновавших в ветвях и перекликавшихся между собой. В воздухе вилась мошкара, над головой стремительно пролетали птицы. Санип соскреб тесаком несколько мелких пиявок, успевших присосаться к его ноге.

Буюнг отчего-то ужасно захотел курить. Чтобы не маяться этим несбыточным желанием, попытался отвлечься. Что там с папашей Баламом, с Паком Хаджи, Сутаном? Потом мысленно перенесся в деревню, к Зайтун, а оттуда ниточка потянулась к Сити Рубийях. Как она, как дядя Хитам? Небось уж помер? Или все-таки выздоровел?

А Санипа посетило нечто вроде наваждения. Задумался о жене, и так потянуло к ней. Улечься бы с нею, почувствовать прикосновения ее груди и бедер. Вспомнились бесчисленные ночи, когда засыпали они в объятиях друг друга, исходящий от нее запах рисовой пудры, а еще аромат кокосового масла, облагороженного соками розовых бутонов, лепестков жасмина и листьев пандануса, — аромат той смеси, которой она смазывает волосы. Как живую увидел он свою суженую.

Что касается дяди Катока, то, сидя в засаде, он наливался гневом и злостью — на тигра, на папашу Балама,

из-за которого заварилась эта каша. Не напади на него зверь, все было бы гладко, шито-крыто и прошлое дяди Катока, столь тщательно оберегаемое им от постороннего глаза, так и осталось бы тайной за семью печатями. Ему больше не верилось, что товарищи, посвященные в эту тайну, захотят и сумеют сохранить ее. Есть лишь один способ вернуть их боязливое уважение — совершить что-нибудь геройское. Допустим, убить тигра. Сразив его наповал, он обязал бы своих спутников молчать уже одним тем, что спас им жизнь. Кто-кто, а дядя Каток знает: нет на свете более несчастного и презираемого человека, чем проштрафившийся вожак. Ничтожен и жалок властитель-неудачник, чьи слабости нежданно вскрылись и который не способен с прежней легкостью убеждать людей в своей исключительности.

Пожалуй, зря сказал он тогда, что тигр этот обычный. Объявить бы, что это дух, справиться с которым не в состоянии никто из смертных, даже самый сведущий и могучий, такой, как дядя Каток. Кто же может противиться воле божьей? Да ведь штука-то в том, что надо было непременно доказать неправоту папаши Балама и его слов, будто тигр послан Всевышним в наказание за их грехи.

Зол был дядя Каток и на Пака Хаджи, и на Сутана, и на Буюнга, и на Талиба с Санипом, прознавших о его грязных делах и обрекших этим на опаснейшее предприятие — на охоту за тигром и на убиение хищника. А ведь ему страшно, очень страшно.

Да, он всегда был трусом. Люди славили его — великого мага, борца и охотника, — не ведая, что с юных лет страх был его неразлучным спутником и все, что ни делал он в этой жизни, делалось ради сокрытия страха. Многие годы дотошно вникая в тонкости колдовства и охоты, он жаждал, заслужив почет и уважение односельчан, задавить глубоко сидевший в нем страх. Но расстаться с этим чувством окончательно никак не получалось, и приходилось снова и снова взбадривать себя, изумляя людей дотоле невиданными, удивительными деяниями. И всякий-то раз везло этому странному храбрецу в тех переделках, которые он сам себе подстраивал. Но рисковать так, как сегодня, — поджидать тигра в засаде рядом с двумя безоружными юнцами — он не отваживался еще никогда.

В те давние дни восстания он, чуть что, прятался за спинами товарищей. Зато стоило опасности пройти стороной, стоило дяде Катоку увериться, что никто во всей округе

ему не помеха, как он первым принимался убивать, насиловать, грабить. Оттого и прослыл отчаянным смельчаком. И на охоте, бывало, добыча точно сама шла ему в руки. Однако сегодняшняя их вылазка — это опять-таки совершенно особый случай.

В сущности, не кто иной, как Буюнг, вел их с утра по следу тигра. Но дядя Каток, надо отдать ему должное, давно и весьма изрядно поднаторел в искусстве преподносить чужие труды как нечто, выполненное под его бдительным надзором. Еще в молодости он положил немало сил, чтобы научиться ношению лживых масок, скрывающих его подлинный лик, и овладеть наукой мгновенного приспособления к меняющимся обстоятельствам. Он учился тому, как, несмотря ни на что, всегда и везде выходить сухим из воды, как присваивать себе славу и плоды того, что задумано и приведено в исполнение другими.

В последние годы, когда односельчане окончательно уверились в его необычайных способностях и слушаются его безоговорочно, взятую на себя роль играть легче. Можно смело вручать страждущим целебные снадобья, безбоязненно вступать в поединки с джиннами и произносить любые заклинания. Если это приносит желаемый результат, слава о дяде Катоке гремит еще громче. А если нет, если, скажем, какому-нибудь больному подобные меры не помогли и он умер, всегда можно сослаться на то, что покойник был из тех маловеров, которых не спасают никакие лекарства и заклинания. Дядя Каток настолько свыкся с лестью и похвалами простодушных людей, что чем дальше, тем реже вспоминал о своих страхах и слабостях. Он едва ли не искренне возомнил себя таким, каким представляли его окружающие, и об изъянах своей натуры задумывался крайне редко.

После первого нападения тигра, после того как папаша Балам раскрыл секреты его зловещего прошлого, дядя Каток не находил себе места и пребывал в угнетенном состоянии. Вновь нахлынувшее чувство собственной уязвимости и душевная тревога усилились, когда жертвой тигра пал Талиб, а теперь, в томительном ожидании встречи с хищником, совсем извели дядю Катока. Что, если он промахнется и тигр опять улизнет? Что, если пуля лишь царапнет или ранит его и зверь, вне себя от ярости, бросится на них? Влезть бы на дерево и устроиться там в безопасности. Он хотел было заикнуться об этом, но смолчал — знал, что Буюнг не одобрит его плана, ибо в том положении,

в каком они оказались, так охотиться нельзя. Ведь тут не просто охота, тут идет состязание в ловкости и мужестве.

Но именно мужества и твердости духа больше всего не хватало сейчас дяде Катоку, и он ощущал это сам. Он боялся не только тигра, приближавшегося к ним все ближе. Ничуть не меньше он боялся обнаружить свой страх в присутствии Санипа и Буюнга, выстрелив не так, как подобает, а то и не выстрелив вообще. Вдруг да найдет на него столбняк при виде тигра, при звуке его рева?!

Подвернись благовидный предлог, чтобы передоверить ружье Буюнгу, дядя Каток был бы просто счастлив. Пусть стреляет. Промажет — сам виноват будет. Сказать, что рука не в порядке — онемела, дескать, затекла? Вообще-то можно... Однако расставаться с ружьем очень и очень не хочется. С тех пор как нагрянула эта беда, ни единого раза не отпускал его от себя без крайней необходимости. С ним ему гораздо спокойнее, оно — первооснова его власти, именно благодаря ружью он остается главным среди спутников. Кто он такой без ружья? Да никто! Дядю Катока, столь волевого и целеустремленного с виду, буквально раздирали сомнения, в мыслях и чувствах царил полный разброд. Пальцы и руки точно окостенели, страх не отпускал ни на минуту.

Ждать пришлось долго.

До наступления сумерек было не так уж много времени, и если тигр не появится в ближайшие полчаса, надо срочно идти назад, иначе засветло к хижине не поспеть. Малейшее промедление, и ночь застигнет их в дороге. Нечего и говорить, как это было бы скверно. Но уходить небезопасно и теперь. Ведь может статься, что тигр подстерегает их где-то на обратном пути.

Такая вот история. Не поймешь, кто на кого охотится.

Солнце медленно, но неумолимо катилось по небесному своду. Ближе к концу дня воздух над кронами деревьев сильно прогрелся, пропитался влагой испарений. Налетели комары, но никто из сидевших в засаде не решался ни отогнать их, ни прихлопнуть одного-другого. Приходилось терпеливо сносить их укусы.

Порой Буюнг еле удерживался, чтобы не вскочить с пронзительным криком, хлопая себя ладонями по рукам, по шее, по ногам, нещадно лупя комаров, — хоть что-нибудь хотелось сделать, вконец опостылело это бесплодное ожидание. Но, как бы то ни было, он ясно понимал: жизнь каждого из них зависит сейчас от того, способны ли

они, собравшись с духом, ждать, ждать и еще раз ждать.

Конечно, приятного в таком ожидании мало.

Разве сравнишь с тем, что испытывает рыбак, часами блаженствующий с удочкой в предвкушении поклевки, или притаившийся в кустах на краю болота птицелов, над головой которого порхают пичужки? Или охотник, высматривающий оленя у водопоя? Все они тоже ждут, но ждут совсем по-иному, не говоря уж о юноше, чья возлюбленная запаздывает на свидание.

Бывает, что легкая тревога и нетерпение, сочетаясь с надеждами на лучшее, превращают ожидание в подобие счастья. Но ждать так, как ждали сейчас они, было сплошной пыткой. И все-таки, сознавая, что ради собственного спасения эту пытку надо вынести до конца, они продолжали сидеть без движения и молчать.

На что только не идет человек ради продления срока своего земного бытия. Удовольствиями, имуществом, деньгами — всем жертвует во имя этого, а многие готовы поступиться в придачу и достоинством. Жизнь земная воистину полна радостей, а вот того, что рай, обещанный благочестивым, существует взаправду, пока никто не сумел доподлинно доказать ни себе, ни другим. Оттого-то люди, вплоть до самого последнего, разнесчастного нищего, бьются изо всех сил, стараясь хотя бы на краткий миг продлить свою жизнь.

И ради того, чтобы жить, они продолжали ждать.

* * *

Первым встрепенулся Буюнг. Глядя на него, дядя Каток и Санип тоже насторожились. Как будто все спокойно. Ничего, кроме обычного лесного шума.

Буюнг, едва шевеля губами, шепнул:

— Вроде человек зовет.

На какое-то время напряглись, обратились в слух, потом позволили себе чуть расслабиться — не забывая, впрочем, о тигре.

Минут через пять Буюнгу вновь почудился человеческий голос, а вскоре нечто похожее различили и оба его спутника. Однако звук, донесшийся издалека, был столь невнятен, нечленоразделен и короток, что немудрено было усомниться, кричал ли кто-нибудь вообще.

Тем не менее, беспокойство нарастало. Подождали еще немного, и вот послышалось то ли «о-о-о!.. о-о-о-о!..», то ли «по-о-о-о!.. мо-о-о-о!..».

Переглянулись. Что ж это — человек в лесу, на помощь зовет? Неужто тигр напал?

Снова тот же голос, но уже громче. Отчетливо разобрали: «...то-о-о-ок!» Никак кличет дядю Катока?

Санип поежился. С детства помнятся рассказы про то, как лесные духи заманивали легковерных людей в непроходимую чащу, подражая голосам их родичей и соседей. Может, и сейчас какой-нибудь из духов задумал сыграть с ними эту злую шутку?

А вдруг... Вдруг им морочит головы привидение — то самое, в обличье тигра? Завывает, чтоб выманить их из засады...

Вот опять, теперь ближе и яснее. Где же это? Похоже, кто-то идет тою же тропой, которая вывела их к реке, по тем же тигриным следам.

Взоры обратились в ту сторону. Что-то будет дальше?..

А дальше нервы так и заходили ходуном. Зычный рев тигра разнесся по лесу оттуда, где они устраивали привал, и не успел он стихнуть, как надрывный, предсмертный человечий крик, от которого точно вздрогнули и воздух, и листва, и земная твердь, пробрал каждого из притаившихся в засаде по самое нутро. Кровь будто заледенела в жилах.

Джунгли замерли в безмолвии. Стало быть, дошла очередь и до третьей жертвы...

Когда оторопь наконец прошла, Санип спрятал лицо в ладонях и всхлипнул. В отличие от него первым побуждением Буюнга — нахмурившегося, посуровевшего — было рвануться на крик, добежать, успеть помочь. Как знать, может, еще не поздно. Дядя же Каток, испытавший приступ жесточайшего страха и живо вообразивший себя на месте того несчастного, тихо радовался, что тигр задрал кого-то другого, а не его, дядю Катока. Он встал, чтобы, не мешкая, вести их кратчайшей дорогой к ночлегу.

Буюнг тронул его за рукав.

— Что ж мы, не пойдем на выручку?

— Думай, что говоришь, — сердито ответил, понизив голос, дядя Каток. — Очень нужна ему твоя помощь. Туда по крайней мере минут двадцать ходу. Пока доберемся, тигр его так отделает... Вечер вон на носу, возвращаться пора. — И он двинулся вперед быстрым шагом.

Буюнг хотел было возразить, но сдержался. Если по-честному, то и в таком решении есть свой смысл. Что бы ни подсказывало чувство долга, а поход к месту расправы тигра

с человеком вряд ли доставил бы большое удовольствие.

Дымок костра завидели издалека. Он словно подзывал усталых путников: сюда, сюда, здесь жизнь. И когда до хижины оставалось две-три сотни метров, они, не выдержав, побежали стремглав, чтобы поскорее соприкоснуться с теплом этой жизни, ощутить себя частичкой живого.

А навстречу, выкрикивая что-то на бегу, спешил Пак Хаджи. С чего бы это он? Уж не преставился ли часом папаша Балам? Сначала слов нельзя было разобрать, и лишь когда расстояние между ними и Паком Хаджи стало совсем незначительным, они расслышали его вопрос:

— Сутана не видали?

Все трое остановились неподалеку от хижины, ошарашенные тем, что открыл им, сам того не ведая, стоявший напротив Пак Хаджи. Так вот, значит, кого задрал тигр — Сутана! Но отчего же, отчего он ушел? Ведь велено было охранять вместе с Паком Хаджи папашу Балама! Куда подался, с какой стати?

Дядя Каток в сердцах выругался. Буюнг торопливо рассказал Паку Хаджи о приключившемся в лесу, а тот, сообщив, что произошло, пока они отсутствовали, напоследок сокрушенно добавил:

— А у папаши Балама дела хуже некуда. Боюсь, не дотянет до утра.

Вид у папаши Балама действительно быт такой, точно болезнь, разнесенная кровью по всему телу, завладевает им безраздельно и через малое время чуть теплящаяся в этом теле жизнь погаснет навсегда. Буюнг, однако, не задержался подле больного, который давно уже не приходил в сознание и никого не узнавал, хоть и лежал с открытыми глазами. Мысль о Сутане — вот что беспокоило сейчас больше всего и заставляло Буюнга теребить товарищей.

— Что ж делать-то будем? Назад бы сейчас пойти, а мы... Бросаем его тигру на съедение!

Выслушав его, помолчали, потом медленно огляделись. На джунгли, подобно тончайшему покрывалу, опускались первые предзакатные сумерки, и яркий дневной свет тускнел, сменяясь тихим сиянием вечера. Тут и Буюнг понял, что поворачивать назад не резон.

Да и только ли из-за того, что наступает ночь? Сутан — если, конечно, именно его подстерег тигр — почти наверняка уже разорван в клочки. Правда, остается надежда, что погиб кто-то другой. Но куда же тогда подевался Сутан? Рассуждая таким образом, Буюнг пожалел, что не был

настойчив — не уговорил дядю Катока и Санипа сразу же отправиться туда, где тигр терзал свою жертву. И много еще было всякого, вызывавшего у него горечь и недоумение.

Что же все-таки стряслось с Сутаном, зачем хотел задушить папашу Балама? Отчего, спрашивается, так разволновал его этот бред? Кстати, папаша Балам и теперь, хотя ему значительно хуже, нет-нет да и помянет насчет покаяний и прочего. Уж не тяготил ли Сутана какой тайный грех, не оттого ли и случилось с ним то, что случилось?

Мир, каким привык воспринимать его Буюнг, мир, еще недавно столь прочный и понятный, рушился прямо на глазах. Те, перед кем почтительно склонялся, кого непритворно уважал и любил всем сердцем, представали один за другим в совершенно иных, отталкивающих обличьях. Вот они, оказывается, какие — папаша Балам, дядя Каток, Талиб. Интересно, каков на самом деле Пак Хаджи. Тоже, поди, утаивает постыдную правду о себе.

Поразмыслив о чужих грехах, задумался о собственных, и тут пошли новые вопросы. Как же получилось, что до сего дня, будучи грешниками, они жили обычной, не слишком хлопотной жизнью? Почему только сейчас пробудившаяся память о бесчестном и позорном настойчиво бередит умы и толкает на поступки? Или в минуты тяжких испытаний, в минуты смертельных опасностей подобное происходит со всеми людьми? Может быть, в такие моменты мириться с тем, с чем мирился в обычное, безмятежное и беспечальное время, становится не под силу и в душе, словно бы испепеленной, выгоревшей до еле тлеющих углей, вспыхивают, вырываясь наружу, языки неукротимого пламени?

Нелегко, очень нелегко приходилось сейчас Буюнгу, пребывавшему в необычайном волнении и в смятенных чувствах, но по крайней мере в одном он был тверд. Никто не услышит из его уст историю о нем и о Сити Рубийях. Лучше смерть, чем это признание.

Сегодня, когда, устроившись в засаде, поджидали тигра, Буюнгу почудилось, что с дядей Катоком неладно. Что-то как бы обмякло, как бы смазалось и дрогнуло в его строгом лице, точно усомнился дядя Каток в своей силе и твердости. Что-то пошатнулось в нем, а это могло плохо кончиться не только для него, но и для всех них.

— Да, это, конечно же, Сутан, — молвил Пак Хаджи, сделав тем самым вывод, к которому остальные склонялись уже давно, не решаясь, однако, высказать вслух.

После этих слов, проникнутых печальной уверенностью защемило сердце и подумалось, что вот уже трое из семерых пали жертвой кровожадного зверя и лишь четверо уцелели. А папаша Балам... Увы, его смертный час совсем близок. И в выздоровление не верит больше никто.

А ведь может статься, что до возвращения в деревню они не досчитаются еще кого-то. Думая об этом, каждый убеждал себя и надеялся, что выживет именно он, а коли уж кто-то непременно должен погибнуть, то пусть гибнут другие.

Продолжительные хождения по следу утомили Буюнга и Санипа до того, что сразу после ужина, невзирая на стенания папаши Балама, на невеселые мысли о судьбе Сутана и об опасности, нависавшей над ними, они отправились на боковую и тут же уснули. Правда, спали они беспокойно. И во время магриба, и в час иса молились лишь двое — дядя Каток и Пак Хаджи.

С тех пор как тигр начал их тревожить, дядя Каток неизменно будил Буюнга и Санипа, когда подходила их очередь стеречь сон и покой остальных. Однако этой ночью он не хотел доверять ружье никому. Сидя у огня, он поминутно озирался, пытаясь разглядеть, что происходит во тьме леса. Ему все больше и больше становилось не по себе. Несколько раз страх обуревал его до такой степени, что еще немного — и он бы вскочил, завизжал, учинил бы над кем-нибудь насилие, лишь бы отогнать этот невыносимый страх. Стоило заслышать малейший шорох в зарослях, и сердце начинало колотиться как бешеное. Эх, поднять бы на ноги Пака Хаджи или Буюнга, а то и вообще всех! Сдерживался еле-еле, стыдясь и опасаясь, что, разбуженные среди ночи из-за пустяка, они поймут, до чего же ему страшно. А этого допустить никак нельзя. Разве не он, дядя Каток, — храбрейший из храбрых во всей деревне, смельчак, не боящийся ни бесов, ни джиннов? Разве не он — всеведущий знахарь и колдун, врачующий любые недуги, умеющий вызывать дождь и ветер, способный силою своих чар подчинять себе и гасить огонь, обезвреживать яды, обращать в ничто чужие заклинания и заговоры? Разве не он — охотник, перед которым трепещут джунгли, не он ли несравненный борец и наставник в борцовском искусстве? Вот так он и коротал время — одиночка, возомнивший себя великим, затерявшийся в бескрайней темени джунглей вместе с крохотным комочком огня и света, к которому жался.

Но страх овладевал им чем дальше, тем сильнее. Воспоминания всплывали в сознании, подобно рыбам, долго залегавшим на илистом дне омута и встрепенувшимся, когда нежданное волнение вод всколыхнуло ил. Оказавшись у самой поверхности, они тянутся все выше, пока жаркие лучи солнца не ослепят их и не обожгут им глаз. Мысленно возвращаясь в прошлое, дядя Каток вспоминал все то недоброе, что совершил за свою жизнь. Да, он понимал, сколь многочисленны и тяжки его вины, но, как и прежде страшась покаяний, убеждал себя, что никакое содеянное им зло нельзя по-настоящему считать за грех. Он заставит напрочь забыть об этом и себя, и своих спутников. Дядя Каток глянул на спящих. Да ведь как просто, как славно можно все устроить именно сейчас, подумалось ему. Прикончить бы Пака Хаджи, Санипа да Буюнга, а папаша Балам пусть околевает сам. Тигр сожрет трупы, а дядя Каток преспокойно возвратится в деревню и сообщит, что изо всех семерых спастись удалось ему одному. Односельчане зауважают и забоятся его пуще прежнего, и, как никогда, окрепнет вера в великого мага и колдуна. А как же иначе, ведь он, и только он, останется в живых. Он откроет людям, что на семерых сборщиков напал тигр-дух, посланный извести самых отъявленных грешников среди них. И хоть старался он, дядя Каток, уберечь товарищей от напасти, грехи их были, как видно, столь тяжкими, что его усилия пропали впустую. Он и сам непременно бы погиб, если бы не прославленное его колдовство и всеведение. И, заканчивая сей поучительный рассказ, он смиренно произнесет пару слов о том, что, дескать, все мы воистину ничтожны перед богом, все мы рабы божьи и, коли свершился Его суд, никто и ничто в этом бренном мире не сможет отменить Его приговора.

Дядя Каток совсем уж было собрался привести свой замысел в исполнение, когда до него вдруг дошло, что, убив товарищей, он останется в полном одиночестве — наедине с ночью и тигром, неустанно подкарауливающим добычу там, где граничат лесная тьма и свет костра. Вообразить себе такое без сумасшедшей дрожи — и то невозможно. До возвращения в деревню остается четыре дня пути и четыре ночевки, и вплоть до последней ночи рядом с ним непременно должен находиться кто-то из напарников. А уж в последний день он сделает все как надо и спокойно пойдет в деревню один с ружьем в руках.

Ни к чему слишком торопиться, возможностей будет еще предостаточно.

* * *

Утвердившись в этом решении, дядя Каток почувствовал себя покойнее и не заметил, как заснул. На заре его, вместе с остальными, разбудило звонкое кукареканье лесных петухов.

Проснувшись, они сразу ощутили некую перемену и быстро поняли, что́ именно их смутило. У папаши Балама прекратился бред. Легкого прикосновения к неподвижному, окоченевшему телу было достаточно, чтобы понять: папаша Балам мертв.

Это событие повергло всех, уже в который раз, в глубокую печаль и тоску, усугубило страх. На утренней молитве в троекратном призыве «Аллах велик!», произнесенном, как повелось, Паком Хаджи, прозвучала какая-то необычайная покорность судьбе, и каждый, предавая себя господу и уповая на Его милость, мысленно добавлял к привычным фразам смиренную просьбу о спасении своей жизни.

Раны на ноге и теле папаши Балама пришли в ужасное состояние, так что при омовении трупа и погребении мутило от отвратительного смрада.

Стоя над свежей могилой, Буюнг не сдержался и дал волю своим мыслям и чувствам.

— Дядя Каток, — заговорил он, — пойти бы сегодня опять на него охотой, но так, чтобы довести дело до конца. Невыносимо это становится, отомстить надо за папашу Балама, за Талиба, за Сутана.

Дядя Каток посмотрел по очереди на тех трех, что стояли перед ним. Лично его на охоту отнюдь не тянуло. Единственное, о чем он думал, — как бы побыстрее отправиться дальше, как бы спастить самому и вернуться-таки в деревню живым и здоровым. А тут какой-то молокосос, к тому же его собственный ученик, осмеливается предлагать им такое.

— Помолчи-ка, Буюнг. Дай сперва старшим посоветоваться.

У Буюнга нашлось бы, что на это сказать, но он предпочел пока придержать язык. Глянул было на Пака Хаджи и Санипа, словно ища у них поддержки. Но первый хранил молчание, а второй склонил голову, предоставляя другим решать за него, что делать и как быть. С тех пор как тигр задрал Талиба, а затем и Сутана, Санип резко переменился. Прежнего Санипа, шутника и балагура, точно подменили. Он выглядел изнуренным, глаза потускнели,

утратили блеск. Казалось, огонь жизни, столь буйно и ярко горевший в нем прежде, безнадежно угас.

Дядя Каток посовещался с Паком Хаджи, и тот сказал, что решать, идти на охоту или нет, следует ему, дяде Катоку, поскольку он, мол, опытнейший стрелок и обладатель ружья. Скорее всего, тигр, как они и предполагают, давным-давно сожрал Сутана. Но чего на свете не бывает, вдруг да удалось Сутану вырваться, а может быть, и укрыться на дереве. Возможно также, что он ранен, и тогда они, пожалуй, просто обязаны прийти ему на помощь. Вдруг вернутся в деревню без него, а после окажется, что он жив и самостоятельно добрался до дому? Что тогда скажут про них односельчане?

Вот это последнее замечание Пака Хаджи и склонило дядю Катока к мысли, что нужно снова отправляться туда, откуда донеслись накануне крики Сутана. А еще он опасался, как бы деревенские не заподозрили, что он струсил, и не утратили уважения к нему. Предложил ведь Буюнг идти на охоту. Если что, этот парень, подумал со злостью дядя Каток, будет рассказывать первому встречному, как уговаривал вернуться в лес и спасать Сутана, а дядя Каток не согласился. Испугался-де, хотел побыстрее до дому добраться. Дядя Каток почти наяву слышал те проклятия, которыми будут осыпать его в этом случае деревенские. Нет, ничего подобного допустить нельзя. Он должен по-прежнему держать их в боязливом повиновении. Он чувствовал, что не сможет жить без постоянных знаков уважения, без преклонения и похвал односельчан. Нет, вопреки всему он укрепит свое старшинство и начнет это делать безотлагательно. Собравшись с духом, он объявил:

— Решено: будем преследовать его до конца. Но перед тем, как выступим, надлежит изготовить для вас новые амулеты, посильнее прежних. Уж эти-то защитят от тигра как следует.

Дядя Каток уединился в хижине и снял с себя пояс, внутри которого у него было припрятано несколько камешков. Вытащив их оттуда, пошептав над ними и завернув в лоскутки из белой материи, он вручил по амулету каждому из спутников.

— И чтоб слушались меня во всем, — сказал при этом. — Помните, противник у нас особый, и только тогда будет нам удача, если сделаете все в точности так, как я скажу.

Приготовив завтрак, поели и собрались в дорогу.

Глава VII

Объявив, что берет охоту под свое начало, дядя Каток повел их лесом напрямик — туда, откуда донеслись крики Сутана.

Однако охотиться дяде Катоку хотелось меньше всего. Он и путь-то этот выбрал, чтобы подольше держаться в стороне от тигрового следа. И довод нашел разумный: глядишь, до места быстрее доберутся да и зверю, коли по старым следам его не пойдут, спину не подставят. Тигр-то ведь уже пронюхал — это еще вчера стало ясно, — что подстерегают они его.

С дядей Катоком согласились. И Буюнг тоже. Правильно-де решил, по-умному. Даже тени подозрения не мелькнуло, что задумал неладное...

Понадобилось около часу, чтобы, перевалив через холмы, пройдя потом долиной, достичь самого что ни на есть дремучего и темного леса, где их объяли полумрак и сырость, где ноги то и дело вязли в грязи, как на болоте. Зелень вокруг так и лоснилась от влаги. Вода беспрерывно стекала струйками, падала каплями с листьев, покрывавших верхушки деревьев, ниже и ниже, пока не увлажняла кустарников и растений, стлавшихся по земле. Ни единой пичужки не попалось им. Только тучи комаров вились в воздухе, да еще лесные пиявки, будто очумев, набросились на путников. Спасались как могли — то и дело натирались табачным настоем.

Ни разу не забредал сюда никто из них. А может, и вообще не ступала тут нога человека с тех пор, как существует мир? Сколько уж времени продирались сквозь этот темный лес, а ни воплей гиббонов, ни обезьяньих криков, ни певчих птиц, ни дятлов — ничего не слыхали. Такая стояла тишина, точно никакой живности не было вблизи — одна мошкара. Видно, и зверь не жаловал это место. Да и кому пришлось бы оно по нраву — разве что кабану или носорогу. До того дико и пустынно, что вроде и лес на лес не похож.

В горячем, душном воздухе повисали клубы испарений. Каждый шаг давался с трудом: дорогу приходилось прорубать в зарослях пандануcов, среди сплетений утыканного колючками ротанга. Чем дальше, тем мрачнее становилось кругом. И все чаще попадались на их пути узенькие речки и ручьи с лениво текущей, почти застойной водой.

Кому случалось в сновидениях блуждать по странным, заколдованным джунглям, куда злые волшебники заманивают людей, обреченных потом кружить и плутать без дороги до скончания времен, тот способен вообразить, что это был за лес. Деревья и те нагоняли страх своим видом. Мхи плотно окутывали толстые стволы и ветви, свисали с них длинными прядями, ползучие растения выпускали новые и новые отростки, а они, цепляясь за одни деревья, тянулись к другим, и казалось, что это паук-великан оплетает весь лес своими сетями.

Угрюмо, невесело было здесь. На разговоры не тянуло, вперед продвигались молча. Каждого преследовали свои мысли и душевные тревоги, и каждого они одолевали все сильнее.

Буюнг почти жалел, что согласился идти напрямик этим нехоженым путем. Как знать, сколько еще будут пробиваться через эту непролазную чащу, сколько еще потратят времени, пока выйдут к тому месту, где тигр напал на Сутана. И как тут быстро идти? Поминутно останавливаешься, срубаешь ветки, срезаешь колючие листья. Ненароком так махнешь тесаком, что дерево хрустнет громче обычного, а уж дядя Каток рычит:

— Эй вы, а ну потише!

Да как же можно этакие вещи без шума делать?

Все уже понимали, что ошиблись, пойдя за дядей Катоком в этот лес, откуда ни солнца разглядеть нельзя, ни движения его угадать. Разбери-ка, где там восток, а где запад, где юг, а где север. Если впереди такие же дебри, то и заблудиться недолго.

Буюнг живо представил, что тогда будет. Продержатся, пока не съедят все свои припасы, пока хватит сил, а потом сгинут в этом проклятом лесу. Однако постарался взять себя в руки и унынию не предаваться. Ведь как, бывало, наставлял его старый дядюшка? Ни за что, говорил, не позволяй себе подолгу размышлять о дурном, думами такими себя не изводи. Не то станешь их рабом, и случится с тобой что-нибудь скверное или еще того хуже — непоправимое.

Внемля этим советам, Буюнг гнал прочь тягостные сомнения. Чтобы пересилить их, попробовал думать о Зайтун. Интересно, что она сейчас делает? Хлопочет по дому, на кухне? А может, шьет? Дальше сами собой потянулись воспоминания о Сити Рубийях. Буюнг никак не разберет, что у него за чувство к ней. Он жалеет ее, очень

хочет облегчить ее участь, но того, что испытывает к Зайтун, нет. Он уже твердо знает — жить он сможет только рядом с Зайтун. И пока они не поженятся, ему будет вечно не хватать чего-то и в себе самом, и рядом с собой. И не познает он без нее настоящего счастья. Тут он опять попытался придержать свои мысли, приостановить их ход, не хотелось раздумывать, как быть с теми обещаниями, что давал Сити Рубийях, и что предпринять, если в конце концов вернется в деревню.

Рядом, тоже молча, шел Санип и тоже обрубал преграждавшие дорогу ветви и сучья. Вид у него, однако, был какой-то потерянный. Он ровно бы и не понимал, чем занят, до того заела тоска, до того хотелось бросить все и бежать в деревню. Нет, не по душе ему эта затея с охотой. Домой надо идти, людей на подмогу звать, а уж тогда искать Сутана. Ну что они могут вчетвером, с одним ружьишком на всех? Правда, получив от дяди Катока новый амулет, Санип немного успокоился. И все-таки... Разве не носил амулетов папаша Балам? Разве не имели их Талиб и Сутан? — недоверчиво нашептывало ему собственное сердце. И он глушил этот шепот, как мог, чтобы не отчаяться вконец. Лучше уж думать о жене...

Наедине со своими раздумьями остался и Пак Хаджи, шедший позади всех. И ведь не хотелось, а думалось.

Чего только он не хлебнул за шестьдесят-то лет, каких только горьких уроков не преподала ему жизнь! И давным-давно уже взял Пак Хаджи за правило не вмешиваться в чужие дела. А что ходит смолу собирать заодно с деревенскими... Так ведь тут всяк свою выгоду имеет. Ему незачем знать, что у них там и как, и в свои дела он тоже никого посвящать не намерен. Каждый да будет себе хозяином, и довольно с него — на том стоит. Нет, не верит он, что есть люди, искренне радеющие о каких-то там общих, очень важных интересах, о счастье множества себе подобных, готовые за это бороться и даже пожертвовать собой. Слишком часто и жестоко била его жизнь, чтобы можно было в такое поверить. Не счесть, сколько раз в молодости, когда скитался по городам и весям, обводили его вокруг пальца. А сколько раз приносили ему несчастье те самые, кто обещал осчастливить.

С юных лет учила его жизнь таким вот манером, и мало того, что потерял он веру в людей, он и во Всевышнего-то, считай, уже не верует. Да, было дело, ходил в Святую землю и все пять заповедей ислама аккуратно блюдет.

И постится исправно, и молится, но это для того, чтоб быть как все, чтоб жить с соседями в мире.

По сей день не встретился ему честный и справедливый человек, который бы своим интересом поступился — лишь бы другим, простым людям было хорошо. Зато тех, кто об этом болтать горазд, встречал, и частенько доверчиво шел за ними. А они, чуть что, первыми давали стрекача, спасали свою шкуру. И, памятуя о том, сам он, объявившись после долгих странствий в родной деревне, всегда уклонялся от старшинства в любых делах. Всегда-то находился у него предлог, чтобы не быть предстоятелем на молитве, чтоб не читать проповедь, чтоб не верховодить односельчанами на работах, какие выполняют они сообща. Постепенно приучил людей, что его дело — сторона, и от него отстали. Обращаются к нему почтительно, старость его уважают, но среди тех, кто в деревне всему голова, не числят.

А Паку Хаджи и того довольно. Подчиняться некому — нет над ним начальника, приказывать тоже не приказывает — и ладно. Соседям без нужды не докучает, и те на его счет зря не любопытствуют.

А что вера в бога у него прошла, так это тоже неспроста. Встретил он когда-то в Индии одну женщину и первый раз в жизни — а ему в ту пору уж тридцать исполнилось — полюбил по-настоящему. Поженились они. Служил он рассыльным в лавке, получал гроши, но и в бедности жил с женой счастливо. Сынок у них появился, души в нем не чаяли. И задумал Пак Хаджи — хотя звали его тогда по-другому, в Мекку, в хадж то есть, он потом ходил — вернуться с семьей на родину. Принялся копить, подрабатывал, где только мог, чтоб денег на дорогу собрать. Но вот, шести месяцев всего, заболел ребеночек, и пришлось Паку Хаджи тратить скудные сбережения — лекарства покупать, знахарям платить. Ненадолго хватило его денег. Кончились, а мальчик как болел, так и болеет. Стал Пак Хаджи знахарей упрашивать: готов, говорит, на любого из вас целый год работать и жалованья никакого мне не надо, только сыночка моего вылечите. И ни один-то его не пожалел, ни один не согласился нанять его. В отчаянии Пак Хаджи осмелился даже пойти к белому доктору, но там его и на порог не пустили.

Весь тот день, пока ходил от знахаря к знахарю, а потом и к доктору, носил он с собой свое дитя. И когда ждать помощи было больше неоткуда, стал истово молиться.

— Боже, одного Тебя осталось просить мне о милости, на Тебя только и уповаю, исцели моего сына! — взывал он в сердце своем. На следующее утро ребеночек умер. С того времени и пошатнулась у Пака Хаджи вера в бога. А когда еще через полгода остался один-одинешенек — жена умерла от дизентерии, — то вернулся к прежней бродячей жизни. Она-то в конце концов и привела его в Аравию. Человек, у которого в услужении состоял, отправился на поклон к святым местам — ну и Пак Хаджи при нем.

Всякого Пак Хаджи насмотрелся, но в природе человеческой так ничего хорошего и не разглядел. Одно повсюду видел — как притесняет человек человека, как унижают люди ближних своих, как дурачат, грабят, насилуют их. Куда ни бросала его судьба — везде терся он среди самого бедного люда, и у него на глазах те, кто в силе, у кого власть, кто при деньгах, только и делали, что втаптывали в грязь маленького человека, помыкали им, сосали из него соки, измывались всласть. Простой народ — вот кому приходится хуже всех на этой земле.

Вместе с другими случалось Паку Хаджи в заморских странах и бастовать, и выходить на демонстрации, и бунтовать. И что же? А то, что и всегда. Их нещадно били, сажали в тюрьмы, казнили, и он оставался игрушкой в чужих руках.

Все стало ему без разницы к тому времени, как вернулся домой. Да и у себя в деревне ничего нового не увидел — как везде, так и у них. За примерами далеко ходить не надо. Взять хоть бы того же дядю Катока. Вот уж кто задирает нос, вот уж кто важничает — знает, поди, что в деревне ему бояться нечего, что здесь можно и всесильного мага из себя строить, и охотника наихрабрейшего, и великого наставника в борцовском деле. А ему со всех сторон почет и уважение. Многие даже боятся — как же, колдун ведь! И перечить ему нельзя. Что бы ни сказал — соглашаются без звука. Давно уже подметил Пак Хаджи слабину в характере дяди Катока. Раскусил его, знает настоящую цену умениям, за которые так превозносит его молва. Но предпочитает помалкивать. А что толку говорить? С какой такой стати будет он изобличать дядю Катока перед деревенскими? Если им нравится делать так, как велит дядя Каток, если они сами возносят его над собой, то, спрашивается, чего им мешать? Какой ему-то, Паку Хаджи, смысл открывать этак вот людям глаза? Его же будут потом винить, его же возненавидят. Наживет себе

врагов, только и всего. А ему надоело перебираться с места на место. Не хочет, чтоб досаждали ему под старость, и сам тревожить других не станет. Без него разберутся, что им делать и чего не делать.

Их жизнь — это их жизнь, а его жизнь принадлежит ему. Ни в колдовские ухищрения и заклинания дяди Катока, ни в чудодейственную силу его амулетов он не верит. Но коли уж вручают ему амулет, то покорно его принимает. Главное, чтоб все оставалось как есть, чтоб не было недовольных и никто не обижался. Только этого и хочет Пак Хаджи. И пусть оставят его в покое.

Никогда с той поры, как снова поселился в деревне, не отступал Пак Хаджи от этих правил. И вот сейчас по уши влип в историю, да в какую опасную. Видит — неладно с дядей Катоком. По разговору его, по повадкам понял Пак Хаджи: еще немного, и не выдержит, сорвется. И если вправду оно случится, то и представить нельзя, что натворит дядя Каток. Погубить их всех может. Так что ж теперь — знать, что ведут тебя на погибель, и помалкивать? И кто ведет-то? Человек, который боится признать, что не за свое дело взялся. Только тем и озабочен, как бы слабость и глупость свою, страхи свои прикрыть. Вот и раздает направо и налево приказы да амулеты, силой да угрозами к послушанию принуждает, твердит упрямо, что один он здесь прав. Стоило напасть на них тигру, и дядя Каток мертвой хваткой вцепился в свое ружье. Думает, наверное, что это вроде как знак его силы и власти. А на самом деле, не расставаясь с ним ни на минуту, показывает, как же он слаб и уязвим. И много еще появилось и появляется других, почти незаметных перемен в его облике, речи, поступках. Их, эти перемены, и уловить-то способен, пожалуй, лишь тот, кто глаз не спускает с дяди Катока. А Пак Хаджи давно уже не спускает с него глаз, потому как вовсе не желает попасть в беду по милости этого мнимого вожака.

Может, поделиться опасениями с Буюнгом и Санипом? Буюнг-то, скорее всего, с ним согласится, а вот Санип засомневается. Но кто сказал, что Пак Хаджи обязан с ними потолковать? Ведь это-то и называется — впутывать людей в свои дела. Ну а что, если смолчит, оставит их в неведении, а им же потом хуже будет? Ребята молодые, неопытные, где им без него разобраться, что это за фрукт такой, дядя Каток. Но можно ведь и по-другому рассудить. Допустим, обманулись они. Приняли чужую личину за настоящее лицо и поплатились. Кто ж будет виноват, кроме них, —

уж не Пак ли Хаджи? И разве не главное сейчас — придумать, как выкрутиться самому? А остальные... Да пошли они к черту, у каждого своя голова на плечах! Вспомнилась давнишняя история, приключившаяся в Китае: как плыл в утлом суденышке по Желтой реке, как потонуло оно, как завидел поблизости плот и полез было на него. Но там народу уже хватало — вот и спихнули назад в воду. Спасибо еще, подвернулось под руку какое-то бревно.

А в общем он не жалуется — живет сам по себе и обременять себя чужими заботами не намерен...

Тем временем дядю Катока осенило. Наконец-то додумался, как избежать охоты! Нарочно собьется с пути, проплутает с ними весь день до сумерек, а там и охотиться будет поздно. Тоном человека, знающего, что говорит, он тут же произнес:

— Эй, Буюнг, Санип, Пак Хаджи — кончайте-ка резать да рубить! Вроде уж недалеко, не услышал бы нас сам-то!

Приказ был как будто разумный, и они подчинились. И хотя продвигаться вперед стало труднее — дорогу теперь тесаком не расчистишь, а колючки нещадно вспарывают и рубахи, и кожу, — они терпеливо все сносили. Только бы выбраться поскорее из этого дикого леса! То и дело приходилось нагибаться чуть не до земли и пролезать под ветками — до того густо разрослись кустарники, что иначе и не пройти сквозь них.

Вот так и шли, и никто из них не мог бы сказать, сколько продолжался этот переход. Счет времени потеряли — солнца отсюда по-прежнему не видно. Все сплошь в царапинах, тела так и ноют от боли и усталости. Дышат прерывисто, часто. Мало того, что сил поубавилось, еще и жара одолела, и влажность, и духота жуткая. Словно попали в сырую, темную пасть, и огромный лес заглатывает их живьем. Да неужто не будет ему конца?!

Когда опять набрели на неширокую, неспешно текущую речку, Буюнг, вглядевшись в прибрежную грязь, указал спутникам на следы — по виду совсем свежие. Вода, медленно скапливавшаяся внутри, еще не успела заполнить их доверху.

— Носорог, — прошептал Буюнг.

Слава богу, не тигр! У Санипа отлегло от сердца, когда своими глазами рассмотрел след. Дяде Катоку и Паку Хаджи тоже полегчало.

— Перекусим-ка здесь, — решил дядя Каток.

Уморились так, что и на привале было не до разговоров.

Ели молча. И только когда дядя Каток велел трогаться дальше, Буюнг спросил:

— Скоро из этой чащи выберемся?

— Немного осталось, — ответил тот и шагнул к кустам. Запретив прорубать проход в зарослях, дядя Каток шел теперь впереди всех. А как же иначе, ведь это он здесь за старшего и ему одному ведомо, куда идти. Даже Буюнг как-то растерялся и не мог уже с уверенностью указать, в какой оно стороне, это самое место, где тигр подстерег Сутана. Так что пусть уж дядя Каток самолично определяет их путь, Буюнг не против.

Однако, когда по его расчетам наступил час послеполуденной молитвы, а они все пробирались сквозь дремучий лес и незаметно было, чтобы он начинал редеть, Буюнг призадумался. А вправду ли знает дорогу дядя Каток? По виду похоже, что да. Вышагивает-то вон как уверенно. Буюнг оглянулся на Санипа и Пака Хаджи. Как они там? Не забеспокоились еще?

Но лицо Санипа не выражало ничего определенного. Переведя же взгляд на Пака Хаджи, Буюнг увидел такое, что опрометью рванулся навстречу и прямо перед носом у него махнул тесаком... Есть! Буюнг издал победный клич, а Пак Хаджи, в испуге отшатнувшись в сторону и побледнев, уставился себе под ноги. В мокрой траве корчилась обезглавленная зеленая змейка, из тех, чей укус смертелен. Мгновение назад, юркнув вниз по ветке дерева, она едва не ужалила прямо в лицо проходившего мимо человека. Что и говорить, крупно повезло Паку Хаджи, ох как вовремя глянул на него Буюнг! Подошел дядя Каток и тоже замер, не сводя глаз с отрубленной змеиной головы и судорожно дергавшегося туловища. Пак Хаджи, белый как полотно, все не мог опомниться. Молчал, точно лишился дара речи. Молчал и Санип. Всех сковал страх. Дурная, очень дурная это примета — когда попадается тебе на пути змея.

— Спасибо, Буюнг. Жизнь мне спас, — вымолвил наконец Пак Хаджи, а дядя Каток, выслушав эти слова, опять двинулся вперед...

Вот уж чего никогда не случалось с Паком Хаджи! Нашелся-таки человек, выручил. Да не просто выручил — с того света вытащил и награды никакой не запросил. Не дожидался криков о помощи, сам ринулся на подмогу, забыл, что и ему может не поздоровиться. Ведь промахнись он, рубани мимо, и змея кинулась бы на него.

Пак Хаджи прибавил шагу, нагнал Буюнга, повторил:

— Спасибо тебе. — Потом спросил: — Получается, ты и за себя не убоялся, лишь бы мне помочь?

Буюнг посмотрел на него с некоторым удивлением.

— Я и вам, Пак Хаджи, и всякому, кто в беду попадет, помочь готов. Что ж тут такого? — простодушно ответил он и, чуть погодя, добавил: — А для меня опасности никакой и не было.

Пак Хаджи, немного поотстав, снова предался размышлениям. Значит, есть они на свете — люди, готовые ради других рисковать собой, идти в огонь и в воду. И ничего-то им не надо взамен. Странные, непонятные люди... Да какое там! — возразил он сам себе. Слишком молод еще Буюнг, жизни не знает. Потому и отважился... Нет, шалишь! Исхитряйся, как хочешь, перетолковывай и так и сяк — не съел еще, мол, парень своего пуда соли, полез по глупости на рожон, — а что было, то было, и никуда от этого не денешься. Спас его Буюнг, спас, ни о чем не задумываясь. Спас, когда Пак Хаджи и не подозревал, что смерть к нему подкралась...

Кто бы ты ни был, а менять под старость привычки, правила, взгляды — все, чему следовал, во что верил долгие годы, — нелегко. И Пак Хаджи отнюдь не собирался вот так сразу отбросить мерки, с которыми издавна подходил к людям. Он опять поравнялся с Буюнгом и приступил к нему с расспросами:

— Послушай, ты думаешь, нам и в самом деле нужно найти и убить этого тигра?

Буюнг выжидающе молчал.

— Я ж не охотник, откуда мне знать, как на таких страшных хищников ходят, — пояснил Пак Хаджи.

— Думаю, правильно делаем, — подал голос Буюнг.

— А к чему нам это? Чтоб за товарищей отомстить, за тех троих, что он загрыз? — И, прежде чем Буюнг успел заговорить, Пак Хаджи докончил: — Да стоит ли ради этого стараться? Ну убьем тигра, а тех-то все равно не воротим, из мертвых не воскресим. Что, не прав я?

— Отомстить за их смерть так и так надо. И потом, если сейчас его не порешим, он к деревне пойдет, на скотину нападать будет. Всех коров да коз перетаскает. Чего доброго, и за людей возьмется.

— Ну и пусть тогда деревенские соображают, как его извести. Разве не ихнее это дело? — настаивал Пак Хаджи. — Нам-то зачем на себя его брать?

— Я об этом как-то не думал,— сказал в ответ Буюнг.—

Только, по-моему, где со злом столкнулся, там с ним и борись. Допустим, оно и нам угрожает, и другим тоже, и многим еще людям. Но ближе всех к нему мы оказались. Стало быть, нам с ним и воевать. А то что ж — дожидаться, пока не стукнет нас как следует, а с силами после собираться будем? Или притихнуть, затаиться — вдруг стороной обойдет?

Про себя Буюнг недоумевал: что это с Паком Хаджи? Вот не ожидал, что бродят у него в голове такие мысли. Уж не испытывает ли часом меня? Скрывая улыбку, Буюнг стал нарочно смотреть прямо перед собой. Не беспокойтесь, Пак Хаджи, мы и сами с усами!

А Пак Хаджи в очередной раз обдумывал свои разговоры с Буюнгом. Но встряхнулся, услыхав, как парень громко кричит:

— Дядя Каток, да мы же заблудились! Были мы уже здесь! — И Буюнг ткнул пальцем в землю. Рядом с обрубленными ветками и колючими листьями пандანусов виднелись следы их ног.

Дядя Каток обернулся, и вид у него был угрюмый. Нет, привести их именно сюда он вовсе не рассчитывал, хотя давным-давно вел как бог на душу положит, лишь бы запутать, лишь бы не дать им поспеть засветло туда, куда шли. Так в конце концов и сделали круг. Дядя Каток знает: до заката всего два-три часа. Спустится ночь, и тут уж будет не до охоты. Придется устраивать привал, костер разводить. И он, дядя Каток, опять останется цел и невредим — по крайней мере до утра. А там как знать — может, с рассветом и тигра никакого здесь не будет, уйдет искать добычу в другие леса.

И все бы сошло, если бы не Буюнг со своим зорким глазом...

— Ничего не заблудились! Просто вижу — совсем непролазная чаща впереди. Ну и решил назад податься, на это вот место. Обычное дело, напрямик-то по джунглям не всегда пройдешь, — только и сказал дядя Каток.

Не понравилась Буюнгу эта затея, чуть было не заспорил. Дважды одной и той же дорогой ходить — времени не напасешься. Хорошо, если до сумерек выберутся из этих зарослей. Шли бы уж себе прямо, глядишь, больше было бы толку. И все-таки язычок прикусил. О чем говорить, коли и сам, считай, не знаешь, куда идти?

Но вскоре, на их счастье, среди деревьев замелькали просветы. Путники очутились в перелеске. Дядя Каток пошел быстрее, спустился по склону холма, поросшего кустар-

ником, и вывел их на каменистый берег маленькой речки. Они бегом бросились к ней, ополоснули лица и руки, стали жадно пить свежую, прохладную воду.

Не мешкая, соорудили хижину, набрали хворосту, разожгли огонь. Выкупались, а там и ужин поспел. За едой почти не разговаривали, на закате никто — даже Пак Хаджи — не помолился. Наелись, разомлели, с земли подняться и то нет сил. Разное перебирали в уме, сидя у костра, а чувствовали одно — будто до деревни, где суждено им спастись, еще очень, очень далеко.

Взгляд Буюнга ненароком скользнул по ружью, лежавшему на коленях у дяди Катока. Привстав, Буюнг потянулся рукой к прикладу, словно задумал ухватить его, но дядя Каток мигом отставил ружье в сторону.

— Что, отнять не терпится? — огрызнулся он.

Столь неприветливые речи привели Буюнга в замешательство. Он, однако, объяснил свой жест:

— Я, дядя, напомнить только хотел: проверить бы, не намок ли порох. Да и ружье почистить не мешает, обтереть. По какому лесу шли, сырость сплошная.

Дядя Каток слушал, уставившись на парня с нескрываемой подозрительностью. Потом так же испытующе поглядел на остальных. От него не укрылось, что Буюнг и Пак Хаджи всю дорогу перешептывались у него за спиной. О чем секретничали, какие козни затевают? Никак почуяли, что дрогнул он, что страшится на тигра идти?

Неужто не считают его больше за главного, за непобедимого, не верят его колдовскому всеведению? Ишь, примолкли, рты позакрывали. По всему видать — что-то с ними не то. Санип, похоже, не в счет: загрустил, бедолага, голову повесил. За Буюнгом да за Паком Хаджи — вот за кем присмотр надобен, вот откуда опасность грозить может. С чего это Буюнг к ружью полез? Чтоб его, дядю Катока, надоумить — позаботься, мол, о порохе да ствол протри? Так ему и поверили! Сговорился, поди, с Паком Хаджи. Вот вы, значит, как — ружьем решили завладеть, шкуры свои спасать?! Не выйдет! Не такой дурак дядя Каток, чтобы собственноручно вытряхивать порох и вытаскивать пулю. Попробуй это сделать, и что останется от твоего смертоносного оружия? А ничего, бессилен будешь перед врагами. Хитрецы! Ловко придумали, как лишить его власти. Только он похитрее будет. И посреди общего молчания дядя Каток расхохотался. На него удивленно воззрились.

— Ха-ха-ха! За дурачка меня считаете? Ха-ха-ха! —

Покатываясь со смеху, он еще крепче сжимал ружье и не спускал глаз с Пака Хаджи, Санипа и Буюнга. Те недоуменно посматривали друг на друга.

— Ага, переглядываетесь! Мы, дескать, ничего не понимаем, не знаем, не ведаем. Зато я вас вижу насквозь. Даром, что ли, столько лет науки магические постигал? Ружье отнять хотите, а? Власть думаете заиметь, сильнее моего стать? Ха-ха-ха! Целехонькими желаете до деревни добраться?

Выдав все это каким-то совершенно не своим, пронзительным и резким голосом, дядя Каток приказал:

— Кто хочет жить, пусть меня слушается. А ну выкладывайте, что у вас там за грехи? Кайтесь, кому говорят! С тебя начнем, Санип!

— Да каялся я уже, — молвил Санип.

— Верно! Эх ты — вор, обманщик, болтун несчастный! — Снова разразившись отвратительным смехом, дядя Каток с издевкой вопросил: — Как же мне вас защищать, спасать вас, греховодников богомерзких? А вы, любезные, — Пак Хаджи да Буюнг? Ваших признаний я покамест не слышал. Святые будете или как? Может, скажете, ни единого грешка у вас не завелось? Ха-ха-ха! — чуть не задохнулся он от хохота. — Думаете, послушали, как остальные каются, а самим не обязательно? Эй, ты! — повернулся он к Буюнгу вне себя от ярости. — Давай рассказывай, в чем грешен! Каких подлостей натворил? Дурачил, предавал ближних? Воровал ихнее имущество? Прелюбодействовал? — И, увидев, как оторопел Буюнг, заорал: — Ха-ха-а-а! И ты, значит, во всем этом по уши увяз? И ты туда же? А прикидываешься чуть не ангелочком — чистюля, скромник, тихоня. Ха-ха-а-а! И вы еще смеете думать, что вы лучше меня?! — Дядя Каток встал перед ними в полный рост. — А ты, Пак Хаджи? Надо бы и тебе, гордец, покаяться. Живешь особняком, от соседей нос воротишь, людей сторонишься. Да что в тебе, Пак Хаджи, такого особенного? Что зажился на белом свете да много по белу свету колесил? Чему ты там научился, отчего с другими не поделишься? А может, ты и в самом деле чист и непорочен? Ладно, потолковали, и хватит. Пора и покаяться. Говори-ка ты первым, Буюнг!

Но Буюнг остался сидеть там, где сидел, и только пристально смотрел на дядю Катока. Как решил, так и будет: о Сити Рубиййях ни слова.

— Молчишь? Ах ты, щенок, кому перечить вздумал?

Мне?! — взвился от злости дядя Каток и пригрозил Буюнгу ружьем. — Не признаешься сейчас же, не покаешься — пристрелю, и делу конец. Про меня ты от папаши Балама уже слышал. А теперь тебе положено, все по справедливости. Приступай, не тяни! — И дядя Каток нацелился Буюнгу в грудь.

Буюнг медленно поднялся.

— Что ж, и вправду решили меня убить? — Его голос дрожал от еле сдерживаемого гнева.

— Шутки, думаешь, с тобой шучу? — рявкнул дядя Каток. — Ну, давай!

— А кто меня может заставить? Мои грехи — это мое дело. Почему я должен каяться, если сам того не хочу?

— А потому! Потому что так хочу я! Потому что ты мой ученик, потому что я над вами старший. Моя тут власть. Видал вот это? С этим ружьем я всякого приструнить могу. Как шелковый будет, что надо, то и сделает. Все понял?

— Я говорить не стану. Хотите — стреляйте, — коротко сказал Буюнг.

В глазах дяди Катока, не ожидавшего от Буюнга такого упрямства, шевельнулась растерянность. И тут чуть ли не помимо собственной воли возвысил голос Пак Хаджи, с самого начала внимательно следивший за этой сценой.

— Успокойтесь-ка оба!..

— Тебя, Пак Хаджи, не спросили, ты и не суйся! — поспешил прикрикнуть на него дядя Каток. — Погоди маленько, и до тебя очередь дойдет.

Пак Хаджи, однако, не стушевался и присутствия духа не потерял.

— Ты лучше сам погоди да послушай, что я скажу, — заговорил он спокойно и твердо. — Чего это мы затеяли? Общий ведь враг у нас, вместе над пропастью ходим!

— Вот для вашего же спасения и требую, чтоб покаялись в грехах. Забыли, о чем папаша Балам твердил? — гнул свое дядя Каток.

— Помним, помним, — сказал на это Пак Хаджи,— но принуждать друг друга мы не можем. Люди всякие бывают. Иной перед Всевышним предстанет — и то не раскается. Какой прок насильно из него тянуть? А я таиться не буду. Раз уж тебе обязательно надо, признаюсь честно: все до единого есть на мне грехи, какие ни совершались в этом мире со времен адамовых. И сам я горя хлебнул. Нет почти что подлостей таких, на которые способен человек и которых бы не подстроили мне. Если возьмусь все по-

стыдное вспоминать, в чем повинен, все темные дела, что своими глазами видел, да чужие грехи, от которых был мне вред, то и до утра не управлюсь. Все было — обманывал, грабил, женщин совращал. И убивать себе подобных случалось, и умирать от черной зависти к ним, и предавать их. И мне тоже завидовали, и меня тоже обманывали, грабили, предавали. За то, в чем грешен, люди мне воздали злом сполна. Потому и держусь от них подальше, потому и не вмешиваюсь в дела людские — в деревенские и прочие, — потому и хочу жить в одиночку. Нет у меня веры в человека. Была, да вся вышла. Жить можно только самому по себе и для себя — вот она какая, моя вера. Так-то, дядя Каток, и довольно с тебя. Чтоб больше ко мне с этим не лез.

И Пак Хаджи уселся спиной к дяде Катоку.

Тот хоть и зол был как черт — и на своих спутников, и на весь род людской, — а насчет Пака Хаджи правильно смекнул. Поди к нему подступись — будто каменной стеной отгородился, лишь бы не тревожили, не мешали жить. Напирать дядя Каток пока не осмеливался. Поэтому снова принялся за Буюнга.

— Ну, теперь ты валяй, да по-быстрому!

Но Буюнг не проронил ни слова. Он смотрел дяде Катоку прямо в глаза, и по лицу было видно, что решил стоять на своем. Они так и впились взглядами друг в друга. Дядя Каток вскинул ружье.

— Считаю до трех. Раз...

Буюнг не отводил взгляда.

— Два...

Буюнг молчал.

— Три! — хотел было скомандовать дядя Каток, но не успел. Где-то неподалеку, во тьме обступившего их ночного леса, заревел тигр.

Вздрогнув всем телом, дядя Каток уставился сначала в одну сторону, потом в другую, силясь разглядеть хоть что-нибудь за пределами освещенного огнем пространства. Остальные повскакали на ноги. Буюнг схватился за тесак, следом за ним Санип и Пак Хаджи. Застигнутые врасплох, не в силах унять бешеного стука сердец, они испуганно озирались вокруг. Дядя Каток изнемогал, чувствуя, как страх завладевает его душой, как сжимает ее в комок и мнет в своих лапах. Убежал бы без оглядки, да разве отсюда убежишь?

Опять услышали дикий, бешеный рев. И опять толком не разобрали, откуда он донесся. Дядя Каток беззвучно

шевелил губами — то ли бормотал про себя заклинания, то ли никак не мог справиться с испугом. Буюнг подбросил в костер хворосту. Языки пламени взметнулись вверх. Стало светлее, и темнота словно бы отодвинулась чуть дальше в глубь леса. Вдруг поблизости хрустнула сухая ветка. Все живо обернулись и увидели среди кустов два зеленоватых огонька. Тигр!

— Стреляй, дядя! Стреляй ему промеж глаз! — зашептал Буюнг, умоляя, торопя, настаивая. Как в дурном сне, не соображая, что делает, дядя Каток поднял ружье и стал целиться туда, где, казалось, замерли, застыли в неподвижности эти светящиеся глаза. Наконец нажал на курок, но вместо выстрела над ухом слабо щелкнуло. Осечка! Не послушал умного совета, не сменил порох, а он и впрямь отсырел.

В тот же миг Буюнг, догадавшись, что произошло, отскочил к костру и, закричав: «Огня! Огня!» — с разбегу швырнул в заросли горящую ветку. За ней полетела другая, третья — это подоспели Пак Хаджи и Санип. Из кустов раздалось угрожающее рычание, зеленые глаза мигнули и пропали.

— Скорее, дядя, заряжай! — вырвалось у Буюнга. Отбежав назад, он снова выхватил из костра пылающий сук и крикнул Санипу, чтоб кидал в огонь побольше сушняка.

Теперь они напряженно ждали, вернется тигр или нет. Но время шло, ничто не нарушало тишину, и Буюнг кстати вспомнил о дяде Катоке. Спросить бы, засыпал ли свежий порох. С этой мыслью Буюнг огляделся и узрел такое, что поразило его до крайности. Ружье валялось в траве безо всякого присмотра, а сам хозяин... Забившись в хижину, он как одержимый катался по земле, точно хотел зарыться в нее поглубже, укрыться в ее утробе. И Буюнг, и Санип, и Пак Хаджи сразу поняли, что с дядей Катоком. Он отчаянно, до умопомешательства перетрусил.

К дяде Катоку метнулся Санип, грубо встряхнул его и, заставив подняться, только что не набросился с кулаками. Отвращение и ненависть, переполнявшие Санипа, звучали в каждом его слове:

— Вот он, полюбуйтесь, наш дядя Каток, храбрец из храбрецов! Учитель всезнающий, колдун непревзойденный, борец непобедимый! Великий ты наш вождь! Что ж ты, дядя Каток, от своих прячешься, нору себе роешь? Шарлатан ты, а не учитель! Гляди!.. — И Санип, сняв висевшую у него на поясе связку амулетов, бросил их наземь. — Дрянь твои заклинания, и амулеты твои дрянь! Были у папаши Балама

такие же висюльки, и у Талиба с Сутаном были. Верили тебе люди, и вон до чего эта вера довела. Нету их, сгинули. Ты тут других каяться заставлял, пора бы и самому. Покайся, покайся — да не только в том, о чем папаша Балам поведал. Или ждешь, чтоб про твой грех я тебе рассказал?

Ответа не последовало.

— Ладно, расскажу. Видел я тебя с Сити Рубийях...

Пока Санип объяснял, а изумленный Буюнг слушал, что и как там было, дядя Каток успел разыскать ружье. Дрожащими руками он торопливо протер его и перезарядил.

— В общем, хотите верьте, хотите нет, а я своими глазами видел. От него все наши беды, от дяди Катока. Тигр этот, который напал на нас, — это Хитамов тигр. Мстит за то, что ты, дядя Каток, Сити Рубийях силой взял. Я ж видел, прямо у реки...

— Цыц, гаденыш! — оборвал его дядя Каток. — Видел, говоришь? Глазами ты слаб, понял?! Нет, не неволил я ее. Я с ней, к твоему сведению, за это дело расплатился. А она такая — любому даст, кто деньгами наградит или кофточку подарит. Да ведь и вы не прочь с ней переспать, а? Вот ты, Санип, ты чего там крутился? Ты ж подглядывал за ней! Так-то, одно у нас на уме. Только вы дядю Хитама забоялись, а я нет. Тоже мне, мужики! — И дядя Каток оглядел их с видом полнейшего превосходства.

Странно было слушать это Буюнгу. К разочарованию и обиде примешивалось чувство облегчения. Получается, и дядя Каток тоже... А все равно будто что-то потерял. Жаль чего-то чистого, милого сердцу...

Дядя Каток вдруг заорал:

— А ну катитесь отсюда, не то пристрелю!

Стало ясно, что разговаривать с ним больше не стоит — убьет. Даже если навалиться втроем и попробовать отобрать ружье, без крови не обойтись. Одного-то из них дядя Каток непременно прикончит. Уйти в лес? И там беда поджидает: тигр рыщет, добычу высматривает. Но смерть от пули сейчас совсем близко, а человек из двух смертей обычно выбирает ту, что подальше. Так уж устроен.

Делать нечего — вынесли из хижины свои пожитки, прихватили тесаки и нехотя, тяжело ступая, пошли прочь. Уютный мирок, озаренный светом и согретый жаром костра, остался позади. Оттуда донесся злобный вопль Катока:

— Чтоб вы сдохли, чтоб вас тигр пожрал! Ха-ха-ха!

* * *

Как только их объяла мгла — такая густая, что отблески костра уже не могли ее рассеять, — Буюнг остановился.

— Нельзя нам дальше, — шепнул он Паку Хаджи и Санипу. — Назад надо повернуть, отнять у него ружье.

Начали тихонько переговариваться, сообща решать, как лучше подобраться к дяде Катоку и обхитрить его.

А на дядю Катока снизошло между тем запоздалое прозрение. Рядом с этой кучей горящего хвороста никого, кроме него, нет. Он остался один на один с необъятными, до жути темными джунглями — с ними и с притаившимся в них тигром. И еще — со смятением, пробудившимся от этих мыслей. Что, если тигр заявится опять? Нет-нет, он должен кинуться на тех троих. А вдруг сперва все-таки на него? И вдруг порох, как в прошлый раз, не вспыхнет и ружье не выстрелит? С каждым вопросом волны неудержимого страха подкатывали к горлу, и дядя Каток только что не захлебывался в них. Порывы этой невидимой бури сотрясали все его тело. Холодный пот проступал крупными каплями на лбу, струился по лицу и шее, по плечам и животу. Дядя Каток был мокр с ног до головы, словно его и в самом деле окатила какая-то волна.

Как быть, что делать? Что ж сделаешь в одиночку... Но есть, есть выход: обложить хижину кострами, засесть в огненном кольце. Тогда он спасен!

Не выпуская ружья, он силился разглядеть, нет ли чего подозрительного окрест, напрягал слух, дабы вовремя расслышать малейшее шевеление среди ветвей и листьев и опознать его причину. Но лес точно вымер. Ни стрекота цикад, ни копошения светляков — будто бесчисленная живность, пробуждающаяся в джунглях с наступлением сумерек, разом заснула.

Чу, что это?! Явственно послышались мерные, гулкие, непонятно откуда доносящиеся удары. Ближе, еще ближе... Фу, черт! Нашел тоже, чего бояться. Это ж его собственное сердце. Дядя Каток глубоко вздохнул. Отпустило...

Отпустить-то отпустило, но ненадолго. Вслед уходящим оторопям и страхам спешили новые, и эти новые были мучительнее и злее прежних.

Эх, как было бы сейчас славно, не прогони он своих сотоварищей! Вчетвером-то куда легче с тигром воевать. Вот будет дело, если те преспокойно доберутся до деревни, а зверь по его душу пожалует! А ну как он и есть Хитамов

посланец, мститель за Сити Рубийях?!

То ли померещилось, то ли и вправду прошелестело сзади? Вроде как на цыпочках кто-то идет, подкрадывается исподтишка. И ведь попробуй разгляди хоть что-нибудь — черные деревья да черная ночь. Опять похожие звуки, теперь с другой стороны. А может, опять показалось?.. Все, хватит! Задумал костры разводить, так разводи!

Вытащив из огня несколько чурок, дядя Каток отбросил их чуть поодаль, но в спешке сбил с них пламя и был вынужден, согнувшись в три погибели, дуть на тлеющие угли и головни, пока огонь не занялся снова. Подложил еще немного горящих веток, навалил сверху охапку хворосту из тех запасов, что приготовили, устраиваясь на ночлег, и второй костер полыхнул вовсю. А дядя Каток уже лихорадочно сновал туда-сюда, хлопоча над следующим, теряя остатки самообладания от своих же оплошностей, раздражаясь до последней степени и негодуя оттого, что костры не хотели разгораться в мгновение ока. Увы, в его распоряжении имелась только одна пара рук и ног.

Он возился с четвертым костром, когда Буюнг подал сигнал к нападению — крикнул по-совиному. Пак Хаджи и Санип спереди, Буюнг с тылу кинулись на дядю Катока. Тот, успев заметить лишь выскочившего из кустов Пака Хаджи, проворно подхватил ружье и выстрелил по бегущему, не целясь. Пак Хаджи упал ничком. В тот же миг на спину дяде Катоку прыгнул Буюнг. Подоспел Санип, но противники уже сцепились так крепко, так быстро катались по земле между костров, едва не увлекая друг друга в огонь и ежесекундно меняясь местами, что помочь Буюнгу было трудновато.

Распаленный страхом и злостью, дядя Каток боролся отчаянно. А он ведь и без того был гораздо опытней, да и посильней. Буюнг сопротивлялся как мог, но чем дальше, тем слабее, и накал схватки мало-помалу спадал. Тут-то и пришел черед Санипа. Вооружившись толстой палкой, он изловчился и огрел ею дядю Катока. Удар пришелся по темени. Дядя Каток свалился замертво.

Изрядно помятый, Буюнг встал, потирая саднящее, ноющее тело.

— Здоровый, черт, — сказал он Санипу, — даром что старик.

Они поспешили к Паку Хаджи, все лежавшему без движения, перевернули лицом кверху и увидели, что он истекает кровью. Осторожно подняли, подтащили поближе к огню.

— Погляди, что с ним, а я пока ружьем займусь. — С этими словами Буюнг достал из пороховницы, валявшейся рядом с дядей Катоком, пулю, порох и, не мешкая, зарядил ружье. Потом подошел к Санипу, промывавшему рану Пака Хаджи — на груди, справа, — и принялся помогать ему. Мокрой тряпкой Буюнг отер грязь со лба и скул Пака Хаджи. Вдвоем с Санипом они перевязали раненого, натянули на него рубаху, отнесли в хижину и устроили там поудобнее.

Все это время дядя Каток не подавал признаков жизни. Однако, осмотрев его, Буюнг решил, что волноваться не о чем и помощь не нужна.

— Голова цела, сам очнется.

— Вот уж не думал, что он на такое способен! — возбужденно откликнулся Санип, еще не остывший после недавней стычки.

— Совсем спятил. А еще в наставниках у нас ходил. Как же мы-то ничего не замечали? — недоумевал Буюнг.

Тяжкий стон прервал их разговор.

Буюнг и Санип склонились над Паком Хаджи. Он посмотрел на них долгим, вопрошающим взглядом. В ответ Буюнг поднял ружье так, чтобы Пак Хаджи мог его видеть. Слабо улыбнувшись, раненый с трудом произнес:

— Слава Аллаху!

Он впал в забытье, но вскоре опять открыл глаза и заговорил:

— Вы еще молодые. Что здесь случилось, пусть вам уроком будет. А я только сейчас понял... Не одни живем в мире, нельзя человеку одному... Захочешь так жить, и ни жизни по-настоящему не изведаешь, ни человеком настоящим не станешь. Кто думает в одиночку прожить, тому никогда людей не понять, никогда добру и любви не научиться. Поздно мне это открылось. Виноват я... Виноват, что и в людях изверился, и в бога веру потерял. А вы, дети, вы веруйте всегда. Но к своей вере никого насильно не склоняйте и ни любви, ни добра тоже никому не навязывайте... Каждому другой человек нужен, другие люди... Их жизнь, провинности их, ошибки — все для вас наука. На дядю Катока зла не держите. Простите его, пожалейте. Кто согрешил против нас, тех прощать должно и миловать... Вспомните, как оно говорится: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного...» Воистину Он и Всемилостивый, и Всепрощающий... В том и разгадка человечности, и сам Он эту разгадку человеку ниспослал. Любой грех простится, коли придет человек к богу с чистыми помысла-

ми, с раскаянием искренним. Так как же нам, слабым и ничтожным, судить себе подобных, карать их сурово и безжалостно? Вот я — судил по недомыслию людей, весь род людской судил, а получилось, что себе же приговор и вынес, себя же и обрек... Теперь-то знаю: нет грешника хуже меня. Самый старый я из вас, а умом и сердцем воистину слепец. Гордыня обуревала, совершенства требовал от людей, и невдомек мне было, что не дано это нам, что суждено человеку вечно стремиться к совершенству и не находить его... И еще понял: любовь, одна лишь любовь питает человечность, взращивает ее, а ненависть — никогда. Ненавистник думает ближних своих уничтожить, а того не ведает, что себя самого первым топчет, человека в себе сокрушает... Так что вы над дядей Катоком смилуйтесь... Случается, одолевает страх и того, кто властью облечен. Такой человек всегда зло творит... Помните: чужая жизнь — это ваша жизнь... Алчный тигр на вас нападает, убить его хотите? Тогда убейте сначала тигра в сердце своем... Понятно ли вам?.. Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Его... Прости мне, боже, мои прегрешения... Нельзя человеку одному... любите людей... убейте тигра в сердце своем... — Голова его бессильно повисла, внутри что-то дернулось, горлом пошла кровь... Вот и Пак Хаджи ушел от них в мир иной.

Буюнг и Санип были потрясены. Санип, точно не веря, что Пак Хаджи испустил дух, начал было трясти его за плечи, звать по имени. Буюнг, однако, удержал товарища и смиренно и строго произнес, как велит мусульманская вера:

— Воистину все мы от Аллаха произошли и к Нему вернемся.

Покойнику прикрыли глаза, сложили руки на груди.

— Двое нас всего осталось, да этот еще! — с горечью бросил Санип.

— Да, кабы не он, жив был бы сейчас Пак Хаджи.

— Что делать с ним будем?

Действительно — что? До сих пор Буюнг об этом не задумывался. Завладели ружьем, и ладно. Предпринимать же что-либо против дяди Катока у него и в мыслях не было. Но теперь... Теперь он сознавал, что дядя Каток — убийца. Пака Хаджи застрелил, а еще раньше всех трех в темный лес погнал, навстречу смерти.

— Свяжи-ка его покрепче, Санип, — распорядился Буюнг. Как-то само собой получилось, что среди них двоих старшим стал он.

И вот один отправился вязать дядю Катока, а другой — тушить те три костра, что развел дядя Каток.

— Вон их сколько горит, — ворчал Буюнг, — где ж тут хватит хворосту до утра.

Дядю Катока уложили в хижине, а сами уселись у огня с твердым намерением провести так остаток ночи и быть все время настороже...

Придя в себя и попробовав сесть, дядя Каток обнаружил, что почти не может пошевельнуться. Связали!.. Припомнилось, как стрелял в Пака Хаджи и сразил его, как схватился потом с Буюнгом... Повернул голову и вздрогнул — увидел рядом с собой труп. Чуть приподнявшись, разглядел: перед костром, спиной к хижине, сидят Буюнг и Санип.

Дядя Каток слегка приободрился. Уж с этими-то пареньками он как-нибудь совладает. Что с них взять, несмышленыши. Припугнуть бы хорошенько, а это он умеет. И он громко окликнул Буюнга. Тот вместе с Санипом вошел в хижину.

— А ну развяжите! — Дядя Каток послал им испепеляющий взгляд, но Буюнг с Санипом и бровью не повели. — Развяжите, кому говорю! Чего скрутили?

— Ты, дядя, Пака Хаджи убил, — ответил Буюнг.

— Нет моей вины. Зачем на меня набросились?

— Не надо было на смерть нас посылать.

— Ну смотрите... Не развяжете — вам же хуже. Нашлю на вас порчу, так животы вспучит, что сдохнете! Дьявола на вас натравлю со злыми духами вкупе, прокляты будут ваши отпрыски до седьмого колена... — Он осекся, завидев, что Буюнг и Санип насмешливо переглядываются.

А кстати... Буюнг распустил свой широкий пояс. Под ним, на веревочках и шнурках, обмотанных вокруг талии, висели амулеты — те, что наказал носить дядя Каток. Медленно, без суеты Буюнг снял их с себя, собрал в горсть, поднес к глазам дяди Катока и так же неспешно, по одному побросал в костер.

— Отпустишь — научу, как Зайтун приворожить, с ума по тебе сходить будет, — пообещал дядя Каток.

— Грош цена твоей ворожбе, и амулетам, и приказам, и тебе самому!.. А с Зайтун мы и так поженимся, — прибавил Буюнг и с какой-то новой, незнакомой прежде уверенностью произнес: — Любит она меня, потому и поженимся. Так что заклинания и амулеты без надобности.

Дрогнувшим голосом дядя Каток спросил:

— Со мной-то как же?

— В деревню отведем, сдадим в полицию.

Дядя Каток на время затих, но потом с перепугу много чего наговорил. Как только не нахваливал свое могущество, каких только напастей не предрек!

— Эх вы, неучи! Молодые, да видать из ранних! Неужто думаете, будто по силам вам одолеть дядю Катока? Может, и колдовство мое великое для вас уже не колдовство, и познаниями тайными пренебрегаете? Ладно-ладно, поглядим, чья возьмет, чьи косточки в лесу сгниют, а кто в деревню вернется. Мерзавцы вы неблагодарные, на своего же учителя покусились. Не завидую я вам, берегитесь! — стращал дядя Каток.

Услышь они раньше этакие угрозы и проклятия из его уст, Буюнг и Санип наверняка бы мертвецки побледнели и затряслись, как припадочные. Да что там — им и сейчас было малость не по себе. Вдруг не врет? Но, памятуя о предсмертных словах Пака Хаджи, думая о том, как завещал он всегда веровать в бога и уповать на Него, Буюнг поборол сомнения. А дяде Катоку сказал:

— Было дело, боялись мы твоего колдовства, верили в него, в амулеты, а теперь вот не боимся и не верим. Чепуха это, бредни.

Но дядя Каток еще долго не унимался и обещал отомстить, пустив в ход невообразимо изощренные и жуткие магические уловки.

Поутру Санип и Буюнг омыли тело Пака Хаджи и, прочитав заупокойную молитву, предали земле.

Подкрепились, запаслись едой на дорогу. Буюнг освободил от пут ноги дяди Катока, но веревок, стягивавших руки, не тронул. Осведомившись, куда, мол, собрались, и услыхав от Буюнга: «Идем на тигра», дядя Каток аж вскрикнул.

— Да вы что, спятили?! Так меня и потащите? А руки-то как же? Развяжите! Мне ж тесак и то держать не в чем!

— Тебя, дядя Каток, к этим вещам лучше не подпускать. Было у тебя оружие, и сила была, и власть. Тебе бы все это против тигра обратить, а ты сам в тигра обратился, — молвил Буюнг.

Он пошел впереди, Каток — посередке, Санип — сзади.

Возглавив поиски Сутана, Буюнг старался и путь выбрать покороче, и обойти стороной темные, глухие чащобы. Занимался полдень, когда вышли к речке — той самой, подле которой накануне останавливались, чтоб отдохнуть и перекусить. Зайдя в воду, Буюнг повел остальных вверх по течению. Приходилось то переступать с камня на камень,

то погружаться в поток почти по пояс.

Шагали осторожно, чтобы зря не тревожить джунгли. Достигнув места, где у них был привал, Буюнг долго стоял посреди реки, вслушиваясь в шорохи леса, ощупывая взглядом прибрежную растительность. Наконец по его знаку выбрались на берег. Палые листья, другие едва различимые приметы указали Буюнгу одно из направлений вчерашнего перехода. Двинулись этой дорогой вторично, и минут через десять Буюнг, склонившись долу, разобрал отпечатки лап тигра — полустертые, двух-трехдневной давности. Пошли медленнее, и вот Буюнг снова, на этот раз резко, остановился. Прямо перед ним валялся рваный кайн со следами звериных когтей.

Осмотревшись вокруг, нетрудно было догадаться, что здесь произошло. Вон там тигр настиг Сутана, вцепился в него, повалил. Повсюду пятна крови, не то что траву и землю — кусты забрызгало...

Санип с дядей Катоком выжидали позади. Буюнг поманил их к себе, они приблизились и ошеломленно замерли. Ничего не осталось от Сутана, кроме обглоданных костей, разодранной одежды, пустых ножен да тесака, отлетевшего недалеко в сторону.

Оцепенение охватило и Буюнга, но он все-таки превозмог себя, быстро собрал останки, от которых уже сильно тянуло дурным запахом, положил на обрывок кайна и увязал в узел. Жестом показал Санипу, чтоб приготовился вместе с дядей Катоком присоединиться к нему, и принялся внимательно изучать тигриные следы...

Час спустя, идя по следу, Буюнг понял, что он ведет туда, где они вчера устраивались на ночлег. Зверь шел тою же тропой, что и они, за ними по пятам.

Выходит, напав на Сутана и растерзав его, тигр продолжал охоту на людей. Продолжал и будет продолжать — это тоже ясно. Как же его подстеречь? И тут у Буюнга созрел план.

Вскоре он облюбовал подходящую поляну. Встав под сенью высокого дерева, Буюнг вполголоса предупредил спутников:

— С этой минуты не курим, не кашляем, делаем все как можно тише, понятно? А сейчас поедим, пора уже.

Ели, как солдаты перед боем.

Когда покончили с едой, Буюнг пошептался с Санипом и сообщил дяде Катоку:

— Сейчас, дядя, опять тебе ноги свяжем.

— Это еще зачем?

— Увидишь.

Дядя Каток вознамерился было спастись бегством.

— Беги, беги, — напутствовал Буюнг, — тигр ждет не не дождется.

Остолбенев от одного упоминания о тигре, дядя Каток не противился, когда ему вязали ноги, когда прислонили к дереву. Он и опомниться не успел, как Буюнг и Санип накрепко прикрутили его к стволу. И только когда дело было сделано, до дяди Катока дошло, что над ним сотворили.

— Тигру подсовываете, вместо приманки?! — прохрипел он, вытаращив глаза.

— Так точно, — подтвердил Буюнг. — Но смерти твоей, дядя, нам не надо. Не бойся, защитим.

— Ты же промахнуться можешь!

— Вот и помоги, соберись с силами и поколдуй, чтоб попал.

— Да не могу я этого, не могу! — сорвался на крик дядя Каток. — За что вы меня, за какие грехи мне такая пытка?!

— За какие грехи, говоришь? — переспросил Буюнг. — Считай, дядя, что старых грехов твоих, о каких папаша Балам рассказывал, мы не знаем. Про историю с Сити Рубийях тоже забыли. За то, что Пака Хаджи застрелил, за то, что нас хотел убить, — за это тоже прощаем. Не нам твою вину мерить. Другие у тебя будут судьи в этом мире, а на том свете Всевышний по заслугам воздаст. Но ты, дядя Каток, много простых людей обманул, и этого не забыть. Учителя из себя строил, вожака, а на поверку... А на поверку вышло, что наставления твои и колдовство — сплошная ложь и вожак ты никудышный. И душою был ты и есть не человек, а хищный зверь, тигр. Так что ничего особенного мы не делаем. Одному тигру другого подставляем, только и всего.

С этими словами Буюнг махнул рукой Санипу, и они укрылись в засаде, метрах в пятнадцати от дерева, к которому привязали дядю Катока. Тот сначала помалкивал. Однако предчувствия неминуемой беды мучили чем дальше, тем сильней. В лесу воцарилось какое-то странное спокойствие. Казалось, ни единая веточка, ни единый листик не колышется. Дядя Каток отчаянно вертел головой, вытягивал шею, безуспешно пытаясь разглядеть, где спрятались Буюнг и Санип... Ох, тошно! Закричать бы в голос, но как подумаешь, что на эти крики поспешит тигр... Да ведь все равно найдет сюда дорогу, хоть кричи, хоть нет... Треснул в зарослях сучок... Кто это там дышит?.. Неужто

он?! Совсем ошалев, дядя Каток завопил что было мочи, и в этих звуках прорвался ужас дикаря, почуявшего неотвратимость смерти.

— Бую-ю-ю-юнг! Где-е ты-ы?! По-мо-ги-и-и! Спа-а-си-и! Где-е вы-ы?! Бро-о-си-и-ли-и! У-бе-жа-ли-и, бро-си-ли-и-и! Бую-ю-ю-юнг! По-мо-ги-и-и!

Умаявшись от крика и надорвав голос, он залился слезами, моля Буюнга и Санипа о пощаде, суля им златые горы, а когда и это не помогло, пустился натравливать Санипа на Буюнга. Деньги и богатства несметные, приобщение к заветнейшим тайнам колдовским — все пообещал, лишь бы освободил его Санип. Потом опять разразился плачем, да таким, что у Санипа защемило сердце, и он шепнул товарищу:

— Не жаль тебе его?

Буюнг мотнул головой — и моментально насторожился. Вроде никакого шума, а нервы натянулись, как струны. Он начал медленно поднимать ружье.

Из противоположных кустов до ушей Буюнга и Санипа донеслось что-то похожее на легкое шевеление. Затрепетала листва, и лишь самый зоркий и пристальный взгляд отличил бы этот трепет от того, каким сопровождается дуновение ветерка. Бесшумно раздвинулись ветки, и показалась морда тигра. Вот он, виновник стольких несчастий, тот, кто денно и нощно выслеживал и истреблял людей. Наконец-то они увидели его воочию.

Обозрев поляну и дерево вместе с привязанным к нему человеком, тигр напружинился всем телом и глухо зарычал. Заслышав этот рык, дядя Каток — примолкший, в изнеможении уронивший голову на грудь, — разом вскинулся. Его и тигра разделяло не более десяти метров. Силясь закричать, дядя Каток разинул рот, но вопли так и застряли в горле. Издав короткий жалобный стон, он лишился чувств. Тигр пригнулся, изготовился к прыжку...

Тщательно целясь, Буюнг испытал невольную радость от того, как тверда его рука. Весь этот день он задавался вопросом: что будет, если при встрече с тигром его проберет дрожь и он не управится с ружьем? А сейчас, ощущая крепость мышц и ясность ума, он был уверен в себе, понимал, что им угрожает, и знал, что делает. Молнией мелькнула мысль: обожди, дай ему задрать дядю Катока, а уж потом прикончи. Что ж, пожалуй... Но вослед этой мысли прозвучало, будто из уст самого Пака Хаджи: «Убейте сначала тигра в сердце своем», и Буюнг напряг лежавший на курке

указательный палец. И когда тигр со свирепым ревом раскрыл пасть и оторвался от земли, чтобы через мгновение вонзить зубы в дядю Катока, Буюнг нажал на курок. Резкий и гулкий выстрел отдался эхом в лесу, смешался с воем зверя, и Буюнгу с Санипом почудилось, что какая-то могучая невидимая рука остановила тигра в полете. Простершись на земле в метре от того места, с которого совершил прыжок, тигр несколько раз судорожно перевернулся и замер, вытянувшись во всю длину.

Буюнг быстро перезарядил ружье и немного выждал. Потом они с Санипом, по-прежнему соблюдая осторожность, приблизились к тигру и, убедившись, что он в самом деле мертв, огласили джунгли торжествующими кличами. Пуля вошла точно между глаз — как раз туда, куда целился Буюнг. Санип так и приплясывал от восторга. Конец тревогам и смертельным опасностям, конец гнетущему страху. Нет ничего этого, словно речная вода унесла, оставив от пережитого одну лишь печаль о погибших. А убитый зверь был воистину огромен.

Буюнг отвязал дядю Катока, и тот тяжело осел наземь. Послушав, бьется ли сердце, Буюнг облегченно вздохнул. Жив, обмороком отделался да штаны замочил.

— Снимем-ка с него шкуру поскорее, — указал на тигра Буюнг, — а потом и хижиной займемся. У реки ночевать будем, на берегу.

Перед тем как сгустились сумерки, они успели еще похоронить останки Сутана.

С наступлением темноты расселись вокруг костра, навалив в него побольше хворосту — больше, чем обычно. Сидели молча, разговаривать не хотелось, а дядя Каток, связанный по рукам и ногам, и вовсе не разжимал губ с тех пор, как очнулся. Буюнг глядел на огонь, но уютное чувство, которое частенько посещало его раньше в такие минуты, сегодня все не приходило. В памяти воскресало случившееся за эти несколько дней. Среди пляшущих языков пламени померещилось лицо Сити Рубийях, и, как видно, неспроста. Сумела-таки завладеть его сердцем, заманила в свои сети, как сам он заманил в ловушку того канчиля, что подарил ей. Но он ни о чем не сожалеет, не хочет ей плохого. Он просто поставит новую ловушку и поймает канчиля для Зайтун. Подумав об этом, Буюнг улыбнулся.

А дальше вспомнилось дьявольское искушение, посетившее его в миг, когда держал палец на курке и целил в зверя. Повремени с выстрелом, пусть сперва дядю Катока

загрызет — это ведь был вызов на поединок с другим тигром. И Буюнг, памятуя наказ Пака Хаджи, принял этот вызов и боролся изо всех сил. А когда прогремел выстрел, то показалось, что убил наповал сразу двух — и лесного хищника, и тигра в сердце своем.

Он чувствовал, как в нем укореняется какое-то новое понимание того, что такое жизнь и что есть человек. Завтра они уйдут к себе в деревню, и Буюнг уже знал наверняка, что исполнить обещание, данное Сити Рубийях, он не вернется, а то, что было между ними, прошло безвозвратно. Он знал теперь, что человек и жизнь человеческая намного сложней, чем думалось ему совсем недавно. Мог ли кто-нибудь заподозрить, что таилось в душах папаши Балама, Санипа, дяди Катока, Пака Хаджи, Талиба, Сутана?..

Каждый должен противиться жестокостям и несправедливостям где бы они ни совершались. И если человек поворачивается спиной, если закрывает глаза на жестокость, творимую с другими людьми, он тысячу раз не прав. Невозможно измерить несправедливость, сказать, есть она или нет ее, прикидывая, далеко или близко от тебя она вершится. Человек, где бы он ни был, призван любить людей, а чтобы обрести человечность, надо прежде убить тигра в сердце своем. Сокровенный смысл этих слов Пака Хаджи Буюнг теперь постиг.

Человечности не бывает без любви, не прожить по-человечески в одиночку... Да, он будет любить людей, он будет любить Зайтун... Он постарается стать человеком, способным жить в мире бок о бок с себе подобными...

Буюнгу казалось, будто сброшена какая-то тяжкая ноша, будто всего его омыло чем-то живительным и свежим. Как хорошо вновь ощутить себя человеком, сбросить путы заблуждений, отринуть нелепые заклинания и суеверия. И телу тоже было легко и покойно без фальшивых амулетов дяди Катока — тех, что носил прежде у пояса...

Улыбнувшись, он сказал Санипу:

— Знаешь, я тут вспомнил кое о чем. Жаль, что побросали тогда амулеты в огонь.

— Это почему? — удивился Санип.

— Был там один очень красивый камешек, красненький, на куриное сердечко похожий. Его бы подшлифовать малость да в желтое кольцо вправить.

Санип рассмеялся:

— Вон тебе зачем камешек понадобился! Ладно, сходим завтра на речку, поищем...

Повести

Перевод Б. Парникеля, А. Оглоблина и В. Сикорского

Умар Каям

СМИРЕННАЯ

I

В их околотке все величали ее «госпожой учительницей массажа». На самом же деле она не была учительницей массажа, да и вообще не была учительницей. Верно то, что она была массажисткой, но только не такой, как все. Стоит сказать «массажист» или «массажистка», и сразу представляется слепец, бредущий по переулку, постукивая палкой, или особы, рядочком примостившиеся напротив постоялого двора или гостиницы. Так вот, она была не из таких. Она занималась массажем, но совсем по-другому, и работала только по вызовам. То есть она спокойно сидела у себя дома, пока за ней не приходили и не приглашали к клиенту. А уж от клиентов у нее не было отбоя. Все знали, что прикосновение ее неспешных рук поистине целительно. Те, кто обращались к ней постоянно, уверяли, что после ее массажа онемение, усталость, напряжение исчезали, словно их не бывало. При этом госпожа учительница и не думала тискать своих клиентов по примеру обычных массажистов. Она только ласково оглаживала ваши руки, ноги, голову, все ваше тело. И едва лишь к вам притрагивалась, вы ощущали, как в этом самом месте возникает прохладный ток, мгновенно размягчавший одеревенелые мышцы. А по мере того, как начинали расслабляться мышцы, по всему телу растекалось блаженное чувство облегчения и покоя.

Настоящее имя ее было госпожа Марто, а полностью — Мартокусумо. Собственно говоря, это было имя ее мужа. Или, точнее, имя, которое ее покойный муж получил, войдя в возраст.

Дело в том, что на Яве никому не придет в голову назвать новорожденного Мартокусумо. Имя это пристало человеку немолодому и весьма солидному. Это звучное и ко многому обязывающее имя. Такими именами не бросаются. Его не дадут крестьянину, вкалывающему на своем клочке

земли или обрабатывающему обширное, да только чужое поле. Не подойдет оно и извозчику, что развозит на своей арбе всякую всячину туда, куда укажут. И еще менее того — кузнецу, который день-деньской мастерит кухонную утварь или оковывает колеса бричек и телег. Да что говорить — люди этого сорта никогда и не осмелились бы взять имя Мартокусумо. Оно им просто не по плечу. Каждому из них отведено в мире свое место, а в соответствии с местом и имя. Безземельный крестьянин в годах может именоваться Кромоменголо, кузнецу пристало имя Мартогробак или Мартоглиндинг.

Иное дело — Мартокусумо. Это имя для белой кости. Его подобает носить служилым людям или тем, кто ведет свой род от служилых людей. Вот если ты работаешь регистратором в ломбарде, служишь на соляном складе или в полиции, тогда ты имеешь право на имя Мартокусумо. Или если ты, скажем, учитель. Для учителя это имя в самый раз. А покойный господин Мартокусумо как раз и был учителем. Более того — смерть застала его в должности директора уездной начальной школы.

Как же вышло, что госпожа Мартокусумо, жена директора, человека уважаемого во всем уезде, да и в области, стала массажисткой? Или причиной этому был природный дар, столь же важный для нее, как и обязанности, вытекавшие из положения ее мужа? Историю эту не расскажешь в двух словах.

Все началось еще в ту пору, когда госпожу Марто звали Свет Сумира. Она только что вернулась в свой уездный городок с дипломом об окончании школы домоводства в городе Дж.[1]. Ей исполнилось тогда уже восемнадцать лет. Мы говорим «уже», потому что в наше время школу домоводства, приравниваемую к средней школе первой ступени, кончают гораздо раньше. Мы говорим «уже» еще и потому, что по тем временам в маленьком городишке, да еще в глухой провинции, восемнадцатилетняя девица, к тому же окончившая среднюю школу в большом городе, считалась чуть ли не перестарком. Поэтому Сумира, что означает по-явански «смиряющаяся» или «смиренная», не стала спорить, услыхав от бабушки, что ей пора замуж. У бабушки на примете был уже и жених, видный собою и образованный. Его звали Сумарто, он был сыном отстав-

---

[1] Здесь явно имеется в виду Джокьякарта, едва ли не самый важный культурный и исторический центр в представлении яванцев.

ного сидельца опиумной монополии в областном городе Н. Окончив незадолго перед тем педагогическое училище, молодой человек получил направление в школу в том городке, где родилась Сумира. Согласие на замужество само слетело у нее с языка: ведь бабушка была с ней так терпелива и добра, дала ей возможность выучиться, а заодно и приобщиться к радостям городской жизни, пусть ненадолго и при более чем скромных средствах.

Свет Сумира тем более восхищалась добротой и умом своей бабушки, когда думала, что та все это время должна была экономить и жить одна-одинешенька в городишке, больше похожем на деревню, чем на город.

Так уж я положила себе, внученька, дать тебе настоящее образование. Поклялась в этом твоим родителям, перед тем как Аллах покарал нас и призвал их к себе. Я сказала себе: ты будешь жить, пока эта бедная девочка не окончит школу в городе, не выйдет замуж и ты не понянчишь правнука или правнучку. Так не раз говаривала ей бабушка, воспитанная на старых театральных пьесах и представлявшая себе женский долг как искусство благородно и сладко страдать, подобно Кунти.

Для яванской чиновницы (а бабушка была чиновницей, хотя и обедневшей) не могло быть лучшего примера, чем самоотверженная Кунти, мать пятерых братьев Пендово[1] (Свет Сумира отлично знала, что образы ваянга вошли в плоть и кровь ее бабушки. Всякий раз, когда девушка приезжала на каникулы, старушка, ласково перебирая ее волосы — кто знает, не завелось ли в них чего-нибудь на чужой стороне, — увлеченно рассказывала ей о театральных героях).

И уж совсем на седьмом небе от счастья она была в тот достопамятный день, когда мас Сумарто приехал наконец посмотреть на нее, или «позрить», как говорят яванцы. А приехал он на велосипеде марки «симплекс», хоть и не новом, но с фонариком, переключателем скоростей, начищенными до блеска металлическими частями и — что также немаловажно — с «живыми», надувными шинами.

На исходе японского лихолетья[2], в то время как запасы у всех подходили к концу, такой велосипед придавал огром-

[1] Пендово (или Пандавы) — герои древнеиндийской эпопеи «Махабхарата», известной на Яве главным образом в переработках для местного кукольно-теневого театра ваянг-кулит.

[2] Имеется в виду японская оккупация Индонезии, продолжавшаяся с 1942 по 1945 гг.

ный вес своему владельцу. Когда же Сумарто сел на стул лицом к Сумире, уверенность ее в том, что перед ней суженый («жених — судьбы избранник» — так говорится по-явански), возросла еще больше.

Надо было видеть в это время маса Сума, сидевшего в почтительной позе, положив на колени руки с переплетенными пальцами. На нем была чистая белая рубашка с длинными рукавами, белые тиковые брюки, идеально выглаженные и накрахмаленные, его черный галстук был коротко повязан в соответствии с модой, а аккуратно расчесанные волосы блестели и благоухали, точь-в-точь как тот дорогой красный сироп, который Сумире доводилось пробовать в городе в годы учебы. И не успел он еще представиться, а Сумира уже поняла по его голосу, что она пришлась по сердцу масу Марто (так она стала называть его в скором будущем).

Все последующие месяцы были посвящены тщательнейшим приготовлениям. Бабушка старалась подготовить ее к тому, чтобы она стала идеальной женой. Образцом для нее была избрана Сембодро, или Черная Дева, младшая сестра Кресно и Болодево, супруга Арджуно — мужчины номер один среди героев ваянга. Настоящая спутница жизни, исполнительная, терпеливая, знавшая мужние слабости и восхищавшаяся его сильными сторонами.

Тебя не так просто назвали Свет Сумира, внученька. Те, кто носит это имя, стараются быть уступчивыми и не боятся жертвовать собою. Только не подумай, что ты должна смотреть своему мужу в рот. Следовать за мужчиной — это значит понимать его и быть с ним искренней, а не потакать ему во всем. Поняла?

Как подобает девушке из чиновничьей семьи, Свет Сумира не проронила в ответ ни слова. Потому что, когда тебя спрашивают: «Поняла?», глупо отвечать: «Да», если ты в лучшем случае только пытаешься уразуметь сказанное. Сумира поняла бабушкины слова лишь после того, как прожила с мужем двенадцать лет. А покуда она склонила голову и промолчала, потому что именно этого требовал от нее обычай.

Потом бабушка объяснила ей, как надо добиваться того, чтобы муж был исполнен сил и не падал духом. На это существовали, оказывается, самые разные способы. И прежде всего в доме должен царить мир, так чтобы мужу всегда было хорошо рядом с тобой.

И тут, внученька, твои лучшие помощники — кухонный очаг, постель, доброе отношение и приятный разговор.

«Кухонный очаг» — это было понятно: мужу нужно готовить еду по вкусу. А вот «постель» — это...

Тут главное — терпение, внучка. Терпение и больше ничего. Тогда-то и станет ясно, способна ты на истинное смирение или нет. Как ни рознятся между собой мужчины, а в постели они все ведут себя точно балованные дети, поэтому надо быть настороже. Ведь капризный ребенок начинает буянить, если не может добиться своего.

Так вот бабушка и просвещала Сумиру, пока не составилось целое руководство, предназначенное для того, чтобы внучка во всеоружии вступила в решающую полосу своей жизни. Теперь Сумире предстояло регулярно пить отвар из кореньев, чтобы тело ее всегда было упругим и крепким *(имей в виду, внученька, что у мужчины не лежит душа к жене, если она поперек себя шире)*.

В определенное время Сумира должна была есть кенчур и сырую куркуму, чтобы от нее не пахло потом.

Не забывай, девочка, если не отбить запах пота, от тебя будет дурно пахнуть, а наипаче всего с исподу. И тогда мужу неприятно будет приближаться к тебе. А ведь в постели твой муж должен чувствовать себя, как и в любом другом месте у себя дома, радостно и безмятежно. Если ему будет радостно и безмятежно с тобой в постели, он не захочет променять ее и на райские кущи. Само собой разумеется, наставляла бабушка Сумиру, муж привлечет тебя к себе. *(Когда он сделает это, внучка, ты должна будешь подарить ему самое себя. Не отказывай ему ни в чем. Главное здесь — правильно дышать. Наберись терпения и не спеши, тогда все будет как надо.)* Однако для того, чтобы муж почувствовал себя радостно, безмятежно и прилепился к тебе, есть еще и другие способы. По словам бабушки, мужчину, когда он ложится в постель, гнетут всевозможные мысли. Чаще всего о делах, которыми он занимался днем. А раз так, тело и ум его испытывают усталость. *Так вот, как он ляжет в постель, не расспрашивай его о делах, а принимайся его массировать. Да-да, внучка. Помассируй его. Но только не вкладывай в это большой силы. Массировать и вообще-то не надо изо всех сил. Наоборот, делать это надо тихонько...* Согласно бабушкиному руководству, снимать напряжение с мышц следовало тихим и многократным поглаживанием. А поскольку усталость гнездится не только в мышцах, массаж не подействует без тихого пения или разговора о разных разностях, не имеющих отношения к мужским заботам.

Так вот и постигала Сумира новую для себя науку —

тонкое искусство семейной жизни. По словам бабушки, главная цель этой науки заключалась в том, чтобы привязать к себе мужчину. *Если мы будем выполнять их желания, внучка, они и подавно будут отвечать нам тем же...*

И Свет Сумира, как губка, впитывала в себя наставления бабушки, так что к дню свадьбы она знала уже все, что необходимо знать замужней женщине. То есть умела и сеять, и сажать, а вслед за тем и жать, как говорят яванцы.

II

С незапамятных времен люди строят планы на будущее, словно стараясь покорить судьбу, да только ничего из этого не выходит. Всего двенадцать лет оказалось отпущено Сумире на то, чтобы по мере сил выполнять свой долг и быть примерной женой. Слишком рано ушел из жизни ее супруг — господин учитель Мартокусумо. Эпидемия гриппа, обрушившаяся на их область, отняла маса Марто у Сумиры и у их дочери Тун. Самый образованный, по общему признанию, учитель в городе, вечно что-то возглавлявший и кого-то наставлявший, он и умер оттого, что, стараясь просветить больных, не уберег от инфекции самого себя. В один несчастный вечер он вдруг свалился с ног, и, добравшись до областной больницы, госпожа Марто только и успела, что услышать последние слова мужа: «...смотри не спускай глаз с Тун».

Но как бы то ни было, все эти двенадцать лет Сумира не знала горя. Мас Марто, хоть и не очень похожий на Арджуно, был для нее тем не менее Единственным в Мире Мужчиной. Вежливый, мягкий и сдержанный с виду (как и подобает чиновнику из ведомства народного просвещения), в постели он оказался, слава богу, именно таким, какими описывала мужчин бабушка Сумиры. Тут он и вправду вел себя как избалованный мальчик, которому нужно, чтобы его баловали снова и снова. И тогда в ход шли поглаживания, массаж и все прочее.

Хотя судьба даровала им всего одного ребенка, по части секса жаловаться было не на что. Вне дома, в школе или на поле, глядя на мужа, нельзя было и подумать, что он может испытывать влечение к женщине. Но стоило ему остаться с женой в четырех стенах и... «*Aja takon*»[1],—пряча улыбку, говорила Сумира. Ей ни разу не пришлось пожа-

[1] Лучше не спрашивайте (*яванск.*).

леть о том, что она приняла на веру все наставления бабушки. Хотя она и не смогла до конца последовать примеру Сембодро — для этого мало было двенадцати лет, поскольку та прекратила общение с мужем, лишь когда их сын Абиманью погиб во время великой битвы Бхаратов, — благодаря бабушкиной науке она оказалась женщиной, способной сохранить за собой мужнюю привязанность. Тело ее все эти годы было здоровым, крепким и стройным, как у девушки, а все потому, что она никогда не забывала пить свой настой. Кожа, хотя и не знавшая одеколона № 4711, всегда благоухала утренней росой, оттого что Сумира неукоснительно ела кенчур и сырую куркуму. А что касается чудодейственного «рассеянного массажа» и нежного пения, то ее немногословного и избегавшего лишних эмоций мужа иногда настолько одолевали эти самые эмоции, что он говорил:

— Ох, и хорошо же, что прошли времена раджей. А то какой-нибудь раджа, не ровен час, взял бы тебя в наложницы за твой голос и твои руки.

И Сумира, смущенная, гордая и довольная, тихонько щипала тогда мужа со словами:

— Видит бог, уж если вы хотите вогнать женщину в краску, вам это ничего не стоит.

Потом Сумира опять награждала его щипком, а мас Марто удерживал ее тогда еще на минутку в спальне, хотя на очаге уже начинала пузыриться в кастрюльке банановая кашица и подходило время вечернего купания Тун. И Сумира ложилась тогда навзничь и качалась на семейном пружинном матраце еще добрых пятнадцать минут.

О семейном счастье маса Марто свидетельствовало не только то, что он стремился проводить все свое свободное время дома, но и то, с какой решительностью он отверг однажды предложение общинного писаря взять его дочку в качестве второй жены.

— Ну и дела! Додумался же господин писарь — подсовывать мне в жены мою собственную ученицу!

— Господи боже мой, и вы еще недовольны! Джуминтен и хорошенькая, и молодая, и в руках у нее все горит, да и служебный надел у господина писаря немалый.

— Ш-ш-ш... давай лучше не будем об этом. Вмешается в это дело шайтан, вовек не оберешься хлопот. А потом, знаешь — от добра добра не ищут. Я одной-то жене не нарадуюсь, а тут еще вторая...

Сумира улыбнулась и ничего не сказала в ответ. На сердце у нее полегчало. «Слава богу», — подумала она, и в

который раз ей пришла на ум покойная бабушка.

Свет Сумира была бы недостойна своего имени, если бы не смирилась с судьбой. Смирение не позволило ей погрузиться в скорбь на месяцы и годы. Все ее внимание переключилось теперь на Тун.

К последним словам мужа она отнеслась как к святому завету, который должен быть выполнен любой ценой. Когда скончался мас Марто, Тун было уже двенадцать лет и она училась в пятом классе. Год спустя девочка окончила сельскую школу. К счастью, у нее была ясная голова, так что она получила отличный аттестат и без труда могла попасть в любую школу второй ступени в областном городе. Сумира не намеревалась отдавать дочку в школу домоводства, вроде той, какую окончила когда-то сама. Ей хотелось, чтобы девочка поступила в учебное заведение общего профиля. Время шло вперед — на улицах становилось все больше машин, множились всевозможные учреждения, а с ними и вакансии для образованных людей, и ей казалось, что дочка должна идти в ногу со временем. Сумире хотелось, если с божьей помощью учеба у Тун пойдет так же хорошо, чтобы девочка продолжала свое образование в Дж. Конечно, в областном центре тоже была средняя школа второй ступени, но она хотела, чтоб дочка вкусила городской жизни не где-нибудь, а в Дж. Там она наберется ума, и, уж конечно, ей будет что вспомнить, когда она вернется домой. Участок земли, доставшийся Сумире по наследству от бабушки, был невелик, пенсию за покойного мужа она получала мизерную, но, уповая на Аллаха, она надеялась с помощью экономии и швейной машинки свести концы с концами и потянуть расходы, связанные с обучением Тун.

— Я поставила перед собой цель, доченька, — дать тебе настоящее образование. Я обещала это твоему отцу, перед тем как Аллах покарал нас и взял его к себе. И я не успокоюсь, пока ты не кончишь среднюю школу, не выйдешь замуж, а я не понянчу твоего ребенка.

Точно так же, как бабушка, она сменила теперь свою роль и из Сембодро превратилась в Кунти, мать Пендово.

Раз ей не посчастливилось и судьба разрушила ее девичьи надежды на долгую и безмятежную семейную жизнь, думала Сумира, довольно будет и того, если ей повезет, как бабушке, решимость которой заставила судьбу смягчиться (разве бабушка не дожила до той поры, когда она кончила школу, не выдала ее замуж и не успела в свое

время подержать на руках маленькую Тун?).

Поставив перед собой цель, Сумира посвятила ей всю свою жизнь. С воодушевлением, не раздумывая больше ни минуты, она вступила на новый нелегкий путь. Не раз и не два к ней наведывались женщины, горевшие желанием узнать, не собирается ли она снова замуж. Она была еще молода, а для вдовы так и вовсе красавица, и стоило ей изъявить согласие — за женихами бы дело не стало. Немудрено, что у нее старались выпытать ее намерения. Чаще всего Сумира отделывалась улыбкой. Иногда, если настояния не прекращались и одной улыбки было мало, Сумира пускала в ход дипломатию: «Э, в уезде столько хорошеньких девушек, которым не терпится замуж. Вот с них-то и надо начинать». Когда же у нее появлялось желание пококетничать, она могла сказать: «О чем вы говорите, матушка, вы только поглядите на меня хорошенько. Да кому нужна такая развалюшка?» Но однажды она получила серьезное предложение, исходившее от самого жениха. Им оказался не кто иной, как господин писарь, отец Джуминтен. Сумира не сразу собралась с мыслями, когда как-то вечером он появился на пороге ее дома, решительно произнес: «*Kulo nuwun*»[1] — и уселся на передней веранде. Поговорив об урожае риса, о скоте, о местном кооперативе, о школе и тому подобном, господин писарь все с той же решимостью объявил, что оба они самые одинокие люди во всем их маленьком городке. Сумира осталась недавно без мужа — и он потерял жену, лишившуюся рассудка и посаженную в сумасшедший дом; Сумира рассталась с дочерью, уехавшей в область, — и он, писарь, простился с Джуминтен, которая вышла замуж и укатила с мужем в другой город. Сумира тотчас же поняла, куда клонит господин писарь, и, как истинная Сембодро, попыталась придать разговору новое направление, высказавшись в том духе, что одиночество — неплохая вещь для пожилых людей, которым самое время подготовить себя к «стезе» — длинному пути, ведущему к подножию престола божия (Сумира хорошо помнила все умные слова, которые говорили на этот счет ее бабушка и муж). Но писарь нисколько не растерялся, а вступил с ней в спор. По его словам, им было еще рано записываться в старики, оба они достаточно молоды для того, чтобы попытаться начать новую жизнь.

Вслед за тем господин писарь, то ли заметив, что время

[1] Разрешите войти *(яванск.)*.

близится к закату, то ли опасаясь упустить свой шанс в словопрениях, не долго думая, сделал ей предложение. Сумире стало смешно. «Какой неотвязный человек, — подумала она. — Совсем недавно предлагал моему мужу взять в жены свою дочь, а теперь как ни в чем не бывало сватается ко мне...» Она никак не могла настроить себя на серьезный лад. Обычай требовал, чтобы девушка, услышав предложение, потупилась в смущении, подлинном или показном. Но Сумира была уже не девушка и не чувствовала себя связанной этим обычаем. Она спокойно встретила взгляд господина писаря. И тут ей снова стало смешно. Господин писарь сидел спокойно, но каждым мускулом своего лица старался произвести на нее благоприятное впечатление. В волосах его кое-где пробивалась седина, хотя, глядя на его физиономию, на его крепко сбитое тело, ему нельзя было дать его лет. Сумира вынуждена была признать, что он не так уж плох собою. Это был настоящий мужчина, только грубоватые черты лица и в особенности толстые губы выдавали его невысокое происхождение. Ей было странно, что этот человек, еще недавно робевший перед ее мужем, почитавший его, а может быть, и благоговевший перед ним (из-за своего сравнительно низкого положения и малой образованности — он не закончил даже среднюю школу), теперь безбоязненно и настойчиво сватается к ней. Может, это потому, что полагающийся ему по службе земельный надел так обширен, да и денег у него куры не клюют, подумала она. Земельный надел! До чего же спокойно живется этому сельскому начальству с его земельными наделами. И не хочешь, а позавидуешь.

Слово «спокойно» на мгновение зацепилось в ее сознании. Писарь, пожалуй, был прав, когда говорил, что они оба в расцвете сил и до старости им еще далеко. А если ты не слишком стара и тебе отпущено еще время пожить на белом свете, хорошо бы прожить это время без забот, а тут и Тун станет на ноги и получит высшее образование — вот славно бы было. Но жить без забот значило для нее жить под опекой господина писаря. Сумира снова посмотрела в лицо сидевшего перед ней мужчины, стараясь найти в нем какие-то черты, внушающие большее доверие. И снова, в который раз, не смогла обнаружить того, что искала. Что было поделать — всякий раз, когда она смотрела на это лицо, в сознании возникал облик Бурисрово — злополучного сына царя Сальо, — не выдерживавший никакого сравнения с лицом Арджуно — маса Марто. И Сумира твердо решила

про себя, что она ни за что не выйдет замуж за господина писаря с его служебным наделом.

На том дело и кончилось. После того как господин писарь получил от ворот поворот, свахи не решались больше беспокоить Сумиру. Наверное, они рассудили: уж если она отказалась от такого видного и богатого жениха, остальным мужчинам и подавно надеяться не на что. И Сумира, нисколько не сожалея о своем решении, продолжала жить, как жила прежде, воодушевленно и смиренно. Охотно и безотказно принимала она всевозможные заказы на шитье, которые поступали к ней сначала от соседей, а потом и от людей, живших в отдалении. Она обшивала всех старательно и аккуратно, и, сколько бы ей ни давали за работу, принимала плату с благодарностью, не торгуясь. Выручку она откладывала и раз в месяц посылала Тун в областной город. А на жизнь ей хватало и того, что она получала с поля, которое арендовал у нее исполу живший по соседству богатый крестьянин Мохаммед, человек работящий и честный.

Тун развивалась именно так, как это воображала себе Сумира. Она стала здоровой, умной и общительной девушкой, знающей, что она хочет, и умеющей этого добиваться. Это превращение не могло не радовать Сумиру. Ей хотелось, чтобы дочка выросла не такой, как она. И дело было не в том, что она оплакивала свою собственную судьбу и свой характер. Совсем нет. Сумира считала, что ей повезло и в душе благодарила бога за то, что Он определил ей, круглой сироте, такую попечительницу, как бабушка с ее добротой и с ее умом. Она была довольна, счастлива и благодарна бабушке за то, что та вылепила ее по образу и подобию Сембодро. Все это оказалось как нельзя более кстати в их отношениях с масом Марто. Но Сумира видела и то, что новое время совсем не похоже на минувшие времена.

Сумира понимала или, скорее, чувствовала, что мелодия времени явно переменилась. Раньше Дж. представлялась ей стольным городом, отстоящим от ее городка на сотни километров; чтобы добраться туда, казалось, нужно было преодолеть непролазные леса, продираться через шипы и колючки, карабкаться по стенкам ущелий. А теперь, по ощущению самой же Сумиры, прокатиться в Дж. было все равно, что съездить раньше в областной центр, а попасть в областной центр казалось не труднее, чем раньше — добраться до уезда. То же самое и с современными девушками: они и думали, и говорили совсем не так, как ровесницы

Сумиры в молодости. Современные выглядели не в пример торопливее, казалось, ни в чем не знали удержу, но зато не боялись и задавать бесчисленные вопросы своим родителям. Сумира наблюдала за этими превращениями со смешанным чувством. Они удивляли ее, немного сбивали с толку, отчасти огорчали, но в то же время вызывали огромный интерес. Она сочувственно кивала головой всякий раз, когда какая-нибудь из соседок под вечер начинала жаловаться на сумасшедшие времена. Но это вовсе не значило, что она согласна с ней на все сто процентов. Кивая головой, она и соглашалась с собеседницей и стремилась уяснить себе смысл происходящего, а может быть, еще и хотела сделать приятное удрученной женщине. Всякий раз, когда Тун возвращалась домой в их сонный городок, Сумира отмечала новые перемены в своей дочери. Глядя на Тун, она испытывала уже совсем не то, что чувствовала, наблюдая за переменами в целом. В том чувстве была и доля печали (непонятной ей самой), и доля растерянности, а в этом — их не было и в помине. Становление Тун вызывало у Сумиры гордость, забавляло ее и безмерно привлекало, при том что в нем было и нечто тревожное (совершенно непонятно почему!).

Сначала, когда Тун училась еще в области и приезжала в их городок на каникулы, Сумира старалась сохранить верность ладу, знакомому ей с детства. Она пробовала обходиться с дочерью так же, как поступала с ней самой бабушка, когда ее отпускали на каникулы: она укладывала Тун вместе с собою, перебирала ее волосы и пела ей старинные песни. Но очень скоро стало видно, что Тун не бог знает как сладко среди бела дня нежиться на постели таким вот манером. Не то чтобы ей не нравился мелодичный голос Сумиры (время от времени она даже просила мать спеть еще что-нибудь), не то чтобы ей не нравилось полежать днем вместе с матерью, а то и прижаться к материнской груди. Однако Сумира не могла не почувствовать, что все это не доставляет Тун того удовольствия, которое испытывала в свое время она сама. Сумира помнила, что в подобные часы она целиком, без остатка, растворялась в той атмосфере, которую создавала бабушка. Бабушкин голос, ласковое прикосновение ее рук, прохладная затененная комната деревенского дома погружали Сумиру в состояние дремотного покоя. У Тун это все было не так. Она не могла отдаваться этому целиком. Не прослушав и нескольких строф старинной песни, Тун могла вскочить и

выбежать в соседнюю комнату, чтобы, прихватив там банан или какой-нибудь другой плод, снова растянуться рядом с матерью и слушать дальше. А когда Сумира принималась искать у нее в голове, дочка просила вдруг оставить ее в покое. Между тем Тун прекрасно понимала (так же как и Сумира), что мать перебирает ее волосы не для того, чтобы обнаружить в них насекомых (на этот случай у нее было припасено купленное в Дж. патентованное средство от вшей), а по старому-престарому обычаю.

Хотя Тун довольно внимательно слушала старинные яванские песни, она уже не умела их петь. Старые песни, которым научили ее в начальной школе, она позабыла, а песнопения Сумиры были для нее скорее развлечением и формой общения с матерью. Зато она часто привозила с собой сборники песен на индонезийском или английском языке. Хотя Сумира, занимаясь в свое время в школе домоводства, и выучила несколько новых индонезийских песен для крончонга, а заодно и несколько японских песен, она никогда к ним не возвращалась. Старые яванские песни были для нее куда привлекательнее, роднее, вероятно, потому, что их настроение и весь их смысл были ближе ее времени. От ее внимания не ускользало и то, с каким увлечением осваивает дочка все новое. Она изумлялась и восхищалась тому, что та учится говорить по-английски и изучает новые предметы, о существовании которых Сумира и не подозревала. С тем же чувством, хотя иногда и не без удивления, она следила за тем, как Тун постепенно отходит от прежней манеры одеваться. Ее занимало то, как меняются фасон и расцветка дочкиных кофточек. Если ее соседки или знакомые только вздыхали или хмурились, говоря о вкусах «современных вертихвосток», Сумира относилась к новым вкусам с интересом, с улыбкой или самое большее говорила: «Ну и ну!» Можно было подумать, что она смотрела на современные моды как на естественную перемену, происходящую по велению времени. И это понимание укрепляла в ней Тун всякий раз, когда Сумира просила объяснить ей очередное нововведение.

— Ах, мамочка, это же самая новая модель, — говорила Тун, и Сумира кивала в ответ головой. Только от случая к случаю она считала себя обязанной напомнить дочке, что нельзя одеваться чересчур вызывающе или — еще того хуже — навсегда расставаться с кайном и кебайей.

— Что же это будет, дочка, если яванские девушки отучатся носить кайн?

И Тун не спорила в этих случаях с матерью. Она старалась успокоить ее, уверяя, что на праздниках по случаю окончания учебного года, на торжественных проводах и во всех подобных случаях остается верна кайну.

Понимая настроение Тун, Сумира не пыталась привить ей все то, что в свое время внушила ей самой бабушка. Она не ставила дочери в пример Сембодро, хотя и старалась помочь ей овладеть искусством очаровать и привязать к себе будущего мужа (несмотря на ее гримаски и возникавшие то там, то тут мелкие возражения). По ее настоянию Тун грызла временами кенчур и сырую куркуму, а также пила отвар из кореньев. Сумира не стала учить ее массажу, но старалась время от времени дать ей представление о том, что мужчине нужно от женщины. При этом она совсем не была уверена, что дочка понимает ее так, как надо. Дело в том, что ускорившийся темп времени, столь ощутимый для Сумиры, к удивлению ее не сказывался, видно, на созревании молодежи, которой по всем статьям пора было готовиться к самостоятельной жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть на Тун и на ее подруг, доучившихся до средней школы, живших в городе и при этом, казалось, и знать ничего не желавших ни о мужчинах, ни о замужестве. Всякий раз, когда Сумира пыталась коснуться этих вопросов, Тун ускользала от них или улыбалась, как будто все это не имело для нее ни малейшего значения. И Сумира стала тогда думать, что нынешняя молодежь, подчиняясь велению времени, стремится сначала насытиться знаниями и только после этого обратиться к семейной жизни.

Однако надежды (или, если хотите, расчеты) Сумиры на самостоятельность молодого поколения оказались неверными. Это выяснилось в тот день, когда Тун без всякого предупреждения приехала вдруг домой из Дж.

— Вас что, распустили на каникулы, дочка?

— Угу. Только на несколько дней.

— Смотри-ка, а все-таки выбралась домой... Устала?

— Очень.

— Наверное, экзаменов было много?

— Да, много.

— То-то я вижу — ты вся серая.

— Да-да.

Вечером, после ужина, Тун неожиданно прильнула к матери и расплакалась у нее в объятиях.

— Да что с тобой, доченька? Может, тебе нехорошо? Ложись-ка спать.

Но Тун замотала головой и расплакалась пуще прежнего. Когда всхлипывания чуть утихли, Сумира попыталась продолжить свои расспросы.

— Ну что с тобой? Хозяйка, что ли, отказала от квартиры?

Сначала Тун только качала головой, словно набрав в рот воды. Потом она долго вытирала слезы и наконец заговорила:

— Только обещай, что ты не рассердишься, ма...

Сумира отрицательно покачала головой, почувствовав, что в груди у нее вдруг что-то оборвалось.

— Понимаешь, я уже больше не девушка.

Сумира какое-то время оцепенело смотрела на свою дочь. Странное дело, ей показалось, что она безотчетно произнесла: «*Gusti, nyuwun ngapura*!»[1], но слова эти будто замерли у нее на устах. Рука ее словно сама нежно легла на голову дочери. Она хорошо помнила старую истину, которую любят повторять яванцы: в полном лукошке хоть одно яйцо да с трещиной. Но как быть, если в ее лукошке только одно яйцо и как раз с трещиной? И горько сетуя в душе, она все гладила и гладила по голове свою дочь, одновременно пытаясь осознать происшедшее.

С юных лет она была приучена к тому, что женщину могут постигнуть две — совсем иных — беды. Она должна быть готова к известию о смерти любимого человека и к вести о том, что муж хочет взять себе молодую жену. Женщине, взявшей себе за образец Сембодро, подобало подготовить себя к этим двум несчастьям. Как жена кшатрия, Сембодро должна была без содрогания встретить любое из этих известий. Сумира начала понимать теперь, почему она достойно перенесла смерть маса Марто и даже не моргнула глазом, когда тот рассказал ей, что господин писарь прочит ему в жены Джуминтен. Но известие, которое ей только что принесла Тун, прозвучало как гром среди ясного неба. Все еще пытаясь свыкнуться с тем, что сказано дочерью, Сумира начала с вопроса, который так или иначе, но все равно нужно было задать:

— Так, значит, у тебя должен родиться ребенок?

— Я на втором месяце, ма.

И когда Тун снова ударилась в плач, Сумира, гладя ее по голове, сказала:

— Успокойся, доченька, успокойся. Вот увидишь, я

[1] Господи, помилуй рабу свою! (*яванск.*)

все сделаю как надо.

Неожиданно для самой себя она вдруг почувствовала, что сможет поднять тот груз, который только что совсем притиснул ее к земле. Она поняла, что сможет нести этот груз и донесет его до того места, где уже ничто не будет ему угрожать. Да-да, она сделает это во что бы то ни стало. Приговаривая: «Успокойся, успокойся», она ощутила, что рядом с ней снова ее маленькая дочка, единственное яичко в ее корзинке, которое оказалось с трещиной. Мышцы ее словно налились силой. Сердце исполнилось решимостью сию же минуту прийти на помощь дочери и сделать это как можно лучше. Если она и вспомнила в этот миг свой идеал, то перед ней предстала Сембодро, увидевшая вдруг, что Абиманью угрожает смертельная опасность.

Свадьба, устроенная Сумирой, была поистине царской. Всю ночь напролет лучший на всю область кукольник разыгрывал перед гостями представление ваянг-кулит. К свадебному столу были поданы закуски, собственноручно приготовленные мадам Лим, поставщицей госпожи губернаторши, и отроду не подававшиеся на уездных пиршествах. Тут были слойки с заварным кремом, клейкий рис в банановых листьях с курятиной (при этом в дело пошли аппетитные кусочки куриного мяса, а не какие-то волокна, поджаренные с приправами), затем сладкий пирог с корицей и мороженое с густо-красным сиропом из розовых лепестков. А чтобы гости не проголодались во время представления, им был подан рис, заправленный всевозможными вкусностями. Это не были жалкие порции отдающего желтизной холодного риса, поверх которого для блезира положено несколько кусочков тощей курятины. К белоснежному отварному рису каждому подавали еще острый суп в чашке (а в нем целое крутое яйцо), большой рулет из картофеля с мясом, кусок фаршированной курицы в сбитом кокосовом молоке и, в довершение к этому, ломтики заквашенной вяленины из самого нежного мяса, присыпанные дробленым кокосовым орехом желтовато-коричневого цвета.

— Премного вам благодарен, госпожа Марто, давненько я не получал такого удовольствия, — отвесил хозяйке комплимент господин уездный начальник.

— Вот это угощение! Все было так изысканно и вкусно! — щебетали учительницы из школы, где работал мас Марто.

— От экрана глаз нельзя было оторвать, а кукольник так и сыпал шутками, — отзывались о представлении зрители.

— Ну а невеста с женихом прямо как Рати и Камаджойо[1], — вставляла слово местная молодежь.

— Знаешь, сколько там еды осталось после взрослых и сколько давали конфет? — говорили ребятишки, которым на свадьбе было полное раздолье.

Короче говоря, все прошло без сучка без задоринки. Явились все приглашенные, и ни один из них не остался в обиде. Сумира была и довольна, и горда. Тун радовалась и умилялась до глубины души.

Празднество, устроенное Сумирой, было для нее делом долга. Здание, которое она терпеливо возводила, вдохновленная примером бабушки и по завету покойного мужа, готово было обрушиться из-за опрометчивости дочери. Произошло несчастье, и Сумира горько оплакивала в душе свою незадачливую судьбу. Но и в эту тяжелую минуту имя, которым ее наградили *(«Не забывай, внучка, что ты недаром носишь имя Сумира»)*, помогло ей устоять перед новым испытанием. Смирившись с происшедшим, она поняла, что́ ей необходимо сделать во спасение дочери, во исполнение надежд находящихся там, наверху, бабушки и маса Марто и, разумеется, во спасение самой себя. Если новое время, словно издеваясь над ней, заставляет Тун обзавестись семьей в семнадцать лет — на год раньше, чем это произошло с Сумирой, — она должна выдержать этот удар. И раз уж судьба снова напомнила о том, что не намерена считаться с человеческими ожиданиями, необходимо было ответить ей подвигом, который дал бы начало новому жизненному циклу и новым надеждам. Мы говорим здесь о подвиге не для красного словца. Для начала Сумира принялась поститься и постилась целую базарную неделю, то есть пять дней. Потом она пошла к дядюшке Мохаммеду, тому самому богатому крестьянину, который обрабатывал ее поле, и заложила ему половину своего и без того маленького участка. Она подчистила затем остатки своих сбережений и урезала свои и без того скромные расходы. Сверх того, спрятав в карман гордость, Сумира подрядилась жарить бананы для уездного управления и для школы, где был директором ее покойный муж, так что приработок ее заметно увеличился.

Итак, она добилась всего, что задумала. Свадьба прошла как нельзя лучше. Собранные деньги она истратила с пользой, не переплатив ни одной рупии. Однако на этом дело

---

[1] Рати и Камаджойо (Кама) — индуистские богиня любовной страсти и бог любви, входящие в число персонажей ваянг-кулит.

не кончилось. Сумму, полученную под заклад, нужно было вернуть, чтобы не лишиться части своей земли. Сумира прекрасно отдавала себе в этом отчет. Она лишь ненадолго перевела дух и с улыбкой посмотрела в лицо времени и судьбе, бросившим ей вызов. Ей предстояло еще долгое единоборство с ее могучими противниками.

И все же Сумира почувствовала облегчение. По окончании свадебного торжества она ухитрилась подбросить молодым деньжат, которых хватило на то, чтобы снять на два года домик в предместье Дж. Зато как довольна была Тун. Ее муж, молодой суматранский яванец Йос, оказавшийся соседом Тун по пансионату, испытывал и благодарность, и смущение при виде такой щедрости своей богоданной матери. Ему, студенту, да к тому же еще и функционеру ОДИС[1], неловко было начинать семейную жизнь, оказавшись в неоплатном долгу перед тещей.

— Не сердитесь, мама, но давайте будем считать, что мы просто заняли у вас эти деньги. А потом мы понемногу выплатим вам все сполна.

— Ну вот еще, Йос. Выкинь ты из головы эти мысли. Знаешь, сколько у вас еще будет трат? Забудь и думать об этом. Эти деньги — мое напутное тебе и Тун. Их нехорошо возвращать. Это может принести несчастье.

Прощаясь с детьми, Сумира снова была полна надежд. Взвесив все «за» и «против», она решила, что дела у Тун обстоят вовсе не так уж плохо. Хоть теперь ей и придется прервать свое образование, она все-таки целый год проучилась в средней школе второй ступени, а стало быть, обогнала в учебе свою мать.

Что касается зятя, то он хотя и происходил из небогатой семьи, обосновавшейся на чужбине, в Дели[2], но зато был студентом, удостоенным уже звания бакалавра. В довершение того он был еще и общественным деятелем. По словам господина уездного начальника, молодому человеку с такими данными обеспечено приличное место по окончании учебы. Перед ним будут открыты все двери, сказал господин уездный начальник. Ох, как отлегло от души у Сумиры при этих словах! Уж если так считает сам уездный начальник, о будущем дочери можно не беспо-

---

[1] ОДИС — Объединенное движение индонезийских студентов, запрещенное после правого переворота 1965 г.

[2] Дели — область на Восточной Суматре, известная, в частности, своими табачными плантациями.

коиться. Сумира даже улыбнулась про себя, думая о том, что девчонке удалось-таки склонить к себе Йоса. Вот был бы ужас, если бы он не захотел на ней жениться. Хорошо и то, что соседки, по-видимому, не заподозрили Тун ни в чем плохом. Ее скоропалительное, если подходить с провинциальными мерками, замужество, казалось, нисколько их не удивило. Девушке из захолустья, попавшей в Дж., вроде бы и сам бог велел не раздумывая выходить замуж, раз уж подвернулся жених. Они одобрительно кивали головами, когда Сумира оповещала их о том, что выдает Тун за молодого человека с чужого острова, но как-никак все-таки яванца. «Его отец родом с Явы», — объясняла Сумира. И опять-таки этого было вполне достаточно для соседок. «По всему видно, это бог их свел», — согласно говорили они.

И снова, который уж раз, судьба с непостижимым упрямством и свойственной ей нередко каверзностью не посчиталась с Сумирой и демонстративно повернулась к ней задом.

Инфляция, уже и прежде дававшая о себе знать, разыгралась вдруг в полную силу. Сумира оказалась одной из ее жертв. Швейные заказы начали убывать, потом их стало совсем мало, потому что крестьянкам было не до обновок. Упал спрос и на жареные бананы: в уездном управлении и в школе их больше почти никто не покупал — из обычного лакомства они превратились чуть ли не в деликатесы. А потом судьба окончательно расстроила все карты Сумиры: на ее рис напала какая-то болезнь и два сезона подряд поле почти ничего не приносило. Оставшись без средств, она перестала выплачивать свой долг дядюшке Мохаммеду. К счастью, он был человек добрый и покладистый, ему не нужно было объяснять, как туго приходится Сумире. А тут еще дочке подошел срок родить. Сумире срочно пришлось мчаться в Дж., чтобы ходить за дочерью и взять на себя хозяйственные заботы в ее доме. Когда Тун благополучно произвела на свет девочку и Сумира собралась наконец домой, от наличных ее фактически ничего не осталось. Беспокойство начало овладевать ею, едва лишь за окнами автобуса показались улицы ее родного города. Как она будет теперь помогать детям, которые еле сводят концы с концами? И откуда ей взять денег на погашение долга, если пенсии, которую она получает за мужа, и доходов с ее огорода, что позади дома, еле хватает на прожитье? Сумира навестила могилы бабушки и мужа и долго смотрела на их стоявшие рядом могильные памятники. Неожиданно запел

скворец, свивший гнездо в кроне кладбищенской кемобджи, и Сумире померещилось в его трелях привычное «смир-р-рись, смир-р-рись». Тяжело вздохнув, она поднялась с колен. Ничего другого ей все равно не оставалось.

У Йоса, после рождения ребенка зачастившего в их уезд, завязались здесь какие-то свои дела. Сумира так и не могла взять в толк, чем занимается в городе ее зять. Все, что она слышала от него, — это «мне надо побывать на одном собрании». Лишь однажды она испугалась — это было тогда, когда он втянул ее в разговор о дядюшке Мохаммеде.

— Вы не очень-то доверяйте этому дядюшке Мохаммеду, мама.

— Это почему, сынок?

— Разве он не наложил лапу на ваше поле?

— Да ведь это я сама отдала ему поле в залог.

— Вот и я говорю, что он наложил на него лапу.

— Ну и что из этого?

— А то, что вы попали теперь в его паутину. И теперь вам будет ох как нелегко получить свое поле обратно.

— Что правда, то правда, вернуть его будет, наверное, нелегко. Прямо не знаю, что мне и делать. Только при чем тут паутина, Йос? Я ведь столько ему должна...

— Эх, да не в этом дело, мамочка. Ну положим, вы и не брали бы у него в долг или расплатились с ним сполна, это же ничего не меняет. Неужели вы не понимаете, что он кулак?!

— Да при чем здесь кулак?

— Очень даже при чем, матушка. При том, что у кулака одна цель — заграбастать себе побольше земли. Вот и вашу загребет, будьте уверены!

— Ну да, если я не заплачу свой долг — как же иначе? Не видать мне моего поля как своих ушей! Только не по вине дядюшки Мохаммеда, а по моей вине. Таков уж закон, сынок.

— Ох, матушка, у вас все закон да закон. В каком законе сказано, что земля должна отходить к кулакам? Ладно. Посмотрим, как он себя поведет. А позарится на ваше поле, мы его по стенке размажем.

— Господи помилуй, Йос. По какой еще стенке? Тебя и слушать-то страшно.

Только тут до Йоса дошло, что он разговаривает не с кем-нибудь, а с матерью и вдовой. Он ласково взял Сумиру за руку и приник к ее ладони.

— Простите, матушка, если я сказал что-нибудь не так. Я, пожалуй, пойду — в уездном управлении сегодня собрание. А насчет дядюшки Мохаммеда вы не беспокойтесь.

Сумира долго не могла забыть этого разговора. И всякий раз, когда она вспоминала, как сверкали тогда глаза у зятя, ей становилось не по себе.

Прошло еще несколько месяцев, и наступил день, которого так боялась Сумира. В этот день истек срок уплаты долга, и в доме появился дядюшка Мохаммед. Спокойно, в самых учтивых выражениях он попросил ее вернуть ему взятые у него деньги. И Сумира, которой с детства были привиты честность и смирение, ответила как есть, признавшись, что единственный способ, которым она может расплатиться с дядюшкой Мохаммедом, — это уступить ему заложенную землю.

— Значит, с делом покончено, госпожа Марто?

— Выходит, что так, дядюшка Мохаммед.

— Без обиды! По закону?

— Без обиды и по закону.

Когда дядюшка Мохаммед прикрыл за собой калитку и удалился, Сумира обратила взор к красному предзакатному небу. Небо было девственно-чистым. На нее не смотрела оттуда бабушка, завещавшая ей свое рисовое поле.

Бабушка не пожелала показаться, и просить прощения было не у кого.

Над головой носились лишь летучие собаки, занявшиеся уже поисками добычи.

Сумира рассказала Йосу о своей потере не раньше чем через три месяца, когда он снова прибыл к ним в захолустье. Йос попенял ей за то, что она не известила его обо всем сразу. По крайней мере надо было сказать об этом в уездном управлении, сокрушался он. Вслед за тем Йос задал Сумире вопрос: не хочет ли она перебраться в Дж. и поселиться вместе с ними? Топтушка уже начала ходить, Тун включается в работу ИЖД[1], так что без Сумиры им просто не обойтись.

— Ну а что делать с другой половиной поля и с домом? Ведь дом какой ни на есть, а тоже наш, значит, мы за него в ответе, разве не так?

— Я уже подумал об этом, мама. Все устроено.

— И как же ты все это устроил?

---

[1] ИЖД — Индонезийское женское движение, радикальная организация, запрещенная после переворота 1965 г.

— Поле возьмет в аренду ИКФ[1]. Тоже исполу. Только обрабатывать его будут с любовью, а не из одной только выгоды. Им займутся крестьяне из наших. Они работают не за страх, а за совесть, потому что все это бедняки и своей земли у них нет, не то что у вашего дядюшки Мохаммеда. Узнав о ваших невзгодах, они поймут вас, как никто другой.

И, слушая его как завороженная, Сумира лишь кивала головой.

— Теперь дом. Мы тоже сдадим его ИКФ. Он разместит в нем свой уездный штаб. Правда, неплохо все выходит, матушка? И с поля аренда будет идти понемножку, и дом не останется без хозяев, а вы будете жить себе припеваючи в семейном кругу.

Сумира попыталась представить себе, как это она будет жить припеваючи. Самое главное — она будет рядом с Тун и сможет, когда душе угодно, играть с Топтушкой. И, не раздумывая больше ни минуты, она наклонила голову в знак согласия.

Да и чего еще ждать от жизни, подумала она. Если родной город не в состоянии уже пригреть ее, на что ей остается надеяться? Йос — человек ученый, на него можно положиться.

— Ну вот и все, матушка. До чего же рады будут Тун с Топтушкой. А про дядюшку Мохаммеда забудьте и думать. Придет время, и у нас с ним будет особый разговор. Ваша половина вернется к вам, матушка, будьте уверены. Помяните мои слова. Ситуация уже созрела, это ясно каждому.

Сумира только кивала головой в ответ. С одной стороны, смысл этих фраз был для нее тёмен, с другой — она уже представляла себя снова в Дж. в окружении дочери и внучки. Ни на миг ей не приходило в голову, что предложения Йоса в корне перевернут всю ее жизнь. Ей показалось даже, что в этот день судьба неожиданно изъявила согласие обходиться с ней по-человечески.

Нынешняя Дж., разумеется, сильно отличалась от той, какой она была при японцах. Сумира замечала эти перемены и раньше, наезжая сюда изредка, на протяжении прошедших с тех пор чуть ли не двадцати лет. Но по-настоящему она почувствовала это, только поселившись с Тун и

[1] ИКФ — Индонезийский крестьянский фронт, массовая организация, разгромленная в 1965 г.

ее семьей. Дж. стала куда более озабоченной, шумной и беспокойной. И главное не в том, что на ее улицах почти пропали извозчики, а город стал не в пример многолюднее. Городские кварталы, раньше содержавшиеся в чистоте и порядке, теперь кишели людьми и чуть ли не плавали в нечистотах. Дворовые уборные в прежние времена всегда поражали своей чистотой, и об этом заботились все жители. Теперь большинство уборных не действовало, в те же, которые еще действовали, было противно войти. И жили теперь в городе бок о бок с яванцами многочисленные уроженцы самых разных островов. А Сумира, хоть и запомнила еще со школьной скамьи, что, кроме яванцев, в Индонезии обитает множество других народов, по обычаю своего городка именовала их всех «заморскими» жителями и лишь в особых случаях, опять-таки по примеру своих земляков, могла назвать их «шуматранцами».

Дом ее зятя всегда был полон гостей. Кого только здесь не было! Сюда приходили люди всех возрастов и наречий. Часто они засиживались за полночь — до часу, до двух, а порой и до третьих петухов. Домик, снятый Йосом с Тун, был невелик, с одной спальней. Обычно Сумира спала на кушетке в гостиной. Когда же происходило нашествие гостей и начинался общий разговор или, как они все говорили, «дискуссия», Сумира, если не нужно было помогать варить кофе, располагалась вместе с Топтушкой в спальне. Коли ее одолевала усталость, то утром она обнаруживала возле себя прижавшихся друг к другу Тун и Топтушку, а из гостиной доносился храп Йоса, примостившегося на ее кушетке. Это случалось не раз и не два, и Сумира всякий раз выговаривала дочери и зятю за то, что они не могли ее разбудить. Ей казалось неприличным, что супружеская пара спит порознь. К тому же и Тун вышла уже из тех лет, когда засыпают под материнскую колыбельную, поддевала она дочку. Но Тун с Йосом только посмеивались над ее протестами.

Сумира следила за переменами, происходившими в Тун после ее замужества, с тем же чувством, что и раньше. Это было восхищение, недоумение и некоторое беспокойство, которое, как и прежде, она не могла себе объяснить. Тун крутилась с утра до вечера. Она так и не вернулась к своим занятиям, но работала теперь, помогая мужу. Контора, в которой они сидели, называлась «секретариат». Под вечер она ходила на какие-то свои собрания, иногда отправлялась вместе с мужем на митинг, а если в их доме собира-

лись люди, сама с головой уходила в их дискуссии. Сумира диву давалась, видя, как эта вчера еще провинциальная девушка выделяется среди своих товарищей живостью, смелыми речами и той легкостью, с которой она изъясняется по-индонезийски. Сначала Сумире с трудом удавалось сдержать усмешку при виде того, как ее дочь говорит со своими собеседниками по-индонезийски, даже если это яванцы. Когда она разговаривала по-индонезийски с мужем, это еще можно было понять — все-таки Йос родился на Суматре, в Кисаране. Ну а уж если перед тобой настоящие яванцы, отроду не выезжавшие из Дж., им-то зачем объяснять по-индонезийски то, что они прекрасно поймут на яванском языке?!

Кроме Топтушки, которая, созвучно своему прозвищу, росла крепкой и здоровой толстушкой, Сумиру развлекали спевки и репетиции, происходившие по вечерам у них на квартире. В особенности забавляли ее и приводили в веселое расположение духа новые яванские драмы. Они были забавны уже потому, что в них участвовали уроженцы самых разных островов. Можно было умереть со смеху, глядя, как «шуматранцы» корчат из себя яванцев, причем князя Демака играет какой-нибудь Симболон, а бламбанганского военачальника — детина по имени Памунчак[1]. Правда, иногда ей становилось неловко, а то и малость обидно при виде того, как Йос и его товарищи высмеивают в своих представлениях старинных яванских раджей.

Что там ни говори, а ведь это были не простые люди, недаром перед ними простирались ниц, как перед богами, вздыхала Сумира. Воистину им подобали и почет, и слава. И если какой-нибудь раджа приказывал своим подданным идти на войну или накладывал на них дань, он делал то, что ему положено от бога. Чего ради отказывать раджам в их правах да еще выставлять их при этом на посмешище?! К тому же мыслимое ли дело — раджа, говорящий на ломаном яванском языке? Все эти разговоры Сумира вела, однако, про себя. У нее не хватало духа задать зятю донимавшие ее вопросы.

День за днем незаметно набежал год с того времени, как Сумира перебралась в Дж. И хотя, в общем, ей нравилась неугомонная семейная жизнь ее детей, мимо нее не прошло то, что в последние месяцы этого года атмосфера

---

[1] Симболон, Памунчак — имена, характерные для суматранских народностей батаков и минангкабау.

в их доме начала сгущаться. Причина тут была не в том, что между молодыми пробежала черная кошка. С этим все было в порядке. Тун с Йосом понимали друг друга с полуслова и жили душа в душу. Тун делала успехи как жена и как мать, а из Йоса, несмотря на всю его занятость, по всему видно, получался добрый и ответственный муж и отец. Угроза, которую ощущала Сумира, была совсем другого рода. «Дискуссии» и разговоры товарищей Йоса и Тун накалялись все больше и больше. Да и вообще «дискуссии» как-то переменились. Все чаще они происходили вне стен их дома, а когда проходили у них, собирался лишь избранный круг друзей, и они часами говорили о чем-то приглушенными голосами, да и сами Тун с Йосом все чаще обсуждали какие-то свои дела вполголоса. И если раньше Сумира почти всегда знала, куда отправляется Йос, теперь об этом не было и речи.

Угроза ясно обозначилась в тот день, когда Йос вернулся домой из поездки, продолжавшейся на этот раз целую неделю. Оказалось, что он побывал за это время и в родном городке Сумиры. Вечером в их доме собрались друзья Йоса, и он с горящими глазами рассказывал им о своих успехах. На этот раз случилось так, что Сумира услышала часть его рассказа.

— Можно сказать, что наши акции прошли блестяще. Пробное сражение выиграно. Враг на самом деле оказался бумажным тигром... Ну вот, к примеру, история с участком моей тещи. Половину ее земли оттяпал местный кулак по имени Мохаммед. Стало известно, что раньше он путался с ДИ[1]. А теперь гребет под себя наделы бедняков, таких, как теща. Так вот, он чуть не отдал концы от страха, когда мы приступили к акциям.

Йоса тут же попросили подробнее рассказать, как проходила акция.

— Да тут нечего и рассказывать. Все было проще простого. Трудящиеся крестьяне, а заодно с ними — учителя и школьники собрались и наведались к этому самому дядюшке Мохаммеду и к остальным кулакам. Ну и сказали им без лишних слов, что не желают больше делить урожай по-старому. Что сдавать землю исполу — это грабеж. И пригрозили оставить в будущем месяце весь рис на корню, если им не пойдут на уступки.

---

[1] ДИ — «Даруль Ислам», мусульманское повстанческое движение в эпоху Сукарно.

— Видишь, что получается, когда удается организовать трудящихся. А тут еще учителя и школьники. И уездный начальник дал добро. Им ничего не оставалось делать, как поднять лапки.

— А по-моему, нужно было конфисковать у них землю без всяких разговоров. Ведь, согласно земельной реформе...

— Ох, какой ты быстрый! Сразу видно, друг, что ты пропустил последние дискуссии. В каждом районе свои условия. Ситуация должна созреть. Опасно обгонять ход событий. Не забывай о жертвах Танджунг-Моравы...

Сумира с колотящимся сердцем слушала их разговор. Снова и снова она пыталась представить себе, что же произошло в их тихом и безмятежном уезде. Все сказанное плохо укладывалось в ее сознании. Как живой предстал перед нею дядюшка Мохаммед лицом к лицу с толпою крестьян. Бедный, бедный дядюшка Мохаммед. Она никак не могла взять в толк, как можно выставлять злодеем благочестивого человека, который на своем веку не обидел и мухи.

А потом наступил этот день. Миновал почти год с того вечера, когда Йос докладывал об акции против дядюшки Мохаммеда. Солнце стояло еще высоко над головой, когда Тун с Йосом спешно позвали ее вместе с Топтушкой в спальню, подальше от посторонних глаз.

— Мамочка, случилась беда. В Джакарте произошел переворот.

— Какой такой переворот, дочка?

— Они объявили нам войну, мамочка. У власти теперь стали генералы. Таких, как мы, ну, в общем, левых, начнут хватать и убивать. Пока еще не поздно, мы уходим в подполье. Вы с Топтушкой остаетесь здесь. Вот тут немного денег и мои украшения, возьми это на расходы. Ну все, мамочка, разговаривать больше некогда. Ждите, пока мы не объявимся снова...

Потом Тун с Йосом наспех расцеловались с ней и с Топтушкой и чуть ли не бегом направились к калитке. Сумира не могла забыть, как она стояла и глядела им вслед, словно на нее напал столбняк. Подумать только — отпустить их обоих из дома, не дав ничего на дорогу. А Топтушка, которой только что исполнилось тогда три года, и вовсе ничего не поняла. Ей было ясно только одно — папа с мамой ушли из дома.

Сумира совсем растерялась, когда через несколько дней

к ним заявился начальник СТ[1], а с ним несколько военных.

— Извините, уважаемая, нам нужно знать, где находятся Йос и Тун.

— Не знаю, уже несколько дней, как оба они уехали.

— Вам известно, что произошло в нашей стране?

Сумира, которая и на самом деле толком не поняла, что случилось, только покачала головой в ответ.

— Ваша дочь и ее муж замешаны в мятеже.

Сумира не поверила своим ушам.

— В каком еще мятеже, господин начальник? Я сама слышала — мятеж устроили генералы.

— И кто только наговорил вам такую ерунду. Мятеж подняли ваши дети, уважаемая, и те, с кем они были заодно.

А военный, до тех пор не проронивший ни слова, добавил:

— Ладно — мятеж. Их дружки в Джакарте поубивали там наших генералов.

Сумира не знала, что ей сказать. Она была ошеломлена, голова у нее пошла кругом. Господи, что же теперь будет с Тун и с Йосом?! Где они сейчас? Удалось ли им спастись от беды?

— Если вы узнаете, где они скрываются, сразу же донесите нам, уважаемая.

Сумира промолчала, не поднимая глаз на начальника.

— Я это серьезно говорю, уважаемая. Если вы не донесете, вас могут обвинить в соучастии, понятно?

Сумира кивнула.

— Всех, кто впутался в это дело, уважаемая, ждет суровое наказание. Их могут приговорить к смерти.

К смерти? Сумира зажмурилась так, словно она хотела осознать смысл сказанного или представить себе дочь и зятя во время исполнения приговора.

Когда она открыла глаза, вероятно, в них мелькнул страх, потому что начальник СТ стал вдруг ее успокаивать:

— Да вы не бойтесь, уважаемая. Мы знаем, что вы тут ни при чем. И если ваши дети по-хорошему придут и сдадутся, поверьте, что мы постараемся сделать так, чтобы им вышло облегчение.

Судьба ее детей прояснилась для Сумиры месяцев шесть спустя, когда однажды вечером кто-то постучал в заднюю дверь дома. Это была Тун, изможденная, отощавшая и об-

---

[1] СТ — соседское товарищество, мельчайшее административное подразделение в индонезийском городе.

горевшая дочерна. Не произнеся ни слова, она бросилась к матери на шею и разрыдалась. Сумира ввела дочку в дом, принесла кофе — такой, какой та всегда любила, крепкий, сладкий и горячий, — и велела ей отдыхать, пока она, Сумира, не согреет воду для купания. Пока она хлопотала, Тун, прихватив с собою чашку и все еще всхлипывая, подсела на краешек кровати и одной рукой тихонько водила по щечке Топтушки, спавшей как убитая. И лишь после того, как Тун вымылась, надела чистую кофточку и они сели ужинать, Сумира узнала, где прятались все эти шесть месяцев ее дети. Оказалось, что все это время Тун, Йос и горстка их товарищей укрывались от преследований в разных городках тут же, сравнительно недалеко от Дж. Это была игра в кошки-мышки с армейскими подразделениями, неустанно прочесывавшими город за городом в поисках левых. Однажды ночью, около месяца тому назад, был совершен налет на их очередное убежище, и Йоса схватили. Тун слышала крики солдат: «Головля, головля поймали!» А потом кто-то из них завопил: «Вывести его из игры, а то опять улизнет, бродяга!»

Сумира не сразу поняла, что значит «вывести из игры», а потом прослезилась, поняв, что зятя нет больше на свете. Напротив нее сидел теперь ее единственный ребенок — Тун, лишь чудом спасшаяся от ареста и смерти. Сколько еще времени она сможет продержаться на свободе? Тут-то Сумира и вспомнила, как начальник СТ наказывал донести ему о появлении дочери, а ей добровольно сдаться военным властям. Вспомнила она и о том, что начальник обещал ей похлопотать о смягчении участи Тун.

— Теперь-то куда поедешь, дочка?

— Сама не знаю, мамочка, сейчас куда ни сунься — везде говорят «взяли», «взяли». Бог знает, кто еще из наших остался на воле.

— А что, если пойти к ним самой, дочка?

— Чтобы они вывели меня из игры, да?

— Нет-нет, доченька. Чтобы отсидеть свой срок в тюрьме.

— Откуда ты знаешь, что они отправят меня в тюрьму?

— Мне обещал это начальник СТ.

— Мало ли что он тебе обещал! Да он простая шестерка у этой солдатни!

— Не горячись, не горячись так, доченька. Давай я поговорю с ним по-хорошему, ладно? Ты же хочешь побыть еще немного с Топтушкой?

Тун промолчала, и Сумире стало ясно как день: дочь потеряла всякую надежду на спасение. Тем же вечером под покровом темноты она пробралась в дом начальника СТ, и они допоздна обсуждали, как Тун лучше всего явиться с повинной. А на утро дочь без лишнего шума села в машину и отправилась в Управление военного района. Вместе с нею поехали Сумира, Топтушка и начальник СТ.

III

Возвратившись домой, Сумира уложила усталую Топтушку и присела в гостиной наедине со своими мыслями. Хотя за последние шесть месяцев Сумира часто сидела вот так сама с собой, она никогда еще не чувствовала себя такой одинокой. В который уже раз судьба, словно издеваясь над ней, вызывает ее не единоборство. Вот и теперь одним движением длинной руки судьба расчистила перед нею проулок. Можно было подумать, что жизнь ее, совершив круг, вернулась к давно пройденной вехе. И ей предстояло теперь повторить проделанный уже однажды путь. Цель не вызывала у нее сомнений — кто же, как не она, поможет Тун выйти на свободу и поставит на ноги Топтушку? И, как положено перед путешествием, Сумира принялась обдумывать маршрут, прикидывая одновременно, на что они будут кормиться в дороге.

Если она и обладала чем-то ценным, это были поле и дом. Вот что могло пригодиться им с Топтушкой в их путешествии. Только обладала ли она ими на самом деле? Отданные ею в аренду ИКФ поле и дом считались теперь собственностью, использовавшейся в злонамеренных целях, и до особого распоряжения находились в ведении местных властей.

Что касается украшений, то ее уборы все до единого перекочевали, в погашение долга, к дядюшке Мохаммеду, а от безделушек Тун осталась лишь пара золотых запястий, которые ей хотелось сохранить для Топтушки.

Между тем деньги подходили к концу. Еще неделя-другая — и они останутся на бобах. А что тогда? Верная своему имени Сумира не роптала на судьбу. Как всегда в трудную минуту, она обращалась мыслями к бабушке и мужу. Будь она у себя в деревне, она каждый день усыпала бы теперь цветами их могилы, но в ее теперешнем положении нечего было и думать о поездке в деревню. Поэтому

Сумира ограничилась более скромным планом: поговеть и провести ночь под открытым небом.

Вечером, уложив Топтушку, она расстелила в своем узеньком дворике голую циновку и улеглась на нее навзничь, устремив взор к небу. Сиявший в вышине месяц был похож на серп с отломанной ручкой. Он пробивал себе дорогу через скопища облаков. Впрочем, может быть, все было наоборот и двигался не месяц, а облака. Неожиданно зашелестели листья деревьев, и знойная духота, стоявшая с полудня, сменилась прохладой. Сумира зевнула и в ту же минуту заснула крепким сном. Во сне ей привиделся покойный муж. «Ох, и устал же я сегодня, — говорил он ей. — Помассируй меня, сделай милость». Как преданная жена, Сумира обрадовалась и с чувством принялась массировать мужа, но тут же проснулась. «Надо же, что только не приснится!» — тяжело вздохнула она. И почему это, когда человеку плохо, ему не удается потешиться даже во сне? Сумира снова задумалась и тут, словно ее что-то толкнуло, вспомнила, зачем легла спать во дворе. Ведь она рассчитывала услышать «шепоты», голоса близких, поднявшихся на небо. Так неужто мас Марто явился ей всего-навсего для того, чтобы она его помассировала? Долго старалась она угадать, что же хотел сказать покойный муж. Ветерок становился все свежее, было уже очень поздно. Сумира подумала, что ни за что не пойдет в дом и не заснет, а пуще того не возьмет одеяло и подушку. «Останусь здесь, пока не разгадаю своего сна», — решила она и опять стала ждать.

Пропели первые петухи. Потом вторые. И когда петушиная перекличка поднялась по всей округе, а ночная завеса вот-вот должна была раздвинуться, Сумиру наконец осенило:

«Да что же это я — ведь мас Марто хотел, чтобы я его помассировала! Ему нравилось, как я это делаю. И я сама знаю, что это у меня получается. Так почему бы мне не заняться массажем на новом жизненном пути?»

Вот так и донесся до Сумиры предназначенный ей «шепот». Хотя в ту ночь она почти не спала — не считая тех нескольких минут, когда ей привиделся муж, — весь день она чувствовала себя удивительно бодрой. Ее не покидало ощущение, что подошло время вступить на путь, предназначенный ей судьбою. И — что бы вы думали! — не истек еще этот день, как она вступила уже на уготованную ей дорогу. Случилось так, что соседский сорванец, играя в футбол, повредил себе ногу. Целый вечер он ревел благим

матом, не умолкая ни на минуту, и родители его совсем потеряли голову. Сумира, даже не подозревая, что делает первый шаг к освобождению Тун, как подобает хорошей соседке, навестила потерпевшего и увидела, что ступня у него распухла и посинела. Безотчетно она присела на край кровати и начала тихонько оглаживать ногу мальчика. Все домашние, словно зачарованные, собрались вокруг и, не отрывая глаз, глядели на руки Сумиры, а мальчишка, весь вечер крутившийся на кровати, стонал все тише по мере того, как ее пальцы касались его кожи. А Сумира все массировала и массировала больное место, неторопливо, терпеливо и нежно. Так, словно ее рукою двигала чья-то другая, волшебная рука, точно знавшая, к каким сухожилиям ей нужно прикасаться. Она массировала мальчугана медленно и долго, так, как привыкла массировать мужа. Прошло что-нибудь около часа, и мальчик совершенно успокоился и притих. Синева, покрывавшая его ступню, начала сходить, опухоль спала. Тогда Сумира затянула вдруг вполголоса старинную поэму «*Ana kidung rumeksa ing wengi*...»[1]. И тут мальчик закрыл глаза и уснул, а Сумира встала, едва успев закончить первую строфу.

Соседка, совсем ошалевшая от истошных воплей своего отпрыска и решившая уже, что ему нанес увечье не кто иной, как невидимый дух — местный «хозяин», ни слова не говоря, заключила Сумиру в объятия — с души у нее свалился камень. А муж ее, проводив Сумиру до ограды, тихонько вложил ей в руку сотенную бумажку.

С этого самого вечера за Сумирой утвердилась слава искусной массажистки. Уже на другой день все в квартале знали, что госпожа Марто может заткнуть за пояс любого мастака по этой части. Один за другим зачастили к ней люди с одной и той же просьбой. А когда среди ее клиентов оказался в конце концов сам господин начальник СТ, слава ее вышла за пределы их квартала. Дело в том, что начальник СТ в утренние часы работал по совместительству в городском муниципалитете, где занимал довольно важный пост. И стоило ему рассказать там о замечательных способностях Сумиры, как несколько его коллег решили испытать ее искусство, вслед за чем известность Сумиры начала распространяться все шире и шире.

Как и прежде, когда она подрабатывала шитьем, Сумира не уславливалась о цене со своими клиентами. Она доволь-

---

[1] «Только песня ночью не спит...» (*яванск.*)

ствовалась тем, что ей давали. А поскольку все клиенты исходили из своих возможностей, гонорар ее сам собой определялся их статусом. Жители окраин, такие, как ее соседи, клали ей за работу сотню или две, тогда как «приличная публика» платила не меньше трехсот рупий за сеанс. Однако со временем, когда Сумира приобрела имя, помимо ее желания у нее образовался новый круг клиентов, а лучше сказать — любителей массажа. Это был цвет местного общества: крупные чиновники, старшие офицеры, общественные деятели. Целыми днями они крутились как проклятые, и время от времени им совершенно необходимо было освободиться от мучившего их напряжения.

У них были свои, особые запросы. Они не жаловались на растяжения, у них не гудели натруженные за день руки и ноги. Они обращались к ее услугам, потому что нуждались в ней самой. Всем телом ощущая ласковые прикосновения ее рук, сменявшиеся порой ее мелодичным и негромким пением или разговором о нехитрых житейских событиях, люди эти незаметно возносились туда, откуда их каждодневные заботы выглядели как нечто бесконечно далекое. Для Сумиры все это было совершенно непривычно (ведь прежде единственным мужчиной, которому она доставляла удовольствие такого рода, был ее муж). Хотя бабушка и внушала ей когда-то, что все мужчины, в сущности, похожи друг на друга, Сумира не могла не изумляться, глядя на этих новых своих клиентов. Растянувшись на гостиничной кровати, они как-то по-детски полностью доверялись Сумире. Им так нужны были пожатия ее пальцев, прикосновения ее ладоней, ее пение, ее рассказы. И это при том, что все они — большие люди, удивлялась про себя Сумира.

Среди них был один майор — человек и совсем уж не похожий на других. Это был крупный и видный собой мужчина в усах и с двумя золотыми зубами спереди. Ему мало было массажа и пения Сумиры. Когда господин Джумади (так звали майора) чувствовал, что массаж уже принес ему желанное облегчение, он усаживался, скрестив ноги, словно какой-нибудь арабский шейх у входа в свою палатку посреди пустыни, и начинал уговаривать Сумиру попеть с ним дуэтом. Такого от нее не требовал ни один из клиентов. А надо сказать, что у него самого был хороший голос и он отлично знал все мало-мальски известные яванские песнопения. Так, он мог попросить ее исполнить вместе с ним дуэт из пьесы «Дамарвулан-конюх», вслед за чем они оба поочередно начинали петь: она — за Анджосморо, а

он — за Дамарвулана. А порой он выбирал какую-нибудь сцену из «Рамаяны», например сцену в асоковом саду, и тогда он пел партию Рахвоно, а она — Синто. И хотя все это выглядело довольно странно, Сумира не могла отказать майору Джумади в его просьбах. Ведь другого такого доброго и щедрого человека надо было поискать. Из всех ее клиентов он был самым тороватым. Когда на него нападал приступ великодушия, он мог преподнести Сумире батик самого высшего сорта, а однажды она получила от него ручные часики марки «Сейко». Какая жалость, что однажды он навсегда исчез с ее горизонта. Говорили, что он был замешан в какую-то аферу на складе стратегических ресурсов в Дж. и попал в лапы военной полиции.

Так вот Сумира и начала зарабатывать на жизнь массажем. Занятие это не казалось ей ни унизительным, ни зазорным. Во-первых, оно было дозволено мусульманским правом, а во-вторых — и это самое главное, — приносило ей постоянный доход, которого хватало на то, чтобы содержать дом. Два раза в месяц ей позволялось посещать Тун. И на это тоже требовались деньги. Потому что всякий раз, отправляясь на свидание, она должна была иметь при себе две кошелки со снедью — одну для Тун, а другую — для охраны. Порядок этот представлялся ей совершенно справедливым. Охранники — такие же люди, как все, работа у них тяжелая, а жалованье — скудное. И если она могла побаловать их своей стряпней, разве это не было справедливым возмещением солдатам, которые как положено несли службу? Поэтому она не возмутилась, а только посетовала на свою черствость к ближнему, когда начальник охраны, пропуская ее в первый раз к Тун, сказал ей с улыбкой:

— Ну и вкусно же пахнет ваша вяленина, матушка, аж слюнки текут. Не грех бы вам в другой раз прихватить с собой лишку для наших ребят.

Наконец деньги, которые она получала за массаж, дали ей возможность съездить на родину и привести в порядок родные могилы. Не день и не два Сумира обдумывала эту поездку, пока не пошла за советом к начальнику СТ. Что скажут, по нынешним временам, местные власти, если в их город заявится мать активистки ИЖД и свекровь деятеля ОДИС?

— Э-э, смотрите на вещи проще, госпожа Марто. Поезжайте, и вся недолга. Если хотите, мы приложим к вашему пропуску еще свидетельство о благонадежности. Вот только...

— Что «только», господин начальник?

— Только не заводите там разговоров о своем доме и участке. Пусть сначала все уляжется. Если вам суждено владеть ими, все так и будет, вот увидите.

— Что вы, что вы, господин начальник. Я об этом и думать забыла. От своей судьбы не уйдешь. Видит бог, я всего лишь хочу поклониться могилам бабушки и мужа. Я и ночевать там не собираюсь. К тому же и Топтушке надо бы показать, где лежат ее предки. Ей ведь уже четыре года. Пора растолковывать ей понемногу, кто ее родня.

— А разве она до сих пор не знает, кто ее родители?

— Пока еще нет, господин начальник. Она думает, что я ее мать. Так и зовет меня «мама». А насчет Тун я сказала ей — это твоя старшая сестра. Пусть пока так и будет, а то мало ли что... Придет время — все станет на свои места...

Как ни готовила себя к поездке Сумира, очутившись в своем родном городке размером со спичечный коробок, она отчаянно разволновалась. Сердцем ее завладели печаль, тоска и страх. С виду город был почти таким же, как и прежде. О, как ей хотелось хоть одним глазком посмотреть на свой дом и поле! Но сердце удержало ее от этого. Оно призналось ей, что просто не выдержит, если увидит их старый дом с белеными стенами (неужели он до сих пор белый?) и залитое водой зеленое (или уже нет?) поле. «На кладбище, прямым ходом на кладбище», — твердило ей сердце.

На кладбище к ним присоединился один лишь дядюшка Тукимин, кладбищенский сторож. Вот ведь кого не берут годы, подумала, глядя на него, Сумира. Когда она была еще девчонкой, Тукимин был точно таким же старым и уже тогда исполнял свои нынешние обязанности. Словно само кладбище не желало, чтобы за ним присматривал кто-либо, кроме старого Тукимина. От него-то Сумира и узнала немногое из того, что произошло в городе после ее отъезда. Старого уездного начальника посадили, потому что он держал руку ИКФ, пересажали и большинство учителей, сослуживцев ее покойного мужа, а некоторые из них — те, что стали членами СУРИ[1], — отдали богу душу или пропали без вести. Ее дом как штаб-квартира ИКФ был разгромлен юнцами из Ансора[2], занявшими его на сколько-

---

[1] СУРИ — Союз учителей Республики Индонезии, радикальная организация, объявленная вне закона в 1965 г.

[2] Ансор — молодежная организация мусульманской партии «Нахдатул Улама».

то времени. Теперь там обосновалось уездное управление, отремонтировавшее его за свой счет. Говорят, что в недалеком будущем там должно быть размещено управление военного округа. Кто обрабатывает ее поле? Этого дядюшка Тукимин в точности не знал. Единственно, что ему было известно, — поле по-прежнему засажено рисом. Все эти новости с трудом укладывались в голове Сумиры. Подумать только, что пережил этот маленький, словно игрушечный, городок, погруженный, казалось, в неподвижную дрему! — вздохнула она. Аресты, казни, погромы, возмездия и новые погромы.

Сумира снова тяжело вздохнула. Но она не была бы Сумирой, если бы не усмотрела своего «везения» в том, что произошло.

— Ох, а все-таки до чего хорошо, что с домом ничего не случилось, вон даже отремонтировали. Да и поле, уж какое ни на есть, до сих пор родит...

Топтушка, очутившись на кладбище, стала капризничать. Росшие здесь в изобилии темные деревья кемботжа, носившиеся над головой скворцы и вороны, жара и вызванная ею жажда — все это вывело ее из равновесия.

— Вот смотри, девочка, — это могилки твоей прабабушки и твоего дедушки. Давай-ка уберем их цветами.

Топтушка послушно принялась выкладывать принесенные ими цветы на надгробия. Вслед за тем Сумира велела девочке сесть вместе с нею перед могилами. Потом она задумалась. Ей хотелось бы вдосталь наговориться сейчас с бабушкой и мужем. И познакомить их с Топтушкой. Только вот как это сделать? Какие подобрать для этого слова? А самое главное — надо было поблагодарить их за неизменное покровительство и испросить у них благословения, великого благословения на предстоящий ей долгий и нелегкий путь. Пусть они даруют стойкость и смирение Тун и хорошее настроение и крепкое здоровье Топтушке, бедному ребенку, родившемуся посреди всей этой заварухи.

— Топтушенька, *nyuwun pangestu*[1], доченька, *nyuwun pangestu*...

— Ма-а-а, поедем домой! Хочу мороженого, ма.

Сумира погладила ее по голове, грустно улыбнувшись. Господи, да что она понимает, эта малышка? Что она помнит в свои четыре года? Осталось ли у нее в памяти, как

---

[1] Проси благословения (*яванск.*).

Йос поднимал ее к потолку и учил танцевать во время театральных репетиций у них в доме?

— Мне жарко, ма! Поедем домой. А мороженого купишь?

По дороге в Дж. Сумира увидела вдруг в автобусе одного из своих бывших соседей.

— Батюшки мои, да никак это госпожа Марто! И все такая же цветущая, молодая, интересная...

Сумира рассмеялась — все, что он говорил потом, прошло мимо ее внимания.

Боже мой, сколько уже лет не слышала она комплиментов своей красоте!

IV

Этот вечер ничем не отличался от других подобных ему вечеров. Побагровело небо на закате, расчирикались птицы, не поделив места на ветках мангового дерева, что росло на углу дома, Топтушке не понравилась приправа к рису, и она, выскочив из-за стола, с хныканьем носилась по комнатам, а Сумира терпеливо следовала за ней, постепенно добиваясь того, чтобы она съела положенное, по улице прокатил свою тележку продавец горячих булочек, и было слышно, как пар со свистом выходит из продырявленной крышки его кипевшей на угольях кастрюли. «Все как по расписанию», — прошептала про себя Сумира. И когда на дворе стало темно, Топтушка, угомонившись, заснула в своей постели, а на пороге появился Гиман, посыльный из гостиницы, с известием о том, что один из постояльцев срочно нуждается в ее услугах. Сумира повторила про себя: «Ну вот, опять то же самое». И даже у себя в комнате, переодеваясь перед зеркалом (темно-коричневый кайн в полоску, светло-коричневая кофточка в полоску, тканый светло-зеленый кушак с радужным отливом и шарфик с набивным батиковым узором), Сумира, устало улыбнувшись сама себе в зеркале, продолжала бормотать: «А теперь наденем форменную кофту, можно коричневую в полоску, а можно синюю, коричневую или синюю, коричневую или синюю, в полоску, в полоску, в полоску...»

Последний год дался ей нелегко. Ремесло, которым она зарабатывала на жизнь, стало как будто частью ее самой.

И хотя ее мышцы обретали навык и она уже не уставала так, как поначалу, усталость овладевала понемногу ее сознанием и ее чувствами. Что говорить — зарабатывала она неплохо, и клиенты время от времени попадались ей добродушные, приветливые, участливые, а порою и великодушные, но однообразный танец ее пальцев и зрелище все тех же жилистых мужских ног (различавшихся лишь своими размерами и волосатостью) начинали нагонять на нее тоску. Только Топтушка и свидания с дочерью напоминали ей о том, что поддаваться этому чувству — непозволительная роскошь. Топтушка росла не по дням, а по часам, она становилась все сметливее и все больше нуждалась в ее внимании. А Тун перевели в другую тюрьму, в город П., где содержались одни женщины.

Худо-бедно, но этот перевод означал, что участь ее решена: ее не «выведут из игры» и она не пойдет «бай-бай под землю» — шуточки, от которых у Сумиры пробегали мурашки по коже. Конечно, на скорое освобождение надеяться не приходится (освободили бы хоть когда-нибудь!). Но как бы то ни было, Тун осталась в живых, и раз в месяц ее можно было навещать. По мере того как приближался день свидания, Сумирой овладевали самые противоречивые чувства. Она радовалась, представляя себе веселое лицо дочери, малость округлившееся за последние месяцы. Она вздыхала, вспоминая, как сквозь это оживление проглядывали вдруг тоска, горечь, а порою и ненависть. К тому же перед поездкой к Тун нужно было провернуть множество дел: собрать платье, приготовить снедь (разнообразнее и больше чем раньше), заказать билеты на поезд знакомому перекупщику и снарядить как следует Топтушку. Для нее было делом чести, чтобы Топтушка выглядела веселой, здоровой и ни в чем не нуждающейся. Она хотела, чтобы Тун была спокойна за дочку, видя, что та находится в надежных руках. Но вместе с тем ей хотелось — с ведома и согласия Тун, — чтобы Топтушка покуда признавала Тун за свою сестру и не более того. До тех пор пока не придет час рассказать ей всю правду.

Как бы то ни было, отношения между Топтушкой и Тун, к великой радости Сумиры, становились все лучше и лучше. Хотя девочка видела мать от случая к случаю, в положенное время, та становилась ей все ближе и желаннее. Топтушка все больше интересовалась Тун, расспрашивала о ней, и они все дольше и оживленнее общались друг с другом во время свиданий. Теперь, когда Сумира разду-

мывала над тем, какие кушанья и подарки приготовить для Тун, Топтушка все чаще разделяла с ней ее заботы и даже произносила решающее слово. И, по мнению Сумиры, это объяснялось не только тем, что она становилась старше (ей скоро должно было исполниться шесть лет) и умнее, но и тем, что в ней начинал говорить голос крови. Без сомнения, всемогущий Аллах постепенно приближал ее к истине. А поскольку с божественным провидением не поспоришь, оставалось только надеяться, что открытие истины, когда оно наконец произойдет, не будет слишком болезненным для Топтушки.

Нарядившись, Сумира лишний раз осмотрела свой костюм и в меру напудренное лицо. Глядя в зеркало, она заметила, что щеки и шея у нее уже не такие гладкие, как когда-то, и она еле заметно спала с лица. Да, как ни старайся, а возраст дает себя знать. Сумира тяжело вздохнула. Вздох относился не к морщинкам и худобе — приметам неумолимого времени, — а к тому, что в сотый, а может быть, тысячный раз ей необходимо было покинуть дом и отправиться в гостиницу, чтобы массажировать там очередного клиента. Бр-р-р!

Очутившись в прохладном номере, оборудованном кондиционером, Сумира любезно поздоровалась с постояльцем, отвесив ему легкий полупоклон. Это не был один из ее старых клиентов, и вообще она видела его первый раз в жизни. Еще молодой, по всему видно — богатый и, скорее всего, приехал из Джакарты. Об этом свидетельствовали его прекрасно сшитые дорогие брюки и рубашка, совсем иного фасона, нежели те, которые носили ее обычные клиенты: хотя они и были видными и зажиточными, по местным меркам, людьми, их вкусы — никуда не денешься — выдавали в них провинциалов. Постоялец был хорош собою, крепко сбит, волосы у него были отпущены так, как это принято у нынешней молодежи.

— Мать, ты разотри меня легонечко, лады? Устал — сил нет...

(Точно, судя по разговору, он из Джакарты.)

Приветливо улыбаясь, Сумира принялась разбирать свою сумку. Она вынула из нее ревмазон, «масло дядюшки Пона», тальк, бальзам Викса и несколько стертых монет. Клиент, с любопытством следивший за ее операциями, быстро скинул с себя рубаху. Она не успела моргнуть глазом, как он уже стоял перед ней с обнаженным торсом, в одних трусах, а точнее говоря — в плавках. Сумира от-

метила про себя, что грудь у него обильно поросла волосами.

— Что вы предпочитаете, молодой господин, — ревмазон, «масло дядюшки Пона», бальзам или просто тальк?

— Не, ничего этого не надо, мать. Ты только помассируй меня слегка, пока я не усну, и все.

— Вы что же — не можете заснуть?

— Сна прямо ни в одном глазу. Измотался. Крутил баранку от самого Бандунга.

— Вот как, значит, вы живете в Бандунге?

— То там, то в Джакарте, когда как. Так вот, если я усну, мать, ты не буди меня, хорошо? Деньги лежат вон там, на столе. Когда кончишь, бери все, что там есть. Будешь уходить, закрой дверь поплотнее. И смотри приходи завтра примерно в это же время.

Сказав это, парень тут же улегся навзничь и сомкнул веки. «Какой-то странный», — подумала Сумира. Клиенты обычно первым делом подставляли ей спину. Не долго думая, она принялась за работу. Пальцы ее, размяв щиколотки, постепенно двинулись вверх. Ох, до чего же у него сильные ноги. Сразу видно — еще молодой.

— М-м-м-м, — тихонько застонал клиент. Сумира улыбнулась. Ну и быстро же она его достала. Видно, ее искусство пойдет впрок этому здоровяку, прикатившему сюда невесть откуда.

— А-а-а! Ох-ох-ох! Вот-вот, потри здесь, мать! Только не так сильно! Ох-ох-ох!

— Вам больно, молодой господин?

— Больно — не больно, а хорошо! Действуй в таком духе, мать. Только тихонько, тихонько.

— Придется, раз уж мне попался такой нежный клиент.

Сумире стало смешно. До чего же он нетерпелив, этот юноша из дальних мест. Нащупывая его мышцы, она чувствовала, как они набрякли и затвердели. Похоже, он и впрямь крепко устал после тяжелого дня. Вот так, и еще, и еще. Вон какие желваки у тебя на бедрах и возле колен. Неспешно, боясь причинять боль, Сумира принялась оглаживать, распрямлять натруженные мускулы. Время от времени юноша широко улыбался, по-прежнему не открывая глаз. В отличие от ее прежних клиентов он лежал молчком. Обычно стоило поработать каких-нибудь пять минут, как клиент уже заводил с ней разговор. Ее спраши-

вали о жизни, о заработке, хотели знать, сколько у нее детей, нравится ли ей стряпать, чем она занимается помимо массажа и бог знает что еще. Случалось, беседа принимала рискованный оборот. Сумира не воротила нос, если мужчина начинал отпускать двусмысленные шуточки. Она спокойно занималась своим делом и смеялась, если шутка и вправду оказывалась смешной. Иной клиент норовил потихоньку взять ее за грудь. В таких случаях Сумира быстро и деликатно отводила его руку и укладывала ее на простыню. Иногда она не могла сдержать смеха при виде этих заходов. «Интересно, что они при этом испытывают?» — думала она. Распускают руки от нечего делать или же в них не на шутку просыпается желание? И отвечала себе одно и то же — ну конечно же, распускают руки. Потому что у кого может пробудиться желание к женщине в ее летах. Но, приходя к этому заключению, Сумира невольно сердилась в глубине души. Какой женщине будет приятно, если к ней пристают от нечего делать. В таких случаях она ожесточалась, и это сразу сказывалось на работе. Пальцы ее начинали двигаться быстрее, она принималась массажировать энергичнее, а пение ее умолкало.

Но этот юноша не из таких. Молчит, словно в рот воды набрал. И глаз не открывает, хотя и видно, что не спит. Обе руки спокойно лежат, вытянувшись вдоль тела. И даже тогда, когда ее пальцы, пробежав по внутренней стороне его бедра, подступили к паху, он и глазом не моргнул. Лицо его оставалось все таким же спокойным и усталым. Окончив разминать грудь и шею, Сумира попросила его перевернуться и лечь на живот. Он повиновался, и на этот раз не промолвив ни слова. Сумира снова принялась за работу, чувствуя, как начинают понемногу расслабляться его мускулы. Неожиданно ей пришло в голову, что за прошедшие добрых полчаса она ничего не спела. Обычно, разминая клиента, она минут через пятнадцать уже начинала выводить строфы из какой-нибудь старинной песни на родном языке. Может быть, она сдержала себя на сей раз оттого, что юноша лежал так необыкновенно тихо, или оттого, что он был инородцем? Сумира пожала плечами и, не долго думая, вполголоса запела о Менаке[1]. Она выбрала

---

[1] Популярная яванская поэма о Менаке — отголосок мусульманского «народного романа» об Амире Хамзе, дяде пророка Мухаммеда.

ту песню, где шла речь о встрече Менака с китайской царевной. Не успела она допеть первой строфы, как молодой человек быстро перекатился на спину. Сумира вздрогнула. В первую минуту она подумала, что ему не по душе яванское пение, но тут же увидела на его лице радостную улыбку.

— Мать, спой что-нибудь из Валджины[1]. Ты знаешь ее песни?

— О-о, вам нравятся яванские песни, молодой господин?

— Мне нравится Валджина.

— Из каких же краев ваша семья, если вы яванец?

— Мне говорили, будто я яванец по матери...

— Как говорили? Вы что же, никогда не видели своей матушки?

— Я не помню ее. Она умерла, когда я был совсем маленьким. Так ты уж, пожалуйста, мать, спой мне что-нибудь из Валджины.

Клиент снова перевернулся на живот, видимо приготовившись слушать. Сумира укоризненно улыбнулась, глядя на него. Это надо же придумать: разминай его и при этом пой песню Валджины. Нашел о чем просить. Эту Валджину только и слушать что за чашкой чаю. Но раз уж ее молодого клиента не забирали старые песни, пришлось прикидывать, какая из песен Валджины хоть мало-мальски подходит к ее занятию. Она решилась наконец попробовать для этой цели «*Yen ing tawang ana lintang*»[2] и тихонько начала напевать: «Когда на небе столько звезд, малю-ю-тка», разминая при этом его спину. Когда песня кончилась и со спиной тоже было покончено, она попросила его снова лечь навзничь. Теперь оставалось проделать последнюю процедуру: хорошенько размять ему пальцы на руках и на ногах. Она сделала это, как всегда, тщательно и ловко, а сверх программы попыталась спеть, подражая Валджине, «*Walang kekek*»[3]. Молодой человек по-прежнему лежал не двигаясь, с зажмуренными глазами, но по лицу его было видно, что ему хорошо. Перебрав один за другим все его пальцы, Сумира перевела дух и смахнула пот со лба. «Да, нелегкое это дело — управиться с таким богатырем», — подумала она. Клиент все еще лежал навзничь, тоже отдыхая. Вы-

---

[1] Валджина — популярная яванская певица 60—70-х гг.
[2] «Когда на небе столько звезд» (*яванск.*).
[3] «Кузнечик» (*яванск.*).

тирая пот со лба и шеи, Сумира не отводила глаз от его лица. Совершенно неожиданно для нее молодой мужчина спокойным, быстрым и сильным движением привлек ее к себе и крепко прижал к груди. Напуганная и растерянная, она покоилась в его объятиях, не зная, что ей делать. Шелковистые волоски, покрывавшие его грудь, приятно щекотали ей щеки, нос и губы.

Уткнувшись ему в грудь, она вдыхала аромат какого-то особенного одеколона, по-видимому иностранного, потому что Сумира никогда не слышала такого запаха. А парень между тем ласково гладил ее по голове, по волосам, уложенным в узел, пока пальцы его не побежали вниз и она не почувствовала через кофточку, как его ногти поскребывают ее по спине. Сумира все еще не могла прийти в себя. Она еще ни разу не оказывалась в таком положении. Ни один из ее клиентов не обнимал ее так, как этот парень. Так неожиданно, так уверенно, так сильно и так непринужденно. Не переставая ласкать ее, он время от времени приподнимал голову и не обнюхивал ее лицо — нет! — а нежно прикасался губами к ее губам, лбу, вискам и ушам. «Господи, да что же я делаю, почему я позволяю ему все это?» — спрашивала себя Сумира. А незнакомец тем временем все ласкал ее и искал губами ее губы и время от времени тихо постанывал: «О-о! О-о-о! О-о-о-о!» Так прошло минут десять, и Сумира наконец смирилась. Она кротко прильнула головой к его груди, а он все гладил и гладил ее по волосам и по спине. Голова ее медленно поднималась и опускалась, подчиняясь ритму его дыхания. Исходивший от него аромат одеколона смешивался с запахом пота, тоже каким-то особенным. «Наверное, так всегда пахнет от богатых людей, живущих в больших городах», — мелькнуло у нее в уме. Когда молодой человек притих, Сумира медленно подняла голову и отстранилась от него. Он не шевельнулся, глаза его были по-прежнему зажмурены. Сумира тихонько встала с постели, собрала свои снадобья и положила их в сумку, потом сняла со спинки стула шарф.

— Ну вот и все, молодой господин, а теперь позвольте мне уйти.

— Да-да, мать. Ты помнишь — завтра вечером в это же время.

— Хорошо, молодой господин.

— И не забудь взять деньги там, на столе.

— Да, молодой господин.

— Большое спасибо, мать. Спокойной тебе ночи.

— Спасибо, молодой господин. Доброй ночи.

Сумира взяла со стола деньги. Это были три ассигнации по тысяче рупий каждая. Закрывая дверь, она не удержалась и посмотрела через плечо на своего клиента. Юноша все так же лежал на спине, не разомкнув веки.

Опустившись на стул у себя в спальне, Сумира посмотрела в зеркало. Из глубины стекла на нее глядела она сама, позади на постели, раскинувшись, спала Топтушка. Сумира медленно сняла свою полосатую кофту. Потянулась за выцветшей комбинацией, висевшей на кровати, но вместо того, чтобы надеть ее, безотчетно положила к себе на колени.

Зеркало снова привлекло к себе ее взор. В нем отражалась женщина в белом домотканом лифчике, купленном на базаре. Видно было, что грудь ее хоть и не слишком еще обвисла, но исхудала, как и она сама. На щеках, на лбу и шее все заметнее были предательские морщинки. Но, несмотря на все это, Сумира сознавала, что она выглядит много моложе своих лет, ведь скоро ей должно было исполниться пятьдесят. Зря, что ли, одна из соседок совсем недавно выпытывала у нее, что за настой она пьет. «Вон ведь вы какая стройная. Совсем как девушка. Прямо завидки берут...» Сумира невольно улыбнулась, вспомнив ее слова. При этом незаметно для себя она слегка приподняла руками свои груди. Заодно ей припомнилось и то, как расхваливал ее красоту земляк, случайно очутившийся в автобусе. И тут вдруг до нее дошло, что она красуется перед зеркалом, подпирая обеими руками груди. «О господи!» — выдохнула Сумира, отнимая руки. Торопливо встала, натянула комбинацию, размотала под ней свой кайн и бросила его на стул. Распустила на ночь волосы. Подумала о том, что завтра утром им с Топтушкой предстоит поход на базар, иначе она не успеет приготовить гостинцы для Тун. Ведь послезавтра у них свидание. Минуту спустя Сумира уже лежала рядом с внучкой. «*Wong tuwa ora nyebut...*»[1] — прошептала она одними губами. И все же на какое-то мгновение, перед тем как погрузиться в сон, словно ощутила в ноздрях аромат одеколона и тот особый

[1] Дуреха старая... (*яванск.*)

запах, который исходил от кожи этого странного человека из гостиницы.

Следующий день прошел для нее с внучкой в хлопотах. Топтушка, хотя и знала, что Сумира не пойдет на рынок, до тех пор пока она не вернется из школы, как всегда, приставала с напоминаниями.

— Ма, ты смотри дождись меня, ладно?

— Да уж дождусь, дождусь как-нибудь.

— А на рынке мы купим печенье «Мари Регал», много-много мятных карамелек и еще тигра-копилку.

— Какого еще тигра? Это что — Тун сказала?

— Ага! Сестрица Тун сказала, что хочет накопить для меня много-много денег. А потом она купит на эти деньги мне кофточку. Вот какая она хорошая, правда?

— Конечно, конечно, уж такая она уродилась, наша Тун.

В душе Сумира продолжала, однако, недоумевать: когда же это Тун просила купить ей копилку? Странное дело. Разве заключенным позволяют копить деньги? А может, Топтушка все это придумала — такие вещи за ней водятся.

— Ну ладно, дочка. Давай беги скорей в школу.

— Сейчас, сейчас. А когда приду, я еще нарисую картинку для сестрицы Тун. И еще я спою ей песню. Знаешь, какие я выучила песни?

— Ну, давай скажи какие!

— Песню о выборах и песню о дереве варингин.

А дел и вправду оказалось невпроворот. Когда они пришли с базара, Топтушка отказалась спать, а принялась рисовать и распевать свои песни. Сумира между тем решила приготовить гудег — курятину, тушенную с яйцами и с молодыми плодами хлебного дерева, потому что Тун невесть когда в последний раз лакомилась этим кушаньем. Потом она принялась упаковывать припасы на целый месяц вперед. Прожаренные досуха волокна говядины, жаренный в масле тертый кокосовый орех, карамель, галеты. В такие дни, как этот, Сумира не считалась с тратами. Деньги, накопленные за целый месяц, шли на все то, что могло хоть как-то порадовать Тун. Ее мысли и чувства были нацелены на эту встречу, и ни на что больше. Сумира старалась представить себе, как будет выглядеть Тун, какое у нее будет настроение, что она скажет. Ощутит ли она какие-нибудь перемены в дочери? Вдруг она увидит ее мрачной, молчаливой или несчастной? Или же наоборот — мало-

помалу Тун научится смирять себя и таким образом понемногу обретет способность радоваться? Ведь не даром же перед глазами у нее всегда была ее мать? При этом Сумира невольно забывала, что она никогда не пыталась привить дочери ту науку, которую преподала ей самой бабушка. Ведь с самого начала она предоставляла дочери возможность следовать собственным наклонностям, лишь самую малость знакомя ее с вековой мудростью яванцев. В такие дни, отдаваясь своим думам, Сумира снова и снова спрашивала себя: все ли зависящее от нее она сделала, чтобы скрасить жизнь своей единственной дочери — ее последнего, без малого, достояния? Мерилом служили здесь все те же самые припасы, которые завтра они повезут в тюрьму. Закупила ли она все, о чем просила Тун и что пришло на ум Топтушке? Хватит ли на это денег? И если оказывалось, что денег мало, Сумира сетовала на себя и на судьбу. Она упрекала себя в том, что не захотела постараться и разыскать еще одного клиента, который подкинул бы ей несколько бумажек.

И она винила в жестокосердии свою судьбу, не желавшую побаловать ее даже такой малостью. Когда же денег хватало и она могла купить все, что было нужно, до чего радовалось тогда ее сердце. Оно радовалось тому, что ее материнский долг выполнен как следует. Ей было радостно то, что она действовала по заветам Кунти, которая от всего сердца разделяла страдания своих детей.

Когда день начал клониться к вечеру, Сумира поняла, что все дела в основном сделаны. Гудег, на который она возлагала столько надежд, по всему видно, должен был удаться. Пальмового сахара положено в самый раз, кокосового сока тоже ровно столько, сколько надо, и выжала она его из отличного зрелого ореха. Надо только, чтобы огонь в очаге горел как следует, и гудег выйдет на славу. Шоколадного цвета, с дразнящим обоняние запахом, сладковатый на вкус.

По мере того как приближался вечер, на душе у Сумиры становилось, однако, все беспокойнее. Сердце ее то и дело начинало колотиться. Ни с того ни с сего ей вдруг отчаянно захотелось вымыться, да не как-нибудь, а горячей водой и новым, еще не распечатанным мылом «Люкс». В купальной комнатке она бесконечно долго чистила зубы, потом несколько раз намылилась и обдалась горячей водой. И все старалась унюхать — чем пахнет ее кожа. Покончив с мытьем, она побежала было к себе в комнату переодеваться

и тут только вспомнила, что пора кормить Топтушку (хотя внучке было уже шесть лет, она требовала, чтобы ее кормили с ложечки). Пришлось наспех готовить ужин. В этот раз Топтушке не удалось выкинуть своих обычных номеров. Сумира усадила ее рядом с собой и велела есть без разговоров. И Топтушка кротко повиновалась, потому что Сумира пригрозила, что не возьмет ее с собой к Тун, если она не будет слушаться. Накормив внучку, Сумира поспешно отправилась в спальню, чтобы наконец переодеться.

Топтушке, обычно сновавшей из комнаты в комнату, пока она переодевалась, и на этот раз не повезло — Сумира цыкнула на нее и отправила играть во двор. Уложив волосы узлом, она стала думать, что ей надеть. Думать вроде бы не приходилось — для выездов к клиентам раз и навсегда были предназначены коричневый комплект в полоску и синий — тоже в полоску. Но, как на грех, именно в этот вечер она поняла, что вся ее выходная одежда выцвела самым непозволительным образом. Чтобы разрешить последние сомнения, она вынула из выдвижного ящика синюю кофточку в полоску и такой же кайн и поднесла их к лампе. Так и есть: то и другое выглядело совершенно неприлично. Тогда она поспешно засунула обе вещи в ящик и в мгновение ока извлекла преподнесенный ей майором Джумади батиковый кайн ручной росписи и новую кофточку из шифона. Нарядившись, она стала прихорашиваться перед зеркалом и тут вдруг заметила, что на лбу у нее выступила испарина. «Бог ты мой! — вздохнула Сумира. — Только что помылась и уже вся вспотела». Она схватила платок и несколько раз провела им по лбу. Потом взяла одеколон, старательно спрыснула шею и грудь, не забыла притереть за ушами. Завершив, таким образом, свой туалет, Сумира решила, что в комнате буквально нечем дышать и посыльного лучше подождать на улице, но и тут не могла усидеть на месте. Казалось, стояла невыносимая духота, хотя на ночь глядя поднялся ветер, вовсю трепавший листья на манговом дереве, том самом, где устраивались обычно на ночлег птицы. Топтушка все еще играла во дворе с соседскими детьми. Сумира кликнула ее домой, велела быстренько вымыть ноги и ложиться спать, снова напомнив, что ни за что не возьмет ее с собой в П., если она тотчас же не послушается. И Топтушка безропотно пошла спать, в глубине души, вероятно, недоумевая, отчего это мама сегодня такая сердитая.

Убедившись, что внучка легла, Сумира принялась беспокойно расхаживать по гостиной. «Интересно знать, куда это запропастился Гиман? — думала она. — Ведь скоро уже семь часов. Ох, да что же это я?! Ведь обычно посыльный не приходит раньше половины восьмого». И Сумира снова начала мерить комнату из угла в угол. Господи, до чего же медленно тянулось время в этот вечер. И тем не менее, едва лишь за дверью послышался голос Гимана: «*Kulo niwun*, госпожа Марто», сердце едва не выскочило из груди, а силы покинули ее, так что она опустилась на стул вместо того, чтобы отворить дверь посыльному.

— *Kulo niwun*, госпожа Марто, — снова донесся до нее голос Гимана, и только тогда она медленно встала на ноги и заставила себя открыть дверь.

— Я за вами, госпожа Марто. Давешний гость уже ждет вас.

— Сейчас, — не своим голосом ответила она.

Сумира тихо вошла в спальню, сама не зная, зачем она это делает. Топтушка лежала под пологом и таращила на нее свои глазенки. Она ласково ущипнула ее за щеку и, миновав гостиную, вынырнула за дверь, в темноту, чтобы идти в отель следом за Гиманом. Очутившись на улице, она снова пришла в смятение, увидав, что посыльный направляется к припаркованному неподалеку белому «мерседесу». Ни разу в жизни ей не приходилось ездить в таких больших автомобилях. Она не успела собраться с мыслями, как уже сидела в прохладном салоне «мерседеса», который мчался к отелю, расположенному на окраине. За окном машины стремительно мелькали знакомые улицы. Когда снаружи замаячили силуэты тамариндов, Сумира попросила вдруг водителя остановить машину.

— Что-нибудь не так, госпожа Марто? — озабоченно спросил Гиман.

— Я совсем замерзла, Ман. Сил нет, до чего холодно.

— Это все кондиционер, госпожа Марто. Выключить его — и делу конец.

Кондиционер выключили, но Сумира молчала, и Гиман не знал, что ему делать.

— Так что же, госпожа Марто, поехали дальше?

— Погоди, Ман. Купи-ка мне мятных конфет «Давос» вон у того лоточника.

Гиман в недоумении вылез из машины и направился к продавцу сигарет. Когда он передал ей покупку и получил наконец указание ехать дальше, Сумира незаметно открыла коробочку и положила в рот сразу два мятных леденца.

Переступив порог номера, Сумира очутилась в полумраке. Комнату освещала лампа, стоявшая на столике у изголовья кровати. Вчерашний клиент уже лежал на спине, приготовившись к сеансу. Глаза его были закрыты. Не говоря ни слова, Сумира остановилась, глядя на распластавшееся перед ней сильное и красивое тело молодого мужчины. Потом неторопливо повесила свой шарф на спинку стула, поставила сумку на стол и пошла мыть руки. Дверь купальной комнаты была зеркальной, и она критически осмотрела себя в большом зеркале, где отразилась целиком, с ног до головы. «Ничего не скажешь, нарядилась на славу — ни о чем не забыла, да только стоило ли так стараться? Вон, он даже глаз не открыл», — вздохнула Сумира. Потом пожала плечами и закатала рукава своей кофточки, чтобы приняться наконец за работу. «Давай-ка пошевеливайся, красотка!» — мысленно прикрикнула она на себя.

Сумира не торопясь начала оглаживать его ноги, одновременно и сильные, и нежные. Как все-таки это приятно — прикасаться к совершенному человеческому телу. Ее мысли и чувства, до этого находившиеся в смятении, сразу успокоились, едва она взялась за дело. Она словно ощутила сердцем всю несуразность своего волнения. Ты массажистка, ну и занимайся своей работой — что тебе еще надо?

Но ведь и массировать этого поистине необычного и привлекательного человека было тоже необычным для нее делом.

Покойный мас Марто — единственный мужчина, которого она любила, — не отличался телесной красотой. От этого никуда не уйдешь. А вот какое у него было тело — она никак не могла припомнить. Ноги, руки — все это было у него небольших размеров, но представить себе, как они выглядели, ей не удавалось, хоть убей.

Подумать только — она не может восстановить в памяти обличье самого близкого ей человека, с которым делила ложе целых двенадцать лет, тогда как облик этого вот парня весь день стоял у нее перед глазами! Муж вспоминался ей как-то в общем — это был человек по имени мас

Мартокусумо, на которого было обращено ее уважение и ее любовь. Ей удавалось еще представить себе его улыбку, интонации и тембр его голоса, запах его тела, совершенно ничего общего не имевший с запахом, который исходил от растянувшегося перед ней человека. Но вот воочию представить себе его ноги, руки, пальцы, грудь (ах да, грудь у него была безволосая!) казалось выше ее сил. Что же касается этого парня, то и с закрытыми глазами она видела его тонкие, чуть выгнутые назад пальцы, необычные для человека с таким большим и сильным телом. Вот что значит — истинный горожанин, который никогда не занимался грубой работой. И точно так же рисовались ей — стоило только закрыть глаза — его торс, ступни ног, бедра. Тихонько вздохнув, Сумира принялась разминать бедро незнакомца. Пальцы ее прощупывали его мышцы, сильные, но как-то по-своему, не по-крестьянски. Парень все еще лежал с закрытыми глазами, словно набрав в рот воды. Хоть бы поздоровался, что ли, или спросил ее о чем-нибудь... Размышляя об этом, Сумира невольно продолжала сравнивать его с прежними своими клиентами. Перед глазами ее громоздились горы человеческой плоти, бесформенные бугры мускулов. И даже когда она думала о самом щедром, самом веселом и разговорчивом из всех — майоре Джумади, — в памяти возникали только его золотые зубы, его пение (какой же у него был голос, когда он разговаривал?) и запах изо рта, выдававший застарелого курильщика кретека.

«Ох и странный же народ эти мужчины!» — подумала Сумира. Теперь она разминала уже грудь своего клиента. До чего все-таки мягкие волосы у него на груди. Совсем как на тех кисточках, которыми она рисовала акварели, когда училась в школе.

Но тут молодой человек вдруг глухо застонал, и она снова не смогла воспротивиться его объятиям. Его сильные руки играючи склонили ее к нему на грудь, и точно так же, как в прошлый раз, он стал ласково гладить ее по голове, по ниспадающим на шею волосам, по спине, в то время как губы его блуждали по ее лбу, вискам, щекотали ей уши. Лишь немного погодя до нее дошло, что приютившего ее на своей груди человека охватывает новое, иное, чем вчера, волнение. Прикосновения его рук и губ были энергичнее, и в то же время в них ощущался какой-то судорожный, лихорадочный ритм. А потом он пошел дальше: обхватил ее обеими руками и, перевалив на бок,

20 -0108

крепко прижал к себе. Ему захотелось на этот раз, чтобы Сумира полежала рядышком с ним. Не успокоившись на этом, он начал целовать ее в губы. На какое-то время это увлекло ее — она не противилась, наоборот, позволяла ему целовать себя и более того — испытывала удовольствие от этих поцелуев. Сердце снова начало колотиться в ее груди, сильнее, еще сильнее. Парень вздыхал и стонал все громче, и Сумира опять перестала понимать, что с ней делается. Разве она не взяла себя в руки совсем недавно, когда начала массировать этого сумасшедшего? Тогда почему же опять так стучит ее сердце и перехватывает дыхание? Боже милостивый, подумала вдруг она, да ведь с ней творится сейчас то же самое, что было, когда мас Марто впервые сделал ее женщиной. Стеснение в груди, напрягшиеся руки и ноги, охватившее все ее тело желание повиноваться тому, что выражали собой биение ее сердца и ее лихорадочное дыхание, — да, все это как тогда. *«Oh, Gusti-i-i, paringana kuwat!»*[1] — услышала она вдруг свою собственную безмолвную мольбу. И вслед за тем руки ее чуть ли не сами собой начали отталкивать наваливающееся на нее тело. И совсем неожиданно для себя она стала жалобно упрашивать его:

— Ну хватит, хватит уж, молодой господин, ну пожалуйста...

Парень все еще негромко стонал и по-прежнему пытался удержать ее подле себя, тогда как она, словно подчиняясь неведомой силе, вопреки охватившей ее радости и тому восхищению, которое испытывала перед обнимавшим ее человеком, как только могла, старалась высвободиться из его объятий. Не переставая уговаривать его, она изо всех сил пыталась выскользнуть из его рук.

— Не надо больше, господин! Будет, будет... Меня хватятся дома, молодой господин.

Молодой человек откинулся на спину, отпустив наконец Сумиру. Он открыл глаза и не отрываясь глядел на нее.

Сумира, примостившаяся на краю кровати, посмотрела было ему в лицо и сейчас же отвела взгляд. Но и глядя на белую простыню, она по-прежнему видела устремленные на нее глаза странного молодого человека. В них была сила, способная побудить ее снова лечь на кровать рядом с ним.

---

[1] Господи, дай мне силы! (*яванск.*)

Это были глаза ребенка, который хочет разжалобить мать и добиться, чтобы она прикорнула возле него и рассказала ему сказку на ночь. Его взгляд и пугал, и одновременно радовал Сумиру: он пугал ее потому, что она могла потерять власть над собой и опять очутиться в его объятиях, а радовал потому, что она чувствовала, как ему хорошо вместе с ней. И Тун, и Топтушка почти теми же глазами смотрели на нее, когда просились в ночное время к ней в постель.

«Доченька, бога ради, прости меня, окаянную», — мысленно произнесла вдруг она, почти одновременно ощутив, что молодой человек взял ее за руку, чуть повыше локтя. Кровь бросилась ей в голову — она подумала, что сейчас он снова уложит ее с собой. Но парень, ухватившись за ее руку, сел на постели, и теперь они уже сидели рядом. Он держал ее за руку и все смотрел на нее, не отрывая глаз, а Сумира по-прежнему, потупившись, рассматривала простыню.

Медленно и нежно он провел пальцами по ее щеке и по лбу, в то время как она все твердила про себя: «Горе мне, горе мне, Тун». Тогда, не давая ей опомниться, он подсел к ней вплотную и молча обхватил ее стан обеими руками. И она, тоже не говоря ни слова, ответила ему крепким объятием. При этом она зажмурилась и почувствовала вдруг, что по щекам ее катятся слезы. Так они и сидели, стиснув друг друга в объятиях, — женщина под пятьдесят и мужчина лет тридцати — и вели бесконечный разговор, каждый на своем языке.

«Ох, доченька моя, прости, если можешь, свою непутевую мать!»

— О-о-о, мать, обними меня еще крепче... Вот так, и смотри не разжимай только рук, ладно?

«Девочка моя, ты не думай, я все равно приеду к тебе завтра. Не бойся! Я привезу тебе все, что ты хочешь, — тушеную курятину, тертый кокос, мятные карамельки, печенье «Мари Регал» и твою Топтушку. Ты только не беспокойся, Тун!»

— Завтра вечером я заберу тебя с собой, мать. Я отвезу тебя в горы. Мы заночуем там где-нибудь в тихой гостинице. Я сниму с себя все, а ты останешься как есть — в кайне, в кофточке, с шарфом и с уложенными волосами. И мы будем спать вместе в одной кровати до утра. До самого утра, мать! До утра...

«О господи, дай мне сил! *Paringana kuwat, Gusti!* Мас Марто, отец, *nyuwun ngapura...*»[1]

И, бормоча все это, они не расплетали объятий. И, обнимая друг друга, все вели и вели свои невнятные речи. А ночь все длилась и длилась своим чередом.

V

Белый «мерседес» проскользнул по тихим ночным улицам и на минуту остановился на углу проулка. Из машины вышла женщина и тихонько направилась в глубь квартала.

Она шла в ночном безмолвии, следуя за изгибами узкого прохода, которому, казалось, не будет конца.

Подойдя к дому, Сумира опустилась на расшатанную бамбуковую скамейку. Обмахиваясь шарфом и стараясь, чтобы прохладный воздух попал за вырез ее кофточки, она вздохнула полной грудью. Ночь была не такой уж жаркой, ясное небо было усеяно тысячами, миллионами звезд, а ветра как не бывало.

«Не провести ли мне ночь на открытом воздухе, как знать — не шепнет ли небо чего-нибудь новое?» — подумала Сумира. Но разве небесный шепот не донесся уже до нее несколько лет назад? Занимайся массажем — вот что нашептало ей небо, и оно не взяло назад своего совета. И когда завтра ты сойдешь с автобуса в П. и, взяв за ручку Топтушку, двинешься к тюрьме, а потом встретишься лицом к лицу с Тун, ты поймешь, что никакой новый шепот не собьет тебя с твоего пути. Так что ступай домой и скорее ложись, потому что автобус отправляется ровно в шесть...

Сумира вошла в дом и, пройдя в спальню, стала раздеваться. Она скинула свою шифоновую кофточку, размотала батиковый кайн с благородным узором сидомукти...

— Ой, мамочка, что, уже утро? Нам пора ехать?

Поглядев в зеркало, Сумира увидела, что Топтушка стоит у нее за спиной в своей кроватке.

— Что ты, что ты, дочка. Спи. Еще только час ночи.

---

[1] Дай мне силы, господи!.. Прости меня... (*яванск.*)

— Только сначала я спою тебе песню — ту, которую я разучила для сестрицы Тун.

— Ну, хорошо, пой, только не очень громко.

Сумира сняла с себя украшения, распустила пучок, надела вылинявшую комбинацию. Из зеркала на нее смотрела усталая, длинноволосая, почти старая женщина с легкой улыбкой на устах. Так чему же, чему она улыбалась? Но Сумира не успела ответить себе на этот вопрос, потому что Топтушка уже завела свою песню:

«Варингин, ты растешь уже тысячу ле-е-ет...»

Гонолулу
17 апреля 1973 г.

Путу Виджайя

ТЕЛЕГРАММА

I

У меня было назначено свидание с Розой. Эту нашу встречу, как и все остальные, я считал официальным мероприятием. Желая сохранить ее в памяти как отрадный исторический момент, я довел себя до наилучшей, самой надежной кондиции. Я избавился от всех профессиональных комплексов, чтобы явиться на свидание безупречным возлюбленным, мужчиной до мозга костей. Дикая октябрьская духота и порывистый ветер с клубами пыли не помешали мне прибыть на место встречи за полчаса до срока. Это ценное качество я выработал в себе давно.

Я потягивал кока-колу и дымил сигаретой «Бенсон». Воображение разыгралось вовсю. Сегодня я прихожу на свидание последний раз. Через три месяца мы станем мужем и женой.

Моя бурная и неприкаянная жизнь окончится за решеткой семейного счастья. Народятся дети — совладельцы моего будущего. Я перестану быть властелином своей жизни и сделаюсь ее рабом. Все пристрастия и хобби придется оставить, так как жизненной целью будет зашибать и копить деньгу.

Будущее не замедлило напомнить о себе. Пришла моя возлюбленная. На ней было платье в ее неподражаемом вкусе: в бледных тонах. Ее лицо сияло, точно она предвкушала просмотр кинокомедии. В сумочке у нее лежали шоколад и духи с возбуждающим ароматом. Это был трехтысячный день нашей любви. Несмотря на это, мы поцеловались так, точно недавно познали, что это такое. Мы немного прошлись по улице, пережидая, пока не стемнеет, затем, как обычно, отправились в номера. Можно ли это назвать иначе, нежели блудом? Но мы занимались своим

делом, не чувствуя ни малейшего привкуса греха, твердо убежденные в том, что следуем голосу сердца. Ведь мы любим друг друга...

— Возлюбленный мой, — шепнула она, обнимая меня за шею.

— Возлюбленная моя, — отозвался я для полноты картины.

Мы покончили с ритуалом любви быстрее обычного, так как она хотела сделать мне какое-то сообщение. По ее словам, оно было первостепенной важности. Мы выбрали укромный ресторанчик в той части города, куда редко заходили наши знакомые. Хотя главный, счастливейший момент свидания был позади, мы не избегали прикосновений и держались за руки. Ведь мы по-настоящему любили друг друга, а не просто давали выход плотскому вожделению.

Мы начали свой серьезный разговор под льющиеся из динамика звуки оркестра мадун. Мы знали, что время для этого разговора настало. Мы больше не могли идти на поводу у лжи, от которой можно было свихнуться. Мы и так слишком долго ее терпели. Она превращалась в какое-то безумие и порабощала нас. Пора было разъяснить все простыми словами.

— Хорошо ли ты продумал те перемены, которые принесет нам женитьба? — спросила она.

— Я все понимаю, и я к ним готов.

— А если тебе потом придется о чем-то пожалеть?

— Я не буду жалеть, дорогая, хоть я и расстанусь со свободой, ничем не скованной жизнью, воспеваемой поэтами, интеллектуалами, юношами и...

— Оставь декламацию, она сейчас неуместна.

— Да нет, я серьезно! — твердо сказал я. — Я знаю, что перемены будут, но все это несущественно, так как я заранее смирился с ними.

Моя невероятная решимость растрогала ее до слез. Оба мы прекрасно понимали, что наши непреклонные речи взяты откуда-то напрокат, чтобы подпереть ими шаткое состояние духа. На самом деле грядущие перемены были для нас чем-то абсолютно невыносимым и устрашающим. Эти перемены вторгались в каждое из трех тысяч наших свиданий, мы воображали их своими соперниками, которые нас разлучат или отобьют друг у друга. Что останется от связавшей нас любви после того, как прервутся наши нынешние, а потом и будущие, уже после свадьбы, отно-

шения? Что, если брак превратится в некоего банкомета, навязывающего раз навсегда заданные ходы нам — участникам игры?

Что, если нам придется целоваться, ходить под руку, обмениваться приветствиями по утрам, глядеть друг на друга только из чувства долга? Таков был мучивший нас вопрос. До сих пор мы не сумели на него ответить. А теперь моя возлюбленная потребовала ответа.

Я мог бы ответить так: «Ну что ж, тогда, ради нашей любви, ни к чему и жениться, давай встречаться, как раньше».

На это она сказала бы, что такой вариант — самый простой и на нем можно остановиться в самом крайнем случае. Но, пока еще не все решено окончательно, следует подумать, нет ли иного способа. Может быть, такой способ и объявится, если хорошенько поразмыслить в оставшиеся три месяца.

Все слова, пришедшие нам в голову, были сказаны, а официанты уже начали готовиться к закрытию. Оставалась еще возможность поговорить на улице. Но в шуме машин и под окрики бечаков, срывающих злобу на прохожих, трудно было ожидать толкового разговора.

— Мы опять отложим наше решение? — спросила она.

Меня никто бы не подверг наказанию за отрицательный ответ. Но я ответил отрицательно.

— Кто же будет принимать решение, я или ты? — спросила она снова.

— Я, — сказал я твердо.

— И в чем оно будет заключаться?

Я увлек ее на улицу, так как еще не придумал ответ. Повиснув у меня на руке, она послушно шагала рядом. Я шел по тротуару, судорожно пытаясь что-то придумать. Настал момент показать, чего я стою. Вечером стало заметно прохладнее, чем было днем. Мы уселись в сквере у перекрестка. Окунувшись в свет фонарей, мы словно попали в другой мир. Она положила голову мне на плечо. Поодаль отирались какие-то мальцы с сигаретами в зубах, но мы их не замечали. Ощущая по временам затылком прохладный ветерок, я будто и впрямь ломал голову над решением чего-то сверхважного.

— Спой что-нибудь, — попросил я ее. Она стала тихо напевать «Ночную розу». У нее был недурной голосок, и я от наплыва чувств едва не заснул.

«Отчего же роза в час ночной...» — выводила она

вполголоса. Вдруг я зажал ей рот, так как меня осенило.

— Ну, что?

— Поженимся, и все тут, — сказал я решительно.

Нового тут было мало. Мы переглянулись. Я притянул ее к себе.

— Вот в каком смысле, — сказал я. — Мы будем жить как супруги, но без регистрации. Погоди, дослушай. Тем самым и в семейной жизни мы будем как двое влюбленных. И кроме того, не надо будет забивать себе голову всякой семейной дребеденью.

Женщина пристально посмотрела на меня. Явно не потому, что моя идея поразила ее особой свежестью. Просто она не верила в ее осуществимость.

— И что же с нами будет? Превратимся в обезьян? — со смехом спросила она.

— Ничего не поделаешь.

— А ты сможешь так?

— Почему бы нет? Смогу, хотя в этом случае нам придется отрекаться от своей свободы добровольно, ибо нас ведь ничто не будет связывать.

Она молчала. Она знала, что от всех моих проектов я на следующий день могу под любым предлогом отказаться. А может, молчала потому, что не соглашалась. Бьюсь об заклад, что, хотя она и принадлежала мне безраздельно три тысячи раз, у нее были от меня какие-то тайны.

— Не верю я, что эта идея выполнима, — проговорила она наконец, сдерживая смех.

— И я не верю.

— А зачем тогда ты предлагаешь?

— Нам надо за три месяца проиграть все возможные варианты. А потом мы все их отбросим и поженимся, как нормальные люди. Мы же нормальные люди, верно?

— Хотя и с сумасбродными идеями.

— Да ну?

Она засмеялась и вдруг шлепнула меня по руке.

— Ты подумай хорошенько. Если мы из-за этого брака переменимся, то надо ли нам жить вместе?

Я не отвечал. Настала ее очередь говорить. Она, не глядя на меня, одно за другим выкладывала свои соображения на этот счет.

— Я не могу себе представить, что ты — такой, каким я тебя знаю, — вдруг превратишься в примерного отца семейства, спокойного, рассудительного и заботливого. Я потеряю любовника, а ты станешь отцом наших детишек

и ординарным мужем, которому ради своей жены неохота и одеться прилично. Обыкновенным мужем-занудой, который вечно критикует жену на то, что она плохая хозяйка. Ну, что ты скажешь?

Я рассмеялся, но все же ответил:

— Вообще-то я мог бы отрицать это, но, пожалуй, ты во многом права. После свадьбы большинство людей капитулирует.

— Вряд ли это капитуляция. Как бы это ни называть, меня такое положение не устраивает. Сохраню ли я для тебя привлекательность, если, допустим, перестану следить за собой? Или тебе захочется любви, а меня будет морить сон? Или если я буду любить детей больше, чем тебя? Или меня полностью поглотят семейные дела и я начну завидовать соседям и затевать разные мелкие склоки, чреватые крупными последствиями? Вряд ли тебя потянет ко мне, если я начну считать, что все твои занятия и привычки не столь уж важны по сравнению с обязанностью отца семейства приносить побольше денег. Будешь ли ты меня целовать, если внезапно обнаружишь, что я на самом деле деревенская дура?

Я захохотал еще громче, ибо она говорила о том, что и мне самому часто приходило в голову. Она не обиделась. Подождала, пока мое веселье уляжется. Улица обезлюдела. Все, что окружало нас, было мертво. Под бронзовой фигурой какого-то победителя спал сумасшедший, подергиваясь и вскрикивая во сне. Пора было расходиться. Я обнял ее за плечи.

— Дорогая, ты права, так оно и будет. Свадьба — это обряд вступления в зону стихийных бедствий, — произнес я тоном великого человека.

— Ну ладно, а если оставить все как есть, всегда ли наши свидания будут такими же нежными?

Веселость моя прошла. Теперь говорить надлежало мне, а я был не слишком уверен в своих словах.

— Когда я целовал тебя впервые, я чувствовал себя как в раю. То же самое было в тысячный и в двухтысячный раз. Но сегодня, целуя тебя, я воображал, будто ты — Нурма. На прошлой неделе я видел на твоем месте жену одного приятеля, а однажды вместо тебя представил себе молодую вдову из соседнего дома. С другой стороны, и ты, я это знаю, часто представляешь меня в виде своего бывшего возлюбленного, или своего отца, или какой-нибудь кинозвезды, или другой знаменитости. И если ты целуешь

какого-то жиголо, а я какую-то Касмилу, то есть ли разница между нами и двумя супругами, которые целуются по обязанности, воображая при этом своих любимых?

Роза не отвечала. Она и сама все знала. Она была не такая женщина, чтобы не замечать справедливости чужих догадок. Мы оба молчали. Все перебрали, а пришли к тому же. Можно и так, можно и этак, надо только выбрать. Ничто над нами не висит.

Как обычно, завершая свое свидание, мы молча прошлись по улице. Мы шли рядом, но не касаясь друг друга. Уже выпала вечерняя роса, и от тротуара веяло холодом. Снова, как всегда, пришло ощущение того, что наш роман затянулся. Нам бы пойти в ночной клуб, в дискотеку или в кино, как делают все влюбленные парочки. Или сидеть себе на веранде дома, ожидая дня свадьбы и не дергаясь из-за того, что из этого выйдет. Уж очень мы во все вникаем. Много говорим и мало действуем.

— Доброй ночи, любимая, — сказал я, когда мы вернулись туда, где сегодня встретились.

— Доброй ночи, любимый, — сказала она, быстро взглянув на меня.

Она торопливо перешла улицу, хотя машин не было. Улица была совершенно пустынна, кроме нас, я не заметил ни одной живой души. Я подождал, пока Роза скроется в переулке. Но, как обычно, она внезапно обернулась и посмотрела на меня.

— Нечего нам жениться, понял? — крикнула она.

Мне стало смешно.

— Нечего нам жениться! — крикнула она во второй раз.

Я рассмеялся.

— Нечего нам жениться, ничего из этого не выйдет! — крикнула она еще громче.

Я допил кока-колу. Закурил последнюю сигарету.

— Лучше, чем есть, не придумаем. Только хуже будет! Я не хочу, чтобы ты переменился! Лучше нам...

Я не разобрал последние слова, так как неожиданно кто-то дернул меня за рукав. Я обернулся. Около меня стояла Синта, моя десятилетняя приемная дочь. Она всегда приходила за мной, когда я задерживался.

— Пойдем домой, папа, — ласково позвала она.

— Пойдем, — сказал я послушно, точно ребенок собственной матери.

— Ты пьяный?

— Нет, миленькая.

Синта прижалась носом к моим губам и радостно улыбнулась.

— Пойдем домой, папа. Тебе телеграмма.

Я заплатил за кока-колу и пошел за Синтой, которая легонько тянула меня вперед. Мы перешли через мост, поприветствовали продавца скотенга, который всегда располагался на этом месте. Поздоровались и с ночными сторожами, увлеченно игравшими в домино. Вот и наш дом. В окне его светилась керосиновая лампочка. Мне показалось, что этот вечер был тише и безлюднее обычного.

II

Прежде чем распечатать телеграмму, мне нужно было выпить стакан пива. Постепенно у меня выработалась такая привычка, так как в получаемых мною посланиях обычно сообщалось о каком-нибудь несчастье. Сам же и виноват. Я считал писание писем бессмысленным занятием. Поэтому у моих корреспондентов стало правилом: поводом для письма может служить лишь событие исключительное. Для телеграммы тем более. А из всех исключительных событий самыми важными являются так называемые несчастья.

Телеграмма была из Денпасара[1]. Отправили ее сегодня утром. Наверняка это сделала моя сводная старшая сестра. И конечно, извещает о несчастье в семье. Умерла моя старая мать, или ее разбил паралич, или уложило в постель еще какое-нибудь тяжелое заболевание. Мне надо ехать домой, взять на себя обязанности главы семьи и возиться со всякой домашней ерундой. А ведь для сестры не секрет, чего именно я больше всего стараюсь избежать: решения семейных дел. Эти дела меня повергают в полнейшее смущение. Занимаясь ими, нельзя позволить себе ни малейшего легкомыслия или развязности. Ко всему надо подходить серьезно, рассудительно, сохраняя скромный вид и не забывая о всевозможных учтивостях. Тут я всегда проигрываю. Мой моральный кодекс, с детства вдолбленный в меня отцом, несколько перекошен на одну сторону. А именно: полагается всегда уступать и приносить в жертву другим свои интересы. Смелость у нас была не в почете. Меня воспитали трусом.

---

[1] Денпасар — главный город острова Бали, административный центр провинции.

Если действительно умерла матушка, то в моей жизни произойдут разительные перемены. Я тут же стану главой большого семейного клана и распорядителем нескольких гектаров земли, а также трех старых домов, которые вернее назвать клетками для мышей. Три агонизирующих старухи. Брат, у которого с головой не все в порядке. Обязанность заботиться о соблюдении всех домашних обрядов. Обязанности семьи перед сельской общиной. Обязанности по устройству нгабена для тех покойных родственников, которых не сожгли сразу после смерти. Все это, вместе взятое, бросает меня в дрожь, ибо во всем надо будет участвовать самому. Можно не сомневаться, что, приняв это бремя на себя, я уже не смогу делать то, что не нравится. Это равносильно самоубийству. А отказаться от этого я не имею права. Разве что порвать отношения со всеми своими родичами. То-то было бы шуму.

Телеграмма ждала у меня в руках. Мне вспомнилось стихотворение Рендры[1]: «На закате пришла телеграмма». Потом я вспомнил о телеграмме, которую получает Гомер в «Человеческой комедии» Сарояна, — по поводу смерти старшего брата. Не преминул вспомнить и о поздравительной телеграмме одного моего приятеля, которую он послал сестре в день рождения, а также еще об одной, на этот раз идиотской телеграмме — от другого моего приятеля — с объяснением в любви. Уж конечно, моя сестрица, не склонная шутить со мной, своим сводным братом, не станет телеграфировать без какого-нибудь грустного повода. Если не насчет матушки, то, наверное, насчет брата. А вот это уж действительно человек опасный: хоть и не сумасшедший, но и не совсем нормальный. Проникнутый сознанием своей болезни — внушенным ему другими, — он считает, что ему позволены любые дикие выходки. Возможно, он жестоко тиранил матушку, и бедная старая женщина, когда-то породившая его на свет, немного тронулась умом. А может, он восстал против всего семейства, да еще вовлек в эту конфронтацию своих прихвостней, отчего все еще больше запуталось. Если дело в этом, то покушение на мою свободу не отпадает. Хотя я взял за правило обращаться с братом сурово, чтобы он хоть немного держал себя в руках, окружающие считают меня ответственным за все его номера, поскольку я, по их мнению, не такой чокнутый.

---

[1] Вилли С. Рендра (род. в 1935 г.) — индонезийский поэт, драматург и театральный режиссер.

Они уже давно требуют, чтобы я признал свою ответственность. Но разве дело только в признании? Возможно, для них это и есть самое главное. А для меня ответственность — это все равно что казарма. Я бы очень хотел жить безо всякой официально утвержденной ответственности. В глазах рассудительного человека разница, может быть, невелика. Но я-то не желаю быть рассудительным. Рассудительный человек не может существовать, не учинив расправу над своими чувствами. Я ведь не пророк Мухаммед. Лучше уж быть заурядным человеком, который может вляпаться во что угодно.

И пошло по заведенному порядку. Я стал сочинять ответ на полученное послание. «В Денпасар, сестре моей, у которой никогда не было желания со мной шутить. Свастиасту! Дорогая сестрица! Твою телеграмму получил. Это дело надо будет обсудить. Я немедленно выезжаю, чтобы все уладить. Беру все на свою ответственность. Если в дальнейшем обращусь к тебе за советом или посильной помощью, то отнюдь не с целью уйти от ответственности. Надеюсь, что это вполне понятно. Некоторая неясность в моем поведении никоим образом не направлена на то, чтобы заставить людей прийти к выводу, будто я в конце концов за все это не отвечаю.

Просто у меня такая манера держаться. У всех есть свои слабости. Приходиться бороться с ними самому и на свой лад. Я не могу объяснить это всем и каждому, ибо если люди будут в курсе дела, то ценность самой манеры несколько снизится. Из-за этого у меня с ними могут возникнуть недоразумения. Ну и пускай, лишь бы ты, сестрица, меня поняла. Да и они в конце концов поймут, что церемонная обходительность — не единственно возможный путь для того, кто хочет быть хорошим членом общества. Что и довожу до твоего сведения».

Тут же я сочинил и второй вариант ответа. По тому же адресу, но с другим содержанием. «Сестра! Я ясно представляю себе ту ответственность, которая ложится на меня в связи с тем, что ты сообщаешь. Как порядочный человек, я, конечно, должен приехать, чтобы уладить это дело. Самое лучшее, что можно сделать, — это безо всяких отговорок лично и незамедлительно заняться всем самому. Но я принял вполне обдуманное решение отказаться от своих обязанностей. Если этот поступок неправилен и порочен, то я совершаю его вполне сознательно. Я решил стать неправильным и порочным человеком и готов к

любым последствиям этого шага. Среди нас и так слишком мало людей с характером. Мы нуждаемся в убеждениях, таких сильных, как у писателя Мисимы[1], который покончил с собой исключительно из желания соблюсти принцип. Нам нужна такая твердость духа, о какой повествуется в одной из старинных историй в «Тантри»[2]: там один царский бупати отрубает себе голову, чтобы исполнить повеление молодого раджи явиться ко двору и в то же время сдержать клятву, данную им покойному радже, — не покидать своего наместничества. Для здравомыслящих людей это нелепость. Что поделаешь. Мне так нравится. Поэтому будь что будет — мне все равно. Я не собираюсь ехать к вам из Джакарты и впутываться во все эти дела, потому что мне там заморочат голову до одурения всяким вздором, за который я должен отвечать. Ты вправе на меня сердиться и осуждать мое поведение. Я могу помочь только деньгами и на днях вышлю почтовый перевод».

Оба письма слишком отдавали литературой. Они, пожалуй, больше подходили для дневниковых записей. Как обычно, я сочинил и третий вариант. Этот вариант был моей излюбленной картой в разных случаях жизни. Он не требовал больших волнений. В нем не сквозили мечты о героизме. Он не опирался на моральные обязательства перед моим собственным прошлым. На эту карту ставит всякий, кто утратил решимость или желание вступать в игру с неизвестными правилами.

В этом варианте я сообщал, что собираюсь в ближайшее время активно включиться в семейные дела. «Да ниспошлет нам господь всяческую милость и да оборонит нас перед лицом всех испытаний, — писал я. — Давайте же вместе молиться о том, чтобы господь даровал нам крепость духа в этих испытаниях, и будем трудиться по мере своих сил, полностью сохраняя веру во всемогущество божье, но в то же время сознавая, что и человеку дана определенная роль в его собственной судьбе, с целью уладить и разрешить все трудности наилучшим образом, так что возникшее неустройство будет незамедлительно исправлено и мы все сможем вновь обратиться к нашим повседневным занятиям

---

[1] Юкио Мисима (1925—1970) — реакционный японский писатель, сторонник возврата Японии к милитаризму и культу императора. Совершил самоубийство после неудачной попытки спровоцировать военный путч.

[2] «Тантри Камандака» — яванское средневековое собрание сказок, восходящее к индийской «Панчатантре».

и стать людьми нормальными, не вполне нормальными или вовсе ненормальными».

— Папа, что в этой телеграмме? — спросила Синта из своей комнаты.

До меня только теперь дошло, что девочка тоже волновалась. Вот и еще одна привычная реакция. Получение мною всякой корреспонденции и у Синты стало связываться с тревогой: раз пришло письмо, значит, что-то стряслось. Письмо, телеграмма или еще что-нибудь в этом роде явно стали в доме символами несчастья.

— Сейчас, детка, — отозвался я.

Я вскрыл злополучный конверт, еще не совсем справившись с волнением. От злости у меня дрожали руки. Вечно людям не дают покоя всякими известиями. Невозможно вести личную жизнь. Я прочел телеграмму про себя. Потом прочитал вслух Синте:

— Выезжаю из Сурабаи поездом «Бима», встречай.

Синта тотчас появилась в дверях. Видно, она еще не ложилась. Волосы ее были растрепаны, и глаза блестели, как будто она недавно плакала. Меня это удивило.

— Значит, дядя приезжает? — спросила она таким тоном, точно избавилась от грозящей опасности.

— Да, завтра надо его встретить на вокзале Кота; нет, Гамбир.

— Во сколько?

— Мы потом узнаем. Почему у тебя такие глаза?

Синта улыбнулась. Этой улыбке она научилась у меня. Грустно, когда ребенок улыбается точно так же, как улыбаемся мы, стремясь освободиться от чего-то гнетущего.

— Я подумала, что бабушка опять заболела, — ответила она и вытерла глаза, больше не скрывая того, что она делала у себя в комнате. Я не мог удержаться от смеха. Синта сконфузилась, но не убежала. Мне захотелось допросить ее.

— Ну и что ты подумала еще? — спросил я так, будто обращался к взрослой женщине. По ее лицу опять пробежала тень. У этой девочки вообще была поразительная способность к резкой смене настроения.

— Я думала, что раз кто-то заболел, то тебе опять надо ехать на Бали, как тогда. А у тебя ведь нет денег на дорогу?

— Кто сказал?

— Да вчера ведь, когда пошли покупать масло, ты занял у меня. А сегодня бранился с почтальоном, хотя он каждый день по утрам опаздывает. Значит, наша касса пуста!

— Ты ошиблась, детка. В лавке у меня просто не оказалось мелочи. Нашей кассой можно пока еще гордиться — по крайней мере думать о ней, не падая в собственных глазах. А почтальона утром я просто разыграл. Этому парнишке надо иногда разнообразить жизнь, чтобы ему не было скучно. Разве ты не поняла?

— Ну да, это я просто так подумала.

— О'кей. Ну а о чем ты думала, проливая слезы?

Синта совсем засмущалась.

— А что ты, папа, так придираешься?

— Да нет, ничего особенного. Ну, рассказывай, в чем дело.

Девочка обхватила руками колено и кокетливо прислонилась к стене.

— Не хочу! — заупрямилась она.

Я приложился к стакану с пивом и закурил кретек. Наш дом, если только мы не получали писем, телеграмм или других сообщений, был как бы огражден от всех превратностей судьбы. Мы, то есть я и Синта, сделали из него нечто вроде крепости, куда было не прорваться повседневным треволнениям. Эта маленькая девочка была подходящим компаньоном для того, кто играет роль человека с характером. Она была полна смеха, вздохов, всяческих эмоций, точно аккуратная подборка газетных вырезок в хорошей библиотеке. Можно нажать любую кнопку, и получишь нужную эмоцию.

До какого-то определенного момента она еще могла оставаться для меня чистой страницей, белой, как больничная стена, по которой можно брызгать какими угодно красками. Это были жестокие игры. Но я вознамерился сделать из этой девочки, родившейся от греховной связи, нечто имеющее определенную форму.

— Если не хочешь говорить сама, я буду отгадывать, — продолжал я.

— Пожалуйста.

Я немного подумал. Старые часы, которые я откопал на барахолке, проскрипели двенадцать раз.

— Ты подумала, что бабушка умерла! Точно!

Девочка мгновение помолчала, потом, решившись, кивнула.

— Ты думала, что дядя в Табанане попросил у бабушки денег, чтобы построить куриную ферму, как советовали ему друзья. Или захотел открыть бюро путешествий. Для этого ему нужны деньги на автобусы и на жалованье

служащим. А бабушке приходится откладывать деньги даже перед походом к врачу, чтобы сделать укол от ревматизма!

— Да нет! — прервала меня Синта. — Я думала, что тебя просят приехать домой. Просто приехать, не знаю почему. А я здесь останусь одна, как тогда.

— И я не вернусь обратно, — подсказал я.

— Вот-вот.

Я засмеялся. Синта нет.

— Такое может быть. Может, пап?

— Отчего же нет?

— Может так быть, что ты не вернешься?

— Может.

— Почему?

Я тянул с ответом, допивая пиво.

— Если я вдруг так решу.

— А почему ты так решишь?

— Потому что не будет другого выхода и придется подчиниться обстоятельствам. Подумай сама, я ведь теперь играю главную роль. Без меня и представление не состоится.

Девочка не поняла.

— Как это?

— Есть такое стандартное выражение: сделать шаг назад, чтобы потом быстрей пойти вперед. Согласиться со своим поражением, в душе одержав победу.

Синта глядела на меня с изумлением.

— Но если ты уедешь, что же буду делать я? — крикнула она со слезами в голосе.

— Ну, уж если я уеду, так и ты ведь уедешь со мной? Или здесь останешься киснуть?

Этот ответ удовлетворил ее, но потом она снова приуныла. Она вытерла глаза и протестующим тоном сказала:

— Я не хочу здесь оставаться. Без тебя, папа, тяжело. Все кругом поучают. И что за домом плохо смотрю. И все не так делаю. Только и знают ругаться... — ворчала она, должно быть вспомнив домработницу, которая присматривала за ней, когда я уезжал на похороны отца.

Я подозвал ее к себе и погладил по голове, успокаивая. Девочки вообще умеют из всего делать драму. По всей вероятности, она уже догадывалась, что я ей не родной отец. Но именно поэтому и не хотела меня терять. Отсутствие между нами кровной связи привело к тому, что мы очень дорожили друг другом.

Когда она успокоилась, у меня внезапно вырвался вопрос:

— Синта, а что, если я женюсь?

Синта привалилась спиной к моей груди, потом стерла пивную пену у меня с губ.

— Женишься? Когда?

— Ну, когда-нибудь в будущем.

— На ком?

— На ком-нибудь, еще не знаю. В общем, женюсь на какой-нибудь женщине.

Синта не отвечала. Непонятно — то ли не хотела высказываться, то ли пропустила мимо ушей, то ли скрывала свое несогласие. Я вспомнил директрису приюта «Материнское крыло», куда вначале пристроили эту маленькую будущую женщину. Директриса обрушила на меня град вопросов, выясняя, все ли я хорошенько обдумал, прежде чем взять на воспитание ребенка.

— Вы ведь не женаты, вы должны подумать, согласится ли ваша будущая жена принять девочку как свою родную дочь, — говорила директриса.

Ей не пришло в голову задаться вопросом о том, согласится ли сама приемная дочь, когда подрастет, признать кого-то своей матерью. И я тоже подумал об этой стороне дела только сейчас, когда мои слова, обращенные к Синте, уже прозвучали.

— Видишь ли, девочка моя, — начал я разъяснять свой необдуманный вопрос. — Если я женюсь, то у нас в доме появится какая-то женщина в возрасте от двадцати до тридцати лет. Это будет не гостья, но и не прислуга. Это будет твоя мать и моя жена. И значит, она будет вправе высказывать свое недовольство и все поворачивать на свой лад, якобы ради твоей же пользы. Слыхала песню про мачеху? Обычно так и бывает, это вполне возможная вещь. Особенно если у нее будут свои дети. Если появится мальчик, то вы с ним, может быть, и подружитесь, но тебе неизбежно придется стать его нянькой. Хуже, если у нее родится дочка, особенно некрасивая. Вот это будет твоя беда. Еще хуже, если эта женщина подчинит себе твоего папу. Прежде всего она расстроит нашу дружбу. Я буду строго корить тебя за малейшие проступки — правда, только при ней. А когда за тобой начнут ухаживать, тебе придется совсем плохо. Ты будешь вынуждена дружить с каким-нибудь уродом, не имеющим надежд на будущее, только чтобы твоей мачехе не стало завидно. А когда ты

выйдешь замуж за этого своего урода, она тебя прогонит. Потому что ей не захочется взваливать на себя ваши заботы. Я ничего не смогу сделать. Буду, наверное, помогать тебе потихоньку от нее, да от этого какой толк...

Синта молчала. Но слушала внимательно и что-то думала.

— А может, все сложится совсем иначе, — продолжал я после паузы. — Может, это будет женщина, которая залатает все прорехи в нашем домашнем быту, как хороший подрядчик ремонтирует дом. Мы никогда больше не будем чувствовать себя приниженными и никому не нужными. Она всегда сумеет поддержать наше чувство собственного достоинства. Это поможет нам держать хвост пистолетом. Она станет тебе товарищем по играм, выслушает и утешит тебя в грустную минуту, разделит со мной твою любовь и привязанность, ныне сосредоточенную на мне, и ты сможешь взглянуть на меня более трезво, без излишнего, как сейчас, обожания. Нам будут не страшны никакие письма, телеграммы и известия, потому что мы не будем больше чувствовать себя обиженными судьбой. Вопрос о доблести никогда не волнует тех, кто не подозревает себя в отсутствии доблести, вот что тут самое ценное. Как это будет славно, правда? Ты полюбишь ее? Конечно! Я в этом уверен, Синта!

Синта не раскрывала рта. Эта девочка вообще не имела склонности подделываться к собеседнику, вставляя приятные для него замечания. Она привыкла поступать так, как ей казалось правильным. За это я еще больше любил ее.

Я повернул ее голову так, чтобы она смотрела мне в лицо. У нее было взрослое выражение глаз. Из-за нашей манеры общаться и отсутствия в доме женщин она раньше времени утратила свою детскость.

— Пора спать, Синта. Тебе невесело?

Она спокойно покачала головой.

— Я тебя замучил серьезными разговорами?

Она кивнула, точно заводная кукла.

— Извини, у меня сегодня что-то ум за разум заходит.

Синта кивнула.

— А сейчас ну-ка спать! — сказал я, шлепнув ее.

Синта весело подпрыгнула.

— Но завтра я пойду с тобой на вокзал!

— А в школу?

— Так каникулы же!

— Ну да?

— Так как?

— О'кей!

Она улыбнулась, как должна улыбаться десятилетняя девочка. Вошла к себе.

— Синта!

Она выглянула из-за двери. Лицо было совсем безмятежное. Сонное, отнюдь не озабоченное. Мне стало совестно смущать ее душевное спокойствие серьезными речами. Я решил ничего такого пока не говорить. Завтра еще целый день впереди.

— Даю тебе пять минут на укладывание!

Синта улыбнулась.

— Годится! — сказала она, скрываясь за дверью. Я поплелся к себе в комнату, охраняемую старыми часами. В теле была какая-то невесомость. Может быть, из-за пива. Будто ты и не во сне, и не наяву. Комната в свете керосиновой лампы выглядела неестественно, у меня было такое ощущение, словно это театральная декорация. Я поднялся, вырываясь из объятий кресла. Полез в карман, вытащил телеграмму. Краткий текст на белом официальном бланке, как всякая телеграмма. Я прочитал ее для себя еще раз:

МАТУШКА УМЕРЛА ВЫЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО ТЧК

Я аккуратно сложил ее, точно так же, как когда-то телеграмму о смерти отца. Заскрежетали часы — насколько мне помнилось, уже во второй раз. Они пробили час ночи.

III

Некий редактор юридического отдела в одном журнале говорил:

«По всей Суматре туман, и самолетам не дают посадку. Сухой сезон затянулся, а в будущем году погода будет еще хуже из-за вспышек на солнце. Растут цены на основные товары. Директор такого-то департамента не желает являться к такому-то и давать отчет в своих действиях. Сержант ВМС застрелил лейтенанта ВВС после того, как побил его сына, а тот пожаловался отцу. Такая-то инстанция просит не раздувать этот инцидент и не сообщает, будет ли стрелявший немедленно отдан под суд. Генерал имярек уволен со всех занимаемых постов без церемонии построения для сдачи должности. В Джатилухуре упала опора высоковольтной линии. «Мисс Индонезия» желает стать стюардессой компании «Пан-Ам». Трое полит-

заключенных, воспользовавшись поблажками администрации, бежали с острова Буру, убив при этом старшину Умара. Число жертв по делу преступника Япиккира Синаги... Все это, несомненно, заслуживает внимания. Пора бы написать *cover-story*[1] об Индонезии. А вообще мне сегодня приснился сон, будто я встал в семь часов утра, но на улице темно, как ночью. И вдруг стало совершенно светло и жарко, так что нечем было дышать. Что бы это значило?»

Его коллега, редактор рубрики религиозной жизни, ответил:

«Да-да, сейчас вообще творится какой-то кошмар. Мне пять месяцев не выдают удостоверение личности, хотя уплатил уже четыреста рупий. Это все из-за конкурсов красоты, после них все и пошло!»

«И еще вдобавок, — подхватила редакторша, присоединяясь к мрачным наблюдениям коллег, — ни у кого из детей Сукарно не сложилась семейная жизнь».

Четвертый — редактор, который писал о легкой музыке, — оторвался от мелодий «Кус Плус»[2]:

«Со времен Мальтуса люди со страхом смотрят в будущее. Между тем, если даже самую что ни на есть раскрасавицу рассмотреть в микроскоп, зрелище будет ужасное. А мы себе живем как ни в чем не бывало. Почему мы не тревожимся о сегодняшнем дне?»

Разговор закончился в шутливом тоне. Каждый, внеся свой вклад в утреннюю болтовню, вернулся к своим насущным заботам. Редактор-юрист вместе с редактором рубрики религиозной жизни отправились на Пасар-Сенэн[3] покупать обновку к лебарану. Когда они вернулись, первый из них, держа в руках три отреза ткани, подошел к столу редактора музыкальной рубрики.

«Глянь-ка, какой рисунок! — сказал он, показывая отрез на брюки. — Не чересчур официальный, но и не деревенский. Вполне прилично и в то же время современно. Полторы тысячи за метр. Последний кусок, вся партия поступит только в начале будущего года. На брюки хорошо, складка вечная. На пиджак тоже неплохо. Мне понравился рисунок. Да и материал, по-моему, внушает доверие. Как

---

[1] Центральная статья номера, которая иллюстрируется изображением на обложке журнала (*англ.*).

[2] «Кус Плус» — индонезийский вокально-инструментальный молодежный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 70-х гг.

[3] Пасар-Сенэн — торговый центр в Джакарте.

тебе кажется?» — Все это он высказывал так же напористо, как и свои щедрые соображения насчет *cover-story* об Индонезии.

Часы показывали уже два. Редактор рубрики религиозной жизни безмятежно развалился в кресле. Редакторша жевала булку и производила калькуляцию своих кухонных расходов. Музыковед вдруг стал читать опубликованный несколько недель тому назад материал своего собственного журнала об операции «Черный сентябрь» во время Мюнхенской олимпиады. А главный редактор, сочинявший статью о рисовой проблеме в стране, призадумался над возникшей у него идеей: «Не пора ли нанять кого-нибудь, чтобы за меня писали статьи?»

Все это не так давно происходило у меня на работе. Я вспомнил это, поскольку именно в тот момент почувствовал себя жалким пигмеем, размышляя над весьма банальным и довольно-таки нестоящим вопросом: как избавиться от тревоги. Мне было неловко, что я не участвую в дискуссии о мировых и общечеловеческих проблемах. (Когда начинаешь исследовать отдаленные причины и наиболее существенные факторы чего-либо, отдельный человек кажется совершенным ничтожеством. Из-за подобных мыслей у меня пропадало желание думать о женитьбе, а свидание с любимой девушкой теряло всякую прелесть. В этом есть и своя положительная сторона: мы немного отвлекаемся от личных забот.)

Именно в это состояние беззаботности я и попытался перенестись, открыв входную дверь и снова оказавшись на улице. Синта уже спала. Мне хотелось немного рассеяться, нырнув в глухие закоулки ночного города. Не позже чем через три дня я должен быть в Денпасаре, если вообще собираюсь попасть на похороны матушки.

Сев на бечака, я отправился к Нурме. Время, конечно, было позднее. Но что поделаешь. Может быть, это последний случай. Если события обернутся непредвиденным образом, я по крайней мере буду утешаться тем, что не упустил этого случая. И это облегчит бремя моих бесплодных сожалений.

Однако Нурмы я не застал. Ее подруги не знали, куда она подалась. Одна сказала, что Нурма не появлялась с восьми часов. Обычно она сидела рядом со своей приятельницей, торговавшей сигаретами. Я решил подождать и присел там же. Это ожидание тоже пришлось кстати. Оно позволяло мне окунуться в атмосферу, которая, должно

быть, скоро станет мне недоступна. Атмосфера интимности и свободы, которую не отравляла даже вонь от сточных канав и отбросов. Сюда я обыкновенно приносил с собой те вопросы, с которыми мне было не справиться одному. Я все погружал сюда, в эту темноту, и потом оно как-то само собой распределялось по местам. И сейчас я погрузил в темную глубь свою голову, отсыревшую от пива.

Музыкантов уже не было. Джогет прекратился. Торговцев сигаретами сморил сон. Только вдоль рельсов бродили, то и дело нагибаясь к земле, сборщики окурков со своими лампочками. Да еще постукивал в деревянную колотушку продавец бакми, точно расклевывал ночную тишину. И все же эта часть города не покорилась ночи. Она бодрствовала, как, впрочем, и другие районы Джакарты. Проходили, осматриваясь по сторонам, какие-то люди, будто чего-то искали. Кто-то сидел в кофейне, поглощая табачный дым.

Неподалеку стояло несколько женщин, все еще ожидавших запоздалых сюрпризов. Точно врытые в землю, в неуверенных позах, они были похожи на шаткие столбы, подпиравшие ночной небосвод. В свете крадущейся по небу луны они, должно быть, как и я, сражались с собственным сердцем.

— Привет! — неожиданно окликнули меня, когда я закуривал третью сигарету. Рядом со мной, прикрыв очками глаза и нахлобучив шляпу, стоял мой приятель из редакции. У него здесь тоже было постоянное прибежище, и его, видно, тоже что-то мучило. То, что я встретил его здесь, меня не удивляло. Странно только, что он пришел сюда без меня. Тем более после полуночи.

Глядя на меня, он радостно улыбался, точно вдруг обрел твердую опору в жизни.

— Я так и думал, что ты здесь! — объявил он, вынимая сигареты.

И стал рассказывать:

— Понимаешь, отстал от приятеля и вот теперь скитаюсь один, как Асрул Сани[1] в поисках бога. Знал бы я, что ты здесь... Давно сидишь? Мне сегодня не повезло. То есть мне целый день не везет. Нет, вот уже три дня.

Моему другу всегда было о чем рассказать. На этот раз он немедля принялся посвящать меня в свою внутреннюю жизнь.

---

[1] Асрул Сани (род. в 1926 г.) — индонезийский поэт, новеллист и драматург.

— Я не перестаю себя спрашивать, сколько это будет продолжаться, — сказал он, присаживаясь рядом со мной. — Знаешь, что я сегодня делал? Читал лекцию на темы морали перед аудиторией человек в триста. Что бы они сказали, если бы застали меня в этом месте? С моими лекциями я мог бы, если б захотеть, здорово подвинуться, мне это говорил один большой человек, профессор. Понимаешь, мне, конечно, нравится мое занятие, но мне и это дело тоже по душе. Я ни того, ни другого не хочу упустить. И вот приходится маскироваться... И все это, ей-богу, я делаю сознательно. Хотя все-таки верю, что когда-нибудь этому придет конец и что мне... Постой-ка, вот за ней-то я и гоняюсь!

Он вскочил с места и побежал на ту сторону улицы, где стояла женщина в батиковом кайне.

Тем самым я получил возможность спокойно докурить свою третью сигарету. Нурма и не думала появляться. Была уже глубокая ночь. На людях я чувствовал какую-то легкость и собственную незначительность. Но вдруг пробилось ощущение обыденной реальности. Испугавшись, что меня одолеет тоска, я заговорил с продавщицей сигарет. Однако она не была расположена к болтовне. Наоборот, посоветовала мне отправляться домой.

— Почему это?

— Не слышали, вчера здесь была драка? Солдаты сводили счеты. Певичку, ту, что здесь всегда выступает, пырнули штыком. Пятерых человек ранили. Одну знакомую Нурмы тоже пырнули. Наверное, поэтому Нурма и не пришла. Бандитское место, ом, одно слово. Смотрите остерегайтесь.

Выслушав этот рассказ, я сдрейфил и, следуя совету торговки, решил сматываться. Но чтобы моя паника не слишком бросалась в глаза, сделал еще несколько длинных затяжек, докуривая сигарету. Только сейчас я заметил, что многие из сидевших в кофейне смахивали на военных. С этими лучше не связываться. Я ретировался, хотя желание видеть Нурму меня не оставило.

Чтобы не очень себя насиловать, я попытался еще раз произвести разведку. Откуда-то ужасно разило гниющей нангкой. Кое-кто мрачно косился на меня. Видно, мной уже давно интересовались. Оценив ситуацию, я совсем струхнул. Но уходить несолоно хлебавши, не повидав Нурмы, не хотелось, и я продолжал свои поиски. Неожиданно оказалось, что она сидела неподалеку от того места,

где я курил, и болтала с каким-то типом в военной форме. Заметив меня, она без малейшей заминки поднялась. К счастью, субъект в форме не сделал никакого угрожающего движения в мою сторону, и мне не пришлось прикидываться, будто я с ней незнаком.

— Привет, ты откуда? — с улыбкой поздоровалась Нурма, как будто сейчас было семь часов вечера. Она протянула мне руку, которую я пожал, скрыв свою радость.

— Я тебя ищу!

— Пошли!

Она потащила меня к себе.

Full of Sin[1]. Такая надпись встретила нас в ее комнатушке. Этот лозунг Нурма начертила по подсказке одной своей подруги. В Нурмину комнату я входил, как в надежный бастион.

— Что так поздно заявился?

— Я уезжаю, Нурма.

— Куда?

— На Бали.

— Врешь!

— Правда.

— Да ну тебя!

— Правда!

Я полез в карман. Тут неожиданно обнаружилась новая неприятность: задний карман с правой стороны брюк оказался пустым. Там у меня было немного денег, телеграмма, разные чеки.

— Что такое? — спросила Нурма.

Меня прошиб пот. Не иначе как деньги и все прочее осталось у торговки сигаретами. Содержимое левого кармана, к счастью, было в сохранности. В этом кармане я держал крупную сумму денег и ценные документы.

— Ты не зевай, сейчас много всяких ловкачей развелось, — заметила Нурма.

Чтобы не портить нам обоим настроение, я изобразил преувеличенную радость по поводу того, что самое ценное не пропало.

— Я собираюсь на родину, Нурма!

— Когда?

— Завтра вечером, самолетом.

Нурма задумалась. А может быть, слушала радио: какая-то частная радиостанция передавала малайские песни.

---

[1] Погрязшие во грехе (*англ.*).

— Я тебя искал чуть ли не два часа!

Женщина вдруг посмотрела на меня. У нее были покатые плечи и тонкий прямой нос.

— Давай поженимся.

Я улыбнулся тому, как это было сказано.

— Давай!

— Сними дом по контракту.

— Где?

— В Танджунг-Приоке[1] есть дешевые. И здесь тоже.

— Да я же завтра уезжаю.

— Сначала дом сними.

— А ты будешь мне верна?

— А что мне делать? Мы ведь как цветы. Сегодня нами восхищаются, а завтра выбросят.

— О, да ты никак о своем будущем печешься?

— Ну а как же!

— Чего же тебе хочется?

— А чего еще может хотеться? Снова выйти замуж и постараться народить детей.

Мы поцеловались. Потом все пошло как обычно.

Потом мы отдыхали. Но не так, как обычно. Я чувствовал себя как перед настоящей разлукой. Хотя и пообещал, что вернусь назад и женюсь на ней. Я рассказал ей, что у меня есть приемная дочь. И что я питаю отвращение ко всякой ответственности. Она слушала все это с понимающим видом и не укоряла меня за эгоизм. От этого я почувствовал себя на вершине счастья. Меня охватила такая радость, будто я отыскал у старьевщика прекрасные туфли, дешевые и как раз по ноге. Я подошел к стене и написал на ней карандашом для бровей свой балийский адрес.

— Если у тебя что-то случится, напиши мне. И если нужны будут деньги, не стесняйся, сообщи, — сказал я.

Она пригляделась к надписи и прочла ее вслух; я убедился, что она грамотная.

— Но завтра ты уезжай в Богор. Ты сейчас больна. Полечись. Когда я вернусь и ты выздоровеешь, мы будем жить вместе. Поняла?

Она не спорила. Женщины восхитительны, когда они вот так полны готовности идти нам навстречу. Я помог ей застегнуть ее красный лифчик и подтянул молнию. Отер ей лицо своим платком. Поцеловал ее в правый глаз. Прижался губами к ее губам. Она молчала. Проводила

[1] Танджунг-Приок — район джакартского порта.

меня к стоянке бечаков. Я дал ей две тысячи рупий.

— Добавь, — сказала она.

У меня были деньги. Но я не дал.

Ночной ветер бился мне в грудь, едва прикрытую рубашкой и влажную от пота. Я ощущал физическую бодрость, хотя на сердце все еще скребли кошки. Погладив Нурму по голове, уселся в коляску и поехал. У меня было предчувствие, что наша следующая встреча произойдет очень нескоро. Вдруг я ощутил в себе силы примириться с ответственностью, неволей и повседневным житейским хламом: быть может, сейчас это самое лучшее. Раз уж сознаешь себя ничтожеством, почему бы и не сделаться таковым? Кто знает, не такие ли граждане сейчас нужны Индонезии. Кстати, для этого тоже требуется доблесть.

Я расстался с Нурмой, рисуя в воображении, как я, запечатлев в памяти все пережитое, буду рассказывать о нем своим друзьям.

Остановившись у рекламного щита кинотеатра, я помочился. Вдруг откуда-то опять вынырнул мой приятель.

— Я тебя ищу! — крикнул он так же радостно, как и при первом своем появлении.

— Я думал, ты уже дома, — удивленно отозвался я.

Он подхватил меня под руку.

— Как я могу идти домой с такими ароматами, — сказал он, встряхиваясь и распространяя вокруг себя запах духов. — Что, если нам покофейничать где-нибудь здесь до утра? А потом пойдем к тебе, и я там смою с себя всю эту скверну. И ты должен засвидетельствовать перед моей женой, что...

Я был не против. Мне вспомнились его недавние слова в редакции: «Сейчас вообще творится какой-то кошмар».

Он усадил меня на скамейку рядом с маленькой кофейной палаткой, которая мне показалась грязной. Но он так упивался этой обстановкой, что скоро и я тоже освоился. Судя по серьезному выражению его лица, он намеревался заговорить о чем-то важном. Слушать таких, как он, никогда не надоедает. Кроме того, что он говорил интересно, слушателей всегда подкупала легкая насмешка над самим собой, сквозившая в его рассказах. Собеседник, задавленный жизнью, находил в них для себя некоторое утешение.

Я слушал его, подперев руками заметно отяжелевшую голову. Он снова принялся расписывать свои страхи. Что случится, если его поклонники, окружившие его ореолом праведника, узнают, каков он на самом деле?

— А может ли быть так, что им уже и сейчас все известно? Может, они просто прикидываются, что ничего не знают, лишь бы не нарушать равновесия. А может быть, им не останется ничего другого, как закрыть на это глаза?

— Ага.

— Да ведь если это так, значит, я для них просто заводной клоун. Нет, ты только представь себе: триста человек, пришедших ко мне на лекцию, знают, кто я такой, но не подают вида, потому что им и дальше хочется меня слушать. Они знают, что я не знаю, что они все знают, — да ведь это же для них бесплатное развлечение, какого ни за какие деньги не купишь!

Мы оба захохотали.

— Нет, серьезно! Это же трагедия, трагедия каждого индонезийца. Я уверен, что каждый из нас — ты, например, — в своих делах такой же актер, как и я. А в других ситуациях — наша очередь быть зрителем на бесплатном спектакле. Так или нет? Впрочем, это лишь мое предположение. Нам иногда кажется, что кругом сплошные мудрецы, а на самом деле мы сидим в хлеву, в обществе буйволов. Разве не так? Если все поголовно лгут самим себе и окружающим, то, значит, мы все одинаковы. В конце концов, если разобраться, кто все эти наши кумиры и гении, то окажется, что они не выше нас с тобой. В тех сферах, где они не компетентны, они самые обыкновенные люди. И значит, мы напрасно тратим свое время на восхищение, страх, почитание и тому подобные чувства по отношению ко всему, в чем мы слабо разбираемся. Мы слишком часто недооцениваем себя. А ведь мы несведущи в политике, в торговом балансе, в спорте и прочая и прочая только потому, что не желаем в это вникать. На самом деле не существует ничего непосильного. Надо только захотеть. А мы не хотим. Не желаем. Вот ты, старый холостяк, почему не женишься — не можешь или не хочешь? Если бы ты, допустим, захотел жениться — ну, скажем, чтобы не отставать от других, — тебе бы ничего не стоило в любую минуту найти ту, что не прочь за тебя выйти. А ты и пальцем не пошевелишь, потому что нет у тебя желания. Вот то-то и оно!

Я кивнул.

— Вот какие дела. Мы выбрали себе занятие и стали идиотами. Когда я нездоров или когда засыпаю, меня всегда терзает одна и та же мысль: скоро ли все это кончится?

Он отхлебнул кофе. Зажег сигарету и погрузился в глубокие раздумья. Я ждал продолжения его речи, но напрасно.

На улице произошел небольшой переполох. Какого-то бечака, до отказа нагруженного овощами, стукнул грузовик. Вокруг столпился народ. Рынок просыпался, готовясь к утренней сутолоке. Часы во дворе нового торгового центра Сенэн показывали половину четвертого. В воздухе повеяло сыростью.

Мой друг уснул, сидя на скамье, прежде чем я успел спросить, нельзя ли у него занять денег для поездки на Бали. Лицо его совсем помрачнело, точно под натиском переполнявших его бесчисленных вопросов. Я ощутил некоторую гордость оттого, что так долго выдерживал характер, не распространяясь о своих личных делах. Я ушел, а он остался наедине со своими терзаниями.

Вот и дом.

Кажется, Синта всхлипнула, когда я заглянул к ней. Она еще крепко спала. А может, и притворялась. О господи, как много значит в моей жизни постель. Она обняла меня и погрузила в свои недра. Жизнь точно остановилась.

IV

Мне снилась матушка. В который раз этот сон. Я старался отбросить его, потому что теперь матушка уже умерла. Но он продолжался против моей воли. К счастью, я быстро очнулся. Увидел, что ночь еще не кончилась. Я вглядывался во мглу через окно, томясь смутной тревогой. Часы показывали три. Все кругом равнодушно глядело на меня.

У входной двери я обнаружил своего друга. Он не сумел ее открыть и сейчас сидел, откинувшись назад и сладко похрапывая. Развеселившись, я повел его в дом. Как ни странно, сон слетел с него, как только он меня увидел. Он посвятил меня в свои запутанные семейные дела и потребовал совета.

— Придумай что-нибудь, — серьезно сказал он. — Я ожидаю рождения первенца. Боюсь, не было бы каких-нибудь отклонений. Ты понимаешь, о чем я? Это может черт те чем кончиться. Я-то в конце концов переживу. Но мое семейство?

Я выдавил из себя какую-то банальность, зная его

привычку задавать вопросы лишь ради того, чтобы высказаться самому.

— «Жизнь — только отсрочка поражения, мы все дальше от любви школьных лет...» — продекламировал он из Хайрила Анвара[1].

Я предложил ему прогуляться. Он обрадовался и подал идею нанять бечака на всю ночь.

Мы погрузились на бечака. Куда ехать, еще не знали. Тем временем мой приятель не прекращал своих рассуждений о смысле жизни. Вдруг ни с того ни с сего стало моросить. Заблестел асфальт. Мы сделали остановку, чтобы укрыться под навесом магазина. Дождь усилился, потом хлынул как из ведра. Противно, когда утро начинается с такой неприятности. На фоне этой водяной стены собственные горести выступали еще яснее.

Неприязнь к дождю появилась у меня двадцать лет назад. Это было время ожидания. Столь же неопределенного, как и сейчас. Я ждал момента, когда мне представится возможность действовать, не считаясь с мнением других. Мне хотелось показать всем, что я способен по-новому решить те проблемы, над которыми бились окружающие.

Мне казалось, что судьба всего мира в моих руках и он взирает на меня с надеждой. По-моему, в таком возрасте это свойственно каждому. Мне хотелось заявить всем, что обветшалые символы общественных связей стали тяжким бременем для каждой семьи, но никто всерьез не задается целью заменить их чем-нибудь другим. Ибо никто не желает терпеть урон или страдать из-за собственного героизма. Покорность судьбе, по которой, как по наклонной плоскости, люди скатывались к бедствиям и нищете, вызывала у меня протест. Я поклялся самому себе сделать что-нибудь. Но когда мне наконец представился для этого случай, я обнаружил, что я сам сильно изменился. Прежние мои мысли казались мне несерьезными. И я счел, что не будет ничего предосудительного, если моя жизнь просто пойдет по руслу, проложенному другими. Я покорился, как все, и стал исподволь готовиться к тому, чтобы передать свою покорность кому-то в наследство. Меня тоже одолели своекорыстие и зависть. Потом жизнь точно повисла, уцепившись за добрую волю окружающих.

---

[1] Хайрил Анвар (1922—1949) — знаменитый индонезийский поэт. *Цитата дана в переводе М. Болдыревой.*

Теперь всякий раз занавес дождя заставлял меня вновь переживать свою досаду и свое поражение. В душе меня сжигал стыд. И прочие чувства, в том числе ощущение заброшенности. Это было очень болезненно. Если бы не дождь, я бы и не вспомнил о своих прошлых огорчениях. Хорошо, когда можно о них позабыть. К сожалению, совсем они не забываются. Как польет с неба, так и вспомнишь.

Мой приятель предложил побегать под дождем.

— В детстве мы ведь любили дождь. Может, и сейчас это будет неплохо?

После долгих его настояний я согласился. Мы выскочили из-под навеса.

Некоторое время мы бесцельно брели, купаясь в струях ливня. Он мгновенно промочил нас насквозь. Канавы, забитые мусором из-за долгой засухи, переполнились водой. Пройдя несколько сот метров, мы попали на место, где вода стояла по щиколотку. Мимо проносились машины, непременные спутники утра. Некоторые застревали, и тогда их принимались толкать совершенно голые ребятишки.

— Это исторический момент, — сказал мой друг. — Стоит захотеть, и мы в любую минуту снова станем детьми. Давай поможем толкать!

Он бросился в ребячью гущу. Я махнул за ним. Мы толкали небольшой автобус. Почувствовав себя детьми, откинув прочь свои думы, мы вместе со всеми орали, ругались и давали советы. Этот автобус давно пора было сослать в провинцию. Для Джакарты он не годился. Вернуть к жизни заглохший мотор мы не смогли. Более того, когда одно колесо попало в канаву, сломалась ось. Злосчастную машину пришлось бросить, так как это была уже не детская работа.

— Спасибо, ребята! — сказал водитель другой застрявшей машины, когда мы устремились к ней. Это была легковая. При первом же толчке она взвыла и сорвалась с места. Забрызганные мальчишки ругались. Один схватил камень и пустил его вслед машине.

Когда мы вытолкнули четвертый автомобиль, водитель сунул нам сотню рупий. Мы опешили от неожиданности и не нашлись что сказать. Тогда водитель машины — он же, наверное, и ее владелец — вытащил еще двадцать пять. Вручив нам эту добавку, он быстро укатил. Мы задумались, что делать с деньгами. Я тотчас предложил пожертвовать

их мальчишкам, которые взирали на нас как на предводителей своей *gang*[1]. У моего друга было другое предложение. Он потащил меня к навесу магазина. Там стояли продавцы скотенга и вареных бататов.

— Это исторический момент. Надо испытать наслаждение честным заработком, — сказал он с серьезным видом.

Мы пили скотенг и жевали ломтики бататов. Мой приятель предложил раздеться.

— Это исторический момент, — повторил он. — Мы учимся вкушать радости жизни, согласно установившимся нормам.

Поскольку дождь усиливался и обстановка располагала к раскованности, мы сняли одежду и стали выжимать ее. Остались в трусах.

— Скидывай все. Чего тут стесняться. Верно, друг? — спросил мой приятель у лоточника.

— От мокрой одежды живот может заболеть, — резонно ответил тот.

Мы разделись донага. Выжали трусы. После этого мы, похоже, слились с тротуарной жизнью. Обычная стеснительность вдруг куда-то исчезла. Продолжая с аппетитом поглощать ломтики бататов и жгучий скотенг, я заметил, что в шуме ливня уже не было прежней издевки. Он падал с неба, выполняя, как исправный чиновник, лишь то, что ему положено, и не собирался меня дразнить.

Солнце с трудом взбиралось на небо. Оно болталось неясным пятном под пологом слабеющего дождя. От него исходил оранжевый свет. Картина уличной суеты на фоне зданий была зыбкой, как на импрессионистском полотне. Я ахнул, увидав себя на периферии этой картины все еще в голом виде.

Должно быть, пока я забылся, мою одежду увели местные нищие. Как допотопное чудище, забредшее в город, я присел, хоронясь за каменными оградами. Никто меня не замечал. Но я, спасаясь от самого себя, бросился домой. Все шло отлично. Однако на мосту я поскользнулся и свалился в воду. Как ни странно, тут же оказался и мой приятель.

— Знаешь ли ты, что в конце концов все имеет свой конец? — спросил он без всякого предисловия. Он указал на набережную. Там, глядя на нас, стояла толпа.

В ней были его и мои домочадцы. В том числе его жена

---

[1] Шайки (*англ.*).

и моя дочь Синта. Была даже моя подруга Роза. Как это они сумели собраться вместе?

Я впал в полное уныние. К счастью, тут же я понял, что все это был только сон. Вздор. Шутка. Игра утомленной психики. Занятно.

V

Я проснулся поздно. Синта меня ждала. Она уже готовилась идти на вокзал. Сваренный ею для меня кофе уже остыл. В некотором смущении я отпил пару глотков, обдумывая дальнейшие действия. Время, отведенное на блаженную нерешительность, уже истекло. Теперь каждый поступок должен был обрести определенный смысл.

Я посмотрел на Синту, которая сидела, ожидая, пока я позавтракаю. На ней был строгий костюмчик и выходные туфельки. Этот ее наряд и поза ожидания как бы отнимали у меня право распоряжаться сегодняшним днем. Я ошибся в самом начале. И теперь не знал, как отступить. Собственно, надо было просто объяснить Синте, что произошло на самом деле, и попросить прощения за обман. Но в то утро во мне взыграла какая-то необъяснимая дурь. Я решил продлить свое бесправие до вечера. В девять-десять часов я еще попадаю на самолет в Денпасар — если вообще окончательно решусь на это путешествие. Мне хотелось еще немного побыть во взвешенном состоянии, невзирая на то что придется слегка подурачить Синту.

Чтобы собраться и выйти из дома, мне потребовалось всего полчаса. Я выбросил все мысли из головы. Взяв Синту за руку, направился к вокзалу Гамбир. Синта, к счастью, в это утро помалкивала. Она шла рядом словно воды в рот набрав. Может быть, у нее и были какие-то подозрения, но я это игнорировал. Все потом уляжется само собой. Это было единственное, на что я мог рассчитывать.

Похоже, что ночью обошлось без дождя.

Мы благополучно добрались до вокзала. К счастью, поезд «Бима» опаздывал из-за ремонта какого-то моста на Центральной Яве. Таким образом, нам оставался час. Целый час. За это время многое можно сделать. Выкурить пачку сигарет. Встретиться с девушкой. Выдумать что-нибудь несуразное. Содеять что-нибудь героическое. Постоять столбом. Что-нибудь выяснить, совершить преступление, глупость, примириться с судьбой и так далее.

Я решил с головой погрузиться в свои переживания. Для этого было самое время. Когда мы вечером вернемся домой, мне не останется ничего иного, как сыграть свою долгожданную роль: показать, на что я способен.

А сейчас можно пока расслабиться. Я бросился в волны горестных чувств. Я был затерян среди тысяч людей, занятых своими собственными делами. Рядом с металлом поездов мое тело ровно ничего не значило. По части достопамятных дел я не мог тягаться ни с Али Садикином[1], ни с Мисимой. Тут я взглянул на Синту. Она внимательно следила за маневрами поездов. Чувствует ли она, что я вожу ее за нос? В то время как я знал, что ждать ей, собственно, нечего, она сосредоточилась на ожидании. Забавная ситуация.

Вокзал, являвший собой зрелище вечной сутолоки, полнился громкими возгласами, частенько заставлявшими меня вздрагивать. Многие, видимо, тоже пришли встречать поезд. Быть может, кое-кто из этих людей имел дело с тем же, что и мы: с чьей-то смертью. Не считая этого события, у них все прекрасно шло заведенным порядком. До чего же мы все ничтожны поодиночке. Когда-нибудь тот факт, что отдельный человек сам по себе ничего не значит, станет очевиден для каждого. Человеку нужны покорные жертвы, а если их нет, то это засчитывается в минус.

Синта сказала, что хочет пройтись. Я не стал ее сопровождать, зная, что она прекрасно обойдется без меня. Кроме того, ей, видно, что-то приспичило. Я никогда не преувеличивал угрожавших ей опасностей. Например, не боялся того, как бы ее не похитили. Ребенка, который ведет себя как взрослый, защищает уже сама манера себя держать. Но когда она пробралась в самую толпу, как будто желая в ней затеряться, я все-таки последовал за ней.

Она шла вдоль перрона. Сначала остановилась у киоска и посмотрела книжки. Синта вообще любила читать, ибо это было ее единственное развлечение. Я увидел, что она взяла себе что-то для чтения. Расплатилась. Это был журнал «Фемина». Журнал для замужних женщин. Нет, какой-то другой. «Интисари».

С журналом в руке она подошла к одной из скамей. На скамье расположилось семейство, которому, должно быть,

---

[1] Али Садикин — мэр Джакарты, прославившийся своей энергичной деятельностью в период с середины 60-х до середины 70-х гг.

предстояло большое путешествие. При них было шесть чемоданов, несколько узлов и корзин. А детей десятеро. Судя по отсутствию няни, супружеская пара пустилась в отчаянную авантюру. Одно чадо пребывало у материнской груди, второго младенца, который еще только начинал ходить, отец семейства держал на руках. Старший ребенок был приблизительно ровесник Синты. Поначалу дети не позволяли себе ничего лишнего. Но это длилось недолго — им стало невмоготу выламываться. Натура взяла свое. Они стали шуметь, искать себе развлечений и ссориться. Оба родителя одергивали детей, но безуспешно, ибо, как видно, не внушали своим отпрыскам особого пиетета. В конце концов они решили вытащить свои съестные припасы. Скамья преобразилась в накрытый для трапезы стол.

Синту вытеснили со скамьи, но она не отошла от нее. Она наблюдала, с каким воодушевлением пировало шумное семейство. Среди всей немыслимой суеты примечательно было спокойствие обоих супругов. Они ничуть не стеснялись окружающих. Даже наоборот, проделывали все необходимые действия со счастливым выражением лица. Может быть, это и привлекло внимание Синты. И конечно же, она с горечью осознала, что ей самой никогда не доведется узнать таких радостных минут. Она стояла с журналом в руке и глядела на эту сцену, точно нищий на витрину гастронома. Бедняга.

Один мальчуган, должно быть самый озорной, незаметно кинул в Синту куриной костью. Когда Синта с вопросительным видом обернулась к нему, двое ребят скорчили ей рожи. Синта не стала отвечать тем же. Она отошла подальше, но наблюдение свое не прекратила. Мальчишка осмелел. Он встал и кинул другую кость. Не попал. Синта ушла. Мальчишка побежал за ней. Он подобрал брошенную кость и стал искать Синту. Легко обнаружив ее поблизости, снова прицелился. Синта отвернулась. Открыла журнал и стала читать. Мальчишка продолжал размахивать своей костью как полоумный. Наверняка дома ему не уделяли внимания.

На вокзал со свистом прибыл поезд. Люди, ожидавшие его, вскочили со своих мест, подхватывая чемоданы. Малолетний задира в общей суете притих. Сунув кость себе в рот, он задумчиво глазел на пассажиров. Синта покосилась на него из-за журнала. Мне стало смешно, я вынул сигареты. Внезапно Синта обернулась ко мне. У нее было недовольное лицо. Но, завидев меня, она улыбнулась. Мальчишка вспомнил, что он собирался делать. Снова замахнулся

костью. Но тут заметил меня и оробел. Спрятал кость и помчался на воссоединение со своей семьей, которая уже приступила к прохладительным напиткам.

Синта помахала мне журналом. Это оказался детский журнал «Мой дружок». Я подошел к ней.

— Ты видел? — спросила она.

— Да.

— Вот озорник. А ест как поросенок!

Я обернулся. Мальчуган все еще не угомонился и строил рожи. Меня это слегка раздосадовало. Но вдруг его отец принял меры. Он схватил мальчишку за ухо. Это следовало сделать раньше. Мальчишка отбивался. Он стал колотить своего папашу и орать что-то непонятное. Ему, видно, давно хотелось покричать и подраться с отцом. Я тотчас увел Синту подальше. Еще и потому, что лицо мужчины показалось мне знакомым. Похоже, это был кто-то из моих сверстников, возможно соученик по старшим классам. Боясь увязнуть в разговоре, я ушел подальше, чтобы он меня не увидел.

Появился и наш задержавшийся поезд «Биру Малам».

Встречающие, встав со скамей, устремили взоры на двери вагонов. Я стоял далеко от поезда, держа Синту за руку. Но при этом все-таки заставлял себя всматриваться в каждого выходящего пассажира. Я полностью вошел в образ. Представил себе, как будто и вправду кого-то встречаю. В дверях вагона возникла Роза. Как обычно бледная, но прекрасная. Она помахала мне и улыбнулась. Потом черты лица ее дрогнули, расплылись, и оно превратилось в лицо полицейского, который выходил последним. Спектакль кончился. Встречавшие нашли своих. Некоторым, впрочем, как и нам, пришлось уйти несолоно хлебавши. Толпа двинулась к выходу с чемоданами в руках.

Я внимательно смотрел на Синту. Она углубилась в свой журнал. Но ее мысли, без сомнения, были заняты мной. Как будто она понимала, что мы никого не встречали, а просто-напросто убивали время. Она ничего не спросила. Это тоже была ее привычка: не задавать вопросов, если и так все ясно. Тут что-то было не так. Я снова подвел ее к скамье. Уничтожая пятую за утро сигарету, я прислушивался к себе самому. Но ничего особенного не учуял. Почему-то у меня горел затылок. Немного знобило. Не забыть бы съесть пару таблеток бодрекса, а то лихорадка завтра обеспечена. Я вспомнил про Нурму. С беспокойством подумал, не подцепил ли от нее кое-что.

Синта все читала. Мне стало досадно. Я ожидал, что она расхнычется. Мне хотелось, чтобы она была обыкновенной маленькой девочкой и вела себя по-детски. Право, лучше бы уж она была непослушной, как тот мальчишка с куриной костью.

— Не смей притворяться, что читаешь! — вдруг гаркнул я.

Синта, точно застигнутая на месте преступления, положила журнал. Тут только я заметил, что из него выглядывал другой. Я потянул его к себе. Сначала Синта не хотела отдавать, но потом, видя мою настойчивость, перестала сопротивляться. Это был старый номер журнала, запрещенного за публикацию порнографических картинок. Я был неприятно поражен.

— Так вот чем ты увлекаешься!

Синта молчала.

— Тебе рано читать такие вещи! — сердито сказал я. — Ты слышишь?

Синта кивнула.

Я полистал журнал. Наряду с заполнившими его страницы фотографиями там был и рассказ моего приятеля. Назывался он «Нюн». Приятель уже на раз рассказывал мне эту историю. О своей интрижке с одной проституткой.

— Ты это читаешь? — спросил я Синту, указывая на рассказ.

Не глядя на меня, Синта удрученно кивнула. Мне стало неловко.

— В рассказах не всегда пишут то, что бывает на самом деле. Рассказ — это вымысел. Он не обязательно взят из жизни самого автора, — разъяснил я, возвращая ей журнал. Синта отдала мне его обратно.

— Я для тебя купила.

Инцидент был исчерпан. Но это оказалось еще не все. Синта сунула руку в карман. Затем вытащила несколько бумажек и мелкие деньги.

— Вот это твое, папа. Я вчера подобрала на полу, когда ты уходил ночью.

Это была та самая пропажа, в которой я грешным делом обвинял торговку сигаретами. Я взял бумаги и деньги с трепетом, так как среди бумаг была и вчерашняя телеграмма. Видно, вчера я был совершенно пьян.

— Ты прочла?

Синта кивнула. Тут все стало ясно. Я почувствовал себя обманутым. Тупо глядел на телеграмму, лежавшую

на ладони. Мне представилось мертвое тело, лежащее там, далеко. Тело отца тогда. И тело матушки теперь. И мое собственное — когда-нибудь в будущем.

— Значит, бабушка заболела, па? — спросила Синта.

Я кивнул. Она больше не спрашивала. А мне так хотелось, чтобы она спросила, почему я соврал. Или почему я лгу самому себе. Кстати, ко лжи я стал прибегать довольно часто. Иногда мне удавалось так обманывать самого себя, что я и сам пугался.

Я взял руку Синты и приложил к своему затылку. Она встрепенулась:

— Ты заболел, па?

— Да!

— Пойдем домой, па!

Я кивнул. Синта вдруг вновь обрела материнский облик. Она тихонько взяла меня за руку и вывела из здания вокзала. Оказалось, что уже полдень. Таким образом, мы прекрасно убили время. Этот факт, наверное, был наиболее достойным упоминания.

Трясясь в хеличаке, который вез нас домой, я еще раз развернул телеграмму, навзирая на неприятные чувства, которые она вызывала. Мы прочитали телеграмму вдвоем:

МАТУШКА ТЯЖЕЛО БОЛЬНА ВЫЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО ТЧК

Синта положила голову мне на плечо. Она крепилась, чтобы не заплакать.

VI

Остаток дня можно было потратить на визит к врачу. Я наказал Синте не уходить из дома. Скорее всего, после врача я пойду в редакцию и останусь там работать допоздна. В любом случае — даже если матушка просто тяжело заболела — ехать на Бали надо непременно. В ближайшие два-три дня я, даст бог, осилю двухнедельную работу. Двух недель или около того, пожалуй, хватит для улаживания всех семейных дел, если, конечно, вообще придется ими заниматься.

Синта не задавала лишних вопросов. В серьезных случаях она всегда вела себя как послушная девочка. Это мне очень помогло. Я сразу понял, что мне действительно предстоит нечто серьезное. Душа моя точно сорвалась с привязи и повлекла меня в нужную сторону. Прежде всего надо было провериться у врача.

Около двух часов дня я стоял перед домом, где практиковал доктор Го, переименовавший себя в Гунавана[1]. Он всегда принимал днем. В тот день собралось много пациентов, так что мне пришлось коротать время со стариком Максом, сторожившим припаркованные машины. Он меня забыл, но сделал вид, что помнит. Мы поздоровались за руку. За минувшие полгода старик сильно сдал. Он утопал в мешковатых зеленых штанах; еще на нем была форменная куртка и плетеная шляпа из пандануса.

— Здравствуйте, — сказал он. — Доктор уже здесь.

Я не слишком побаловал его беседой. Не так, как раньше, когда мы только познакомились. По существу, он ничем не отличался от других стариков, считая себя весьма умудренным жизнью и гордясь своей службой в разных местах во время оно. Но то, что он продолжал работать, хотя по дряхлости своей еле держался на ногах, вызывало у меня уважение. Поэтому, когда он спросил меня, не соглашусь ли я финансировать починку его штанов, я выложил пятьдесят рупий. Он взял их, не выразив на лице особенной радости. Я знаю людей этого типа. Он бы ни за что не стал просить, если бы не крайняя нужда в деньгах.

Доктор Гунаван в отличие от Макса меня не забыл.

— *Hallo, friend*, — с улыбкой поздоровался он. — *How are you*?[2]

Я пожаловался на стесненное дыхание и жар в затылке. Он осмотрел меня.

— То, что было раньше, не повторялось? — спросил он, пальпируя мне живот.

— Нет, доктор.

Мелькнула мысль о Нурме. Она, вероятно, поехала к себе в Богор и купила дочке туфли с бубенчиками.

— А ну, повернитесь, я вам сделаю укол. Обычно у других очень долго не проходит. И будьте осторожнее, лечение сейчас дорогое.

Он сделал мне укол в правую ягодицу.

— Если будет еще жар, приходите в понедельник. Если пройдет, то не надо.

Я оделся и пошел за ним к столу. Выписывая рецепт, он завел со мной отвлеченный разговор.

---

[1] Го — китайское родовое имя, Гунаван — индонезийское. Подобная перемена имени в наши дни распространена среди китайцев, проживающих в Индонезии.

[2] Здорово, приятель. Как дела? (*англ.*)

— Вы ведь журналист?

Я замялся, но тут же ответил:

— Да.

— А что вы запнулись? Вы ведь правда журналист?

— Да, журналист.

Он поглядел на меня твердым и умным взглядом. Мне стало не по себе. Между тем жар стал, кажется, спадать — может быть, просто от одного присутствия врача.

— Я вот интересуюсь одним делом. Что сейчас происходит у этих? — (Он назвал у кого.) — А? В чем тут смысл? Сейчас ведь идет реорганизация? Чем все кончилось?

Я не ответил. Я толком не знал, в чем там было дело, а кроме того, ему явно хотелось поговорить самому. Он улыбнулся.

— Честно-то говоря, где же доказательства? И вообще — многое делают не подумавши. Отчего же так происходит? Все времени не хватает, мало времени, чтобы все как следует обмозговать. А то, может, ума не хватает. Вот сейчас около «Висма Нусантара»[1] — не подумали, куда ставить машины. Верно ведь? А вы как думаете?

Впрочем, мое мнение его не очень интересовало. Чувствуя, что он жаждет подтверждения своей правоты, я глядел на него без всякого выражения.

— Это же факт! — сказал он, глядя, как я забился в кресло. — Вы, журналисты, должны давать реальную оценку. А знаете, что в ваших писаниях самый большой нонсенс?

Он замолчал, дописывая рецепт. Я напряженно соображал, какой ответ ему должен понравиться. Уж верно, когда он не был занят своими уколами, его мысли занимало что-то необычайное. Судя по его тону, ответ ожидался нетривиальный. По крайней мере не первый пришедший на ум. Я тужился изо всех сил, но, к стыду своему, не мог ничего изобрести, чтобы ему угодить. Доктор рассмеялся. Я почувствовал себя дураком. Это чувство было у меня обычной реакцией на врача, так как мне всегда виднелись за его спиной призраки лабораторий, трупов и болезней, среди которых он усердно подвизался несколько лет, прежде чем получил разрешение на собственную практику.

— Что же именно, доктор? — сдался я.

— Я вам вот что скажу: при подаче материала должны

---

[1] «Висма Нусантара» — увеселительное заведение в центре Джакарты.

соблюдаться определенные правила. Верно ведь? Хотите — дайте простор для толкования, хотите — сохраняйте объективность, лишь бы заранее все было точно взвешено. А то я часто замечал, что сама по себе проблема незначительна, а в вашем освещении она вырастает до небес. И наоборот бывает. Что, не так?

В этом, очевидно, и заключался его потрясающий сюрприз.

Распрощавшись с доктором Гунаваном, я пошел с рецептом в аптеку. К великому моему огорчению, он прописал мне не капсулы, а таблетки. Хотя они были трех разных сортов, все вместе стоило менее пятисот рупий. Обычно он прописывал минимум тысячи на две. Из этого следовало, что болезнь моя несерьезна, но я так привык к капсулам с антибиотиками, что на таблетки глядел с пренебрежением. Глотая их, я даже подумал, не ошибся ли доктор Гунаван в диагнозе. Если он и исправит свою ошибку в понедельник, мой план поездки на Бали все равно может провалиться. Я жалел, что не выдал свое недомогание за рецидив болезни, подхваченной некогда от Нурмы. Тогда он дал бы мне капсулы.

На работе меня приветствовал старичок привратник. Он сразу увидел, что со мной что-то неладно.

— Заболели, пак? — спросил он, пожимая мне руку.

— Заболел.

— Вас тут ждут.

Я спросил кто.

— Посетители.

— Посетители?

— Да. Третий раз пришли. Никак вас не застанут. Они сейчас сидят наверху. Я им сказал, что не знаю, когда вы будете.

Я застыл на месте.

— Кто бы это мог быть?

— Говорят, с Бали.

— С Бали? А кто?

— Я не знаю. Важное, сказали, дело.

— Важное дело?

— Да.

— Сколько их?

— Двое. Мужчина и женщина.

— Молодые, старые?

— Скорее молодые. Не старые...

— Чего им надо?

— Не знаю я, пак. Больше ничего не сказали.

Я ломал голову, кто бы это мог быть. Может, старые друзья из Сингараджи[1]. Может, знакомые из Денпасара. Или родичи из Табанана. Ясно лишь одно: пришли двое с важным разговором или известием. Я не пошел на второй этаж. Спросил в приемной, кто меня ждет. Тарно, который принимал посетителей, не сказал ничего определенного. Я задумался, стоит ли встречаться с этими людьми. В такой момент, как сейчас, следовало бы избегать лишних нагрузок.

— Но ты ведь не сказал им, что я приду? — спросил я у Тарно.

— Я вообще сказал, что вы часто бываете поздно вечером. Уговаривал их не ждать, а они ни в какую.

— Чего им надо?

— Говорят, какие-то семейные дела. Но я точно не знаю!

Я отхлебнул чаю. Уж очень это рискованно — встречаться с ними по семейным делам. Даже если эти люди пришли с хорошими новостями, ситуацию это не изменит. Мне необходимо время для работы. Стоя на лестнице, я думал, как поступить. Наконец решил, что не пойду к ним. Велел Тарно сказать, что я звонил и сообщил, что меня сегодня не будет.

— А если они спросят домашний адрес? — спросил Тарно.

— Скажи, что не знаешь, и все. Если что-то важное, пусть оставят мне записку. Я вечером приду сюда работать. Сделай так, чтобы они сегодня больше не появились. Ясно?

Тарно изучил меня хорошо и поэтому не приставал с вопросами. Удивлялся только старик привратник. Он служил здесь недавно и еще не знал всех моих вывихов.

— Не говори шефу, что я заходил. Передай Зену — я посплю у него дома, но только смотри, чтобы никто не слышал, — сказал я старику.

Затем, сев в подвернувшееся у входа маршрутное такси, я дал тягу. Направился к своему приятелю Зену. Был уже четвертый час. Палило нещадно. Затылок у меня горел. Посетители. С ними та же докука, что и с письмами. Вот уже несколько лет я живу в Джакарте и всегда стараюсь улизнуть от гостей и посетителей — и род-

[1] Сингараджа — город на Бали.

ных, и прежних знакомых. При них лицо мне будто заливает жгучим потом, который я никак не могу стереть. Иногда, конечно, с гостями все-таки можно развеселиться и приободриться. Но только не под знойным солнцем в три часа пополудни и не с таким раскаленным затылком. Если приходят старые знакомые, они изводят меня шаблонными вопросами, которые уже давно навязли в зубах. Как, впрочем, и ответы, которые мне приходится повторять до бесчувствия. Неужели все это необходимо терпеть как неизбежное зло?

В оплете я получил возможность сидеть молча и не отвечать ни на какие вопросы. Пожалуй, этим и привлекательны поездки в одиночестве. Поразительно все-таки, как подумаешь, что все эти фразы лягушками скачут у нас изо рта совершенно независимо от наших намерений. Они живут только вольной жизнью и играют нашими губами и языком, которые мы уже не властны остановить.

VII

Жена моего приятеля Зена не имела привычки задавать много вопросов. Муж научил ее не удивляться никаким событиям. И сейчас, когда я пришел к ним, она сразу догадалась, что я намерен у них поспать. Пока я курил, она убиралась в спальне.

— Я заболел, мбак, — доложил я ей, хотя она ни о чем не спрашивала. — Посплю у вас.

— Я постелила свежую простыню. Можешь ложиться. Мне муж ничего не передавал?

— Я не поднимался наверх: там ко мне пришли, а я не хотел с ними встречаться.

— Ну иди ложись.

Я лег.

Сновидения.

Сильная усталость.

В шесть я проснулся. Ощущение во всем теле такое, будто по нему проехал паровой каток. Зен еще не возвращался. Жена его ушла к врачу. Я стал немедленно приводить себя в порядок. Сделал несколько упражнений орхибы[1]. Затекшие мышцы как будто стали немного мягче.

---

[1] Орхиба (сокращенное от Olahraga Hidup Baru — спорт новой жизни) — гимнастическая система, распространенная в Индонезии.

Не облившись водой и не умывшись, я отправился назад на службу. Мне предстояло закончить *cover-story* о Бали.

Контора моя была пуста. Старик привратник обливался в ванной. Двое репортеров все еще сражались с пишущими машинками, чтобы поспеть к *dead-line*[1]. В редакторской никого не было. Мой друг Зен, обычно уходивший позднее всех, видимо, тоже поспешил покинуть свой пост. На его столе лежали забытые им очки. Я без промедления раскрыл папку с подборкой информации о Бали. При плохом самочувствии не очень-то посочиняешь, тем более что я еще не нащупал ключ ко всей статье. У меня была уверенность, что я не напишу и десяти порядочных строчек, как бы я себя ни насиловал. Сознавая это, я просто сидел и слушал музыку, глядя через окно на улицу.

О Бали мне хотелось написать многое. Но я не мог излагать свои мысли в виде тезисов, не подкрепленных фактами. У этого острова есть свои характерные черты, требующие особого подхода. Многие пытались заниматься им, не беря в расчет, что применение общих положений в данном случае только запутывает. Его нужно изучать отдельно, это все равно что писать биографию художника, здесь... короче, здесь требуется особый взгляд. Это трудно и удается лишь изредка. Может быть, лучше просто продолжать в таком же духе, в каком уже писали раньше, подгоняя материал под те или иные эмоции. Восхищение, негодование или что-нибудь еще в этом роде. Несколько броских фраз были у меня наготове. Например: Бали — это не рай; Бали — это вечно театральное действие; Бали преодолевает свою отсталость, пытаясь по-новому взглянуть на роль общины, сельскую взаимопомощь и на тяжкое бремя религиозных обрядов; балийцы открывают для себя общеизвестные идеалы, отвергая жизнь, подчиненную обрядам, и стремясь к личному благу. Бали изменяется, но как объяснить, что результаты этих изменений непрочны вследствие постоянного движения по кругу?

Я, словно в мягкий ил, с головой погрузился в воспоминания.

Затрепетало крыльями детство.

Я чуть снова не заснул, но меня потревожил привратник. Он стоял рядом со мной. Провел ладонью по моей руке.

— Пак...

---

[1] Предельному сроку (*англ.*); *здесь*: к сроку сдачи материала в редакцию.

Я открыл глаза.

— Вам тут передали...

Он вытащил балийский плетеный коробок. Письмо.

— Они очень хотели вас видеть, потому что, как они сказали, это было послано вам очень давно. Чуть ли не месяц назад. Но они раньше, дескать, не могли вам передать. Может быть, там внутри уже все протухло. Они хотели повидать вас и объяснить, в чем дело. Вот.

Он положил передо мной пакет. Участь его содержимого можно было угадать по запаху. Письмо было измятое.

Я принял все это с видом предсказателя судьбы, чье пророчество и впрямь сбылось. Поздравил себя с тем, что уклонился от встречи с посетителями. Они бы не пожалели сил, чтобы доказать мне, что они были страшно заняты и никак не могли передать посылку вовремя. И продолжали бы заверять меня в этом до тех пор, пока я сам не начал бы произносить что-нибудь утешительное для них. Итак, по существу, они приходили ко мне за собственным утешением.

Я прочел письмо. Оно было написано незнакомой рукой под диктовку матушки. Ничего особенно важного в письме не было. Видимо, этот рассказ о том, что накопилось у нее на душе, относился ко времени, предшествовавшему болезни. О самочувствии она ничего не сообщала. Просила прислать побольше денег, так как в доме нужен новый велосипед. Упоминала о том, что моя старшая сестра с каждым днем все сильнее допекает ее своей грубостью. Матушка жаловалась, как бы не подозревая о том, что грызня с детьми на самом деле спасает ее от гнетущего одиночества. После смерти отца она как бы потеряла опору в жизни. Ей было нечем заполнить пустоту. Лишь религиозные обряды, набегающие непрерывной чередой, отвлекали ее от этой пустоты. Каждый день она с головой уходила в подготовку разных церемоний. Наверное, для любой балийской женщины эта деятельность оказывается целительным средством, позволяя ей стойко переносить своенравные выходки мужа. И кто знает, не это ли поглощает все ее силы, так что редкая балийка чем-то проявляет себя вне стен своего дома.

Последние строки писем всегда бросают меня в дрожь. Так было и на этот раз — потому что мама как будто готовилась к близкой кончине. Точь-в-точь как отец, который перед смертью подробнейшим образом изложил свои пожелания насчет траурной церемонии. Матушка же писа-

ла, что не претендует ни на что, если не будет денег на обряды. Она только просила включить в погребальную процессию ее родных из деревни. И не забывать о ее родне впоследствии.

Мне вспомнилось детство. Еще ребенком, когда я сиживал у нее на коленях, она изводила меня разговорами о своей матери. Как меня пугало тогда будущее одиночество и разлука с нею.

— Что пишут, пак? — внезапно прервал мое раздумье привратник.

Я выбрался из-под вороха тлеющих обрывков мыслей.

— Матушка заболела.

Старик — бывший укротитель тигров — кивнул головой. Губы его шевелились.

— Вам надо ехать на родину?

— Да.

— Дай бог ей скорейшего выздоровления и благополучия. А кто за ней ухаживает?

— Она не одна.

Он перестал спрашивать. Начал мести пол. Но потом принялся вдруг повествовать о своих домашних делах. Не знаю зачем. То ли хотел показать, что я по сравнению с ним еще не самый несчастный, то ли меня развлечь. Я не слушал его. Мне представился наш дом и все его обитатели. Бумажные цветы. Деревья саво. Цветы кеньери. Чемары. Замшелые стены. Собака, виляющая хвостом. Поросята во дворе. Цапли, летящие над городом в час заката. Воздушные змеи над крышами. Старый, почти съеденный временем берингин, наследие былых годов. Несокрушимая водонапорная башня голландской постройки, самое высокое сооружение в городе. Торговки руджаком на обочинах — подруги моего детства. Казармы на окраине и солдаты — зачинщики дебошей. Непрерывные процессии. Бупати, которого никто не любил, так как он ничего не делал для города. Велосипеды и факельные шествия в дни празднования 17 Августа[1]. Звуки гонгов. Ваянг. Канавы с дохлыми курами и свиной требухой. Маленькие речки и кокосовые пальмы. Рисовые поля и змеи. Голые деревья кепух и привидения-леяки. Птицы. Пожары на рынке. Богачи и их дети. Одну из богатых девиц изнасиловал и убил ее собственный слуга. Белые туристы. Моя

[1] 17 Августа — День провозглашения независимости, национальный праздник Индонезии.

старшая сестра. Матушка. Женщины. Чокот. Лемпад. Ида Багус Рака[1]. Кинтамани[2]. Проститутки в Семаванге. Корабли в Кетапанге. Случаи убийств. Лицо губернатора. Бананы сорта «раджа». Синта. Телеграмма. Письмо. Летящие на пол бумаги.

— Прихожу я как-то домой, а там полиция...

Как бы сквозь сон до меня доносился голос старика, продолжавшего размахивать метлой. Но я уже сидел в автомашине. Открытый верх. Слева от меня Синта и Роза. На заднем сиденье матушка и покойный отец. Перед нами на мотоцикле кто-то из родственников, а сзади моя сводная сестра и все ее семейство. Мы направляемся в Бедегул. Вылазки на природу, отдых, развлечения — все это для наших горожан редкость. Зато жители деревень каждый праздник наводняют город, приезжая на автобусах и в наемных грузовиках под красно-белыми флагами[3], чтобы посмотреть индийский фильм. Мы с насмешкой называем их деревенщиной. Но им, оказывается, и деньги, и родственные связи приносят больше удовольствия, чем нам, обитателям балийских городов, пребывающим в затхлой неподвижности.

— И вот моя жена меня же обвиняет — я, мол, отнял у нее вещи... — продолжал свою историю старик. Но я уже находился в толпе людей, несущих деревянный, в виде коровы саркофаг отца. Похоронный обряд был очень скромным. Почти целый день мы жгли труп, пропитанный формалином, на резине от автомобильных покрышек. Прежде чем предать отца в руки бога Агни[4], я погладил его голову. Потом я слышал, как в пламени лопнул череп. Мы собрали пепел и то, что осталось от костей. Сестра моя визжала и ругалась — якобы потому, что мы нарушили завещание отца: не сжигать его сразу, а похоронить сначала на кладбище. Но я знал, что этот крик — компенсация за то, что произошло задолго до того. Мы едва не сцепились у постели больного отца, когда он был еще далек от смерти. Она требовала денег, чтобы завести собственное дело, а отец не хотел ей ничего обещать. Она потребо-

---

[1] Чокот — балийский скульптор. И Густи Ньоман Лемпад — старейший художник и скульптор, резчик по дереву. Ида Багус Рака — известный художник.

[2] Кинтамани — город в северной части Бали, расположенный на краю гигантского кратера вулкана Батур.

[3] Красный и белый — цвета национальныого флага Индонезии.

[4] Агни — божество огня в индуистском пантеоне.

вала немедленно поделить наследство. «Отец обязан дать детям средства к жизни!» — громко кричала она. Я запер дверь. Она ломилась в нее снаружи. Матушка плакала, обнимая отца. Я от гнева и стыда не мог вымолвить ни слова. Именно тогда и решил про себя, что не буду иметь с ней никаких отношений. «У меня в этом доме есть только отец и мать, а до остальных мне дела нет», — сказал я ей.

Послышался отдаленный вой сирены. Старик перестал рассказывать. Я очнулся от своих раздумий. В этот момент погас свет. На улице загудела пожарная машина.

— Горит! — крикнул старик.

Оба репортера, яростно барабанившие по клавишам, вскочили со своих мест и помчались на пожар. Горело недалеко, в районе Планет. Я тоже вскочил и понесся вниз. Но у входной двери вдруг задумался. Вспомнил, что я болен, и решил не ходить. Опять поднялся наверх. Мелькнула мысль о Нурме. Только мелькнула, на одно мгновенье. Ей наверняка помогут другие, там много желающих.

Потом я увидел Розу. Она махала мне рукой. Вспомнил о каких-то текущих делах. Но времени на них не было: я еще не закончил *cover-story*. Вдруг почувствовал, как кто-то погладил меня по руке.

— Пак!..

Старик уже кончил подметать. Его глаза глядели на меня с жалостью.

— Горит, пак!

— Где?

— В газовой горелке.

— Где?

Он засмеялся.

— В горелке. А не будет гореть, так и воду не подогреем. Если хотите сейчас помыться — вода готова. А может, вам кофе сварить?

Я не отвечал. Старика, видно, иногда подмывало пошутить. Все же он заметил, что я не склонен к разговорам. Чтобы загладить свой промах, он вытащил сигареты.

— Хотите?

Я отказался. Старик пошел вниз. Я снова остался один.

VIII

Казалось, что я вступил в царство мертвых. Свет выключили, человечество погрузилось в сон. Только во мне

одном еще теплилась жизнь. Ветер метался в вентиляционных скважинах под потолком, трепал календарь на соседнем столе. Затылок точно разогревался на медленном огне.

Мысль о том, что завтра на этом столе найдут мой окоченевший труп, была невыносима. Я стал молиться. Мне хотелось жить. Я дал обет, что, если моей жизни будет дозволено продлиться, я не раз на деле докажу свое смирение. По крайней мере не стану портить жизнь другим. Я сделаюсь примерным членом своего семейства, общества и буду блюсти благочиние в родительском доме.

Я отправился в туалет. Надо было постараться пропотеть. Но получасовые усилия ни к чему не привели. Я встал, вглядываясь в темноту. Помочил голову водой из-под крана. Потом вышел на улицу через парадный вход. Интересно, который час? Улица совершенно пустынна. Лишь одна или две машины пронеслись мимо. Все кругом точно в ужасе приросло к своим местам.

Нищих, прибившихся к подъезду, сморил крепкий сон. Они валялись на тротуаре, как неубранный мусор. И все же смерти было нелегко подобраться к ним. Стоя у кучи песка, я помочился. Затем, испугавшись, что меня прохватит ночным ветром, вернулся в нашу контору. Сел на столе, скрестив ноги, и стал молиться. Перед глазами всплывали лица каких-то покойников. Я попытался отогнать их, но они продолжали болтаться в воздухе. Стали что-то шептать. Одни зазывали, другие чинно приглашали куда-то. Я упирался. Я не поддавался соблазну ответить согласием. Чтобы их унять, я вознес к небу молитву, попросив подыскать им достойное место в тех краях, где они находятся. Это немного помогло. Лица стали таять и затем исчезли. После этого появилась белая стена. На ее фоне висели две неизвестно чьи большие ноги. Они зацепились за вешалку. Я помотал головой, чтобы отогнать эти видения. Решил заснуть, но не мог. Да и страшно было уснуть и не проснуться. Казалось, я уношусь вниз по гладкой крутой дороге.

Я нащупал перила лестницы и поднялся наверх. Только теперь я услышал, как громко отдавался стук моих шагов в этой безгласной тьме. Вошел в редакторскую. Ее слабо освещало небо за оконным стеклом. Вероятно, на всей земле в этот миг тысячи людских душ покидают свою бренную оболочку. И мне как будто ничего не стоит оказаться среди них. Я сбросил с себя свое тело, точно поношенное платье. Пролетел сквозь оконное стекло и взмыл в раскрытые объятия тьмы. Пустился неизведанным путем, не чувствуя

своих обнаженных нервов. Приобщился к высшим формам движения...

На стене висели часы, но я не смел взглянуть на них. Боялся увидеть ход времени. Чтобы отвлечься, я прилепился взглядом к креслам за столами. Одно за другим проступали лица редакторов, каждое со своим характерным выражением. Редактор внутриполитического раздела — комик, но мастак на все руки. Редактор-международник — самовлюбленный, краснобай, но, впрочем, честный малый. Редактор-юрист — капризный, словно женщина, но большой умница. Редактор рубрики выдающихся личностей — дама, которая любила скабрезности, трактовала государственные дела как домашние дрязги, имела обширные знакомства и не чуждалась смелых эскапад. Редактор рубрики религиозной жизни — поэт, раздираемый комплексами, но всегда готовый написать острый и забавный комментарий.

Я сбросил с себя одежду. Остался нагишом. Температура, наверное, под тридцать девять, но мне уже было все равно. Ежеминутно я начинал трястись, сдерживая колючий озноб внутри. Должно быть, это рецидив малярии, которую я как-то подцепил в Сингарадже. Сейчас мой последний шанс. Я стоял на своем столе совершенно голый. Сконцентрировался мысленно на своем лице. Я хочу жить. Я хочу жить. Еще тысячу лет. Еще тысячу лет. Я начал размеренно дышать и делать гимнастику орхиба. Сто круговых движений руками. Через несколько минут ощутил прилив бодрости. И я зашагал с одного стола на другой. Вряд ли кому из редакторов придет в голову, что я гулял у них по столам в чем мать родила. Вот бы проделать это в часы, когда они поглощены сочинением своих статей — об освоении земель на Южной Суматре, о выборах американского президента, о возобновлении отношений между Токио и Пекином, о контрабанде автомобилей, о непорядке в правлении Всеиндонезийского футбольного союза. Вот бы проделать это в момент, когда они закусывают и дискутируют о проблемах демократии на Филиппинах или о новой трактовке ислама, которую пропагандирует Нурхолис Маджид[1].

Я остановился на столе шефа. Уселся в его кресло. В темноте передо мной смутно вырисовывалось женское

---

[1] Нурхолис Маджид — индонезийский политический деятель исламского направления.

лицо на календаре, снятое крупным планом. Лицо индонезийки, смуглое, с жаркими губами. Меня точно обожгло одиночеством. Лицо женщины с календаря потянулось ко мне с поцелуем. Она влекла меня к себе. Она хотела меня. Она тоже страдала от одиночества. Забыв все приличия и обычную женскую стыдливость она насиловала мое тело. На какое-то мгновение я тоже забыл о своей изнурительной болезни. Забыл о телеграмме. Но желание тотчас угасло. И мое больное тело снова стало давить на меня.

Я влез в свою одежду несколько пристыженный. По-моему, шеф не совсем покинул свое место. Казалось, его глаза висели где-то у спинки кресла. Я поскорей вышел из редакторской. Направился в библиотеку. Там полно книг и наверняка должно быть тепло. Когда я толкнул дверь, в комнате раздался шум: мыши бросились вон, спасаясь бегством.

Здесь действительно оказалось теплее. В надежде вызвать у себя испарину я сел на кипу журналов. Задержал дыхание, так что кровь прилила к голове. Я снова сосредоточился и мысленно двинулся по всем закоулкам своего тела. Сначала пробрался в голову. Приблизившись к белому, покрытому морщинами мозгу, похлопал его, чтобы хорошенько работал. Помог сдавленным кровеносным сосудам. Забрался в полость рта, в ухо и под плотно закрытые веки. Вступил в туннель горла. Там было очень жарко. Я выскреб оказавшиеся там слизистые отложения. Нырнул вниз и попал в полость, где трудилось сердце. Какое оно влажное. Бьется слишком часто. Беловато-розовое. Очень мягкое. У меня давно были опасения, что оно слишком дряблое. Я осторожно прошел этот участок, боясь задеть запретные места. После этого обследовал легкие. Они были насыщены кровью. Зеленого цвета. И похоже, действительно не в порядке. Таблетки, что я принял накануне, растворились, и этот раствор собрался в верхушках легких. Вещество таблеток стремилось опуститься вниз. Но там были дикие заросли, точно морская трава, и они его не пускали. Оно не могло пробиться. Пожалуй, доза была маловата, надо мне принять еще.

Затем я проник в живот. Продукты, съеденные вчера, уже разварились в белую кашицу. Я все еще злоупотребляю белковой пищей. А лед, который я глотал вчера, превратился в опаснейшую жидкую среду. В ней скрывались возбудители малярии. Я попробовал выгнать их вон, но они быстренько нырнули в закоулки кишечника, и за ними

было не угнаться. Я направился дальше. Воздух стал горячим. Стенка желудка, казалось, дымилась от жара. Скверно пахло, как от гнойника. Сюда не попадало ни лучика света. Не удержав равновесие, соскользнул еще ниже. Все, что я трогал, отвечало жалящим укусом. Я набрал воздуху и с силой выдохнул. Эффект был необыкновенный. Все там заходило ходуном, взвилось воздушным вихрем. Меня швырнуло вниз, и я лишился возможности наблюдать, что происходило потом.

Очень подробно я обследовал затекшие мышцы бедер и колени. Дошел наконец до суставов пальцев. После этого я опять поехал наверх. На лбу выступило несколько капель пота. Жар в затылке уменьшился. Я подтащил к себе кресло и улегся в нем. Вот так, должно быть, лежишь в гробу. Пришло в голову: завтра утром наша уборщица находит мое бездыханное тело. Что произойдет? Сперва она подумает, что я проспал. Потом завопит благим матом. А в газетах появится сообщение: сотрудник редакции одного журнала найден мертвым в библиотеке. Его дочь осталась сиротой и...

Устав от неудобного кресла, я съехал на пол. Лег на груду журналов. Опять неудобно. Я разворошил журналы и навалил их на себя. Вспомнил, как на пляже в Сануре [1] лежат, зарывшись в песок, паралитики. Я тоже зарылся в журналы, оставив торчать одну голову. Стало уютнее. По всем жилкам начала разливаться теплота, и появились признаки того, что пот все-таки прошибет меня. Пожалуй, с этим приступом лихорадки я справлюсь довольно скоро. Я задышал ровно и опять попытался возбудить энергию во всех участках тела.

По журналам стала карабкаться мышь. Ее принюхивающаяся мордочка приближалась к моему лицу. Я лежал тихо. Если она посмеет подобраться еще ближе, значит, мое тело уже бесспорно не внушает никакого страха. Но нет. Мышь не решалась подойти поближе. Поцокала зубами. Тонко пискнула и рванула под стеллаж. Через некоторое время высунулась опять. Вот упрямая.

Я так и не знал, который час. Но с улицы опять стал доноситься шум проезжавших машин. Я еще воспринимаю эти звуки. Меня еще не совсем пристукнуло. Внезапно послышались тяжелые шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Вот он прошел мимо двери. Открылась другая дверь. Шаги удалились. Тишина. Опять стал приближаться.

[1] Санур — городок на юге Бали, известный своим живописным пляжем.

Остановился перед дверью. Открыл дверь. Она заскрипела. Я боязливо ждал. Говорят, в нашей конторе есть привидение — злой дух в облике одного бывшего солдата КНИЛ[1]. Его изрубила на куски толпа в этой самой комнате. Я ждал. Вдруг дверь оглушительно хлопнула. Внизу хлопнула еще одна. Это был просто ветер.

Зазвонил телефон. Неужели кто-то еще звонит в такой час? Часто бывает, что снимаешь трубку, а там молчат. Но он продолжал звонить. Верещал истошно, точно младенец, просящийся на руки. Собравшись с духом, я встал. Снял трубку, не решив, буду отвечать или нет. Отозвался:

— Алло!

— Алло, добрый вечер, — раздался низкий, но приветливый мужской голос.

— Кто говорит?

— Это я, пак. Вы еще не спите?

— Что это вы звоните в такое время?

— Вот какое дело, пак, — ответил он весьма дружелюбно. — Я хочу познакомиться.

— Как это познакомиться? Кто вы такой?

— Я-то? Зовите просто Маманг. А вас как звать?

Меня взяла досада.

— Вам что-нибудь нужно?

— Да нет, пак. Я просто хочу познакомиться. Заняться вот нечем, сижу один. Дай, думаю, позвоню, вдруг кто ответит. Простите, пак, если помешал...

— Что за шутки!

Я раздраженно бросил трубку. В другом настроении я, может быть, и подыграл бы этому балбесу.

Но вдруг моя рука сама собой подняла трубку. Я набрал какой-то номер наобум, сказал «алло». Никто не отвечал. Я обождал, но без успеха. Набрал другой номер. Долго не отвечали. Наконец раздался сонный женский голос.

— Алло! — произнес я.

— Извините, туан сейчас в отъезде, принять вас не может. Приходите завтра вечером.

Трубку повесили. Я подумал. Набрал еще. Не отвечают. Набрал еще. Не отвечают. Набрал еще — занято. Странно, что в такое время кто-то разговаривает. Снова набрал. Послышался женский голос:

— Алло, это вы, туан?

— Да, — ответил я.

---

[1] КНИЛ (сокращенное от Koninklijk Nederlands Indisch Leger) — Королевская армия Нидерландской Индии.

— Где вы сейчас, туан? Вас здесь уже давно ждут. Да, с вами хотела поговорить Ден Сри. Подождите, туан, я ее позову.

Я ждал. Затылок снова накалялся. Очень болела голова.

— Алло! Папа? Это ты, папа? Алло! Папа?

— Да...

— Ой, папа, что же ты не звонил? Где ты сейчас? Машина уже пришла. Дядя Алекс давно ждет. Я сейчас ему передам трубку. Скорее приезжай, папа! Вот, дядю даю.

Я подождал.

— Алло, Кадир?

— Да.

— *Мсамабхакалаугакалихакатаракапахаган*... — Он заговорил по-арабски. Я тут же бросил трубку. Набрал еще. Не отвечают. Набрал еще. Кажется, попал по тому же номеру.

— Алло!

— Алло! Кто это!

— А с кем я говорю?

— Это Маманг говорит. А вы кто?

Вдруг я вспомнил про того малого с его блажным звонком.

— Это ты сюда звонил, а?

Ответа не было.

— Смотри у меня со своими шутками. Поаккуратнее...

Трубку положили.

Я оставил в покое телефон. Спустился вниз по лестнице. Меня все еще преследовало желание умереть. Но, несмотря на полное изнеможение, тело еще повиновалось мне. Я стал прохаживаться взад-вперед. Старик привратник не окликал меня, хотя явно наблюдал за мной из-под опущенных век. Я расхаживал, как пленный полководец. Время тянулось страшно медленно.

IX

Наутро я увидел, что все тело покрылось красной сыпью. Наш престарелый привратник внимательно осмотрел меня. Велел мне раздеться до пояса. Потом спокойно покачал головой.

— Ничего страшного, это потница, — заключил он.

Я не поверил. Наоборот, его слова настроили меня на

пессимистический лад. Я вообразил себе всякие отвратительные вещи. Как на грех, было воскресенье. Не пойдешь ведь стучаться в закрытые двери с просьбой об исцелении. У врачей тоже есть право на отдых.

— Ничего особенного, пак, потница! — уверял меня старик. Я не обращал на него внимания. Стал ломать голову, как лучше всего поступить. Докапываться до причины заболевания бесполезно. Сейчас нужны срочные меры. Если болезнь заразная, значит, мне нельзя ни к кому приближаться.

Сначала у меня возникла мысль пойти к моему приятелю. Но тут я вспомнил, что его жена беременна. Уж очень велика будет опасность, если я занесу к ним инфекцию. Оставалось одно — отправляться домой и ждать вечера. А вечером, может быть, окажется на месте доктор Шубах, один из моих добрых знакомых. Он сможет определить, куда меня отправить: в больницу или на кладбище.

— Не подходи, я заразный! — рявкнул я на старика, когда он опять вознамерился меня потрогать. Его привычка дотрагиваться до людей руками в это утро, видимо, усугубилась. Пришлось на него крикнуть.

— Да чем же вы больны? — удивился он.

Я оставил его. Домой отправился на бемо.

Синта открыла дверь.

— Не подходи ко мне, у меня заразная болезнь, — предупредил я ее.

Она непонимающе глядела на меня.

— Что с тобой, папа?

— Говорю тебе, не подходи.

Она послушалась. Присмотрелась ко мне.

— У тебя лицо красное, папа.

Я подошел к зеркалу. Лицо было красное и вспухшее. Уши тоже красные. А глаза еще хуже.

— Чем ты болен? — спросила Синта.

Я разволновался. Послал ее немедленно за своей теткой, жившей неподалеку. А сам тотчас зарылся в постель. Укутался в одеяло, надеясь пропотеть. Заниматься гимнастикой больше не хотелось.

Когда Синта вернулась вместе с тетушкой, я запретил им входить в комнату. Отдал распоряжения вскипятить воду и сварить кашу. Они послушно стали исполнять приказ. Я мигом заразил их своей тревогой. Женщины без лишних слов занялись своим делом. Синта, по-моему, была очень удручена.

Мне не удалось ни на секунду сомкнуть глаз. Тревога не покидала меня, и я, задавленный ею, непрерывно вслушивался в свое нутро. Вообразил, как мой гроб тащат по направлению к... Я затряс головой и стал бить кулаком по матрацу. Гнусные видения не отставали. Привиделся собственный обнаженный труп. Кругом стоят родственники... Я опять заколотил по матрацу. Чтобы не валяться, как освежеванная туша, вскочил на ноги. Кипяток был готов. Я выпил крепкого чаю и, давясь, заглотал кашу. Синта и тетушка смотрели издали, так как я не разрешил подойти близко.

— Вроде похоже на корь, — заметила тетушка.

— Да, как было у соседской девочки Тоток, — сказала Синта.

Я оглядывал себя. Точна картина в манере пуантилистов. Это не могла быть корь, я уже переболел ею в детстве. Гадать бессмысленно. Надо отдать себя в руки врачей.

— Новостей нет? — спросил я Синту. — Писем, телеграмм?

— Нет. Мы поедем на Бали, пап?

— Вот я схожу вечером к доктору, тогда посмотрим. Если мне придется лечь в больницу, значит, не поедем. Будем надеяться, что этого не случится.

Про себя я крыл доктора Гунавана за то, что он так плохо меня лечил. Несмотря на это, решил все-таки принять выписанную им белую таблетку. После еды почувствовал себя несколько бодрее. Но голова продолжала болеть. Я позвал Синту и тетушку. Они стали у двери кухни, а я сидел за своей тарелкой с кашей.

— Слушайте, что я скажу, — распорядился я. — Если врач отправит меня в больницу, ты, Синта, иди к Зену. Скажи ему, что мне нужна помощь. Вы, тетушка, ночуйте здесь. Напишите на Бали, что я задерживаюсь и смогу выехать, как только разделаюсь со своими делами. Вот так. Если что-то произойдет, сразу сообщите Зену. Завтра понедельник, можете позвонить из конторы келурахана. Номер телефона найдете — он записан на календаре. Поняли? Ну, а сейчас я буду спать, не беспокойте меня. Если придет кто-нибудь из знакомых, ты, Синта, скажешь, что папа тяжело болен. Поняла?

Я не дал им ни секунды на расспросы и нырнул обратно под одеяло. На сей раз получилось удачнее. Я заснул.

Сон был беспокойный. Казалось, что я продрых целую вечность. Когда проснулся, было всего одиннадцать утра. Синта и тетушка тихо переговаривались в кухне. Мне вдруг стало жутко одному в комнате. Захотелось услышать свой собственный голос. Я начал молоть вслух какую-то чушь. Это занятие несколько заполнило пустоту. Потом я попытался прослезиться. Вспомнил покойного отца. Стал опять переживать мои с ним конфликты. Как я разозлился на него, когда он сделал из меня искупительную жертву, чтобы сохранить свои земли, которые по аграрной реформе должны были быть изъяты. Он женил меня и при этом взял с меня обещание молчать в тряпочку, чтобы не ставить его в неловкое положение. Брак был фиктивный, и мне на него было наплевать. Отца я возненавидел за его абсолютное пренебрежение к моим чувствам. Позднее я стал жалеть о том, что, решив казнить отца своим равнодушием, я не изменил своего отношения к нему до самой его смерти. Ни разу я не открыл ему своего сердца, а он никогда не показывал, что сердится на мою дурацкую позу. Вот этот-то трагический удел старика отца я и припомнил, чтобы выжать из себя слезы. Слезы в одиночестве часто помогают снять с души тяжесть, возникшую по совсем другому поводу.

Но несмотря на все мои усилия, слезы не полились ручьями из глаз. Я не смог расплакаться. Это было и впрямь нелегко — тревога приставила мне свой нож прямо к горлу. Голова закружилась еще сильней. А старые часы в соседней комнате черепашьим шагом отсчитывали время. Тоска захлестывала меня с головой, прерывая дыхание.

Я позвал Синту и тетушку и попросил их поговорить со мной, чтобы прогнать одиночество. Но они точно языки проглотили.

— Говорите же, не молчите! — приказал я.

Они попытались поддерживать разговор. Это оказалось очень трудно.

— Вы болели корью, тетя? — спросила Синта.

— Да, в детстве болела, все маленькие болеют корью. Ты вот только не болела.

— У наших соседей девочка Тоток тоже болела, правда?

— Да.

— А раз папа заболел, то нам нельзя ехать, тетя?

— Да.

— А у вас дома кто-нибудь болеет?

— Болеет.

— Кто?
— Моя родственница. Со вчерашнего дня рвота и понос. Но ей так и надо, лентяйке. Пусть хоть помрет, мне не жалко будет. Я ее не люблю.
— А почему, тетя?
— Ну так, семейные дела.
Тетушка начала говорить о своих домашних неурядицах. Мне надоело это слушать.
— Хватит про домочадцев! — крикнул я. — Рассказывайте что-нибудь другое!
Некоторое время обе молчали. Потом Синта заговорила о своих школьных друзьях. Но тетушке это было, видно, неинтересно. Она ушла на кухню кипятить воду. Время перевалило за полдень.
Синта появилась в дверях.
— Папа!
— Не входи!
— Посмотри-ка!
Синта держала в руке какую-то бумагу. Я равнодушно посмотрел на нее. И вдруг похолодел. Кажется, это было свидетельство о рождении Синты.
— Ты где это взяла?
— В книжках, вчера разбирала и нашла.
Синта протянула мне листок. Я схватил его и сразу велел ей отойти подальше. Это действительно было ее свидетельство о рождении, которое мне выдали десять лет назад. Я уже давно недоумевал, куда оно сгинуло. Синта, конечно, прочитала его. Там было вписано моей рукой: Синта Фибри́на, моя родная дочь от брака с женщиной по имени Роза. Синта прежде никогда не спрашивала об этом. Как будто знала, что это тема запретная. Своим сверстникам она всегда говорила, что ее мать умерла.
— Папа!
— Да.
Я ожидал вопроса, который она должна была когда-нибудь задать, — это мог предсказать любой. Но она осеклась.
— Синта!
— Да?
— Ты что хотела сказать?
— Ах, ничего.
— Пожалуйста, хочешь спросить — спрашивай.
— Да нет, потом, когда ты поправишься.
Я раздумывал, в каком она сейчас настроении у себя

в комнате. Плачет? Думает? Я ждал. Ничего не происходило. Между тем свидетельство у меня в руке, которое я добыл, подкупив регистратора актов гражданского состояния, отвлекло меня от тревоги за собственную участь. Поистине я еще не был готов к смерти, так как следовало уладить ряд вопросов.

Я тотчас занялся творчеством. Какую историю я расскажу Синте? На придумывание ушло порядочное время. Настал вечер.

X

Доктор Шубах вернул меня к жизни. Исследовав таинственную красную сыпь, он высказал предположение, что это аллергия. Должно быть, лекарство, прописанное Гунаваном, крушило напропалую. Шубах дал мне черно-красные капсулы, красненькие жаропонижающие таблетки и крошечный, забавного вида «иницидал». Хоть я и не вполне избавился от своих страхов, поскольку он не сказал, какая у меня болезнь, я все же уходил от него с чувством некоторого облегчения.

Мысль о смерти была отброшена прочь. Я дал выход своей радости, купив Синте килограмм яблок. Видно, отделаться от жизни не так-то просто. Жена доктора Шубаха рассмеялась, когда я признался ей, что страшусь своего смертного часа. «Тебе еще далеко до этого!» — возразила она с непререкаемой уверенностью. Итак, я воскрес для дальнейшей жизни.

Синта и тетушка были очень рады тому, что меня не пришлось отправлять в городскую больницу. Они зажарили курицу. Они баловали и развлекали меня. Мы чистили яблоки и весело играли в домино. Чемпионом оказалась тетушка. Мы делали маленькие ставки. По пятерке. У тетушки был выигрыш в сто рупий. Синта выиграла двадцать пять. Я вновь обрел радость жизни. Потихоньку я отшлифовывал версию, которую преподнесу Синте. В ее веселом смехе чувствовалось ожидание того момента, когда я буду готов объяснить ей все.

Как и предвидел врач, меня быстро сморил сон. Я забылся, так и не успев ничего рассказать. Синта разбудила меня, чтобы препроводить в мою комнату.

Спал крепко. Точно возвращая долг. Мне снилось, как я встречаюсь с президентом.

Мгновенный просвет: надо мной шагнуло утро.

Синта хохотала, а тетушка отчего-то вскрикивала в кухне.

Приходил мой друг. Он стоял возле постели и что-то говорил. Потом ушел.

Новый сон снился. На этот раз я бегал по деревне. Не совсем понял, в чем там было дело. Но было весело.

Донесся бой часов. Кажется, было одиннадцать.

В двенадцать я проснулся. Голодный и почти здоровый. Пуантилистский пейзаж начал бледнеть. В душе я восславил доктора Шубаха. Потом меня опять стало клонить в сон. Я не сопротивлялся.

В очередной раз проснулся уже вечером. Синта стояла рядом.

— Папа, уже вечер. Не надо спать, когда солнце заходит.

Я осмотрел себя. Краснота почти сошла на нет. Завтра, пожалуй, можно идти на работу.

— Кто-нибудь приходил?

— Приходил дядя Зен и ушел. Сказал, что заходил за книжкой...

— Мультатули[1]?

— Да.

— Письма есть?

— Нет.

— Прекрасно!

— Хочешь, папа, обмыться теплой водой?

— Хочу!

— Уже все готово.

— Кто приготовил?

— Я.

— А тетушка где?

— Ушла домой ненадолго. За ней заходили, у нее ведь дома кто-то болен. Иди, папа, купайся. Ты поправился?

Она пощупала мне голову.

— Жара уже нет. Когда ты спал, температура была очень высокая. Я тебе ставила компресс. Ты помнишь?

— Помню. О'кей, я помоюсь.

Она побежала за полотенцем. Вдруг я оторопел, посмотрев на ее попку. На Синте были шорты. Почти зрелая

---

[1] Мультатули — псевдоним Э. Д. Деккера (1820—1887), голландского писателя, автора антиколониального романа «Макс Хавелаар, или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества» (1860).

девушка. Когда она вернулась, я присмотрелся внимательно. И правда, она росла очень быстро. Лицом была вылитый отец. Красивая форма губ. Изящные руки, как почти у всех балийских девушек.

— Что это ты, папа, смотришь?

— Откуда на тебе эти шорты?

Синта взглянула на свои штанишки и засмеялась:

— Да ведь спортивные брюки, что ты купил, уже коротки. Я их обрезала.

Я шлепнул ее сзади: на ощупь довольно плотно. Затем направился в ванную. Она пошла следом, остановилась у двери.

— Не подглядывай!

Она засмеялась:

— А вот буду подглядывать!

Я облился теплой водой. Словно перенесся в другой мир. Теперь я точно знал, что не умру.

— Папа!— тихо позвала Синта.

— А?

Она не отозвалась.

— Чего?

Она молчала. Но я знал, что она стоит за дверью. Ладно, пусть пока стоит. Синта всегда щадила чувства других. Она хочет, чтобы я сам почувствовал себя обязанным рассказать ей обо всем. Хорошо.

Когда я вышел из ванной, она взяла у меня полотенце.

— Папа, — тихонько произнесла она.

Я посмотрел на ее лицо. Взволнованное и бледное. Подвел ее к креслу.

— В чем дело?

Ее что-то тревожило.

— Ну говори, не отмалчивайся.

— Лучше вечером, папа. Ты ведь не уйдешь?

— Нет.

Она скрылась от меня в ванную. Я раздумывал. Отложить рассказ или вообще не рассказывать — это не одно и то же. Надо только выбрать, что принесет больше пользы — ложь или правда.

Синта очень долго мылась. Может быть, хотела потянуть время. Я начал склоняться к тому, что лучше будет солгать. Ибо у меня не было уверенности в том, что ее отношение ко мне не переменится, узнай она, что я ей никто. Просто случайный встречный, пожелавший излить свою

бесконечную ненависть ко всяческому... всяческому притеснению. Мать Синты состояла со мной в дальнем родстве. Она была девица неопределенного склада и все никак не могла решить, какой образ жизни предпочитает. Ее воспитали так, что она была не способна распоряжаться собственной судьбой. Не будучи в браке, она забеременела от одного своего школьного приятеля и, на свою беду, не смогла заставить его жениться. Трудно объяснить эту ситуацию тем, кто не знаком с балийскими обычаями. Семья этого парня принадлежала к более низкой касте и не могла официально свататься к пострадавшей. Дело можно было уладить только умыканием невесты. Но его родственники, кажется, имели какие-то свои виды: то ли не хотели признать собственную худородность, то ли вообще не хотели этого брака. Короче говоря, они настаивали на официальном сватовстве. Родители девушки не уступали, потому что вопрос задевал честь всего нашего семейного клана. Конфликт затянулся до бесконечности, потому что прямых переговоров между собой семьи не вели. В конце концов брак не состоялся, а беременность тем временем пошла на восьмой месяц. Тогда возникла идея избавиться от новорожденного, отдав его любому, кто согласится его взять. Почти все члены семьи высказались за это. Вот тут-то меня и охватило геройское воодушевление. Я отверг предложенный план и объявил, что возьму пострадавшую девицу за себя. Потом родилась Синта.

В наступившей вечерней тьме небо заволокло. Но дождя не было. Стало душно. Тетушка не появлялась, и я вполне мог завести с Синтой долгий разговор. Когда мы поужинали, я опять сел играть с ней в домино. Потом мы обсудили планы домашней уборки, которую необходимо было произвести перед отъездом на Бали.

Я еще чувствовал слабость. Но откладывать тяжкое объяснение, которого Синта явно стремилась избежать, мне не хотелось.

— Так вот, Синта, — заговорил я, возвращая ее в атмосферу взрослой жизни. Вдруг я превратил себя в искусного рассказчика. Расписал, как однажды женился на Розе, горячо любимой мною женщине. Она так же горячо любила меня. Она была красавица. Умница — все понимала. И обладала всем, что требуется мужчине. Она понимала, почему я дожен работать целыми днями. Почему я не строю свою жизнь так, как положено всякому человеку. Почему я не желаю тратить время на все мелочи изыскан-

ного этикета. Почему то и почему это... Словом, я изобразил Розу совершеннейшей из женщин. Она всегда являлась ко мне на свидания, когда бы я ни захотел ее вызвать. Она всегда была готова сделать все, что бы я ни пожелал.

— Вот какая была мама, — завершил я свое описание. — К несчастью, когда родилась ты, маме пришлось лечь на операцию. Потом у нее было осложнение, и спасти ее не удалось. Вот поэтому ты с младенчества и не знала своей матери. Но поверь мне, она была прекрасная и разумная женщина. Другую такую маму вряд ли еще найдешь. Когда-нибудь я покажу тебе ее фотографию.

Синта слушала меня, опустив голову. Она обдумывала мои слова, но не была потрясена ими. Я засомневался, уж не проведала ли она, что я ее обманываю. Но делать было нечего.

Оба мы молчали.

Потихоньку надвигалась ночь. Меня снова начало клонить в сон.

— Папа, — сказала наконец Синта.

— Да? — как можно ласковее отозвался я.

Синта встала и пошла к себе в комнату. Я в удивлении ждал. Стал гадать про себя, вдруг у нее есть какие-нибудь доказательства, что моя история высосана из пальца. Если это так, то не поздоровится от меня тому, кто сказал ей правду. Особенные подозрения мне внушала ее мать, которая теперь была замужем за китайцем. Эта женщина, не соображая, какую бурю она может вызвать, все время писала Синте письма о том, что она ее родная мать. Я уже несколько раз предупреждал ее, что это пагубно подействует на девочку. Более того, я недвусмысленно заявил ей, что, раз она в свое время согласилась избавиться от ребенка, значит, у нее нет никакого права требовать Синту обратно, после того как я с таким трудом воспитал ее. Но она не прекращала своих поползновений. Она вечно изобретала какие-нибудь хитрости, чтобы подобраться к Синте и задурить ей голову своими россказнями. Когда Синта, впервые приехав со мной на Бали, услышала сплетни о себе, она пережила некоторое потрясение. Целый месяц ходила сама не своя. К счастью, в конце концов мне удалось восстановить ее доверие ласковым обращением и разными уловками. С того времени Синте и самой не хотелось ездить на Бали. Письма, которые ей слала та женщина, она отдавала мне. Одно из них я даже прочел. Три других, не читая, бросил в огонь. Мне

не хотелось тратить свое время ради того, чтобы возненавидеть эту женщину еще сильнее.

Синта вернулась из комнаты. Точно, с письмом в руках. Она была взволнована.

— Папа, — сказала она, — я получила письмо.

— Опять от нее? — предположил я.

— Нет. Другое.

Я изумился:

— Письмо? Не мне?

— Нет. Мне.

— От кого?

— От... — Она заколебалась.

Я ждал.

— Что за многоточие?

Девочка тяжко вздохнула, точно взрослая. Лицо ее немного побледнело. Я смотрел с притворным безразличием, чтобы ее подбодрить, но мне стало беспокойно. Уж не новая ли беда? Синта все еще боролась с собой, не решаясь отдать мне письмо. Я ждал. Вдруг она испуганно заревела.

— Папа!

Я обнял ее. На письмо было наплевать. Не столь важно, что в нем написано. Оно, как и прочие, принесло с собой беду.

Синта всхлипывала в моих объятиях. Я не торопил ее с объяснениями. Но она продолжала всхлипывать. Я прошептал ей на ухо ободряющие слова. Но она все еще плакала. Снова во мне вспыхнула досада на всякие непрошеные неожиданности. Обозленный, я потянул письмо к себе. Резко выдернул его из конверта. Прочитал.

Что тут скажешь. Можно ли негодовать на откровенное объяснение? У меня самого когда-то была такая же история. Гнев мой погас. Это было письмо мужчины. Его возраст не имел значения. Это мог быть и старик, и совсем молодой человек. Он был ее учителем в школе. Но он изъяснял все очень элегантно. Все выражения искренние и трогательные. Как будто автор письма знал, что его будут читать разные люди, и прежде всего я. Оно было составлено с таким вкусом, что не могло вызвать враждебность к автору. Он объяснялся Синте в любви.

Синта все еще всхлипывала. От стыда, или от страха, или еще от чего — трудно было понять. Я не в состоянии был ничего сделать. В таких случаях необходима женщина, она может все поставить на свои места. Я же мог лишь уяснить себе ситуацию. Я гладил Синту по голове. Забыв

про свою слабость, я опять стал утешать ее. Попробовал развлечь побасенками.

— Синта, — искал я каких-то правильных решений, — успокойся, Синта. Любовь — это...

Долго я потчевал ее разными выдумками. Но, пожалуй, своими сентенциями я хотел успокоить также и самого себя.

XI

На следующий день я приступил к задуманной мною длинной статье «Когда к Бали прикасается время». В шесть часов утра я уже был в редакции. Прежде чем уборщица взметнула в воздух утреннюю пыль, я уже подготовил цифровые данные и вставил их в надлежащее место в начале статьи. Эти цифры отчетливо показывали, что кампания по распродаже острова Бали развернулась вовсю. Эта кампания привела к некоторым казусам. Взять, например, конфликт вокруг храма Сегара Алит. Власти намеревались содействовать перемещению этого храма с участка, на котором собирались строить отель. А местные жители по разным причинам возражали против этого. Далее шла проблема хиппи, которые все время торчат на прибрежной полосе в Кута, любуясь закатами. Потом насчет роста проституции в Денпасаре. Об упадке изобразительного искусства, превращающегося в доходный промысел. О непонимании властями того факта, что художественной жизнью нельзя руководить, выдавая свидетельства и издавая различные запреты, — притом что в самой администрации кое-кто нечист на руку. О вытеснении традиций, появлении новой морали, основанной на стремлении к земным радостям, — что довольно естественно, учитывая неравное распределение материальных благ в обществе. Во всех уголках Бали очень многие недоедают и еле-еле сводят концы с концами. Я писал:

«Все то, что раньше принималось ими без малейших рассуждений, ныне по мере возможности приводится в соответствие с материальным интересом. Дорогостоящие традиционные ритуалы уже не воспринимаются ими как нечто неприкосновенное и требующее безусловного самопожертвования. Все стараются обойтись как можно меньшей затратой сил и средств. Жизнь сельской общины, в рамках которой осуществлялась взаимопомощь, сейчас кажется слишком обременительной тратой времени, потому что

у всех есть личные планы и обязанности. Вот тут-то и начинают ползти по швам традиции поведения человека в обществе. Мало кто рискует придерживаться традиций, разве что его не беспокоят поиски средств к существованию».

В заключение своего обзора я писал:

«Представления о Бали у туристов как до, так и после посещения острова страдают существенным пробелом. Бали — это не только Денпасар и Убуд[1], не только бесконечные обряды и динамические танцы. Бали — это и восемь кабупатенов со всем их населением, их бедностью и их запросами, их потребностями, возрастающими соответственно эпохе. В противном случае этот остров был бы просто музеем или театральной сценой».

Целый день я сидел согбенный над пишущей машинкой. Оставался еще кусочек светлого времени, когда я отстукал последнюю фразу. Но еще до того, в обеденный перерыв, я поговорил с директором насчет отпуска и денежного аванса. К счастью, он сумел войти в мое положение. Это придало моим пальцам несравненную скорость. Став сперва в тупик при выборе темы статьи, я в дальнейшем сузил свое сочинение, взяв только один аспект, и притом не очень широкий. «Возможно, это изображение односторонне, — сказал я, вручая статью начальству. — Однако описание всех перемен, происходящих на Бали, в одну статью не вместилось бы. Я остановился в основном на отрицательных явлениях, вызванных нынешней кампанией интенсивной распродажи острова. Но я думаю, что о Бали пора написать пару фраз посерьезнее, не ограничиваясь обычными дифирамбами. Наверное, это потому, что я сам балиец».

Статья оказалась не блестящей, но я был доволен и тем, что ее не отклонили. Путь на Бали был открыт. Все готово. Я стал быстро прибирать на столе. Не знаю почему, но я предчувствовал, что уеду надолго. И кто знает, может быть, вообще не вернусь. Это предчувствие побудило меня предпринять особенно тщательную уборку, чтобы потом не стыдиться хаоса, оставленного после себя.

— Итак, женитьба стала неизбежной, — раздался вдруг у меня над ухом голос редактора-юриста. Я испытующе посмотрел на него.

---

[1] Убуд — селение на Бали, центр традиционных ремесел и художественной жизни.

— Что за неожиданное заявление? — спросил я.

— Вот, женюсь.

— Да ну! Когда?

— В конце месяца!

— Почему такая спешка?

— Ну... поэтому! — Он сделал жест указательным пальцем. Я засмеялся.

— Хотя угрозу болезней и можно отвратить, — сказал он полушепотом, боясь, что кто-нибудь его услышит, — надо признать, что любовь в розницу, которой мы предаемся, требует слишком больших расходов. Однако это не значит, что я совсем прекращаю свою деятельность в этом направлении!

Я прервал уборку. Занятно послушать, как уголовник планирует продолжение своей карьеры, направляясь в тюремную камеру. Ну и ну!

— Каким образом это возможно? — поинтересовался я.

— Я сказал Ис — (так звали его подругу), — что она должна учитывать мое мужское естество. С точки зрения мужчины, все женщины делятся на две группы: женщины для серьезной жизни и женщины для развлечений. Допустим, я, взяв в расчет это их предназначение, в один прекрасный день развлекусь с кем-нибудь. А между тем я уже соединился с другой по-серьезному. Так вот, пусть у нас не возникает никаких недоразумений. Пускай она твердо знает, что я всего-навсего захотел развлечься.

Он отошел к окну. Потом, глядя на улицу, продолжил:

— Ис согласилась на это. Она только просила, чтобы я не влип в какую-нибудь *affair*[1]. Я очень рад, что она такая понятливая. Мы дошли до полного единства взглядов. Не знаю, как я набрался храбрости сделать ей это заявление. А теперь, видя ее положительную реакцию, я отбросил все сомнения. Ты сам знаешь, как я раньше себя вел...

Он помолчал, как бы приглашая меня вспомнить. В этом не было необходимости. Я прекрасно помнил, что он вечно привередничал и взвешивал, как бы взять что получше, да при этом еще не прогадать, — точно баба в лавке соль покупает. Поразительно резкая в нем произошла перемена. Я попытался проникнуть за толстые стекла его очков, сделав одно грязное предположение.

— Ты уже ее того? — Я сделал соответствующий жест.

---

[1] Любовную историю (*англ.*).

— О нет, клянусь тебе. Все остальное — пожалуйста, а это я сохраняю на будущее, чтобы вышел приятный сюрприз. Боюсь только, если буду и дальше откладывать, не получилось бы что-то вроде онанизма!

Он мог не трудиться продолжать свои клятвы, так как я ему верил. Он привалился к моему столу. Большими руками оперся на футляр машинки. Лицо было грустное, но не больное. Он всегда так выглядел.

— Итак, оказывается, — добавил он, — что брак имеет ценность религиозную, социальную и культурную. Можешь себе представить, как на меня давили мои родичи, чтобы я женился... — Он никак не мог закончить свой серьезный разговор. Я поспешил протянуть ему руку.

— В момент твоей свадьбы я еще, верно, буду на Бали. Поздравляю тебя заранее!

Он пожал мою протянутую руку.

— Ах да, я слышал, ты собираешься на родину. Это правда? Когда? Надолго?

Я не мог ответить на все его вопросы.

— Пока ясно одно: я уезжаю завтра вечером.

— Жаль, что ты не будешь у меня на свадьбе. А знаешь, мне ведь приходится буквально поститься, чтобы довести себя до надлежащей кондиции. Так что жизнь несладкая.

Он крепко встряхнул мне руку. Потом пошел к другим столам поделиться своими новостями с коллегами. Самым примечательным было то, что он не выглядел радостным женихом. Он точно вступал в совершенно исключительный период своей жизни. Такой серьезный, вздыхающий. То ли прощался со своей буйной удалью, то ли замучился с бесконечным оформлением бумаг и подготовкой к свадьбе, непонятно. Я заканчивал уборку. Но при этом меня смущал неотвязный вопрос: когда же я сам наложу на себя супружеские узы? Можно ли будет всегда обходиться услугами таких, как Нурма? А что же с Розой? Удовлетворюсь ли я одними лишь свиданиями с этой героиней моего романа?

Пока я раздумывал, как бы устроить еще одно свидание, пришел старик привратник. Он прикоснулся к моей руке.

— Пак, к вам посетители!

— Что?

— Посетители.

— Кто?

Он смешался. Что-то забормотал.

— Кто?!

— Понимаете, эти, что вчера приходили с посылкой... Погодите, пак, это я виноват, я виноват. Забыл ваше распоряжение. Они вас спросили, а я сдуру и скажи, что вы здесь. Они сейчас ждут внизу. Да еще говорят — если не застали, будут сидеть и ждать. Видно, им очень нужно.

Я не глядел на него. Он ждал.

— Так как же быть, пак?

Я не глядел на него.

— Простите, пак, простите, это моя вина, — запричитал он снова. — Но если вы не пожелаете их принять, я все улажу. Скажу, что вы уже ушли. Так и сделать, пак?

Я продолжал молчать.

— Простите, пак!

— Пускай ждут внизу! — крикнул я, хлопнув по столу. Совершенно убитый, старик пошел вниз. Меня точно втолкнули в клетку со змеями. Я продолжал свое занятие, потеряв к нему всякий интерес.

XII

До чего я обозлился, увидев, кто были эти посетители! Эту пару я ненавидел. Но отступать было поздно. Овладев собой, я подошел к ним. У меня хватило выдержки ответить на их приветствие достаточно любезно. Но я не мог скрыть своей напряженности. Их протянутые руки были для меня как колючий бамбук. Едва коснувшись их ладоней, я предложил им кресла. Сам остался стоять.

— У вас, верно, какое-то дело ко мне? — спросил я без околичностей.

Они улыбнулись смущенно и с подчеркнутой симпатией. Переглянулись, подавая друг другу знаки. Я ждал, глядя в сторону. Спиной я чувствовал прилипший ко мне взгляд сидевшего поодаль старого привратника. Ждать было муторно. Наконец заговорил супруг:

— Понимаете ли, пак, мы, вообще-то, уж давно в Джакарте. Никак не могли узнать ваш адрес, ну прямо-таки никто не мог нам его сказать. Мы уж ходили и в Кебайоран, и на Тосари[1], у них спрашивали, да ведь и они тоже не знают. А вам передали вчера посылочку? Там уж, верно, все испортилось?

---

[1] Кебайоран Бару — южный район новостроек в Джакарте. Тосари — улица в центральном районе Джакарты.

— Ах да, за посылку спасибо. Там все испортилось. Я ее выбросил.

— Вы уж нас простите, никак мы не могли вас отыскать...

— Ладно, неважно. Какое у вас ко мне дело?

Заговорила и жена:

— Бабуля — матушка-то ваша — домашнего адреса не дала, только рабочий. Мы сюда не раз и не два приходили, да вас просто никак было не застать. Правда.

— Ладно, это неважно. Вам еще что-нибудь надо?

Они переглянулись. Что-то вертелось у них на языке, но они не решались начать. Я предпринял попытку спастись бегством.

— Тогда, значит, все, — протянул я им руку. — Будьте здоровы. Извините, у журналистов работа очень сложная. У нас наверху совещание, мне надо там присутствовать. О'кей, до свидания.

Муж неуверенно пожал мою протянутую руку.

— Вообще-то есть одно дело, ом! — сказал он, не выпуская ее из своей ладони.

— Может, отложим до другого раза?

Они переглянулись. Жена покачала головой.

— Если можно, лучше бы сейчас, — отозвался супруг.

Я на минуту задумался. Если все время уклоняться от разговора, это дело так и останется нерешенным. Меня начала разбирать злость. Ну что ж, можно и иначе поговорить. Я пододвинул кресло.

— Хорошо, — сказал я сквозь зубы. — Вы что, все о том же деле?

Они несколько смешались. Жена подала мужу знак.

— Вот какое дело, ом, — снова начал муж. — Просим прощения, что мы вас все время беспокоим. Вы нам когда-то очень помогли...

— Ладно, ладно, давайте *to the point*[1]. Чего вы хотите?

— Так вот... Что ты, Сри?

— Да, да, продолжай.

— Так вот, пак, это, значит, моя жена Сри, а вам будет племянница, и мы с ней, как вы знаете, живем уже восемь лет. В материальном отношении у нас дела идут неплохо — трудимся помаленьку. Но вот загвоздка... Вам, наверное, известно, детей нам бог не дает. Вот, значит, какое дело, пак. Мы уж всех врачей-специалистов обошли, самых лучших,

[1] Прямо к делу (*англ.*).

все снадобья перепробовали, и балийские, и яванские, и китайские, — ничто не помогает. И меня, и жену обследовали — все в порядке, все прекрасно. Врачи говорят — ждите, надейтесь, да сколько же можно ждать...

— Это ваше дело. Я тут ни при чем. Чего вам надо, говорите короче.

— Вот какой вопрос, пак. Я хотя и не родня вам, но, как муж Сри, тоже немного в курсе. Насчет дочки Сри, которую вы себе взяли, как звать-то ее... Синта? Да, Синта. Мы вам хотели предложить... Что бы вы сказали, если бы мы ее взяли у вас и стали воспитывать? Мы понимаем, что это дело...

Я прервал его:

— О'кей, я вас понял. Вы, значит, хотите воспитывать Синту...

— Да, ведь детей-то у нас нет...

— А вы знаете, сколько времени я растил эту девочку?

— Да вы не думайте, пак, мы у вас ее не отнимаем...

— Почти одиннадцать лет. А знаете, что меня заставило взять эту девочку на воспитание?

— Извиняемся, пак, мы ведь не настаиваем, просто предлагаем...

— Еще бы вы настаивали. Понятно вам, что тут дело не в жалости, не в гуманности?..

— Да, да, я знаю. Мы уж думали, что вы не согласитесь, но вот жена моя все просила поговорить...

— Зарубите себе на носу, что тут вопрос не в жалости. Мне многие предлагали отдать ее, но я всем отказал...

— Да мы ведь не собираемся вводить вас в убыток, мы знаем, сколько вы на нее денег потратили...

— Не в деньгах дело. Плохо вы обо мне думаете. Я знаю, что вы можете заплатить в десять раз больше, чем я истратил...

— Да мы и не думали!

— Знаю я!

— И в мыслях не было!

— А что же тогда? Вы сколько уже времени ее преследуете?

— Да нет же, пак!

— Я вашей жене говорил! Не смейте изводить ребенка! Письма шлет одно за другим! А если девчонка свихнется, что тогда будет?

— Простите, пак, не гневайтесь, мы вовсе даже...

— Слушайте, что я говорю! Не смейте прерывать! Вам

ясно или нет? Это вопрос не денежный! И не в жалости тут дело!

— Да, да, мы понимаем.

— Нет, не понимаете! Если бы понимали, вы бы вашу жену приструнили, чтоб не смела ко мне приставать. Я десять лет жизни положил, чтобы девочку воспитать!

— Но ведь мы вам возместим все затраты, ом!

Я стукнул по столу. Трах!

— Слушай, тебе говорят! Это не денежный вопрос! К черту деньги! Ты можешь закупить всю «Сарину»[1], но у меня ничего не купишь! Тебе не расплатиться за то, что я выдрал из себя с мясом за эти десять лет! И не думай!

Трах! Трах! Я стучал кулаком по столу. Подошел старик, тронул меня за руку.

— Успокойтесь, пак, — уговаривал он.

Я уже вскочил. Стоял, готовый, кажется, учинить полный разгром. Вмешательство старика лишь еще больше распалило меня, и я решил разыграть сцену ярости.

— Я вас предупреждаю! — крикнул я. — Если вы двое будете приставать, я заявлю в полицию, что вы хотите ее похитить! *Мчдсак нбгффкклкдж гклпоиуйтре фгджклкджхгфхджлджлкдж!..* — добавил я наудачу несколько крепких балийских выражений. Они сидели, боясь пошелохнуться. Я повернулся к ним спиной и пошел наверх. На лестнице привратник поддерживал меня. Появился мой друг Зен и помог старику меня вести. Я сказал привратнику, чтобы он гнал их в шею.

— А не пойдут добром, убью на месте! — крикнул я достаточно громко, чтобы они это слышали.

Зен усадил меня в кресло. Он сразу сообразил, в чем дело. Предложил мне сигарету. Но гнев все еще бушевал в моей черепной коробке. Вспыхнули недогоревшие остатки прочих, не столь давних треволнений. Я сидел как избитый. На глазах выступили слезы негодования. Зен держал мою дрожащую руку. Он отогнал нескольких сотрудников, которые сунулись разузнать, в чем дело. Потом услышал, как Зен ответил на вопрос шефа:

— У него мать умерла...

---

[1] «Сарина» — универмаг в Джакарте.

XIII

Позже привратник пришел сообщить, что посетители удалились. Я стал собирать свои вещи, хотя меня все еще трясло. Отказался от услуг Зена, который вызвался проводить меня домой. В полном молчании погрузил свое имущество в хеличак с помощью старика привратника. Потом мы сердечно простились, как будто перед долгой разлукой.

По пути домой мне чудилось, будто те двое сидели здесь же, рядом со мной, в тесном хеличаке. Словно ощущая прикосновение их локтей, я говорил сам с собой и бил кулаком по сиденью. Я никак не мог взять в толк, как это люди могут вести себя настолько бесстыдно. Мне так и не удалось выяснить, что они вбили себе в голову насчет причин, по которым я удочерил Синту. И еще я не мог себе представить, до какой степени черствости надо дойти, чтобы не думать о том, какое будущее ожидает Синту в их доме. Что должна пережить девочка, вынужденная привыкать к своей новой родословной. Вряд ли возвращение к матери могло бы дать Синте какие-нибудь преимущества, кроме возможности жить в полном достатке. Мысль, что она станет копией своей родительницы, казалась мне невыносимой.

— Но это ты так думаешь, — вдруг услышал я чей-то голос. — Ты ведь боишься одиночества. Без Синты у тебя не останется никакого стимула для работы. Между тем, если Синта будет жить у тебя, разве сможет она закончить школу как следует? Ты прикрываешься ее интересами, а имеешь в виду лишь свои собственные.

— Нет! — возразил я.

— Возражать может каждый, да только правды от этих возражений ни на волос не убудет. Правда сама за себя говорит. Нет, скажешь?

— Это так, но не всякой правде надо подчиняться.

— Ясно одно: ты приносишь в жертву Синту, ибо ужасно хочешь сделаться героем. Что ты, собственно, значишь без Синты? Пора понять, что твоя хитрая уловка — занять как бы безвыходную позицию, дабы выйти из нее в образе героя, — в сущности, служит тебе одному, для других она бесполезна. Не так ли?

— Так!

— Ну, а как же насчет Синты?

— Я сделал из нее свой талисман!

— А еще?

— Пленницу — утеху моей души.
— А еще?
— Банк добрых дел!
— А еще?
— Ладно! Согласен. Я предоставлю выбор ей самой. Я сейчас же поговорю с ней. Если она предпочтет вернуться в семью своей матери, я отдам ее им. Ты доволен?

Хеличак подъехал к дому. Я вышел. Позвал тетушку, чтобы она помогла мне снять вещи. Расплатился. Нашел Синту. Она писала письмо у себя в комнате. Я вывел ее в гостиную. Усадил. Сейчас же все и решим.

— Синта! — начал я.

И стал объяснять, что вновь объявилась женщина, которая писала ей письма. Она предлагает Синте все то, о чем писала и раньше. Что Синта думает об этом? Я также дал ей понять, что ей ни в чем не станут отказывать, если она будет жить с этой женщиной. Да, я должен был все осветить объективно. Синта слушала, не разжимая губ. Понурив голову. Я заметил, что тетка прислушивалась к разговору из кухни.

— Так как, Синта? — спросил я.

Синта съежилась в комочек. Без всякого сомнения, она очень мучилась. Что поделаешь — я должен был выполнить свою обязанность перед ней.

— Так как? Подумай хорошенько. Ты с папой живешь уже десять лет. Сама видишь, как нам живется. И с едой, и с одеждой — все как бог пошлет. Живем в кампунге. Однообразно. Будущее мрачно. Все время какие-то огорчения. Здесь нет женщины, которую ты могла бы называть мамой. А у папы на тебя не всегда хватает времени. У тебя со мной никогда не будет такой жизни, как у детей, гуляющих по Ментенгу[1] или Кебайорану. В той семье ты получишь все, что ни попросишь, а у меня так не выйдет. Подумай, есть еще возможность переменить свою жизнь. Я тебе не препятствую. Здесь останешься — о'кей, поедешь к ним — о'кей. Ты не думай, я не буду сердиться на тебя, не буду тебя осуждать. Все это ради твоего блага. Только одна к тебе просьба: если ты действительно перейдешь к ним, ты тогда уж не приезжай ко мне в гости. Не потому, что я на тебя буду сердит, а просто потому, что я и они очень разные люди. Я хочу тебя вырастить хорошей, серьезной женщиной,

---

[1] Ментенг — район в центре Джакарты, где живет обеспеченная публика.

в которой по меньшей мере есть что-то свое, особенное. На Бали женщины очень редко стремятся выйти за привычные рамки. Поэтому, когда ты перейдешь к ним, никто тебя не упрекнет, если ты бросишь школу и будешь необразованной и ленивой. Там тебя будут ублажать, и ты сможешь сделать все что угодно, никто и слова не скажет. Здесь, как ты чувствуешь сама, я строго слежу за всеми твоими поступками, я хочу вылепить из тебя нечто определенное. Я знаю, это жестоко, но я поступаю так умышленно, ибо мне надо кое-что доказать. Поэтому я и предоставляю тебе решать самой. Хорошенько подумай. Я не стану...

Я говорил очень долго. Меня понесло, и я забыл, с кем имею дело. Иногда обращался к Синте, иногда к Розе, Нурме или еще к кому-то. Но говорил. Наверное, лишь затем, чтобы высказаться. Когда я замолк, Синта была совершенно истерзана. Она тихо, испуганно плакала. И изо всех сил старалась сжаться в комочек.

Я встал и отошел от нее. Походил по комнате, точно надсмотрщик на плантации. Увидел около стола несколько свертков. Я заинтересовался — это было явно не мое.

— Что это? — крикнул я, заподозрив что-то неладное.

Тетушка испуганно выглянула из кухни. В панике она не могла связать двух слов.

— Что это?! — снова крикнул я, вне себя от ее нелепого вида.

— Да вот... вот только-только сюда приходили...

— Кто?!

— Только сейчас... двое, муж и жена. Муж вроде как бы китаец, а жена сказала, что она...

— Кто она?!

Тетушка не смела пикнуть. Синта встала, направилась к себе.

— Не уходи, Синта! — приказал я. Она повиновалась. — Говори, что она сказала!

Тетушка заморгала.

— Оставила здесь эти свертки, сказала, гостинцы для...

— Как она себя назвала?!

Тетушка совсем сомлела от страха.

— Я, говорит, мама Синты...

Я заранее знал те слова, которые она никак не могла проговорить. Развернул свертки. Там были жестяные коробки с дорогим печеньем. Кукла, очень смешная. Несколько платьев и отрез на мужские брюки. Меня охватила ярость. Отфутболил их в кухню. Раз! Раз! Раз!

Синта перестала плакать. Тетушка глядела в страхе. Я вынул сигареты. Подождал, пока немного остыну. Потом ровным голосом отдал распоряжение тетке:

— Выброси все это! Немедленно! Живо!

Она быстро взялась за дело. Собрала вещи. Понесла вон, неизвестно куда. Глубоко затягиваясь сигаретой, я тоже вышел на улицу.

Было еще светло. На западе разгорелось небо. Я зашагал прочь от дома. Мне показалось, что Синта зовет меня слабым голоском. Но я шел вперед, не оборачиваясь. Девочка стояла перед входной дверью. Вечерний ветер трепал ее волосы. Лицо ее было скорбно. Но глаза лучились неизъяснимой прелестью. Мне удалось без остатка растворить себя в этих глазах. Должно быть, она никогда в жизни не забудет этого моего поступка. Хотя когда-нибудь и узнает, что на самом деле в ней нет ни капли моей крови.

Меня поглотил вечер. Можно было успокоиться, предавшись обычному утешению — свиданию с Розой.

XIV

Назовите это чем угодно. Скажу честно, я не мог отказать себе в этом. Тут была многолетняя потребность души, от которой так просто не отделаешься. И вот я стал готовиться. Место прежнее. Другого я и не знал. В другом месте было бы трудно начать. К счастью, все способствовало тому, чтобы мое предприятие удалось не хуже, чем в предыдущие разы. Самочувствие, правда, было не блестящее. Меня еще покусывала недобитая лихорадка.

Да и Роза не нарушила уговора, хотя за немногие прошедшие дни произошло немало перемен. Во время болезни во мне обнаружились серьезные дефекты. Но я не сдавался. Я хотел по-прежнему сидеть за рулем и направлять события. Подошел к Розе. Мы сели рядом. Она отчужденно молчала.

— Что с тобой, милая? — обратился я к ней.

— Я говорила ведь, что больше не могу. Я вышла замуж!

— Но все-таки ты пришла сюда!

— Да, пришла — чтобы покончить с этим.

— Совсем покончить?

— Совсем!

— Непонятно. Замужем, и прекрасно. Это нам ничуть не помешает.

— Какая дикость. Ты сам скорее женись. Мы люди, а не обезьяны.

— О, да ты стала совсем другая. Впрочем, если ты влюбилась в своего мужа, то это просто здорово.

— Дело не в этом.

— А в чем же еще?

— Не в этом, и все.

— Так в чем же?

Я стал умасливать ее. Наконец она опять стала прежней Розой.

— Ну ладно, в последний раз, — сказала она.

Мы отправились в наше старое место. Поцеловались. Проделали все как обычно. Увы, разменяв четвертую тысячу свиданий, мы поняли, что все страшно приелось. Пора кончать, пока не наступило обоюдное отвращение.

— В самом деле пора расставаться, — сказал я.

Роза плакала. Неизбежная разлука печалила ее.

— Дело в том, что мы, возможно, никогда больше не увидимся.

— Неверно. Полагаю, что мы когда-нибудь все-таки увидимся.

— Где?

— Ну, не стоит уточнять. Я и сам не знаю,— сказал я.— Должно быть, в загробном мире.

Роза засмеялась. Повеселела. Мы пошли гулять. Я предложил помолиться, каждый на свой манер.

— Сейчас не время для молитвы, — удивилась она.

— Ничего. Это ведь просто шутка.

— Разве с молитвой шутят?

Но потом она согласилась. И мы помолились, не покидая ресторана. Она по своему обряду. Я по своему. Официанта это весьма позабавило. К счастью, он не принял нас за сумасшедших.

Опустилась тьма. Мы все еще не расстались. И даже решили не расставаться до утра. Нам хотелось каких-то сногсшибательных поступков, которые не удались нам в прошлые свидания. Пойти на пляж поплавать. Побегать, как маленькие дети. Залезть на Монас[1] и стоять там, взявшись за руки. Не разнимая рук, спрыгнуть вниз, но не убиваться до смерти. Пройти по улице, привлекая к себе

[1] Монас — монумент в Джакарте в виде высокой мраморной колонны, увенчанной позолоченным изображением языков пламени.

взгляды и вызывая восхищенный шепот прохожих. Стать супружеской парой продавцов баксо, которые так захлопотались с клиентами, что им и помыться некогда. Насладиться друг другом на площади в потоке машин перед отелем «Индонезия». Желаний было много. Но мы ограничились тем, что выпили кофе и поели темпе перед входом в парк Исмаила Марзуки.

— Мы простые люди. И расстаться мы тоже должны просто, — шепнула она мне на ухо, жуя темпе.

— Мы должны выдержать характер, — сказал я в ответ.

— Ныне настал момент доказать, что среди бесчисленных газетных новостей нам всего важнее новости о нас самих, — добавила она.

— Правильно, милая. Это значит, что наше время не смогло нас купить, хотя оно и закупило на корню все остальное.

— И мы свободны и счастливы.

— По крайней мере в душе.

И мы сами смеялись над этими затрепанными фразами.

— Трудно найти какие-то новые слова, а? — сказала она с умным видом.

— Да нам и старые слова не все под силу запомнить.

Роза согласилась.

— Скажи свое самое любимое изречение, — попросила она.

Я подумал. И вдруг подпрыгнул от радости.

— Есть такое. Слушай: «Не смерть сама по себе ранит мое сердце, но твоя готовность принять все, что придет...»[1] Нет-нет, другое: «Давай готовиться к разочарованию, грустить без слов»[2]. Погоди-ка! Еще! Письмо Гамлета Офелии: «Не верь...»

Я прочел эти строки. Розу они тоже растрогали. Но у нее были, видно, свои любимые слова. Я настоял, чтобы она произнесла их. Она загадочно улыбалась. Довольно долго готовилась к своему номеру. Наконец сказала, все с той же бледностью в лице:

— *Мсмнчхкалмабхакиуаламатранабагамфчплач!*

Я захохотал во все горло. Роза улыбнулась, но не засмеялась.

---

[1] Цитата из стихотворения Хайрила Анвара «Надгробный камень». — *Перевод М. Болдыревой.*

[2] Из стихотворения «Здесь, на веранде, уж не слышен ветер» индонезийского поэта Гунавана Мохамада (род. в 1941 г.).

— Ну-ка, скажи еще раз, — попросил я.

Роза повторила, но немного по-другому:

— *Мсааббаннакаоаапаттаииииилаооолеипаладжханалпплакапплак!*

Я захохотал еще радостнее:

— Еще!

Роза повторила:

— *Мсмсммсммсммсммсммсмджсммсммсммсммсммсммсмсммсс...*

На сей раз это прозвучало как-то странно. Мне больше не хотелось смеяться.

В наступившем молчании произнесенные ею звуки показались мне самым грандиозным изречением во всей моей коллекции. Я задумался над ними.

— Я не могу изречь ничего порядочного, — сказала Роза с виноватым видом.

— Ты уже изрекла, милая. В твоих словах смешалось...

Роза притянула меня к себе, чтобы отвлечь от унылых мыслей. Я сразу понял, что сейчас не время для размышлений. И мы пошли дальше.

Вдруг мне подумалось, что во всякой любви должен быть элемент взволнованности. Она-то и отразилась на лице Розы, когда я искоса взглянул на нее. Такой бледной я ее никогда не видел. Ее тоже вдруг охватило уныние. Необыкновенное уныние и злость.

— Это какое-то немыслимое безумие! — громко крикнула она.

Чтобы не устраивать скандала в общественном месте, я потянул ее за руку. Может быть, я зря поил ее пивом. Или сам уже накачался. Во всяком случае, Роза, вопреки своему обыкновению, не послушалась и потащила меня в самую толпу. Громко крича, она обвиняла меня в том, что я ее совратил.

— Нет, я больше так не могу! У меня есть муж! Я приличная женщина! Я человек! Я не машина! Не кукла! Не раба! Не гулящая! Не...

Я поскорей потащил ее прочь. К счастью, она не слишком упиралась, и мне удалось увести ее подальше от людских глаз. Но Роза не переставала кричать:

— Я не пьяная! Я все ясно сознаю. Не смей меня тиранить. Не буду! Ухожу от тебя!

Она бросилась бежать. Я схватил ее за руку. Она вырывалась. Но я был посильнее. Сгреб ее. Она пыталась царапаться. Я дал ей пощечину. Она заплакала. Хотела

что-то крикнуть. Я зажал ей рот. Поволок в темное место. Обхватил руками. Она отбивалась. Мы оказались на земле, и я прижал ее к траве — это происходило на лужайке перед чьим-то домом; что случилось потом, я так и не понял. Нечто небывалое. Мне ведь раньше и в голову не приходило, что она когда-нибудь сможет пойти против моей воли. И дело совсем не в том, что рядом были люди. Они могли ничего и не видеть. Тем не менее это произошло. Эта женщина, находясь в здравом уме, навсегда отвергла меня. Ее никто не принуждал к этому. Она не пожелала сама. Только оттого, что сочла нашу связь бессмысленной. И значит, я не смог совладать с той, которая жила лишь в моем воображении. Ну и дела.

Я пытался допросить ее. Не вышло. Она уже вырвалась из-под моего контроля. Она была вне моего сознания. Она перестала быть плодом моей фантазии. Она сделалась обыкновенной женщиной со своими секретами, своим темпераментом и своими желаниями, которыми она не хотела поступаться. Словно по волшебству, пройдя через три тысячи свиданий, она ожила и унеслась прочь.

Я был ошеломлен.

Через некоторое время я обнаружил, что стою недалеко от кофейной лавки. Прислонясь к фонарному столбу, я глядел на ребятишек, бегущих за оборвавшимся воздушным змеем. Оказалось, что день еще не кончился. Меня ждали пленительные сумерки. Было хорошо, спокойно. Не слишком жарко. Дул легкий ветерок. Движение на улице поутихло.

Я тотчас двинулся к кофейне. Пытался еще отыскать где-нибудь следы присутствия Розы. Но что-то гнетущее словно навалилось на меня сверху, и я бросил поиски. Должно быть, пора освобождаться от этой идиотской привычки. Да и грезы мои, похоже, перестали служить утешением.

Потеря Розы обнаружилась со всей очевидностью, после того как я попытался привычными способами выманить ее из укрытия. Купил сигареты «Бенсон». Выпил кока-колы. Однако вернуть Розу и атмосферу наших свиданий не удалось. Они уплыли в невозвратное прошлое. В душе у меня что-то перевернулось. Я не испытывал больше мучительного страха, хотя и не ощущал при этом особой смелости. И стан моих врагов, казалось, поредел, рассеянный чьей-то неведомой рукой.

— Поправились, пак? — спросил хозяин кофейни.

Я дал ему пожать мою руку.

— Уже нормально, но слабость еще чувствуется.

— Вы лучше не выходите из дому по вечерам, — посоветовал он.

Я закурил пятую сигарету.

Мальчишки по-прежнему с криками гонялись за змеем. Один из них был в красной рубашке. Он оказался ужасно проворным. Вприпрыжку перебежал на другую сторону улицы, перескочил через забор и ухватил змея за волочившийся по земле хвост. Я представил себя на месте мальчугана. Увидать себя самого в ребячьей толпе было необычайно приятно. Мне вдруг стало весело.

— Значит, уезжаете? — спросил хозяин кофейни. — Когда?

— Наверное, завтра.

— Кланяйтесь всем домочадцам, всяческого им благополучия.

— Спасибо.

Хозяин кофейни сел рядом со мной. Несмотря на старость, ему незнакомо было чувство собственной неполноценности.

— Вам бы жениться надо, — сказал он серьезно.

Его совет ободрил меня — он словно подтверждал мои собственные мысли.

— Надо.

Он тоже закурил. Мы глядели на шумную ватагу ребят.

— Достатки наши никудышные. Кто еще о нас позаботится, как не мы сами, — сказал он, думая вслух.

Я не ответил. Но в душе поддержал его. Потом я ощутил, как на меня нисходит чудесное успокоение. Я стал молиться про себя, не выпуская изо рта сигареты.

Незаметно подкралась ночная тьма. Я бездумно смотрел на предметы, подсвеченные электрическим светом. Каменные стены домов словно скрывали какую-то тайну. Перекрестки были окутаны загадочным полумраком. Исчезли игравшие на улицах дети. Показался торговец скотенгом, за ним торговцы баксо и бакми.

Я не устоял перед желанием произнести вслух:

— Я здоров. Я не безумен.

— Что? — спросил хозяин кофейни, недоверчиво косясь на меня.

— Разве я безумен? — спросил я.

Он растерялся.

— Разве я не в здравом уме? — спросил я снова.

Он пододвинулся ко мне и вгляделся мне в лицо.

— Что это вы задаете такие вопросы? — удивленно спросил он.

Я объяснил, что у меня в роду были сумасшедшие. Не исключено, что может проявиться наследственность.

— Не думайте вы об этой ерунде, — посоветовал он, выслушав меня. Я рассказал ему о Розе. Он сидел как пришитый, внимая моему рассказу. Важно кивал головой, показывая, что он все прекрасно понимает.

— Я знаю ее! — вдруг сказал он с присвистом, повергнув меня в изумление.

— Вы знаете Розу?

— Да. Я ее знаю.

— То есть как знаете?

— А так! Что, странно?

— Быть не может!

— Да почему же?

— Не может этого быть. Розу никто, кроме меня, не знает.

— А я знаю!

Я от неожиданности рассмеялся. Как может кто-то знать Розу, живущую лишь в моих мечтах? Старик спокойно пережидал мое хихиканье. Некоторые посетители в кофейне уже обратили внимание на наш разговор.

— Откуда же вы ее знаете? — спросил я, сдерживая смех.

Хозяин кофейни отвечал совершенно спокойно, ничуть не сомневаясь в истинности своих слов:

— Да она сюда часто заходит!

Я разразился хохотом. Хозяин кофейни сохранял спокойствие.

— Что, не верите? — настаивал он.

— Верю! Верю! — поспешил ответить я с серьезным видом.

— Еще и не верит, — огорченно сказал старик. — Вот хоть его спросите, когда это я врал. Что, разве не так? — Он повернулся к кому-то, сидевшему неподалеку.

Старик, которому был адресован этот вопрос, ограничился кивком.

— Да вот и он ее видел, — добавил хозяин кофейни. — Она часто здесь бывает. Как бишь ее?

— Роза, — ответил я.

— Да, Роза. Часто здесь бывает. Всегда покупает сигареты «Бентул». — Он засмеялся. Засмеялся и я. Засмеялся и второй старик.

— Да ее не Роза зовут — Сарием, — вставил кто-то из присутствующих.

Мы опять рассмеялись.

— Нет, не Сарием! Ее зовут Дьях Питалока!— крикнул еще один клиент.

Мы снова засмеялись.

— Как звать-то ее, пак? — спросил кто-то.

— Пошел ты! — ответил я.

Мы опять засмеялись. Разгорелся веселый и шумный спор насчет особы по имени Роза. Оказалось, что она часто приходила в кофейню обслуживать иностранцев. Она была гермафродитом.

Разговор завернул неведомо куда.

Я вдруг спросил себя: действительно ли эти люди относятся ко мне по-дружески? С каждой минутой становилось все яснее, что мое присутствие было для них лишь поводом побалагурить. Это открытие ошеломило меня. Я поскорей расплатился за кока-колу. И тотчас смылся.

Они все еще смеялись. Было совершенно очевидно, что они смеялись надо мной. Вот сволочи!

XV

Я снова повстречался со своим приятелем. Он куда-то летел сломя голову.

— Ты здесь! — крикнул он. — Где я только тебя не искал!

— Что случилось?

— У меня родился сын. Все благополучно! Приходи посмотреть, ладно?

— Поздравляю!

Мы пожали друг другу руки. Лицо его искрилось радостью.

— Все обошлось, никаких изъянов. Вес три килограмма. Волосы густые. Он, наверное, будет богатырь вроде тебя, — говорил он вне себя от счастья.

— Поздравляю, — повторил я.

Он отпустил мою руку.

— Представляешь, как я волновался? Чуть не признался во всем жене. Хорошо еще, что-то меня удержало. И вот, все в порядке.

Он оседлал свой мотороллер.

— Куда едешь-то?

— Отбить телеграмму своим в Бандунг. Надо их известить про внука.

Он завел мотор.

— Приходи, ладно? Скажи в конторе, что меня завтра не будет!

Он укатил совершенно счастливый. А я оставался с тем самым, ради чего он поехал. Телеграмма. Какая жуть. Рождение здорового и желанного сына тоже не обходится без телеграммы. И тысячи покойников — это тоже телеграммы. При мысли об этом меня охватил страх.

Неподвижно висела ночная мгла.

Я плелся домой, погруженный в мечты.

Вдруг мне стало страшно возвращаться. Я повернул назад, в сторону кофейной лавочки. Безлюдье прибавило мне храбрости. Я хотел еще раз поговорить с хозяином кофейни. Действительно ли он надо мной издевался? И по какому праву? А может быть, обратиться к нему за помощью? У него ведь большой жизненный опыт, да и не похож он, собственно говоря, на злодея.

Неожиданно для себя в кофейне я обнаружил Синту, которая крепко спала, положив голову на стол. Она была в пижаме. И что-то сжимала в руке.

— Где пропадали, пак? Она вас уже давно ждет, — приветствовал меня хозяин кофейни.

Я не ответил. Дал ему понять, что меня немного обидели его недавние насмешки. Подошел к Синте. Погладил ее по голове. Она тихонько заурчала, точно котенок. Мне стало жалко ее будить.

— Почти целый час дожидается, — снова проговорил хозяин кофейни.

Я разжал Синтину руку. Взял то, что в ней было. А сердце мое тем временем уже колотилось все быстрее. Так и есть. Самое для меня страшное: телеграмма-молния из Денпасара. Я прирос к скамье, не смея распечатать телеграмму. Я уже знал, что в ней было.

Я снова вложил телеграмму в руку Синты, как будто таким способом можно было избавиться от этого послания. Спросил себе кофе и стал ждать пробуждения Синты. Наконец-то ожидаемое стало фактом.

— Что за телеграмма? — спросил хозяин кофейни, которому, видно, хотелось помириться со мной. — Что за телеграмма, сынок?

— Извещение о смерти.

— А кто умер?

— Матушка.
— Ох! Бедная. Когда?
— Что вы все спрашиваете!

Он замолк. Синта пошевелилась. Вздрогнув, прижала к себе телеграмму. Увидев, что я рядом, она попыталась улыбнуться. Я и сам попробовал, хотя и с трудом, улыбнуться ей в ответ.

— Телеграмма, пап!

Я кивнул:

— Я уже знаю.

Она отдала мне телеграмму. Я взял ее. Долго думал и наконец порвал. Синта молча глядела на меня. Она не удивилась. Мы оба знали содержание телеграммы. Мы были к ней готовы.

Потом мы молча шли домой. Мы не хотели усугублять тяжесть своей ноши.

Мы шли домой молча.

Шли домой молча.

Шли, шли, шли, не говоря ни слова.

— Папа! — внезапно услышал я.

Мои грезы рассыпались от мгновенного толчка. Я все стоял у того же фонарного столба, возле которого дети недавно гонялись за змеем. В двух шагах от себя увидел Синту. Она была не в пижаме. С выражением ласкового увещания глядела она на меня. Это была уже не маленькая девочка. Это была взрослая женщина, исполненная сострадания.

— Папа! — снова позвала она.

Никогда прежде она не произносила это слово, столь частое в наших разговорах, таким чарующим голосом. Я словно вынырнул из омута безнадежного отчаяния. Девочку нельзя было бросить на произвол судьбы.

— Синта, — ответил я, назвав ее по имени.
— Уже темно. Пойдем домой.

Я не противился. Она взяла меня за руку. Теперь мне будто уже ничто не угрожало.

— Ты ведь, папа, еще не совсем поправился, — сказала она немного сердито.

Я не противился. Я чувствовал себя как младенец на руках у любящей матери.

— Что ты там рассматривал?
— Дети гонялись за змеем.
— Дети, так поздно?
— Не сейчас, раньше.

— Ты опять мечтал, папа?
— Да.
— О чем?
— О Розе.
— Мечтать нельзя.
— Почему?
— А ты ведь сам говорил, что того, кто мечтает, — как это? — покарает жизнь.
— Покарает судьба.
— Да, судьба. И что надо иметь характер!
Я вздрогнул. Мы подошли к нашему мосту. Я посмотрел на девочку.
— Ты что, папа?
— Была телеграмма?
Синта удивленно покачала головой:
— Нет.
— Правда?
— Правда.
— ПРАВДА?
— Правда. Какая телеграмма? Ничего не было.
— Правда?
— Правда.
Я не поверил.
— Не обманывай, Синта.
Синта удивилась еще больше.
— Не было телеграммы.
Я немного успокоился. Подвел Синту к краю моста. Предложил ей посмотреть на реку. Вода была грязная и вонючая. Но в лунном свете все вокруг окуталось обольстительным флером. Плоты, нагруженные овощами. Люди с удочками на берегу. Кто-то бренчал на гитаре. Течение было спокойно. Огоньки на плотах блестели, как светлячки. У берега стояло несколько больших грузовых лодок. Бугийцы[1] на палубах начали готовить себе ужин. Запах жареной рыбы долетал до моста, смешиваясь со зловонием. К лодкам спустилась какая-то толстуха и крикнула: «Балу! У тебя родился сын! Подожди, завтра еще не уезжай!» С лодки ответили: «Постой там, я сейчас сойду. Ишь поганец. Уже родился!»
Синта изумилась. Я смотрел равнодушно.
Балу спустился с палубы и подошел к своей матери.

---

[1] Бугийцы — жители Южного Сулавеси, искусные моряки, занимающиеся межостровными перевозками.

Они немного повздорили, но оба, похоже, были счастливы. Балу был темнолицый, с длинными, похожими на клещи руками. Мать дородная, но бойкая. Взвалив на плечи мешки с рисом, они стали подниматься по обрыву, обсуждая предстоящую ритуальную трапезу по случаю рождения ребенка. Поприветствовали рыбаков, сидевших с удочками. У этих людей был свой дом. Но им не нужны были телеграммы. Их не тревожили никакие вести. Они жили простой, естественной жизнью. Их дом стоял у самого берега. Они пили речную воду, куда сбрасывались все городские нечистоты, но никогда не болели дизентерией. Они наслаждались этой простой жизнью, к которой не в состоянии приспособиться умники. И все же я не хотел, чтобы меня звали Балу. Мне необходимы были телеграммы, пусть даже пугающие меня до полусмерти. Я мог зажечь в небе луну, когда ее там не было. А Балу не мог объяснить словами того счастья, которым он владел.

Синта потянула меня за руку.

— А луны-то нет! — сказала она с удивлением.

И правда, не было. Но что я мог ей ответить?

— Пойдем домой, пап. Что ты опять размечтался? Луны не было. Балу не было. Телеграммы не было. Розы не было.

— Значит, телеграммы правда нет? — вновь спросил я.

— Прав-да!

И тогда мы пошли домой.

Теперь уже я вел за собой Синту. Скоро показался наш дом. Окно было открыто. Я увидел, что там кто-то есть. Вроде бы женщина. Наверное, Роза.

— У нас никого нет, — сказала Синта. — Это тетя.

XVI

Я не решался войти в дом. Я вдруг совсем другими глазами взглянул на эту дверь, которая проглатывала меня столько лет подряд. Страшно себе представить, сколько дней своей жизни я провел за этой дверью. В одних и тех же заботах, в окружении одних и тех же вещей и людей. Как это я не думал раньше, что каждый раз проходил в нее как на заклание.

Синта тянула меня за руку: «Ну, пойдем!»

Нет. Я не мог туда возвратиться. Девочке было невдомек, какое побоище происходило у меня в голове.

Недоумевая, Синта продолжала тянуть меня вперед.

— Ну что же ты, папа? Пойдем же. Опять потом заболеешь.

Я закурил, чтобы потянуть время.

— У тебя кружится голова? Ты выпил, папа?

— Нет.

— Пойдем же домой.

— Да-да, сейчас.

— Пошли!

Я не двинулся с места. Синта опять потянула меня за руку. Я начал злиться.

— Пошли же, папа. Пойдем домой!

Эти попытки Синты водворить меня в дом что-то изменили в моем отношении к ней. Хотя я, кажется, давно подавил в себе мысль о том, что мы не связаны кровными узами, все-таки расстояние, разделявшее нас, увеличивалось по мере того, как она взрослела. Пройдет время, и она станет обыкновенной женщиной, а я обыкновенным пожилым мужчиной. Думать о любви будет странно. Эта мысль покоробила меня, и я разозлился еще больше. Убеждая себя в том, что она моя родная дочь, я всегда приносил себя в жертву.

— Я не хочу домой!

— Почему?

— Я не хочу домой! Прекрати!

— Ты опять заболеешь...

— А-а!..

Я раздраженно отмахнулся от нее. Девочка умолкла. Тихонько отпустила мою руку. То ли с обидой, то ли с испугом, то ли еще с каким неведомым мне чувством она отступила и пошла к дому. Мне было все равно, что она подумала. В голове точно что-то сверлило. Я был вне себя от злости. Стал гореть затылок. Так бы, кажется, и ухнул в воду, если б только можно было в ней утопиться.

Я сидел у цементного парапета моста, дымя сигаретой и глядя на свой дом. Синта вошла в дверь и больше не показывалась. Только тетушка выглянула в окно и смотрела с каким-то... уж не знаю, с каким выражением. Мне было все равно, что она думала. Мне казалось, что иногда я все-таки имею полное право не заботиться ни о ком, кроме самого себя. Поэтому я и сел прямо на асфальт, привалившись к цементному ограждению. Вряд ли когда-нибудь еще я наберусь смелости посидеть таким манером.

Проехал велосипедист. Прошел продавец скотенга. Люди шли и шли. Они не глядели на меня. Очевидно, то, что я расселся на пешеходной дорожке у самого края моста, казалось им нормальным. Кто знает, быть может, у меня для этого вполне подходящий вид. Моя одежда, волосы и физиономия, вероятно, вполне сообразуются и с местом, которое я выбрал, и с моей позой. А может, дело было в том, что я сам не ощущал никакой неловкости.

Отсюда я обозревал окружающий мир. Теперь уже под новым, ранее неизвестным мне углом зрения. Я превратился в цемент, в камень, в фонарный столб, которые судьба поместила у края дороги, чтобы они коротали здесь дни и ночи, безучастно созерцая и дождь, и жару, и прочие события. Я превратился в мутную, маслянистую воду под мостом, годную разве для подмывания. Я стал лягушкой, вскачь перебиравшейся через дорогу, чтобы устроиться в сточной канаве возле натыканных внизу домишек. В этом перевоплощении было своего рода утешение.

Я узрел свои собственные глаза на лице продавца баксо, который мерно постукивал по чашке, зазывая покупателей: тинг! тинг! тинг! Я стал велосипедным колесом, катившимся по кучам нечистот на берегу реки.

Я мог стать чем угодно, стоило только выбрать. Затем я увидел в своем доме некоего человека, его приемную дочь и его тетку. Человек этот жил, увязнув в своих добрых деяниях, которые он отпускал в кредит. Он жил, мечтая о свиданиях с некоей Розой, и уже не мог отличить, где кончаются его видения, а где начинается расплата за его собственные дела. Он ужасно хитро рассчитал, что в будущем ему зачтутся все его добродетели. Он был очень рад завязнуть в такой позиции, где можно ничего не выбирать. Он нарочно создавал себе такие условия, которые вынуждали его к героическим действиям. Он стал палачом для самого себя. Он втайне надеялся на то, что каким-то чудом сможет жениться на своей приемной дочери, когда она войдет в возраст.

Он отправился в свое родное захолустье, забив себе голову черт знает чем. Вообразил, будто навлек на себя ненависть земляков, якобы потому, что он был бунтарем, борцом за новые ценности. Современным человеком, отбросившим заплесневелый этикет, как страшную заразу. Он вооружил свою смятенную душу рядом тезисов, позаимствованных у разных выдающихся личностей. Он решил, что ждать больше нельзя. Он явился, чтобы все

предать разрушению. И породить что-то новое, согласное, по его мнению, с духом времени.

Он купил цветы и настроился проливать слезы. Он вошел в родной дом, словно Ромео с киноэкрана, увидевший распростертое тело Джульетты. Он был уверен во всех своих предположениях. Между тем его мать, которую он считал умершей, на самом деле стояла, окруженная родственниками, на автобусной станции, ожидая его прибытия. Он не обернулся к ней. Фигура старой женщины показалась ему плодом расстроенного воображения. Он прошел мимо. Направился прямо к ее постели. Припав к подушке, помолился о том, чтобы душа этой женщины была благосклонно встречена на пороге райской обители. Он не замечал ни прикосновения ее руки к своему плечу, ни ее горячих слез, ни отчетливо слышимых рыданий. Он пошел на кладбище к тому месту, где она, по его мнению, была погребена. Все члены семьи последовали его примеру, не исключая и самой матери. Он стал на колени у могилы. Рассыпал на ней цветы. Выполол сорную траву. Подобрал себе на память старинную монету. Помянул все добрые дела и помолился об отпущении всех грехов. Между тем старушка, поглаживая сына по голове, пыталась пробудить его от этих безумных грез. А обступившие их родственники подавали разноречивые советы.

Затем этот человек возобновил свою войну с пережитками. Ему казалось, что все пытаются связать его по рукам и ногам. Между тем окружающие словно начисто забыли о том, что он еще способен принимать на себя какую бы то ни было ответственность. Он пытался вводить новые, ранее не слыханные способы общения. Он никогда не раскрывал рта без нужды и пренебрегал обменом любезностями. Он бранился в открытую, не считаясь с приличиями ни в каких ситуациях. Он утверждал, что обо всем говорит прямо и честно. Он только радовался, когда его называли сумасбродом, помешанным, тронутым, себялюбцем и наглецом.

В течение двух месяцев ему удавалось привлекать к себе общее внимание. Но затем экономические трудности и другие, более значительные события отшибли у окружающих всякую охоту следить за ним. В конце концов к нему притерпелись. Стали смотреть на него как на пустое место. Выдвинулись новые, более интересные люди и проблемы. И если его усилия и привлекали чей-то мимолетный взгляд, то в этом взгляде была исключительно жалость. Тогда он понял, что возомнил о себе нечто несусветное, и начал

потихоньку съеживаться, пока не превратился в лопнувший пузырь. И он покорился судьбе, став проделывать все то, чего ожидали от него другие. Эпопея закончилась.

Потом этот человек вернулся в Джакарту. Он не сумел стать героем. Ему пришлось начинать жизнь с нуля. Присмотреться повнимательнее, какой формы у него большой палец и сколько морщин у него на локтях. Он точно приклеенный сидел на каком-то мосту. Он сходил с ума. Он был разбит вдребезги. Он презирал себя и хотел покончить с собой. Но не сделал ничего, чтобы доказать подлинность этих своих чувств и желаний. Он оказался самым обыкновенным трусом.

От меня разило алкоголем. На секунду я остановил бег своих мыслей, закуривая новую сигарету.

Мой приятель уже был тут как тут. Он тоже сидел и курил. Неподалеку я заметил его мотороллер. Мне показалось, что он тоже углубился в самосозерцание. Я толкнул его локтем. Он лениво замычал.

— Хорошо тут иногда посидеть, — сказал он.

— Как твоя жена? — спросил я. — Уже родила?

Он замешкался с ответом. Лицо его окутывали клубы дыма.

— Да, — глухо ответил он наконец.

— Все в порядке? Как новорожденный?

Мой приятель издал тяжелый протяжный вздох.

— У него была продавлена голова. Нос гноился. Одна нога вывихнута. Рот провален до самого горла. На животе тонкая, прозрачная кожица. Ребенок вышел вместе с грязным кровяным комком, и моя жена чуть не погибла. Он умер сразу. А я медленно агонизирую.

Он глубоко затянулся. Я не прерывал его.

— Всему когда-нибудь приходит конец. Много лет я тревожился за свою маску, и вот она спала с моего лица. Узнав, кто я такой, они переполошились, точно увидели блудодея, осквернившего святыню. Они завыли, как собачья стая в лунную ночь. Они меня прокляли, точно я совершил жестокое убийство. Можешь вообразить, как я страдаю от этого удара судьбы.

Я глубоко сочувствовал его беде.

— Что же мне теперь делать? — вопросил он придушенным голосом.

Я не ответил. Он стал молиться. Потом стал бить себя по голове. Обрушил на себя ужасные, отвратительные

проклятия. После этого забился в рыданиях. Я уже не отличал его от себя самого.

К мотороллеру подошли трое мальчишек. Они нас не заметили, а может, решили, что мы посторонние. Это были, верно, малолетние бродяги, которые сейчас во множестве нахлынули в город из деревень, чтобы разжиться подаянием к празднику. Они начали играть в пятнашки вокруг мотороллера. Потом попытались взобраться на сиденье. Сначала с опаской оглядывались по сторонам. Но затем, видя, что им ничего не угрожает, осмелели. Втроем взгромоздились на седло. Стали крутить руль и подстегивать машину, точно коня.

Мой приятель продолжал плакать. Ему, вероятно, очень хотелось поплакать, и я не стал его успокаивать. Следил только, чтобы он с отчаяния не натворил чего-нибудь. Например, не сиганул бы в воду или не полез под колеса проходящей машины. Но сидеть и смотреть на то, как он упивается своим горем, было в конце концов скучно. Я уж совсем собрался его покинуть.

— Ты куда? — окликнул он меня.

Я передумал. Стал наблюдать за ребятишками. Им скоро надоело скакать верхом на коне. Решили прокатиться по-настоящему. Начали высвобождать боковой упор. Это им долго не удавалось, и тогда один из мальчишек, потеряв терпение, довольно сильно толкнул мотороллер. Трак! Упор расфиксировался, громко щелкнув. Ребята испугались. В тот же миг засверкали пятки. Мотороллер повалился набок.

Мы с приятелем, ругаясь, подняли машину. К счастью, серьезных повреждений не было, кроме вмятины на передке. Однако этого оказалось достаточно, чтобы развеять скорбь моего приятеля.

— Проводи меня домой!

Я не смог ему отказать. Устроился на заднем сиденье.

Но мы не сразу поехали к нему домой. Мы пустились по городу куда глаза глядят. Шныряли взад-вперед в водовороте машин. Шпарили встречным наперерез, веселясь от души, и наконец остались без бензина. После этого мой приятель, не желая идти пешком, предложил каким-то бродягам толкать мотороллер, а мы восседали на нем, как цари. Все бензоколонки были закрыты, но мой товарищ не хотел покупать бензин у уличных торговцев. И вот эти нищие толкали нас почти два километра.

Нам открыла его жена. Живот ее раздулся до предела. Я сдал ей с рук на руки осовевшего мужа. Женщина не

спрашивала, что случилось. Она вообще не имела привычки о чем-либо допытываться. До рождения младенца, которое так тревожило ее супруга, оставалось, пожалуй, меньше недели.

Двенадцать часов.

Первый час.

Можно считать, что час.

Точнее, до часу еще тридцать пять минут. Мои мечтания мне осточертели.

Я шел домой. В кофейне готовились к закрытию. Я обменялся приветствиями с хозяином, только чтоб не проходить молча. Говорить нам было не о чем.

— Добрый вечер!

— Добрый вечер!

— Закрываетесь?

— Да. Все уже разошлись. А вы домой?

— Да.

— Вас тут Синта искала.

— Вот как? Ну пока!

— Пока!

Я перешел мост.

Продавец скотенга уже стоял на своем обычном месте.

— Хелло!

— Хелло, пак!

— Как торговля?

— Понемногу.

— Ну привет!

— Привет!

Уже почти у самого дома увидел ночных сторожей, игравших в домино.

— Добрый вечер!

— Добрый вечер! Еще не спите, пак?

— Гулял вот.

— Когда на родину поедете?

— Наверное, завтра. Ну привет!

— Привет!

И вот я стоял перед дверью. Лампа еще горела. Я заглянул в дом. Синта лежала на циновке. Я постучал. Синта потянулась. Постучал еще. Она проснулась. Потерла глаза. Взяла ключ и открыла дверь. В глаза ударил слепящий свет керосиновой лампы. Синта зевнула. Не сказав ни слова, она повернулась и ушла в свою комнату.

Я запер дверь. Проверил окна. Переоделся. Вышел в уборную. Вымыл руки. Убавил свет. Еще раз проверил дверь.

Пошел к себе. Лег. Увидел сон. Встал весь в поту. Выпил воды. Опять вышел. Опять лег.

XVII

Я проснулся утром. Светило солнце. Тикали часы. Было еще не жарко. Тетушка уже пришла. Она сварила кофе и поджарила рис. Я выпил кофе и съел риса. Покрутил радио. Посидел с сигаретой. Пришло в голову: отчего мы не выдерживаем длительных нагрузок? Ответил самому себе: оттого что мы ленивы. Но ленимся мы потому, что некогда весьма усердствовали.

Я посмотрел в окно. Листья пальм слегка колыхались. Все выглядело обыденно. Пробежали дети с воздушным змеем. Пошла к своим клиентам девушка, работавшая в сауне. Проехал на мотороллере служащий сельскохозяйственного управления. Отправился на базар продавец темпе. Ушел на службу Али. Я ждал. Почтальон по мосту не проходил. Синта проснулась, поспешно встала. Она сердилась, что ее не разбудили пораньше. Поворчала на тетушку. Пошла мыться под душем. Я стал собирать вещи в дорогу. Открыли шкаф. В нем оказались тараканы. Побили тараканов. Я с увлечением занялся уборкой в шкафу. Тетушка попросила денег на покупки. Я выдал двести рупий. Синта закончила свое купанье, оделась. Я поговорил с тетушкой.

— Тетя, мы уезжаем сегодня вечером.

— Когда вернетесь?

— Через месяц.

— Ладно. Я присмотрю за домом.

— Да, пожалуйста.

Тетушка пошла на рынок. Я вытащил на солнце чемоданы. Синта наблюдала за мной. Помогла мне с чемоданом. Поставила утюг. Я перебирал старые бумаги. Унесся мыслями в прошлое. Радио передавало песни Джоан Баэз. Я вспомнил детство. Помечтал о женитьбе. Представилось будущее.

Тетушка вернулась с рынка.

Последовали обычные дела.

В полдень пришел мой друг. У него родился ребенок.

В двенадцать тридцать раздался крик Синты: она сожгла утюгом платье. В час тетушка отпросилась домой, приглядеть за больной родственницей. Я кончил упаковывать вещи. Кажется, все важное сделано. Стал ждать. Появился моро-

женщик. Съели мороженого. Потом я пошел в контору келурахана. Снял телефонную трубку. Попросил соединить меня с авиакомпанией «Гаруда». Самолет ДС-9 вылетал в двадцать два пятьдесят пять по западноиндонезийскому времени. В девять надо быть в аэропорту. Там же и купить билеты.

Вернулся домой. Синта писала письмо подруге: отменяла назначенную встречу. Стало ужасно жарко. Я опять зарылся в свой архив. Нашел какой-то конверт. Должно быть, неотправленное письмо. Распечатал. Это было письмо, которое я написал самому себе тринадцать лет назад. В старой орфографии. Там было вот что:

«Друг мой,

я не могу себе представить, каким ты стал теперь. Наверняка очень многое изменилось. Сейчас, когда я пишу это письмо, ты — мой величайший враг. Когда я стою перед твоим отражением в зеркале, мне всегда кажется, что на меня с непередаваемой насмешкой смотрит мой противник. Ты прилежно и неукоснительно следишь за мной. Всякий раз, когда мы вступаем в схватку друг с другом, ты выходишь победителем. Ты безжалостен, упрям и никогда не отчаиваешься. Сначала я знал тебя ребенком, который, как щенок, повсюду бегал за тобой. Ты развлекал меня своими вопросами, в которых было столько внимания к моей особе. Но потом твои вопросы участились, и я то и дело бывал ими посрамлен. Как будто я не был сам себе хозяином. Как будто я никогда не сделал абсолютно ничего стоящего. Я даже пришел к выводу, что не имею права на малейшее уныние и досаду. Именно тогда я заметил, что ты изменился. Ты больше не ходил за мной хвостом. Лишь проносился мимо, точно подгоняемый дьяволом, никогда не упуская случая хлестнуть меня коротким замечанием, повергавшим меня в долгое раздумье. С тех пор меня в любых обстоятельствах стало преследовать чувство вины. Это чувство я вначале усиленно гнал от себя. Я думал, что это просто эмоции. Разве могу я поднять это гигантское бремя бесчисленных обязанностей? Разве могу я снести это всеохватывающее злосчастье? Но упорное сопротивление наконец погубило меня, и я попался в твою западню. Однажды я влюбился в девочку девяти лет. Она воплощала в себе идеал женщины. Все в ней было прекрасно, начиная с форм ее тела и кончая смыслом ее речей. Когда она беседовала со мной, я был совершенно счастлив. Чувство это было поистине глубоким. Но ты, видно, сумел разгадать мою тайну. Ты смотрел мне в лицо крас-

ными глазами и находил самые грязные слова, чтобы опорочить мои намерения. Ты осыпал меня проклятиями. Моим уделом были позор и поношение. Я осудил себя и отправился в одиночное заключение. Я наказывал себя, а моя вина все возрастала. Но, как ни странно, потом я привык к наказаниям. И даже нуждался в них, они подстегивали меня, когда нужно было поднять в себе боевой дух. Потом я познал продажных женщин. Это избавило меня от вредной привычки. Но ничто не могло по-настоящему утешить меня. Наконец мне повезло — я встретил Розу. Она сумела дать мне счастье, хотя ты и ненавидел ее. Затем меня осенило: не пора ли мне покончить с собой? Так я и жил, полный сомнений в правомерности своего существования. И правда, зачем? Зачем все, если я обречен повторять поступки своих предшественников? В чем состоит моя особая роль? То, что делаю я, могут сделать и другие. Так зачем же все? Я хотел узнать свою судьбу и по возможности пойти навстречу ей. Однажды, в новогодний вечер, я ехал в автобусе. Все окружавшие меня люди были молоды — и шофер, и пассажиры, и помощник шофера. Никто из этих ребят меня не знал. Мне стало стыдно. Я почувствовал себя попутчиком, задержавшимся в чужом времени. Я тотчас отправился домой, колотя себя по голове. В комнате на меня обрушилась тишина. Мне стало ясно, кто я такой. А ты уже стоял в дверях. Красноречиво безмолвствовал. Ты ждал, — ждал, что я буду делать теперь. Я был окончательно сражен стыдом. Ничто — ни сон, ни похоть — уже не могло исцелить меня. И я написал это письмо. Может быть, ты когда-нибудь прочтешь его — если еще захочешь что-либо для меня сделать. В конце концов мои родители, сестра, полиция, знакомые должны будут понять меня. Остается только ждать этого момента. Я молюсь. Мне необходим лишь небольшой толчок.

Как ты думаешь...»

Читать дальше стало скучно. Я положил письмо на место. Мне больше не хотелось кончать с собой. Я хотел жить.

Наступил вечер. Приближалось время отъезда. Тетушка вернулась. Ее родственница осталась жива. Я включил радио. Синта все еще писала письмо. От соседей пришел мальчик за открывалкой для лимонада. Заглянул один знакомый, спросил о каких-то планах на ближайшее будущее. Я ответил коротко. Он ушел. Снова ожидание. Я стал перебирать, не забыл ли чего. Зубная щетка, мыло, трусы,

удостоверение личности, саронг, пояс, одеколон, кольцо, деньги, пиджак, брюки, полотенце, «Бхагавадгита»[1], авторучка, шляпа и прочее. Все собрано. Посмотрел в шкафах. Больше ничего не понадобится.

Синта спросила, когда мы можем вернуться. Я ответил. Она спросила, как быть с началом занятий в школе. Я не знал. Ответил: «Посмотрим». Опять заговорил с тетушкой. Дал краткие указания.

Четыре часа.

Пять часов.

Шесть часов.

Семь часов.

Мы сели ужинать. Почти не разговаривали. Тетушка подавала. Она плакала. Синта притворялась, что не хочет плакать. Я помалкивал.

Семь тридцать. Вынесли чемоданы на веранду. Оделись. Я покрутил радио. Джазовая музыка. Смутно вспомнил о Розе. С успокоенным сердцем я наслаждался окружающим.

Восемь часов.

Постучали в дверь. Тетушка выглянула посмотреть, кто там. Вернулась с листком бумаги. Телеграмма. Сердце екнуло. Распечатал. В ней было то, что я и предполагал увидеть. Матушка скончалась.

Первоначальный план не изменился. Все шло так, как мы и задумали. Синта молчала. Мы все молчали. Но никто из нас не сошел с ума. Один человек умер. Другие остались, чтобы жить. В один прекрасный день отправят телеграммы и о нас, а другие все так же будут продолжать свое существование. И они то получат телеграммы. Но и тогда останутся живущие. Вот ведь как!

---

[1] «Бхагавадгита» — древнеиндийская этико-философская поэма, входящая в «Махабхарату».

Утуй Татанг Сонтани

КОЛОТ-КОЛОТОК

(Сказ)

Возвращается буйвол в стойло,
Где его родила буйволица.
Паджаджаран[1] — наши истоки,
наша отчизна.

(Из сунданской народной легенды)

Уже в наше время в скромном уездном городке Приангерской провинции проживал один старец. В прошлом всесильный ведана, он ютился вместе с женой в обычном, простеньком домишке. Между тем оба они происходили из славных старинных родов: старика некогда звали Раден Картакусума, а его жену — Энден Ратнанингрум. Но теперь, обращаясь к ним, никто больше не произносил этих сладкозвучных имен, ограничиваясь невразумительными прозвищами папаша и мамаша Карта.

Старую женщину это нисколько не смущало — не все ли равно, как тебя называют. Но бывший ведана никак не желал мириться с подобным кощунством и не переставал ворчать, так что мамаше Карта то и дело приходилось его урезонивать. Недоволен же он был не только новым именем, сетуя на все на свете, чего не мог принять или взять в толк.

Еще когда вторая мировая война только захлестнула Индонезию и голландское владычество сменилось японской оккупацией, папаша Карта почувствовал, что с миром творится неладное. Прежде всего он не мог согласиться с непочтительным теперь отношением к нему, ведане, который еще совсем недавно был подобен драгоценному зонту, укрывающему под своей благодатной сенью все уездные земли. Стоило ему тогда появиться на улице — и каждый встречный приседал на корточки, не смея оторвать глаз от земли, а служащие городской управы, являясь на аудиенцию, неиз-

[1] Паджаджаран — полулегендарное средневековое государство на западе острова Ява, на территории исторической области Прианган (Приангер), населенной сунданцами.

менно начинали и завершали свои доклады и прошения смиренными поклонами. Даже голландцы, перед коими он отчитывался в своих деяниях, ни разу не оскорбили его ушей бранным словом. Но под японцами богоподобный ведана стал заурядным чиновником, вынужденным ублажать презираемую им солдатню. Не однажды выслушивал он при этом грубые реприманды за мнимую нерасторопность.

Ко всему прочему он уже тогда стал подмечать в народе огорчительные признаки развращенности и упадка нравов. Забыв боязнь и стыд, все вдруг с головой окунулись в немыслимые махинации. Благо бы только взрослые! Даже дети подключились к этому шабашу, припрятывая до времени продукты и одежду, чтобы потом сбывать их по баснословным ценам. Да, насколько он помнил, при голландцах ничего похожего не случалось. Позже кое-кто узрел в сем свидетельство духовного раскрепощения индонезийской нации, иначе, дескать, не смогла бы разрешиться и сама революция.

Всякий раз, когда папаше Карте приходилось слышать подобную несусветицу, его губы морщила презрительная усмешка. «Нет, — твердил он про себя. — Какое там раскрепощение! Варварство и упадок нравов — вот что это такое!» Да и мог ли он без горечи думать об этой революции? Ведь едва в городе прослышали о провозглашении независимости, как в его покои ворвалась толпа незнакомых ему людей и потребовала, чтобы он немедленно убирался из управы. Они обозвали его голландским псом, заклятым врагом народной свободы, припомнив об ордене, полученном им некогда от правительства Голландской Индии.

О Аллах! Его сердце чуть не разорвалось от возмущения, а перед глазами замелькали пестрые светлячки. Папаше Карте даже показалось, что земля дрогнула и быстро-быстро завертелась под его ногами. «Что мне сказать этим неотесанным мужланам?» — билось у него в мозгу. Или голландские власти удостоили его высокой награды не потому, что он ненавидел варварство и неусыпно охранял порядок и благопристойность? Разве не при его участии схватили тогда шайку наглых разбойников, так похожих на этих вломившихся к нему прощелыг? Но от смешения чувств он не смог выдавить из себя ни слова.

К счастью, прежде чем земля совсем ушла у него из-под ног, на помощь подоспел их юный отпрыск Хидаят, благодаря вмешательству которого папаше Карте удалось тогда избежать насильственного выдворения, а то и побоев. И хотя он в конце концов оставил резиденцию веданы, переезд

в новое скромное жилище произошел без неприятностей, вполне пристойно. Только сын после этого почти перестал показываться на глаза родителям: вместе с другими сверстниками он навесил на плечо винтовку, поддавшись общему безумию.

Утрата высокого положения и вынужденная необходимость жить скромно на положении простолюдина надломили папашу Карту. Еще печальнее, что по теперешней бедности ему пришлось расстаться со второй женой, точнее, наложницей Салмах, которая тоже успела родить ему сына.

— Ну и времена настали! — возмущался папаша Карта, узнавая о новых неурядицах и вспоминая прежнее житье-бытье. — Светопреставление, да и только! Нет, ты вообрази, — в который раз втолковывал он жене, — цены на рис растут изо дня в день, уже за десять рупий перевалили! В деревнях орудуют поджигатели и грабители, а в городе нет отбоя от женщин, которые открыто предлагают себя мужчинам. Вот тебе их свобода, завоеванная революцией! Да-да, я знаю, что разброд и непотребства принесли к нам варвары японцы. Это они растлили наш народ! И все же я никак не уразумею, почему нынешние власти не в силах снова навести должный порядок, почему, учредив собственное правительство, мы не сумели вернуть цивилизацию! Вспомни-ка! Прежде рис стоил всего восемь сэнов, а смутьянов незамедлительно бросали в тюрьму. Ты скажешь, что и тогда были женщины, торговавшие своим телом. Но много ли? Разве что танцовщицы ронггенга вроде Салмах. А как я поступил с ней? Взял в наложницы, снова сделал порядочной женщиной! Так знаешь, чем отличается прошлое от нынешнего, наше время от сегодняшнего дня? Мы с тобой жили в нормальное время, когда люди прислушивались к голосу совести. Теперь же мы стоим в преддверии конца света, и знамение тому — разврат и утрата стыда. Или, может, я не прав?

Бедной женщине оставалось лишь кивать головой в знак согласия. Тогда папаша Карта успокаивался, хотя глаза его еще долго горели ярким пророческим пламенем. Но однажды между супругами произошел более пространный обмен мнениями. Начал его, как всегда, папаша Карта.

— Нден, ты слышала, сейчас много говорят о... Как это называется, когда присваивают казенные деньги?

— Кор-руп-ци-я, — отозвалась мамаша Карта.

— Вот-вот! Слово-то какое мудреное, где тут упомнить!

Да, в наше время про такие дела и слыхом не слыхивали. Теперь же, сказывают, даже чиновники, те, кому поручено управлять страной, сами не прочь набить карманы за счет казны. Вот тебе еще одно доказательство, что ныне всем заправляют казнокрады и разбойники!

— Я полагаю, что нам негоже столь резко судить обо всем этом.

— Отчего негоже? Зачем хорониться от правды?

— Просто мне кажется...

— Кажется? — гневно взглянул на жену папаша Карта. — Что там еще тебе кажется?

— Как знать, не причастен ли к этому и наш Хидаят.

— Хух! — Глаза старика чуть не выскочили из орбит. — Хидаят присваивает казенные деньги? — Дыхание у него сперло, а руки невольно сжались в кулаки и сами собой забарабанили по подлокотникам кресла. — Но ведь наш сын... — выдавил он наконец, наморщив лоб, — но ведь Хидаят не чиновник, а всего-навсего офицер. Какое отношение он может иметь к властям предержащим?

— Я ведь только высказала предположение, — спокойно разъяснила мамаша Карта. — Хидаят живет далеко в Джакарте, и мы здесь не можем знать обо всем наверное. Я говорю так лишь потому, что уж очень неспокойно у меня на душе. Но это всего лишь предчувствие старого материнского сердца, и дай-то бог, чтобы я заблуждалась!

— А с какой стати появилось у тебя такое предчувствие? Уж не во сне ли ты что увидела, или, может, тебе был глас свыше?

— Ты ведь сам понимаешь, что офицеров деньгами не балуют. И хотя Хидаят служит уже давно, он едва ли мог бы выделять нам из своего жалованья столько, сколько посылает каждый месяц. А в последнем письме он еще хвастается, что обзавелся собственной машиной. Или ты уже запамятовал? И машину, говорит, приобрел, и нам-де больше высылать будет, ибо господь не забывает о нем в своем милосердии. Помнишь, он и нас просил вознести за него молитвы Всевышнему, чтобы тот и впредь не лишал его своей милости. Вот эти-то слова и породили сомнение в моем сердце. Действительно ли источник доходов Хидаята чист и угоден господу, или же все обстоит как раз наоборот?

Папаша Карта надолго умолк, и сразу стало видно, как он постарел за последнее время, какими печальными сделались его глаза, как безжизненно свисают по углам рта седые усы.

— Как же нам быть, коли твои предчувствия окажутся верными? — тихо произнес он, словно обращаясь к самому себе.

— Мне остается только молиться, чтобы господь по-прежнему покровительствовал всем его начинаниям, — отозвалась мамаша Карта. — Да и найдется ли на земле хоть одна мать, которая стала бы просить Всевышнего ввергнуть ее сына в пучину несчастий?

— Так-то оно так, — вздохнул папаша Карта. — И все же следует кое о чем напомнить Хидаяту. Вместо того чтобы просить нашего благословения издалека, он сам должен бы сюда приехать. В наше время сыновья всегда считали своим долгом навещать родителей в праздник — каждый лебаран, независимо от того, нуждались они в их молитвах или нет. А Хидаят уже который год носа не кажет.

— Это потому, что он очень занят по службе...

— Ну уж нет! Занят, видишь ли! — Голос папаши Карты взмыл вверх, обретя былую силу. — Просто он не желает соблюдать древние обычаи. Плевать ему на святость лебарана! Это во-первых. А во-вторых, я для него всего-навсего старая рухлядь, которой можно пренебречь. Славные предки, заселившие приангерские земли, оставили нам в наследство много мудрых изречений, в том числе и такую присказку: «*Колот-колоток*»[1]. А означает она, как ты знаешь, что мы, старики, точно деревянные колокольцы на шее буйвола, которые и на вид неказисты, и сто́ят недорого. Только и могут, что бренчать, раскачиваясь на веревочке, обмотанной вокруг загривка...

— Но с помощью такой погремушки всегда можно узнать, куда буйвол забрел, на чьем лугу пасется, легче его найти, — переиначила мамаша Карта. — Однако что делать, дети не помнят больше наших мудрых пословиц. Нам остается лишь смириться.

— Смириться? — удивился папаша Карта. — Как так смириться?

— А вот так. Давай накануне лебарана сами пригласим письмом Хидаята приехать к нам сюда. Только я думаю, что приглашение следует послать не ему одному. Нельзя забывать и о другом нашем сыне. Пусть в этот день соберется вместе вся семья.

— Что? О другом сыне? — И без того наморщенный

[1] «Колот» — по-сундански «старый человек»; «колоток» — деревянный погремок на шее буйвола. — *Прим. автора.*

лоб папаши Карты стал похож на жеваную бумагу.

— Да. О том, что родила Салмах и которого ты назвал Косасихом.

Папаша Карта напрягся, забыв сделать очередной вздох, как если бы увидел привидение; казалось, что сердце в его груди совсем перестало биться. Ведь он так и не успел ничего сделать для сына своей наложницы, даже не помог ему встать на ноги. И разве его тогдашняя женитьба на Салмах не отдалась болью в душе Энден Ратнанингрум? Почему же теперь она сама завела разговор о Косасихе?

— Значит, ты... — уставился он на нее широко раскрытыми глазами, — значит, ты считаешь и Косасиха своим сыном?

— А как же иначе? — ответила жена. — Особенно теперь, когда его родной матери больше нет на свете.

— Значит, ты... — папаша Карта все еще не верил собственным ушам, — ты считаешь, что оба моих сына — это и твои дети?

— У меня не два, а три сына. Хидаят — он только второй, Косасих — третий. Ну а первый... первый — это ты сам!

— Хух! — только и вырвалось из раскрытого рта папаши Карты. Он так и остался сидеть с отвисшей челюстью, не в силах вымолвить чего-либо членораздельного. Затем он закашлялся, а когда справился с этой напастью, молча поднялся и, сгорбившись, с трудом заковылял к своему ложу.

Хидаят обосновался в Джакарте в обставленном по последней моде старом особняке с пристроенным к нему гаражом. Занимал он его вдвоем с женой, если не считать двух слуг мужского и женского пола. Находясь далеко в Приангере, мамаша и папаша Карта не могли, конечно же, знать, как эти хоромы попали в руки сына и что происходило за их каменными стенами. Вообще-то говоря, они со времен японской оккупации были мало осведомлены о занятиях Хидаята, ибо он воздерживался от откровенных бесед с родителями, справедливо полагая, что те, особенно отец, не одобрят его поведения.

Жизнь тогда становилась день ото дня тяжелее, поскольку японцы грабили всех без зазрения совести, отбирая отнюдь не только наследственные драгоценности. Людям приходилось рядиться в мешковину и набивать желудки варевом из сушеной тапиоки. Хидаят же в этих условиях стал обделывать делишки, которые никоим образом не могли прийтись по вкусу папаше Карте: где-то раздобывал и пере-

прятывал с места на место контрабандные товары. Причем в отличие от других перекупщиков двигала им отнюдь не нужда или страсть к наживе, а скука и жажда острых ощущений — школу он только что окончил, а карьера чиновника представлялась ему малоинтересной. Уж если действительно ловить за хвост удачу, лучше подобных опасных забав ничего не отыщешь. Да и кое-что из добычи всегда можно было подкинуть какой-нибудь красотке, чтобы переспать с ней пару ночей.

Но вот разразилась революция, и Хидаят сразу посерьезнел, понял, что жизнь не забава, а хитрить и изворачиваться приходится не только ради развлечений. Прозрение наступило, когда ему пришлось оборонять отца от толпы, вломившейся к ним в резиденцию.

«Бедная, бедная мама! — обливалось кровью его сердце. — Как-то ей!» Побуждаемый сыновней любовью, он быстро разыскал в шкафу кусок красной материи, обмотал им голову и прокричал преисполненным пафоса голосом, стараясь при этом ради пущей убедительности как можно больше таращить глаза:

— Друзья! Революцию надлежит защищать не здесь, не в этом доме, а в городах, куда ступила нога супостата, стремящегося снова надеть на нас ярмо колониального гнета! На днях мой отец сам добровольно покинет помещение городской управы. Не будем же попусту тратить свои силы. Сбережем их для того, чтобы дать отпор истинным врагам свободы и изгнать их с нашей земли!

Произнеся эту тираду, он думал не об отце, не об утрате им своего высокого положения. Совсем нет. Он жаждал оградить от унижения дорогую маму, которая любила его всем сердцем и уже немало настрадалась из-за того, что супруг взял себе вторую жену. Раздобыв вскоре винтовку и уйдя с партизанами, Хидаят по-прежнему думал не столько об отце, сколько о бедах, обрушившихся теперь на его мать.

«Ради благополучия матери!» — убеждал он себя всякий раз, когда представал во всеоружии перед владельцем плантации или какого там заводика, чтобы взыскать с них мзду. Вслух он, конечно, предлагал им, как и другие командиры диких отрядиков, оказать посильное содействие делу победы революции, памятуя о том, что ее защитники нуждаются в пропитании и амуниции. Но кто, скажите на милость, мог бы проверить, откуда все эти самозваные начальники берут деньги и на что их тратят? Единственное, что в те годы подвергалось контролю, — это мера преданности революции.

А здесь заслуги Хидаята были налицо. Недаром его отряд получил официальное признание, будучи включенным в ряды регулярных формирований. Самого же его утвердили в офицерском звании, обязав, с учетом уже накопленного опыта, ведать армейским снабжением.

Завершение революции отнюдь не оборвало военной карьеры Хидаята и не закрыло перед ним перспективы для дальнейшего совершенствования такого опыта и его использования в целях самообогащения. Правда, поначалу, оказавшись в мирной обстановке, он было растерялся: что же им, офицерам, делать дальше? Но руководители молодого государства дали на этот счет вполне четкий ответ. «Армия, — заявили они, — является звеном государственной структуры, призванным охранять безопасность страны». Следовательно, ему тоже надлежало заботиться о благополучии Республики Индонезии, только что отстоявшей право на независимое существование. Беседуя же как-то с одним из своих начальников, Хидаят услышал и нечто иное. «Мы не просто сторожевые псы революции, — настаивал тот. — Истинные ее сыновья, ею порожденные, мы, военные, призваны до конца выполнить свою миссию и стать хозяевами в собственной стране».

Руководствуясь этими разъяснениями, Хидаят избавился наконец от необходимости задавать себе новые вопросы, а вскоре, заручившись расположением начальства, получил и вполне устраивающее его назначение: как только в стране было введено чрезвычайное положение, ему поручено было поддержание порядка в своем военном округе, где действовало еще немало диких отрядов. Одновременно он должен был самостоятельно решать все снабженческие и прочие экономические проблемы.

Новые, самые благоприятные возможности приложения сил в сфере материального преуспеяния вскоре обернулись и новыми духовными запросами. Во всяком случае, его мысленный взор был обращен теперь не к страдалице матушке, а совсем к другой, неотразимой в своей красоте женщине, ставшей по этой причине объектом вожделения мужского сословия.

«Дабы завоевать сердце Комалы!» — повторял он теперь про себя всякий раз, когда подсчитывал доходы, обильно наполнявшие его карманы благодаря умелому маневрированию в пределах предоставленных ему прерогатив. И то ли вследствие солидных размеров этих доходов, то ли из-за солидности его собственного положения и ладно сидящего

офицерского мундира Хидаяту в конце концов удалось заручиться благосклонностью прекрасной Комалы, которая согласилась выйти за него замуж.

Комала была не только хороша собой, но и достаточно сообразительна, чтобы рассматривать свою красоту в качестве капитала, который открывал перед ней дорогу к вершинам жизненных успехов. В девичестве она грезила о карьере кинозвезды, окруженной, как в Голливуде, всеобщим обожанием. Но теперь, когда этот капитал оказался монополизированным только одним человеком, прежние девичьи мечты уступили место неодолимому желанию поскорее перебраться в Джакарту, чтобы там с помощью мужниных денег свить шикарное гнездышко, уснащенное всеми этими манящими воображение вещичками, поступающими прямо из-за границы. К счастью, супруг отнесся к ее устремлениям с должным пониманием, и ей не пришлось долго ждать их осуществления. Для Хидаята же подобная передислокация менее всего означала отказ от прежних способов самофинансирования, нимало не беспокоивших его высокое начальство.

Дело в том, что именно тогда в Джакарте появилось много предприятий, конфискованных у иностранных владельцев. Однако после национализации то и дело стали возникать и неурядицы, и Хидаяту как-то раз доверили роль третейского судьи в решении очередного конфликта. В награду же за успешное осуществление этой миссии и проявленное рвение его оставили там же директорствовать.

— Твоя задача — поставить дом на широкую ногу, — заявил он жене. — Деньги же, сколько бы ни потребовалось, — моя забота.

И потекли дни, заполненные примеркой нарядов, выбором драгоценностей, обедами в фешенебельных ресторанах и посещением клубов с танцами на западный манер. Так из месяца в месяц, наряду с заботами по экипировке собственного дома.

Однако со временем Комала стала ощущать смутную неудовлетворенность. «Доколе можно терпеть это коловращение?» — раздражалась она, мучаясь в глубине души совсем иным: почему у них до сих пор нет детей? Как-то в разговоре с мужем эта подспудная мысль сама собой вырвалась наружу.

— Я уже примирилась с тем, что мне пришлось расстаться с мечтой о карьере кинозвезды, — вздохнула Комала. — Главное, чтобы у нас родился сын — гордость каждой матери.

Хидаят проявил полную солидарность, и, чтобы поскорее решить эту проблему, они стали консультироваться у известных врачей, а затем зачастили к знахарям — то вдвоем, то по отдельности. Но, несмотря на все усилия — и это более всего огорчало Хидаята, — фигура его супруги не обнаруживала каких-либо признаков, свидетельствовавших о появлении будущего наследника. Комала же делалась все раздражительнее, утратила интерес к развлечениям и нарядам, а с мужем общалась лишь по крайней необходимости.

— Что с тобой? — не выдержал тот однажды. Но Комала не обмолвилась ни словом и только странно взглянула на него как бы с ответным вопросом.

— Что с тобой? — повторил он на другой день.

— Не делай из меня дуру! — взорвалась Комала и продолжала, осуждающе тыча в него пальцем: — Это все ты, ты виновен в моих страданиях! Твое грязное поведение в прошлом, твои амуры со всякими шлюхами!

Парировать было нечем, и Хидаяту оставалось лишь с тревогой взирать на черные тучи, все плотнее сгущавшиеся над их семейным очагом. Не осмелился он протестовать и когда Комала решительно покинула супружеское ложе и перебралась спать в другую комнату. Потом она стала одна отлучаться из дому, а Хидаят только тяжело вздыхал, провожая жену жалобным взглядом. Тем не менее однажды им все же пришлось стать соучастниками небольшой дискуссии касательно письма, полученного Хидаятом от родителей. Сетуя на одиночество, они выражали свое настоятельное желание видеть у себя на близкий уже лебаран сына вместе с невесткой. Хидаят дал жене прочитать письмо и спросил, согласна ли она поехать к его старикам, чтобы выполнить их просьбу.

— Ну уж нет, не желаю! — отрезала Комала.

— Почему так?

— Мы уже побывали у них, у меня до сих пор мурашки по спине бегают, стоит вспомнить, как пришлось подползать на корточках к твоему папаше, а потом сидеть, скрючившись, перед ним на полу. Избавь, пожалуйста, от этой пытки.

— Так то отец. Мы же поедем, чтобы навестить мать. Письмо-то написала она.

— Без разницы! — отозвалась Комала.

— Не скажи. Мать вовсе не похожа на отца. Она такая же женщина, как и ты.

— Все равно не желаю! Может, еще прикажешь, чтобы я там притворялась, как безумно счастлива с тобой?

Хидаят какое-то время молча сжимал и разжимал кулаки, стараясь восстановить душевное равновесие.

— Ну а если я поеду один? — выдавил он наконец.

Веер, которым обмахивалась Комала, пока шли переговоры, неожиданно упал на пол. Шея ее напряглась, а грудь высоко вздымалась.

— Скатертью дорожка! — почти провизжала она. — Только я в таком случае уеду к своим родителям.

— Надолго?

— Как знать. Захочу вернуться — вернусь. А не захочу — так тому и быть! — И Комала гордо прошествовала к себе, оставив супруга с отвисшей, как у идиота, челюстью.

Протерев пятерней физиономию и уняв дрожь в коленках, Хидаят тоже ретировался в свою комнату, где бессильно опустился в кресло и долго сидел в нем, бессмысленно глядя в пустое пространство.

«Где же мое мужество? — вздохнул он, наконец поднимаясь и подходя к зеркалу. — Где мое умение владеть собой и скрывать свои чувства?» — спрашивал бравый офицер свое отражение. Потом он вытащил из кармана гимнастерки наган, с которым никогда не расставался, хотя так и ни разу не воспользовался. Еще более помрачнев и стиснув зубы, Хидаят взвел курок. Раздался выстрел: бабах! Но стрелявший по-прежнему твердо держался на ногах, только зеркало, недавно являвшее миру его хмурую физиономию, разлетелось на тысячи осколков.

Косасих, еще один сын папаши Карты, тоже находился в Джакарте. Но жил он в отличие от брата чуть не в сарайчике, да и утварь в этом, с позволения сказать, доме была самая что ни на есть необходимая — ничего лишнего, а тем более дорогостоящего. Случилось же так потому, что история переезда Косасиха в столицу имела совсем иную подоплеку.

Времена голландского владычества не оставили каких-либо отпечатков в его младенческом сознании. Уже много позже он узнал, что его отец считался тогда важной персоной, а мать сначала танцевала и пела на площадях в труппе ронггенга. Да и о периоде японской оккупации у Косасиха осталось самое смутное представление. Единственное событие, которое врезалось в его память, — поездка их класса куда-то в сельскую местность сажать хлопок, чтобы тем са-

мым внести вклад в дело победы японского оружия. На обратном пути учитель насыпал в карманы каждого из них, малолеток, по горсти купленного риса, который благодаря этому ухищрению благополучно миновал все контрольные пункты и не был конфискован солдатами.

Прозрение, что происходящие вокруг события достойны того, чтобы хранить их в памяти и попытаться как-то осмыслить, пришло к Косасиху вместе с революцией, после того как отец развелся с его матерью и ей вместе с сыном пришлось вернуться в родную деревню. «Значит, мы всего-навсего бедные крестьяне», — с горечью подумал он тогда, глядя на развалюху, где им предстояло ютиться.

Затем произошло нечто, о чем забыть было уже невозможно. Однажды ночью в селение нагрянули вооруженные люди и заставили их с матерью выйти из домика, который тут же подожгли. Мать, глядя на пламя, завыла во весь голос, хотя, как он подметил, из ее глаз не выкатилось ни слезинки. Косасих все время хотел о чем-то ее спросить, но рвущиеся наружу слова застревали в горле.

«Зачем они жгут крестьянские дома, вместо того чтобы идти с ружьями в город и сражаться там с врагами революции?» — так можно было бы сформулировать вопросы, не заданные тогда подростком. Вскоре, правда, объявился добрый человек, сумевший терпеливо объяснить, отчего так происходит. Он растолковал, что вооруженные отряды бывают разные: некоторые влились в ряды официальных воинских формирований, а другие по тем или иным причинам отказались это сделать. «Тех, что сожгли ваш дом, не устраивала тактика революционной борьбы, которой придерживается регулярная армия, а потому они не пожелали слиться с ней. Понять их несложно. Они считают, что прежде всего нужно укрепить базу революции, продолжить ее в глубинке, а уже потом наступать на города. И это правильно. Но не все их действия можно оправдать. Для чего еще больше накалять обстановку и жечь крестьянские дома? Цель революции состоит в замене старой жизни на новую, а не в обострении ситуации. Ведь революция призвана не усугубить, а, напротив, облегчить положение народных масс, защитить их».

Многое услышал тогда и запомнил на всю жизнь Косасих от этого человека, который тоже возглавлял один из диких отрядов. С тех пор Пак Усман стал путеводной звездой Косасиха, поведавшего ему о своем самом заветном желании. «Пак Усман, — попросил он его, — возьми меня в отряд! Я хочу всегда быть рядом с тобой».

Так началась его бродячая жизнь. Мать пристроилась у соседей, а их отряд то и дело передислоцировался с места на место, из одной деревни в другую, пока командир не отдал нового распоряжения. «Теперь наша тактика меняется, — разъяснил он однажды. — Мы прекращаем вооруженную борьбу и создаем Партию, которая и станет самым действенным оружием революции. Пришло время расселиться по городам. Но в новых условиях мы должны сохранить бдительность и строго следить за действиями армии. Это во-первых. Во-вторых, в городах следует быть осмотрительными, избегать всяческих соблазнов, мы не вправе думать о сегодняшнем дне и личном благополучии, поскольку наша конечная цель — строительство счастливого будущего».

И на сей раз слова командира прочно угнездились в сознании Косасиха и зажгли яркий огонь в его глазах. Он снова повторил, что хотел бы всегда быть рядом с Паком Усманом и готов следовать за ним повсюду. Даже не вспомнив о матери, не зная, что с ней, жива ли она вообще, Косасих окунулся в суету городской жизни. При этом о нормальном — как у всех — существовании, а тем более о каком-либо достатке, желании обогатиться говорить не приходилось. Как и прежде, надлежало то и дело срываться с чуть насиженного места, менять обличье, словно ты оборотень.

«Ничего не поделаешь — Партия все еще в опасности», — пояснял Пак Усман, подбрасывая сухих дров в костер души Косасиха.

Когда же Партия сумела добиться внушительной победы на всеобщих выборах и перешла на легальное положение, Косасиху, как партийному функционеру, было велено перебраться на постоянное жительство в Джакарту. Там он попрежнему непосредственно подчинялся самому Паку Усману, который вскоре помог ему просватать некую девицу, приглянувшуюся Косасиху еще раньше, в Бандунге. Но и после свадьбы они с женой жили в своем домике скромнее скромного, готовые в любой момент сменить адрес. Косасих не усматривал в этом ничего из ряда вон выходящего. И не только потому, что слова, сказанные Паком Усманом тогда в деревне, навсегда полонили его сердце, как и последующее разъяснение, что Партия все еще находится в опасности. Но прежде всего оттого, что сам Пак Усман, которого звали теперь попросту Бунг Ус, являл собой образец предельной непритязательности, имея разве что крышу над головой.

Уже будучи в Джакарте, Косасих разузнал, что мать, которую он оставил в деревне, давно умерла. Но что поде-

лаешь: борьба без жертв не обходится. А совсем недавно ему сообщили, что его старший брат по отцу тоже находится в Джакарте, живет в огромном доме и ворочает большими деньгами. Поскольку просить брата переехать в другой город Косасих не мог, приходилось быть начеку, вести себя наподобие мыши по соседству с кошкой.

И все же, несмотря на все предосторожности, в один прекрасный день к нему домой явился вестовой в военной форме с письмом. На вопрос, кто велел вручить это письмо, солдат назвал имя его брата. Удивление тотчас сменилось подозрительностью, которая, стоило Косасиху вскрыть конверт, только усугубилась, собравшись на его лбу глубокими морщинами. Письмо оказалось от матери брата. Но она называла себя и его матерью, а потому настоятельно просила приехать с женой к ним на ближайший лебаран.

Морщины так долго не распрямлялись на челе Косасиха, что жена, кончив возиться на кухне и заглянув в комнату, вынуждена была спросить, не случилось ли чего.

— Все в порядке, Мими, — опамятовал Косасих. — Ничего особенного не произошло.

Уняв, как ему казалось, любопытство жены, Косасих вскочил на велосипед и закрутил педалями к Бунгу Усу.

— Бунг Ус, — обратился он к нему. — Есть важное дело, которое следует обсудить. У меня дома только что был солдат и передал письмо, что уже само по себе крайне странно, поскольку непонятно, откуда военные могли узнать мой адрес. К тому же выяснилось, что пришел он по поручению моего старшего брата, а что за фигура мой брат, не мне тебе объяснять.

— Ясно. А дальше?

— Возникает еще один серьезный вопрос. Письмо оказалось от матери брата. Она называет меня своим сыном, пишет, что давно соскучилась, и просит, чтобы я навестил их на ближайший лебаран.

Бунг Ус призадумался, нахмуря брови, но отреагировал почти сразу:

— Что касается того, каким образом они узнали адрес твоего дома, который, естественно, не может теперь служить конспиративной квартирой... — не будем торопиться с выводами и подождем дальнейшего развития событий. Содержание же письма следует рассмотреть с двоякой позиции — с точки зрения семейных связей и политически. А политика, как ты знаешь, наш полководец.

— Да, конечно. Именно поэтому я считаю, что моя поездка была бы очень полезной... в смысле осуществления выдвинутых Партией задач. Ведь мы должны просвещать отсталые слои населения, а мой отец — самый что ни на есть темный аристократ!

Бунг Ус расхохотался:

— Ну если дело обстоит столь серьезно, тебе, несомненно, следует съездить к родителям!

На этом они распрощались, и Косасих поспешил обратно домой, где его ожидали новые испытания. Жена, которую он оставил в прекрасном расположении духа, сидела теперь потупившись, с кислой физиономией.

— В чем дело, Мими? — поинтересовался Косасих. Женщина, прежде чем ответить, сузила злые глазенки:

— Уж не знаю, кем ты считал меня все это время — только прислугой, готовящей тебе еду, или еще и удобной подстилкой на кровати?

— Господи! Да что с тобой?

— Насколько я соображаю своим тугим умишком, мы поженились для того, чтобы вместе делить радости и невзгоды. Но ты общаешься со мной лишь в постели и еще когда приносишь деньги на расходы по хозяйству. Все прочее у тебя окружено секретами. Вот и сейчас ты опять юлишь, что-то скрываешь от меня.

— А, вот ты о чем. Хорошо, сейчас все объясню. Я только что получил письмо. Вот оно. — И Косасих протянул жене конверт.

Ознакомившись с написанным, Мими совсем раскипятилась:

— Гляди, письмо касается нас обоих: меня тоже зовут в гости. Но ведь ты собирался утаить это, обмануть меня. Ответь по совести, ты собираешься к своим родителям сам или вместе со мной?

Косасих почувствовал замешательство. То, что Мими может быть такой злюкой, было для него новостью. Поборов растерянность, он попытался обстоятельно ее вразумить:

— Видишь ли, Ми, все, что касается меня, касается и Партии. И если я поеду к родителям, эта поездка будет конспиративной, ее следует рассматривать как выполнение партийного поручения...

— Скажи уж проще, что не хочешь брать меня с собой, — оборвала жена продолжение грозившей затянуться лекции. — Я давно по горло сыта твоими разговорчиками

о Партии, о всяких конспирациях и светлом будущем. Ты только и знаешь, что обижать и мучить меня. Но мое терпение лопнуло. Больше так жить не желаю! Лучше уж отправь меня обратно к родителям! — И, выплеснув все, что накопилось у нее на душе, Мими ударилась в слезы.

Косасиху, ошарашенному этими излияниями, оставалось только молчать себе в тряпочку. Когда же ему удалось снова обрести четкость мысли, губы его растянула горькая усмешка. «Да, — подумал он, — теперь ясно, что Мими никак не назовешь прогрессивной женщиной. Нам действительно лучше расстаться...»

На лебаран, как то повелось исстари, папаша и мамаша Карта облачились в чистые одежды и разместили на расстеленной посреди комнаты циновке угощения для гостей — разные там печенья и чай. С самого утра к ним стали заглядывать соседи, но подолгу никто не задерживался — приходили лишь затем, чтобы обменяться поздравлениями и испросить друг у друга прощения. Хозяева же на иное и не рассчитывали, поскольку в этот благословенный день ожидали встречи и разговоров совсем с другими гостями — издалека. И вот наконец перед их домом остановился роскошный лимузин, из которого вышел Хидаят при всех своих офицерских регалиях.

— А где же Комала? — спросила мамаша Карта, когда все трое уже сидели на циновке.

— Она просила передать свои извинения, ма, — ответствовал Хидаят. — На этот лебаран ей пришлось уехать к родителям.

— Ха! — удивился папаша Карта. — Значит, каждый из вас, ты и твоя жена, живет по-своему?

— Что делать, отец, — отозвался Хидаят. — Таковы теперь порядки: каждый должен иметь собственную голову на плечах и волен поступать, как того пожелает.

— Но ведь жена — плоть от плоти мужа своего или по меньшей мере обязана заменять ему мать, не так ли?

— Конечно. Но так было прежде, в наше время, — вмешалась мамаша Карта.

— Странно, — снова подал голос папаша Карта. — Удивительно слушать про эти нынешние порядки. Уж будь добр, Хидаят, разъясни мне, старому, куда это вы, дети Приангана, путь держите. Испокон века следовали мы нашим обычаям и заветам предков, всегда считали, что основу человеческого общения составляет взаимное благо-

расположение и доброжелательность, что каждый должен являть другим чистоту своих помыслов, служить образцом достойного поведения. И чем воспитаннее человек, чем чище его помыслы, тем большим уважением пользовался он всегда среди окружающих. Ныне же...

— Да, ты прав. Духовная сторона личности теперь действительно не ставится столь высоко, — поспешил с ответом Хидаят. — Теперь важно не то, что скрыто внутри нас, а то, что можно заметить даже невооруженным глазом. Глаз же видит лишь наше физическое присутствие в этом мире.

— Ты хочешь сказать, что уважают лишь тех, кто ворочает большими деньгами? — уточнил папаша Карта.

— Скажем иначе: кто достаточно силен и прочно стоит на собственных ногах.

— Но что проку от физического самоутверждения, коли дух обеднен, когда даже между женой и мужем отсутствуют взаимная привязанность и благорасположение?

Сдвинув брови и покопавшись в мозгах, Хидаят продолжил свои доказательства:

— Пойми, отец! Мир и благополучие в семье были идеалом твоего поколения. Если бы наши помыслы оставались устремленными только к этой цели, не к чему было совершать революцию. Участвуя в ней, я думал прежде всего об интересах народа, нации. А каковы они, эти интересы и наши задачи? Они заключаются в том, чтобы самим распоряжаться всеми богатствами нашей родины, которые прежде находились в руках чужеземцев, умело хозяйствовать на собственной земле. В наши дни положение и престиж любой нации менее всего зависит от каких-то там духовных ценностей. Другим странам плевать на нашу благопристойность и всякие там тонкие чувства, которые мы демонстрируем в семейном кругу. В расчет идет лишь наше умение хозяйствовать, грамотно пользоваться своими национальными ресурсами. И если мы окажемся не в состоянии построить прочную экономическую базу, сформироваться как мощная процветающая держава — нам нечего делать в современном мире...

До сих пор папаша Карта заставлял себя слушать молча. Не потому, что соглашался с сыном, — просто он был ошарашен громогласными лозунгами, сыпавшимися из его уст. Господи, зачем он так старается? И до чего же все эти разглагольствования о деяниях во имя интересов

народа и национального строительства напомнили ему не столь давние призывы отдавать все силы во имя «новой жизни» и сопроцветания Великой Восточной Азии, которыми беззастенчиво спекулировали японцы, оправдывая свое варварское поведение.

Поскребя в затылке, папаша Карта попытался перевести разговор на иную тему, рассчитывая понять наконец, что там у Хидаята внутри:

— Ну а как ты относишься к коррупции? Ведь говорят, что теперь она стала обыденным явлением даже среди правительственных служащих!

Хидаят и на сей раз зачастил после недолгих раздумий:

— Явление, которое называют коррупцией, можно наблюдать во всех слоях общества, отец. Министр, получивший взятку от зарубежного импортера, конечно же, коррупционер. Но и учитель, принимающий подарки от родителей будущего ученика, тоже не без греха. Коррупция — это когда чиновник манкирует своими обязанностями, не появляясь на службе, и когда супруг обманывает свою жену, вручая ей деньги на домашние расходы...

«Чего он там мелет, зачем старается пустить мне пыль в глаза?» — думал папаша Карта, вспоминая одновременно, как пыжились япошки убедить всех в близком разгроме врага, даже когда поражение стояло на пороге их собственного дома. Но вдруг перед ним поплыли радужные круги, что-то липкое поднялось к горлу и застряло там комом, мешая дышать и выжимая слезы из глаз, и он, как то не раз бывало, зашелся неудержимым кашлем.

Мамаша Карта помогла мужу подняться с пола и добраться до постели, а уложив его, заторопилась обратно и села на циновку напротив Хидаята.

— Вот так всегда, — пожаловалась она сыну. — Здоровье не позволяет ему много разговаривать. Но как его удержишь от споров — все время себя заводит.

— Ты и сама выглядишь усталой, — заметил Хидаят.

— Не беда, сынок. Главное, чтобы все было хорошо. И у нас, и у тебя, и у Косасиха. Не помню, когда уж и видела его. Мне ведь только и нужно, чтобы все были счастливы. А потом, так хотелось бы собраться и посидеть здесь вместе, всей семьей. Не знаешь, почему он не приехал? Ты ведь передал ему мое письмо?

— Да, мама, конечно. То есть я велел сделать это посыльному, который должен был сначала разузнать адрес.

— Отчего же в таком случае его до сих пор нет? — вздохнула мамаша Карта. И нельзя было не заметить, что она действительно очень огорчена — то ли потому, что ее желание собраться всей семьей так и не осуществилось, то ли по причине перепалки отца с сыном, которая случилась именно на лебаран, когда следует просить друг у друга прощения и облегчать душу от прошлых прегрешений. Настроение матери передалось, видимо, Хидаяту, который слинял и утратил дар красноречия. Он взял с протянутой ему вазочки и лениво пожевал ломтик печенья, но отобедать решительно отказался, поскольку в дороге поел-де в ресторанчике.

— Ма, ты не обидишься, если я теперь уеду? — решился он спросить наконец. — Я, конечно, соскучился и побыл бы еще с вами, но уж очень много дел накопилось дома.

У мамаши Карта не хватило духу удерживать сына. Но, кивнув в знак согласия, она велела ему подойти сначала к отцу. Хидаят повиновался и, приблизившись к постели, сложил вместе и протянул папаше Карте обе руки.

— Отец, позволь мне попрощаться, — сказал он.

— Езжай уж, — отозвался папаша Карта, подержав руки сына в своих ладонях.

Вот и все их расставание. Отец остался в своей комнате, а Хидаят вернулся к матери и опустился перед ней на колени, низко склонив голову.

— Матушка, — промолвил он, — позволь мне в этот святой день испросить у тебя благословения.

Оценив должным образом поступок сына, мамаша Карта погладила его по волосам и сказала:

— Я буду неустанно молить господа, сынок, чтобы он всегда был рядом с тобой, продлил твои лета и уберег от напастей, чтобы не отказывал тебе в пропитании и содействовал исполнению всех желаний.

Хидаят же, прежде чем окончательно покинуть родительский кров, вынул из кармана сверток с деньгами и отдал его матери.

Мамаша Карта так и не могла решить про себя, уехал их сын преисполненным душевного покоя или же в расстроенных чувствах. В собственном же сердце — здесь сомневаться уж не приходилось — особой радости после того, как она взяла у сына деньги, старая женщина почему-то не ощутила. Просеменив устало в спальню, она присела в ногах мужа и стала терпеливо ждать, что он ей скажет.

— Много ли он нам оставил? — нарушил тот наконец затянувшееся молчание.

— Не знаю, не считала, — коротко ответила мамаша Карта.

— Вот это... — старик тяжело ловил ртом воздух. — Вот это и называется верхом человеческого падения. Да, слаб он, беден духом и, конечно же, не чист на руку, хотя и тщится отыскать для себя благовидные оправдания. Несет, наподобие япошек, всякую околесицу, чтобы скрыть свои пороки. Но пустые те слова, нет в них корня. Меня же считает выжившим из ума старикашкой, который может проглотить все, что ему ни соврут. И еще... — Тут папаша Карта вынужден был прервать обличения, поскольку из его глаз ручьем текли слезы, увлажняя щеки и губы. Но он осилил себя и продолжал сдавленным голосом: — И еще беззастенчиво сует нам эти грязные деньги, поскольку знает, что без них нам не протянуть. О господи, бывает ли большее унижение, чем то, которое выпало теперь на мою долю!..

Выплеснув все, что жгло его изнутри, он дал волю слезам, а мамаша Карта, которая за все время не проронила ни слова, не торопилась успокоить мужа, дозволила ему облегчить измученную душу. И только когда посторонние звуки перестали примешиваться к его дыханию, она подала наконец и свой голос:

— Не будем мерить Хидаята нашей меркой. Ведь даже по выражению его глаз не трудно понять, что сам он тоже страдает. А проистекает это оттого, что нет в нем внутреннего стержня: воистину, как говорят, *kabawa ku sakabakaba*[1]. И все же, я думаю, было бы несправедливо упрекать его в душевной черствости. Ты спросишь меня, почему я так считаю? Потому, отвечу я тебе, что ко мне, его матери, он по-прежнему относится с трепетным почтением, как Гуру Минда к Сунан Амбу[2]. Иначе говоря, он все еще видит во мне то единственное в мире существо, перед которым готов

---

[1] Плывет по воле волн (*сунданск.*). Так говорят о человеке, который не имеет собственного мнения. — *Прим. автора.*

[2] Сунан Амбу и Гуру Минда — персонажи сунданского мифологического эпоса «Лутунг Касарунг», мать и сын, которые первоначально жили в обители богов. Затем сын был изгнан на землю в облике обезьяны. Однако, странствуя по белу свету, он никогда не забывал просить благословения у матери как у единственного существа, с помощью советов и указаний которого можно спастись и обрести совершенство. — *Прим. автора.*

преклонить колена, дабы испросить благословения и очиститься от прегрешений.

— Так-то оно так, но подлежит ли прощению грех коррупции? – засомневался папаша Карта.

— Эти его неблаговидные поступки как раз и проистекают от того, что плывет он по течению и нет в нем внутреннего стержня. Воистину *kabawa ku sakaba-kaba*, — продолжала настаивать мамаша Карта. — Поэтому главное, о чем я должна заботиться и просить на то сил у наших предков, — это чтобы поведение его, каким бы оно ни было, никогда не обернулось слезами из моих глаз. Ибо, если прольются слезы матери из-за сына, станут они для него самым страшным проклятием.

Папаша Карта затих и не подавал больше голоса. Возможно, он согласился со словами жены или просто не было у него уже сил, чтобы ей возразить.

Кто бы подумал, что на следующий день явится еще и Косасих — один, в грязной, пропыленной одежде и с сумкой из мешковины, в которой хранилась книга, обернутая полотенцем. Папаша и мамаша Карта поначалу было растерялись. Не потому, что уже отчаялись его дождаться, — просто не сразу разобрались, кто это такой.

— Отчего ты не приехал вчера? — осведомилась мамаша Карта, когда они втроем разместились на циновке.

— Что делать, — ответил Косасих. — Мне очень хотелось, но не смог достать билета на поезд: уж очень много было желающих. Лебаран, понятно. Нужно было бы дать на лапу полицейскому у кассы, но я этого не умею.

— В письме я приглашала тебя с женой, — продолжала расспрашивать мамаша Карта. — Мне почему-то казалось, что ты обзавелся семьей. Неужто я ошиблась?

— Совсем нет. Все верно. Я уже с полгода как женат, но неделю назад отослал жену обратно к родителям...

— Как?! — перебил его папаша Карта. — Уж не хочешь ли ты сказать, что у вас не сложились отношения?

— Что делать, отец! — подтвердил Косасих. — Выяснилось, что женщина, которая вышла за меня, совсем мне не подходит. В ее сознании начисто отсутствует революционный дух.

— Революционный дух? — Папаша Карта взял нотой повыше. — О какой еще революции ты говоришь?

— Да, отец, именно революционный дух, а он необходим, поскольку сама революция пока не завершена, ибо в нашем обществе, в условиях, когда народ продолжает жить

в бедности, появилась группка новых богатеев. И такое положение дел, отец, не может найти оправдания. Не только по причине социальной несправедливости, но и оттого, что они льют воду на мельницу империализма, являются его прямой агентурой. Кто такие империалисты, спросишь ты? Так это же самые что ни на есть злейшие враги народных масс, такие же, как раньше голландцы.

Было бы странным, если бы в памяти папаши Карты не всплыли вдруг события прошлого, когда в его резиденцию ворвалась шумливая толпа: перед ним сызнова прошла череда этих людей без стыда и совести... Между тем его сын Косасих все говорил и говорил, сверкая глазами и размахивая с упоением перстом:

— Так вот, отец! Подобная опасная ситуация ни в коей мере не отвечает насущным интересам народа и абсолютно нетерпима. Руководствуясь целями, выдвинутыми революцией, мы должны двигаться вперед в правильном направлении, чтобы построить справедливое и процветающее общество, которое в будущем, несомненно, утвердится во всем мире. И когда это произойдет...

— Хватит! Остановись! — чуть ли не прокричал папаша Карта, обрывая словоизлияния Косасиха. — Ты что, всегда был с приветом или только сейчас тронулся? — Оратор тут же запнулся и быстро-быстро заморгал глазенками, гася последние радостные искры, — точь-в-точь как мальчишка, только что самозабвенно игравший со стеклянными шариками, которые отец ни с того ни с сего взял и отобрал. — Слышал пословицу о кукарекающем яйце? — спросил папаша Карта.

— Конечно, — надулся Косасих.

— А о чем она, ты знаешь?

Собранные трубочкой губы расплылись в улыбке.

— Не смей скалить зубы! — строго взглянул на сына папаша Карта. — Ты просто невежда, и все тут. Не кукарекающее, а вонючее яйцо, понимаешь? — Но потом лицо старика смягчилось, и он продолжал с дрожью в голосе, обращаясь скорее к самому себе: — Я, конечно, сам виноват, что не научил тебя приличным манерам, не сумел даже помочь окончить школу. И все же мне и в голову не могло прийти... право, не могло, что встречу теперь столь безнравственное существо, не умеющее отличить дурное поведение от достойного. Разве так ведут себя с родителями, посещая их на лебаран?

Закончив поучение, папаша Карта устало сомкнул веки.

Косасих же окончательно смешался и в поисках поддержки невольно повернул свою обиженную физиономию к мамаше Карта.

— Угощайся, пожалуйста, сынок, попробуй печенье, — поспешила та отвлечь его внимание. — Или постой... уж не голоден ли ты? Когда ел-то в последний раз?

— Дома, прежде чем сесть на поезд, — признался Косасих.

— Коли так, то, право же, пора и пообедать. Пойдем-ка!

И Косасих послушно последовал за ней на кухню, где с жадностью набросился на поставленные перед ним тарелки, тогда как мать смотрела на него взглядом, преисполненным сострадания.

— Да, голодно, трудно ему живется, — посетовала она, вернувшись к папаше Карте, чтобы не мешать Косасиху. — И тем не менее он не оставил без внимания наше приглашение, порадовал своим приездом.

Папаша Карта промолчал и только тяжело вздохнул, снова прикрыв веки.

На ночь мамаша Карта с согласия мужа пристроила сына в большой комнате, а тот, положив голову на подушку, уснул не сразу: еще долго читал лежа какую-то книгу, а папаша Карта внимательно следил через дверной проем из своей темной спальни, что он там делает — родная кровинка все-таки. Да, надолго разлучила их судьба! «Какие такие испытания выпали за это время на его долю?» — думал старик. До чего же хотелось ему подсесть к Косасиху, расспросить о житье-бытье! Однако он не решился покинуть ложе, опасаясь снова наткнуться на наставленный в грудь указательный палец или услышать нечто такое, что опять разбередит желчь. Посему он тихонько послал к Косасиху жену, а сам навострил уши.

— Почему не спишь, сынок? — начала мамаша Карта.

— Мне надо сначала почитать, ма, — отозвался Косасих. — Так уж я привык.

— А можно ли узнать, что за книга у тебя?

В глазах Косасиха вспыхнули прежние яркие огоньки, как у мальчишки, которому вернули любимые стеклянные шарики. Он приподнял голову с подушки и сел, скрестив ноги.

— Это книга об обществе будущего, — пояснил он. И, не дожидаясь новых вопросов, взахлеб стал рассказывать, возбужденно маша руками, что в этом обществе не будет различия между богатыми и бедными, начальниками и

подчиненными — все станут абсолютно равны. И еще — там всегда будет вдоволь пропитания, ну как воздуха, чтобы дышать. Останется только работать, сколько сможешь, и есть, сколько пожелаешь.

У папаши Карты, который не пропустил ни единого слова, пропало желание вставать с постели и идти к сыну. Мысли его вернулись к годам японской оккупации, когда детей в школе и его расчирикавшегося отпрыска только и учили, что повторять, как попугаи, чужие слова и бездумно выкрикивать всякие там лозунги: «Уничтожим всех наших врагов! Да здравствует непобедимая Япония!» Да мало ли.

«Вот они, пагубные результаты неправильного воспитания в школе, — размышлял он, поглаживая рукой грудь. — Получилось что в той пословице: пустое ведро громко гремит».

Наутро сразу после завтрака Косасих стал собираться в обратный путь. Он записал на листке бумаги свой джакартский адрес и передал его мамаше Карта, которая ненавязчиво вложила ему в кулак несколько купюр.

— Это на дорогу, — мягко сказала она. — А я здесь буду молиться от всего сердца, чтобы ты поскорее нашел подругу жизни и чтобы господь наградил меня внуками, да побольше.

Косасих, прощаясь, протянул ей, а затем папаше Карте обе руки.

— Ладно уж, — изрек отец, принимая приветствие сына. — Я тоже вознесу Всевышнему свои молитвы... чтобы цыпленок, вылупившийся из яйца, снесенного курицей, превратился наконец в крепкого петушка. Но не в простую птаху, каких много, а в борцового кочета, который вправе кукарекать во все горло.

Понял ли Косасих присказку или решил, что старик заговаривается, — как знать! Улыбка же, расплывшаяся по его физиономии, очень походила на ту, с которой он недавно согласился отпустить жену восвояси. Так и забыв погасить ее, Косасих зашагал прочь — легко, словно собираясь взлететь в небеса.

Может показаться странным, но, в отличие от вчерашнего расставания с Хидаятом, мамаша Ка́рта глядела на удаляющуюся фигуру с ощущением умиротворенности. Это состояние ее души, которое выдали чуть дрогнувшие губы, не миновало внимания супруга.

— Чему ты радуешься? — поинтересовался он.

— Да так, — ответствовала мамаша Карта. — Знаешь,

наш Косасих чем-то напомнил мне Манга Уко. Помнишь старого сказителя, которого мы часто приглашали к нам в управу? Стоило ему завести речь о Паджаджаране, он тоже начинал расхваливать те далекие времена, когда всего-то было вдосталь, никто не просил подаяния, никто не разбойничал, не встречалось там ни бедных, ни богатых — все были равны...

— Оно и понятно. Ведь «Па-джаджар-ан», если хорошенько разобраться, как раз и означает: «страна всеобщего равенства». Правил же в ней Силиванги — «раджа благоухающий», «благодарующий». Но я не нахожу ничего общего между нашим сыном и Мангом Уко, — уже сухо поправил жену папаша Карта. — Манг Уко был истинным поэтом, *пуджанггой*, голос его радовал слух, а каждое слово обладало потаенным смыслом. Наш же сынок... он больше похож на торговца снадобьями, расхваливающего свой товар на краю дороги.

Хидаяту, как он ни выворачивался, пришлось в конце концов дать Комале развод, а заодно и немалую часть своих накоплений. Косасих же при содействии партии женился тем временем во второй раз, причем кандидатуру на должность его подруги Бунг Ус подбирал уже самолично. На свадьбе он пожелал новобрачным создать прочную революционную семью и одновременно изложил новую стратегию партии, обусловленную внушительным ростом ее рядов. Он, в частности, пояснил, что впредь им не следует сторониться военных, а, наоборот, хорошо бы привлечь их на свою сторону.

Но самые непредвиденные события произошли все же в доме папаши Карты. После памятного лебарана и встречи с обоими сыновьями он словно отрешился от мира, не желал больше ничего слышать и видеть. Мало того — что бы ни готовила и ни предлагала ему мамаша Карта для поддержания бренного тела, все неизменно им отвергалось. Лишь однажды разверз он скованные молчаньем уста и назвал причину своего столь странного поведения:

— Какой толк участвовать во всей этой круговерти? Чем дольше проживу я на свете, тем горше будет мне взирать на наши заблудшие чада, а посему нет смысла оттягивать время ухода...

Старик продолжал чудить и как-то вечером, уже расположившись ко сну, позвал мамашу Карта посидеть возле него. Но когда она выполнила его просьбу, вдруг впал в забытье...

Яснее ясного узрел он в спокойном небе полную луну, а под ней — себя самого, молодого, полного сил. Вместо богатого облачения веданы он почему-то надел узкие штаны из черного шелка с белой рубахой навыпуск, перехваченной в талии клетчатым саронгом, скрученным кушаком, а повязка на его голове выдавала завсегдатая уличных схваток. Позади него следовал верный телохранитель, но тоже в обычной одежде, без знаков отличия. Оба они находились далеко от города в окружении сельской природы и осторожно пробирались по узкой тропе, петлявшей по склону холма.

Вдруг его чуткое ухо уловило едва слышимое бряцание гонгов и зачаровывающий голос певицы ронггенга, доносившиеся не то из-за холма, не то из тридевятого царства, из волшебной страны. Сказывают, что в особенно тихие ночи подобные наваждения не редкость: на самом деле никакой певицы и музыкантов нет и в помине, и, стоит вам пойти на этот манящий зов, он будет удаляться и удаляться, ибо это, несомненно, проделки духов. Но путник, не задумываясь, направил свои стопы в сторону, откуда исходили загадочные звуки. Если это и впрямь духи, решил он, то интересно бы выведать, где они обитают. А вдруг там все же труппа ронггенга, и тогда, как знать, не удастся ли ему заодно напасть на следы грабителей, которых он давно разыскивает.

Оказалось, что звуки вовсе не удалялись: струна ребаба трогала за самое сердце, а гонги и барабанчик невольно заставляли ноги проделывать в такт танцевальные движения.

Должно быть, нас ожидает нечто невиданно прекрасное, обрадовался путник. И как было не вскипеть в нем крови, если танцы с младых ногтей были его усладой. Еще в бытность свою ассистент-резидентом он, первейший танцор, сумел выиграть главный приз на одном из конкурсов, а потом, став уже веданой, неизменно устраивал раз в две недели представления на обширной парадной веранде своей резиденции. Даже некоторые голландцы специально приезжали издалека, чтобы он обучал их танцам. Никто же в самом деле не мог отрицать, что во всем Приангане не сыщется другого такого мастера и знатока, как он.

Прибавив шагу, путники вскорости увидели посреди сухих, только что сжатых рисовых чек не бесплотные тени, а людей из плоти и крови, которые самозабвенно танцевали вокруг высокого факела. Руки и ноги танцоров дергались как-то несуразно, не в такт, и едва ли можно было предположить, что ими руководила страсть к самовыражению, — но

путников, подобно магниту, притягивали к себе тела танцовщиц ронггенга. А вот у тех в каждом жесте действительно проглядывали чувство меры и природная грация. И в этом созвездии звездой первой величины, несомненно, была самая красивая из них — певица со звонким сладостным голосом. Плавные взлеты ее дланей завораживали, а чуть колеблющийся стан словно приглашал партнера упорхнуть в райские кущи.

Время от времени она бросала пламенные взоры на пришельца — и тогда по его спине пробегали электрические разряды, — а из ее уст лились пантуны:

Нет вкуснее зерен риса,
Сваренных в сосуде дивном.
Даже смерть нас не разлучит —
Будем мы навек едины...

Мыслей о поимке каких-то там разбойников словно бы и не было. Как только после недолгого перерыва все началось сызнова, он заказал музыкантам свой любимый танец и впрыгнул в круг поближе к этой диве. Глава оркестрика заскользил смычком по струне ребаба, ведя за собой гонги и барабанчики, а сам он начал обхаживать избранницу, вплетавшую в мелодию свой божественный голос.

Поначалу другие мужчины продолжали еще выделывать перед партнершами несусветные кренделя, но постепенно отступили к краю круга, освободив место только им двоим, и с удивлением следили за их танцем. Но всех поразила не только отточенность грациозных движений, а еще и голос певицы, который зазвучал вдруг совсем иначе, чем прежде, куда прекрасней и вдохновенней.

Да, такой чудесной ночи никогда еще не было в его жизни. К тому же обворожительная плясунья, как только умолкли последние звуки, опустилась пред ним на колени и взволнованно прошептала: «Прости меня, твою недостойную рабыню, о благородный ведана, драгоценный зонт, укрывающий своей благодатной сенью землю, на которой мне суждено было родиться и жить».

Он же в ответ возложил руки на ее плечи и велел подняться с земли, чтобы стать с ним вровень. А затем чуть повернул голову к руководителю труппы и твердо изрек, как если бы то был сам Прабу Силиванги из далеких времен Паджаджарана, великий основатель его рода: «Продолжайте праздник, пока не наскучит. Но эту танцовщицу оставьте

в покое — пусть она навсегда покинет труппу. Вели ей сейчас же вернуться домой, а завтра или послезавтра я приду за ней, чтобы взять в жены».

Тот, кому он отдал указание, склонился в покорном поклоне. Вокруг же воцарилась первозданная тишина, и величавая луна изливала с небесных высот на это безмолвие свои серебряные лучи, пронизывая ими все мирозданье...

Папаша Карта приподнял на мгновенье веки и произнес, обращаясь к жене:

— Как же хорошо жить на свете, когда сердца людей преисполнены всеобщим благорасположением.— Затем веки его снова сомкнулись — теперь уже навсегда.

Мамаша Карта давно предвидела такой конец. Поэтому она не удивилась и не разрыдалась — только смахнула одну-две слезинки, выкатившиеся из глаз. Известив о случившемся соседей, она попросила их отправить телеграммы в Джакарту. И на следующий день, еще до того, как тело папаши Карты предали земле, приехали те, кого она вызывала. Первым подкатил на лимузине Хидаят, а следом прибыл и Косасих со своей неизменной сумочкой из мешковины. Мамаша Карта встретила их спокойно, стараясь ничем не выделять кого-либо из них. Да и зачем? Оба они на равных разделяли печаль, которая заполняла сейчас ее сердце. Ей и впрямь полегчало, поскольку сыновья искренне, как только могли, старались оказать последние почести усопшему. Но когда похороны свершились, когда соседи, заглянув ненадолго в дом, разошлись и они остались только втроем, старая женщина не могла не испытать чувства горечи, став свидетельницей разговора двух самых близких ей людей.

— Через месяц, если ничто не помешает, в Джакарте состоятся гастроли зарубежных артистов, — обратился младший брат к старшему.— Не хочешь ли взглянуть на представление? Я пришлю тебе пригласительный билет.

— Откуда явятся эти твои артисты? Уж не из той ли страны, идеологию которой ныне столь рьяно распространяет ваша партия? — поинтересовался Хидаят.

— Так как? Пойдешь на концерт? — снова спросил Косасих.

— Не только не пойду, но и тебе бы посоветовал отказаться от роли агента иностранной державы, защищающего чуждые нам интересы, — отрезал Хидаят.

— Ну уж если говорить об агентах иностранной державы, — парировал тот, — еще неизвестно, кто таковым является. Я, понимаешь ли, имею в виду некоторых лиц, которые предают интересы народных масс.

Но старший не унимался:

— Уж не полагаешь ли ты, что чуждая нам иностранная идеология, которую вы исповедуете, не угрожает единству и сплоченности нашей страны и народа?

К счастью, на этом обмен выпадами прервался, поскольку на лице Косасиха появилась улыбка сожаления — ну совсем как после иносказательного совета отца при их последнем расставании. Все так же улыбаясь, он попрощался вскорости с мамашей Карта и молча кивнул Хидаяту, прежде чем зашагать прочь. Хидаят же еще долго сидел с матерью, а потом, заручившись согласием, что она чуть погодя переберется в Джакарту, тоже собрался в дорогу.

Заехав в условленный срок за мамашей Карта, Хидаят обратно вел машину не спеша: пусть полюбуется, рассмотрит хорошенько проплывающие мимо пейзажи. То, на чем останавливался ее взгляд, было ей давно знакомо. Прозрачные речушки, шелестящие высокими кронами кокосовые пальмы, подернутые голубой дымкой далекие горы, крестьяне, терпеливо высаживающие травинки риса на только что залитых полях, женщины в широкополых пандановых шляпах, обрывающие листики чая на плантациях по склонам холмов, — все это она знала и не раз видела, возможно не здесь именно, а в свое время в других похожих местах, либо на картинах, украшавших стены их дома, или цветных иллюстрациях в читанных ею журналах. Но именно поэтому, оттого, что все было таким родным, привычным, сердце ее радостно билось. Она словно бы отовсюду слышала приветы старых друзей, с которыми нечаянно встретилась после разлуки. И эти новые встречи освежали ее душу и тело, как если бы она после долгого зноя погрузилась в воды прохладного источника.

К сожалению, приятное ощущение вскоре покинуло старую женщину, ибо, едва они пересекли границу Приангана, ландшафт резко изменился, стал совсем чужим. Не было больше ни зеленеющих холмов, ни голубеющих на горизонте гор, исчезли цепочки рисовых чек вдоль дороги, а их место заступила голая равнина с вкрапленными там и сям серыми, запыленными домишками. Шоссе теперь не петляло, бежало прямо, натянутой струной, как бы

приглашая водителей поднажать на педали и помериться скоростью.

Мамаша Карта, разморенная от жары, устало откинулась было на спинку сиденья. Но вдруг ее дрогнувшие руки невольно потянулись к лицу — на краю дороги рядом с перевернутой машиной лежал окровавленный труп ее владельца.

— Да, катастроф здесь хоть отбавляй, — вздохнул Хидаят.

Надеждам, что дальше все образуется и ей снова полегчает, не суждено было сбыться. По мере приближения к цели делалось еще более душно, стало трудно дышать. Когда же они въехали в Джакарту, первое, что бросилось в глаза,— это пестрая вереница непрерывно снующих машин, забитые пассажирами автобусы и вездесущие коляски обливающихся потом бечаков. А затем — и это, казалось, должно бы неприятно поразить каждого — они миновали длинный проулок, застроенный убогими лачугами. Дело было не в шокирующем безобразии этих построек. Насколько она поняла, в них жили молоденькие женщины, которые прогуливались взад и вперед по тротуару, покачивая бедрами и улыбаясь всем встречным мужчинам. Но здесь ее внимание отвлекла шумная перепалка возле лавчонки. Что там продавалось, она не разглядела, но люди суетились, размахивали руками, а потом из чрева толпы вынырнул парень с расквашенной физиономией, которого крепко держал за руки полицейский.

— Несчастный карманник, — прокомментировал Хидаят.

Наконец они въехали на широкую улицу с большими магазинами по обеим ее сторонам, и мамаша Карта смекнула, что затянувшееся путешествие вот-вот завершится. Однако уже на следующем перекрестке пришлось надолго задержаться: их путь пересекла нескончаемая процессия, участники которой шли с песнями, правильными колоннами, воздев над головой какие-то транспаранты. Время от времени они поднимали в воздух руки со сжатыми кулаками и громко кричали: «Долой твердолобых, вперед без остановки!»

— Работка Косасиха, — раздраженно бросил Хидаят. — Подзуживает людей, у которых все перепуталось в голове, чтобы остальные тоже спятили!

— Косасиха? — невольно переспросила мамаша Карта.

— Его партии, конечно. Ну, той организации, членом

которой он состоит, — попытался разъяснить сын.

Тронувшись с места, они через несколько минут и впрямь подкатили к самому подъезду особняка Хидаята, и он, выйдя первым, открыл матери дверцу. Правда, мамаша Карта, у которой затекли ноги, не сразу сумела выбраться наружу. А когда подоспевшая на помощь горничная ввела ее в заранее приготовленную комнату, у старой женщины не хватило сил даже на переодевание: едва завидев кровать, она тут же повалилась на нее и закрыла глаза.

Когда она проснулась, то поначалу не сразу сообразила, где находится. В комнате уже горел свет, и ее удивленный взгляд то и дело натыкался на дорогие предметы, назначение и происхождение которых оставалось для нее загадкой. До ее слуха не доносилось никаких звуков, кроме мерного тиканья часов. «Словно в склепе», — подумала мамаша Карта, осторожно толкнув двери своей комнаты. Но в следующем помещении было тоже тихо, как на кладбище. И, только пройдя дальше, в столовую, она избавилась наконец от ощущения заброшенности, углядев живую душу. За накрытым для ужина столом — там было все: от риса до фруктов — сидела, потупившись, молодая женщина — то ли задумалась, то ли боролась со сном.

— О... это вы! — она поспешно поднялась со стула и, согнувшись в талии, протянула мамаше Карта обе руки. — Не нужна ли вам моя помощь, госпожа?

— Спасибо, все в порядке, — поблагодарила мамаша Карта, принимая ее приветствие.

— Хозяина нет дома, госпожа, его вызвали по телефону, — стала извиняться незнакомка. — Но он поручил мне... накормить вас ужином.

«Поручил накормить?..» — медленно соображала мамаша Карта и, чтобы рассеять сомнения, спросила:

— Уж не хозяйка ли вы здесь?

— О нет, отнюдь, госпожа, — потупилась незнакомка.— Я... я из деревни...

— Из Приангана? — обрадовалась мамаша Карта.

— Да, госпожа. Здесь всего две недели, а завтра... — Слезы, брызнувшие из ее глаз, не позволили закончить фразу. Но, уняв волнение, она снова заговорила: — Завтра мне придется вернуться к отцу с матерью, хотя я не уверена, примут ли они меня обратно.

— Отчего же так? — не могла не заинтересоваться мамаша Карта.

— Потому... потому что меня лишили целомудрия.— И,

выдавив из себя это трудное объяснение, несчастная пала на колени у ног мамаши Карта.

Не стоит добавлять, что при виде склонившейся перед ней девушки, только что признавшейся в своем позоре, мамаша Карта поняла, что та, как никто, нуждается в ее добром участии.

— Расскажи-ка... — ласково проговорила она, поднимая страдалицу с пола и усаживая на стул перед собой, — расскажи-ка мне, кто так бессовестно обидел тебя?

— К чему искать виновных, госпожа? Сама я во всем виновата. Слишком доверчива была, не обдумала все как следует. Да как не верить-то людям? Ведь знакомая наша, что заманила меня сюда, тоже из нашей деревни. Правда, она давно уже перебралась в Джакарту, но часто гостила в деревне, беседовала со мной. А в последний свой приезд специально отыскала и предложила поехать с ней в город, чтобы поискать работу и, как знать, встретить суженого. Что проку прозябать в деревне, говорит. Ну я и согласилась, а у родителей тоже не было причин меня отговаривать, тем более что отпускали они меня с человеком, который сумел хорошо устроиться, живет в достатке. Но в Джакарте она повела меня не к себе, а проводила прямо в этот дом, сама же ушла... Мне здесь, право же, было хорошо, такого довольства я никогда прежде не знала. Только завтра... Завтра мне предстоит покинуть этот дом. А куда мне возвращаться?..

«Бедное, бедное дитя», — думала мамаша Карта, внимательно разглядывая девушку с ног до головы. Господи, до чего же хороша собой. И лицо, и фигурка — ну просто загляденье. А как держится, с каким тактом разговаривает. Да, есть в ней наша приангерская, от предков унаследованная изюминка, украшение души человеческой. Куда там Комале, ее бывшей невестке. Даже сравнивать грех. Эта совсем не привередлива, во всем готова повиноваться супругу.

— Имя-то твое как будет? — приветливо осведомилась мамаша Карта, прервав свои раздумья.

— Сукарсих, госпожа.

— Сукарсих? Значит, дома небось называли попросту Чичих?

— Да, Чичих.

— Ну вот что, Чичих! Давай-ка сейчас вместе поужинаем.

— Спасибо, госпожа, большое спасибо. Но я уже поела.

Поэтому ешьте, пожалуйста, сами, а я прислужу вам. — И, не дожидаясь распоряжений, она положила мамаше Карта рису на тарелку, придвинула мясные и овощные приправы и налила в стакан чаю, а затем снова села, потупившись.

Пока мамаша Карта справлялась с ужином, девушка не произнесла больше ни слова, но по выражению ее лица было видно, какие нелегкие мысли будоражили ее бедную головку. Когда же заслышался шум подъезжавшей машины, она — то ли потому, что немного утешилась, излив душу, или, может быть, заранее решила так поступить — поднялась со стула и, прежде чем исчезнуть в задних комнатах, попрощалась с мамашей Карта, торопливо протянув ей обе руки.

— Хидаят! — собралась было выговорить сыну мамаша Карта, уяснив, что это действительно был его автомобиль.

— Слушаю, матушка, — отозвался тот, распахивая двери. Перед ней стоял плотно скроенный мужчина с жестким выражением на лице, облаченный к тому же в наводящую робость военную форму. Мамаше Карта стало как-то не по себе, и оттого, а может, еще по какой причине она вдруг запнулась, заговорила вовсе не о том, о чем намеревалась.

— Ты... ты не устал? Только привез меня и сразу куда-то пропал...

— Устал, конечно, — признался Хидаят, подсаживаясь к столу и наваливаясь на ужин. — Но пришлось подчиниться. Звонил-то мой начальник. Оказалось, правда, ничего серьезного. Просто захотелось поболтать со мной и сыграть в карты.

Мамаша Карта все порывалась перевести разговор на Сукарсих. Но куда там! Сын взахлеб расписывал ей этого своего начальника: да какой хороший и скольким он обязан ему нынешним своим положением. Старая женщина втайне надеялась, что со стола придет убирать Сукарсих, и тогда... Однако она увидела вовсе не ее и даже не горничную, которая провожала ее днем до постели. Явился совсем незнакомый юноша, весьма расторопный и хорошо вышколенный, если судить по тому, как ловко он справлялся со своим делом.

А Хидаят между тем жаловался, насколько не просто все теперь в Джакарте:

— Даже подходящую прислугу не сразу сыщешь. Горничная остается только до пяти вечера, и ни минутой позже.

А вот этот малый у меня совсем недавно, да и не помню, какой уже по счету. — Он излагал свои беды по-сундански, на языке матери, которого юноша, видимо, не знал, поскольку не похоже было, чтобы он мог родиться в их краях или по соседству. Явно не из Приангана!

Ощущение, что ее словно бы заточили в склеп, и впрямь не оставляло мамашу Карта. Кем бы и чем ни была Сукарсих, она так и осталась единственной родной душой, которую она встретила в день приезда, а наутро с болью в сердце проводила взглядом из окна своей комнаты, так и не решившись выйти и попрощаться. Сын же, как потом выяснилось, почти всегда возвращался за полночь, и общались они не часто. Со слугами, правда, она сталкивалась нос к носу изо дня в день. Да что от них проку! Ни горничная, ни этот расторопный юноша по-сундански не разумели, так что и поговорить всласть было не с кем.

Нечто более или менее занимательное случилось лишь однажды. Хидаят вернулся тогда домой необычно рано — не было еще и пяти — и поскорее отправил слуг за покупками. А часов этак в семь явилось трое гостей: мужчина в форменной, как у ее сына, одежде и две женщины. На одной были кайн и кебайя, тогда как фигуру второй гостьи обтягивало короткое платье европейского покроя. Мужчина и женщина в кайне, которые, скорее всего, приходились друг другу супругами, вели себя раскованно, как старые завсегдатаи. Женщина же в платье, должно быть, переступила порог этого дома впервые — иначе зачем бы представлять ее Хидаяту.

— Познакомься, это наша хорошая знакомая,— сказал сослуживец ее сына. — Отправила мужа в дальние страны и заскучала. Поэтому мы решили взять ее с собой.

Все трое не преминули подойти к мамаше Карта и обменяться с ней приветствиями, но сразу оставили ее в одиночестве и уселись за карты, перекидываясь шутками и поглощая расставленные на столе яства. Глядя на них, мамаша Карта, примостившаяся в уголку за книжным шкафом, невольно вспомнила о японской оккупации — именно в те годы их шалопай пристрастился к картам и часто зазывал своих друзей к ним в резиденцию на угощение. Разница лишь в том — и здесь уже пришлось смириться, — что тогда их разговоры не были для нее за семью печатями. Теперь же между ней, пытавшейся прислушаться к веселой болтовне, и теми, кто сидел за столом, зияла почти непроходимая пропасть. То обстоятельство,

что они беседовали между собой на индонезийском языке, который и Хидаят-то освоил уже после революции, — еще полбеды: хотя она не привыкла выражать на нем свои мысли, но понимала вполне сносно. Почему же сегодня она оказалась такой несообразительной? Гости только и твердили о каких-то долларах, фунтах и прочей белиберде. О чем они? Сколько мамаша Карта ни рылась в закромах своей памяти, смысл этих слов оставался для нее темным. «Вот тебе и погремушка-колоток без веревочки: есть звук — ан и нет его», — с горечью думала старая женщина.

Сидя в своем уголку, убаюкиваемая шуршанием непонятных слов, она унеслась мыслями к родным местам. Представила их с папашей Картой уютный домик, спокойную речушку позади него и, наконец, могилку супруга на городском кладбище, осененную густыми кронами росших там деревьев... Но внезапно изменившийся тон голоса их гостя в военной форме — теперь такой серьезный — пробудил мамашу Карта от приятных воспоминаний и вернул к действительности.

— Слышал, что вытворяют эти «товарищи»? — обратился он к ее сыну. — Долго нам еще придется их терпеть?

— Чего это ты вдруг? — отозвался Хидаят.

— С каждым днем наглеют, открыто подзуживают людей! Сам посуди, сначала хоть с виду еще были вежливы, разве что иронически называли нас нуворишами. Потом стали клеймить тех, кто, дескать, занимает не свои места и проводит неправильную линию. А в последнее время раскричались о «кабюрах». Не слишком ли?

— Простите меня, господа, — вмешалась женщина в европейском наряде, — объясните, ради бога, кто такие «кабюры»? То и дело слышу это слово, но, право же, не понимаю, что оно означает.

— «Капиталисты-бюрократы», милая, — ехидно просветила ее другая гостья. — Иначе: агенты «неколима», то есть неоколониализма и империализма. Или еще более точно — «агенты иностранной державы»! Так-то, дорогая! Это они нас так обзывают, хотя сами-то как раз и являются настоящими агентами иностранной державы!

— Но это еще цветочки,— подхватил ее муж. — Эти подонки недавно и песенку сочинили: «Долой твердолобых дураков!» Это мы-то твердолобые? Вопят на всех перекрестках: «Сметем твердолобых!»

— А разве они не правы? — Это вмешался уже Хидаят. — Мы и есть твердолобые, поскольку головы наши

отнюдь не ватой набиты. И сбить нам мозги набекрень, сколько бы они ни тужились, не удастся!

— А ты не иронизируй! — не унимался гость. — С этим своим новым лозунгом они уже переходят от обвинений в наш адрес к прямым угрозам. «Долой», понимаешь ли! А что значит «долой», как «долой»? Не иначе, собираются...

— Уничтожать, убивать! — проверещала его супруга.

«Убивать? Убивать?» — повторила про себя мамаша Карта, дрожа всем телом, словно в лихорадке.

— Но мы сами во всем виноваты, — продолжал развивать свою мысль приятель сына. — Следовало придушить их в колыбели, пока они были младенцами. А теперь у них тысячи и тысячи сторонников, вожаки пролезли даже в правительство. Почувствовали силу и набрались храбрости. Окончательно обнаглели.

— Пусть себе забавляются, — попытался успокоить разбушевавшиеся страсти Хидаят. — Все эти их прочные позиции и храбрость — одна видимость. Громыханье пустого лодонга!

— Пустого чего? — переспросили сразу три голоса.

— Лодонга. Посудина такая для воды, из бамбукового коленца, — пояснил Хидаят. — Ударь по нему — так и загудит. Но это еще не доказывает его прочности. Лодонг — он и есть лодонг. Пусть попробует стукнуться о наши твердые лбы — разлетится в... — И он с силой опустил кулак на столешницу: бух! — вслед за тем тотчас раздался женский визг, поскольку одна из чашечек опрокинулась на гостью в европейском платье. Начался переполох: Хидаят просил прощения, его коллега хохотал до упаду, а супруга последнего суетилась возле пострадавшей, пытаясь спасти ее наряд.

К одиннадцати гости стали собираться восвояси. Точнее, распрощалась и ушла только супружеская пара, а женщина, с которой произошел конфуз, замешкалась, осталась за столом.

— Ну что мы теперь станем делать? — кокетливо спросила она.

— Что делать? Хм... Ну мы, к примеру... — Дальнейшего мамаша Карта уже не слышала. Ее клонило ко сну, и, покинув укромный уголок за шкафом, она засеменила в свою комнату.

— Знаешь, матушка, на днях мне придется покинуть тебя, слетать недельки на две с начальством за границу, —

нежданно-негаданно сообщил как-то Хидаят.

Нет худа без добра: внезапный отъезд сына оказался на руку мамаше Карта — наконец-то ей удастся осуществить свою давнюю задумку! Не долго мешкая, она велела юноше-слуге покликать бечака и, взобравшись с ним вдвоем на хлипкое сиденье, отправилась разыскивать Косасиха. Спрятав в карман щедрые чаевые, парень против совместного путешествия, естественно, возражать не стал и даже пообещал держать язык за зубами.

Путь от дома Хидаята до жилища Косасиха оказался весьма долгим — учитывая неспешный способ их передвижения и необходимость то и дело осведомляться, правильно ли они едут. Сначала их возница весело крутил педали, катя по гладкой кромке асфальтированной магистрали, затем свернул на улочку похуже, потом их коляска тряслась по каменной мостовой, пока не въехала в тесный, донельзя узкий проулок, где и остановилась перед нужным им домом.

На стук вышла молодая женщина, несомненно сама хозяйка, жена Косасиха, которая произвела на мамашу Карта более чем странное впечатление. Стала допрашивать их по-индонезийски, кто да откуда, после чего показала спину и захлопнула дверь, из которой через минуту появился уже Косасих, на первый взгляд точь-в-точь такой, каким рисовался мамаше Карта, пока они колесили по городу. Но она тут же заметила, что он не очень-то рад нежданным гостям, держится скованно, говорит обрывистыми фразами — короче, совсем не похож на сына, жаждущего встречи с матерью. Парня он в дом не впустил, велел ехать назад, и только после того, как тот скрылся из виду, пригласил мамашу Карта войти.

Перешагнув порог, она сразу поняла, почему пришлось проникать сюда, словно в сокрытую от посторонних глаз пещеру Али Бабы. Сквозь густые клубы сигаретного дыма проступали неясные фигуры каких-то людей, сгрудившихся вокруг стола, там же находилась жена Косасиха. Большего заметить не удалось, поскольку сын поспешно провел ее на кухню.

— Нинг! — позвал он жену. — Поухаживай за матушкой, пока я закончу выступление.

Невестка выполнила просьбу без особого удовольствия. Наполнив стакан чаем, она придвинула его гостье, а сама молча расположилась напротив, но сидела как на иголках, напряженно прислушиваясь к словам Косасиха за дверью.

— Сколько же у меня внуков? — попыталась было завязать разговор мамаша Карта.

— Внуков? — натянуто рассмеялась хозяйка. — Откуда внуки? Пока нет ни одного. В нашем обществе еще не создано условий, чтобы дети могли расти счастливыми. Поэтому мы не торопимся производить их на свет.

Мамаше Карта нелегко было подыскивать индонезийские слова, чтобы задать какой-нибудь новый вопрос, а невестка явно не собиралась брать инициативу в свои руки, поскольку все ее помыслы были в другой комнате.

— Простите, матушка, я ненадолго вас оставлю, — не выдержала она в конце концов. И спустя минуту ее резкий голос уже бился там, за дверью.— Товарищ Косасих ведет себя непринципиально! — доносилось до мамаши Карта. — Если он не согласен отмечать юбилей нашей Партии, как мы задумали, то должен выдвинуть политически четкие доводы вместо того, чтобы огульно обвинять Бунга Уса в парадности и самолюбовании. Я не могу согласиться с его точкой зрения и, более того, вынуждена просить присутствующих здесь товарищей решительно ее осудить.

На столь же высоких нотах говорили остальные, и нетрудно было угадать, какими уничижающими взглядами мерили они там ее сына. «Широко отмечая юбилей Партии, мы тем самым продемонстрируем и друзьям, и врагам прочность наших позиций», — с пафосом вещали одни. «Празднование нашего юбилея призвано способствовать дальнейшему развитию революционного процесса», — убеждали другие. Однако Косасих не сдавался, отбивался не менее резко, убежденно.

— У нас впереди еще долгий путь, — настаивал он. — И было бы неразумным представлять дело так, будто мы стоим на пороге победы, что светлое будущее, которое мы намерены построить, уже не за горами. Факты свидетельствуют совсем об обратном: народ по-прежнему живет в бедности и лишениях. В этих условиях помпезное празднование юбилея нашей Партии, являющейся инструментом революции, инструментом раскрепощения масс, есть не что иное, как самолюбование...

Долго ли, коротко ли, но наступило время, когда голоса в комнате смолкли, густой сигаретный дым, из-за которого трудно было дышать даже на кухне, рассеялся и дом перестал походить на пещеру сорока разбойников из «Тысячи и одной ночи». Мамаша Карта не видела, с какими выражениями на лицах расходились гости. Но у самих хозяев,

пожаловавших теперь на кухню, лица были злыми и усталыми одновременно, словно у воинов, вернувшихся с поля брани.

— Вы уж простите нас, матушка, — стал извиняться Косасих, протирая пятерней физиономию. — Так уж случилось, что вы приехали не совсем кстати — дел больно много.

Старушка лишь виновато улыбнулась и тут же начала рассказывать о себе, о том, что в Джакарте она, дескать, уже давно, да вот только теперь выпал случай их навестить. Сын слушал с почтительным вниманием, поддакивал, а то и вставлял пару словечек. Но невестка вела себя совсем иначе: была поглощена своими мыслями, сидела хмурая, с трудом скрывая раздражение. И лишь когда мамаша Карта упомянула, что Хидаят теперь за границей, она встрепенулась и зло процедила сквозь зубы:

— Не иначе как отчитывается перед своими хозяевами, — за что Косасих на нее цыкнул и велел заняться ужином.

Несмотря на все заверения сына, мамаша Карта, хоть и очень хотела, не смогла поверить, что увиденное ею в доме — простая случайность и, явись она в другое время, все было бы иначе. Ее ни на минуту не покидало ощущение, что она по недоразумению попала в какую-то пещеру с двумя странными обитателями, к тому же абсолютно несхожими друг с другом. Даже ужиная за одним столом, они, казалось, находились по разные стороны пропасти, а по завершении трапезы одно из этих существ — то, что женского полу, называющее другое существо, своего мужа, «товарищ Косасих», — исчезло неведомо куда, будто растаяло в воздухе. И только потом, уже устроившись на ночлег, мамаша Карта опять услышала в темноте оба голоса, преобладал, правда, женский, на взвизге: «Индивидуалист!», «Реакционер!» и всякие другие иностранные слова, которыми невестка бичевала ее сына. А тот только слабо отбивался: «Ладно, Нинг, успокойся. Я понимаю, что тебе трудно стерпеть, когда твоего родного дядюшку обвиняют в самолюбовании. Но хватит, спи!»

С самого утра, едва проснувшись, мамаша Карта только и думала, как поскорее добраться до дома. Надо бы попросить Косасиха проводить ее. Отворив дверь на кухню, чтобы пройти через нее дальше по нужде, она увидела, что сын сидит один возле керогаза и готовит насигоренг им на завтрак.

— А невестка где же? — удивилась она.
— Нету. Ушла к своему дядюшке.
— Как? Совсем ушла?
— Скорее всего, совсем!

Ни о чем больше не расспрашивая, мамаша Карта заторопилась на задний дворник, а когда вернулась, на столе уже дымился рис. Но она не сразу принялась за еду — долго всматривалась в своего Косасиха, пытаясь заглянуть в самое его сердце, а потом спросила:

— И ты не жалеешь, что жена ушла?

— Жалею? Ну уж нет! Это не она, а я ее оставил, — выпалил Косасих.

— Может, оно и к лучшему, — вздохнула мамаша Карта. — Хотя, по правде говоря, ваши отношения для меня — темный лес. Вот только сдается мне, что сам ты, как это сказать... *kabawa ku sakaba-kaba*.

— *Kabawa ku sa...*? — не понял Косасих.

— Есть такая пословица на твоем и моем родном языке, что оставили нам в наследство наши предки. Она о человеке без собственных мыслей в голове, который только и умеет, что повторять бездумно чужие слова. А это плохо, предосудительно — предки наши не одобряли такого поведения.

Косасих слушал, открыв рот, а потом вдруг рассмеялся.

— Хорошая пословица, матушка, очень хорошая. Но все уже позади, потому что тот, кому я всегда верил, за кем шел без оглядки, для меня теперь умер. Он, конечно, по-прежнему живет на свете, но слишком уверовал в свою непогрешимость и как бы ослеп. Теперь я сам вижу все лучше его, да и вообще лучше, чем все они.

— А ты не боишься остаться совсем один?

— Нет, матушка, — последовал быстрый ответ. — Со мною само будущее, судьбы всех людей на земле.

Старая женщина от души рассмеялась.

— Это хорошо, сынок, очень хорошо. Но позволь тебя спросить, — посерьезнела она, — сможешь ли ты ради этого будущего убивать?

— Убивать? — наморщил лоб Косасих. — Кого убивать?

— Убивать других людей. Тех, кого ты считаешь своими врагами.

Брови Косасиха еще больше поползли вверх, и, глядя на мать честным взором, он решительно произнес:

— Нет, матушка, убивать я никого не буду!

— Слава богу! — облегченно вздохнула и довольно заулыбалась мамаша Карта. — Знаешь, почему я тебя об этом спрашиваю? Испокон века мы, сунданцы, при встрече даже с совсем незнакомыми людьми называем друг друга «батур». На языке наших предков слово «батур» означает «друг», «товарищ». Так ведь? Ну а если каждый, даже незнакомый человек — твой друг, то и относиться к нему следует подобающим образом. Что ты об этом думаешь?

Косасих молчал, с удивлением разглядывая мать.

— Ладно, — продолжала мамаша Карта, — для примера, чтобы пояснить, как следует вести себя с другими людьми, я расскажу тебе о том, что некогда случилось с нашим великим предком. Не с кем-нибудь, а с самим Прабу Силиванги! Знаешь, конечно, о ком я говорю. О достославном радже, которого так любили его приближенные и весь народ. Да и было за что! При его мудром правлении никто не ведал печали, не было в стране ни нищих, ни грабителей, все жили в полном довольстве. Таким уж он был, сынок, — не простой раджа, а особенный! Ну так вот! Долго правил он своей страной и ублажал всех подданных, ан вдруг откуда ни возьмись у границ его царства появились враги. Вызвали они его на бой, чтобы помериться силами: кто победит — тому и достанется царство. И задумался Прабу Силиванги, прослышав о такой напасти. Было у него два пути: идти на поле брани и проливать кровь или отдать страну на милость врага. Убивать тех, кого он всегда называл «батуром», другом, либо склонить голову и подчиниться чужой воле, чтобы говорили о нем потом: «*Kabawa ku sakaba-kaba*». Но, как я уже сказала, Прабу Силиванги был мудрым правителем, не под стать всякому. Не стал он убивать, но и не подчинился чужой силе. Так как же он тогда поступил? Прочитал заклятье и превратил всю страну в непроходимые джунгли, а верные подданные его обратились в огромных тигров, сам же раджа исчез неведомо куда...

— Но ведь это... это всего лишь сказка, матушка, — вмешался Косасих.

— А что не сказка, сынок? — грустно улыбнулась старая женщина. — Ведь то, что ты рассказывал нам с отцом, тоже всего-навсего сказка. А иначе не было бы мне так интересно слушать тогда тебя. Или вот сейчас: ушла твоя жена невесть по какой причине — разве это не похоже на сказку? Да и то, что я сижу с тобой рядом и рассказываю наше старинное предание, тоже похоже на сказку...

Косасих разволновался, выслушав ее ответ, грудь его стала вздыматься и опадать, а глаза заблестели.

— Так вы продолжайте, матушка, продолжайте. Что дальше-то было? — потребовал он.

Но мамаша Карта больше не хотела ни о чем говорить, она печально поникла головой.

— Трудно мне, сынок, ой как трудно досказывать тебе эту сказку, — вырвалось из ее уст. — Ее должен бы слушать не ты, а мой внук. Только маленькие несмышленыши, а не их взрослые родители умеют понимать глубину и красоту сказок такой, как я, старой бабки. Но ведь ты не порадовал меня внуком, не исполнил моего заветного желания. — И, прервав свои сетования, она стала вытирать глаза.

— Матушка... — растерянно произнес Косасих, — вы уж кушайте, пожалуйста. Давайте завтракать. — И сам подал пример, подкладывая в тарелку риса. — Я теперь постараюсь, матушка! — добавил он немного погодя, когда мамаша Карта тоже взялась за ложку. — Как только опять женюсь, обязательно постараюсь, чтобы у нас сразу родился сын, ваш внук. Да и к чему все мои старания, все труды во имя будущего, если я никого после себя на земле не оставлю. Суета все это! Но вы, матушка, право, не уезжайте, побудьте еще хоть чуточку. Ведь я совсем темный — даже сказаний о наших предках не знаю.

— Да я уж почти кончила, сынок, — заверила его матушка Карта. — Если что и осталось, то совсем немного.

— Тогда почему бы вам не досказать теперь? — настаивал Косасих.

— Ну что ж, это можно, — согласилась старая женщина, собираясь с мыслями. — Значит, так... После того как Прабу Силиванги не захотел убивать других людей, но не пожелал и покориться им, он сразу исчез — перебрался в жилище богов. Однако настанет время — а когда настанет, на то уж воля судьбы, — и он снова явится людям, чтобы править своими подданными так же справедливо, как раньше. И в царстве его не будет ни бедных, ни богатых, исчезнут вражда и раздоры, каждый будет другому «батур», все заживут дружно, во взаиморасположении и согласии. Зваться он, правда, будет уже не Прабу Силиванги, а Раджа Адил — Правитель Справедливый.

И Косасих, внимавший мамаше Карта умиленно, затаив дыхание, неожиданно уронил вилку из рук. В его взгляде светилась та же радость, что и в давние годы, когда он впервые слушал Пака Усмана.

— И конечно же, в этом государстве будущего всех старых людей, таких, как вы, матушка, окружат заботой, чтобы жили они долго-долго, — заключил он древнюю легенду.

Мамаша Карта и прежде-то чувствовала себя в Джакарте, где все наизнанку, не в своей тарелке. Теперь же, побывав у Косасиха, она еще больше утвердилась в намерении вернуться в тихий, спокойный Прианган с его чистым прохладным воздухом, освежающим душу и тело. Но кто бы мог предвидеть, что сначала на ее бедную голову, которая и без того шла кругом, обрушится нечто совсем страшное, такое, на что вообще едва ли способно человеческое воображение.

Предтечей всех ужасных событий послужило, как она потом поняла, посещение их дома тем самым славным начальником, которого не уставал расхваливать Хидаят. Впрочем, во время самого визита высокого гостя ничего особенного в их тихой обители еще не произошло. Разговаривал он с ее сыном, конечно же, по-индонезийски, а не на сунданском языке, к чему старая женщина, собственно говоря, уже привыкла. Только чего им-то двоим так далось это празднование юбилея партии, о подготовке которого ей пришлось уж наслушаться у Косасиха? Тревожно, ой как тревожно сделалось у нее на сердце. И эта непонятно откуда взявшаяся тревога отогнала приятные думы о родном Приангане: лучше повременить с отъездом, поглядеть, что произойдет здесь, в этом доме. Мамашу Карта ни на минуту не оставляло ощущение надвигающейся беды: казалось, небо над головой застлали черные-пречерные тучи.

Увы, дурным предчувствиям суждено было обернуться явью. Вскорости после того самого юбилея, который не давал покоя близким ей людям, случилось чуть ли не светопреставление, отозвавшееся уже в целой вселенной, а их дом с его всегдашним кладбищенским покоем словно бы заполнился сонмом вылезших из-под могильных плит призраков.

Однажды утром после телефонного звонка ее Хидаят вдруг забегал по комнате, словно раненый тигр. Он пылал гневом, лицо и затылок его стали огненно-красными, а глаза зажглись дикой злобой.

«Господи, к чему бы все это?» — испугалась старушка, не осмеливаясь задавать вопросы вслух. Ответ последовал

ближе к полудню, когда подоспели коллеги сына в военной форме и он стал держать перед ними речь.

— Друзья! — начал он. — Случилось нечто абсолютно немыслимое. Сегодня незадолго до рассвета были зверски убиты несколько армейских генералов. Убийцами являются лица из наших же военных кругов...

Как и всякий человек, неожиданно узнавший, что кто-то кого-то убил, мамаша Карта не на шутку разволновалась. А потом, слушая дальнейший рассказ сына и реплики собравшихся, задрожала всем телом, чувствуя, что последние силы вот-вот оставят ее.

Весь божий день просидела она на стуле, объятая страхом и не зная, как быть. Вечером же, заметив, что Хидаят остался один, она заставила себя приблизиться к нему, ступая тяжелым неуверенным шагом, словно то был не сын, а ужасный, огромный великан.

— Сынок, — произнесла она сдавленным голосом, — так ты что же, начнешь теперь убивать людей? Убивать потому, что так велят тебе другие, твои командиры? Станешь выполнять их злую волю?

Хидаят даже вздрогнул от неожиданности. Он никак не предполагал, что мать вот так заговорит с ним, затронув самую суть дела.

— Нет, матушка, — наконец отозвался он, — я буду убивать не только потому, что выполняю приказ начальства. У меня просто нет иного выбора: или они разделаются со мной, как с теми генералами, или я сам их уничтожу.

— Значит, ты собираешься мстить? — немного осмелела мамаша Карта.

— Мстить? Не в мести дело. Я поступлю так потому, что мне нравится жить на белом свете. А моя жизнь, которую я люблю, с этого часа находится под угрозой.

— Но послушай, сынок. — Мамаша Карта и сама не понимала, откуда она набралась храбрости. — А твоя ли она воистину — эта жизнь, которую ты так любишь? Не следуешь ли ты слепо тому, что внушали тебе другие, твои командиры? Идешь, куда ветер дует, плывешь, куда волна несет. Наши предки запретили своим потомкам вести себя столь недостойным образом. И отец твой тоже не одобрял такого поведения.

Хидаят пришел в явное замешательство, и мамаше Карта уже казалось, что сын вот-вот падет на колени и станет целовать ей ноги, как поступил бы Гуру Минда пред лицом Сунан Амбу, наставления которой подобны

очищающим струям воды, что смыли с заблудшего дитяти обезьянью шкуру, ниспосланную богами за прегрешения. Но — и это-то больше всего беспокоило старую мать — ее Хидаят лишь упрямо хмурился, соображая, как лучше возразить.

— Ты не права, матушка! Ветер и волны здесь вовсе ни при чем, и никто не навязывает мне свою волю. Мои поступки всегда диктовались требованиями нашего времени, соответствовали задачам национального строительства, о чем ни далекие предки, ни мой отец и слыхом не слыхивали.

Самым странным — право же, самым странным — явилось то, что, выслушав ответ сына, мамаша Карта осталась совершенно спокойной. Ни сомненья в правоте его слов, которое выдал бы ее взгляд, ни удушающего страха в сердце, ни слез боли из глаз, чего она больше всего опасалась, — ничего похожего не последовало. И вообще все то, что до сих пор так волновало, будоражило ее мысли, вдруг показалось несущественным и несуществующим. Почти облегченно вздохнув, она поведала сыну о своем давно созревшем намерении; если же он, по понятным причинам, не сможет проводить ее, она готова ехать сама, пусть только поможет купить билет.

Благополучно добравшись до дому, она не стала отвечать на расспросы соседей и затворила уши на все, что они потом говорили. Отгороженная от всего мира, она так и не узнала, каково было участие ее сына, напуганного гибелью генералов, в ответных массовых арестах и кровопролитии. Не хотела слышать, сколько десятков или сотен тысяч людей — неважно, членов партии или же нет — были убиты и неизвестно где захоронены, а сколько еще десятков или сотен тысяч попали за решетку и не ведают, что с ними станется. Не знала она и не хотела знать, в какой могиле покоится ее Косасих, который, хотя и числился в партийных функционерах, так и остался в неведении, почему и по чьей указке расправились с теми генералами. Не реже раза в неделю ходила она на могилу мужа и сидела возле нее часами. О чем она ему молча рассказывала, на что жаловалась, каких советов испрашивала — тоже никому не ведомо. Известно лишь, что вскоре ее сокрушил недуг, точь-в-точь такой же, как раньше папашу Карту. Она отказывалась глотать лекарства и принимать пищу, а когда соседи предложили послать

сыну телеграмму, просто улыбнулась, не издав ни звука в ответ.

Телеграмму соседи все же отправили, и сын поспешил приехать, надеясь услышать последний наказ матери. Но когда он опустился на колени перед ее постелью, надеждам его, казалось, не суждено уже было сбыться, ибо мать ни на что больше не реагировала и никого не узнавала. Оставалось только ждать, когда отлетит ее последний вздох.

Но когда этот миг настал, губы старой женщины чуть-чуть шевельнулись и тихо произнесли единственную фразу, услышав которую ее сын удивленно вскинул брови, поскольку смысл сказанного не затронул тогда струн его души.

Давно уже похоронив мать, Хидаят по-прежнему удивленно вскидывал брови, все чаще и чаще вспоминая ее последние слова. Когда же будет ему дано — да и снизойдет ли на него вообще сия благодать — осуществить сияющий, словно жемчужина в раковине сердца, Великий Наказ совершить то единственное, что имеет смысл и значимость для Жизни?

Слова же, которые с последним дыханием вылетели из ее уст, были таковы: «Расскажи моему внуку о том, что с нами произошло...»

1976—1977
Москва

Рассказы

29—0108

Перевод Т. Дорофеевой, С. Кузнецовой,
В. Брагинского, Б. Парникеля и Е. Руденко

Кунтовиджойо

ПТАШКИ НА ДЕРЕВЕ

Старик очень берег свое белое одеяние. Старался, чтобы ни пылинки не коснулось его. Была пятница. Над крышей дома подрагивало солнце. Значит, пора уже в мечеть — читать проповедь, а потом возглавить молитву верующих. Он любил прогуляться пешком. Идти, правда, далековато, да и запылиться в дороге ненароком можно. А от этого пострадала бы его чистота. Ему же хотелось, чтобы она ничем не была запятнана, когда Аллах узрит его в своей обители коленопреклоненным. И лишь мысль о том, что Аллах уже и теперь видит его белые одежды, да намерение, несмотря ни на что, уберечь свою чистоту заставили его отважиться пойти через базар.

Старик был во всем белом — шапочка, баджу, саронг. На белом саронге только полосы золотого шитья. На плече коврик. Все, что положено в этот святой день. Путь через базар не доставлял ему удовольствия, здесь каждый раз ему становилось не по себе. Спокойный шаг, чистый лик, умиротворенный взгляд резко выделяли его из толпы. Если бы не желание сократить путь и избежать сутолоки больших улиц, он ни за что бы не ходил этой дорогой. Торговцы на базаре неизменно вызывали у него изумление: мыслимо ли — забыть Аллаха! Шум и гам базара, непрестанная спешка, алчные лица, дикие взгляды — деньги! деньги! — все это никак не соответствовало его представлению о сущности человека. И потому здесь он чувствовал себя так, словно его обокрали в собственных мыслях. Но и шествуя по базару, старик не прерывал свои размышления. Неужели не находят они ни минутки времени, чтобы подумать об узах, связующих нас с Творцом? Для этого и требуется-то всего ничего: час-другой вот в такие дни, как эта пятница. В кармане баджу старик нащупал небольшую книгу — словно прикоснулся к святыне. О Аллах, не до-

пусти, чтобы когда-нибудь я забыл слова благодарности Тебе.

Люди, я спрашиваю вас: почему не хотите вы уделить час — один только час! — тому, кто сотворил небо и землю? Ну почему? Этого он, профессор богословия, уразуметь был не в силах. Быть может, ему не дано постичь их суетности из-за того, что он преподаватель университета? Ну в самом деле, оставь он на час университет, и ведь ничего не произойдет. А оставь они на час базар — сколько денег проплывет мимо? Вроде бы и так, но все же оправдывать этим безбожников он не намерен. Одна лишь вера в Аллаха отличает человека от прочих живых существ — вот непреложная истина. И есть определенные символы веры, которые указал сам Творец. Воистину забыли они Аллаха! Только сам-то Он, кажется, молчит — стало быть, прощает? Вон все они живы-здоровы, рожают детей и горя не знают. А если прощает Аллах, имеет ли право он, старик, судить их? Более того, если представить себе, что и он такой же торговец? Ну в самом деле, допустим, он торгует и вот, занятый своим товаром или пересчитывая деньги, вдруг видит, что кто-то в белом одеянии неспешно шествует среди всеобщей сутолоки,— разве не подумал бы он тогда: нашел где вырядиться в белое! Шляется здесь, бездельник! Не видит, что ли: люди заняты делом! Смотрика, в мечеть направился! Зряшное дело, пустая трата времени. Выдумал себе прибежище покоя под названием «мечеть»!

Старик даже засопел. Такая возможность сильно удручила его. О Аллах, огради меня от людского злословия и коварства джиннов! Но осудить этих людей, как они того заслуживали, он так и не решился. Всему виной их невежество, они не ведают, что творят. Пошли им за то свое прощение, Аллах!

Оглядев себя и обнаружив, что его чистые одежды не пострадали, старик испытал облегчение. Базар удалось миновать благополучно. Теперь можно не сомневаться: его не коснулась мирская скверна. Он уже в тихой части города, где только группки домов, пустыри и деревья. Вот и дорожка — скорее даже тропинка, прихотливо вьющаяся среди травы. Здесь кругом простор — к счастью, попадаются еще кое-где в городе незастроенные участки. А от солнечных лучей, если надо, можно укрыться в тени деревьев, которые изредка попадаются на дороге.

День был жаркий, но зелень травы бодрила. Старик лю-

бил ходить этой улочкой именно из-за зеленой травы и этих деревьев. Зеленый цвет действовал на него умиротворяюще и служил отличным фоном, на котором свершалось его шествие к обители Аллаха.

Внезапно его охватила тревога. Вместо того чтоб молиться, столько времени потратил на никчемные раздумья о торговцах, деревьях, пустырях и солнце! Старик зашептал молитву. А потом опять всплыла все та же назойливая мысль о людях на базаре. Отчего они так неблагодарны и не поминают имени Аллаха? Но с другой стороны, почему Аллах должен отвлекать их от дела? Разве Он не заботится о рабах своих? Разве не радостно Ему видеть тех, кто толчется на базаре, на улице, пропадает день-деньской в мастерских? Так надобно ль им жертвовать работой ради мечети?

Вконец запутавшись в своих беспокойных мыслях, старик опять ощупал карман баджу. Легко было Аллаху сотворить человека, ведь Он всесилен, а человек слаб — простому смертному ох как трудно хранить веру в Него. Помолись же о людях. Он подумал о том, что ему, тщедушному телом, но сильному духом, удавалось своей проповедью вселять в людей веру в Аллаха, и они слушали его как зачарованные. Но тут же устыдился перед Всевышним: что за странные мысли приходят ему в голову, да еще именно сейчас? Просто никуда не годится для профессора богословия. Сколько дорог он исходил, где только не побывал, видел Святую землю и был в городе Пророка. Для благочестивого мусульманина это не праздное путешествие. В его годы надо быть смиреннее. Мысленно он опять, словно то было только вчера, увидел черный камень Каабы.

Душу его охватило смятение. Шумел в деревьях ветер, срывал листья, и они падали неясными тенями на траву. Дорога была пустынна. На сей раз прогулка не принесла ему умиротворения. А всему виной эти мысли. Может, лучше иметь в дороге попутчика, чтоб было с кем перемолвиться словечком? Хотя нет, так правильней. В дороге нужно молиться, а не заниматься болтовней. К чему пустые разговоры, когда лишь молитвой можно снискать милость Аллаха? К чему эти странные мысли, если они только отдаляют его от Творца? Старик вспотел, капля пота упала ему на баджу. Хотел бы он так же просто избавиться от тревоги, как смахнуть пот со лба. Чего он жаждет, так это покоя. Ничто так не желанно в его возрасте, как покой, — вот что открылось ему на склоне лет.

Базар, этот базар! В ушах до сих пор стоял его шум. Но ведь это Творец сделал так, что люди — коли они живут — должны есть. Откровенно сказать, старику легко взять да и отправиться в мечеть, а вот сумел бы он торговать? Не будь он преподавателем в университете, вряд ли бы он в этот час шел в мечеть. Вся его жизнь зависит от университета и — страшно подумать — от собственных ошибок. Не ходил бы в мечеть, не был бы таким ревностным мусульманином — выгнали бы его из университета. И никакого другого средства к существованию он бы себе не нашел. А где найти? На базаре, на фабрике, в мастерской, в поле? Старик посмотрел на свои худые и бледные руки. Он даже не сумел бы трясти тряпками перед носом у прохожих, как это обычно делается. Ясно, не сумел бы. Можно закрыть университеты и по-прежнему жить-поживать припеваючи, но нельзя — боже упаси! — прикрыть базары, фабрики, мастерские. И потом, с чего это он там, на базаре, важничал? Оттого лишь, что шел в мечеть, а остальные — нет? Да еще и шел так, словно боясь оскверниться, опасаясь, как бы платьем своим не коснуться безбожников. Как жестоко с его стороны. Теперь он понимал, что очень обидел тех людей. В конце концов, если сам всевышний судия не казнит их за это, с какой стати ему чураться их?

Старик посмотрел на баджу — такое же белое, как было. Но теперь даже в белизне одеяний ему чудился какой-то укор за недавнее пренебрежение к тем людям на базаре. Да, конечно, он согрешил в своих мыслях, когда позволил себе судить о чистоте душ этих людей. Он ведь не столько заботился о своем платье, сколько боялся оскверниться. Разве его, будь он сам торговцем, не обидело бы такое отношение? Да и смог ли бы сам он тогда бросить свои дела, чтобы идти в мечеть?

На этот вопрос он затруднялся ответить. Это он-то — благочестивый мусульманин, богослов, преподаватель университета. Казалось бы, такой простой вопрос, а он ломает над ним голову. В своей науке на любой вопрос, даже самый трудный, он мог найти ответ. Так неужели этот сложнее? Платком, шитым руками жены, старик провел по бровям, и на нем, золототканом, отпечатался грязный пот. Желтый лист упал ему на плечо; старик стряхнул его, и тот плавно опустился на землю.

Ему захотелось вернуться туда, на базар. Вот только зачем? Попросить прощения? Или что-то возвестить им? Да, мне надо донести до них слово Аллаха, чтобы они

почувствовали необходимость хоть ненадолго оставить базар ради мечети. Надо донести. Да, но ведь и его самого ждут сейчас в мечети! Что ж, на все воля Аллаха. Я сделаю это на обратном пути. Правда, очень сомнительно, захотят ли они меня слушать. Впрочем, захотят, не захотят — это уже не моя забота. По крайней мере то, что положено им услышать, я скажу. Не пойдут они в мечеть — Аллаху от этого хуже не станет. А если не станет, зачем же я все-таки хочу, чтобы они пошли? Разве Ему вообще что-нибудь нужно? О Аллах, я, дерзкий, посмел заподозрить в Тебе себялюбца. Нет-нет. Ты вправе требовать с нас. Мы ведь только рабы Твои, и одно лишь служение Тебе возносит нас над собой. Ну а те-то торговцы — они кому служат? Должно быть, собственным интересам. Впрочем, кто ж о них позаботится, если не они сами? Я живу за счет университета — и на то Твоя воля, Аллах! А их всех кормит базар. Не будет их на базаре — и денег у них не будет. Тогда не слишком ли это много — требовать от них посещения мечети? Не чересчур ли это? Ведь кто, как не Ты, Аллах, вселяешь в людские души эту потребность? А страждущие: все эти нищие, бедняки, работяги — нужно ли им приходить к Тебе?

Старик почувствовал, что камень, лежащий у него на сердце, начал словно таять и растворяться в горячем поту. Он простил тех людей на базаре и всех остальных, кто в пятницу не придет. Пусть будет как будет. Сейчас ему нужно успокоиться, привести в порядок мысли, не то проповедь пойдет вкривь и вкось. Он стал молиться о том, чтобы ему не думалось о людях на базаре, когда он взойдет на минбар. Теперь он опять был в силах молиться. Но тут чей-то плач заставил его прервать молитву. Кто же это плачет?

Под тамариндом, задрав голову, стоял маленький мальчик. Когда старик взглянул на него, он указал ему наверх. Дерево было высоко и раскидисто — тенистый оазис прохлады средь жаркого дня.

— Что такое, малыш? — спросил старик. Небесная голубизна, посеребренная солнцем, резанула глаза, когда он взглянул на верхушку дерева. Колючий сноп солнечных лучей заставил его зажмуриться. Он погладил ребенка по голове. — Ну, что?

Мальчик опять показал наверх.

— Птички.

— Да-да. Я слышу. Это птенцы, внучек.

Малыш действительно вполне годился ему во внуки. Старик пристальней вгляделся в детское личико: какие необычайно светлые глаза! Он догадался, о чем его просят, и, еще раз погладив ребенка: «Ну будет, не плачь», стал опять смотреть вверх. Всхлипывания малыша постепенно утихли.

На одной из веток, скрытое в листве, прилепилось гнездо. И, глядя на него, старик вспомнил вдруг свое детство, далекое-далекое, когда он был еще озорным мальцом вроде этого. Он ведь тоже страстно любил птиц. Кружил по окрестным деревням, охотясь за ними. Эти охотничьи походы приносили, пожалуй, даже больше радости, чем сами птицы. Как-то пришлось ему и самому держать птицу — ту, что однажды с базара принес отец. Отец! Когда-то давным-давно отец ездил торговать лошадьми и, вернувшись, привез ему птицу в клетке. Радость его тогда была неописуема, он так и заливался счастливым смехом. Вот и сейчас при одном воспоминании о той радости старик не смог сдержать улыбки. Ну разве что не запрыгал, как в тот раз. Ребенок заметил его улыбку. Тогда у него был, кажется, дрозд. Да, дрозд. Старику захотелось, чтобы мальчик, у которого только-только высохли слезы, почувствовал то же, что испытывал он сам много лет назад. Захотелось, как когда-то его отцу, доставить ребенку радость и пережить то, что чувствовал отец, вручая ему птицу.

Старик посмотрел на стоявшего рядом мальчика.

— Погоди, малыш.

Птицы щебетали вовсю. Его охватила дрожь от волнующей надежды заполучить птиц, и он почувствовал себя почти счастливым. Однако это было другое счастье, совсем непохожее на то ощущение, к которому он привык. Как будто нечто давно утраченное вдруг вновь воскресло в его душе, и этим утраченным была радость, что вновь переполнила его. Малыш стоял, разинув рот, и не отрывал глаз от верхушки дерева. У него была симпатичная мордашка и крепенькое тельце.

Пока старик обдумывал, как половчей забраться на дерево, в душе стало расти какое-то беспокойство. Его белое облачение настойчиво напоминало ему о чем-то. Однако то счастливое состояние души, в которое он уже погрузился, и надежда поймать птенцов подавили это поднимающееся чувство.

Старик скинул сандалии, сбросил с плеча коврик и подвернул саронг. Минута — и он уже на дереве. Сказалась

сноровка, приобретенная в детстве. Для него не представило особого труда залезть на такое дерево. Помнится, в детстве он был отчаянным и на какие только деревья не залезал. Мальчишка внизу пришел в восторг, закричал, замахал руками, показывая, где должно быть гнездо. Оба от души смеялись, однако старику все же приходилось быть начеку. Пожелтевшие листья тамаринда облетали и уносились, словно капли дождя, подхваченные ветром. Наконец старик удобно устроился в развилке ствола. Еще несколько движений — и вот оно, гнездо. Впрочем, куда торопиться — ему очень нравилось здесь, на дереве. Он оглядел с высоты землю — отсюда все выглядит совсем иначе. Небо точно распахнуто над головой. Малыш что-то восторженно кричал внизу, выражая безудержную радость. Птенцы пищали — наверное, они были голодны. А где же мать? Ага, вот она. Пронеслась у самого уха. Очутившись в мире пернатых, он ничего уже, кроме птиц, вокруг себя не замечал. Самка уселась на ветку. Старик смотрел на нее. Да, я намерен похитить твоих детей. Возьмем сначала птенцов, а потом будем думать, как поймать самку. Трудностей старик не боялся: уж если в детстве он был прекрасным ловцом, то сейчас ли ему, умудренному годами и знаниями, пасовать?

Он посмотрел вниз на мальчика.

— Малыш, раздобудь-ка клетку. Да поживей!

Поместим птенцов в клетку, а потом сможем на них и самку приманить. Вот она где сейчас, беспокоится. Ух какая! Желтые на сером перышки, хохолок... Дрозд! Такой же точно, как был у него много-много лет назад. Ну, разумеется, не тот же самый — его из прошлого не возродить,— а просто той же породы.

Взору открывался прекрасный вид. Далеко-далеко виднелись голубые цепи гор. Осторожно придвинувшись, старик заглянул в гнездо. Два птенца, распушив крылышки и разинув красные клювы, трогательно запищали ему навстречу. Ах вы, пташки-глупышки! Думаете, я ваша мать? А я ведь украсть вас собираюсь. Куда же запропастился этот мальчишка с клеткой, где его так долго носит? Со знанием дела старик рассматривал птенцов. Совсем скоро они смогут летать и петь по-настоящему. Бережно левой рукой он взял гнездо — правая ему нужна, чтобы держаться. Осторожно, как бы не раздавить. Дроздиха-мать билась в листве где-то у него над головой, затем перелетела на дерево рядом, следя за происходящим.

Легким прыжком старик соскочил с дерева, весь усыпанный пожелтевшими листьями тамаринда. Удовлетворенно гоготнул — мальчик уже ждал его с клеткой. До чего же забавны эти трепыхающиеся маленькие пташки. Старый и малый позабыли все на свете. Клетка так и осталась лежать на земле. Гнездо попеременно переходило из детских ручонок в руки старика. Птенцы оказались упитанными, они уже наполовину покрылись нежным серым опереньем, лишь кое-где проглядывало мокренькое голое тельце.

— Давай положим их в клетку, — промолвил наконец старик.

Мальчик поднял ее с земли, открыл дверцу, и вот гнездо в клетке. Старик еще помедлил некоторое время. Мальчик стоял, сложа руки за спиной, глаза его были прикованы к клетке.

— На, держи. — И клетка очутилась в руках у ребенка. — Как бы нам теперь поймать дроздиху?

Старик взглянул на птицу, сидевшую на ветке тамаринда. Она была великолепна. Правда, пения ее они еще не слышали, но всякая птица будет хорошо петь, если только за ней правильно ухаживать.

— Эти птицы питаются фруктами, малыш.

Он непременно должен поймать дроздиху. Не волнуйся, птаха, скоро ты будешь со своими детьми в клетке. Будешь спокойно жить-поживать, вдоволь есть, и не надо будет тебе опасаться, что вдруг когда-нибудь окажешься голодной или попадешься в когти кровожадному хищнику.

— Неси веревку.

Мальчик поставил клетку опять на землю и пустился бежать. Уже вдогонку, пока тот еще не скрылся, старик крикнул:

— Да подлиннее, самую длинную неси!

Мальчик исчез в одном из дворов.

Старик тем временем оглядывался. Где бы устроить клетку так, чтобы она хорошо была видна дроздихе? Теперь остается лишь привязать веревку к дверце и в укромном месте ждать, когда залетит птица, а тогда захлопнуть дверцу. Ему это пара пустяков — столько раз в детстве проделывал. Пожалуй, с закрытыми глазами и то сможет — руки сами сделают все что нужно. Деревьев здесь на пустыре предостаточно. Ну да, вот подходящее саво. Сюда можно повесить клетку и наблюдать издалека. Откуда же? Ага, вот! Все в порядке.

Появился мальчик. Руки он держал за спиной.

— Ну как, достал веревку? — Протянулась ручонка с мотком веревки. — Отлично, малыш. Где раздобыл?

— А это мама торгует.

Так, готово дело. Где же крышка? Вот она. Старик быстро распустил моток веревки и привязал один ее конец к дверце. Теперь клетку с открытой дверцей надо приладить на дереве. Когда ему было столько же, сколько этому мальчику, он уже был прекрасным птицеловом. Потому-то у него сейчас все так ловко получается. Мальчик восхищенно смотрел на него. Да, не каждый в нынешнее время мог бы сравниться с ним в проворстве по этой части. На старика вновь нахлынули воспоминания детства. Всех тогдашних забав и не упомнишь. То была почти одна сплошная игра, пока не поглотила все жестокая реальность. Отец вскоре решил, что пора сыну найти настоящее занятие, и определил его в медресе. И кончилось детство, сменилось круговертью жизни. Учить Коран и хадисы оказалось таким же простым делом, как запуски воздушного змея. Пытливый ум ребенка легко воспринимал ученую премудрость. И позабылись вскоре нехитрые детские радости. Ему грезилась иная жизнь. Благодаря медресе с царившим там духом учености он обрел в себе силу и познал новые радости бытия. Самым большим огорчением в его жизни было, если он почему-либо пропускал молитву или забывал почитать Коран. Но сейчас, когда он держал в руках клетку с птицами, даже и это все отошло куда-то, отодвинулось под напором нахлынувших чувств.

Так, привязали веревку. Старик, сопровождаемый мальчиком, подошел к саво и повесил клетку. Нет, пожалуй, лучше залезть и прицепить ее повыше, чтобы дроздиха чувствовала себя спокойно и не подозревала, что за ней следят. Перевесили. Птенцы неумолчно пищали. Их мать крутилась неподалеку, беспокойно била хвостом. Старик распустил веревку. Она оказалась очень длинной — значит, найти подходящее место для засады будет не трудно. Он поманил ребенка, приглашая вместе с ним спрятаться в зарослях. Тот обрадовался, не веря своему счастью. Правда, он еще не вполне понимал, чем все должно кончиться. Таким делом он занимался впервые. И его первым учителем оказался человек, который годился ему в деды. Впрочем, нет, сейчас они одногодки. Давно забытая радость переполняла душу старика, заставляя сердце сильно биться в ожидании момента, когда птица влетит в клетку. В ближайшие минуты для них ничего более важного на свете, чем поимка птицы, не существовало.

Дроздиха уже несколько раз ударялась сверху о клетку.

— Подожди, малыш. Скоро она залетит.

Каждый раз, когда птица пролетала близко от клетки, старик весь напрягался. У малыша уже готов был вырваться крик, но старик хватал его за руку: «Тсс, не шуми, а то она испугается!» Уже не раз и не два птица стрелой проносилась мимо клетки. Ах, какая досада! Дуреха! Залетай! Это же твои дети! Мальчик, глядя на старика, стал за ним повторять. И тут старик зажал ему рот рукой.

— Смотри, сейчас залетит. Спокойно.

— А клетка упадет, дедушка?

— Да нет, я привязал ее крепко. Ураганом и то не сорвет.

Они снова застыли в ожидании. Птица перелетела с тамаринда на верхушку саво. Затем села на клетку. Два сердца — молодое и старое — сильно забились в унисон.

— Да залетай ты, — прошептал мальчик.

— Тихо. Тихо.

Птица перепорхнула на ветку прямо напротив дверцы. Крик птенцов усилился. Они смотрели в сторону матери, она на них. Дроздиха вдруг сильно забила крыльями. Двое в укрытии замерли, ожидая момента, когда пора будет дернуть. Но нет, птица опять взвилась в воздух. Вот досада! И опять пришлось ослабить веревку.

— Ничего. Скоро вернется. Она знает, что птенцы голодны, вот и полетела за кормом.

— Значит, она не понимает, что мы хотим ее поймать?

— Конечно, нет, малыш. Мы же спрятались, поэтому ей и не понять, что мы ее ловим.

— Но ведь клетка-то наша?

— Да, но ей жалко своих детей. И поэтому она все равно хочет в клетку, не соображая, опасно это или нет.

— Значит, она все-таки что-то понимает?

— Да, немного. Но лишь человек обладает истинным разумом.

Слова «человек», «разум», произнесенные стариком, всколыхнули что-то в его душе. Но все это опять потеряло всякий смысл, едва появилась дроздиха. Старик радостно хохотнул.

— Дедушка, не так громко! Дроздиха услышит. Птицы ведь слышат?

Последовало недолгое молчание, а затем старческий голос ответил:

— Они слышат, но только не так, как мы. Животные и птицы воспринимают звук неосознанно. Не так, как человек. Человек — вот существо совершенное.

— Тихо, дедушка. Птичка!

Дроздиха, спланировав, уселась на саво. В клюве у нее что-то краснело.

— Похоже, она принесла папайю, а, малыш?

— Или манго. Видишь, дедушка, цвет-то оранжевый.

— Да-да.

Дроздиха перепорхнула на ветку поближе к клетке, как раз напротив дверцы. Писк усилился. Старик шептал себе: «Терпенье. Жди, пока не залетит». Вдруг птица сделала стремительный бросок — и тотчас в клетке прибавилось обитателей. Бац! Дверца захлопнулась. Птицы даже не поняли, что попали в ловушку. Напротив, они защебетали еще веселей. Мать принялась раздавать корм.

— Дедушка, а если бы я попался в клетку, мама бы тоже принесла мне покушать?

Старик пристально посмотрел на мальчика.

— Людям никуда не следует попадаться. А вот если будешь валять дурака, то в какую-нибудь ловушку попадешь непременно. Учиться надо прилежно, тогда и не случится ничего.

Теперь можно было и расслабиться, снять с себя напряжение, в котором они держали себя так долго. Охотники перевели дыхание. Увидев, что старик встает, мальчик тоже вскочил и принялся отряхивать штанишки от приставших травинок. Вдвоем, взявшись за руки, они направились к дереву. Отвязали веревку и стали разглядывать добычу. Птенцы в клетке то умолкали, то вновь начинали щебетать. Дроздиха то и дело бросалась на стенки.

— Дедушка, а она, кажется, поняла, что мы ее поймали.

— Ничего. Корми их хорошенько, и они скоро забудут, что сидят в клетке, а не на свободе.

Он передал клетку ребенку. Свернул веревку, привязал ее к кольцу.

— Они едят фрукты, запомни. Папайю, бананы, манго.

— Или мандарины.

— М-м-м... Пожалуй, да.

Старческой рукой он провел по волосам мальчика.

— Ну, ступай.

Ребенок взглянул на него и припустил к дому. Старик смотрел ему вслед, пока тот не исчез за деревьями.

Где же сандалии? Где коврик? Ну и жара. Он привстал

на носки, босые ноги искали, куда бы ступить в траву. Вытер выступившую испарину. Саронг, баджу, шапочка — все промокло от пота. Солнце палило нещадно. Значит, полдень давно миновал. Ага, вот сандалии, а вот и коврик. Он вновь посмотрел в ту сторону, где скрылся мальчик. Какая-то мысль вдруг мелькнула в голове — нет, потом, потом... Сначала надо привести в порядок одежду. Она вся была в пятнах — не то пыль, не то смола. Белое баджу искомкано. Складки саронга помялись и потеряли всякий вид, их уже не вернешь. Из ткани кое-где торчали оборванные золотые нити. Он, как сумел, разгладил ее. Взглянул на небо — солнце прямо над головой. Значит, уже за полдень. И он забыл о своем высшем долге...

Нет, не просто раскаяние охватило старика — он обвинял и проклинал себя. Какой тяжкий грех! Но что удивительно: раскаяние не вытеснило до конца то недавнее чувство радости — видно, он недостаточно казнил себя. Надо было бы перед уходом еще раз увидеть мальчишку да отчитать его хорошенько. Кто он на самом деле, этот мальчишка, — дьявол, ангел или просто человек? Старик ведь дотрагивался до него — мальчик был из такой же плоти, живой, как и он сам. Заглядывал в его сияющие глаза, умилялся его детскому очарованию. Уж не дьяволом ли внушена эта радость, что доставил ему мальчик? А если то был ангел, зачем явился ему за таким делом? Впрочем, как же так, ведь ангелы являются только пророкам? Нет уж, лучше бы это был сон, а не явь. Но помятые складки саронга, которым он так и не смог вернуть первоначальный вид, говорили, что это ему не приснилось и что в мечеть он все-таки опоздал. Ждет ли его еще Аллах в своей обители? Обошлись ли там без него? Захочет ли Он простить ему опоздание? Терзаемый мыслями, старик торопливо покинул пустырь.

Народ уже шел из мечети, растекаясь по улице. Взоры всех устремились на старика, он почувствовал на себе удивленные взгляды. Да, это я, ваш имам, проповедник, опоздал сегодня к службе. Он не смел смотреть встречным в глаза — они словно жгли в самое сердце. Кое-кто из идущих останавливался и приветствовал его. Достоин ли я их приветствия, о Аллах? Да не смотрите же так, оставьте меня! И как нарочно почти все — его хорошие знакомые. Позор, духовный наставник опаздывает в мечеть! Хотя почему же других, кто опаздывает, не казнят таким укоряющим взглядом? Он или кто другой — какая разница?

Это жестоко, жестоко с их стороны — оказывать ему именно сейчас такое пристальное внимание. Как хорошо быть никому не известным человеком. Что Ты скажешь мне на это, о Аллах? И что Ты скажешь о том мальчике — человеческое ли то дитя? По крайней мере руки у него были теплые, настоящие человеческие.

Старик снова оглядел себя. Не подобает таким растрепанным представать перед Аллахом. Но что делать! Хоть и есть у него несколько смен чистой одежды, но то ведь дома. Впрочем, эта тоже была чистая, когда он покидал дом. Хорошо бы люди не заметили, как она измята, тогда бы, может, и опоздание его показалось не каким-то из ряда вон выходящим делом, а так, обычной оплошностью. Да, хорошо, если так и подумают. Если б они стали спрашивать, он бы ответил им спокойно. Наплел бы чего-нибудь. Только Всевышнего, которому известен каждый твой шаг, не обмануть. Вот что было нестерпимо мучительно.

Сейчас, как никогда раньше, он жаждал прощения. Уже ступив во двор мечети, он все еще терзался сомнениями. Смеет ли он сейчас входить в обитель Аллаха? Старик остановился и замер. На него удивленно поглядывали. Собирались группками, обсуждали. Изумление было всеобщим. Да и как же не удивляться: богослов, праведный мусульманин опоздал на службу, да еще и явился какой-то помятый. Хотя люди и стояли поодаль, старик догадывался, что́ они говорят на его счет. Черт бы их побрал, этих людишек! Зашептались! А я-то кого боюсь — этого сброда или гнева Аллаха? Для себя решил, что все-таки Аллаха, а решив, сразу же успокоился. Сейчас он предстанет перед Всевышним, и самое важное — как Аллах отнесется к нему. Люди возвели его в сан проповедника и имама, они же его и терзают. В любом уважении, оказывается, кроется и унижение. Но ведь я же не виноват. Это все ребенок. Он плакал, и поэтому я остановился. Это он заставил меня все забыть. Старик припомнил, как совсем недавно он осуждал торговцев, — и устыдился. Вот-вот, доро́гой-то надо было молиться о милости божьей и отгонять от себя посторонние мысли. Стоит однажды лишь позабыть об Аллахе — и отвратишься от Него навсегда. Один только раз стоит уйти от Его суда — и окажешься в той сфере, где вершится иной суд. Значит, выходит, что торговцы и тот мальчик тоже недруги Аллаха? Старик припомнил их всех: торговца сахаром на рынке в углу, продавца сладостей, и нахохлившихся птенцов, и стремительно носившуюся

роздиху, и охваченного радостью мальчика. Если все они заслуживают проклятия, то почему Аллах не покарает их? О нет, если бы это произошло, он плакал бы вместе с ними, как только что делил радость с мальчиком. Они — это же он сам. Его рождение есть случайность, и становление самим собой вершилось без его ведома.

Старик все еще стоял перед дверью мечети, погруженный в глубокую печаль. Как не похоже было его теперешнее состояние на ощущение покоя, которое обычно овладевало им на пороге мечети! Он попытался вызвать в себе то чувство, с каким обычно стоял там, внутри, но ничего не получилось — оно казалось ему теперь каким-то чужим, не своим. Это было совсем не то, что недавно, когда он радовался вместе с мальчиком.

Нет, надо поскорее войти, чтобы избавиться от любопытных взоров, и там в уединении молиться. А память его все возвращалась к мальчику, который исчез за деревьями, унося с собой клетку. Возможно, он уже лезет на папайю за кормом для птиц. И какой-нибудь старикашка, подслушав, как мальчик рассказывал матери о своем приключении, тоже захотел полезть за птенцами. Как хотелось бы ему вновь оказаться рядом с тем мальчиком и всецело отдаться игре, а не стоять здесь и не терзаться мыслями, что там, за порогом, обрушится на тебя гнев Аллаха! Невыносимо. Он так надеялся, уходя из дому, найти здесь успокоение, а оно обернулось страхом. Обернулось тревогой, от которой так бешено колотилось сейчас сердце в груди. И все-таки где, в каком из домов живет тот мальчик?

И тут старика осенило: Всевышний! Все свершилось по Его воле, и всему виной именно Он! Хотя при чем тут вина? Аллах хотел лишь раскрыть ему глаза на что-то, хотел заставить его прозреть. И вот прозрение пришло. Он заплакал.

Подошел какой-то мужчина, окликнул. Старик отстранил его, попытался улыбнуться. Это слезы радости.

— Ничего, сынок, ничего, — произнес он и с просветленным лицом направился за водой для омовения. Народ еще толпился снаружи, когда старик шагнул через порог. Все происшедшее сегодня направлялось рукой Аллаха. Теперь уж в этом сомнений не было. Тот ребенок — дитя человеческое. И тянуться душой к этому малышу, к этим птицам и даже к базарной суете он будет так же сильно, как жаждет ныне встречи с Ним.

Мисбах Юса Биран

ЧУДЕСА НА ПАСАР-СЕНЭН

Глас свыше

В тот вечер на Пасар-Сенэн не оказалось никого, кроме Асмара. Я заприметил его за дальним столиком в глубине лавчонки, где торговали рисовыми колобками путу, по соседству с бочкой из-под бензина. Он сидел там наедине со своими думами, и ничто не скрашивало его одиночества. Ни пирожок, который бы он дожевывал, ни кофе, ни крепкий чай без сахара. Асмар витал в облаках. Грезил о чем-то далеком и возвышенном. Хозяину лавчонки, похоже, не было до него никакого дела — «люди творческие» заходили сюда не впервые. От них все равно ждать нечего.

Я присел рядом, и Асмар без малого минуту уныло вглядывался в меня. Взгляд его был испытующий, словно он что-то пытался во мне вычислить. Наконец, не вполне, видно, уверившись в результатах своих наблюдений, спросил:

— Закурить не найдется?

— ...Н-нет, — ответил я, чуть помедлив, потому что на самом деле в кармане у меня была припрятана измятая сигарета. По лицу его скользнула тень явного разочарования, и он снова задумался. Я пожалел, что не отдал сигарету, но уже было поздно: скажи теперь «да», и он может подумать, что над ним потешаются. Еще хуже выйдет.

Асмар по-прежнему пребывал в глубокой задумчивости. Точно решал труднейшую головоломку. А может, проникался творческим вдохновением? Он ведь тоже известен был как «человек искусства». Никому еще, правда, не удалось выяснить, какое именно искусство он представлял, поскольку Асмар пока ничего не успел создать. Но в тот момент мне определенно почудилось, что его посетило долгожданное вдохновение, почему я и счел лучшим ему не мешать и удалиться.

В закусочной «Исмаил Мерапи», где подавали рис по-падангски, тоже парковались «люди творческие» и их друзья-приятели. Туда и надумал я направить свои стопы. Но и здесь не застал никого — я имею в виду тех же «художников». Среди посетителей оказалось лишь несколько коммерсантов. Идти дальше на поиски было лень, и я пристроился рядом с ними. В этой харчевне хоть можно сидеть

спокойно. Официанты донимать не станут, выпытывая, что мне угодно бы выпить или закусить: они много раз уже видели меня в «художнической» компании, а потому знают, что наверняка я пришел только убить время. Да, раз уж нечего делать, послушаю, о чем толкуют торгаши.

С тех пор как я начал водиться с «художниками», интерес к деловым людям у меня несколько поостыл. А между прочим, их здесь тоже навалом. Некоторые из моих «богемных» приятелей недолюбливали эту публику за то, что она, дескать, ко всему подходит с денежной меркой. Однако на сей раз мне нечем было себя занять, да и, похоже, предмет обсуждения у них был очень занимательный: как легко в Индонезии делать деньги!

Торговец автомобилями поучал своих собеседников, чтобы они, если надумают «побаловаться» с машинами, не мелочились — коли уж рисковать, то по-крупному, иначе навар невелик. Его дружок не так давно взялся сбывать старинный «шевроле-1949». Сговорился, думал выручить за эту колымагу четыре тысячи чистыми, а хлопот имел столько, что и не перескажешь. Запчасти-то все оказались комбинированные, и покупатель, конечно, стал требовать с него. Пришлось выложить свою тысячу. Целую неделю надрывался, а выручка — каких-то три тысчонки.

Я прямо-таки обалдел, когда услыхал, что кто-то трудился всего неделю, а заработал целых три тысячи рупий. Три тысячи!

— Изрядно, черт! — непроизвольно вырвалось у меня, но, к счастью, никто этого не расслышал.

— А вот наш Цюа однажды впрямь отхватил куш. Купил «бэ-эм-вэ» на улице Ати-Сучи, это недалеко от Танах-Абанга, всего за тридцать пять тысяч, а через каких-нибудь пару часов уже толкнул ее за сорок две с половиной.

— Тоже недурно, два часа — и семь с половиной тысяч, — отозвался другой, только чтобы поддержать разговор.

Я почувствовал, что сейчас снова не выдержу: неужто семь тысяч пятьсот за пару часов — это всего лишь «недурно»?

— «Белл-эр», «мерседес-кабриолет» или «паккард» — вот что с руками отрывают, — продолжал торговец автомобилями. — А «мерседес-бенц» модель 420 сегодня уже на восемьсот тысяч тянет. Если попадешь в точку, вполне можно бы оторвать тысчонок двадцать-тридцать. Вчера вот, кстати, чуть-чуть не озолотился, да жаль — в последнюю

минуту сорвалось. Только пять тысяч и взял в приварок! Такая невезуха! — Оратор раздосадованно ударил рукой по столу. По всей видимости, он и в самом деле очень расстроился, сунув за пазуху всего пять тысяч.

— В машинах я слабо разбираюсь — вот в чем беда, — заговорил тут другой, худой и долговязый. — Хотя машины, видать, и вправду дело захватывающее. Да только если в чем мало смыслишь, то лучше не браться, ничего путного не выйдет. Мне подавай чего-нибудь попроще. Вот у меня, кстати, *ДО* — деливери-ордер[1] — на пятьсот тонн сахара. — Он извлек из кармана какую-то бумагу. — Генерал, а не ордер, это уж вы мне поверьте. Берешь сахар — и вези, куда тебе вздумается. Свободно. Отгрузка и сбыт на рынке без всяких ограничений. Я на нем, сказать честно, сейчас имею по тридцать пять сэнов за килограмм. Уже, правда, и сорок предлагали, да только мне отдавать не к спеху, погожу пока — двадцать пять тысяч разве деньги?

— А куда ж ты еще хотел бы пролезть?

— Говорят, на Суматре, в Джамби, с сахаром туго. Вот если наведешь на какую-нибудь тамошнюю фирму да сделка выгорит — готов отдать тридцать процентов. Сам мозгуй: у них там цена по такой же бумаге — пятьдесят пять сэнов кило. Значит, получим разницу двадцать сэнов, вот тебе и сотня тысяч в кармане. Ну как, сойдет?..

Когда о стотысячном барыше говорят «сойдет», это уже для меня полнейшая дичь. Одно ясно: в Индонезии делать деньги — пара пустяков. Ладно, хватит пока и этого открытия. И так голова идет кругом. Лучше отправиться на поиски моих «художников». Послушать их байки — вот где обхохочешься.

Однако в лавчонке, где торговали колобками путу, я снова застал одного лишь Асмара. Он все еще витал в облаках, как и час назад, во время нашей первой встречи.

Я остановился шагах в десяти, не решаясь подойти ближе. А что, если впрямь на него вдруг нашло вдохновение? Мешать человеку, внимающему музам, — это опасная ошибка, такое «художники» прощают с трудом. Понаблюдаю-ка лучше за ним незаметно.

Похоже, что парень действительно родился на свет божий, чтобы творить. Фигура, прическа, бородка — что ни возьми, все в нем «артистического» покроя, как будто это с него брались срисовывать для кино и романов образы

[1] Заказ на поставку (*англ.*).

«людей искусства». Тощий, глаза запали, нечесаные космы редких волос торчат в художественном беспорядке, да и глядит на все так, словно намерен проникнуть в самую суть вещей. Именно таким предстал мне в тот вечер Асмар: он ко всему, что попадало в поле его зрения, — велорикшам, зеленщикам, торговцам циновками, женщинам — присматривался внимательным пытливым взглядом. Кто знает, может, Асмар и есть единственный здесь, на Пасар-Сенэн, истинный «художник» — так сказать, стопроцентный, наивысшей пробы. Богемного в нем хоть отбавляй. Живет впроголодь, не заботясь ни об одежде, ни о своем бренном теле. И более того, работы не признает никакой, кроме раздумий об искусстве. Ходили даже слухи, будто он провозгласил себя приверженцем некоей «доктрины оптимизма», согласно которой ничто живое на свете не остается без пропитания. Что верно, то верно — Асмар до сих пор жив-живехонек, хоть и томим неизъяснимой тоской.

О чем же он все-таки теперь размышляет? Над чем так сосредоточенно ломает голову? Меня разбирало любопытство. Может, и впрямь это миг вдохновения, на котором взрастет его первый шедевр? Вдруг он нуждается во мне, чтобы я выслушал, какие замыслы сейчас зреют в его мозгу? У художников ведь нередко бывает потребность сперва поделиться с кем-нибудь своими творческими исканиями. Иными словами, им нужны слушатели. Ну что ж, друг, изволь, я весь внимание. Подсев к нему, я для затравки протянул свою единственную сигарету.

Асмар взглянул на меня, благосклонно улыбнулся. Ни дать ни взять вылитый Дон Жуан, что приглядывается к зардевшейся от смущения девушке.

— Какую думу думаешь, приятель? — спросил я с «артистической» непринужденностью, которой с недавних пор уже научился неплохо подражать.

— Да есть одна, — ответил Асмар. Он, закурив, глубоко затянулся, так, чтоб уж, видно, пробрало до самого нутра. — Одна странная штуковина. Загадочная даже.

— Ну если уж и для тебя загадочная, пожалуй, мне тем более не по зубам.

— Как знать, — возразил он и, вновь подвергнув меня осмотру, с полнейшей серьезностью добавил: — Может, тебя-то я как раз и ждал.

— Исключено. Всякие там, знаешь, странные явления не по моей части.

— А это не явление, — ответил Асмар. — Это причина. Причина явления. Жду того, о чем мне был глас свыше.

— Глас свыше?..

— Ага, свыше. Чудесное знамение. Не первый раз уж такое, и всегда сбывается. — Асмар умолк, чтобы опять насладиться вкусом моей сигареты.

Признаться, он здорово подогрел мое любопытство. Надо же, знамение, и не какое-нибудь там — чудесное!

— В общем, у меня такое предчувствие, что этим вечером я буду иметь больше сотни рупий. Правда, не знаю, от кого... — Он вдруг прервал свои пояснения, заметив, как я ухмыльнулся.

— Ну-ну, а знамение-то? Какой такой глас свыше?

— Я и говорю... У меня это уже не впервые, — продолжил он с таинственным видом. — Если три дня подряд в животе пусто или к ночи только и перепадет чего куснуть — верный знак, что на четвертый день кто-нибудь да подкинет сотенную, а то и больше. — Асмар внимательно посмотрел на меня. Я поспешно кивнул, стараясь изобразить предельную заинтересованность. — Последний раз такое было в конце прошлого месяца. В первый день не ел ни крошки, только выпил три стакана кофе. На второй где-то часам к десяти вечера подкинули наконец пятерку, тогда и перекусил чуток. На третий — горстка риса с овощами. А наутро четвертого дня заявляется один давний знакомец и просто так, за здорово живешь, выкладывает денежки. От брата бывшей жены. Знаешь, сколько? — Я покачал головой. — Сто пять рупий! Значит, пару недель можно жить безбедно! — воскликнул он, просияв так, точно речь шла о невиданной удаче, какая не выпадала доселе никому в мире.

— Сейчас уж, видно, все проел? — поинтересовался я. Черт меня дернул об этом спросить — лицо его внезапно помрачнело.

— Все подчистую, еще недели две назад, ясновидец ты мой!

— Ну да, понятно... Так что ж теперь, какое было тебе чудное знамение?

— Четыре дня уже... Четвертый день зубы на полке. Вчера вообще ни одной рисинки не проглотил, только и перепало, что пяток сигарет с гвоздикой. Бывает, и пару дней так постишься — уже знак, что вот-вот чудо случится, на третий наверняка заживешь припеваючи. А нынче-то уже четвертый! Я с самого утра жду, все к людям пригля-

дываюсь, да только не видать пока моего чудотворца. Эта вот сигарета, которой ты угостил, у меня сегодня вторая.

— В этом месяце многим зарплату задержали. Я и сам на бобах, к примеру.

— А, да не о том разговор! Деньги-то, если хочешь знать, на земле валяются!

— Вот-вот, бунг, верно говоришь! — с воодушевлением подхватил я. — Сегодня как раз довелось своими ушами слышать, сколько денег сейчас кругом да как легко их взять...

— И все разной погани к рукам прилипают!

— А может, и тебе только руку протянуть стоит...

— Зачем? Чтобы тоже бандитом стать? — окрысился Асмар. — Благодарю, не хочется. Потому и сижу теперь здесь. Я знаю точно: наверняка что-нибудь случится, судьба меня стороной не обойдет.

— Ну а вдруг не свершится чудо, тогда как?

— Все равно ждать буду. А не свершится, значит... Значит, подохну с голода, — уже спокойно подвел он черту.

Мне стало порядком не по себе от этого упоминания о смерти. Он, вне сомнения, был по-настоящему голоден. Рука его, когда он подносил ко рту сигарету, заметно дрожала. Денег в кармане у меня было всего пять рупий, но я понял — придется отдать. Правда, на что завтра куплю курево, неизвестно. Асмар, увидев в моей протянутой руке пять рупийных бумажек, сперва оцепенел. Потом взял их, кивнул, и губы его расплылись в улыбке — улыбке, полной сокровенного смысла.

— Ну что, теперь веришь? Вот оно, чудо. Хоть маленькое, а свершилось. Как, убедился?

Былая слава

— *Tin hulden*[1], то бишь десять голландских рупий, хорошему клерку в двадцатые годы платили за целый месяц, если он не лодырничал. На такое жалованье он со всей своей семьей мог жить припеваючи. А вот мне те же десять гульденов доставались за один день, — говорил старый человек с изрезанным морщинами лицом, которое украшали усы и неухоженная борода. Сим почтенным старцем был Пак Хусин, знаменитый лицедей довоенной «стамбульской

---

[1] Десять гульденов (*непр. нидерл.*).

оперы-бангсаван», известный когда-то под прозвищем Том Микс Нидерландской Индии. Я в тот полдень пригласил его выпить чашечку кофе у конечной остановки маршрутных такси «Пасар-Сенэн».

— Представляете, как мне жилось в то время? — спросил он затем и осклабился, отчего на лице у него выступило еще больше морщин.

Мне стало чуточку не по себе.

— Ну конечно, ом. Вы тогда были молоды, — смешавшись, неопределенно ответил я.

— Вот-вот! Еще бы! *It was*[1] не один десяток лет тому назад! Сложения я в ту пору был крепкого, подтянутый, следил за собой... И к тому ж каждый день в кармане не меньше десяти гульденов. *Now*[2], представляете, экая силища денег! — Пак Хусин зашелся мелким смехом, я тоже его поддержал. — Какая женщина не сойдет с ума? Ну-ка, что вы на это скажете? — спросил он, вдруг приблизив ко мне свое лицо.

От неожиданности я даже отпрянул, но все-таки сумел скрыть растерянность, тотчас подсунув ему сигарету.

— Да-да... благодарю вас, спасибо...

Он прикурил и затянулся глубоко, точно в руках у него была трубка с опиумом.

— Нынче я редко курю светлый табак — не по карману уже... Зато раньше, бывало, потягивал «Даурос». Одни только богатые прощелыги могли покупать такие сигареты. А для меня, пожелай я хоть десять пачек в день выкуривать, — сущий пустяк, примерно десятая часть моего *salary*[3]. — Он опять с наслаждением затянулся. — Вечерком, знаете, перед спектаклем любил прогуляться по городу. Надевал белый габардиновый костюм, что себе в Сингапуре справил, волосы зачесывал гладенько назад *a là Valèntino*. В левой руке трость с потайным клинком, в правой — сигара «Карл Первый». Вышагиваю медленно этак, вразвалочку. Смотрю только вперед, но уж знаю наверное, что все девушки вокруг с меня глаз не сводят. Со всех сторон слышу: *Huje meidah... Huje meidah...*[4] Ха-ха... Сам себе прямо генерал-губернатором кажешься.

Пак Хусин, пожалуй, еще долго бы смеялся, не по-

---

[1] Это было (*англ.*).
[2] Ну (*англ.*).
[3] Жалованья (*англ.*).
[4] Добрый день... Добрый день... (*искаж. нидерл.* goedemiddag).

перхнись он мелким кашлем от того, с каким запалом рассказывал свою историю. Потом пригубил чуточку кофе — так, чтобы осталось еще на глоток.

— А почему вас называли Яванский Том Микс? — спросил я, одновременно подавая знак хозяину: еще, пожалуйста, чашку кофе.

— А-а, ну да... Ха-ха! Да, ну как же! Том Микс!.. Только не Яванский, а Нидерландской Индии, по-теперешнему — Индонезии. — И, опять похихикав, продолжил: — Я ведь, знаете ли, когда играл, отчаянные штуки на сцене мог выделывать, тем и прославился. Надо, скажем, на кулаках драться или на ножах или там пенчак изобразить, кун-фу, бороться по-всякому — ни разу такого не было, чтоб я отказался или вдруг сплоховал. Само собой, помаленьку и сбережения заводились. На других сценах разве что если примадонна пела или, скажем, когда канкан на бис шел — тогда только в зале не скупились, деньги бросали пригоршнями. Зато у нас, там, где я играл, публика серебра не жалела, когда я выходил драться. Мне ведь — это без похвальбы — говорили даже: вы такой актер, такой актер, похлеще самого Тома Микса. Ну да, вот того самого — звезды немых ковбойских фильмов. А что было, когда я пел! Тут уж монеты и вовсе на сцену дождем сыпались.

— Неужто злодеи и те у вас пели, ом?

— Во всякой роли полагалось быть пению. А у меня голос... — Тут Пак Хусин покосился на мои сигареты, и я протянул ему пачку. — Да-а... С моим голосом стоило только рот открыть — и, знаете ли, хоть три нынешних Дома искусств поставь, все равно было б слышно. *Zonder mikrofon*[1].

— Это что, вы так пели, ом?

— Ну ясное дело, пел! О-о, в те времена петь умели, не то что теперь — хрипят себе по-петушиному, точно туберкулезные. Вам, пожалуй, не пришлось уже слышать пластинок Джильи или Карузо...

— Как же, как же, приходилось, — ответил я, тотчас вспомнив кинофильм «Великий Карузо». — Есть еще и кино такое, ом.

— Ну вот, и у меня был такой голос... Да, что-то в этом роде — мы ведь, ясное дело, не европейцы.

— Ничего себе, ом, — сказал я, передавая ему только сейчас принесенный кофе.

---

[1] Без микрофона (*непр. нидерл.*).

Пак Хусин, улыбнувшись, принял у меня из рук чашку и чуть-чуть поерзал на стуле.

— В «Махарани» играл я Санто, младшего брата Маунг Джи. Помню, в той сцене, где он обвораживает Махарани, взял я себе арию Виолетты. Представляете: открывается занавес, Махарани сидит на берегу маленького озерца, о чем-то мечтает... Только она успевает сказать пару слов, а тут уже грянуло вступление к той арии, что я сейчас буду петь, — это ее, значит, обвораживать. Мне, чтоб одних только музыкантов подмазать, пришлось на целую рупию раскошелиться!

— А их-то зачем было подмазывать?

— О-хо-хо, да они ж нам такое могли подстроить! Чуть повыше тональность дадут — вот глаза у тебя на лоб и полезли... Ну, играет, значит, музыка с полминуты — тут я вступаю, за занавесом. Публика хлопает. А меня-то ведь еще и не видно! Пускай зрители покрутят головами, пусть угадают, откуда я появлюсь. Я ведь, прежде чем выйти, незаметненько зрителей из-за занавеса разглядывал, в щелку. Это чтобы знать, где сидят ньяи и хорошенькие барышни. *Klaar*[1]. Выхожу, значит, продолжая петь, легонько кланяюсь — шум тут же поднимается немыслимый: аплодисменты, крики... Я на Махарани пока что — ноль внимания! Ничего, подождет! Ну вот, успокоятся все, тогда я небрежно этак, с улыбочкой кивну разок тем хорошеньким барышням, которых через щелку-то высмотрел, а уж потом только поворачиваюсь и пою для Махарани. Когда эту роль в Сурабае играл, мне гульденов пятнадцать, не меньше, накидали. Это не считая того, что под сцену укатилось, туда уж после наши актеришки слазили.

— Да уж, здорово, ом, — оборвал я его и снова протянул сигареты, видя, как он измучился, пытаясь смастерить самокрутку из сухого пальмового листа. Он очень церемонно вытащил одну.

— Видели бы вы, однако, что на следующий день было, — заговорил он с еще большим воодушевлением после того, как глубоко затянулся. — Упился я так, что на ногах не стоял.

— Пивом?

— Э-э, пиво — это напиток для женщин. Мы ведь пива не признавали. «Мартини», «болс», джин — вот где настоя-

---

[1] Готово (*нидерл.*).

щие напитки. *O God, what a pleasure life!*[1] — Он прихлебнул немного из чашки.

— А почему не сходить было на эти деньги куда-нибудь с хорошенькой барышней? — спросил я, пока он моргал, смакуя свой кофе.

— Хо-хо, на прогулки с хорошенькими барышнями тратиться не приходилось. Они сами наперебой зазывали на угощение. Особенно ньяи с плантаций, это которые состояли на содержании у голландских контролеров, — они за все расплачивались. Да-а! — Пак Хусин для пущей убедительности стал кивать головой, возможно, заметив, что я не очень ему поверил. Тогда я тоже кивнул, и он улыбнулся. Перевел взгляд в сторону — улыбка не сходила с его лица — и начал уноситься куда-то в грезах. Я обратил внимание на то, что глаза его казались сейчас слишком узкими от опустившихся складок под кончиками бровей. Он широко улыбнулся и бросил взгляд на меня. — Да-а, бедняжки, как подумаешь, что за доля выпала этим барышням, так жалость берет. Сколько их каждый вечер околачивалось перед театром! А ведь им, между прочим, на знакомство со мной-то рассчитывать не приходилось. Мы не то, что нынешние звезды, нам негоже было вести себя как попало. Правда, сами-то мы на них могли посмотреть. Но только непременно, когда они уж рассядутся в зрительном зале. В самом начале представления, пока еще канкан идет под *"Rio Rita"* или *"Somebody love me"* да свет в зале не погас, — тогда-то я и высматривал. Всех-всех мог разглядеть, кто там сидит в зале: слева впереди красная блузка с кем-то, наверно с мамашей, в третьем ряду тоже цыпочка собой недурна, а вон там, справа, где пять стульев пустых, посередке уселась дама со служанкой — это уже ньяи, видать, содержанка какого-нибудь управляющего плантацией, золотая булавка-то у нее во-он какая большущая. Ежели эдак вот все хорошенько разведать — считай, порядок. Потом, когда на сцену выходишь, не забыть только на те места, что успел заприметить, как бы мельком взглянуть и улыбнуться. А еще если поёшь один да, к примеру сказать, и пьеса захудалая, то неплохо бы парочку пантунов ввернуть специально для этих смазливых барышень. Ну, допустим, такой:

---

[1] О господи, что за удовольствие эта жизнь! (*англ.*)

В высоких горах поселок малайский,
Кайн полосатый с зубча́той каймой,
Уселась на ветке птица райская,
Захочешь поймать — не достать рукой.

Или еще вот:

В карты играя, продулся впрах,
Шаль потянул — развернулось знамя.
Пускай красотка высо́ко в горах —
Я и у тигра из пасти достану.

Тут в зале сразу крики, шум... А тебе только краешком глаза в ту сторону стрельнуть да еще разок чуть-чуть улыбнуться хорошеньким барышням. Больше и не надо. После представления уже бегут ко мне наши актеришки с новостями, докладывают. Один, слышишь, шепчет: там, мол, у заднего входа, вас коляска уже дожидается. Другой зовет куда-то обедать — ну, думаю, это что ж за обед такой поздно ночью? Еще кто-то упрашивает: а не заглянете, дескать, по пути к одной девице, ей с чего-то вдруг нездоровиться стало. Да я уж вам говорил, как оно дальше-то бывало. Что творилось после спектакля — вообразить невозможно. Пожалуй, скажу только, что в ту пору у меня одних украшений из золота и драгоценных камней чуть не мешок был. Пять штук золотых булавок с цепочками, да на каждой по пять золотых ринггитов болтается, четыре кольца с бриллиантами, золотых перстней печаткой уж не знаю сколько, дюжина запонок с алмазами. Это мне все от тех красоток ньяи досталось... Знаете, как в той песенке:

Ищи от Чимахи до Падаларанга
Богатую ньяи высокого ранга...

...Хотя у меня, конечно, и в мыслях не было из них тянуть. За такие делишки могло ведь не поздоровиться! Это сами ньяи на шею вешались. Ну и мы, так сказать, народ особый, актерская братия, нам симпатии зрителей тоже не во вред. Значит, они сами и виноваты, раз уж *fall in love*[1], правильно? А то ведь откажешь, а потом как? Одна даже грозилась с собой покончить. До самоубийства, правда, не дошло дело, а все ж куда спокойнее, когда уступаешь. Чего артачиться, верно? Вот так и набил карман дорогими побрякушками.

[1] Влюбляются (*англ.*).

— А куда же они подевались? — спросил я после того, как он, понурившись, с минуту молчал.

Поправив воротничок своей рубашки, изломанный и пожелтевший от долгого ношения, Пак Хусин поднял голову и, слабо улыбнувшись, сказал низким голосом:

— Все ушло... уплыло... *gone*[1]! Растаяло вместе с моей славой.

— Как же столько всего могло уйти?

— Ну... Всякое было... Пил, играл, погуливал... Видать, такая судьба...

— Но ведь можно было купить землю, дом или, скажем...

— Да, теперь-то я и сам знаю, что не мешало распорядиться богатством с пользой.

— А тогда что — не знали, ом?

Пак Хусин усмехнулся.

— Знать-то знал, да только у меня не о том голова болела. Я думал, и опера никуда не уйдет, и ньяи вовек не переведутся. Тогда меня все устраивало. Стоило мне разок спеть в Селангоре, как все султаново семейство пожелало со мной познакомиться. По всему Малаккскому полуострову, куда ни заносило, любовь крутил. Уж о том, что у себя дома, на родине, не говорю... Посмел бы кто слово поперек сказать — узнал бы, какая у меня рука тяжелая. Глаза поднять никто не отваживался, если я начинал скандалить. Хозяин оперы как-то раз даже слезу пустил, стоило мне прикинуться, что я хочу расчет взять, — вот до чего доходило.

— Ну и дела...

— Еще какие. Потому и зазнаваться стал. Был там у нас один, Дул его звали, билетами торговал. Сунулся раз ко мне с советом: надо бы, мол, деньги беречь и все такое — пять дней потом ходил с раздутой щекой, так я ему влепил. Вот кого сейчас жаль вспоминать, так это Рябого. Настоящее имя у него было Ахмад Шах, но я его за щербатую рожу Рябым прозвал. А он простой клоун, потому даже и обижаться на меня не смел за эту кличку. В годах уже был человек, трое детей. Присоветовал мне учиться на счетовода, конторскому делу или чему-то такому... Договорить не успел, как я развернулся и двинул — он так и отлетел. Дети в плач. Эх, как вспомнишь, жалость берет. Нет, никто не решался меня поучать. Оттого и остался я

---

[1] Минуло (*англ.*).

на всю жизнь неучем. Какой там голландский язык - Коран читать и то кишка тонка. По-английски вот еще немного кумекаю, набрался от людей — на сцене же в то время английский был в ходу. *So, now the time has come... and my glory is over. Now as you see I'm sitting here before you, nothing and hopeless*[1].

— А все-таки жаль, ом, что сейчас старых актеров не приглашают.

— Нет! Я никого не виню. Сам во всем виноват. *It's all because*[2] зазнался... зазнался, нос кверху драл. Зарвался...

— Как и теперешняя молодежь, ом. Они тоже слишком много о себе мнят! — подхватил я, чтобы его утешить.

— Да! — без колебаний согласился он. Потом, скосив глаза на чашку с кофе, добавил: — Да-а... Хотя и не все молодые сейчас зазнаются.

— Я вот не думаю зазнаваться, ом.

— И не надо! *And you*[3], похоже, и вправду не задаетесь..

Я протянул ему сигареты. Уплатил за две чашки кофе, выпитые Паком Хусином, и за свою — все обошлось в полторы рупии. Пак Хусин поблагодарил. Я предложил ему еще сигарету, про запас, и мы распрощались.

Данарто

НОСТАЛЬГИЯ

Абиманью не сводил глаз с лужи крови, которая все расширялась, растекаясь по полу. Густая, винно-красная с пурпурным отливом, она колыхалась, переливаясь в лучах солнца, проникавших в шатер. Солнце клонилось к закату, наступал вечер. Огромный золотой шар тоже казался забрызганным кровью, сочившейся с небес. Восход этого шара уже много дней кряду призывал на великую брань враждующих братьев, принадлежавших к двум ветвям единого рода — рода Бхаратов. Когда же ночь укрывала золотой шар в своих непроглядных недрах, отпрыски того великого рода прекращали сражение.

---

[1] Итак, час настал... и пришел конец моей славе. Теперь, как видите, сижу я здесь перед вами, ничтожный и отчаявшийся (*англ.*).

[2] Все потому, что (*англ.*).

[3] А вы (*англ.*).

Длинные тени людей и шатров уже легли на широкую равнину Курусетра, но Абиманью не чувствовал приближения темноты. По-прежнему как зачарованный глядел он на лужу крови и, быть может, что-то не ведомое никому угадывал в ней. Как знать? Потом он с ногами взобрался на свое ложе, ибо густая кровь успела покрыть весь пол шатра. Теперь, когда она достигала бы ему до щиколоток, кровь перестала прибывать, не колыхалась, застыла недвижно. Зловещая, пугающая, подобная красному ковру.

Абиманью вздрогнул, заметив, что в луже крови барахтается лягушка, в следующее мгновение вспрыгнувшая на трон. Перемазанная в крови, она оставила на нем алые следы.

В ярости Абиманью выхватил из ножен крис и хотел было проткнуть наглую тварь, когда внезапно до него донеслось:

— Столь поспешный гнев не к лицу тебе, о Абиманью.

То были слова лягушки, и, услыхав их, Абиманью в изумлении попятился.

— Похоже, трон тебе дороже, чем знание, — улыбнувшись, продолжала лягушка. — Нынче ночью мне и вправду суждено умереть, но паду я вовсе не от твоей руки. Так что смири свое сердце.

От тех слов прекрасноликий, широкоглазый, густобровый Абиманью внезапно побледнел и замер в растерянности, все еще сжимая рукоять криса. Его словно околдовали.

— Вложи крис в ножны, о отважный герой, — промолвила лягушка, глядя на него в упор немигающими глазами.

Под ее взглядом Абиманью, сам того не желая, спрятал крис в ножны.

— Кто ты? — спросил он.

— Кто я? Откуда мне знать? — отвечала лягушка.

На миг воцарилась тишина.

— Так уж случилось, что я явилась на свет в лягушачьем теле, родилась лягушкой, во всем отличной от человека. Во всем, Абиманью, но это все — лишь телесный облик, не сопричастный душе, духу, тому в нас, что способно перерождаться. Любое творение — наместник Господа на земле, будь это человек, растение или просто вещь.

— Я только кшатрий, чье дело — война. Мне недосуг разбираться в сложных материях, — отрезал Абиманью.

— О Абиманью, тебе и вправду трон дороже знания. А ведь только знание возвышает троны. К тому же кшат-

риям приличествуют иные из свойств брахманов, дабы мудрость осеняла их власть.

Абиманью стало не по себе. С изумлением глядел он на лягушку, мучительно стараясь угадать, кто из небожителей предстал перед ним в ее обличье: Батара Сурья, Батара Индра, Батара Байю? За стенами шатра темнело. Ночь, а с нею и тишина опускались на равнину. Беззвучно сновали воины. Молили о помощи бесчисленные раненые. Поспешно погребали убитых. По временам тишину нарушали звуки труб-раковин, завывавших, словно шакалы.

— О Абиманью, прославленный юный герой, сколько уж дней тому, как ты впервые вышел на Курусетру — бранное поле, где братья Пандавы и Куравы исполняют данные ими обеты. Словно гонимые безмерной таинственной силой, хлынули они отовсюду, дабы собраться здесь, и та же сила, что собрала их, теперь заставляет братьев всею душою желать друг другу гибели. И сила эта — неодолимая судьба. Ибо бой, который вершится на Курусетре, — суть мироздания, схватка Добра и Зла. Лишь эти двое властвуют во вселенной, и ты, о Абиманью, отнюдь не пешка в их борьбе.

Ты, верно, еще на забыл, как пал Сета. Он был прославленным воителем Пандавов и уже торжествовал победу, когда внезапно как подкошенный рухнул с боевой колесницы. С сияющим взором встретил он смерть, окруженный облачившимися в траур Пандавами. Ни одна рана не обезобразила его прекрасный лик. Когда его душа расставалась с телом, небеса побледнели, точно люди, исхлестанные длинными пальмовыми жилками, и даже Куравы, которые понесли жестокий урон от его десницы, испустили тяжкие вздохи, узнав о гибели мужественного Сеты. Но не поправить непоправимое: обе семьи знают, что в их руках судьбы мира и даже боги не в силах помешать доброй и злой воле их, его властителей. Запылал погребальный костер, и Сета обратился в пепел, но тот пепел стал талисманом, дарующим могущество войску Пандавов. Каждый обрел свежие силы, пламя вырвалось из-под пепла, и, избрав новую тактику, они опять устремились на врага.

А потом исцелили раненых, погребли мертвых, нашли замену павшим военачальникам, и, когда брахманы вознесли молитвы богам, на поле брани выехал Бисма — верховный предводитель Куравов, могучий и бесстрашный, искушенный в ратном деле и неукротимый. Старик, он был по-прежнему прекрасен лицом, обрамленным седыми усами и бакенбардами. От его лика исходило сияние. И этого

старца, о Абиманью, за его кшатрийскую доблесть восхваляли и Пандавы, и Куравы. Он стал союзником Куравов вовсе не потому, что желал поражения Пандавов. Он сражался против Пандавов вовсе не потому, что больше их любил Куравов. Нет. Все было вовсе не так. Он не думал ни о Пандавах, ни о Куравах. Не они занимали его, но только сама судьба. И желал он лишь одного: пусть скорее свершится его жребий и да не продлятся дольше срока его сновидения в сем мире иллюзии-майи. А потом наступит полный покой.

На боевой колеснице, под ослепительно белыми стягами неколебимо стоял тот воитель, не ведающий поражений, величественный, точно солнце. Грозный, как Батара Кала, он сокрушал врагов, подобно мощному урагану, сметая с лица земля сотни воинов из армии Пандавов. Равно безразличный к пронзительным рыданиям и устрашающим воинским кличам, он разил и сметал, снова и снова, не зная устали. Пандавы пришли в замешательство, ужаснулись, затрепетали.

Но в конце концов и он рухнул с колесницы, словно бурей повергнутый наземь стрелою Сриканди, без промаха вонзившейся ему в грудь. Алая кровь, хлынув из раны, на миг вспыхнула на солнце, и на этот краткий миг дух Бисмы встретился с духом Деви Амбы, а затем вновь возвратился в тело героя. Сражение тотчас остановилось. Облачившись в траур, Пандавы и Куравы пришли оплакивать павшего, и Бисма, покоившийся на ложе из обломков копий, стрел и крисов, давал предсмертные наставления обеим семьям...

— К чему ты рассказываешь мне все это? — с раздражением оборвал лягушку Абиманью. — И смерть Сеты, и гибель Бисмы я видел собственными глазами. И я уже говорил тебе, что я всего лишь обычный кшатрий, чей долг сражаться.

— Возложенное на погребальный костер тело Бисмы ослепительно сияло, — закончила лягушка, словно не замечая раздражения Абиманью. — А тебе, о юный герой грядущей битвы, отнюдь не пристала подобная вспыльчивость, ибо во всем сокрыт свой смысл, своя тайная мудрость. Есть она и в нашей нынешней встрече.

— Довольно! — вне себя от ярости вскричал Абиманью. — Замолчи, не то я проткну тебя крисом. Ты, о неведомая тварь, должно быть, нарочно явилась в этот час перед битвой, чтобы смутить меня.

— О Абиманью, не в твоей власти отнять у меня жизнь,

ибо тот, кому поистине суждено меня убить, уже поджидает там, снаружи. Он слышит прежде вездесущего ветра, он постигает быстрее мысли. Я благодарю провидение за то, что столь мудрый муж освободит мою душу из оков столь жалкого тела. Но пока не исполнилось предначертание, у меня еще достанет времени поговорить с тобой.

Внезапно Абиманью испытал небывалое волнение — словно бы царапина прочертила его сердце. Ему почудилось, что именно теперь он готов слушать речи лягушки. За стенами шатра грохотали боевые колесницы, ржали кони.

— О Абиманью, вскоре ты станешь великим героем, осиянным лучами славы. Имя твое будут помнить, пока не пресечется род людской. Но не в этом подлинная слава, ибо всех превыше тот, кто сумел бесследно исчезнуть из истории. Ты возвысишься до Сеты и Бисмы, запечатлевших в ней свои имена, но такое возвышение — лишь узы. И тебе, Абиманью, не вырваться из них, ибо, подобно Сете и Бисме, ты — кшатрий, чей долг утверждать Добро. А этот долг и есть твои узы. Не верь, будто человек рождается на земле, чтобы стать философом, или политиком, или художником. Поистине он рождается на свет, чтобы противостоять всей вселенной. Он призван обрести всеобщее знание — постичь сущность творения, постичь Творца. А философия, политика или искусство приложатся сами собой, когда то всеобщее знание будет обретено. О Абиманью, лишь тот, кто живет сущностью Творца, способен создавать великие творения. Ты должен проникнуть в тайный смысл жизни Сеты и Бисмы. Ныне они в другом мире. И они куда более счастливы, чем в пору земного бытия в этой обители майи. Сета, и Бисма, и все мы совершаем дальнее странствие, дальнее, о сколь безмерно дальнее. Мы умираем, и возрождаемся к жизни, и вновь умираем, и вновь возрождаемся. О как ужасны превращения, которые нам суждено пережить. Вновь, и вновь, и вновь, и так без конца. Но во имя чего все это? Во имя совершенного счастья. И вот наступает миг, когда, проведя в пути миллионы лет, мы достигаем Его, приходим в Его объятия, входим в Его сердце. Мы недвижимы, но движемся, праздны, но деятельны, множественны, но едины.

В своей истинной сущности мы вечны. Вечность — вот удел человека. И не его одного: животные вечны, растения вечны, все вещи вечны. Ощути же это! Ощути свое истинное величие! О Абиманью, теперь от твоего лица исходит

сияние! Дай покой всем мыслям и чувствам. Слушай! Слушай! Слушай, как рвется на волю твоя душа! И знай: в вечности, которой мы наделены, жизнь и смерть вновь и вновь повергают и поднимают нас. И знай: все наши законы и установления не что иное, как майя. Что значит для тебя Бхаратаюдха — великая брань Бхаратов? Что ищешь ты в ней? О сколь абстрактен для нас ее смысл! Для тебя же и собственное тело — всего лишь абстракция. Ощути же, о Абиманью, о юный герой: вот пара твоих рук с десятью пальцами, чтобы напрягать лук. Вот пара ног с десятью пальцами, чтобы шагать по земле. Вот внутренности, сокрытые во чреве, чтобы переваривать пищу. Ощути это, о Абиманью.

Абиманью погрузился в раздумья.

— Ты, кого прежде не было, обрел бытие, — продолжала лягушка. — О, как конкретна эта абстракция. Разве не ее тебе следует постичь? Не за нею гнаться? Не ее искать? Почему это случилось? Для чего ты существуешь? Для чего сотворен? Ищи, ищи, Абиманью! И не только в сражениях Бхаратаюдхи. Ибо Бхаратаюдха — лишь малый шаг на пути, что длинен и долог.

Абиманью всецело отдался своим мыслям. Его взор блуждал в безоглядной дали. Лягушка улыбнулась.

Внезапно завеса, скрывавшая вход в шатер, заколебалась, откинулась, и лягушка, ярко вспыхнув, обратилась в горку пепла. Все произошло с быстротою молнии. Пораженный Абиманью не мог отвести глаз от того места, где она только что сидела. Меж тем в шатер вошел Батара Кресна. Его лик был багрово-красен, глаза горели.

— Благодарю тебя, о блистательный Батара Кресна! — послышался торжествующий голос лягушки. — Великая честь и безмерное благо, что столь мудрый муж исправил пути странствия моего.

Абиманью недоуменно прислушался, не понимая, откуда доносится голос. Глаза Кресны засияли ярче, руки сжались в кулаки.

— Абиманью, военный совет назначил тебя верховным предводителем в завтрашнем сражении. Готовься! — С этими словами Кресна скрылся за завесой.

Все еще потрясенный зрелищем пылающей лягушки, Абиманью ничего не ответил.

А Кресна, выйдя из шатра, оглянулся и, не разжимая кулаков, проговорил:

— Только что могучие струи омыли его душу и все-

общее знание стремительно влилось в нее. О дерзкая лягушка!

На следующий день Абиманью неколебимо стоял в своей боевой колеснице. В то утро он совершил полное омовение — ему хотелось очиститься душой и телом. Сияние, исходившее от юного предводителя армии Пандавов, озаряло ряды его многочисленного войска. Он зорко вглядывался в даль, чтобы не упустить ни одной мелочи будущего сражения, осматривал отряды, построившиеся для великой битвы, что сулила, превзойдя яростью все прежние, принести окончательную победу. На правом и левом крыле стояла конница, готовая взять врага в клещи. В центре выстроились боевые слоны, ожидая начала прорыва. Сам Абиманью был осью войска. В бою он разил врагов из лука, извергавшего тысячи стрел.

Предводителем армии Куравов в тот день был Джайяджатра. Он командовал войском, не уступавшим в своем совершенстве воинству Пандавов. Отряды конников, лучников, копейщиков и неодолимый корпус боевых слонов составляли то войско. Сам же Джайяджатра, прославленный кшатрий Куравов, поражал мужеством, воинской мощью, красотой. Взревели трубы-раковины, и обе противоставшие армии пришли в движение, обе медленно двинулись вперед. Кресна, Арджуна, Бима и Сембадра благословили воинов, выпустив из луков стрелы, что, рассыпавшись цветочным ливнем, будто зонт, осенили отряды Абиманью. А Дурьюдана, Дурсасана и Карна пустили к небесам дождевые стрелы, изморосью повисшие над отрядами Джайяджатры.

Боевые раковины ревели, подобно трубе божества смерти, избиравшего и собиравшего души, для которых настала пора разлучиться с телом, тысячи душ, низменных и возвышенных. Ничто не было забыто, ничто — упущено. Во всем царила неукоснительная точность, все предусматривали те предначертания, ясные и четкие.

Ближе и ближе сходились армии братьев, обреченных на вражду. Громче и громче ревели раковины, с каждым шагом сближались бойцы. Переливавшаяся в лучах солнца пыль взвивалась из-под ног, наполняя воздух.

Абиманью горячил коней, и его колесница словно бы летела по небу. Руки, могучие, точно ляжки оленя, напрягали лук, наделенный сокровенной силой, и десятки, сотни, тысячи стрел срывались с тетивы, отчего казалось, будто темная туча покрыла воинство Пандавов. А там, впереди,

те меткие стрелы повергали наземь воинов Куравов, будто выпалывали сорняки. Целый отряд бойцов, сраженный Абиманью, зиял ужасной отверстой раной на теле вражеской армии, приводя в смятение сонмы воителей. Войско Куравов дрогнуло, и тогда правое и левое крылья армии Пандавов начали брать его в клещи.

Видя это, Джайяджатра резко повернул колесницу и с небывалым проворством погнал коней на левый фланг. Не ожидая, что Джайяджатра уклонится от поединка, Абиманью устремился за ним в погоню, но Джайяджатра укрылся за спинами своих воинов, двинувшихся наперерез Абиманью. Абиманью прекратил преследование и, развернув колесницу, возвратился в центр своей армии. Джайяджатра же всей мощью обрушился на правое крыло воинства Абиманью, осыпал его дождем стрел, не уступавших сокровенной силой стрелам предводителя Пандавов, и в считанные минуты все правое крыло до последнего воина полегло на бранном поле.

Не на шутку обеспокоенный тем, что стяги правого крыла уже не реют над Курусетрой, Абиманью приказал корпусу боевых слонов немедленно атаковать. С трубными звуками, оглушительными, как грохот землетрясения, слоны грозно двинулись на врага. Они смяли войско Куравов, уже успевшее понести тяжелые потери, рассеяли его, обратили в беспорядочное бегство. Абиманью восхищенно взирал на это величественное зрелище, когда внезапно его боевая колесница разлетелась в щепы. То Джайяджатра, переодевшись простым воином, незаметно подкрался к нему и метнул в колесницу чудесное копье. Абиманью рухнул с колесницы и распростерся на земле. При виде этого замешательство охватило ряды Пандавов, и Джайяджатра сумел наилучшим образом воспользоваться представившимся случаем — бешено атаковал он левое крыло войска Абиманью, не давая опомниться, повергал во прах и крушил его ратников, пока ни одного из них не осталось в живых.

Все еще не опомнившись от удара, Абиманью с трудом поднялся на ноги. Теперь он стоял распрямившись, а вокруг бушевал ливень копий и стрел. Но предводитель Пандавов не обращал на них никакого внимания. Всадники из конных отрядов попытались прикрыть его, однако чем дольше кружили они, защищая своего военачальника, тем чаще то один, то другой падал с коня, сраженный тем непрекращающимся ливнем.

Новые отряды спешили на выручку к Абиманью, но он окриком остановил их.

Вскочив на коня, он стремительно погнал его вперед. Все дальше. Все стремительней. Конница Пандавов полетела вслед за Абиманью, но вскоре сильно отстала. А он нахлестывал скакуна, гнал его навстречу врагу, нападал, крушил, разил войско Куравов, вооруженный только чудесным крисом. Не ожидавшие внезапного натиска единственного кшатрия, отряды Куравов дрогнули и рассеялись. Ибо тот кшатрий свирепостью превосходил раненого быка. А тем временем корпус боевых слонов продолжал сокрушительную атаку, пробивая широкую брешь в рядах Куравов. Абиманью же понемногу расширял эту брешь, губя врагов внутри их собственного строя. Воины Куравов, которым хватало забот со страшной атакой слонов, пришли в полное замешательство, поняв, что чужак бьется с ними в самой гуще их рядов. И что этот чужак к тому же — верховный предводитель войска Пандавов.

Паника, охватившая войско, заставила Джайяджатру повернуть колесницу и теперь уже мчаться навстречу Абиманью. Колесница стремительно приближалась, но Абиманью, вовремя ее заметив, преградил ей путь и, когда расстояние между ним и Джайяджатрой сократилось до предела, громким криком напугал резлетевшихся коней. Кони шарахнулись в сторону, и брошенное Джайяджатрой копье просвистело мимо цели. Воспользовавшись этим, Абиманью, не слезая с коня, ударил Джайяджатру кулаком в лицо, и предводитель Куравов навзничь упал с колесницы. Поверив в гибель военачальника, его воины обратились в бегство. Абиманью по пятам преследовал их.

Но слишком решительно гнал он коня, один, в окружении врагов пробиваясь вперед. Отряды Куравов рассеивались, он одолевал их, но в тот миг упоения победой из глубины вражеского войска пролился новый дождь стрел. На этот раз стрелы достигли цели, и поразительное зрелище предстало взорам обеих армий. Мчащийся на коне Абиманью казался мишенью на стрельбах лучников. Все его тело ощетинилось стрелами. Стало красным от крови, пугающим, жутким. Он рухнул наземь, но тотчас поднялся на ноги и застыл, точно неподвижное, неколебимое изваяние, сплошь утыканное стрелами, что вонзились ему в грудь и в шею, в живот и в бедра, в руки и в спину. И то изваяние, выпрямившись во весь рост, медленно двинулось вперед, глядя прямо перед собой.

Тотчас поразительная тишина объяла Курусетру. Сражение внезапно прекратилось. Джайяджатра, изливший тот поток смертоносных стрел, отступил, поспешил удалиться с поля брани. Охваченное страхом, поникло войско Пандавов. Понурясь, замерла армия Куравов. А потом воины обоих станов оставили поле битвы, разбрелись кто куда. Изумленные, потрясенные, опечаленные. Страждущие.

Исполненные тоски и отчаяния.

— В одеянии из стрел ты еще величавей, о славный герой!

— Взгляни, сияние его еще ярче! Он еще прекраснее. Поистине божество смерти украсило его лик. А теперь, взгляни, он открыл рот. Он хочет пить?

— О нет, вовсе нет. Он узрел отверстые врата Истины. Он вдыхает аромат божественной Сущности.

— Перестань, старый дурень, что ты мелешь!

— Нет, верь мне, верь! Я отдал сражениям тридцать лет жизни. И потому я знаю, знаю наверняка: воины, прежде чем умереть, всегда вдыхают аромат божественной Сущности.

— Нечего пялиться на его мучения. Хватит. Вот его копье, я добью его.

— Нет! Нет! Не делай этого! Сейчас он идет к Истине. Я знаю, я верю! И приведет к ней всех нас. Лишь этого я жажду! И потом, что значат слова «враг» и «друг»? Что такое бытие и небытие? Что достойнее — убить или быть убитым? Что такое война? Что есть мудрость? Мы испытываем печаль и радость, но отчего, отчего? Сумеем ли мы все это постичь?

— Я не знаю.

Мелкий дождь пролился над Курусетрой, и тонкие струи его мешались с потоками другого дождя — цветочного, хлынувшего с небес по воле Кресны, затопив всю равнину дивными ароматами. Не сдерживая рыданий, слушала Сембадра скорбный рассказ о том, как пал ее сын. После же, не чуя под собою ног, поспешила на поле брани, объятое мертвой тишиной. Ее нежные стопы натыкались на поверженные тела, которыми полна была равнина. Порой, сама того не замечая, она ступала по лужам крови, и алые брызги пятнали ее кайн. Ветер трепал черные как смоль волосы, захлестывал ими лицо, и из-под них, из подвижной тьмы, неудержимо катились слезы, тяжелыми каплями падая в те лужи.

Арджуна и Кресна следовали за ней.

Никогда и нигде за всю историю человечества не приостанавливалось сражение вот так — из-за гибели одного-единственного воина.

А Сембадра все бежала по полю, тяжело дыша, с трудом передвигая ноги. Она спотыкалась о разбросанные тут и там копья, стрелы, щиты, натыкалась на отрубленные руки и ноги бойцов, оступалась, задев ногой чью-то слетевшую с плеч голову. То и дело ей приходилось огибать груды поверженных тел, громоздившиеся подобно холмам. И отовсюду до ее слуха долетали стоны и рыдания живых и умирающих — тех, что, распластавшись на земле, тянули к ней руки, хрипя:

— Воды... воды...

От этих стонов и мольбы слезы быстрее бежали из ее глаз, и она шептала, обращаясь к ним ли, к себе:

— Воды?.. Воды?.. Но кто жаждет больше, вы или я?

Непрестанно оглядываясь по сторонам, она видела вокруг одни лишь лица: мертвые, живые, лица с разинутыми ртами, выпученными глазами, лица, искаженные мукой, — десятки, сотни лиц. Стая воронов кружила над ней.

— Абиманью, дитя мое... — стонала Сембадра, поднимая голову, чтобы разглядеть, не лицо ли сына мелькнуло там, вдалеке, и вновь опускала глаза в землю — искала среди тел, что громоздились у ее ног.

Арджуна и Кресна с трудом поспевали за ней.

И в следующий миг она увидела Абиманью, который нетвердыми шагами шел в ее сторону, вперив взор в небеса. Сотни воинов тянулись следом за ним.

— О Абиманью, о возлюбленное мое дитя! — воскликнула Сембадра.

— О мать, о любимая! — откликнулся Абиманью, простирая к ней руки.

Сембадра хотела броситься ему на шею, но не смогла — тело сына, которое она жаждала прижать к груди, было сплошь утыкано стрелами, изъязвлено глубокими ранами, багряными, кровоточащими. В отчаянии она уронила руки и застонала от бессилия. Сотни воинов, окружившие их, не могли сдержать слез.

— Крепись, крепись, Абиманью! — выкрикнула Сембадра. — Ты должен жить, о дитя мое.

— Нет! — прервал ее Арджуна. — Он должен умереть!

— Нет! Он должен жить, он еще жив, и он сильный.

— Это недостойно его имени.

— Достойно, он ничем его не запятнал! Взгляни, ведь

он жив, он выстоит в схватке со смертью и будет жить.

— Тогда он покроет свое имя несмываемым позором! Остаться в живых — значит пойти против судьбы.

— Судьба — ничего не значащее слово. В любой момент она может измениться. Боги с легкостью переменят ее, для них это все равно что переставить тарелку риса.

— Не кощунствуй, Сембадра!

— Нет, это ты кощунствуешь, желая смерти сыну, когда он, превозмогая муки от ран, борется за жизнь. Такой героизм мне непонятен.

— Сембадра! Истинный героизм доступен лишь тем, кому ведомы веления судьбы. О них-то теперь и речь.

— Я знаю, ты так говоришь, потому что у тебя за спиной твой наставник — Кресна. Что ж, и я не одинока: за спиной у меня моя душа — луч света Господня.

Все в замешательстве потупились.

— Сембадра, но Бхаратаюдха — дело целой вселенной, всего мироздания.

— Пусть так, но это выше моего понимания, ведь мое дело — тарелки и чашки, забудь я о них, ты станешь сердиться, что они плохо вымыты.

— Сембадра!

— И еще — разве ты забыл? — он должен взойти на престол, чтобы процветало царство и преумножалась мудрость. Об этом мечтает весь народ, вся страна.

— Нет, он должен умереть!

— А я говорю — он должен жить!

— Женщины любят только порядок. Они вечно возводят преграды на пути к Истине.

— А мужчины обожают рассуждать об Истине, точно их уды никогда не гостят меж разверстыми бедрами женщин.

— Как ты можешь так говорить, Сембадра! Ведь Бхаратаюдха — дело богов! Дело кшатриев! Дело мужчин!

— О любезный супруг, если Бхаратаюдха — дело богов, им вполне под силу наделать себе героев из глины. Незачем им бросать в объятия войны моего любимого сына.

— Никто не бросал твоего красавца в объятия войны, Сембадра, — вставил Кресна.

— Никто? А по чьей же воле он стал верховным предводителем войска?

— По воле судьбы!

— Опять судьба? Нет ничего удобнее, чем свалить всю ответственность на судьбу. Тогда любой из смертных, к

чему бы ни вели его поступки, как бы ни были они непостижимы или попросту нелепы, сможет назвать себя мудрецом.

— Что ж, поистине нелегко стать мудрецом, — промолвил Кресна. — Его дела непостижимы, а порой кажутся нелепыми. Ему ничего не стоит назвать свои уста бездной, вмещающей судьбу, или вселенную, или даже Господа во всей Его полноте. Он говорит обо всем сущем, о мудрости, о добре, зле, счастье и о многом другом. Он исполнен глубокой веры, что каждый из смертных услышит его, и поймет, и осуществит услышанное. Но кто же виновен в том, что надежды его не сбываются? Сам мудрец? Или народ? Или, может быть, в том повинен Господь? Я думаю, все дело в вере, о Сембадра. Если я поистине уверен, что мое слово — слово Господне, я не перестану открывать его людям.

— О, как странно! — прервала его Сембадра, подходя ближе к Абиманью. — Как странно звучат твои слова! Но кто же все-таки виноват? Мудрец? Народ? Бог? Зачем я спорю с тобой? Какой в этом смысл? Что связывает меня с Арджуной? С тобой, Кресна? С Абиманью? Со всеми вами? Кто вы в своей истинной сути? Отчего это так волнует меня? Разве я не знаю? Да, все мы не знаем. Не знаем ничего!

— Ты права, Сембадра! — ответил ей Арджуна. — Я ничего не знаю о самом себе.

— И я, — прервал его Кресна. — Я тоже ничего не знаю о себе.

— Должно быть, всеведущ только Господь.

— Да, ибо Он — Творец.

— А мы — всего лишь его творения, и если творение что-либо знает, то лишь потому, что Творец открыл ему это.

— Верно, мы узнаем только тогда, когда нам открывают.

— Поистине так!

— Поистине так!

— Но я хочу, чтобы Абиманью жил! Мне открылось это!

— Нет, я хочу, чтобы он умер! Я уверен, что мне открылось именно это.

— Как поразительно! Но если обоим нам нечто открыли, то почему же мы понимаем открывшееся противоположным образом?

— Наверно, что-то иное должно внести ясность. Однако что же?

— Наша мысль?
— Да!
— Чувство?
— Да!
— Характер, убеждения, вера?
— Да, да!
— Ни к чему этот спор, отец и мать, — внезапно промолвил Абиманью. — Отныне не спрашивайте обо мне. Абиманью больше нет, но именно в этом небытии обрел я свою истинную сущность: эта сущность — Господь. Я сам — вечность.

Услышав эти слова, Арджуна, Кресна и Сембадра переглянулись. А Абиманью, устремив взор на воинов, стоявших перед ним, простирая к ним руки, воскликнул:
— Я — вечность!

Лица сотен воинов в тот же миг просветлели, в их глазах зажглось изумление. Абиманью шагнул вперед, и воины, соратники и враги, последовали за ним.

— О дерзкая лягушка! — прошептал Кресна. Его руки сжались в кулаки. Арджуна и Сембадра в смятении глядели на него.

— Воины, сподвижники мои! Сложите оружие! — на ходу крикнул Абиманью, обращаясь к тем, кто последовал за ним. И сотни воинов, точно под действием таинственной силы, бросили наземь копья и стрелы, отшвырнули щиты, сорвали доспехи.

Они шествовали, гордо подняв головы, и лица их сияли нестерпимым светом.

— Пробил час, когда воинам ни к чему оружие. Когда политики не управляют государствами, философы не философствуют, художники не творят. Ибо наше дело превыше всех дел. Оно — дело вселенной. Пересечем же просторы мироздания и, подобные младенцам во чреве матерей, из незнания возвратимся к незнанию, из небытия — к небытию, но именно в этом небытии каждый из нас станет тем, кто он есть в своей истинной сути, — Сущим. Нас не существует, один лишь Господь — Сущий.

— Воистину так! Нас не существует, один лишь Господь — Сущий! — вырвалось одновременно из сотен уст.

Громом, расколовшим небеса, прозвучал тот оглушительный возглас.

— Я — вечность! — выкрикнул Абиманью.

— Воистину так! Мы — вечность! — откликнулись воины.

Громовой возглас стих, и воины сплоченным строем двинулись дальше. Кресна, Арджуна, Сембадра и сотни ратников, оставшихся на месте, в изумлении глядели им вслед.

— Я — не жизнь и не смерть, я превыше жизни и смерти! — выкрикнул Абиманью. — Я — вечность!

— Воистину так! Мы — вечность! — откликнулись воины, следовавшие за ним.

— Я не счастье, и я не страдание! Я превыше того и другого! Я — вечность! Мой дух корчится и стенает на пылающих угольях мира. Больше ему здесь не вытерпеть. Всеми силами жаждет он поскорее возвратиться. О мой истинный отчий дом, как тоскую я о тебе! Сколь прекрасны воспоминания, угнездившиеся в сердце моем, воспоминания о доме, где был рожден мой дух! Я хочу возвратиться туда. Возвратиться! Позови же меня, сжалься надо мной! Я жажду возвратиться быстрее молнии. Возвратиться!

— Воистину так! Возвратиться! — откликнулись воины.

Чеканя шаг, шли они вперед и вперед, оставляя позади поверженные тела соратников и врагов. Те, в ком еще теплилась жизнь, провожали их изумленными взглядами.

Выкрикивал свои непостижимые слова Абиманью. Криками вторили ему воины. И те крики сливались в один оглушительный возглас:

ВОЗВРАТИТЬСЯ!

В долгом пути, бесконечно далеком, улыбка не сходила с губ Абиманью. Кровь, обагрившая его тело, продолжала сочиться из ран. И воины шли по кровавому следу, точно по прямому пути. Улыбался Абиманью. Улыбались воины. Все улыбались, и голоса их звучали, словно слитный рокот молитвы.

Таинственной и величественной.

— Я — Курусетра, Пандавы и Коравы. Я — тот, кто замыслил войну. Я — войско, я храбрец и трус, слившиеся воедино, не отделенные друг от друга, нерасторжимые. Я приемлю эту войну, я ополчаюсь против нее — и то и другое пылает в глубинах моих. О мой дух, что сходит с ума от крови! О душа, соседствующая со смертью! Я Брахма, Сива, Висну — все трое едины, и все трое в деснице моей. Я творю прекраснейшее изваяние, вдыхаю в него от духа моего, и творение дивное оживает, движется. Я храню его мыслью, словом и делом. А потом разбиваю и стираю во прах под своею пятою, и мой дух вновь возвращается ко

мне. Все исчислено мною. Все мною создано в назначенный час.

В моем имени скрыта моя натура, ибо я — Лесманамандракумара и Арджуна, Дурсасана, Юдистира и Бисма. Мои украшения — чудесное оружие Гендева и Кунта. Во мне бушуют святые сатанинские страсти. Я — убийца и убиенный. Я — отверстая пасть копья. Кровь, струящаяся по нему. Земля, что вмещает всех, истлевшая в земле плоть. Я — мать, потерявшая в битве сына, я — пронзительный крик и рыдание, клич победы и вопль поражения, наполняющие поле брани. И я же — дитя, лишившееся матери, томящееся о невозвратных ласках ее. Я — отец, павший в сражении, наследник престола, чье войско разбито, старик, не познавший себя, бунтующий сын.

А еще я — пунгук, сладкоголосая совка и, значит, навеки влюблен в луну. Так гласит поговорка. Если же я — лягушка, то лишь та, что силится стать быком. Я совка, луна, лягушка, бык, ветка, ночь, пруд, трава, я — нечистоты. Я — все, что срывается с языка, что рвется наружу из гортани.

Я — гость, который стучится в дверь, я — дверь, я — стук, я — хозяин дома, я — здравствуй, я — прощай, я — воспоминание об их встрече.

Я — память о Курусетре, которую вспомнить — будто нырнуть на самое дно безмерно глубокого океана, память о ее людях, оружии, шатрах, провизии, конях и слонах, о равнине ее, о струящихся по равнине прозрачных и чистых ручьях.

Да, поистине я — воин, шатер, рис, кинжал, смерть.

Герсон Пойк

ЖЕНЩИНА И ЕЕ ДЕТИ

В ту ночь А. так и не смог уснуть. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним возникала одна и та же картина — распростертые на земле тела, сотни тысяч неподвижно застывших тел, сотни тысяч трупов самых различных

людей, от генералов из Лубанг-Буайя[1] до простых крестьян из бесчисленных деревень. Среди множества тел отчетливо он видел лишь труп своего врага К. Остальные сливались в неясную массу, вид которой не слишком волновал его. Ведь это была всего лишь масса тел, наподобие той, что ему случалось видеть на стадионе Сенаян, где она была такой же нерасчленимой и слитной, как трава на склоне горы. Ясно выделялся только несущийся из микрофона громовой голос, подобный реву буйвола. Масса людей вообще мало чем отличается от массы трупов. Разница лишь в том, что из одной как бы доносится рев буйвола, а из другой — пронзительный вопль ужаса и отчаяния, свидетельствующий о том, что наша жизнь — нечто преходящее и хрупкое, что рано или поздно все мы станем трупами. Увы! А. прекрасно понимал, что и ему когда-нибудь суждено умереть, хотя, быть может, и не такой смертью, как К., что когда-нибудь и его глаза, подобно глазам К., увидят мир в последний раз, а потом он навсегда останется один в безмолвии могилы.

Всю ночь он беспокойно ворочался, а когда за окнами послышались голоса петухов, перекликавшихся, наполняя своим пением ночную мглу, взглянул на часы. Стрелки показывали пять. К его комнате, выкрашенной в белый цвет, примыкала ванная. Он встал, направился было туда, но внезапно остановился на пороге — выключатель в ванной щелкнул, однако лампочка так и не зажглась. Он вновь вытянулся на кровати, застланной белой простыней. Его глаза раз за разом обегали потолок, стараясь избавиться от назойливого видения. Неожиданно А. испытал странное чувство при виде собственной руки, поднявшейся над кроватью, когда он потянулся и зевнул. Это чувство не проходило и вызвало в памяти руку К., истлевающую сейчас в могиле. Оно вконец измотало А., который что есть сил старался загнать его в тот уголок души, где все предается забвению, и, казалось, почти преуспел в этом, но взамен из глубин сознания столь же неожиданно выплыло лицо жены К. У этой женщины было пятеро детей. И мать, и все

---

[1] Лубанг-Буайя (*букв.*: Крокодилья яма) — местность неподалеку от Джакарты, где были обнаружены тела шестерых армейских генералов, убитых в ночь на 1 октября 1965 г. группой левых офицеров, выступление которых впоследствии получило название «Движение 30 сентября»; поддержка этого движения со стороны части руководства КПИ послужила поводом для неоправданного обвинения в причастности к нему всей партии, что привело к трагическим событиям 1965—1966 гг.

дети были пока еще живы. Они еще не стали трупами, не слились в неясную массу, подобную траве на лугу. Они оставались живыми людьми, смирившимися со своей горькой участью. Надо было помочь им подняться. Образы мертвых понемногу начали таять, и он отдался мыслям об этих новых образах, образах живых.

Все так же лежа на кровати, А. начал строить планы. Во-первых, надо добиться у местных властей разрешения посетить жену К. Говорят, что она, хоть и вышла из тюрьмы, до сих пор находится под надзором как жена видного деятеля КПИ в этом районе. Увы, как следует подумать об этом ему вновь помешало лицо К., предсмертное подрагивание его век. Оно словно бы молило его: «Да, я виновен в том, что нарушил принципы Панчасила. За это я принял смерть. Но Хадиджа и пятеро ее детей ни в чем не виновны! Прости их!» Эти слова звучали в ушах А. так неотступно, что он почти перестал понимать, кому они принадлежат — К. или ему самому.

Всю ночь в белой комнате, залитой электрическим светом, он не мог избавиться от голосов и видений. Всю ночь с маниакальным упорством он пытался отогнать тени мертвых и обдумать судьбу Хадиджи, жены К., оставшейся с пятью детьми на руках.

Сквозь вентиляционную решетку над окном и через дверь в комнату начал просачиваться утренний свет. А. открыл окно, выходившее на главную улицу. На противоположной стороне улицы темнело футбольное поле. При виде его А. вновь почувствовал беспокойство — в левом углу поля возвышалась трибуна, с которой, как он помнил, К. часто произносил свои речи. Тень К. опять вернулась. Чтобы избавиться от этой нелепой тени, он принялся разглядывать утреннее небо, тающие на нем облака, деревья, дома, электрические и телефонные провода. Все это радовало глаз, потому что продолжало существовать. Жизнь продолжалась, умер лишь К. Хадиджа тоже продолжала жить. Были живы и росли ее дети. Этим утром он непременно должен встретиться с Хадиджей.

А. быстро привел себя в порядок, умылся, переоделся. В комнату вошел слуга и поставил перед ним завтрак.

— Поздно вчера вернулись? — спросил он.

— Да, от нечего делать до самой ночи наблюдал за машиной, привозившей осужденных, — ответил А.

— Сколько же их было этой ночью? — спросил слуга.

— Десять человек, и среди них мой личный враг, окле-

ветавший меня. Из-за него я попал в тюрьму, а пока сидел там, дома умер мой сын.

— Чем же вы прикончили его — кинжалом или дубинкой?

— Да что ты! — А. поперхнулся рисом. — Я же не палач! Я просто смотрел.

Слуга, застывший с деревянным подносом в руках, внимательно поглядел на А. Встретившись с ним взглядом, А. спросил:

— А почему у тебя красные глаза?

— Тоже мало спал этой ночью, — ответил слуга.

— И что, часто ты этим занимаешься — сопровождаешь осужденных? — спросил А.

При этих словах губы слуги дрогнули. Он нервически переложил поднос из одной руки в другую, красные глаза его беспокойно забегали.

— Пожалуйста, поторопи прачку — дня через три я уеду, — сказал А. — И унеси все это.

Слуга собрал тарелки и вышел.

Около одиннадцати А. подошел к дому Хадиджи. Двери были заперты, но со двора доносились голоса детей. Он постучал, и ему открыли. В дверях показалось бледное лицо Хадиджи. Одни лишь ее глаза приветствовали его — губы, было шевельнувшиеся, так и остались сжатыми.

А. пристально вглядывался в лицо Хадиджи. Ему было довольно того, что выразилось в ее глазах. Он понял, что хотели сказать эти печальные и испуганные глаза.

Хадиджа следила за А., переходившим из комнаты в комнату. В одной из комнат стоял стеклограф, уже опечатанный местными властями. В другой по всем четырем стенам, почти до потолка, тянулись книжные полки. За стеклами виднелось множество книг, брошюр, журналов и газет. Каждая полка тоже была опечатана.

Обойдя квартиру, А. снова внимательно посмотрел на Хадиджу.

— Ты пришел, чтобы опять арестовать меня? — с тревогой спросила она. — Но ведь меня только что выпустили!

А. не ответил. Взяв Хадиджу за руку, он потянул ее в первую комнату и ясно почувствовал, как она дрожит. Они уселись друг против друга.

— Мне просто хотелось повидать тебя, — сказал А. — Я как будто слышал голоса твоих детей, где они?

— В дальней комнате, — ответила Хадиджа.

Поднявшись, они вместе направились в дальнюю комнату. Там на циновке сидели пятеро детей и с ними какая-то старуха. Четверо старших встали и поздоровались. Все они жевали сахарный тростник. Все смотрели на А. ясными, широко открытыми глазами. Самый маленький еще не стоял на ножках. Увидев мать, он расплакался, и Хадиджа поспешно взяла его на руки.

— Кто эта женщина? — спросил А., бросив взгляд на старуху. С изборожденного морщинами лица за ними внимательно следили глубоко ввалившиеся глаза.

— Она присматривает за детьми.

А. стал разглядывать старуху.

— Как вас зовут, матушка? — спросил он.

— Она глухонемая, — ответила за старуху Хадиджа.

— Как же она может управляться с детьми, если даже не слышит ни их просьб, ни их плача? — удивился А.

— Так хотел К., — сказала Хадиджа. — Он считал, что слуги в нашем доме должны быть немыми.

А. промолчал. Вместе с Хадиджей они вернулись в первую комнату и снова сели друг против друга. Следом за ними вошел старший мальчик, очень похожий на К. Продолжая жевать стебель сахарного тростника, он остановился подле матери, державшей на коленях младшего брата, и во все глаза уставился на гостя. А. также внимательно смотрел на него. Постояв немного, мальчик без всякого стеснения подошел к А. и забрался к нему на колени. А. обнял ребенка и погладил его по голове. Бросив взгляд на Хадиджу, он заметил, что она наклонила голову и вытирает набежавшие на глаза слезы.

— Ты должна стараться пересилить свое горе, Хадиджа, — сказал А., продолжая гладить мальчика по волосам.

Несколько секунд Хадиджа молчала, лишь вытирала слезы, текущие из глаз.

— Почему ты все время плачешь и вся дрожишь? Тебя так расстроил мой приход? Если так, я тотчас же уйду. Я остановился в отеле, захочешь повидать меня, приходи.

А. спустил ребенка на пол и поднялся. Хадиджа все так же молчала, держа на коленях малыша.

— Зачем ты приехал из Джакарты? — наконец спросила она.

— Вовсе не для того, чтобы сводить счеты. Я приехал получить заключение по моему делу, а заодно выкупить кое-что из вещей, заложенных женой, пока я сидел в тюрьме.

— Как поживает твоя жена? Все еще работает?

— Ничего, работает. Иначе нам не прожить. К тому же, когда работаешь, не так чувствуется гнетущая тишина в доме. Ты ведь знаешь, у нас никогда уже не будет детей.

— Подумай, может быть, возьмешь кого-нибудь из моих? Мне все равно всех их не прокормить.

А. снова принялся разглядывать мальчика, которого только что снял с колен.

— Этот слишком похож на К., — сказала Хадиджа. — Лучше возьми другого.

— Не в этом дело. Я просто должен сначала послать телеграмму жене.

— Нет ли у тебя в нашем городе знакомых, которые хотели бы взять детей? Узнай, пожалуйста. Хотя навряд ли кто-нибудь согласится, ведь нас здесь все знали, — тяжело вздохнула Хадиджа.

А. снова опустился на стул и усадил мальчика к себе на колени. Перед глазами опять стояла тень К., и он, сколько ни старался, никак не мог отогнать ее.

— Не надо брать именно этого, — снова повторила Хадиджа, — он же вылитый К.

— Ты думаешь, я могу ненавидеть мертвеца? — спросил А., глядя на мальчика.

— Значит... — Хадиджа бессильно откинулась на спинку стула, — ты убил его!

— Нет, — сказал А., — я его не убивал. Я только видел, как его убили.

— Почему же ты не остановил их? — спросила Хадиджа слабым голосом.

— Разве может один человек остановить грязевой поток, что извергается из вулкана?

— Люди — не поток грязи!

— Этот поток извергся из Лубанг-Буайя, — мягко сказал А. — Это особый поток. У него свои причины и следствия, свои действия и противодействия. Извергшись из Лубанг-Буайя, он вызвал цепную реакцию, как в атомной бомбе. А потом погибли тысячи людей. Среди них и твой муж. Я сам видел это прошлой ночью.

Хадиджа застонала. Ребенок начал медленно сползать с ее колен, так что А. пришлось быстро подхватить его. С обоими детьми на руках он скрылся в дальней комнате. Рыдания и стоны Хадиджи понемногу затихли, сменились чуть слышными всхлипываниями. Ее тело обмякло, по лицу разлилась мертвенная бледность, дыхание замедлилось.

А. поднял Хадиджу, отнес в комнату к детям и уложил на кровать. Старуха таращилась на него, делала какие-то знаки и, силясь что-то сказать, беззвучно шевелила губами. Только малыши остались безучастными — они мельком поглядели на мать, лежащую в беспамятстве, и снова вернулись к своим играм. А. быстро догадался, что следует делать. Он вышел на минуту в соседнюю комнату, отыскал пузырек с эвкалиптовым маслом, и вскоре Хадиджа пришла в себя.

— Ну хватит об этом, — с трудом произнесла она. — Я все же не думала, что они его расстреляют, надеялась, дадут пожизненное заключение. Что ж, ему уже ничем не поможешь, но что теперь будет с детьми? У меня уже ничего нет, что можно было бы продать или заложить, чтобы прокормить их, а саму меня теперь уж точно никто не возьмет на работу.

А. не ответил. Он молча сидел на краешке кровати, поглядывая на детей, которые как ни в чем не бывало играли у его ног и аппетитно хрустели стеблями тростника.

Он переводил взгляд с одного лица на другое и неизменно узнавал в них знакомые черты К., гнал от себя видения прошлого, но лицо К., с воодушевлением вещающего что-то с трибуны, возвращалось снова и снова. Он вспомнил, как К. оклеветал его, вспомнил, как был брошен в тюрьму, как его пытали и в конце концов заставили признаться в том, чего он никогда не совершал. Вспомнил, как много месяцев ничего не знал о жене и единственном сыне, который тем временем тяжело заболел и умер. Вспомнил, что жене пришлось продать почти все, нажитое за годы его службы, а то немногое, что еще оставалось, они заложили уже теперь, когда он освободился.

Уходя все глубже и глубже в свои воспоминания, он постепенно добрался до той поры, когда полюбил Хадиджу, ту, что сейчас сидела рядом с ним. Когда он вспомнил, как сватался к Хадидже, тень К. ненадолго исчезла. Потому что во многом он винил ее саму. Хотя мало ли на свете женщин, которые, как и она, обожают шоколад и блестящие побрякушки. Вот этой-то тысячей удовольствий К. и увлек Хадиджу. Конечно же, она предпочла его А. — заурядному государственному служащему. Ведь он не был вожаком. Он не принадлежал к числу тех, кто любил ораторствовать с трибуны и на любом торжестве сидеть в первом ряду. Он не мог позволить себе разъезжать в автомобилях, которых в их городке и было-то раз-два и обчелся. Он не решал всех этих сложных мировых проблем: что есть производство, распре-

деление благ, земельная реформа, не заседал во всех и всяческих комиссиях по обсуждению... Нет, как заурядный государственный служащий он мог только наблюдать результаты тех весьма нечистоплотных игр, которые велись в этих комиссиях. Он видел, например, что К., бывший в то время председателем районного комитета по продовольствию, подтасовывает данные о производстве продовольственной продукции в их районе. Согласно сводкам К., объем этой продукции год от года увеличивался, что позволяло все энергичнее перекачивать ее в другие районы. Когда же цены на рис начали расти у них не по дням, а по часам, А. и еще нескольких его сослуживцев схватили и заставили признать, будто они вредительски выбрасывали рис в море! Заключение, надругательства, смерть сына, гибель немудреного имущества его семьи — все это в ту минуту прошло перед его мысленным взором.

А. по-прежнему сидел на краешке кровати рядом с Хадиджей. Дети все так же жевали сахарный тростник, глухонемая старуха входила и выходила из комнаты и не сводила с А. глубоко ввалившихся глаз. Когда тростник наконец надоел детям, они разбрелись по комнатам. Кто-то возился с игрушками, кто-то плакал. Хадиджа поднялась с кровати.

— Прости меня, — медленно проговорила она. — Ты должен простить женщину, на долю которой выпала такая ужасная судьба. Но если ты все еще держишь зло против меня, прости хоть этих детей. Наше имущество давно уже конфисковано, все мои личные вещи я уже продала, чтобы хоть как-то кормить их в последние дни. Больше у меня ничего не осталось. Сегодня они едят сахарный тростник, на завтра я куплю им маниок, на послезавтра... Я думаю, что станет с этими детьми. Я не хочу, чтобы они шли к своей цели, роя яму другим, но еще меньше хочу, чтобы они рыли яму самим себе.

От радостного чувства, что Хадиджа вернулась, вновь стала такой, как прежде, сердце А. учащенно забилось. Встав с кровати, он взволнованно зашагал по комнате. Он шагал взад и вперед, переходил из одной комнаты в другую, возвращался. Дети и глухонемая старуха вопросительно смотрели на него, а ему казалось, будто он не в чужом, а в своем доме. Потом он снова увидел Хадиджу, сидевшую откинувшись на подушки, и только тогда наконец осознал, что дом, по которому он разгуливает, — вовсе не его дом, а Хадиджа — совсем не его жена.

— С тех пор как я увидел твоих детей, — сказал он, повернувшись к Хадидже, — я только и думаю что об их судьбе. Но что же теперь можно сделать?

Вопрос А. заставил Хадиджу содрогнуться от страха.

— Когда ты возвращаешься в Джакарту? — спросила она.

— Через несколько дней.

— Когда будешь уезжать, не забудь взять с собой одного из детей. Остальных я раздам другим людям, которые смогут их прокормить и воспитать. Другого выхода я не вижу.

— А что же будет с тобой? — спросил А.

— Мой вопрос — это уже следующий этап. Разве я не прошла проверку и не была отнесена к категории «D»[1]? Теперь я возвращена в общество, и оно несет за меня ответственность.

Все это Хадиджа проговорила быстро и уверенно.

— Ты опять рассуждаешь, точно с трибуны, Хадиджа, — сказал А. спокойно и твердо, — а ведь мы говорим о совершенно конкретных вещах, поэтому я и хотел бы знать, не могут ли помочь твои деревенские родственники.

— Большинство из них К. вовлек в КПИ. Поэтому я больше не могу на них рассчитывать. Неизвестно, что там с ними сейчас.

Пока они говорили, в комнату вошла старуха с тарелкой каких-то вареных клубней. Приветливо улыбаясь, она выдвинула из угла стул, поставила его перед А. и Хадиджей и, водрузив на стул тарелку, дала понять: «Угощайтесь, вот все, чем богаты!»

А. утвердительно закивал головой и поднял вверх большой палец. Старуха так громко рассмеялась, что дети со всех ног кинулись в комнату — посмотреть, что случилось. Она взяла на руки малыша, лежавшего рядом с матерью, и унесла его. В тот день они с Хадиджей отметили свою встречу тарелкой клубней.

За едой А. не оставляли мысли о каком-нибудь другом выходе, но другого выхода не находилось. Он поел, простился с Хадиджей и отправился в свою гостиницу, понимая, что ничего не может решить. Неподалеку от дома ему попался продавец сигарет, и А. купил у него пачку кретека,

---

[1] Всех обвиняемых в причастности к «Движению 30 сентября» новый режим, в зависимости от степени вины, делил на категории «А», «В», «С», «D» Лица, отнесенные к последней категории, не подвергались заключению, а находились под надзором полиции.

чтобы успокоить нервы, расходившиеся после встречи с жертвами политической борьбы.

Взглянув на него, продавец сигарет криво усмехнулся:

— Что, сводили счеты с этой из «Гервани»[1]?

Вопрос продавца заставил А. поднять на него глаза, в которых явно читалось раздражение. Вероятно, продавец понял это. Наглая усмешка сбежала с его лица.

— Прошу прощения, — сказал он, — но дело в том, что эти освобожденные деятельницы «Гервани» снова берутся за прежнее.

А. не удостоил продавца ответом, и тот оставил его в покое.

Пообедав в гостинице, А. вытянулся на кровати и крепко уснул. Вечером он долго бродил по городу, вспоминая своих старых друзей, прикидывая, кто бы из них мог взять на воспитание детей Хадиджи. Сам того не заметив, он очутился в квартале, где прежде жили многие члены КПИ. Он медленно брел по улице, время от времени выхватывая взглядом тот или иной дом на правой или левой стороне. Кое-где на перекрестках виднелись щиты с надписью: «Квартал очищен от подрывных элементов!» Все вокруг выглядело словно накануне всеобщих выборов, если не чего-нибудь еще поважней. Каждый дом был украшен символом какой-либо партии. На одних домах красовалась эмблема «Нахдатул Улама», на других — Паркиндо, на третьих — Католической партии, на четвертых — Национальной — и так далее.

Его крайне занимало, к чему сейчас все эти надписи и эмблемы, но он не стал задавать прохожим лишних вопросов, а пошел дальше. Попадались дома, казавшиеся нежилыми, другие и вовсе были разрушены. Это были дома членов КПИ.

Неожиданно кто-то окликнул его из двора ближайшего дома:

— Здравствуйте, когда же вы приехали? Решили снова здесь поселиться?

А. обернулся на звук голоса. Боже мой, это был его давнишний знакомый — учитель истории из старших классов. Старый друг, который хорошо знал обо всех злоключениях А., знал, что для коммунистов он враг номер один. Не отвечая на вопросы учителя, А. вошел во двор. Тот сразу же

---

[1] «Гервани» — сокращенное название Движения женщин Индонезии — организации, примыкавшей к КПИ.

крикнул жене, чтобы встречала гостя. Они пожали друг другу руки.

Сначала, как обычно, говорили о своих семьях, и хозяйка спросила у А.:

— Ну что, вы уже взяли себе приемного сына?

— Пока нет, — ответил А., — но теперь мне наконец повезло. Приехав сюда, я договорился с одной из приятельниц моей жены, что возьму на воспитание ее ребенка. В свое время жена работала вместе с ней в конторе губернатора и они очень дружили.

— Кто же это такая? — поинтересовалась хозяйка дома.

— Да ты, наверное, знаешь, ее зовут Хадиджа.

Услыхав это имя, муж с женой испуганно переглянулись. Они во всех подробностях знали историю о том, как умер сын А. И вот теперь А. собирается растить ребенка своего врага. К тому же они помнили, что сама Хадиджа была когда-то невестой А., а потом бросила его и вышла замуж за К. Брать к себе в дом их сына — это уж слишком!

— Должен тебе сказать, что К. не только искалечил жизнь собственной жене и детям, но и погубил многих крестьян из наших деревень, которые числились коммунистами лишь на бумаге, — взволнованно начал учитель. — Когда по радио передали о случившемся в Лубанг-Буайя, толпы деревенских жителей принялись разыскивать и травить коммунистов, как грызунов на полях. Что тогда началось! Людей убивали просто так, за самую малость! От страха мы вывесили на домах эмблемы своих партий. Если раньше, когда ты стучался в дверь чьего-нибудь дома, хозяев прежде всего интересовало, что ты за человек, то тогда толпу вообще не интересовало, человек ты или нет, ей надо было знать одно — из какой ты партии.

Учитель замолчал.

— Но теперь, когда все кончилось, нельзя же бросить на произвол судьбы их детей. Мы должны воспитать их. Я непременно возьму одного мальчика, и мы с женой его вырастим. Он заменит нам сына, — сказал А.

Учитель истории пристально поглядел на А.

— Да, конечно, сделай из него настоящего человека. Иначе ему всю жизнь не избавиться от постоянной угрозы — угрозы мести. Если такие, как он, вырастут, не зная, что такое вера, что такое мораль, нашей истории не избежать повторения этих трагических событий, — с неподдельной искренностью обратился он к другу.

— Я совершенно с тобой согласен, — с надеждой в голосе ответил А. — Но если и ты так на это смотришь, может быть, вы с женой тоже возьмете на воспитание одного из сыновей Хадиджи?

Учитель и его жена переглянулись и обменялись грустными улыбками.

— Ты уж меня прости, — ответил учитель, — но тут я ничем не могу помочь: все деньги, что я заработал своим учительским трудом, у меня давным-давно позаимствовали министры из этих бывших, чтобы было на что жить их беременным женам, на что развлекаться их девчонкам, — с раздражением усмехнулся он. — И потом, я просто не могу понять, как можно растить чужих детей, когда твой собственный сын умер по их вине!

— Перестань,— остановила его жена.— Говори серьезно, сейчас не время для шуток.

— Просто я стараюсь найти во всем этом безумии хоть что-то смешное. Иначе мы бы уже давно ноги протянули, — ответил муж.

А. слушал шутки учителя, не вникая в смысл его слов, а сам уже обдумывал, как действовать дальше, припоминал, к кому еще из своих старых друзей он мог бы обратиться. Посидев немного, он простился и вышел на улицу. Уже по дороге ему вспомнился другой его приятель — владелец фабрики по очистке риса, и он направился к нему.

Когда он вошел в ворота фабрики, вахтер сообщил, что предприятие теперь под контролем правительства, поскольку его владелец был замешан в «Движении 30 сентября». По словам вахтера, он присваивал рис, предназначавшийся крестьянам, и финансировал «Движение». А. сразу же сообразил, что именно он, владелец этой фабрики, донес на него своим дружкам, передав то, что он сдуру сообщил ему о подтасовке статистических данных. Вот уж правда волк в овечьей шкуре!

Наступил вечер, но А. все так же ходил по улицам и думал. Вечер принес прохладу. А. больше не чувствовал усталости, он был уверен, что сумеет разыскать прежних друзей. Правда, с наступлением темноты опять вернулись видения прошлой ночи, перед глазами вновь замаячили трупы, трупы, но теперь они не страшили его — он думал о живых, а не о мертвых.

Всякий раз, когда его обгоняли прохожие, появлявшиеся из-за спины, он слегка пугался, но прохожие обычно не обращали на него никакого внимания. Попадая в полосу

света под уличным фонарем, он чувствовал себя увереннее, но, поймав на себе чей-нибудь взгляд, вновь настораживался, подозревая чуть не во всяком, кто на него поглядел, разгуливающего на свободе заговорщика. Все же он твердо верил, что бог хранит его, — ведь он старался сейчас спасти неопытных, несмышленых детей, и потому мужество брало верх над страхом.

Наконец А. вспомнил: один из его близких друзей в свое время стал подрядчиком и теперь, наверно, уже не бедствует. А. ускорил шаг и решительно направился к его дому. При виде своего друга подрядчик ужасно удивился. Он никак не мог поверить, что перед ним действительно А.

— Но ведь все говорили, что тебя уже давно нет в живых, что они ликвидировали тебя как подрывной элемент, — шутливо заметил он.

— Скорее это их самих ликвидировали! — парировал А.

Они болтали по-свойски, как в старые добрые времена. Хозяин принес денденг — вяленое мясо с пряностями и бутылку арака. Он с жаром рассказывал об охоте, а потом поинтересовался, остался ли А. таким же страстным охотником, каким был прежде.

— В Джакарте, — ответил ему А., — теперь не охотятся на оленей, чтобы готовить из мяса денденг. Там охотятся за властью и развлечениями.

— Ты тоже охотился за властью?

— Нет, это за мной охотились!

— Значит, в Джакарте ты сам стал оленем?

— Нет, скорее кроликом.

Хозяин дома громко расхохотался.

— Понятно! — смеялся он. — Ты стал подопытным кроликом?

— Вот именно!

— Знаешь, я здесь тоже долго был чем-то вроде подопытного кролика, — сказал подрядчик. — Меня запихали в такой ящик, где я и пошевелиться-то не мог. Только на днях получил сдельную работу — ремонтировать выстроенные ими здания. Раньше они — те, которых теперь взяли за участие в «Движении», придерживали всю сдельщину для себя, а мне оставалось лишь кусать ногти. Ты бы посмотрел, как они строили: стены разошлись, цемент отвалился! Домов-то понастроили много, но разве это работа! Их интересовало только количество, а на качество наплевать. Они неплохо на этом зарабатывали, а куда шли потом все эти деньги — не на рытье ли ям, таких, как в

Лубанг-Буайя? — изливал подрядчик все, что накопилось на душе, своему старому другу.

Вскоре появилась хозяйка дома.

— Как живется в Джакарте вашей жене? — спросила она.

— Как будто неплохо, — ответил А., — только вот похудела ужасно.

— А Хадиджа все такая же хорошенькая, хотя в последнее время тоже сильно похудела. Я недавно видела ее, когда шла мимо их дома, — сказала хозяйка.

— Знаете, я ведь пришел к вам как раз для того, чтобы просить вас помочь Хадидже, — сказал А.

Муж и жена решили, что он, вероятно, шутит.

— Хадиджа овдовела и хотела бы теперь раздать своих детей, — пояснил А.

— Что, К. уже?.. — спросила хозяйка дома.

— Да, он угодил в ту яму, которую сам же вырыл.

Муж и жена долго молчали. Потом хозяйка тяжело вздохнула.

— Поэтому я и пришел к вам, — продолжал А. — Мой враг уже получил по заслугам, теперь наш долг — помочь его детям. Одного из них возьму я. Может быть, и вы не откажетесь приютить еще одного?

Его слова произвели впечатление на хозяйку дома. На глаза у нее навернулись слезы, но муж по-прежнему был спокоен.

— Ты должен понять вот что, — сказал подрядчик. — Люди теперь уже не те, что были прежде, они перестали быть людьми, они стали политиками. Поэтому и нам приходится учитывать политический фактор.

— Перестань, — остановила его жена. — Зачем рассуждать о политике, когда надо думать о том, как быть с детьми — они-то ведь ни в чем не виноваты!

— Нет, это взбудоражит весь город. Разве вы не видите, что его жителей точно подменили — это больше не люди, это какое-то стадо, которое они называют «организацией», и, что бы она ни делала, ей все дозволено. Остается только бога молить, чтобы с ними произошло обратное превращение, чтобы они опять обрели человеческий облик! Так что прости, но мы просто боимся. Сам знаешь, городок у нас маленький — кошка появится в доме, и то назавтра станет известно всему городу, тем более сын коммуниста. От этой озверевшей толпы всего можно ожидать.

Выслушав слова друга, А. пришел в полное замешательство — выходило, что все его старания пропали даром.

Он простился с подрядчиком и его женой и заторопился в гостиницу.

Слуга встретил его радостной улыбкой и предложил поужинать, но А. отказался: ему хотелось собраться с мыслями, найти какой-то выход. А. встал, прошелся по номеру, вышел в гостиную, покружил по двору. Потом опять вернулся в дом и направился к телефону. Он решил позвонить еще одному из друзей. Тот был врачом, с давних пор работавшим в этом городе. Но и тут ничего не вышло: доктор сказал, что его долг — исцелять телесные, а не социальные недуги. А. продолжал настаивать, но друга явно пугала перспектива взять на себя заботу о детях казненного, пока политические волнения окончательно не улягутся. А. был взбешен. Ему представилось море и с трудом держащиеся на поверхности воды люди, потерпевшие кораблекрушение, которые готовы убить друг друга, чтобы завладеть спасительным обломком доски.

Он вышел из гостиницы, нанял двуколку и отправился на розыски детских благотворительных организаций. В тот же вечер он переговорил с их попечителями и получил от них соответствующие разъяснения: в настоящее время — так сказали ему — благотворительность, как религиозная, так и общественная, целиком идет на строительство школ. Поэтому средств на открытие приютов не остается.

Поздно ночью, вконец расстроенный, он возвратился в гостиницу, а на следующее утро снова пошел к Хадидже. Всякий раз, когда А. бывал в ее доме, в этом новом для него мире ясных и доверчивых детских глазах, на душе у него теплело. Вот и теперь дети радостно бросились ему навстречу, дожевывая на бегу клубни батата.

— Все отказали, — сказал А. — Те, кто работает в государственных учреждениях, потому что им самим не хватает на жизнь, а кому вполне хватает, вроде подрядчика или врача, — потому что не хотят неприятностей политического характера. Религиозные и общественные организации заняты сейчас исключительно школами. У них нет средств на приюты.

Хадиджа горько усмехнулась.

— Ладно, если все они так уж боятся моих детей, найдутся другие, не столь трусливые!

— Кто же это?

— Городские нищие.

— Не надо отчаиваться. Я заберу всех ребятишек в Джакарту. Одного усыновлю, других отдам в приют.

Хадиджа ответила не сразу. У нее кружилась голова, перед глазами мелькали какие-то белые точки. Пытаясь пересилить себя, она крепче стиснула голову побелевшими пальцами. При виде того, что ее мальчик, как две капли воды похожий на К., снова забрался к А. на колени, сердце Хадиджи учащенно забилось и едва не разорвалось на части. Ей почудилось, будто это на ее мужа смотрит А. с такой жалостью и состраданием.

В тот день у А. просто не хватило сил надолго задержаться в этом доме, погруженном в печаль. Он довольно скоро вернулся в гостиницу, поужинал, опять лег на кровать. Все те же мысли и чувства осаждали его, требовали хоть какой-то ясности. Ему казалось, что как и те, потерпевшие кораблекрушение, он барахтается в море, наконец замечает спасительную доску, слышит рядом детский плач и понимает, что может помочь лишь одному из детей. Но что же будет с остальными?

Внезапно на него нахлынули новые мысли, окончательно все запутавшие. Он испытал вдруг резкую неприязнь к Хадидже. Ведь всякое политическое движение, думалось ему, не может существовать, не располагая денежными средствами. Всякому движению непременно необходима какая-то собственность, скажем средства связи — радио, автомобили и тому подобное. Кроме того, оно должно что-то платить своим участникам, как и всякий работодатель, оплачивающий труд своих рабочих. Все это относится к любым политическим движениям, не только к буржуазным. Едва эта мысль пришла ему в голову, он сильно усомнился в искренности Хадиджи, говорившей, будто у нее не осталось никаких денег, чтобы содержать своих детей. Наверняка где-нибудь во дворе припрятано золото или что-то еще в этом роде. Она просто хитрит. Разве можно не набраться хитрости, прожив столько лет с хитроумным политиканом!

За окном быстро темнело. Кончался вечер, начиналась ночь. А. заторопился, чтобы успеть еще раз повидать Хадиджу.

— Ты просто морочишь мне голову, хочешь разжалобить своими слезами, а ведь это крокодиловы слезы! — закричал он прямо с порога. Хадиджа не отвечала. От столь неожиданной перемены в нем у нее защемило сердце.— Я никогда не поверю, будто тебе, жене человека, состоявшего в сговоре с владельцами фабрики и другими толстосумами, ничего не перепадало. Признайся, ты хочешь

спасти свое добро, только и всего, и ради этого готова избавиться от детей! Ничего не скажешь, практичная женщина! — кричал А.

Хадиджа продолжала молчать.

— Но знай, тебе никуда не скрыться от людских глаз!

В комнате начали появляться дети. При виде их А. закричал еще громче:

— Посмотри, посмотри на своих детей, неужели ты можешь их бросить?

Следом за детьми вошла глухонемая старуха. Увидев ее, А. разошелся еще сильнее.

— Хоть ты нарочно наняла эту глухонемую няньку, людей все равно не проведешь! Тебя быстро выведут на чистую воду! Сколько ни тверди, будто осталась без гроша и теперь должна стать нищенкой, воровкой или пойти на панель — тебе все равно никто не поверит!

Излив на молчавшую женщину всю скопившуюся в душе ярость, А. возвратился в гостиницу. Снова он был один, но на этот раз уже не ломал себе голову над судьбами живых. Хватит с него, черт побери! Живые — лживы, честны только мертвые, те, что свидетельствуют о неоспоримой истине: всякий человек смертен, а жизнь преходяща и хрупка. Он понял это. Пока он еще не труп, гниющий в безмолвной могиле, но когда-нибудь это случится и с ним. При этой мысли он вздрогнул. Вздрогнул и почувствовал неодолимый страх. Испугался, поняв, что смерть — дело сугубо личное, каждая смерть — что-то отдельное, что-то такое, чего не свалишь в общую кучу, из чего не соберешь толпу, наподобие той, на стадионе Сенаян. И понимание этого тоже недоступно толпе, каждый, как и он, сам, в одиночку понимает, что такое смерть. Он стал призывать бога и сам, в одиночку, предстал пред Ним в ту ночь. Ночь, что оказалась такой долгой.

Послышался стук в дверь. А. поднялся и пошел открывать. Перед дверью стоял слуга из гостиницы и с ним еще какие-то люди.

— Как насчет кофе? — спросил А.

— Мы пришли вовсе не за тем, чтобы поить вас кофе. Мы пришли вас арестовать, — ответил один из них. Приглядевшись, А. узнал в нем продавца сигарет, которого встретил у дома Хадиджи.

— Кто вы, откуда? — спросил А.

— Мы из группы по охране порядка в этом квартале. Следуйте за нами, — послышался ответ. — Вы недавно

шептались о чем-то с видной деятельницей «Гервани».

Поначалу А. даже не воспринял их всерьез. Он уже собирался закрыть дверь, но они не дали ему этого сделать. У всех за поясами были ножи, и А. пришлось подчиниться. Его вывели на футбольное поле, приказали сесть на землю и начали вершить расправу.

— Не спешите убивать меня — я только старался помочь ни в чем не повинным детям. — Голос А. дрожал. Теперь он ясно понимал, что всеми поступками этих людей руководит звериная жестокость.

— Кто вы? — спросил один из них.

— Я враг К.

— Почему же тогда вы заботитесь о его детях?

— Мой враг — это не человек, а его взгляды и действия, соответствующие этим взглядам.

— Где ваши документы? — снова спросил тот.

— Там, в номере, — ответил А.

Слуга послал кого-то из своих спутников за документами. Вскоре тот вернулся с сумкой А. Сначала они изучали содержание документов, а затем занялись содержимым сумки.

— Так-так, — сказал еще один. — Оказывается, вы действительно государственный служащий, к тому же высокой категории. Мы тоже государственные служащие, только категория у нас низшая, а кое у кого категории и вовсе нет. Вы, должно быть, знаете, как тяжко мы страдали здесь в последнее время, и не откажетесь поделиться с нами деньгами, которые получили от этой активистки.

— Разве у нее есть деньги?

— А что же, интересно знать, в этой сумке?

— Мои собственные деньги!

Они не обратили на его слова никакого внимания — слишком увлеклись содержимым сумки.

В эту минуту мимо проехала патрульная машина, и свет ее фар на мгновение выхватил из темноты их фигуры. Сердце А. радостно забилось. Он ждал, что сейчас машина остановится, грабители бросятся врассыпную, но тут же будут задержаны. Однако машина, не остановившись, скрылась за поворотом, а А. так и остался сидеть посреди футбольного поля перед этим сомнительным трибуналом.

— Возьмите свою сумку. Мы не станем убивать вас, — сказал ему кто-то из грабителей. — Благодарим за щедрость! Не каждую ночь поживишься, как сегодня!

А. постарался взять себя в руки. Они разговорились. А. долго расспрашивал их о Хадидже, о ее припрятанных деньгах.

— Будьте спокойны, уж эта активистка наверняка имела свою долю, — сказал один.

— Не верьте ей. Она раздает детей только для отвода глаз, — сказал другой.

— Захотела избавиться от обузы, чтоб легче было повсюду разъезжать. Ничего не скажешь — шлюха первый класс!

Пока они говорили, из темноты показалась фигура в военной форме, направлявшаяся в их сторону. А. тотчас приказали лечь ничком на землю, и ему снова пришлось подчиниться — в спину уперлось острие ножа. Грабители тоже бросились на землю, в надежде, что патрульный пройдет мимо. Но патрульный заметил их и, подойдя ближе, окликнул и стал выяснять, что тут происходит.

— Мы поймали еще одного коммуниста!— убеждали патрульного грабители.

— Это ложь, они просто обокрали меня,— настаивал А.

Спор закончился тем, что всех задержали. А. сообщил дежурившему в участке полицейскому, что хорошо знает командующего военным округом и хотел бы завтра утром поговорить с ним. Дежурный доложил об этом командующему, и наутро тот встретился с А.

— Они проведали, что я бывал у Хадиджи, и решили, что мы сговорились с ней поделить ее припрятанное добро. Прошлой ночью они напали на меня и отняли все мои деньги. Хорошо еще, патруль вовремя появился, — рассказывал ему А.

Командующий военным округом улыбнулся.

— Ну и что же ты им ответил?

— Сказал, что просто хотел взять на воспитание ее ребенка, дети ведь ни в чем не виноваты!

— А они?

— Взяли мои деньги! — рассмеялся А.

Командующий рассмеялся с ним вместе.

— Не думаю, что у нее что-нибудь припрятано, — сказал он. — Мы уже все конфисковали. Если что и осталось, дай бог хватило бы на пару месяцев. Так что детей можешь взять на воспитание без колебаний. Важны ведь не деньги, чтобы кормить и растить их, как растят скот. Важно воспитать их настоящими людьми, чтобы такое больше не повторялось!

От этих слов А. почувствовал на душе прежнюю тяжесть. Он снова представил себе детей. Избавившись от общества незадачливых грабителей, он забежал в гостиницу и оттуда снова поспешил к Хадидже. Перед калиткой, ведущей во двор, стояла глухонемая старуха, что-то пытавшаяся объяснить хозяину двуколки. Кучер и лошадь недоумевающе смотрели на нее. Нечленораздельно мыча, старуха показывала рукой на дом, била себя в грудь, рвала на голове волосы. Потом она закрыла глаза и как подкошенная рухнула к ногам лошади. Лошадь повела ушами. Хозяин двуколки не мог ничего понять.

А. подошел к старухе. Завидев его, она поднялась и снова стала показывать на дом. Потом схватила его за руку и потянула за собой на веранду. Дети неприкаянно бродили по комнатам. Младший сидел на циновке, копаясь в своем горшке. Не обращая внимания на детей, нянька тянула А. во внутренние комнаты. Войдя, он увидел Хадиджу, лежавшую на кровати. Ее глаза были закрыты, лицо смертельно бледно. Он взял Хадиджу за руку, пощупал пульс... Хадиджи больше не было.

— Тюрьма, смерть мужа, беспомощные дети, мои обвинения, травля... — перечислял он вслух. — Нет, это невозможно было выдержать, это ее убило...

Постояв немного у тела Хадиджи, он прикрыл ей лицо одеялом и вышел из комнаты.

* * *

Через несколько дней отец семейства с пятью детьми и глухонемой нянькой поднялись на палубу парохода, отходившего из порта маленького городка. Никто не провожал их на пристани, только птицы прощально махали крыльями, пролетая высоко в небе...

МАТИАС АКАНКАРИ

Матиаса Аканкари привез из дремучих лесов Ириана парашютист-десантник. Однажды глубокой ночью прыгнув с самолета над лесом, парашютист повис на высоком дереве. Не без труда спустившись с небес на землю, он вскоре воспрял духом и отправился пешком на поиски своих боевых соратников. Но прежде них он повстречал Мати-

аса — обитателя ирианских джунглей, которого в ту пору как раз снедал какой-то тяжкий недуг. Он кое-как подлечил Матиаса, и тот, слава богу, оправился от болезни. К несчастью, Матиас не умел говорить по-индонезийски, зато оказался весьма надежным «гидом», спасшим парашютиста от множества бед и опасностей, и благодаря ему герой смог благополучно вернуться в Джакарту.

Такова вкратце была история его знакомства с Матиасом.

А потом парашютист как-то исхитрился привезти Матиаса Аканкари в столицу. В отличие от других джакартцев, которые, отслужив на Западном Ириане, возвращались нагруженные телевизорами, холодильниками и прочими предметами роскоши, брошенными голландцами, наш победитель прихватил своего друга Матиаса, друга в беде, друга, с которым решил никогда не расставаться.

Вскоре, однако, выяснилось, что Матиас являл собой нечто большее, чем предмет роскоши. Он поглощал три тарелки риса в один присест, так что за день в его желудок умещалось девять таких тарелок. Десантник был всего лишь рядовым солдатом, а потому, конечно, испугался. Да ведь никакого жалованья не хватит, чтобы прокормить эту дорогую игрушку!

Пораскинув мозгами, парашютист наконец нашел выход. Он нарядил Матиаса в довольно щегольской шерстяной костюм, купленный на Ириане, выдал ему рубашку и галстук, а на ноги — туфли заграничного производства. На чьем-то «джипе», взятом во временное пользование, они вдвоем направились в центр города, туда, где кипела жизнь. К тому времени опыт столичной жизни у Матиаса был небольшой — всего три дня. Вот почему, когда он увидел это ослепительное сияние неона и уличных фонарей, в глазах его застыл испуг. Он удивлялся фонарям, удивлялся зданиям, дивился поистине дремучему лесу людей, столь разительно не похожих на него самого. Он моргал и мигал, крутил головой налево и направо, порой чуть не сворачивая себе шею, когда что-то, особенно поразившее его, проносилось мимо их стремительно мчавшейся машины.

Приехав на Сенэн, они вдвоем отправились в кино. Впервые в жизни Матиас Аканкари смотрел фильм, и потому все его внимание было сосредоточено на экране, так что, когда весельчак парашютист улизнул, вероломно оставив его одного, он ничего не почувствовал, ничего не заметил.

— Сплавил! — сказал парашютист какому-то своему приятелю, тоже десантнику, случайно оказавшемуся здесь. — Бросил моего папуаса в зале, пусть там таращится. Посмотрим, каково дикарю в большом городе. Может, когда-нибудь еще книгу об этом напишу, разбогатею! Ну потеха! — С этими словами солдат вскочил в «джип», и его как ветром сдуло.

Едва закончился фильм, Матиас очнулся и посмотрел вокруг. Тут-то и забилось у него испуганно сердце. Но поскольку индонезийского он не знал, то и кричать не было никакого смысла. Одни лишь глаза его с красноватыми белками и черное лицо метались среди бесчисленных, словно деревья в лесу, людских тел, разыскивая друга. Все, однако, было напрасно! Поток людей вынес его на улицу, и, оказавшись здесь, он услышал, как громыхает в груди сердце: бум! бум! бум!

Его единственная опора, парашютист, встреченный в дружелюбных лесных чащобах, и в самом деле исчез. Он был один среди леса фонарей, среди несчетных стволов людских тел, в лесу велосипедных и автомобильных колес, в лесу грохочущих звуков, короче говоря — в лесу невообразимой сумятицы, совсем не таком мирном и дружелюбном, как родные джунгли. Потерянный и одинокий, Матиас сиротливо ковылял по улицам.

Вдруг он услышал голос, усиленный динамиком. Ну вот, наконец-то: ведь такую штуку ему приходилось видеть на Ириане, когда приезжали из Джакарты большие вожди. Сейчас из нее неслось громкое кудахтанье, но Матиас, к сожалению, не понимал, что оно означает. Он направился в ту сторону, откуда долетали громкие звуки, движимый единственно воспоминаниями о родной деревне. Но если раньше толпа ему подобных, собираясь вокруг этого кричащего предмета, слышала свою родную речь, то сегодня и слушатели вокруг были не такими, и язык другой.

Он осторожно протиснулся в центр круга, чтобы увидеть говорившего. «Это друг тех людей, что приезжали на Ириан!» — сказал он себе. Но сейчас, когда он нуждался в помощи, от непонятных слов было мало проку. Ему нужен был человек, который мог бы отвести его в дом. В дом, где есть крыша, постель, где будут кормить. Он нуждался в заботе.

И вот в тот самый момент, когда он разрывался между надеждой и тревогой, ему протянули руку помощи! Какое-то нежное и приветливое человеческое существо обратилось к

нему с таким выражением лица, что он забыл обо всем и сердце его радостно забилось. А затем последовало прикосновение, его поманили пальцем, затем появился бечак, и они вдвоем отправились в район, Матиасу Аканкари доселе незнакомый.

Не успели они войти в комнату женщины, как это крохотное нежное создание обвилось вокруг Матиаса. И Матиас, дюжий молодец, не устоял! Но что еще ему оставалось? Ведь ему нужен был друг, нужен был дом — маленький островок, где он мог бросить якорь. И он нашел, нашел то, что искал! В эту ночь он был счастлив. Он спал рядом с женщиной, которая отнеслась к нему с такой сердечной теплотой. А проснувшись рано утром, получил и еду и питье — на столике рядом с кроватью уже все было приготовлено.

После завтрака его снова окрутили. И он снова поддался. А когда эта столь неожиданная для него программа была исчерпана, началась новая.

Сидя перед женщиной, Матиас словно очутился в театре пантомимы. Он пялился на нее, раскрыв рот. Долго, очень долго не мог закрыть рта, пока не понял наконец, чего от него хотят, когда женщина показала ему какие-то бумажки, затем ткнула пальцем в грудь Матиаса, а потом палец снова уперся в ее грудь... Матиас стал трясти руками и головой, чтобы объяснить женщине, что у него нет таких бумажек. У него нет ничего, кроме того, что на нем надето.

Тогда женщина схватила Матиаса за пиджак, а пальцем ткнула себя в грудь. Этот знак Матиас понял. Он снял пиджак и отдал его женщине.

После этой сцены ангельское создание приступило к решительным действиям. Оно потащило Матиаса к двери и грубо вытолкало его на улицу. Хлопнув дверью, женщина облегченно вздохнула и отправилась спать.

Матиас метался из стороны в сторону. Вокруг не было ни одного знакомого лица. Его снова вышвырнули во враждебный лес, столь непохожий на родные ирианские джунгли.

Теперь он шел не торопясь. Часами бесцельно бродить по такому огромному городу, как Джакарта, — рекорд для тех, кто привык жить на колесах, но для Матиаса ходьба была обычным занятием. Он привык по нескольку дней ходить пешком по родному лесу.

Близился вечер, и Матиасу в его лесных странствиях встретилась на пути церковь. У него не было другого способа снять с себя грех, который он невольно совершил этой

ночью с женщиной, кроме как войти в церковь и просить прощения у Христа. И он вошел в церковь, чтобы помолиться. Когда он вышел оттуда, уже было темно. Он уселся перед церковью и стал вспоминать родные места.

Там, на его далеком острове, он ходил в церковь, прикрыв срам бамбуковой котекой, и, стоя вместе с другими в хоре перед священником, пел... С малых лет он любил петь в хоре. Хористы почти все были неграмотны, но церковные песни, как и всякие другие в любой части света, запоминаются быстро. И все было хорошо, пока однажды Матиас не учудил такое, что его изгнали из хора. А случилось вот что. Когда хористы выстроились перед прихожанами и священником, приготовившись петь, Матиас, стоявший впереди всех, снял свою котеку и... и тут выяснилось, что котека его устроена как свирель. Он заиграл на ней, подхватив мелодию, и прихожане сперва даже заслушались, но потом все покатились со смеху, так что служба расстроилась. Священник, да и другие певцы рассердились на него за эту выходку. Из хора он был изгнан... Вот так-то! С тех пор Матиас никогда не расставался со своей котекой. И сейчас тоже, запустив руку под рубашку, он вытащил ее и принялся что-то тихонько наигрывать.

Ночь опускалась все ниже. Вдалеке показался вышагивавший какой-то танцующей походкой молодой мужчина с портфельчиком. Матиас пригляделся. Когда тот подошел, оказалось, что одна подметка у него отстала, и ему приходилось сперва высоко поднимать ногу, а потом уже ставить каблук на землю. Поэтому впечатление было такое, что человек не просто идет, а пританцовывает на ходу. Тем не менее он добрался до церкви и вошел внутрь. А вскоре появился снова.

— Эта церковь в любое время дня открыта. Одна на весь город, — проговорил молодой человек и уселся рядом с Матиасом, который в своем фасонистом наряде выглядел куда шикарней, чем обладатель портфельчика. Ведь на Матиасе все-таки еще была дорогая заграничная рубашка с длинными рукавами. Оставался и галстук, и брюки из чистой шерсти. А молодой человек ходил в обносках из лавки старьевщика.

Слов его Матиас не понял, но и новый приятель тоже не догадывался, что Матиас ни бум-бум по-индонезийски, и поэтому беседа продолжилась.

— Сил нет ходить по городу с оторванной подметкой. Болтается, точно язык у варана! А вообще-то я дипломиро-

ванный специалист. Только вот на работу никак не устроюсь, — сказал он, водя рукой по вараньему языку — подметке своего башмака.

Матиас, сообразив, в чем дело, сбросил туфли и стал пододвигать их к безработному специалисту.

— Мне от обуви тоже одно мучение. У нас я ни в ближнем лесу, ни в самой чащобе, хоть там полно всяких шипов да колючек, никогда обуви не носил. И ноги всегда были целы. А здесь вот надел — и поранил. Бери! — сказал Матиас на своем ирианском наречии. Парень оторопело внимал незнакомым звукам, не отводя глаз от новых туфель, которые медленно придвигались к его ногам.

От церковных ворот они вдвоем направились на площадь Бантенг и там, не сговариваясь, легли спать под монументом в честь освобождения Западного Ириана. Сон у обоих той ночью был крепкий. Проснувшись утром, специалист ушел, не попрощавшись с Матиасом. Он решил его не будить, понимая, что если папуас проснется, то наверняка увяжется ходить с ним по городу. Потрясное будет зрелище! Вот почему он только оставил ему записку, сунув ее Матиасу в карман.

Итак, когда Матиас пробудился, нового приятеля уже рядом не было. В кармане он обнаружил письмо, но по простоте душевной лишь повертел его в руках и смял, чтобы забросить потом куда-нибудь подальше. Затем снова улегся на холодных гранитных плитах и уснул, обдуваемый ветрами площади Бантенг.

Проснулся Матиас, когда уже начинало темнеть. Хотя в желудке было голодно, он еще мог идти и идти вперед. Матиас брел по району, где всегда собиралось множество бездомных бродяг. Там он увидел женщину, рожавшую на кусках бумаги. Он вспомнил, что Христос родился на траве и что его завернули в свивальник. А теперь, здесь, новый Спаситель рождался на бумаге! Пока роды шли своим чередом, начался дождь. К счастью, у бродяжки оказались куски пластика. Но под пластиковой «крышей» не было ничего, кроме бумаги. Тогда Матиас стащил с себя все, что прикрывало его тело, и отдал матери нарождавшегося на свет младенца.

— Спасибо тебе, спасибо, — проговорила женщина.

Затем Матиас оделся так, как одевались испокон веков его соплеменники. Нацепил свою котеку. Дождь тем временем усилился, и, когда все необходимое было сделано — когда Матиас помог женщине всем, чем мог, — он под

дождем отправился дальше.

Он добрался до проспекта Тамрин, улицы, словно забором огороженной многоэтажными зданиями. Недалеко от отеля «Индонезия» с удивлением заметил, что автомобили, мчавшиеся под дождем, почему-то останавливались или замедляли ход, как бы внимательно рассматривая его. В одном из автомобилей ему удалось разглядеть человека, похожего на него — чернокожего, в костюме; с ним была хрупкая красивая девушка. Машина притормозила рядом, и все, кто сидел в ней, с интересом уставились на Матиаса. При виде себе подобного Матиас, не раздумывая, бросился к ней и прильнул к стеклу над багажником. Шофер резко дал газ, но Матиас продолжал висеть на хвосте. Наконец автомобиль свернул к отелю «Индонезия», и из него вышел чернокожий гость. То был негр из Америки. Матиас обознался.

Увидев множество людей в форменной одежде, что подбирались к нему со всех сторон, как охотники к зверю, Матиас снова сорвался с места и выскочил под струи проливного дождя.

Люди в форме не стали его преследовать — им не хотелось мокнуть. Однако вскоре он обнаружил, что за ним увязался какой-то человек в плаще. Человек уже догонял его! Матиас стрелой бросился прочь от преследователя. Очутившись у подъезда многоэтажного здания, метнулся туда. Влетел в какую-то тесную комнатушку через внезапно открывшуюся перед ним дверь — она так же внезапно захлопнулась. Комнатушка оказалась лифтом, который вдруг снова открылся в полутемном зале со сценой, ярко освещенной лучами прожекторов. Там, на сцене, плясали голые женщины в таких же, как у него, набедренных повязках. И... о боже! — танец этих женщин более или менее — да что там! — почти в точности напоминал танцы его родины! И тогда Матиас со своей котекой выскочил на сцену и принялся плясать вместе с ними. Из полутемного зала, где сидели зрители, раздались громкие рукоплескания.

Но на этом кончились скитания Матиаса. Газеты сообщили о нем, и его «хозяин», парашютист, снова отыскался. На этот раз Матиас разбогател. Ему дали денег, снабдили всем необходимым, чтобы вернуться в родную и любимую деревню, а там, в деревне, нашлось немало людей, желавших послушать его рассказы.

Он рассказывал, что в Джакарте «высоким классом» считают набедренную повязку, ту, которая у них на Ириане — самое обычное дело.

Вилдан Ятим

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

На подходе к банановым посадкам взгляд его стал блуждать. Все такой же дряхлый дом. Стены из древесной коры, крыша из саговых листьев, высокие сваи, кухонька, чуть выдававшаяся вперед. Ни огонька, ни звука. С бьющимся сердцем он пересек дорогу и вступил в банановую рощу. Тень листвы затрепетала на его одежде.

— Лима! Эй, Лима! — позвал он.

Никакого ответа. Тишина. Он поднялся по высокому крыльцу, толкнулся в дверь, постучал. Заперто было снаружи.

— Лима! — снова позвал он, потом опять постучал — стук отзывался в собственном сердце. Внутри ни малейшего движения. Но зато раздались приглушенные голоса из дома напротив. Он спустился, заглянул в курятник под сваями — настежь раскрыт и пуст.

— Кто там? — донесся мужской голос. Ему вторил женский:

— Там нет никого.

Подошла кошка, мяукнула, потерлась о его ногу. Он свернул за дом, пинком отбросив кошку. Остановился у дороги, что ступенями спускалась вниз. На крутом откосе с шумом била блестящая струя воды. Прыгающая тень листвы играла на плескающейся поверхности. Пролетали и исчезали в зарослях светлячки.

— Кажется, я видел Пико, — раздалось снова с той стороны улицы.

— Да, наверное, это он вернулся. Что же теперь будет? Халимы-то нет!

Он повернул обратно, сдерживая неровное дыхание, перешел улицу.

— Аллах милосердный! Пико, это ты? Только что прибыл?

Мужчина в белой шапочке-пичи спустился с веранды, пошел ему навстречу, поприветствовал его. За ним шла женщина. Она только закинула покрывало на спину, но руки для приветствия не протянула.

— Заходи в дом. Лимы сейчас нет. Переночуешь здесь, хорошо? — говорила женщина.

— Не стоит, тетя Хаджи. Я лучше сразу пройду к матери. А где Лима, где сын?

— О, она живет теперь там, на каучуковой плантации.

— Почему?

Из окрестных домов стал подходить народ. Все столпились на веранде, приветствуя его.

— Пошли в дом, посидим, — приглашала хозяйка.

— Нет, я уж лучше сразу к маме. А Лима давно живет на плантации?

— Э-э-э... кажется, месяца два. Так ведь, банг Хаджи?

Пак Хаджи нерешительно кивнул и опустил голову. Пико удивился их замешательству. Остальные тоже потупились и старались не глядеть ему в глаза, когда он переводил взгляд с одного на другого. К тому, что сказали Пак Хаджи и его жена, никто ничего не захотел добавить.

Он спустился с веранды. Во дворе толпились женщины, молодежь, ребятня. Они шептались и провожали его взглядом, когда он пошел по улице в направлении к низовью реки. Ажурные тени пальм падали на него и тоже шептались. И даже рассыпавшиеся звезды, лениво перемигиваясь, будто шепотом переговаривались о нем.

Вот и дом на низеньких сваях. Остроконечная крыша, крытая пальмовым волокном, дощатые стены. Веранда небольшая, на трех-четырех человек. Он поднялся по лестнице, постучал в дверь.

— Кто там? — спросили из дома.

— Это я, мама, Пико.

— Тетя, Пико вернулся! — вскрикнул кто-то за дверью.

Послышался стук открываемого засова, и показалась женщина в покрывале, откинутом за спину.

— Слава Аллаху! — произнесла она, потянулась к нему руками и, крепко прижав к себе, заплакала. — Я уж думала, что никогда больше не увижу тебя, сынок.

Пико высвободился из ее объятий, прошел в переднюю продолговатую комнату и сел на ротанговую циновку. Мать то и дело вытирала глаза концом кебайи и приглашала собравшихся на веранде войти в дом.

— Принеси циновки, Рос, — сказала она хрипловато. Девочка лет десяти, которую назвали Рос, перестала рассматривать Пико, бросилась внутрь дома и вернулась с двумя белыми пандановыми циновками. Раскинула их по полу. Пико пересел на принесенную циновку, гости расположи-

лись вокруг. Перед ними очутилась табакерка, листья ниповой пальмы. Все свернули себе курево. Заклубился дым, выползая через раскрытые окна.

Так сидели несколько минут, пока не подошла еще одна супружеская чета. Мужчина был долговяз, с бородой, напоминавшей только что выстриженный лужок.

— Брат, Торкис!

Пико поднялся и поздоровался с братом. Торкис сел с ним рядом. Жена Торкиса втиснулась в плотные ряды женщин, стоявших за дверью, что вела в среднюю комнату. Тут чистили арековые орехи, крошили их и разносили гостям. Непрестанно жуя бетель, женщины болтали и слушали болтовню других.

Пико забросали вопросами. Он отвечал на них то отрывисто, то раздумчиво, то иногда вдруг возбуждаясь, когда звучал какой-нибудь неожиданный вопрос. Подали кофе; на кухне уже готовили угощение — женщины варили клубни таро и жарили бананы.

Между прочим спросили его и о том, так ли уж вправду многолюдна Джакарта. Чтобы дать об этом представление, он сообщил, что каждый день в дорожных авариях в городе гибнет по меньшей мере один-два человека. А улицу там надо переходить в два приема. И идти надо не одному, а с толпой, чтобы тебя не сбило машиной. Перейдешь половину — остановись на середине, выжди, когда ослабнет поток машин, и переходи оставшуюся часть. Да при этом смотри не мешкай. Иногда приходится и бегом. А еще есть такие людные районы, что там даже строят надземные мосты. В обычном понимании мост предназначен для переправы через реку, а вот в Джакарте еще и для перехода через улицу. Там такое скопление народа, что не хватает домов, и десятки тысяч людей живут в хижинах либо строят себе лачуги вдоль железных дорог или по берегам реки, и лачуги эти ничем не лучше тех, что у нас на полях. Здесь, у нас, если пройдешь двадцать пять километров — ты уже в дальних краях. В Джакарте же половину такого расстояния отшагай и все еще будешь в черте города.

Присутствующие цокали языками, кивали. Потом кто-то спросил Пико, что у него за дело в Джакарте. На это он ответил, что без капитала и без образования он там жить не смог. Не выдержал. Замучила постоянная конкуренция с китайскими торговцами — у них капиталы огромные и мощные фирмы. К тому же лоточников развелось в столице великое множество, так что дневной выручки едва хватает

даже на еду. Сказал также, что предлагали ему как-то занять место в многоэтажном торговом центре, который тогда еще только строился и предназначался будто бы для тех, кто торгует на обочинах, вдоль тротуаров или под навесами магазинов — чтобы они, значит, туда переехали. Но у него, как и у подобных ему бедолаг, не нашлось денег, чтобы оплатить место, а стоило оно от двухсот до четырехсот тысяч рупий. Ну вот и получилось, что сейчас в этом торговом центре опять-таки одни китайцы, а наши так и торгуют на улицах. Да еще и гоняют их то и дело, и приходится им все время бегать с места на место.

Пико извинился, что не привез гостинцев. Ему хватило только на дорогу — оплатить пароход и автобус, которые доставили его домой. Собравшиеся загалдели, хором успокаивая его: мол, счастье, что вернулся невредимый, что не покалечился там, в Джакарте, и что невзгоды его обошли. Это самое главное, твердили они.

Собравшиеся по очереди рассказывали о событиях, случившихся в деревне после отъезда Пико. Перечисляли кто умер, кто отбыл на заработки, кто женился. Заговорили о заливных полях — они, дескать, все в том же состоянии, система орошения нисколько не улучшилась со времен «заварушки», а воды в каналах стало даже меньше. Бэда, вдова Тапора — того самого, которого тогда юнцы разорвали в клочья, — вышла замуж и переехала в другую деревню. Детей она взяла с собой. Кабидуну — это один из тех, кому посчастливилось попасть в категорию «С», — теперь не надо ходить отмечаться; он работает за бесплатно, убирает улицы. Парни, повествуя о Кабидуне, ехидничали и посмеивались: теперь-то засел за Коран, из молельни не вылезает, грехи замаливает. В рассказах односельчан Пико порадовало то, что у них в округе теперь нет ни одного военного или полицейского, они стоят только в волостном центре. Похоже, людям перестали давить на мозги. Однако жизнь от этого не полегчала: не на что было жить, полям не хватало воды, каучуковые посадки давали мало, рыбы в реке все убывало — от всего этого жители приходили в отчаяние и, желая освободиться от тягот, уезжали искать счастья на чужой стороне. Пико услышал, что почти половина молодого населения уже уехала в Сидемпуан или в Медан. Кое-кто, по словам односельчан, даже отправился на Яву, хотя Пико уверял, что их там не встречал. Выпускников неполной средней школы, не говоря уж о тех, у кого полное школьное образование, в деревне совсем не осталось.

Размышляя об этом массовом исходе из деревни, Пико в душе осуждал их: дураком надо быть, чтобы оставить деревню. Он-то теперь понимал, что это не выход из положения. На себе почувствовал, как трудно прокормиться в Джакарте. Здесь люди живут тем, что махают мотыгой, и их труд так или иначе окупается. А в Джакарте можно хоть костьми лечь, уработаться до полусмерти, а заработаешь ли на жизнь — это еще вопрос.

Когда в окна задул прохладный ветер с улицы, гости один за одним стали прощаться. Стаканы и очистки клубней собрали и унесли. Наконец остались только Торкис, его жена, Пико и мать. Они сдвинулись поближе, продолжая разговор.

— Так почему же Халима не живет в нашем доме? — спросил теперь Пико.

— Расскажи, Торкис, — сказала мать.

Оказалось, что Халима поссорилась с Торкисом и их матерью и вот уже более двух месяцев жила вместе с сыном Пико, Анваром, у родителей на плантации. Торкис рассказал, что одно время стал замечать уж очень тесную дружбу Халимы с одним женатиком, у которого целая куча детей. Абдулла его звали, он родом с той стороны реки Батанг-Кундур. Поговаривали, что уже и подарки она от него получала — ожерелье и кайн на юбку. Вот и выгнал ее Торкис из братниного дома, пусть убирается к себе. Абдулла, узнав, что все вышло наружу, со стыда сбежал, уехал в Медан и семью забрал. Торкис уже хотел было написать обо всем Пико и наказать, чтобы он немедленно развелся с Халимой, да Пико сам поспешил с возвращением. Так что, если снова соберешься на Яву, закончил Торкис свой рассказ, советую подыскать другую жену.

Халима, с тех пор как ее выдворили из дома, стала как помешанная, продолжила мать. Торкиса в деревне преследовала, бросалась в него камнями. О ее сумасшедших выходках узнала, конечно, вся деревня, а может, даже и вся округа. Вот такой позор семье.

— А как она сейчас? — спросил Пико.

— Прячется у себя на плантации. Ни в деревню, ни к соседям — никуда. Рис и продукты и то вон относят ей младшие.

— А Анвар что?

— Да кто его знает.

Мать пошла закрывать ставни. Пико и Торкис, погруженные в свои мысли, несколько времени сидели молча,

покуривали. Ветер гудел в гевейных посадках, шуршал ветками пальм рядом с домом.

— Заночуйте здесь, Торкис, — предложила мать.

— Нет, мама. Мы пойдем.

Торкис с женой поднялись с циновок, и Торкис сказал:

— Взвесь все хорошенько, Пико. Думаю, что я предложил единственно возможный для тебя путь. А если захочешь уехать снова в Джакарту — здесь жену подыскать нетрудно, найдется, из кого выбрать. И еще очень важно — не оставляй Анвара жить с Халимой, не то и он свихнется. Возьми его сюда, будет здесь с Росни и с бабушкой.

Торкис с женой прошли в дом, вынесли оттуда своих сладко спящих ребятишек, распустивших во сне слюни. Мать закрыла за ними дверь на засов. Пико все сидел, задумавшись. Мать подошла к нему, ласково погладила по спине.

— Бедный Пико! Приехал домой, и некому тебя встретить, нет ни жены, ни ребенка. Что же теперь делать, дитятко мое?

Тогда, отправляясь на Яву, Пико не поставил в известность мать — предупредил только Халиму и велел ей молчать, пока с дороги от него не будет письма. Матери же он сказал, что уйдет с приятелями на неделю проверять верши, поставленные на сома в болотистом месте у реки Лингкинг. Сам же отправился прямо к развилке дорог ловить машину, идущую в Талу. С дороги он отправил письмо в деревню, в котором сообщал, что едет в Джакарту пытать там счастья.

Год он прожил у Мукдана, они и торговали вместе. Это был его старый приятель, который уже лет десять жил в Джакарте. Начались мытарства и скитания Пико: пекло его солнце, поливал дождь, пронизывал ветер, душила пыль. И еще донимали постоянные преследования: то полиция, то эти хитрые бестии — рыночное начальство. Потом уж он отделился от Мукдана и стал торговать один все там же, на обочине тротуаров. Ночевал либо у товарищей, либо по-прежнему у Мукдана, в хибарах с земляным полом, где пахло затхлостью и клопами. Его выручки едва хватало, чтобы сводить концы с концами — и это при том, что питался он всего два раза в день. От этого застойного безденежья у него постоянно в мозгу свербила мысль: как бы раздобыть денег. Но, похоже, в этой стране честным работягам не пробиться. Тут-то его и затянула лотерейная и игорная империя — пожалуй, единственная процветаю-

щая сфера деятельности, если не считать коррупцию, которая превратилась уж в слишком обыденное дело. Он не мог объяснить, как получилось, что стал он делать ставки — по пятьдесят, по сто рупий каждую неделю; так же как не отдавал себе отчета в том, что из раза в раз проигрывал. Как полоумные он и его дружки, торговавшие с ним бок о бок на тротуаре, в ожидании покупателей подбирали заветные цифры и пытались разгадать потаенный смысл в стишках и картинках, напечатанных в газетах то ли невзначай, то ли специально, с намеком, чтобы сбить их с толку, и связать их с выигрышными номерами.

В последнее время пребывания на чужбине в его мыслях царил полный разброд, стоило лишь подумать ему о жене и сыне. Что там, как там у них в деревне? Наконец он решил вернуться. Политические страсти в деревне, как ему думалось, уже улеглись. Как-никак четыре года — порядочный срок, чтобы притупить обоюдную вражду и ненависть. Начиналось все с того, что члены организации Мухаммадиях — иными словами, те, кто входил в запрещенную партию Машуми, — незаладили со сторонниками Перти и КПИ. Эта вражда достигла своего апогея, когда счастье было на стороне РПРИ — Революционного правительства Республики Индонезии — и «Совета Бантенга»[1], а в Паданге еще не гремели взрывы. КПИ и Перти в свою очередь отыгрались, дав волю своим чувствам, и мстили машумистам, когда РПРИ уже сошло со сцены: теперь уж его сторонников заклеймили мятежниками, а их семьи прижали к ногтю. В ту пору Пико учился в третьем классе средней школы, и это смутное время он, как и его одноклассники, отсиделся в своей глухой деревеньке. Ситуация повторилась, когда разразились «события 30 сентября». Но здесь уже Пико принимал активное участие. Он вместе с другими подстрекал молодежь, бередил старые раны в душах тех, кто и раньше со всякими там подлипалами громил местных лидеров «Народной молодежи» и профсоюзов. Когда тот, кого они терзали и рвали на части, все еще продолжал дышать, он вместе с толпой волок его к каналу. Тело бросали в воду, раздавалось «буль-буль-буль», и оно уплывало. Все настолько были одержимы ненавистью, что один даже порывался оскопить истерзанную

---

[1] РПРИ — правительство, сформированное в 1958 г. на Суматре во время антисукарновского восстания. «Совет Бантенга» — одна из военных группировок мятежников.

жертву, другой готов был напиться крови, которая так и хлестала ручьем. Потом, когда кончились эти избиения, он сбежал из деревни.

— Жениться думаешь, Пико?

Вопрос прозвучал неожиданно.

— Не так сразу, ма, — ответил он, помедлив, погруженный в свои воспоминания.

— Ты ведь больше не уедешь, нет?

— Не знаю еще, ма.

— Не надо тебе уезжать, сынок. Останься с матерью. Я уже старуха. Кто знает, доведется ли еще свидеться. Вот разведешься с Лимой, подыщем тебе в деревне подходящую девушку, женишься. И никто тебя не осудит за это, все ведь понимают, сынок.

Пико пришел в дом. Вернулся, неся в руках сумку. Мать подсела поближе, любопытствуя, что в ней.

— Я смог привезти только это, ма. — Он достал кайн в пластиковой упаковке.

— Какая прелесть, Пико! Красота! — Мать развернула покупку на коленях. — А для Торкиса с женой нет ничего? — поинтересовалась она, складывая и вновь засовывая кайн в пакет.

— Денег не хватило, ма.

— Ничего, сынок. Выберешь как-нибудь время и тихонько купишь еще один кайн и саронг. Не дорогие только. Подаришь им. Я дам денег.

— Не слишком ли поздно? Узнают ведь...

— Да нет.

— Хорошо, ма. — Он вздохнул. Кайн, подаренный матери, на самом деле предназначался Халиме.

2

Солнце уже было высоко над коньком крыши, когда он вышел из дома с боковой стороны. Стал перед домом, разглядывая его. Хотя и крыша обветшала, и пальмовое волокно на ней лежало тонким слоем, все остальное выглядело довольно прочным. Суждено ли ему снова жить в этом доме и трудиться на поле? Расстанется ли он с Халимой и Анваром? И приведет ли новую жену в этот самый дом? Припомнилась вчерашняя девушка, которая среди прочих заходила в гости: светлая желтоватая кожа, смущенный взгляд... Помнится, когда он оставил деревню, совсем

еще девчонкой была. В коротеньком платьице с оголенными ногами, она дважды в день мелькала мимо его дома по пути в школу и обратно. Теперь она превратилась в красивую девушку. «Выбрось это из головы!» — запротестовал внутренний голос. Лицо Халимы заслонило образ девушки; в эту минуту Халима тоже предстала ему такой, какой была в девичестве.

Он направился к молельне. Черпаком набрал из ручья воды для омовения, наскоро помолился. Затем пошел к полям по крутой дорожке, вдоль которой поднимались банановые кущи и заросли таро. То там, то сям в полях виднелись люди, занятые работой: мужчины мотыжили, женщины ворошили подгнившую солому, собирали ее в кучи или выкладывали на межи. На делянках подальше кое-кто уже сеял. Вдали, заслоняя горизонт, вздымались горы, сверкая своими вершинами. Оттуда, с гор, доносился рев гиббонов. Он вздохнул полной грудью, чувствуя невыразимое счастье оттого, что вновь вернулся в деревню, где тихо и спокойно. Шум-гам, клубы пыли, комариный писк, шуршание клопов — все, что было привычным в Джакарте, сейчас казалось ему дурным сном.

— Куда направляешься? — поприветствовал его какой-то мужчина, опустив мотыгу. Штаны у него были закатаны до колен, панама и лицо забрызганы грязью.

— Да вот хочу взглянуть на свое поле. А где ваша жена?

— На плантации.

— Ну я пойду, пак.

— Ступай-ступай. Я видел, Джа Санкутан уже пошел туда.

По мостику он перебрался через оросительный канал, зашагал по меже. Вскоре поравнялся с участком соседа. Здесь росли бананы и саго, их листья дрожали и покачивались на ветру, словно приветствуя его. Среди рисового поля островком возвышался холм, у подножия прилепилась рисорушка. Сейчас она бездействовала. Пико подошел к человеку, который что-то делал, согнувшись.

— О, Пико! — Человек поднял голову, снял шляпу. После приветствия оба, надевая головные уборы, двинулись к сторожке. Там присели на длинную скамью. Разглядывая утоптанную землю под ногами, Пико вспоминал свою жизнь с Халимой. На этом поле они начали трудиться, как только поженились. Работа шла весело, с шутками да прибаутками.

— Ну что, пак, хватает нынче воды?

— В этом-то все и дело, вся трудность, Пико. Твое поле только наполовину и можно обработать. Вон туда, за рисорушку, вода уже не доходит, — говорил человек, указывая рукой.

Пико посмотрел на заросли высоченного лаланга, росшего вперемежку с кустарником и осокой.

— Жаль! Когда я уезжал, здесь все было пригодно для возделывания.

Он поднялся, заглянул в сторожку. Теперь она была без двери. Сюда, бывало, он складывал рис в снопах, которые затем переносил к дому. Порой — это было вскоре после женитьбы — они с Халимой оставались здесь и ночевать. Сейчас крыша из лаланга вся прогнила, в ней зияли дыры.

— Снова займешься полем, Пико?

— Еще не знаю. Пока пусть все так остается. Я, может, начну с того участка, за холмом. Сначала надо бы всей деревней привести в порядок канал. Навалиться на него всем миром, прямо с того места, где начинается отвод от реки.

— Люди потеряли интерес работать всем миром. Каждый занят только своим делом. Не то что раньше, когда был жив Джа Долок. Нынче никто не хочет, чтобы ими распоряжались да помыкали.

— Вот и поговорим об этом в пятницу после намаза. Хватить молчать, так оставлять дело нельзя.

— Ну что ж, Пико, давай действуй. Хорошо, если бы у тебя что-нибудь получилось. Кто его знает, может, опять все земли в деревне станут пригодными. Торкис, тот совсем устранился и никого не трогает. Может, твое возвращение и встряхнет всех, раскроет глаза.

— Вот и ладненько. Ну, я пошел.

— Да куда ты так скоро? Даже не попробовал нашего молодого кокоса. Давай я быстро слазаю.

— В другой раз, пак.

Запрокинув голову, Пико посмотрел на вершины кокосовых пальм, растущих на краю участка. Кое-где плоды уже перезрели. Видно, мать забывала их срывать.

Дальнейший путь его пролегал по холму. На вершине он остановился и, повернувшись к востоку, стал смотреть из-под руки. Увидел сторожку, окруженную деревьями. Вдоль участка росли пальмы и манго. Похоже, ни Халимы, ни тещи на поле не было. Один только тесть, Пак Хаджи, возился в канаве — расчищал русло.

Пико спустился с холма и пошагал на запад. Несколько раз его окликали. Он отвечал на приветствия и махал в ответ рукой. Вот и банановая плантация. Под ногами зашелестела тыквенная ботва, заглушая гул ветра, гулявшего в листве бананов и кустарника. Миновал посадки сахарного тростника, осоку, которая шуршала под рукой. Наконец пошел по крутому откосу, откуда начиналась гевейная плантация. Он углубился в заросли гевей; шум реки стих, приглушенный гулом ветра в кронах и звоном цикад. Белый сок сочился по надрезам на стволах и капал в кокосовые плошки. За деревьями показалась чья-то сгорбленная спина.

— Эй! — окликнул Пико.

— Эге! — последовал ответ, и из-за деревьев вышел мужчина, скорее даже парень.

— Банг Пико! Откуда ты взялся?

— С поля. Ты у Пака Хаджи работаешь?

— Да, банг. А ты куда, на ту сторону?

— Нет.

Перейдя широкую дорогу, Пико продолжал свой путь. Показался дом вдовы Бэды, жены покойного Тапора. Тапор был в деревне председателем союза «Народная молодежь». Дом его, выстроенный из бамбуковой дранки и крытый саговыми листьями, приютился на краю деревни. Сейчас он пустовал. Пико вспомнил, как они тогда толпой набросились на Тапора. Случилось это при тусклом свете луны на той стороне реки перед сараем, где держали заключенных. До того как его разорвала толпа, он обратился с речью. Говорил, что наступит час расплаты за содеянное, что их дети отомстят и покарают виновных. И вновь прольется кровь. Сейчас нашим детям по шесть-семь лет, говорил он, через десять-двадцать лет они узнают, кто убил их отцов; они станут искать правды и докопаются до истины. Услышав тогда угрозы Тапора, Пико испугался, но дружки его уже вошли в раж и Тапора стащили с крыльца. Каждый хотел до него дотянуться. Его били и кромсали, пока он не перестал шевелиться. В ушах Пико снова стоял рев толпы — а было там около четырех, если не пять сотен мужчин, собравшихся из разных деревень округа Танджунг-Аур, — стоны и вопли терзаемого, многоголосый вой заключенных, крики о помощи, вырывавшиеся из их уст, когда они в ужасе ожидали своей участи.

Вот и кладбище. Прямо за забором под плюмерией — безымянная длинная могила, посыпанная гравием. Он

остановился, присел на корточки, обнажил голову. Подергал сорняк, выросший между гравием под высокими стеблями индиго и каскарили. Юркнули, убегая, ящерицы. Ему припомнился отец, которого он знал только ребенком. Отец казался ему большим и сильным, у него были пышные усы и блестящие глаза. Вот все, что он запомнил. Остальное уже слышал от людей. Говорили, что отец был колдун. И охранял его не кто-нибудь, а сам тигр. Рассказывали, что отец мог переходить с одной кокосовой пальмы на другую по веткам. И еще — будто бы он рукой мог мешать кипящее жарево на сковороде во время празднований-кендури.

У Пико не было ощущения, что сверхъестественные способности отца передались ему или Торкису. Правда, Торкис мальчишкой, да еще и в холостяцкую пору, слыл храбрецом и любителем подраться. Однако Пико полагал, что ничего особенного в этом не было. Когда же им обоим вместе с другими целый год пришлось жить «вне закона», Торкиса что-то не было среди тех, кто отличался храбростью и мог похвалиться числом убитых врагов. Наоборот, Пико слышал, будто брат никого и не тронул. О себе Пико тоже не мог с уверенностью сказать, убил ли он хоть одного неприятеля в бою. Он трусил точно так же, как и его товарищи по отряду. Ну а что касается тигра, который якобы ходил у отца в стражах, то оба они — и Пико и Торкис — не удостоились этой чести и боялись царя леса ничуть не меньше, чем другие.

Пико поднялся и побрел между могил, временами останавливаясь, разглядывая надписи на плитах — имена и даты смерти. У одной длинной могилы, почти такой же, как отцовская, он остановился, читая надпись. Могила тоже была выложена гравием, над ней колыхались цветы индиго и мерака. Надпись гласила: «*Джа Долок, умер в пятницу 23 апреля 1962 г.*». Обнажив голову, Пико снова присел и подергал сорняк, выросший на могиле. Человек, похороненный здесь, был деревенский староста. Добрейший человек, и как его уважали! Еще при голландцах все знали, что он какой-то отпрыск царского рода, а во времена чрезвычайного положения два года подряд избирался районным головой. Потом, когда наступило смутное время, он здорово помог Пико и его друзьям, объявленным «вне закона». Армейские власти вскоре прознали про это, Долока схватили, доставили в штаб военного округа и там пытали электрическим током. Освободили его уже тогда, когда порядок в стране был восстановлен, но он стал постоянно болеть и долго не протянул.

Часто-часто моргая, Пико встал и направился в сторону гвоздичных посадок. Какое-то время шагал через ряды, потом гвоздичные деревья сменились гевеями. Он шел параллельно деревне, держа путь к верховью. На краю гевейной плантации, вновь обрамленной гвоздичными посадками, он остановился. За грядой лаланга начиналась банановая плантация, посреди нее возвышался домик, крытый тем же лалангом. Со двора тянулась тонкая струйка дыма. Донесся плач ребенка, затем женский голос. Плач утих, перейдя в хныканье. Пико подошел и сел на корягу под большим гвоздичным деревом. Вверху щебетали птицы, на голову и плечи ему сыпались тычинки цветов. Пошарив в карманах, он извлек игрушечный автомобильчик красного цвета, сработанный прочно, из железа. Внимательно стал разглядывать игрушку, словно впервые ее увидел. Поглаживая машинку, он время от времени кидал взгляд в сторону дома. Между тем хныканье прекратилось. Из дома показалась женщина, и сердце у Пико бешено заколотилось. На ней был платок, завязанный узлом на затылке, концы платка свободно свисали. Поверить в ее безумие было невозможно, настолько обычно она выглядела. «Может, это все-таки неправда?» — прошептал он. Положил машинку обратно в карман, взамен вытащил кисет и листок нипы, сделал самокрутку. Покуривая, смотрел в сторону дома. В кронах гевей шумел ветер, с треском падали коробочки спелых плодов, раскалываясь и раскидывая повсюду семена. В ветвях гвоздичного дерева заливался скворец.

Женщина застучала ступой, обрушивая рис. К ней с громким квохтаньем сбежались куры. Она крикнула. Вышел мальчик и стал отгонять кур. Затем под банановой кущей, росшей прямо во дворе, женщина принялась веять. Пико заметил, как поблескивали, играя на солнце, ее дрожащие сережки. Отметил про себя: сережки-то все те же.

Неожиданно среди гевей показался сборщик; переходя от дерева к дереву и посвистывая, он сливал каучуковый сок из плошек. Пико устыдился и поспешил скрыться. Он повернул назад к деревне.

3

Он решил пробудить сонные души односельчан, закосневшие в невежестве и тупом упрямстве, и после пятнич-

ного намаза обратился к ним с длинной речью. Кто его знает отчего — оттого ль, что вернулся он из дальних странствий или что доводился братом старосте деревни, — но выслушали его внимательно и с одобрением. Старики, сидевшие в передних рядах, низко склонялись и то и дело почтительно кивали головами.

— Дорогие отцы и братья! Друзья! — начал Пико. — В Джакарте люди используют каждую пядь земли, даже вдоль железной дороги. В буквальном смысле слова «пядь». — И он развел руки, показывая, сколько это. — Сажают шпинат, лук, канкунг, за сотни метров таскают воду для полива. А здесь? Земли у нас в изобилии, воды тоже вдоволь, так и хлещет. А мы не можем употребить это себе на пользу! Нам не хватает урожаев со своих наделов, чтобы прокормиться в течение года, потому что мы получаем лишь половину положенного урожая. А почему? Не потому, что у нас нет источника воды, а потому, что никуда не годится система ирригации. Воды-то много, и течет она всего за двести-триста метров от полей, даже слышно, как плещется. Ну разве это не тупость, не дурость наша — мириться с таким положением вещей, друзья? Какой тогда прок в том, что мы молимся пять раз на день да еще и все вместе по пятницам слушаем, как наставляют нас в мечети проповедники? Каждый день нам долбят о религиозных истинах, о том, что должны мы учиться уму-разуму, в любом деле прежде всего думать — и этим отличаться от животных. А мы с вами? Мы и есть самые настоящие безмозглые животные. Мы боимся шевельнуть мозгами, мы отупели и не знаем, как подвести воды реки Кундур к нашим полям. И что же в результате, друзья? А много чего. Во-первых, мы не можем прокормиться за счет заливных полей и вынуждены сеять и на суходольных. А это означает, что каждый год на суходольные поля мы изводим акры нашего леса. Леса вырубаем, в дождливый сезон воде негде скапливаться, вот она и идет в низину, сметая все на своем пути. Вот вам и наводнение. А с ним гибнет наш скарб, разрушаются дороги и мосты. А дальше? Нет дорог — машины не могут добраться до деревни, подвезти продукты первой необходимости, и цены растут. Да и общение с населением других районов затрудняется. Смотрите, мы ведь оказались на отшибе. Живем здесь, как в сонном царстве. Наши дети готовы бежать из деревни, потому что не видят для себя никаких перспектив в будущем. У кого есть хоть маломальское образование, те снимаются, вконец разочарован-

ные, с места и толпами уезжают, потому что считают: оставаться в деревне — это самоубийство. Но и там, на чужой стороне, они не находят желаемого — того, что дало бы им возможность жить и существовать. Там нужны деньги и упорство, и редко кому удается выстоять в этой жестокой схватке за жизнь. Ну допустим, кому-то даже удастся закрепиться в городе, но они же там едва-едва могут прокормить себя! О том, чтобы как-то расти, и говорить нечего! Да еще становятся дополнительной обузой для городов. Поэтому-то, друзья, я и призываю вас: очнитесь! Давайте подумаем, как сделать нашу ирригационную систему такой, какой она была при голландцах.

После выступления Пико Торкис пригласил собрание высказаться об услышанном. Несогласных не оказалось. Это счастье, говорили старики, что нас распекал Пико. Кто же и должен был это сделать, как не один из нас? Хотя слушать Пико было и не сладко, но, что говорить, мы заслужили упрек.

Правда, тут же раздались сетования на то, что, мол, трудно будет собрать средства. Пико вскочил, уверяя, что денег сейчас и не нужно — требуется только энтузиазм и желание работать. И предложил собранию завтра же, в субботу, всей деревней пойти в горы за ротангом. Сделать из него остов плотины и в тот же день — а если не останется времени, то через день-другой — сообща заполнить его камнями и перегородить реку.

Все собрание выразило согласие и обещало назавтра выйти в горы. На том и разошлись.

Назавтра только пять человек вышли с Пико в горы. Среди них были Торкис, Джа Санкутан, который работал на поле Пико, и тесть Пико. Пико пошел впереди, о Халиме он с ним не заикнулся ни словом. Осторожно продвигались они через чащу, прокладывая себе дорогу, выискивали ротанг и волокли его огромными, в половину человеческого роста, связками к тому месту, откуда начинался оросительный канал. Когда трудяги переходили дорогу при входе в деревню, им повстречались вчерашние старики. Они как-то все разом и не очень уверенно стали объяснять, что у кого, дескать, дела на той стороне — надо отправить латекс, у кого ребенок заболел и его срочно потребовалось показать фельдшеру, и тому подобное. Пико, слушая их оправдания, только кивал и криво улыбался.

На берегу реки он в сердцах сказал:

— Вчера послушать их — словно меду напиться, уж так сладко говорили, а теперь не докличешься!

Стоявший рядом Торкис молчал и только вытирал кайном обильный пот.

Отвод канала начинался в низовье реки, где она делала изгиб и дно ее резко уходило в глубину. Защитой от паводка во время наводнения служил высокий каменистый берег. Собственно говоря, плотина тут уже стояла, наискосок перегораживая реку от берега до берега. Но она уже была полуразрушена, со множеством пробоин. Пико с пятью помощниками сплели ротанговый каркас шириной метра два с половиной и пятнадцати метров длиной. Работали, не отрываясь, до самой вечерней молитвы и только тогда разошлись. Назавтра они растянули плетни перед старой плотиной. Самое трудное было закрепить их на дне, чтобы они не всплывали и течение их не унесло. Для этого концы плетней полагалось зажать между каменными глыбами. Когда установка каркаса закончилась и он прочно закрепился в воде, его стали заполнять камнями и щебнем. Пико прикинул: если бы в работе принимали участие тридцать человек, все бы сделали за два дня. А они эти два дня работали лишь вшестером. Но когда на третий день Пико увидел, что их полку прибыло — еще пятеро тащили к реке связки ротанга, — он удивленно вытаращил глаза. Молчком они тоже сплели свой плетень и, когда он был готов, вместе с группой Пико присоединили его к уже наполовину заполненной плотине. На четвертый день подошла подмога еще в десять человек, и работа значительно ускорилась. Так что через пять трудовых дней уровень воды в канале уже вырос втрое. Оставалось теперь лишь подремонтировать отводные канавы и канавки, несущие воду к полям.

Через неделю все было кончено: повсюду щедрым потоком текла, разливалась и брызгала вода.

После пятничной молитвы Торкис встал у михраба и от имени жителей деревни выразил благодарность Пико, стараниями которого вода в ирригационной системе поднялась до нормального уровня. Теперь опять можно обрабатывать все поля, и колеса рисорушек снова стали вертеться. После Торкиса выступили старики и тоже благодарили Пико. Среди них, Пико заметил, были и те — нимало не смущаясь при этом, — кто пришел на помощь лишь после того, как оставалось сделать самое легкое — расчистить отводные канавы. И такая нерадивость у собственного же поля!

Расходились все с сияющими, довольными лицами, посылая Пико широкие улыбки и то и дело хлопая его по плечу. Только у Пико на лице что-то не было заметно радости. В ответ он улыбался полупечально, полупрезрительно, временами впадая в задумчивость и вздыхая.

Когда Торкис со всеми вместе направился к главной улице, Пико сказал:

— Мне на ту сторону.

— Зачем тебе туда? — спросил Торкис, поправляя шапочку-пичи, сползшую на брови. — Пошли лучше домой, там и пообедаем.

— В другой раз, брат. Я пройдусь туда.

— За табаком, что ли? Так у тебя же есть дома табак. Пошли со мной.

— Нет, я просто хочу пройтись.

— Может, сигарет хочешь купить? Так они вон продаются в лавке у Миана. И «Канзас» и «Эскорт» — все есть.

— Я же сказал — нет!

Отделившись ото всех, Пико направился в сторону верховья. Его провожали удивленные взгляды. За кладбищем он не пошел в сторону подвесного моста — в каких-нибудь четырехстах метрах оттуда лежала деревня Танджунг-Аур, где раз в неделю, по пятницам, собирался базар, — а двинулся через заросли лаланга. Пройдя их, очутился в посадках гевеи, свернул в противоположную сторону и пошел параллельно деревне. И вот он уже под тем гвоздичным деревом, где сидел дней десять тому назад. Порывшись в кармане, вытащил игрушку и задумчиво стал разглядывать машинку, поглаживая ее. Несколько раз прочитал английскую надпись: *«Мэч бокс. Мейд ин Ингланд. Понтиак»*. Краска на машинке уже кое-где облупилась — слишком часто он вынимал и оглаживал ее. Засунул игрушку в карман. Закурил самокрутку.

Малыш лет пяти играл под сваями дома. Вышла женщина, что-то взяла во дворе. Затем они — женщина и ребенок — поднялись в дом. Над крышей повалил густой дым. Через полчаса со стороны каучуковой плантации подошла старая женщина, тоже поднялась в дом. Она провела там с четверть часа, потом собралась уходить. Женщина помоложе пошла проводить ее.

Снова появился мальчик с палкой в руке. Размахивая ею, он стал гоняться по двору за стрекозами и кузнечиками. Они разлетались, а он бегал за ними вдогонку, тыча в воздухе палкой. Видимо, ему хотелось их поймать. За-

игравшись, он незаметно отдалился от дома. На его пути оказалось большое упавшее дерево. Стрекоза, за которой гнался малыш, села по ту сторону ствола, и он полез через ствол. Вдруг нога его соскользнула, и он кубарем скатился на землю.

Пико как пружиной подбросило: он бегом устремился к малышу, схватил его в охапку, поднял с земли. Тот удивленно уставился на него, не плача, не зовя маму на помощь. Пико отряхнул ему локти и штанишки, взял на руки.

— Папа ничего не принес тебе, Вар. Вот только это. Я привез машинку из Джакарты. Красивая, правда? — говорил он, протягивая игрушку.

У малыша заблестели глаза, но он только сглотнул слюну, а машинку не взял.

— На, держи. Это тебе, Вар. Я твой папа, понимаешь? Недавно приехал из Джакарты. Мама ведь тебе рассказывала, наверно?

Мальчик нерешительно протянул руку. Пико прижал его к себе, целуя. Женщина, видимо, из дома услыхала голоса и сошла с крыльца. Увидев Пико, она сначала застыла, вся вспыхнула, а потом повернулась и бросилась к дому, придерживая рукой рассыпающийся узел волос. Поднялась по лестнице, высоко подбирая кайн. Пико с ребенком на руках подошел к дому. У лестницы спустил сына на землю, а сам поднялся. Ребенок осмелел и, взяв машинку, стал играть с ней, катая ее туда-сюда по лежаку, но все еще осторожничая и дивясь.

Пико толкнул дверь, и она распахнулась с хлопком. Женщина, сгорбившись, сидела у очага. Пико сел у двери, прислонившись к стене.

— Я не привез тебе ничего, Лима. Только для Анвара, — произнес он. Затем, вытянув шею, заглянул под дом и позвал: — Иди сюда, Вар!

Мальчик замотал головой. Он все смелее осваивал машинку. Женщина, видимо, заплакала: послышалось хлюпанье носом, уголок кайна она то и дело прикладывала к глазам.

— У тебя осталось поесть, Лима? Я еще не обедал.

Женщина, сморкаясь и вытирая глаза, только помотала головой.

— Ну ладно. Я возьму Анвара к матери, а вечером приведу.

Пико спустился с крыльца:

— Вар! Пойдем к бабушке.

Анвар, сидя на корточках, недоверчиво посмотрел на него. Пико приподнял его и легонько толкнул, приглашая за собой. Через плантацию они прямиком пошли к деревне. Шумел в гевеях ветер, с треском падали коробочки спелых плодов.

Деревня была почти безлюдна. Лишь кое-где во дворах и на улице играли дети — в классики, в шарики, в мяч. Мать только что вернулась с охапкой дров.

— Ты куда это подевался? Я уж ждала-ждала, пока все не вернулись с молитвы. Торкис сказал, что ты пошел за реку. Ах, да ты с Анваром! Значит, ходил на плантацию?

Мать вытерла горящее потное лицо. Пико спустил ребенка с рук на пол в кухне.

— Фу, какой грязнуля! — произнесла мать с презрительным выражением на лице. — Небось мамаша и умыть его забыла. Ну еще бы!

Анвар ладонью утирал повисшие под носом зеленые сопли, размазывая их по щекам, где и без того налипли засохшие козули.

Мать сняла плетеную крышку с еды, стоявшей под посудной полкой, и подала Пико и Анвару. Они уселись есть рис, поливая его жарким из кефали, приправленной папоротником. Мать тем временем развела огонь и поставила греть чугун с водой.

— Это ты ему привез, Пико? — спросила она, наблюдая за Анваром, который ел, не отрываясь от игры с машинкой. Время от времени, когда во рту у мальчика особенно жгло от острой еды, он тянул в себя носом с постоянно висевшими под ним каплями.

Пообедав, Пико отошел и сел, прислонившись к стене. Свернул сигарету, закурил, временами слегка отрыгивая. Анвар вскоре тоже наелся.

— Иди-ка сюда, Вар, — позвала бабушка. — Давай я тебя умою.

Она зажала и высморкала ему нос, выбросила сопли через окно и принялась мыть ему лицо над тазом.

— Ма! — произнес Пико. — Я вот что думаю, ма. Пожалуй, я буду жить в своем доме. Займусь опять полем. Пускай половину обрабатывает Джа Санкутан, половину я. Воды теперь много, доходит и до нашего поля. Если сейчас же начать, то еще не опоздаю, а? Как ты считаешь?

— Как хочешь. Ты один там собираешься жить? Или с Анваром?

— Анвар останется здесь с тобой, ма. Это если Халима разрешит. А кстати, где Росни? Пошла к матери?

— Разрешит, не разрешит... Ты, Пико, должен сделать так, чтобы Анвар остался здесь. Там, у нее, какой за ним может быть уход?

Мать достала кокос с полки, примериваясь к нему.

— Ма, а правда Халима вела себя как помешанная? Ну тогда, помните, вы говорили — в деревне?

— А ты почему спрашиваешь?

— Я видел ее. Выражение лица, движения — все как обычно. Никакого намека на то, что у нее не в порядке мозги.

— И чего же ты хочешь?

— Да я вот все думаю, ма...

— А-а-а, ты хочешь опять сойтись с ней, да? Хочешь взять ее обратно в дом?

— Да, мама. Я это хотел тебе сказать. Что, если у нас будет дома так, как прежде.

— Халима опозорила нашу семью, Пико! Ты послушай, что говорят кругом, тогда поймешь.

— Я много думал об этом, мама. Я тоже отчасти виноват. Четыре года они прожили без меня, и я ведь не прислал им ни единого сэна. Мы должны с двух сторон подходить к этому вопросу. Надо быть справедливыми.

— Справедливыми! Вот еще чего! А полем твоим кто все это время пользовался? А кокосы, гевеи? Все у нее было!

Пико не ответил. Мать тоже замолчала, продолжая скоблить на терке кокосовую мякоть. Закончив работу, она выбросила ореховые черепки за окно и задумалась, глядя на улицу. Так простояла она у окна несколько минут, потом с глубоким вздохом повернулась к Пико. Он гасил окурок о бамбуковый пол.

— Не знаю, ма. Только совесть мне подсказывает, что я должен вернуть Халиму. Я не хочу разводиться с ней и не хочу искать новую жену.

— Да тебя как заворожили, Пико. Посоветуйся хоть прежде с братом.

— Для чего, ма? Халима ведь мне жена, я с ней не разводился. А Торкис небось нарочно гнет такую линию, чтобы мы расстались. Я, значит, буду на стороне, а он что — хозяин всей нашей земли?

— Не говори так, Пико! Нехорошо! Это о собственном-то брате такое!

Пико пошел к выходу, окликнул Анвара, посадил его себе на спину.

— Куда ты с ребенком?

— На плантацию.

— Зачем опять забираешь? Пускай здесь остается.

Пико молчком удалился. Мать посмотрела на опустевшее место около двери, покачала головой. Задумчиво перевела взгляд на огонь, лизавший чугунок. Очнулась, только когда задребезжала крышка и кипящая вода полилась через край. Тогда она сняла крышку и заварила кофейные листья.

4

На западе небо окрасилось в красно-оранжевые цвета. В кронах гевей застрекотали ночные цикады. Ветерок, устремившись навстречу сумеркам, шелестел по плантации. Сорванные ветром листья растворялись в оранжевой позолоте, разлившейся в природе, и как бы нехотя опускались на траву. Издалека, с гвоздичных посадок, доносилось призывное пение скворца.

— Дядя, дядя! Его мама идет!

Девочка бежала бегом. Лицо бледное, словно умытое льдом, сама запыхалась. И говорила, с трудом переводя дух. Пико погладил ее по голове, успокаивая.

— Мама, говоришь? Чья мама, Рос? — спросил он.— Откуда идет?— Он и сам почувствовал, как сильно заколотилось у него сердце: ему подумалось о Халиме.

— Мама Анвара, дядя! Она оттуда, с плантации.

— Ну и что?

— У нее камень в руке. Все боятся.

— Что ты сказала? Лима идет с камнем в руке? Вот видишь, Пико, говорили мы тебе! Все говорили!

— Отведи Анвара в дом. Спрячь его в комнате.

Пико спустился с крыльца и обвел взглядом улицу. Она была пустынна. Обычно в это предвечернее время на улице всегда толпились дети и старики: одни шумно играли, другие вели беседы, попыхивая сигаретками. Сейчас же окна и двери в домах поспешно закрывались, и только в щелях мелькали любопытные глаза, устремленные на тот конец улицы, что вел к низовью. Пико услышал, как за спиной мать тоже закрывала ставни.

Из-за поворота показалась Халима. Одной рукой она придерживала кайн, задрав его до колен, другой сжимала

большой булыжник и что-то выкрикивала. Кричала она по-индонезийски. (Пико и раньше удивлялся, почему это все сумасшедшие или люди не в себе, будь они по национальности минангкабау или батаки, когда на них находило, вдруг начинали говорить на индонезийском или высоком малайском.)

В доме, который Халима уже миновала, приоткрылась ставня — наблюдатели заняли свой пост.

— Пико, иди домой! — услышал он сзади голос матери.

Когда между ним и Халимой оставалось каких-нибудь пять метров, Пико стало не по себе: он увидел, что́ за камень она держала в руке — большой, с неровными острыми краями. Однако лицо ее никак не реагировало на присутствие Пико. Вот она замахнулась камнем, словно угрожая кому-то, и, миновав Пико, направилась прямо к кухне. Подойдя ближе, с силой швырнула камень в ставню, так что дом затрясся.

— Отдай мне ребенка, сволочь! Свинья паршивая! Собака! Отдай, помело старое! Зеленопузая! Отдай, отдай!

Схватив с земли другой камень, она снова швырнула его. Дверь кухни заходила ходуном. Пико слышал голос матери из дома, но слов ее не разобрал. Халима обошла вокруг дома и, очутившись опять у кухонной двери, стала биться в нее. Дверь, видимо не очень надежно запертая, при очередном ударе внезапно распахнулась, и Халима чуть не распласталась перед ней на земле.

— Дай сюда сына, собака! Свинья! Ты не имеешь права держать его у себя! Дай его сюда, собака! Свинья!

Халима вновь схватила камень. «Ну все, конец теперь тарелкам и чашкам!» — пронеслось у Пико в голове. Он бросился к ней, пытаясь вырвать камень. Халима сопротивлялась, изворачиваясь и крича:

— Болваны! Собаки! Свиньи!

Ее побелевшие губы криво дергались.

— Лима! Опомнись! Ведь это я, Пико, твой муж!

— Отдай ребенка, собака! Помело старое!

Ну и силища оказалась у Халимы! За спиной Пико услышал громкие голоса и тут же почувствовал удар камнем в висок — из глаз посыпались искры. Все поплыло перед ним, он упал. Их обступили. Тесть Пико крепко схватил Халиму, ему помогали еще двое-трое. Вышла мать Пико, одна, без Анвара. Было слышно, как тот плакал в комнате, колотясь в дверь. Халима билась, стараясь вырваться, но теперь ее держали крепко. Вдруг взгляд ее упал на Пико,

лежавшего на земле с окровавленной головой. Она будто только сейчас увидела его. Ее возбужденно пылавшее, напряженное лицо вдруг как-то сразу обмякло, потускнело и покрылось бледностью. Теперь это уже было знакомое лицо, то, каким его помнил Пико. Волна жалости к ней захлестнула Пико — жалости, разрывавшей сердце.

Халима рванулась, ей удалось высвободиться из цепких рук, и она с плачем побежала по улице. Пико завели в дом, поддерживая с двух сторон. Торкис принес пузырек с красной жидкостью, и мать, обмыв рану, пробкой помазала висок.

— Мама, где Анвар? — немного погодя спросил Пико.

— Там, в доме. А что ты хочешь?

Мать отошла. Появился Анвар и сел к отцу на колени.

— Мы пойдем к твоей маме, да, Вар? Бедная мама одна там на плантации. Ну, хочешь, нет?

Анвар озадаченно думал, потом отрицательно покачал головой.

— Да зачем тебе его туда вести, Пико? Он уже привык здесь.

— Нет, ма. Я все-таки отведу его. С бедной Халимой ведь там никогошеньки нет.

— Не понимаю я тебя, Пико! Торкис, ну скажи хоть ты!

Торкис взглянул на мать, но ничего не промолвил.

— Раз так, тогда твой тесть отведет Анвара. Тебе ведь там снова достанется.

— Да, я отведу его, Пико. Прости нас, Пико, прости, — отозвался тесть, торопливо вставая, чтобы уйти с Анваром.

Пико покачал головой, поднялся и вышел с мальчиком на веранду. На крыльце он присел, и Анвар взобрался ему на закорки. Торкис, тесть и все остальные молча глядели, как удалялись двое — отец и сын, — пока не скрылись за поворотом. Торкис смотрел в спину Анвара с таким напряжением, словно вычитывал там что-то важное для себя.

В подлеске затрещали сороки, давая знать, что совсем скоро сядет солнце. Со стороны молельни слышались удары барабана и приглушенный, отрывистый голос муэдзина. Когда Пико с Анваром скрылись за деревьями, за ними следом отправились тесть с тещей. Над головой у них проносился ветер, далеко унося с собой шелест деревьев, с шорохом падали оборванные ветки и листья. Стрекотали сверчки.

В доме темно. Пико, стоя у крыльца, позвал. Никакого ответа. Тогда он опустил Анвара и постучал.

— Лима, я привел Анвара.

Халима сидела у очага и плакала навзрыд, сморкаясь и утираясь кайном. Пико сел у стены, ближе к двери. Анвар вскарабкался ему на колени и поглядывал на мать, едва различимую в вечерних сумерках. Когда подошли тесть с тещей, Пико подвинулся ближе к середине комнаты. Теща, бесшумно двигаясь, взяла огонька от печки и зажгла лампу. Тесть устроился в углу, не раскрывая рта.

— Это Анвар, Лима,— снова проговорил Пико.— Дай ему поесть. Он ничего не ел там.

Пико легонько подтолкнул Анвара к матери, и тот несколько нерешительно притронулся к ее плечу. Она прижала его к себе, осыпая поцелуями сквозь неутешные рыдания. Анвар молчал, только удивленно посматривал на всех.

— Ну что, будете есть? — Мать Халимы погладила ее по спине. Та, перестав плакать, вытерла глаза, нос, покачала головой. Мать сняла крышки, заглянула в кастрюлю и сковородку, подвинула ближе лампу. Пико прикинул в уме: получалось, что Анвар не жил здесь уже три дня, с тех пор как он забрал его к бабушке.

— Извинись перед Пико, Лима. Смотри, какая рана у него на виске — это ты его стукнула камнем. Хоть помнишь, нет? Какой стыд, Лима!

Халима опустила голову, все еще всхлипывая и вытирая то глаза, то нос. Анвар между тем снова перебрался к отцу, устроился у него на коленях. Пико гладил его по головке. Несколько минут слышалось только всхлипывание Халимы да стрекотание кузнечиков.

В низине, где бил родник, квакали лягушки; под домом шумно чесалась собака. Отец Халимы прокашлялся, свернул сигарету, закурил.

— Завтра я займусь починкой нашего дома, Лима,— проговорил Пико. — Потом примемся за поле. Джа Санкутан обработал ведь только половину. А мы начнем с другой стороны, от холма. Теперь воды хватает. А на следующий год мы уже одни справимся со всем полем. Будем учиться собирать два урожая в год, как на Яве.

— Что ты имеешь в виду, Пико? — спросила мать Халимы.

— А то, что я забираю Халиму в наш дом на банановой плантации. И мы снова будем работать в поле, как прежде.

— А Торкис и твоя мать, они согласны ли? Смотри, как бы не осерчали.

— Не стоит обращать на них внимание. Халима ведь

мне по-прежнему жена. Я с ней не разводился и не собираюсь.

— Халима вела себя недостойно, Пико. Ты ведь небось слышал?

— Что было, то быльем поросло, ма. Я ведь тоже хорош: так надолго оставил Халиму с сыном.

Тут Халима вновь заголосила навзрыд и бросилась к матери, уткнувшись ей в колени. Мать гладила ее по голове.

— Ты хочешь вернуться в наш дом, Лима?— тихо спросил Пико и тоже ласково провел рукой по ее волосам.

— Ты слышишь, Лима, слышишь? — подтолкнула ее мать. — Ну ответь Пико.

Халима усиленно закивала головой, не отрывая лица от колен матери. Потом бросилась к Пико, также зарывшись ему в колени, и забилась в новом приступе плача. Анвар присоединился к ней.

Какое-то время Пико, тесть и теща молчали, давая Халиме возможность выплакаться. Потом тесть, поерзав, поднялся и сказал:

— Нам уж пора, Пико, Лима. Мы еще не молились вечером. Завтра снова придем. Пошли, Масриа.

Пико и Халима провожали их взглядом. Вскоре их фигуры поглотила тьма гевейной плантации. Шумел ветер, шуршал высокий лаланг. Пико затворил дверь.

В тусклом красноватом свете лампы их взгляды встретились. Пико улыбнулся, Халима ответила ему тоже улыбкой.

— Поужинаем еще раз, да? — предложила она, направляясь к плите. — Я сейчас еще сварю риса. Я быстренько.

— А что сегодня к рису?

— Ой, да нет ничего. Только тушеное таро с кефалью.

— Так я же обожаю это! Ужасно соскучился по такой еде.

Они оба рассмеялись. В порыве нежности Пико стиснул Анвара, и ребенок залился счастливым смехом. Ветер шуршал тростником на крыше, задувал в щели. В низине квакали, перекликались лягушки.

И только сейчас, после двух недель пребывания в деревне, Пико почувствовал, что он по-настоящему вернулся.

Буди Дармо

ЧЕЛОВЕК СРЕДНИХ ЛЕТ

Ночь не перевалила еще за половину, когда человек средних лет несколько раз зевнул, сел на своей деревянной кровати и похлопал по ней правой рукой.

— Вот тут, если верить родственникам, родился я, — сказал человек средних лет, — до меня — мой отец, а до него — дед.

Человек средних лет осмотрелся. Его окружали стены, видевшие когда-то его отца, деда, прадеда и прапрадеда. Видно было, что дом только что подремонтировали.

— Хотел бы я знать, когда тебя построили, — сказал человек средних лет. — Наверное, давно, очень давно. Тобой много занимался отец, немало повозился с тобою и я. Интересно, сколько лет ты еще простоишь?

Человек средних лет вышел на двор. В тот же миг на него налетел ветер. Человек средних лет помахал руками, чтобы согреться. Палисадник был ярко освещен лунным светом. Только козырек крыши слегка затенял полосу земли перед домом. Человек средних лет сделал несколько глубоких вдохов и ступил на площадку, залитую лунным светом. Он задрал голову. Огромная луна стояла высоко в небе. Пообок медленно двигалась вереница облаков. Человек средних лет еще несколько раз глубоко вздохнул и повернулся лицом к дому. Левый столбик, подпиравший кровлю веранды, заметно отличался своей новизной — старый совсем покосился, и его пришлось заменить.

— Ну вот я и ухожу, — сказал человек средних лет. — Мой отец ушел из дому, чтобы отыскать жену, которая дала мне жизнь, а до него ушел из дому дед, чтобы найти жену, родившую потом моего отца, а я ухожу из дому совсем с другой целью.

Человек средних лет обратился на восток и быстро зашагал вперед. Ветер дул ему в лицо и пробирал до костей. Облака высоко над головой плыли на запад.

— Никакие преграды не остановят меня на моем пути, — сказал человек средних лет.

Он шел сначала по знакомым местам. Миновал пустошь, потом пробирался через лесные заросли, потом опять миновал пустошь, а затем вышел на поле, поросшее высокой сорной травой.

Человек средних лет упорно двигался вперед, пока не добрался до незнакомой ему местности. Он шел все дальше и дальше. Ветер все хлестал ему в лицо, а облака все плыли и плыли у него над головой в обратную сторону. Наконец ноздри ему защекотал слабый запах жилья, и он сказал:

— Похоже, впереди какая-то деревня.

Человек средних лет зашагал дальше и шел до тех пор, пока не увидел вдали деревянный дом. Встречный ветер задувал все сильнее, и со стороны дома до него донесся человеческий голос. Ему показалось, что это был плач. Плач утихал, как только спадал ветер, долетал до него с новым порывом и снова замолкал, едва лишь ветер терял силу. Постепенно он понял, что это плачет женщина. Время от времени человек средних лет поглядывал на луну. Луна казалась удивительно большой. Ее сияние заливало всю окрестность. Вереница облаков двигалась в прежнем направлении, обходя луну стороной.

Человек средних лет шел своим путем, и с каждым шагом дом словно продвигался ему навстречу. Плач, время от времени умолкавший, раздавался все ближе. Облака по-прежнему бежали на запад, не задевая луны, все так же проливавшей на землю свой яркий свет.

— А ведь этот дом совсем как мой, — сказал человек средних лет. — Уж не тут ли родилась моя мать или бабка?

Человек средних лет твердо решил идти своей дорогой, не откликаясь на плач. Дом был виден теперь как на ладони: его кровля была освещена лунным сиянием, а передняя часть погружена в глубокий мрак. Лучи света не попадали на веранду, затененную крышей. Человек средних лет шел и шел вперед. Приблизившись к дому, он решил не смотреть в его сторону и быстро зашагал по дороге, глядя прямо перед собой. Правду сказать, женский плач, доносившийся из дома, действовал ему на нервы, но он неуклонно шел вперед, на восток.

— Остановись, человек средних лет, — сказал ему чей-то голос.

Человек средних лет на мгновение замедлил шаги.

— Остановись!

Человек средних лет пошел быстрее.

— У тебя нет сердца, человек средних лет, — сказал голос. — Остановись!

Человек средних лет вынужден был остановиться.

Плач, доносившийся из дома, резал его слух. Ему пришлось повернуть голову и посмотреть в сторону дома. Дверь, ведущая внутрь, была закрыта, но мгновение спустя до него дошло, что на веранде стоит тощая женщина, прислонившись к переднему столбику. Это была очень тощая женщина, совсем как тот столбик, к которому она прислонилась.

— Я родилась слепой, — сказала тощая женщина, — и потому я слышу и чую лучше, чем зрячие. Вот почему я давно догадалась, что ты будешь проходить мимо этого дома, человек средних лет.

Женский плач там, внутри, на минуту умолк, а потом разразился с новой силой.

— Иди сюда, человек средних лет, — сказала тощая женщина. — Подойди поближе, не бойся.

— Я очень спешу, — сказал человек средних лет.

— Я знаю, что ты спешишь, — сказала тощая женщина. — Я догадалась об этом по звуку твоих шагов.

Человек средних лет хотел было идти дальше, но тощая женщина окликнула его снова.

— Я стала старой, — сказала тощая женщина. — Моя дочь там, внутри, — мое последнее дитя, оставшееся жить вместе со мной. Остальные ушли, отыскав работу или найдя себе пару. А эта не завела себе мужа, зато нагуляла брюхо. И вот пришел срок, а она не может разродиться. Так кончается дело, если девушка гуляет с мужчинами, не заботясь о том, возьмут ли ее в жены.

— Простите, но у меня совершенно нет времени, — сказал человек средних лет.

— Погоди, человек средних лет, — сказала тощая женщина, — дай мне договорить. Мне стыдно, что я не могу помочь своей дочери. Вот почему я и стою здесь, поджидая твоего прихода. Я знаю, что ты можешь спасти мою дочь, человек средних лет.

— Я тороплюсь, — сказал человек средних лет.

— Я знаю об этом, человек средних лет, — сказала тощая женщина. — Помоги мне. Остальные мои дети ушли и не думают возвращаться, одних держит работа, других — семья. А эта моя дочь не смогла уйти, потому что никто не хотел взять ее в жены.

Человек средних лет пошел прочь.

— Погоди, человек средних лет, — сказала тощая женщина.

Человек средних лет остановился.

— Если ты не поможешь моей дочери, — сказала тощая женщина, — и она, и младенец умрут. Кто же будет тогда заботиться обо мне?

Человек средних лет дождался, пока тощая женщина умолкнет, и, словно сорвавшись с места, быстро пошел на восток.

— Помоги же мне, человек средних лет! — крикнула тощая женщина.

Но человек средних лет пустился бежать трусцой, чтобы наверстать время, упущенное из-за разговора. Он слышал, как тощая женщина взывала к нему о помощи, а потом поносила его. Какое-то время из дома раздавался еще женский плач, потом он стал еле слышным и затих. Миновав пустошь, человек средних лет сбавил темп и пошел дальше обычным шагом.

Когда небо на востоке пробрезжило, человек средних лет снова пошел быстрее. По мере того как разгоралась заря, он шел все стремительнее. Не раз и не два ему попадались прохожие, но человек средних лет не обращал на них внимания.

— Ты потерял что-то, человек средних лет? — спросил у него кто-то.

Но человек средних лет только прибавил ходу. Потом он снова побежал рысцой. Миновав лесок, выбежал на открытое пространство, буйно заросшее дикой травой. Путь его пролегал теперь мимо деревянного дома — ни дать ни взять его собственный. Не задерживаясь, человек средних лет покосился на дом и увидел, что на веранде перед домом расселось множество мужчин. Он явственно ощутил запах табачного дыма, доносившийся с веранды.

— Куда ты торопишься, человек средних лет? — окликнул его один из мужчин. — Этой ночью здесь умер человек. Разве ты не хочешь разделить с нами нашу скорбь?

Но человек средних лет бежал себе дальше на восток. Ему еще кричали что-то вслед, а он все бежал и бежал. Солнце медленно выкатилось из-за горизонта и двинулось вверх по небосклону. Сияние его превосходило красотой все на свете. Человек средних лет глядел прямо перед собой, и солнечные лучи жгли ему глаза, так что время от времени он должен был трусить на восток зажмурившись. А порывы ветра все били и били ему в лицо.

Человек средних лет бежал дальше и дальше, а когда его покидали силы, он плелся в том же направлении. А солнце своим чередом поднималось и поднималось по небосклону.

Далеко впереди человек средних лет увидел над землей длинное облако пыли. Облако ползло ему навстречу, пока не свернуло вдруг влево, туда, где земля начала горбиться, образуя крутую возвышенность. Человек средних лет вскоре понял, что пыль поднимает процессия, идущая в гору. Люди, шедшие впереди, несли что-то тяжелое, остальные брели за ними следом. Человек средних лет несколько раз перешел с шага на бег, потом снова на шаг. Он заметил, что люди, очутившись на яру, остановились. А человек средних лет, не теряя времени, то шагом, то бегом уходил все дальше и дальше на восток. Встречный ветер утих. Когда он миновал подножие возвышенности, вихрь, налетевший сверху, охватил его с головы до ног. На него пахнуло запахом цветов и ладана. До слуха его донесся невнятный плач.

— Из земли возвратишься ты в землю, — еле слышно долетел до него чей-то голос.

А человек средних лет в быстром темпе шел на восток.

— Да будет мир праху твоему, — донесся голос с высоты. — И да воздастся тебе за все дела твои.

Человек средних лет тем временем все шел на восток. Ветер снова переменил направление. Теперь он опять дул с востока. Облака же по-прежнему неслись на запад.

Человек средних лет все чаще спрашивал себя, отчего это он приближается к солнцу, а оно кажется все дальше и дальше. Он шел и шел вперед, невзирая на то, что совсем запыхался. Наконец человек средних лет споткнулся о камень и грохнулся на землю, подняв столб пыли. Полежав немного и отдышавшись, человек средних лет посмотрел в небо. Луны уже не было и следа. Облака все еще торопились к западу. Лоб саднило, и человек средних лет несколько раз погладил рукою больное место.

— Почему ты лежишь здесь совсем один, человек средних лет? — раздался вдруг голос.

Человек средних лет посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос, и сел. Рядом с ним стояла, глядя на него, молодая женщина.

— Я вижу, ты выбился из сил, — сказала молодая женщина. — Если тебе нужно помочь, пойдем ко мне. В доме никого нет: моя мать умерла несколько лет назад, а отец как всегда ушел из дому затемно.

Молодая женщина присела рядом с человеком средних лет.

— Ты расшиб себе лоб, — сказала молодая женщина. — Отец говорит, надо помогать каждому, кому подобает оказывать помощь. Пойдем же в дом.

Человек средних лет смотрел на молодую женщину, словно набрав в рот воды. Он вспомнил вдруг наказ, который дал ему перед смертью отец. «Я женился, когда моя мать была еще в добром здравии,— сказал тогда отец. — И отец мой женился, пока жива была бабка. Так поступали и все наши предки. Но вот твоей матери нет на свете, а ты все еще не женат. Ступай в ту сторону и найди там женщину, которая подошла бы тебе в жены. Смотри не мешкай, иначе ты умрешь, не дождавшись, пока твои дети станут взрослыми. А кто позаботится о тебе, когда ты состаришься и не сможешь больше работать?»

Человек средних лет долго смотрел на молодую женщину, не произнося ни слова. Молодая женщина на миг взглянула ему в глаза и сейчас же потупилась. Человек средних лет заметил, что лицо ее словно залилось краской. И тогда человек средних лет вскочил на ноги и сломя голову побежал на восток. Молодая женщина поднялась с земли, глядя ему вслед. Человек средних лет удалялся, удалялся, делался все меньше и меньше, пока совсем не исчез из виду. А солнце тем временем двигалось дальше вверх.

Человек средних лет все бежал и бежал. Он остановился только тогда, когда увидел, что солнце сияет далеко-далеко, над самой его головой. Человек средних лет сел на землю. Почувствовав, что к нему вернулись силы, он снова посмотрел вверх и увидел, что солнце, еще недавно стоявшее у него над головой, еле заметно начинает клониться к закату. И тогда человек средних лет встал и пошел на запад.

Человек средних лет шел и шел, пока не дошел до того места, где ему под ноги подвернулся камень.

— Ты вернулся, человек средних лет? — окликнул его чей-то голос.

Человек средних лет обернулся и увидел, что молодая женщина стоит рядом с ним. С минуту помолчав, человек средних лет сел на то самое место, где он сидел в прошлый раз.

— Твоя ссадина подсохла, но ты все еще нуждаешься в помощи, — сказала молодая женщина. — Моего отца, как всегда, нет дома. Он никогда не возвращается до заката.

Человек средних лет не отрываясь глядел на молодую женщину. Она опустила голову, но человек средних лет успел заметить, что лицо ее словно залила красная краска. Человек средних лет смотрел на нее, не проронив ни слова.

— Где твоя жена и твои дети, человек средних лет? У тебя есть свой дом?

Человек средних лет ничего не сказал в ответ.

— Или у тебя нет ни жены, ни детей?

— Твой отец всегда уходит из дома затемно?

— Да.

— Ты хочешь сказать — еще до восхода солнца?

— Да.

— А почему?

— Потому что у него много работы.

— И он приходит домой после заката?

— Да.

— Почему?

— Потому что не может работать в темноте.

— А что у него за работа?

— Он ловит диких зверей и рубит лес.

— Ты не помнишь, он говорил тебе что-нибудь о солнце?

— Нет, никогда. Он только говорил мне, чтобы я скорее выходила замуж. И еще он говорил, что мужчина, который станет моим мужем, скоро придет за мной.

— До чего же он глуп, твой отец! Каждый день приноравливается к солнцу и палец о палец не ударил, чтобы прибрать его к рукам!

Человек средних лет посмотрел на небо, поднялся и пошел на запад. Он шел и шел вперед, никуда не сворачивая. Так он дошел до взгорья, очутившегося теперь справа от него. На обрыве стояли люди, некоторые из них держали в руках черные зонтики. До него донесся взрыв смеха.

— Даже вошь и ту хвалят на ее похоронах, — произнес чей-то голос.

В эту минуту ветер подхватил пыль, устилавшую дорогу, и взметнул ее кверху. Несколько минут человек средних лет не видел у себя над головой ничего, кроме облака пыли. Но он шел, шел и шел себе дальше, пока не добрался до деревянного дома. На веранде сидело на этот раз всего несколько мужчин.

— Тело покойного уже предано земле, человек средних лет, — сказал ему один из них.

Человек средних лет мельком взглянул на небо и побежал на запад. Только теперь он осознал, что восточный ветер сменился западным. Еще раз посмотрев на небо, он убедился, что и облака тоже плывут на восток. Вслед за тем далеко впереди показался дом тощей женщины. Человек средних лет бежал вперед и вперед, но, поравнявшись с домом, выбился из сил и плюхнулся на землю. Переводя дыхание, он почувствовал, что воздух, проникающий

в его легкие, пропитан отвратительным запахом.

— Ты знаешь, что случилось, человек средних лет? — спросил его кто-то.

Человек средних лет повернул голову и увидел, что тощая женщина сидит на веранде, скорчившись и ухватившись рукой за стояк. Глаза у нее совсем закатились, так что видны были одни только коричневатые белки.

— Моей дочери больше нет в живых, — сказала тощая женщина. — И ребенок ее тоже умер вместе с нею.

— Перестань ныть, тощая женщина, — сказал человек средних лет. — Встань и принеси мне воды из колодца. Я знаю, что позади дома у тебя есть колодец.

— И у тебя хватает совести говорить мне это, человек средних лет?

— Я устал и хочу пить. Набери мне воды. Да побыстрее!

— Ты думаешь, я не устала и не хочу пить, человек средних лет? Я не брала ничего в рот с тех пор, как занемогла дочь. Никто не захотел прийти и накормить нас.

Человек средних лет почувствовал, что усталость его прошла, встал и направился на запад.

— Неужели ты оставляешь меня, человек средних лет? — сказала тощая женщина. — Я не в силах больше выносить запаха, который исходит от дочери и внука. Похорони их.

Но человек средних лет даже не остановился.

— Дьяволово семя, — сказала тощая женщина. — Пусть сожжет тебя солнце со всеми твоими потрохами!

Но человек средних лет продолжал идти все дальше и дальше на запад.

— Поворачивай назад, человек средних лет, — услышал он чей-то голос.

Тут только человек средних лет заметил, что навстречу ему движется скопище людей. Человек средних лет продолжал идти своим путем. Люди приближались, и человек средних лет разглядел, что следом за ними вдалеке торопливо движутся новые и новые кучки людей, направляющиеся на восток. Наконец передняя группа поравнялась с человеком средних лет.

— Ступай-ка ты назад, человек средних лет, — сказал ему один из встречных.

Но человек средних лет продолжал идти вперед как ни в чем не бывало.

— Пусть идет куда хочет, если ему неймется, — сказал другой.

Человек средних лет шел дальше и дальше. Теперь навстречу ему попадались новые группы людей. Человек средних лет чувствовал, что люди смотрят на него во все глаза. Однако он все шел и шел вперед к своей цели.

— Возвращайся туда, откуда идешь, человек средних лет! — крикнул ему еще кто-то. Но человек средних лет все шел и шел. Ветер, дувший с запада на восток, набирал силу. Идти становилось тяжело. Над дорогой стояло облако пыли. Человек средних лет не вдруг сообразил, что довольно давно прошел мимо своего дома. А люди, держась группами, все шли навстречу ему, на восток. Многие несли грудных младенцев, другие вели за руку малых детей или стариков. Некоторые тащили за собой коз, были и такие, что ехали верхом на буйволах. Все они торопились. Человеку средних лет показалось, что даже буйволы, обычно такие ленивые, на этот раз двигались с удивительной скоростью. Человек средних лет шагал вперед так же быстро. Неожиданно сверху налетел жестокий порыв ветра. Человек средних лет как шел, так и сел на землю. Вслед за тем ветер извернулся и взмыл вверх, подняв облако пыли. Человек средних лет почувствовал, что его тоже увлекает вверх. Он сделал усилие, пытаясь остаться там, где сидел, но вихрь сильным рывком поставил его на ноги. Сквозь завывание ветра и шум пыли до него донеслись невнятные вопли. А потом новый порыв ветра швырнул его вперед.

Когда ветер утих, а пыль осела на землю, человек средних лет услышал отчаянные крики, раздававшиеся со всех сторон. Став на ноги, он с прежней решимостью отправился на запад. До него вдруг дошло, что солнце прошло уже больше половины своего пути на запад.

— Помоги мне, человек средних лет, — окликнул его кто-то.

Человек средних лет повернул голову на звук голоса и увидел старика, сидевшего на большом камне.

— Помоги мне выбраться на восток, человек средних лет, — сказал старик.

Но человек средних лет не остановился.

— Паразит, — сказал старик. — Чтоб ты подох от болезни и голода там, на западе.

Но человек средних лет продолжал идти своей дорогой.

— Спаси меня, человек средних лет, — услышал он другой голос.

Человек средних лет покосился — на обочине дороги

примостилась старая женщина, облокотившись на камень.

— Меня бросил родной сын, — сказала старая женщина. — Пока он был маленький, я не отказывала ему ни в чем, а когда он вырос, он велел мне уходить из моего дома. Только я никуда не пошла. Когда же началась эпидемия, он быстро собрался и ушел прочь. Помоги же мне, человек средних лет.

Но человек средних лет даже не замедлил шага.

— Будь же ты проклят, человек средних лет, — сказала старая женщина.

Так вот и шел человек средних лет все дальше и дальше. Солнце опускалось все ниже — часть его уже исчезла за горизонтом. Небо потемнело и с каждой минутой становилось все темнее. А человек средних лет все спешил и спешил к своей цели.

ПРИКАЗ

Во время большой войны, которую не удосужились вписать в анналы истории, одного простого солдата вдруг ни с того ни с сего потребовали к самому главному генералу. Одна нога здесь, другая — там, явился он к генералу, которого хоть никогда и не видел, но отлично знал по рассказам, ходившим из уст в уста. И, как подобает самому младшему по званию при встрече с самым старшим, высоко уважаемым и боготворимым начальником, солдат приветствовал главного генерала с таким почтением, что тот, пресыщенный знаками внимания, на какой-то миг почувствовал неудовольствие. Но потом он припомнил, что́ ему говорили его штабные, и тотчас же оценил все обаяние солдата, аттестованного ему в качестве верно́го, надежного и весьма способного военнослужащего. Когда солдат снял с себя головной убор (разумеется, только по приказу генерала), все отдали должное его волнистой глянцевитой шевелюре, восторженным черным глазам, носу, точеному, как и у самого генерала, красиво очерченным губам и сиянию молодости, исходившему от его лица. А уж когда он улыбнулся (разумеется, тоже лишь по приказу генерала), улыбке его невозможно было противостоять.

— Эй, солдат, для чего ты пошел на войну? — спросил генерал.

— Не могу знать, генерал, — ответил солдат. — Я так думаю, что, по нашим временам, воевать — это самое лег-

кое ремесло. К тому же пока ты молод, самое милое дело познакомиться с карабином, а при случае и приложиться к прикладу, чтобы доказать, что ты настоящий мужчина.

— Разве ты не слышал, что эта война может обернуться гибелью всего человечества? — снова спросил генерал.

— Говорят, что так, генерал, — ответил солдат. — Только это не моего ума дело. Мое дело — воевать в свое удовольствие, стрелять в противника. В общем — задавать ему жару.

— И ты не боишься, что тебя самого подстрелят, покалечат, убьют или будут пытать, если ты попадешь в плен?

— Пускай этого боятся те, кто постарше, генерал, — ответил солдат, — а я уж как-нибудь выкручусь, будьте спокойны.

— А что ты будешь делать, если состаришься сам, а война еще не кончится? — спросил генерал.

— Я вернусь на гражданку, генерал, — сказал солдат.

— Разве ты не знаешь, что на гражданке многие тоже живут невесть для чего и умирают ни за понюх табаку?

— Я никогда об этом не думал, генерал, — ответил солдат.

Тут в комнату кто-то вошел и торопливо отдал честь главному генералу. Прочие офицеры повскакали с мест, став стеною вокруг генерала, по комнате пробежал какой-то невнятный шепоток, а потом генерал поднялся и стремительно удалился в сопровождении своей свиты. Солдат же остался в одиночестве посреди огромного и роскошного кабинета. Восхищению его не было предела — до тех пор ему и в голову не приходило, что на свете могут существовать такие хоромы.

Солдат был настолько заворожен, что и по возвращении главного генерала и его штаба не мог оторвать глаз от висевшей на стене картины с мастерским изображением штыкового боя.

— Эй, солдат! — окликнул его главный генерал.

И солдат тотчас же пришел в себя и отдал честь со всем старанием, на какое только был способен.

— Эта война может стоить нам всем головы, — сказал главный генерал. — А тут еще нарушена связь. Передашь вот этот приказ командующему флангом.

И солдат, затаив дыхание, взял приказ.

— Если тебе удастся передать этот приказ, войне настанет конец и мы будем спасены, — сказал главный

генерал. — А если прошляпишь — значит, все пропало.

Покинув штаб, солдат в сопровождении охраны прямым ходом отправился на передний край. Спутники его не могли сдержать восхищения, видя его храбрость и сноровку. Они простились с ним перед самой лазейкой на вражескую территорию. Теперь ему предстояло скрытно пробраться через расположение противника, выйти на фланг и передать командующему флангом тот самый наиважнейший приказ генерала.

Солдат шел по вражеской земле, готовый к любой неожиданности. То тут, то там разгоралась перестрелка. Солнце клонилось к западу, и небо становилось все краснее. Солдат шел и шел вперед, не теряя бдительности. Когда совсем стемнело, внимание его привлекли бушевавшие в небе сполохи. Снаряды, проносившиеся высоко над головой, привели его в восторг, и он лег навзничь на пыльную землю, чтобы полюбоваться этим волшебным зрелищем. Тут у него засвербела нога, и, почесав через одежду зудевшее место, он нащупал приказ, зашитый в штанину. Приглядевшись, он заметил, что, несмотря на ночной мрак, его то и дело освещают вспышки, расцветающие в небе. Черную куртку, которую на него напялили вместо зеленой форменной, дивным образом окрашивали разноцветные отблески далеких разрывов. Солдат, вооруженный теперь лишь маленьким складным ножом, вытащил его из кармана. И этот довольно-таки невзрачный нож тоже преобразили разноцветные отблески. Тут солдату неожиданно пришла в голову мысль распороть шов и посмотреть на приказ обожаемого им генерала. Солдат ловко подпорол нитки и вытащил наружу тщательно сложенную четвертушку голубой бумаги. Он осторожно разогнул ее — в руках у него оказался чистый листок. Но зато как красиво отсвечивала эта голубая бумага, отражая сияние разноцветных лучей, падавших с неба. Несколько минут он по очереди смотрел то на менявший свой цвет бумажный квадратик, то на снаряды, рвавшиеся над головой. Игра света зачаровывала его все больше и больше. Солдат снова улегся на землю, сделал глубокий вздох и закрыл глаза. Ноздри ему щекотал приятный запах пороха. Письмо главного генерала он не выпускал из рук.

Неожиданно солдата тряхнул сильный взрыв — никогда он и не подозревал, что снаряд может разорваться так близко. Солдат вскочил на ноги и побежал, пригибаясь. Снаряды ложились вокруг все гуще, и он, вооруженный

одним только складным ножом, горько пожалел о том, что провожатые, сняв с него любимую форму и переодев его в чью-то старую, муругую одежду, не позволили ему взять с собою хотя бы карабина. Он все бежал и бежал по пыльной земле, пока не наткнулся на какую-то стену неопределенного цвета. Когда солдат притулился подле стены и очередной взрыв осветил все вокруг, он увидел, что стена окрасилась в розовато-лиловый цвет. Второй взрыв, снова осветивший все вокруг, дал ему возможность разглядеть, что стена выходит углом на какой-то перекресток. Потом на него пахнуло огнем в третий раз, и он заметил на лиловой стене засохшие брызги крови. В ту самую минуту, когда он попытался подняться, рванул еще один ослепительный взрыв, и он вдруг увидел своего обожаемого генерала: тот бежал со всех ног по другую сторону стены, а вдогонку за ним неслись снаряды, которые рвались, излучая нестерпимое сияние и издавая оглушительный грохот. Затем солдата ударило о землю, и над ним поднялся высокий столб пыли.

Тем временем войска генерала, обожаемого молодым солдатом, существенно углубились в расположение противника. На другое утро бездыханное тело солдата обнаружили те самые люди, которые провожали его на вражескую территорию. Без лишних слов они прибрали покойного и распорядились доставить тело генералу. Генерал приподнял платок с лица погибшего и на минуту остановил на нем свой восхищенный взор. Затем он откинул покров, лежавший на груди, и сразу заметил голубой листок бумаги, который выглядывал из кармана покойника. Генерал хладнокровно извлек из кармана приказ и прочел написанный в верхней части листка текст. Оторвав верхнюю полоску и тщательно разорвав ее на мелкие кусочки, генерал увидел другую надпись, как раз посередине голубого листка. Он прочел надпись, выведенную рукой солдата, и бережно вложил листок туда, откуда его взял.

— Он думал,что меня не берут ни пули, ни снаряды, — прошептал генерал.

Никто из присутствующих не услышал сказанных им слов.

— Приказываю подобающим образом похоронить прах поэта, разделившего с нами тяготы войны, — громко распорядился генерал.

Затем он оставил тело умершего и удалился со своей многочисленной охраной в большое здание неподалеку.

В то время как солдата предавали земле, генерал проводил совещание со своими офицерами. И когда его одолела усталость и скука, он снова сказал:

— А ведь этот поэт верил, что меня не берут ни пули, ни снаряды.

Офицеры, сидевшие поближе, поняли, что он имеет в виду. Другие же не могли взять в толк, о чем идет речь. Поэтому они только согласно закивали головами; когда же генерал спросил кофе, они тоже позволили себе выпить вместе с ним по чашечке.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

...В начале 60-х годов молодой человек покидал прибрежный яванский городишко, переезжая в Джакарту, где надеялся стать писателем. Позади оставались море, огоньки, мерцающие в рыбацких лодках, уходящих на ночной лов, игольчатая зелень казуарины, под которой он прочитал свои первые книги, написал первые стихи...

Любовь к чтению привил ему отец, и литература, словно по волшебству преображавшая заросший травой пустырь, где он мальчишкой гонял мяч, в бескрайние просторы прерий, дала молодому человеку ощутить себя личностью, единственной в своем роде, испытать чувство беспредельной свободы. Одновременно она принесла и чувство столь же беспредельной горечи, оттого что отныне он — со своим особым строем души и миропониманием, со своими фантазиями и писаниями — обречен был навсегда остаться не таким, как все, как люди, среди которых он вырос, чужим, непонятным, «не своим» для них, как и они для него.

Молодой человек любил их песни, его память навсегда запечатлела образы и мудрые назидания их театра теней — ваянга, воспринятого им не столько как искусство, сколько как часть самой жизни. Но он и помыслить не мог, что в их душах найдут отклик его стихи, написанные не на домашнем, яванском, а на индонезийском языке — языке школы, государства, новой культуры,— впитавшие соки не старинной медлительной яванской лирики, а мятущейся, неуемной поэзии Хайрила Анвара — индонезийского стихотворца-бунтаря, стихотворца-индивидуалиста. И все же он не мог и не хотел заглушить в себе все настойчивее звучавший голос личностного сознания. Не мог принести его в жертву сознанию «роевому», общинному. Поэтому он и уезжал.

Джакарта, с ее столичной толчеей и сутолокой, многообразием людей, мыслей, мнений, принялась обкатывать восприимчивого провинциала, точно море гальку. Он понял, за сколь серьезное дело взялся и сколь недостаточны его познания, и потому начал изучать психологию, философию, мировую литературу. С большим жаром, чем прежде, стремился он выразить себя как личность, запечатлеть неповторимость своего ви́дения — и с большей, чем прежде, горечью сознавал, что все дальше уходит от тех обитателей городков, деревень, рыбацких поселков, среди которых вырос. Его мучил стыд. Он казался себе Си Малин Кундангом — юношей из легенды, что покинул родной дом, разбогател, а вернувшись, отрекся от нищенки-матери. И тогда мать прокляла отступника, а боги, вняв ее проклятию, обратили его в скалу.

Молодой человек нуждался в опоре, которая помогла бы ему преодолеть раздвоенность, и на первых порах нашел ее в завораживающих речах Вождя и Великого Оратора — Сукарно об индонезийской

революции, которая продолжается. Молодой человек понимал революцию как всеобщее обновление, всеобщую свободу — свободное творчество, способное воплотить для всех новые ценности. В этом смысле цели революции и литературы, казалось, совпадают. Однако вскоре он убедился, что господствующее понимание революционных задач литературы было иным. Те, кто называл себя «социалистическими реалистами», видели в литературе лишь служанку революции, понимавшейся ими единственно в политическом смысле, и не оставляли этой служанке никаких прав на свободу. Углубление в мир человеческой души, поиски форм, адекватных индивидуальному видению творца, а равно и сама его индивидуальность объявлялись не стоящими внимания. Стоили же внимания бесчисленные, неотличимые друг от друга стихи, рассказы, эссе, воспевавшие Революцию, Народ, Антиимпериалистическую Борьбу и т. д. Ибо: «Политика — наш полководец!».

Он понимал, что обществу доступнее именно такая литература — то было время лозунгов, абстрактных понятий, больших букв,— но не мог взять в толк, отчего обязанность всякого писателя создавать ее, и только ее. К тому же сама игра словами со столь расплывчатыми, столь неясными как поэту, так и его читателю значениями казалась ему чреватой фальшью. Но что же взамен — писать нечто, недоступное пониманию большинства? Разве не был он поборником революции?

И все же молодой человек не мог примириться со стерильностью, сухостью, безжизненностью этой литературы. В августе 1963 года он вместе с другими подписал манифест, звавший к свободе и плюрализму в творчестве, а в мае 1964 года Великий Вождь Революции манифест запретил. Молодой человек испытал чувство страха и одновременно... освобождения — от слепой и наивной веры в Вождя, от веры, нет, не в саму революцию, но в ту Революцию, о которой ораторствовал Вождь, которую воспевали «социалистические реалисты».

Так рассказал о своем пути в литературу индонезийский поэт Гунаван Мухаммад. Конечно же, то был его путь, особый, как у каждого человека, но есть в нем и нечто на редкость типичное для писателей второй половины 60-х —70-х годов. Большинство из них так или иначе отдали дань обаянию Сукарно, его риторике и преодолели ее. Большинство получили университетское образование. Многие пережили внутренний конфликт между пробудившимся личностным сознанием и порожденной им, вкупе с образованием, отчужденностью от традиций и народа — носителя традиций. И, по существу, все они стремились вернуться к людям, вновь стать «своими среди своих», не отказываясь от личностного начала, но, напротив, утверждая его. Прежде, однако, чем обратиться к их творчеству, нельзя не сказать хотя бы несколько слов о литературной ситуации 60-х годов, кое-что о которой поведал «молодой человек»,— ведь она объясняет многое и в литературе 70-х.

Помянутые не к добру «социалистические реалисты» — это писатели — члены Общества народной культуры (ЛЕКРА), культурной организации Коммунистической партии Индонезии (КПИ). Имевшая в предшествующее десятилетие несомненные заслуги в деле просвещения народа, ЛЕКРА в 60-е годы под влиянием идей маоцзэдуновской группы объявила своим полководцем политику, провозгласила прямую связь с ней литературы и искусства и повела борьбу против разномыслия в области культуры, за свое единоличное господство в ней. Грубый догматизм и сектантство, заставляющие вспоминать о РАППе, наряду с отказом от всякой критики подавления демократии режимом Сукарно, коррупции, процветавшей под его прикрытием, бессмысленного «противостояния

Малайзии», призванного лишь отвлечь внимание от быстро возрастающих экономических трудностей, восстановили против ЛЕКРА множество честно ищущих интеллигентов, вовсе не принадлежавших к лагерю реакции. Их группа и опубликовала «Культурный манифест», который, в частности, гласил: «Для нас культура — это стремление человека сделать совершенными условия своего существования. Мы не считаем какую-либо сферу культуры более значимой, чем другие; все они взаимодействуют в соответствии со своей природой. Для реализации этих идей мы стремимся быть предельно честными в своей творческой деятельности. Тем самым мы отстаиваем и утверждаем свое национальное достоинство в сообществе народов». После опубликования к манифесту присоединилась значительная часть индонезийских писателей, художников, деятелей кино и театра.

Уловив в словах о равноправии различных сфер культуры явную угрозу своим притязаниям, ЛЕКРА начала травлю сторонников манифеста, добилась его запрещения и увольнения многих из них с работы. Победа лекровцев казалась полной, но уже через год все изменилось — прежние гонители оказались в числе гонимых.

События 30 сентября 1965 года в Лубанг-Буайя, неудачный государственный переворот, затеянный кучкой офицеров во главе с подполковником Унтунгом, террор, развязанный армией и правыми силами, расправа с коммунистами и левыми националистами, мощные антисукарновские выступления студентов, утверждение у власти военных, занявших все ключевые посты благодаря не только массовым репрессиям, но и достаточно массовой поддержке проводимых ими антиинфляционных и экономических реформ,— вот важнейшие вехи трагических 1965—1966 годов. Верхушечный левацкий авантюризм лидеров КПИ, их неумение занять свою особую позицию в рамках сукарновского режима, что позволило — порой, увы, небезосновательно — приписать КПИ присущие ему пороки, стоили более чем двухмиллионной партии полного организационного разгрома, сотен тысяч безвинных жертв. Человеческие тела, нанизанные на заостренные бамбуковые шесты, трупы, заполнившие русла рек, запрудившие оросительные каналы...— особой жестокостью отличались расправы в районах аграрного перенаселения, где убить соседа значило увеличить собственный клочок земли.

Индонезийская литература, в которой на авансцену вышли сторонники «Культурного манифеста» и «независимые», такие, как И. Симатупанг, не могла не произнести своего слова о происходящем в стране. И в целом, надо сказать, произнесла она его достойно. Отнюдь не торжествующе-мстительная интонация звучит в лучших ее произведениях, прежде всего в новеллах, посвященных теме террора. Гнетущая атмосфера страха перед жестокостью, жалость, а порой и сочувствие прямым или косвенным жертвам насилия, особенно их семьям («Женщина и ее дети» Герсона Пойка), ощущение бессилия что-нибудь изменить — вот что характерно для большинства этих произведений.

Индонезийские писатели едва ли могли открыто «призывать милость к падшим». К тому же эти люди были идейными противниками, а слухи об ужасах, которые принесла бы их победа, многим казались убедительными. И все же легкость, с которой разгорелось братоубийство, не могла не пугать, не могла не убеждать в глубокой нравственной болезни общества.

Ф. М. Достоевский, отказывавшийся принять мировую гармонию, построенную на слезах одного ребенка, должен казаться наивнейшим идеалистом любому практическому политику. Однако мысль его лишена и тени наивности: обществу, которое не умеет помнить об этих слезах, грозит перестать быть человеческим обществом, выродиться, распасться —

а это уже проблема политика. Индонезийские писатели угадали такую угрозу и потому противопоставили разгулу жестокости гуманистические общечеловеческие ценности, дефицит которых остро ощутили. Те самые ценности, что предвозвестили еще их литературные предшественники из «поколения 45-го года», первого года индонезийской революции, и талантливейший из них — Хайрил Анвар.

Обращение к общечеловеческим ценностям, открываемым ли в прошлом, находимым ли в настоящем, невозможно связать с одними лишь цензурными запретами «нового порядка». Ведь как объяснить ими, например, обращение к образу матери, встающей над политическими распрями детей, в повести известного прогрессивного писателя У. Т. Сонтани «Колот-колоток», написанной им в эмиграции в Москве? Первой же и высшей из ценностей должна была стать человеческая личность.

Быть может, наиболее остро в индонезийской прозе проблема личности и ее права на свободное волеизъявление поставлена в романе Ивана Симатупанга «Паломничество». Примечательно, что роман увидел свет в 1969 году, но написан был еще за девять лет до этого, примерно тогда же, когда молодой человек, с истории которого мы начали, задумался над дилеммой «я и другие».

Для И. Симатупанга времен «Паломничества» этой дилеммы не существовало. С поразительной чуткостью он — в прошлом один из командиров национально-освободительной армии — уже в конце 50-х годов уловил, какая участь ожидает личность в складывающейся авторитарно-бюрократической системе, явно ставящей превыше всего престиж нации и государства, а тайно — вполне тривиальные интересы ее создателей. Отдельный индонезиец, конкретное существо из крови и плоти, бесследно исчезал в недрах этой системы, утрачивал имя, достоинство, обращался в безликого обладателя должности, носителя социальной функции, всего лишь *и.о.* человека.

Безоговорочно становясь на сторону личности, ее самосознания, «своеволия», верности себе, только и способных, по мнению И. Симатупанга, одухотворить индонезийскую нацию, сделать ее участницей живой жизни современного мира, писатель как бы «от противного» создает галерею выразительных в своей сатирической характерности образов романа. Это и мэр городка — среднее во всех смыслах порождение среднего класса, разрывающийся между служебной необходимостью творить благо согражданам и искренним желанием уничтожить их, буквально убитый мыслью о том, что общество — «не что иное, как совокупность отдельных личностей... свободных граждан». И мудрый глава государства с его умопомрачительным декретом. И владелец погребальной конторы — творец всеобъемлющей классификации покойников, не способный и шагу ступить без соблюдения пустейших формальностей.

Таких образов в романе множество, но, вероятно, наиболее впечатляющий из них — само общество городка да и всей державы, в которой, несмотря на ее анонимность, без труда угадывается Индонезия. Ведь рабочие здесь задаривают начальство рисом с шафраном, а заодно и бананами, велорикши закладывают за ухо цветок, министры жаждут предаться отшельничеству в святой обители на горе, а мысли о жизни и смерти навевает пение совки-пунгука, обращенное к луне,— старинный образ малайской поэзии. Причем Индонезия именно времен Сукарно, на что указывают и упоминание о «стране справедливости и процветания», и обоснование нелепых решений принципами «разумности и совещательности», да и стиль того самого декрета главы государства.

Обитатели достославного городка столь однолики, столь спаяны в своем конформизме, столь привычны к рутине, прописным истинам,

бюрократическому жаргону, что любое нестандартное проявление личности приводит их в состояние шока, вызывает подлинный «скандал» в духе тех, что так удавались героям Достоевского. Люди дуреют, сходят с ума, кончают с собой — ибо реагировать иначе на все неожиданное, выходящее за рамки посредственности попросту не умеют. Скандал возникает, когда художник решает сменить свое «ненормальное», но ставшее привычным поведение на вполне нормальное и когда отказывается заполнить бумаги в похоронном бюро. К невиданному скандалу приводит и знаменитая «рационализация» похоронного процесса, порожденная элементарной добросовестностью и продуманностью работы кладбищенского смотрителя и едва не подорвавшая всю экономику страны. И сколько еще подобных скандалов в романе!

Однако социальная сатира — лишь одна и притом не самая значительная грань «Паломничества», о глубинном смысле которого индонезийская критика 70-х годов спорила, как мало о чем. И дело здесь не только и даже не столько в сложности и во многом кажущейся фрагментарности романа, сколько в самих творческих принципах и стиле автора. И. Симатупанг принадлежал к числу писателей, объявивших беспощадную войну слову, ибо считал, что не в нем, но в действии, в душевных движениях проявляет себя личность. Слово же способно лишь вульгаризировать, обессмыслить, опошлить эти ее истинные проявления и уже совершенно не способно выразить ее глубинное содержание (не самая удобная позиция для романиста, чье ремесло — покрывать словами страницу за страницей).

Противоречие между словом как чем-то заведомо ущербным и словом как единственным средством общения с читателем разрешается во всепроникающей иронии И. Симатупанга, которая, как то и пристало иронии, то и дело сбивает с толку, заставляет усматривать контроверзы там, где в действительности их нет и в помине. Ведь мысли и чувства героев, даже те, что дороги их создателю, не могут не вызывать у него иронической гримасы, лишь только они облекаются в слова.

Помня об этом, нечто вроде определения темы и жанра романа «Паломничество» можно усмотреть в словах жены художника о ее утопленном в море «романе будущего». По теме «Паломничество» — рассказ о людях, у которых хватает мужества «поставить свою личность на кон как некую предельную ценность и испытать себя на прочность в совершенно новой ситуации — той, что рождается на последней границе человеческой природы». По жанру это «роман в форме эссе», точнее, эссе философского. Корни же философии И. Симатупанга хорошо известны. Это экзистенциализм, по преимуществу того толка, что был присущ Ж.-П. Сартру и А. Камю. И действительно, обращаясь к образу главного героя романа — художника, нетрудно обнаружить и понимание им истинного бытия как непосредственного переживания — «я существую», и абсолютно последовательную верность своей личности, в чем и находят воплощение ее свободный выбор и ее ответственность, и постижение своей сути в предельной, «пограничной ситуации». Общество же городка предстает как экзистенциалистский «мир объективации», где личное безнадежно поглощено общим, где господствует не свобода, а необходимость.

Два типа личности, в равной степени противостоящие застойной атмосфере городка, но в остальном полная противоположность друг другу, показаны в романе. Первый из них воплощен в образе художника, сопричастного творческому началу — подвижному, своевольному, внезапно вспыхивающему, чтобы в следующий миг угаснуть, переменчивому, как сам мир человеческих страстей. Творческое начало и составляет суть личности художника — человека наития, интуиции, прямого действия,

без колебаний принимающего каждое мгновение жизни таким, каково оно есть, безоглядно отдающегося любви, которая чужда пространству и времени, не нуждается ни в словах, ни даже в имени любимой — ни в каких условностях «мира объективации». Второй тип воплощает в себе смотритель кладбища, в прошлом одаренный философ. Суть его личности — не интуиция и порыв, но разум и строгая логическая мысль, бесстрашно доводимая до конца, даже если это сулит гибель.

Два полярно противоположных личностных типа, обрисованные в романе, вбирают в себя всю развиваемую И. Симатупангом концепцию человеческого бытия. Ибо художник олицетворяет не только творческое начало, но и саму находящуюся в непрерывном изменении и становлении жизнь, а смотритель — не только разум, но и предел, завершение, остановку, к которым устремлен логический анализ,— смерть. Именно поэтому кладбище — пограничный пункт, где жизнь встречается со смертью, где живые совершают паломничество к могилам умерших,— избрано писателем ареной борьбы его главных героев. Здесь смотритель-смерть бросает вызов художнику-жизни, расставляет для него логическую ловушку. Личности художника равно присущи любовь к работе и ненависть к кладбищу, а потому в любом случае — отказавшись ли, согласившись ли штукатурить стену кладбища — ему не избежать измены себе.

А что же художник? Он принимает вызов и побеждает. Для него — жизни — нет ничего завершенного, ничего окончательного. В любой момент, повинуясь одной лишь свободной воле, он может начать работу, в любой момент — оставить ее. Непредсказуемость, важнейшая из черт его личности, спасает художника из ловушки, одним ударом разрушает ее.

Но не только в этом победа художника. Раздумывая у стены, заклеенной фотографиями разыскиваемого преступника, над тем, что есть жизнь, а что — смерть, смотритель готов саму жизнь растворить в смерти. Художник же в поразительной сцене с улыбающимся кладбищем и в смерти видит жизнь. Умерший для него вовсе не безжизненное тело, вроде того, в котором он решительно отказывается признать свою жену, но совершенно живая личность, вошедшая в его «я», быть может, еще более свободная, а значит, и более живая, чем прежде, ибо она совершенно неподвластна диктату безликого и абсурдного «мира других».

Постигнув это, до конца поняв цельность личности смотрителя, утвердившего свою свободу добровольной смертью «ради безупречности и завершенности», художник сам становится смотрителем кладбища, подобно тем героям ваянга, что, сразив противника, преображались в него. Ведь и в мистической диалектике ваянга, персонажи которого все вместе олицетворяли мироздание, увиденное как совокупность противоположных начал, противоположности эти, включая жизнь и смерть, не только противостояли друг другу, но и оказывались нераздельными.

И это, однако, еще не все. Важнейшую роль в философии экзистенциализма играет проблема «трансценденции» — того, что же находится там, за пределами личности. Для И. Симатупанга и его героя это постигаемый в миг «погружения в последние глубины своего "я"» космос — гармоническая, держащаяся извечной мерой взаимосвязь всего со всем. Та, что всегда меняется и всегда остается неизменной, та, что вбирает в себя и человеческий род. И вновь, как в мысли о единстве жизни и смерти, экзистенциализм И. Симатупанга — сознательно, бессознательно ли — дополняется традиционным индонезийским мировидением, знавшим и это погружение, и прорыв через него к всеединству мироздания, понимавшемуся то грубо-телесно, то утонченно-духовно.

Так верность художника себе открывает ему личность в «другом» и возвращает к человечеству, осознанному теперь как все многообразие

личностей, живых и мертвых, связанных единой человеческой сущностью. Она-то и есть «конечная цель его паломничества».

Казалось бы, что общего между романами И. Симатупанга «Паломничество» и М. Лубиса «Тигр! Тигр!». Там — философское эссе с героями — воплощениями идей, с раздумьями о сути бытия, с абсурдным миром, в котором лишь угадывается индонезийская действительность, с всепроникающей иронией; здесь — как будто бы привычное реалистическое повествование с персонажами — обыкновенными жителями суматранской деревушки, с тщательно прописанными природой и бытом, с характерной сказовой интонацией. Припомним: «Великий лес раскинулся по всему острову, от кромки берега, разбиваясь о который океанские волны заканчивают свой томительно долгий... путь, до вздымающихся в небо горных вершин, постоянно окутанных густыми облаками». В этот-то великий лес отправляются собирать смолу семеро односельчан — людей уважаемых в своей деревне, вызывающих у главного героя романа, почти еще мальчика Буюнга, лишь симпатию, смешанную с восхищением. Они останавливаются в лесной хижине, работают, развлекаются, но уже вскоре начинают испытывать какие-то смутные дурные предчувствия. А на обратном пути внезапно узнают, что по их следу идет тигр-людоед. И тогда все меняется, и с каждой следующей страницей становится ясней и ясней, что перед нами вновь роман о самораскрытии личности в пограничной ситуации. Прежде всего, разумеется, личности Буюнга, но не только ее — замысел М. Лубиса не в пример шире.

В 1977 году, вскоре после выхода в свет романа «Тигр! Тигр!», писатель выступил со своей нашумевшей речью «Индонезиец». В этой речи М. Лубис-публицист непосредственно выразил то, что он же художник постарался раскрыть в образах романа: какова «обобщенная личность» индонезийца, его национальный характер. Оба произведения составили своеобразный диптих, части которого взаимно «подсвечивают», истолковывают друг друга.

Речь писателя была по меньшей мере скупа на комплименты соотечественникам. В числе «главных черт», привитых им отечественной историей, мало благоприятствовавшей развитию личности, М. Лубис назвал: лицемерие — стремление скрыть под той или иной маской свою подлинную сущность; нежелание взваливать на себя груз ответственности и потому отказ от самостоятельных решений; приверженность «феодальному духу», порождающему культ вождя, вождей, вообще любого начальства у народа и ощущение непогрешимости у самих обладателей власти; суеверие вместо веры, проявляющееся сегодня в преклонении перед политическими символами и лозунгами; слабохарактерность, мешающую отстаивать свои убеждения. Если добавить к этому равнодушие к судьбам собратьев и собственную приниженность, постоянно прогрессирующую в условиях бюрократического строя,— то, что было отнесено к «прочим чертам»,— картина создается весьма безотрадная, и едва ли способны заметно улучшить ее такое качество национального характера из числа «главных», как художественная одаренность, и такое — из числа «прочих»,— как любовь родителей к детям.

Обвинять на основании этой речи М. Лубиса в презрении к индонезийцам столь же бессмысленно, как считать П. Чаадаева антипатриотом за его критику России в «Философических письмах». Напротив, не что иное, как любовь к своему народу и боль за него рождают такие сочинения. В полной мере подтверждает это роман «Тигр! Тигр!», в котором нашли отражение все отрицательные черты индонезийского — и только ли индонезийского?— характера, названные писателем. Воссоздание их здесь — подлинное торжество образа над понятием в раскрытии на-

ционального характера. То особенное, что в речи ускользает между строк, сбивается на всеобщность, одной какой-то черточкой, характерным словцом, строем мысли естественно проявляет свою «индонезийскость» в романе.

Более всего писателя заботят лицемерие, вождизм, суеверие его соотечественников, а потому этими качествами наделен почти каждый из героев романа. Лишь у Буюнга личина не скрывает лица — спутники же его в минуту смертельной опасности оказываются вовсе не теми людьми, которых уважал, перед которыми преклонялся юноша: один — лжецом и мелким сластолюбцем, другой — насильником и убийцей, третий — вором. И как же трудна, как мучительна для них победа над лицемерием — покаяние, которое одно способно очистить, сделать таким, каким хочется казаться. Укоры пробудившейся совести, ярость от того, что ее голос не заглушить, жажда самооправдания: ведь и другие не лучше, а живут же, проблески раскаяния и подлинной веры — всё сплетается в единый клубок. А когда почудилось, будто опасность миновала,— вздох облегчения: не сглупил, не поддался минутному порыву, не уронил себя в глазах других — ничего же, в сущности, не случилось.

Особенно присущи такого рода чувства дяде Катоку — признанному вождю сборщиков смолы, слывущему среди них бесстрашным охотником, чародеем, а на деле — диктатору в миниатюре, на примере которого писатель стремится показать механизм утверждения безграничной власти над себе подобными. Игра на суеверной убежденности односельчан в его колдовском могуществе, в действенности его амулетов и грубое запугивание, внушение, будто лишь он может их спасти, и ловкое натравливание одних на других, умение любой ценой вырвать «компрометирующие сведения», способные, принизив их, возвеличить его, постоянная ложь — вот чем держится власть Катока. Власть, призванная скрыть и от других, и от себя самого собственные слабость и трусость — ту трусость, которая в прошлом, в годы восстания, заставляла прятаться за спинами других, а потом доказывать свое мужество насилием над беззащитными, которая сейчас принуждает посылать спутников на верную смерть, которая отравляет будущее страхом перед разоблачением и жалкой ролью поверженного лидера. Потому, по мере того как растет опасность, сам Каток становится все более опасным, потому о конце его власти возвещают летящие в костер никчемные амулеты.

Смерть в романе уносит тех, кто повинен в самых тяжких грехах и не находит в себе решимости раскаяться в них. Таковы Талиб и Сутан. Для Катока делается исключение, ибо лживого вождя должны судить обманутые им люди. Но ведь первым в когти тигра попадает Балам, а впоследствии от пули Катока гибнет Пак Хаджи, обрисованные писателем как будто не без симпатии. В чем же их вина? В равнодушии, слабохарактерности, нежелании принять на себя ответственность, ничем не лучших убийства или насилия, отвечает М. Лубис, в том, что в «Индонезийце» выражено формулой «я здесь ни при чем». Эти качества и отдают власть в руки катоков. Ведь Балам знал о преступлениях деревенского вожака и молчал, заговорил лишь в минуту предсмертного покаяния. А Пак Хаджи с его опытом и пониманием жизни давно уже раскусил Катока — и тоже молчал, изверившись в людях, отгородившись от них стеной, не желая обременять себя чужими заботами. «Приняли... личину за настоящее лицо — вот и поплатились» — таков жизненный принцип Пака Хаджи до того, как Буюнг, спасший его от змеи, вновь напомнил о способности человека на бескорыстное самопожертвование. Подобно хемингуэевскому Гарри Моргану, Пак Хаджи слишком поздно понял, что «человек один не может ни черта».

Итак, «подсветка», которой речь писателя озаряет роман, превращает его в притчу о том дурном, что уродует личность индонезийца, и о преодолении этого дурного. Путь же преодоления раскрывается в судьбе Буюнга, узнавшего за несколько дней о себе и своих товарищах столько, сколько, обернись дело иначе, не узнал бы за долгие годы. У него, доброго, наивного, восторженного, внезапно открываются глаза на всю сложность жизни, на неоднозначность людей, коварство обстоятельств, когда оступаешься, всего-то и желая, что облегчить страдания ближнего. Ломаются прежние представления, но Буюнгу не меньше, чем художнику из книги И. Симатупанга, удается сохранить верность себе, своей человеческой сути, став «лишь крепче на изломе». Трагедия, разыгравшаяся в лесу, и «голос» ее — Пак Хаджи — убеждают юношу: «Каждый должен противиться жестокостям, где бы они ни совершались... Человек, где бы он ни был, призван любить людей, а чтобы обрести человечность, надо прежде убить тигра в своем сердце». Лишь в этом достоинство личности, ранее им угадывавшееся, теперь осознанное. Именно личностью возвращается он к своим деревенским — к обществу, которому также еще предстоит увидеть в себе свободное собрание личностей, соединенных любовью.

И вновь, как это было и с «Паломничеством», взгляд на роман М. Лубиса как на притчу позволяет понять не только его реалистическую новизну, но и связь со старой литературой и театром. Ведь в ваянге обретали символический смысл непременные для каждой пьесы скитания героя в лесу и одержанная там победа над чудовищем — пожирателем людей. Лес в философской символике ваянга — человеческая душа, пребывающая во власти страстей и неведения; странствие и тяготы скитаний — путь очищения души, осознания своего истинного «я»; победа над людоедом — преодоление злобы, ненависти и иных дурных качеств, того самого «тигра в сердце», о котором идет речь в романе. А может быть, еще и черты политической аллегории, также нередкого явления в ваянге и классике, угадываются в романе — отражение горячо поддержанных М. Лубисом выступлений студенческой молодежи против коррумпированного режима Сукарно, да и тех, кто пришел ему на смену. Шаманом, лживым ритором, изготовителем «политических амулетов» выступает Сукарно в речи «Индонезиец» и других публицистических сочинениях писателя, и едва ли случайно, что имя Каток можно истолковать как «полый ствол, издающий при ударе громкие звуки» (не намек ли это на пустоту «барабанных» речей Вождя?), а имя Буюнг означает на языке суматранского народа минангкабау «юноша, молодой человек».

Романы 70-х годов с наибольшей глубиной запечатлели главные проблемы индонезийской прозы тех лет — становление личности, отношения личности и общества, возрождение общечеловеческих ценностей, взаимодействие в литературе и в жизни нового и традиционного. Повести же и рассказы позволяют даже в ограниченной по объему книге увидеть, сколь многообразны трактовка и решение этих проблем у различных индонезийских писателей.

Причина такого многообразия, наряду с рождением у писателей нового сознания — сознания своего неповторимого взгляда на мир и человека, слова о них не «общего», как в классике, а именно своего,— заключалась еще и в особом сочетании в их творчестве традиционного и современного, идущего в конечном счете с Запада, неодинаковой всякий раз пропорции того и другого в литературном синтезе, создаваемом индонезийскими прозаиками и поэтами.

Этот синтез — явление, характерное для всего Востока, не только Индонезии, для восточных литератур, начиная еще с рубежа XIX—XX вв.

Но позже, где сразу в послевоенное время, где в 60—70-е годы, он обретает новое измерение — то, что можно назвать традиционализмом. Если в литературе прежних десятилетий, устремленной к обновлению в западном духе, традиционное сохранялось как нечто естественно присущее сознанию писателя, а потому часто незаметное для него, то теперь многие прозаики и поэты Востока, ищущие пути утверждения национальной самобытности, пути «духовной деколонизации», усматривают их в намеренном возврате к заново высоко оцененным основам традиционной культуры. Однако увидены ими эти основы обычно уже со стороны, с определенной дистанции, заданной прежде всего европейским образованием, иным, чем прежний, складом личности интеллигента XX в. По существу, не сама традиционная культура, но ее образ в зеркале уже нетрадиционного сознания — вот реальность того возврата. И потому появляется возможность выбирать, комбинировать, переосмыслять отдельные элементы традиции, так что вольно или невольно они оказываются выражением все того же своеобычного мировидения автора.

В том, сколь по-разному и за разным обращаются к традиции индонезийские писатели, нетрудно убедиться, сравнив повести «Смиренная» У. Каяма и «Колот-колоток» У. Т. Сонтани, заметно перекликающиеся друг с другом, с новеллой Данарто «Ностальгия». У. Каям, создатель тонкого и точного образа Сумиры, обращается к традиционному пониманию жизни, жизненных ценностей, идеала женщины, характерному для прияи — своего рода яванского «дворянства». Мир держится тем, что всему на свете предопределено свое место,— вот исходный пункт мировоззрения яванцев, рождающий этику, основанную на верности долгу: долгу преданной мужу жены, образец которой — героиня ваянга Сумбадра, самоотверженной матери, чей образец — другая его героиня, Кунти,— и на благородно-сдержанном приятии своей судьбы, вовсе не означающем, что следует опускать руки. Этот идеал просто и естественно, с какой-то почти неприметной, но всепроникающей духовностью и воплощает Сумира. Разумеется, он диаметрально противоположен безграничной свободе самоутверждающейся личности И. Симатупанга, но разве не сходятся крайности, разве так уж ни к чему сообществу свободных личностей общечеловеческое в этом идеале — самоограничение ради ближнего, объединяющее людей?

То же нравственное начало — предпочтение духовных ценностей эгоистическим материальным интересам, стремление не разъединять, а объединять — привлекает в традиции У. Т. Сонтани. Ему при этом более всего близка традиционная народная утопия о Прабу Силиванги, его царстве равенства, добра, справедливости — стране, силою чар обращенной в лес, чтобы спасти ее жителей от гибельного кровопролития. Расколдовать царство Прабу Силиванги — такова мечта матери, главной, вызывающей наибольшие симпатии героини повести, и рассказанная ею легенда — весьма многозначительный финал произведения о трагедии 1965 года.

Между тем Данарто, писатель, в чьих рассказах причудливо сочетаются сюрреалистская поэтика и традиционный «яванизм» — сплав индуистских идей и мусульманской мистики, ищет в традиции ответы на последние вопросы бытия. Его «Ностальгия» — не что иное, как по-современному аранжированный эпизод «Махабхараты», ставший сюжетом пьесы ваянга и классической яванской поэзии, который осмыслен как извечная тоска человеческого «я» по космическому всеединству и по своему божественному истоку.

У Данарто, как и у ряда других индонезийских прозаиков и поэтов, вошедших и не вошедших в эту книгу, ощутимо взаимодействие тради-

ционных идей и образов с философско-эстетическими принципами, приемами письма, характерными для западного литературного авангарда. И это также важная особенность традиционализма в последние десятилетия. В то же время индонезийская проза 70-х годов богата произведениями, в которых именно авангардизм, а не традиционность играет определяющую роль. Таковы новеллы Буди Дармо с их кафкианским абсурдным миром и бесцельно странствующим по нему, ко всему безучастным героем («Человек средних лет») — еще одно свидетельство неблагополучия в индонезийском обществе, обесчеловечивающего его равнодушия, всеобщей отчужденности. Такова и повесть Путу Виджайи «Телеграмма», где в сознании главного персонажа безнадежно перепутались вымысел и явь. Ибо не только вымысел вплетается здесь в реальную жизнь героя, чуть ли не материализуется в ней, но и сама его жизнь с ее необязательными, а то и бессмысленными человеческими связями, компромиссами, изменами себе оказывается чем-то иллюзорным. Но подобная фантасмагория обманов и самообманов не может длиться вечно — рано или поздно подлинная реальность должна грубо постучаться к герою, до поры до времени ловко ускользавшему от нее, и символ этого — телеграмма, извещающая сначала о болезни, а затем о смерти матери, зовущая домой. Трудно не согласиться с критиком, назвавшим промежуток между этими двумя «ударами в дверь» освобождением от всего наносного, всего лживого в себе. И оно-то позволяет «вернуться домой отягощенным горьким опытом, но способным наконец заглянуть правде в глаза и не отвести взгляда».

Окидывая напоследок взором панораму индонезийской прозы, то теплой и многокрасочной, то напряженной, резкой, ироничной, озабоченной судьбами личности и всего людского сообщества, невозможно не заметить не только разнообразия, но и единства ее — того единства, что заключено в духовности и человечности, бросающих вызов совсем непростой и не перегруженной гуманностью индонезийской действительности 70-х годов. И еще: нам, советским читателям 80-х, понятны проблемы, волнующие творцов индонезийской прозы, представителей разных народов Индонезии,— батака И. Симатупанга и минангкабау М. Лубиса, балийца Путу Виджайя и сунданца У. Т. Сонтани, яванцев У. Каяма, Буди Дармо, Данарто и многих других.

В. Брагинский

ГЛОССАРИЙ

Баджу — удлиненная прямая куртка, блуза; часть традиционного костюма.

Бакми — китайская лапша с приправами.

Баксо — род фрикаделек из мяса, рыбы или креветок с мукой.

Банг — старший брат (*обращение*).

Батик — набивная ткань, окрашенная вручную способом воскования.

Бемо — велоколяска с мотором.

Бечак — трехколесная коляска велорикши с расположенным впереди сиденьем для двух пассажиров, а также сам велорикша.

Бунг — брат (*дружеское обращение*).

Варингин — вид баньяна, Ficus benjamina; священное дерево яванцев и других народов Индонезии, государственная эмблема страны.

Ваянг — традиционный кукольно-теневой театр с представлениями на эпические сюжеты.

Ведана — начальник административного района, уездный голова.

Джогет — уличные танцы с профессиональными танцовщицами за небольшую плату.

Кайн — традиционная мужская и женская одежда, прямоугольное полотнище цветной ткани, обертываемое вокруг бедер в виде юбки.

Канкунг — водяной вьюнок, Ipomoea reptans; зелень употребляется в пищу.

Канчиль — азиатский оленек, Tragulus javanicus.

Кебайя — узкая распашная кофточка без ворота, сшитая из легкой ткани.

Келурахан — низшая единица административно-территориального деления.

Кембоджа — безлистное дерево, Plumiera acuminata, часто высаживаемое на кладбищах.

Кендури — праздничное угощение по какому-либо поводу.

Кенчур — лекарственное растение, Kaempferia galanga.

Кретек — сигареты с примесью гвоздики.

Крончонг — оркестр струнных и духовых инструментов, а также сложившийся под влиянием португальской народной музыки жанр песен, исполняемых в его сопровождении.

Кун-фу — древняя китайская борьба, искусство самозащиты; некоторые ее элементы легли в основу японского каратэ.

Кшатрий — благородный воин.

Лаланг — высокий, до двух метров, пучковый злак, Imperata cylindrica.

Лебаран — праздничный день окончания мусульманского поста.

Лебей — низший служитель деревенской мечети.

Магриб — одна из пяти обязательных мусульманских молитв;

совершается на закате, около шести часов вечера.

Мас — *букв.:* золотой; принятое на Яве ласковое обращение к мужу, жениху или близкому другу.

Мбак — старшая сестра *(также обращение)*.

Минбар — возвышение в мечети, с которого произносятся проповеди.

Михраб — молитвенная ниша в стене мечети, обращенная в сторону Мекки.

Нангка — плод хлебного дерева.

Наси-горенг — жареный рис с мелкими кусочками мяса, креветками, овощами и приправами.

Нгабен — балийский обряд кремации останков, которые до сожжения обычно покоятся на кладбище.

Нипа, ниповая пальма — нипа кустарниковая, Nipa fruticans.

Ньяи — женщина, жившая на содержании у голландца, «туземная» жена.

Ом — нейтрально-вежливое обращение (от *нидерл.* "oom" — дядя).

Оплет — маршрутное такси.

Пак — *букв.:* отец, папаша; почтительное обращение, иногда составная часть имени.

Пандан, пандану с — тропическое дерево, листья которого, нарезанные полосками, используют для плетения циновок, корзин и т. п.

Пантун — четверостишие с перекрестной рифмовкой, в первых двух строках содержащее символический намек, который раскрывается в последующей паре стихов.

Паранг — тяжелый нож-косарь длиной более полуметра.

Пенчак — вид национальной борьбы, искусство самозащиты.

Пичи — шапочка наподобие пилотки.

Пуджангга — поэт, песнопевец.

Ребаб — двухструнный смычковый музыкальный инструмент.

Ринггит — монета достоинством в 2,5 рупии.

Ронггенг — сунданский народный танец, а также его исполнительницы.

Ротанг — ротанговая пальма; тропическая лиана рода Calamus, тонкие стебли которой идут на изготовление плетеных изделий, в том числе легкой мебели.

Руджак — острый салат из тертых незрелых фруктов с перцем и другими специями.

Саво — саподилловое дерево, Achras sapota.

Скотенг — горячий напиток с имбирем, сахаром, вареным арахисом, ломтиками агар-агара и др.

Сэн — разменная монета, равная одной сотой рупии.

Табунг — сосуд цилиндрической формы, изготовленный из полого бамбукового ствола.

Тембанг — *букв.:* песнь; общее название многочисленных строфических форм, или «размеров», традиционной яванской поэзии.

Темпе — кушанье из сваренных заплесневелых и поджаренных соевых бобов.

Туан — господин (*обращение*).

Хадис — предание о словах и поступках пророка Мухаммеда.

Хеличак — наемный трехколесный автомобиль для двух пассажиров.

Чемара — вечнозеленое дерево рода Casuarina.

ОБ АВТОРАХ

Иван Симатупанг (1928—1970)

Крупнейший романист и драматург авангардистского направления. Род. в Сиболге (пров. Северная Суматра). Высшее образование после года учебы на медицинском факультете в г. Сурабая продолжил в Нидерландах на факультете филологии Лейденского университета и во Франции на отделении западной философии Парижского университета (Сорбонна). Работал школьным учителем, корреспондентом, с 1968 г. возглавлял отдел культуры джакартской газеты «Варта Хариан».

Автор около 50 эссе, которые публиковались в журналах и отдельными сборниками. В 60-е гг. создал ряд пьес: «Вечер в саду» (1966), «RT-O/RW-O», «Кактус», «Независимость». Первые романы — «Разбитое зеркало» (1958), «Приятель», «Половина от двух» и «Прямизна» — не издавались, большая часть их утеряна. Широкую известность как прозаик получил после выхода в свет романов «Красная краснота» (1961; опубл. в 1968), «Сушь» (1961; опубл. в 1972), «Горлица» (1968; опубл. в 1975) и «Паломничество» (1960; опубл. в 1969). Последний отмечен литературной премией АСЕАН за 1977 г. Немногочисленные рассказы изданы посмертно в сборнике «Устремленные к небу» (1982).

Мохтар Лубис

Известный прозаик, журналист. Род. в 1922 г. в г. Паданг (пров. Западная Суматра). Во второй половине 40-х гг. работал в пресс-агентстве «Антара», основал журнал «Маса Индонесиа», сотрудничал в газете «Мердека». С 1951 г. — издатель, а впоследствии и главный редактор газеты «Индонесиа Рая», запрещенной в середине 70-х гг. за оппозиционные публикации. Неоднократно подвергался тюремному заключению. Занимал пост президента Пресс-фонда стран Азии, входил в руководство Международного института прессы и Международной ассоциации за свободу в области культуры. С 1966 г. — главный редактор литературного журнала «Хорисон», в 1970 г. избран членом Джакартской академии. Лауреат филиппинской премии Магсайсая и премии «Золотое перо» Всемирной федерации издателей.

Широко известен как автор романов «Не будет завтра» (1950), «Дорога без конца» (1952), «Смерть и любовь» (1977), повестей «Сухая земля» (1964), «Сумерки в Джакарте» (1965), «Лиходей» (1983), сборника рассказов «Женщины» (1956), многочисленных публицистических произведений и книг для детей. Переводился на многие западные и восточные языки.

Роман «Тигр! Тигр!» (1975) отмечен литературной премией министерства образования и культуры за лучшую книгу в 1976 г.

Умар Каям

Прозаик, литературный критик. Род. в 1932 г. в г. Нгави (пров. Восточная Ява). Высшее образование получил в США, в 1965 г. защитил диссертацию в Корнеллском университете (г. Итака). Был директором Университетского издательского фонда, председателем Джакартского совета по делам искусств, и.о. ректора Джакартского института художественного образования, возглавлял директорат радио, телевидения и кино, занимал административные и преподавательские должности в университетах Джакарты, Джокьякарты, Уджунгпанданга. Избирался депутатом Временного Народного консультативного конгресса. Член редколлегии литературного журнала «Хорисон».

Автор сборника рассказов «Тысяча светляков Манхаттана» (1972), повестей «Сумарах» (1975; здесь публикуется под названием «Смиренная» и «Бáвук» (1975; рус. перев. 1985), литературоведческого исследования «Искусство, традиция, общество» (1981).

Путу Виджайя

Известный прозаик, драматург и режиссер. Род. в 1944 г. на о-ве Бали. Высшее образование получил на юридическом факультете джокьякартского университета «Гаджа Мада», одновременно учился в Индонезийской академии театрального искусства и кинематографии в Джакарте. В 1967 г. играл в труппе «Театральная мастерская» («Бенгкел Театер»), в 1970 г. организует собственный Независимый театр («Театер Мандири»). Работал обозревателем и редактором в популярных журналах «Экспресс» и «Темпо».

Литературным творчеством занялся в школьные годы; первые новеллы публиковались в балийской и столичной прессе. Широкую известность получил после публикации повести «Телеграмма» (1973; рус. перев. 1981), отмеченной премией Джакартского комитета по проведению Международного года книги.

Автор повестей «Когда сгущается тьма» (1971; рус. перев. 1981), «Фабрика» (1976; рус. перев. «Пламя», 1981), «Вокзал» (1977), «Внезапно — ночь» (1977), «Признано законным» (1977) и «Поверженный» (1978), пьес «Последнее солнце» (1965), «Ворона» (1966), «Поющий океан» (1967), «Нет» (1969), «Покойный» (1969), «Ох!» (1973), «Некто» (1974), «Тук-тук-тук» (1974), многочисленных рассказов, часть которых вошла в сборники «Бомба» (1978) и «Чик!» (1982).

Утуй Татанг Сонтани (1920—1979)

Известный прозаик, драматург. Род. в г. Чианджур (пров. Западная Ява). Учился в национальной школе «Таман Сисва» и полной средней школе «Таман Деваса» в г. Бандунге. Первые литературные опыты, на сунданском языке, относятся к юношеским годам. Во время японской оккупации был руководителем литературного отделения Культурного центра, после 1945 г. участвовал в издании журнала «Повстанец», с 1948 г. работал в Джакарте в государственном издательстве «Балэй Пустака». В конце 50-х гг. сближается с культурной организацией КПИ «Лекра» (Общество народной культуры), в 1958 г. входит в состав ее руководства, с 1964 г. — доцент созданного ею Университета народного искусства в Бандунге. С 1965 г. в течение восьми лет находился в эмиграции в КНР, последние годы жизни провел в Москве, преподавал в Институте стран Азии и Африки при МГУ.

Автор 14 пьес, в числе которых стихотворная драма «Бамбуковая свирель» (1951), трагедия «Сангкурианг» (1953—1955, несколько вариантов), «Цветок кафе» (1948; рус. перев. 1957), «Авал и Мира» (1951), «Зачем есть другие?» (1954), «На небе звезды» (1955), «Счастливого пути, моя отступница» (1956), «Признание» (1961), комедия-памфлет «Си Кабаян» (1959; рус. перев. 1960), «Нестареющий» (1963), «Си Кампенг» (1964) и др.; романа «Тамбера» (1952; рус. перев. 1964, 1972), посвященного теме антиколониальной борьбы индонезийцев в начале голландского вторжения; рассказов, публиковавшихся в сборнике «Неудачники» (1951) и в периодике (в СССР издавались на русском, эстонском и узбекском языках). Повести «Колот-колоток» (1977) и «Сбросивший одежды» (1978) написаны в период жизни в Москве.

Кунтовиджойо

Прозаик, поэт, драматург. Род. в 1941 г. неподалеку от г. Джокьякарта (Центральная Ява). Учился на историческом отделении факультета литературы и культуры джокьякартского университета «Гаджа Мада». Законченное высшее образование и ученую степень доктора философии получил в США. Доцент университета «Гаджа Мада». Публикуется в журналах «Хорисон» и «Састра».

Автор лирической драмы «Травы озера Бенто» (1969), пьес «Нет любви для госпожи «Фатьмы» (1972) и «Деревянная маска» (1973), удостоенной конкурсной премии Джакартского совета по делам искусств. Романы — «Рынок» (1972), отмеченный Джакартским комитетом по проведению Международного года книги, и «Нагорная проповедь» (1976). Поэтическое творчество представлено сборниками «Сигнал» (1976) и «Небесные песнопения» (1976).

Перевод рассказа «Пташки на дереве» выполнен по антологии индонезийской литературы «Голубое море, голубое небо» (1977).

Мисбах Юса Биран

Кинорежиссер, новеллист, драматург. Род. в 1933 г. в г. Рангкасбитунг (пров. Западная Ява). Окончил среднюю школу второй ступени. С девятнадцати лет начал печататься в периодической прессе как кинорецензент, театральный обозреватель и автор небольших рассказов. С 1954 г. — сценарист, затем помощник режиссера в кинокомпании «Перфини» (Объединение индонезийского национального кино), в 1956—1957 гг.— член авторского совета. Сотрудничал в редакциях еженедельника «Мингту Абади» (1958—1959), «Пурнама» (1962—1963), «Дута Машаракат» (1965—1966), «Абад Муслимин» (1966), «Гелангганг» (1967).

В 1959 г. осуществил первую самостоятельную постановку кинофильма «Праздник музыки Ла Бана», в дальнейшем режиссер-постановщик фильмов «Holiday in Bali» (1962), «За мерцающим светом» (1966), «По кровавым следам» (1967; его сценарий этой картины, отмеченной призом Всеиндонезийского кинофестиваля, лег в основу одноименного романа, 1968), «Операция X» (1968), «Honey, Money & DF» (1970). Автор киносценариев «Тигр Кемайорана», «Исчезнувший дворец», «Облака на закате», «Звездочка», «И осыпаются цветы» и др., а также сборника рассказов «О, кино!» (1973).

Драма «Большой брат» (1958) удостоена премии министерства образования, просвещения и культуры Индонезии.

Публикуемые здесь на русском языке рассказы взяты из сборника «Чудеса на Пасар-Сенэн» (1971).

Данарто

Новеллист. Род. в 1940 г. в г. Сраген (пров. Центральная Ява). Учился в Индонезийской академии изобразительных искусств, одновременно сотрудничал в детском журнале «Си Кунчунг». С 1959 по 1964 г. входил в состав театральной труппы «Бамбуковый павильон» («Сангтар Бамбу»). В 70-х гг. преподавал в Джакартском институте художественного образования. Известен как режиссер-постановщик многих пьес современных индонезийских драматургов.

Пишет главным образом в жанре рассказа, публикуется в литературной периодике. Отдельной книгой вышел сборник «Godlob» (1975). Наиболее известные рассказы — «Армагеддон» (1968) и «Ностальгия» (1971) и другие издавались за рубежом в переводе на английский язык.

Герсон Пойк

Прозаик, журналист. Род. в 1931 г. на о-ве Роти (Малые Зондские острова). Работал школьным учителем, до 1970 г. — корреспондент джакартской христианской газеты «Синар Харапан», активно занимается журналистской деятельностью как внештатный сотрудник многих периодических изданий. Занятия литературой начал с дебюта в поэзии, однако позднее сосредоточился на прозе. С 1955 г. публикуется в журналах «Мимбар Индонесиа», «Будайя», «Састра», «Хорисон». В 1970—1971 гг. был слушателем курсов «Международная писательская программа», организуемых университетом штата Айова, США.

Автор повести «Первые дни» (1968), романа «Учитель» (1971), сборников новелл «Матиас Аканкари» (1975) и «Качка и письма о любви Раджигукгука» (1975).

Вилдан Ятим

Прозаик, журналист. Род. в 1933 г. в г. Паданг-Сидемпуан (пров. Северная Суматра). По образованию биолог, выпускник Бандунгского технологического института. Доцент университета «Паджаджаран» в Бандунге. В 60-х гг. активно занимался журналистикой, был членом редколлегии еженедельника «Махасисва Индонесиа».

Писать начал в школьные годы. Издано несколько сборников рассказов, в том числе «Затерянная тропа» (1974), «Пора откровенности» (1974), «Перед дверью» (1975), «Размолвка» (1975), повести «Борьба в долине», «Тревожные шорохи», «В тени», «Хижина за горой» (1979), а также два романа — «Смута» (1974), отмеченный премией министерства образования и культуры, и «Затихающий гомон» (1977).

Буди Дармо

Романист, новеллист, поэт. Род. в 1937 г. в г. Рембанг (пров. Центральная Ява). В 1963 г. окончил факультет литературы и культуры университета «Гаджа Мада» в Джокьякарте, в 70-е гг. продолжил образование

в США в университете штата Индиана (г. Блумингтон), где в 1974 г. защитил диссертацию на соискание степени доктора философии. В 80-х гг. руководил отделением английской литературы в педагогическом институте г. Сурабая. Член Сурабайского совета по делам искусств.

Печатается с 1969 г. В 1980 г. на конкурсе Джакартского совета по делам искусств первую премию как лучшая книга года получил его роман «Оленька». Прочие произведения — «Блумингтонцы» (1980) и «Soliloqui» (1981).

Е. Руденко

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

СОВРЕМЕННАЯ ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ПРОЗА

70-е годы

Составитель Владимир Иосифович Брагинский

Редактор *Е. Г. Руденко*
Младший редактор *И. И. Голосовсная*
Художник *А. А. Астрецов*
Художественный редактор *П. В. Иващенко*
Технический редактор *Е. В. Мишина*
Корректоры *Н. А. Лукахина, Е. В. Рудницкая*

ИБ № 3917

Сдано в набор 15.01.88. Подписано в печать 10.10.88
Формат 84×108/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Тип-Таймс»
Печать высокая. Условн. печ. л. 30,24. Усл. кр-отт. 30,24
Уч.-изд. л. 33,81 Тираж 50.000 экз. Заказ № 0108
Цена 3 р. 70 к. Изд. № 2464

Издательство «Радуга» В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119859, Москва, ГСП-3, Зубовский бульвар, 17

Отпечатано с пленок.

Ордена Трудового Красного Знамени Московской типографии № 7 «Искра революции» В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
103001, Москва, Трехпрудный пер., 9.

В Московской типографии № 11 113105, Москва, Нагатинская улица, 1.

3 р. 70 к.

Современная индонезийская проза 70-е годы